

А. А. Ивин

# ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУКИ



Электронные версии книг на сайте  
**[www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)**



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2016

УДК 340.155  
ББК 87.3(2)  
И17

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)

*Автор:*

**Ивин А. А.** — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.

*Рецензенты:*

**Кузнецов И. Г.** — доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;

**Шалак В. И.** — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

**Ивин А. А.**

И17 Философское исследование науки. — Москва : Проспект, 2016. — 544 с.

ISBN 978-5-392-17522-2

В книге обсуждаются основные идеи и проблемы современной философии науки. Особое внимание уделяется развитию науки, анализу научного метода, описанию научных категорий, идеалов и норм науки, научному обоснованию и научной критике, ценностям в научном познании, операциям объяснения, предсказания и понимания. На материале наук о природе и наук о культуре анализируются такие понятия, как наука, паранаука и псевдонаука, научная теория, научный закон, причинность, истина, объективность и др. Подробно рассматриваются проблемы философии гуманитарных и социальных наук.

Книга рассчитана на философов, ученых и всех тех, кто интересуется развитием науки, основными особенностями научного познания и ролью науки в современном обществе.

УДК 340.155  
ББК 87.3(2)

*На обложке использована гравюра из книги  
Уильяма Каннингема "Cosmographical Glasse", Лондон, 1559 г.*

*Научно-популярное издание*

**Ивин Александр Архипович**

## **ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУКИ**

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»  
[www.o-maket.ru](http://www.o-maket.ru); тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 05.08.2015. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 34,0. Тираж 100 (1-й завод 50) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-17522-2

© Ивин А. А., 2015  
© ООО «Проспект», 2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Предисловие</b> .....	6
<b>Глава I. Наука, паранаука и псевдонаука</b> .....	9
§ 1. Задачи философии науки .....	9
§ 2. О понятии науки .....	10
§ 3. Паранаука и псевдонаука .....	16
§ 4. Две основные задачи научного исследования .....	31
<b>Глава II. Научный метод</b> .....	37
§ 1. Общая, частная и конкретная методология .....	37
§ 2. Понятие научного метода .....	39
§ 3. Методологизм и антиметодологизм .....	44
§ 4. Два полюса развития научных теорий .....	54
<b>Глава III. Научные категории</b> .....	64
§ 1. Мир как бытие и мир как становление .....	64
§ 2. Классификация наук .....	68
§ 3. Причинность .....	75
§ 4. Научный закон .....	80
§ 5. Социальные тенденции .....	85
§ 6. Детерминизм .....	93
§ 7. Историзм .....	101
§ 8. Модальные категории .....	106
<b>Глава IV. Идеалы науки</b> .....	109
§ 1. Теория .....	109
§ 2. Истина .....	115
§ 3. Объективность .....	141
§ 4. Аксиоматизация и формализация .....	151
<b>Глава V. Нормы науки</b> .....	155
§ 1. Обоснованность научного знания .....	155
§ 2. Логическая последовательность .....	168
§ 3. Рациональность .....	186
§ 4. Практическая значимость .....	197
<b>Глава VI. Научное обоснование</b> .....	201
§ 1. Классификация способов обоснования .....	201
§ 2. Эмпирическое обоснование: прямое подтверждение ....	204
§ 3. Косвенное подтверждение .....	212

§ 4. Теоретическое обоснование:	
логическое доказательство . . . . .	225
§ 5. Системное обоснование . . . . .	233
§ 6. Условие совместности . . . . .	235
§ 7. Соответствие регулятивным принципам . . . . .	239
§ 8. Стандарты адекватности . . . . .	244
§ 9. Методологическое обоснование . . . . .	246
§ 10. Принципиальная проверяемость и опровержимость . . . . .	248
<b>Глава VII. Контекстуальное обоснование . . . . .</b>	<b>252</b>
§ 1. Традиция . . . . .	252
§ 2. Авторитет . . . . .	257
§ 3. Интуиция . . . . .	260
§ 4. Вера . . . . .	266
§ 5. Здравый смысл . . . . .	271
§ 6. Вкус . . . . .	275
§ 7. Ограниченность научного обоснования . . . . .	279
<b>Глава VIII. Научная критика . . . . .</b>	<b>282</b>
§ 1. Эмпирическое опровержение . . . . .	282
§ 2. Логическая фальсификация и реальное опровержение . . . . .	288
§ 3. Научная критика как ослабленная верификация . . . . .	293
§ 4. Парафальсификация и ее логика . . . . .	294
§ 5. Основные виды научных споров . . . . .	296
<b>Глава IX. Многообразие ценностей . . . . .</b>	<b>303</b>
§ 1. О понятии ценности . . . . .	303
§ 2. Виды оценок . . . . .	307
§ 3. Из истории исследования ценностей . . . . .	309
§ 4. Структура оценок и норм . . . . .	315
§ 5. Описательно-оценочные высказывания . . . . .	319
<b>Глава X. Ценности в науке . . . . .</b>	<b>330</b>
§ 1. О требовании исключения ценностей из науки . . . . .	330
§ 2. Внешние и внутренние ценности научной теории . . . . .	334
§ 3. Особенности обоснования оценок и норм . . . . .	341
§ 4. Квазиэмпирическое обоснование оценок и норм . . . . .	350
§ 5. Целевое обоснование . . . . .	357
§ 6. Теоретическое обоснование . . . . .	364
§ 7. Контекстуальные аргументы . . . . .	370
<b>Глава XI. Объяснение, предсказание, понимание . . . . .</b>	<b>378</b>
§ 1. Операция объяснения . . . . .	378
§ 2. Предсказание . . . . .	383
§ 3. Операция понимания . . . . .	384
§ 4. Понимание человеческой деятельности . . . . .	390



§ 5. Понимание в истории . . . . .	393
§ 6. Понимание природы . . . . .	397
§ 7. Понимание языковых выражений . . . . .	403
§ 8. Герменевтика и проблема понимания . . . . .	410
<b>Глава XII. Проблемные ситуации . . . . .</b>	<b>421</b>
§ 1. Типы научных проблем . . . . .	421
§ 2. Проблемы-головоломки . . . . .	423
§ 3. Неявные проблемы. . . . .	429
<b>Глава XIII. Наука и общество . . . . .</b>	<b>442</b>
§ 1. Внутренние и внешние факторы развития научных теорий . . . . .	442
§ 2. Понятие стиля мышления. . . . .	443
§ 3. «Классические» предрассудки . . . . .	448
§ 4. Глобальные проблемы . . . . .	455
§ 5. Проблема формирования единого человечества. . . . .	456
§ 6. Угроза разрушения природы человека . . . . .	460
<b>Глава XIV. Типы социальных теорий . . . . .</b>	<b>477</b>
§ 1. Два полюса истории . . . . .	477
§ 2. Современное общество . . . . .	487
§ 3. Обнаженность и отчуждение . . . . .	512
§ 4. Основные стили социального теоретизирования . . . . .	519
§ 5. Ценности как контекст развития социальных теорий . . . . .	537

Невежеству удастся внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена наукой.

*Ч. Дарвин*

Общепринятое мнение, будто наука и поэзия — две противоположности, большое заблуждение... неправда, чтобы истины науки были лишены поэзии... Напротив, наука раскрывает перед нами целый мир поэзии... Люди, посвятившие себя ученым изысканиям, постоянно нам доказывают, что они не только так же, как другие люди, но даже гораздо живее их воспринимают поэзию изучаемых ими предметов.

*Г. Спенсер*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудно найти такую область человеческой деятельности, на которую человечеством возлагалось бы столько надежд и которая вызывала бы столько опасений, как современная наука. Есть основания думать, что могущество и эффективность науки, глубина проникновения ее в еще не познанные стороны природы и общества будут непрерывно возрастать. И одновременно будут расти надежды, возлагаемые на науку, и тревоги, связанные с нею.

«Знание — это сила», сказал в период возникновения современной науки Ф. Бэкон. Он хотел подчеркнуть этим восхвалением знания, что человеку незачем рассчитывать на милость бога и дожидаться рая на небесах; человек сам в состоянии перестроить свою личную и социальную жизнь, и он сделает это прежде всего посредством знания. Всемогуществу бога было тем самым противопоставлено всемогущество самого человека, вооруженного результатами научного познания.

После XX века, принесшего две мировые войны, тоталитарные режимы, унесшие жизни многих десятков миллионов людей, поставившего на «боевое дежурство» разрушительное ядерное оружие, способное уничтожить все человечество, стало ясно, что научное знание является силой, способной как усовершенствовать человеческую жизнь, так и разрушить ее до основания. О радикальности перемен, произошедших в прошлом веке, говорят, в частности, такие факторы: с начала века население нашей планеты выросло более чем в три раза, сегодня на земном шаре в среднем проживают сорок человек на квадратном километре. В начале века в городах жило лишь около десятой части людей, а в его конце городское население составляло около по-

ловины всего населения, причем более пятой его части являлись жителями городов-миллионеров. Девять десятых всех предметов, созданных человеком и окружающих нас сегодня, придуманы в прошлом веке. Объем мирового промышленного производства в настоящее время в двадцать раз выше, чем в начале прошлого века. Люди используют шестьсот миллионов автомобилей, запустили более четырех тысяч искусственных спутников Земли, побывали на Луне и собираются отправить экспедицию на Марс. За пятнадцать лет потребляется столько природных ресурсов, сколько было использовано человечеством за все время его существования. Без современной науки столь радикальные перемены были бы, разумеется, невозможны.

Очевидно, что философия науки, говорящая о сущности науки и основных тенденциях ее развития, представляет интерес не только для самой науки. Она интересна и важна также для общества в целом. Современное общество немыслимо без науки и во многом зависит как от ее успехов, так и от направления научных исследований.

Книга посвящена основным проблемам современной философии науки. Наука понимается предельно широко, так что она включает естественные, социальные, гуманитарные и формальные науки. Многие проблемы философии науки истолковываются по-новому. Это касается, в первую очередь, характеристики научного метода; системы научных категорий и классификации наук; описания идеалов науки, ее норм; истолкования конкретных способов научного обоснования и научной критики; анализа роли ценностей в научном познании и требования исключать оценки из науки; описания структуры операций объяснения и понимания, обсуждения социально-культурной детерминации науки, стилей социального теоретизирования и т. д. Не всегда излагаемому подходу к этим проблемам удастся противопоставить другие позиции.

Особое внимание в книге уделяется философии наук о культуре, или социальных и гуманитарных наук. Это связано, во-первых, с тем, что философия этих наук в ряде принципиально важных аспектов отличается от философии наук о природе, или естественных наук. Во-вторых, пока что философия науки развивается так, как если бы философское исследование естественнонаучного знания исчерпывало всю философию науки и автоматически давало ответы на вопросы, связанные не только с науками о природе, но и с науками о культуре.

Долгое время считалось, что есть единая философия научного познания, хотя и разработанная преимущественно на материале естественных наук, или наук о природе. Предполагалось, что как только социальные и гуманитарные науки, существенно отстающие в своем развитии от естественных наук, станут полноценными научными

дисциплинами, все сказанное по поводу методов естественных наук окажется приложимым к социальному и гуманитарному познанию: последнее отличается от естественнонаучного познания только предметом исследования, но не своими категориями и способами обоснования.

Однако науки о культуре принципиально отличны от наук о природе и наряду с методологией естественнонаучного познания должна разрабатываться также вполне самостоятельная методология социального и гуманитарного познания. Это не означает отрицания внутреннего единства науки и единства научного метода в частности. Но само это единство во многом предстоит еще выявить и исследовать, поскольку очевидно, что оно не может быть сведено к уподоблению социальных и гуманитарных наук естественным наукам и тем более к перестройке первых по образцу какой-то конкретной естественной науки.

## *Глава I*

# **НАУКА, ПАРАНАУКА И ПСЕВДОНАУКА**

### **§ 1. Задачи философии науки**

Философия науки является философским исследованием науки, рассматриваемой в процессе ее развития. Чтобы конкретизировать представление о современной философии науки, перечислим некоторые из ее основных, вызывающих наиболее острые споры тем:

- Определение понятия науки, отграничение научного знания от других областей знания и от того, что ошибочно принимается или принималось за науку.
- Анализ метода, применяемого в науке, представление общей методологии науки как составной части философии науки.
- Выявление и описание тех категорий, которые лежат в основе научного познания (бытие, становление, причинность, научный закон, социальная тенденция и т. п.).
- Классификация существующих наук на основе используемых ими систем категорий (естественные, гуманитарные и социальные науки; науки о природе и науки о культуре; науки о бытии и науки о становлении и т. п.).
- Исследование тех идеалов (ценностей), которыми руководствуется в своей деятельности сообщество ученых, занимающихся научными исследованиями (детерминизм, историзм, обоснованность, истина, объективность, теоретичность и т. д.).
- Анализ особенностей научного обоснования и той иерархии способов обоснования, без которой не существует научное познание.
- Изучение типичных особенностей эмпирической и теоретической научной критики, являющейся необходимым моментом процесса научного исследования.
- Выявление особенностей социального и гуманитарного познания в сравнении с познанием природы и одновременно подтверждение тезиса о внутреннем единстве науки и единстве используемого ею научного метода.
- Исследование роли ценностей в науке и прежде всего значения ценностей в социальных и гуманитарных науках, более

непосредственно, чем естественные науки, связанных с человеческой деятельностью.

- Описание структуры общенаучных операций объяснения, предсказания и понимания; выявление основных типов данных операций и сферы их применения.
- Изучение внешних и внутренних причин, определяющих характер и динамику развития науки, анализ проблемы преемственности научных теорий.
- Исследование роли науки в современном обществе.

Этот перечень задач философии науки не является, конечно, исчерпывающим. Но он хорошо показывает, что философия науки занимается теми вопросами, которые не способна исследовать сколько-нибудь полно и последовательно никакая другая научная дисциплина.

Обсуждение указанных проблем является основным содержанием данной книги.

## § 2. О понятии науки

Предварительным образом *науку* можно определить как систематическое, дифференцированное, осуществляемое сообществом ученых исследование окружающей реальности, имеющее своей целью ее объяснение и понимание. Под наукой обычно понимается не только процесс изучения мира, обладающий определенными особенностями, но и результат этого процесса, представляющий собой множество научных теорий, описывающих конкретные фрагменты реальности.

Значение определения науки не следует переоценивать. Уже в этой главе речь пойдет об отграничении научного знания от знания, похожего на научное, и от тех концепций, которые даже внешне не напоминают науку. Станет очевидно, что никаких однозначных, сколько-нибудь жестких критериев отделения науки от ненауки не существует.

Употребление и понимание понятия предполагает знание его смысла, или содержания, и отчетливое представление о классе тех объектов, к которым оно относится. Понятие, отсылающее к размытому, нечетко представляемому множеству вещей или к множеству, граница которого неопределенна, является *неточным*. Понятие с неясным смыслом, размытым и неопределенным содержанием обычно называется *содержательно неясным*, или просто *неясным*. Например, понятие «живое существо» является относительно точным: обычно мы уверенно распознаем, является ли встретившийся объект таким

существом или нет. Вместе с тем содержание этого понятия не вполне ясно. Существуют десятки определений жизни, и вряд ли какое-то из них является окончательным.

Еще одним примером сравнительно точного, но содержательно неясного понятия может служить понятие «токсическое вещество». Сто лет назад в справочниках упоминалось около сотни токсинов, сейчас их число приближается уже к ста тысячам. Такой бурный рост обусловлен не столько появлением в ходе технического прогресса новых веществ, неблагоприятно воздействующих на живое, сколько неясностью и постоянным изменением представлений о том, какие именно вещества должны относиться к токсинам.

Многие общие понятия и естественного языка, и частично искусственного языка науки и философии являются одновременно и неясными и неточными. Их содержание расплывчато, сверх того, они отсылают к нечетко очерченному классу объектов. Таковы, в частности, понятия «бытие», «становление», «рациональность», «научный метод», «научный закон», «причинность», «интуиция».

Неясными и одновременно неточными являются и конкретные научные понятия. Одним из источников споров, постоянно идущих в биологии, особенно в учении об эволюции живых существ, является неясность таких ключевых понятий этого учения, как «вид», «борьба за существование», «эволюция», «приспособление организма к окружающей среде» и т. д. Не особенно ясны многие центральные понятия психологии: «мышление», «восприятие», «темперамент», «личность» и т. д.

Неясные понятия обычны в эмпирических науках имеющих дело с разнородными, с трудом сводимыми в единство фактическими данными. Такие понятия нередки и в самых строгих и точных науках, не исключая математику и логику. Не является, например, ясным понятие множества, или класса, лежащее в основании математической теории множеств. Далеки от ясности такие важные понятия логики, как «логическая форма», «имя», «высказывание», «доказательство», «логическое следование» и др.

Не удивительно, что и само понятие науки является неясным и неточным. Было предпринято много попыток выявить те особенности научных теорий, которые позволили бы отграничить последнее от псевдонаучных концепций, подобных алхимии или астрологии. Но полной определенности и отчетливости понятию «наука» так и не удалось придать.

Степень содержательной ясности научных понятий определяется прежде всего достигнутым уровнем развития науки. Неразумно было бы поэтому требовать большей — и тем более, предельной — ясности в тех научных дисциплинах, которые для нее еще не созрели.

Важно также, что понятия, лежащие в основании отдельных научных теорий (например, «множество» в математике или «логическое следование» в логике), по необходимости остаются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться. Полное прояснение таких понятий означало бы, в сущности, что перед теорией уже не стоит никаких вопросов.

Это относится и к понятию науки. Научное познание мира является бесконечным предприятием. И до тех пор, пока оно будет продолжаться, понятие науки останется не вполне ясным и точным.

Понятие науки можно отнести к тем понятиям, которые Л. Витгенштейн называл «семейными». Видя порознь членов некоторой семьи, мы можем не догадываться об их родственных отношениях; но как только они собираются вместе, сравнивая их друг с другом, мы сразу же замечаем, что они похожи. Тот, кто сталкивается поочередно с физикой, лингвистикой, социологией, эстетикой, психологией, историей, вряд ли увидит их внутреннее родство. И только если эти научные дисциплины будут собраны вместе, так сказать под одной обложкой, станет ясной их сходство друг с другом. История совершенно не похожа на физику, но у истории есть нечто сходное с психологией, у психологии — с этнографией, у этнографии — с биологией, а у последней — с физикой. Понятие науки подобно таким «семейным» понятиям, как «язык», «игра», «пейзаж» и т. д.

Основные этапы развития науки. Человечество прошло путь от примитивного первобытного общества, добывавшего огонь трением, до современного постиндустриального общества, запускающего космические спутники и готовящегося к полетам на другие планеты. Постоянное развитие — одна из наиболее фундаментальных характеристик не только человеческого общества, но и науки. Рассматривать науку вне истории, отвлекаясь от ее непрерывного изменения, все равно, что рассуждать о жизни отдельного человека, абстрагируясь от того, что он в определенный момент рождается, затем взрослеет, старится и умирает.

Всякая научная дисциплина является результатом предшествующей истории, точкой пересечения разнородных, а нередко и противоречивых тенденций, идущих из прошлого через настоящее в будущее. Философия науки, не принимающая во внимание развитие науки и исторически конкретное время ее существования, ее прошлое и ее будущее, является не просто абстрактной и малополезной, а пустой и вредной.

Из многих тысячелетий человеческой истории более или менее точно известны только последние шесть тысяч лет. Истоки человечества покрыты глубоким мраком, и о них можно только догадываться. Будущее человечества неопределенно. Трудно сказать, что будет даже



спустя сто лет, когда окажутся исчерпанными запасы нефти, газа, угля и т. п., а численность человечества удвоится или утроится. Нео-пределенным является и будущее науки.

В этой ситуации темноты прошлого и неясности будущего изучение настоящего, представляющего собой только подвижную границу между прошлым и будущим, является непростым делом. И тем не менее известная нам часть истории науки должна быть использована сполна, чтобы яснее понять существующую науку и представить хотя бы в общих чертах то, что ожидает ее в будущем.

Обычно выделяются четыре важных этапа развития науки, соответствующие четырем историческим эпохам: *древняя, средневековая, наука Нового времени и современная наука*. Последняя, представляющая особый интерес для философии науки, в свою очередь подразделяется на периоды классической и неклассической науки; сейчас иногда речь идет уже о постнеклассической науке, зародившейся в середине прошлого века.

Наука всегда существует в определенном социальном контексте, и она меняется с изменением этого контекста. В силу этого периодизация жизни общества, разбиение человеческой истории на эпохи, цивилизации, культуры и т. п. имеет прямое отношение к периодизации истории науки.

История явно неоднородна, и первый вопрос, который возникает при знакомстве с нею, из каких качественно различных периодов она складывается. Отчетливо различимые этапы, которые прошло человечество, называются по-разному, но чаще всего говорят об *исторических эпохах* — наиболее крупной единице исторического времени, обозначающей длительный период человеческой истории, отличающейся определенной внутренней связностью и только ему присущим уровнем развития материальной и духовной культуры. Рассмотрение истории как серии следующих друг за другом качественно различных эпох придает истории линейно-стадиальный, ступенчатый характер. Переход от одной эпохи к другой представляет собой переворот во всех сферах социальной жизни.

Хотя понятие эпохи широко употребляется как в истории, так и в социальной философии, не существует ни общепринятого определения данного понятия, ни устоявшегося деления истории человечества на основные эпохи. Нередко вместо понятия эпохи используются другие, аналогичные по смыслу понятия: «общественно-экономическая формация» (К. Маркс), «период человеческой истории» (К. Ясперс), «тип социальной организации» (Д. Белл) и др.

Разделение истории на разнородные эпохи, в строгом порядке следующие друг за другом, можно усматривать уже в христианском представлении об истории. В нем выделяются следующие ступени исто-

рии, разграниченные своего рода эпохальными событиями: создание первых людей библейского сказания, Адама и Евы, и пребывание их в раю; совершенное ими грехопадение и последовавшая за ним земная жизнь людей; явление Христа, ознаменовавшее переворот в этой жизни и подготовку ее к окончанию; Страшный суд, означающий конец земной жизни, протекавшей во времени истории и начало вневременного существования в раю. В дальнейшем христианские идеи земной, текущей во времени и внеземной, пребывающей в вечности истории и разделяющего их эпохального события были трансформированы К. Марксом в представление о первом, линейно-стадиальном периоде истории человечества, о следующем за ним «конце истории» и начале второго, существующего как бы в другом временном измерении периода чисто линейной истории, не предполагающей никаких эпохальных событий.

В Новое время широкое распространение получило выделение трех последовательных этапов, или эпох, истории человечества: дикости, варварства и цивилизации. Такое разделение истории прямо соответствовало идее неуклонного прогресса, так что история обретала не только гетерогенность, но и направленность.

Нужно отметить, что понятие эпохи, необходимое при линейно-стадиальном истолковании истории, теряет свой смысл в рамках представления об истории как совокупности локальных цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби и др.). Цивилизации представляются при этом как дискретные единицы социальной организации, зависящие от конкретных условий деятельности людей и от собственных систем ценностей. Каждая из цивилизаций проходит свой уникальный путь развития, взаимодействие цивилизаций невелико, если вообще существует. Для цивилизаций не столь важно, в какой конкретный период истории они возникают, достигают расцвета, а затем клонятся к упадку и гибнут.

Понятие эпохи не имеет сколько-нибудь важного значения и в теориях круговорота цивилизаций, подобных той, что была предложена в середине прошлого века П. А. Сорокиным<sup>1</sup>. Социокультурой Сорокин называет тот суперорганический мир, ту новую вселенную, которая создана человеком. Социокультура имеет собственную философию и религию, свои формы искусства, нравы, законы, особую экономическую и политическую организацию и, наконец, собственный тип личности, со свойственными только ему менталитетом и поведением. Сорокин выделяет три типа культуры, встречавшихся в истории человечества: идеационную, идеалистическую и чувственную (их можно назвать также «религиозной», «промежуточной» и «материал-

<sup>1</sup> *Sorokin P. The Crisis of our Age. N.-Y., 1941. Ch. 1–2.*

листической» соответственно). Эти типы чередуются, и если оставить в стороне промежуточную культуру, иногда вклинивающуюся между религиозной и материалистической культурами, то история оказывается простым чередованием двух последних культур. Не подвергая сомнению важность деления истории науки в соответствии с главными историческими эпохами, разделим, однако, всю историю науки на два основных ее периода: *досовременную* и *современную*.

К. Ясперс выделяет четыре гетерогенных периода человеческой истории: прометеевскую эпоху (возникновение речи, орудий труда, умение пользоваться огнем), эпоху великих культур древности, эпоху духовной основы человеческого бытия, начинающуюся с «осевого времени» (VIII—II вв. до н. э.), когда полностью формируется подлинный человек в его духовной открытости миру, и эпоху развития техники<sup>1</sup>. В человеческой истории оказывается, таким образом, как бы два дыхания. Первое ведет от прометеевской эпохи через великие культуры древности к «осевому времени» со всеми его последствиями. Второе начинается с эпохи науки и техники, со второй прометеевской эпохи в истории человечества и, возможно, приведет к новому, еще далекому и невидимому второму «осевому времени», к подлинному становлению человека. Общая схема истории Ясперса предполагает, таким образом, линейность истории (существование единой для всех народов линии развития), гетерогенность истории (наличие качественно различных отрезков единой линии) и в известном смысле направленность истории, хотя цель истории, как и ее истоки, человеку неизвестна и является для него лишь многозначным символом.

Следуя линии, намеченной Ясперсом, историю науки можно самым общим образом разбить на два основных периода. Первый — это период досовременной науки, охватывающий древнюю науку и средневековую науку; второй — период современной науки, включающий науку Нового времени и науку со середины XIX в. и до настоящего времени.

Противопоставление современной науки, начавшей складываться в XVI—XVII вв., предшествующему этапу развития науки связано со многими обстоятельствами. Прежде всего, возникновение науки в современном смысле этого слова связано со становлением научного метода и постепенным отделением конкретных научных дисциплин, подобных физике, химии, биологии (и уже в XIX в. — психологии, логики и др.) от философии и от так называемой натуральной философии, в рамках которой развивал свои физические теории еще И. Ньютон. Становление современной науки привело также к формированию совершенно новой системы научных категорий, ко-

<sup>1</sup> Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. Гл. 1.

торая с определенными модификациями используется наукой и теперь. Были сформулированы основные ценности, или идеалы, науки и уточнены способы научного обоснования, центральное место среди которых прочно заняло эмпирическое обоснование<sup>1</sup>.

### § 3. Паранаука и псевдонаука

Многообразные теоретические концепции можно разделить на *научные*, *паранаучные* и *псевдонаучные*. Под *паранаукой* (от греч. *para* — около, возле, при) обычно понимаются многообразные сопутствующие науке идейно-теоретические учения и течения, существующие за пределами науки, но связанные с нею определенной общностью проблематики или методологии. Паранаучная концепция напоминает научную теорию, но по своей сути не является таковой.

Наука неоднородна, и некоторые выдвигаемые в ее рамках системы идей могут первоначально не вполне соответствовать научному методу, обосновываться с недостаточной для науки степенью тщательности, не совсем согласоваться с идеалами науки, не отвечать стандартам научной и прежде всего эмпирической критики, противоречить известным, хорошо исследованным идеям и фактам и т. д. Такие системы не вполне соответствующих научным стандартам идей принято относить к паранауке, в предположении, что со временем эти концепции найдут адекватное обоснование, будут согласованы с имеющимися научными теориями и, быть может, войдут в состав науки.

К паранауке иногда относят и явно устаревшие, уже отброшенные наукой концепции, а также в известном смысле оппозиционные науке «практические традиции», подобные народной медицине, народной метеорологии и т. п. К паранауке принадлежат и так называемые музыкальные, семейные, спортивные науки, содержащие определенные полезные сведения и навыки, но не способные давать объяснений и предсказаний, подобных научным, и остающиеся поэтому только известной систематизацией практического опыта и прикладными руководствами по определенной тематике. Такого рода паранауки не способны войти в состав научного знания.

К *псевдонауке* относятся концепции, в принципе не совместимые с наукой. Обычно они явно противоречат основным требованиям научного метода, используют совершенно иные, чем в науке, категории, не принимают во внимание ведущие идеалы науки, пренебрегают принципами научного обоснования и научной критики и т. п. Типич-

---

<sup>1</sup> О постепенном вызревании предпосылок современной науки в рамках средневековой науки см.: Меркулов И. П. Когнитивная эволюция. М., 1999. Гл. 6.

ными примерами псевдонаук являются разнообразные «окультиные науки», подобные алхимии, астрологии, френологии, хиромантии, физиогномике и т. д.

Понятия науки и псевдонауки являются, таким образом, противоположными, а не противоречащими понятиями. Они исключают друг друга, но вместе не исчерпывают множества теоретических концепций, претендующих на объяснение и понимание изучаемого ими круга явлений. Между наукой и псевдонаукой имеется промежуточная область — паранаука. Отношение между понятиями науки и псевдонауки аналогично отношению между понятиями «белое» и «черное». Последние также исключают друг друга, но не исчерпывают являющееся для них родом множество тех вещей, которые способны иметь цвет: помимо белых и черных объектов имеются также синие, красные и другие объекты.

Если некоторые из паранаук сохраняют способность влиться со временем в состав науки или имеют, по крайней мере, практическую значимость, то псевдонауки не имеют с наукой, по существу, ничего общего. Они никогда не станут научными дисциплинами, поскольку их основные положения не могут быть совмещены с принципами науки, как бы радикально ни изменялись последние в процессе эволюции науки. Псевдонауки не просто практически бесполезны. Они вредны, поскольку создают видимость объяснения и понимания тех явлений, которые не могут быть объяснены и поняты.

Иногда термин «паранаука» употребляется в более широком смысле, так что в число паранаук включаются не только концепции, похожие на научные и в некотором смысле близкие им, но и явно ненаучные («псевдонаучные») представления. В используемом здесь узком смысле паранаука не имеет ничего общего с псевдонаукой, с теми системами идей, которые в принципе не совместимы с научным описанием мира.

**Примеры социальных и гуманитарных наук.** Понятие науки не является, как уже говорилось, ясным, и точным. Смысл этого понятия не удастся охарактеризовать с полной определенностью. Границы множества существующих наук размыты, так что всегда остается место для сомнения, входит ли какая-то конкретная концепция в число научных или она лежит уже за пределами науки. Еще в большей степени являются неясными и неточными понятия паранауки и псевдонауки.

В этой ситуации для прояснения понятий науки, паранауки и псевдонауки полезно прибегнуть к примерам теорий, являющихся научными, а также тех паранаучных и псевдонаучных представлений, которые составляют, так сказать, ядро ненаучности, чтобы по контрасту понять, чем наука отличается от ненауки. Проще всего было

бы воспользоваться примерами естественнонаучных теорий: они достаточно ясны, многие из них можно свести к простой системе исходных принципов и т. д. В дальнейшем в качестве научной теории приводится теория эволюции Ч. Дарвина. Однако наука — это не только науки о природе, но и социальные и гуманитарные науки, имеющие для прояснения современного истолкования понятия «научность», быть может, большее значение, чем естественнонаучные теории.

Подходящим примером социальных и гуманитарных наук, далеко отстоящих от естествознания, могут служить *социальная философия, теоретическая социология и история*. Поскольку они имеют много общего, целесообразно рассмотреть их во взаимной связи. Социальная философия представляет собой философский анализ общества в его историческом развитии. Она изучает функционирование и эволюцию социальных систем, взаимосвязь наиболее важных социальных явлений, взаимодействие общества и природы, социальные аспекты поведения человека.

Поскольку понятие общества, взятое из обычного языка, не является достаточно ясным, иногда говорят, что социальная философия представляет собой анализ *социального*. При этом социальное понимается как процесс и результат взаимодействия социальных групп, институтов, целых обществ и их объединений. Социальное не особая автономная данность. Оно охватывает экономическое, политическое, социально-психологическое, идеологическое, моральное и все другие измерения сложной и многоаспектной жизни общества.

Социальная философия как наука о социальном является, таким образом, попыткой интеграции имеющихся разносторонних знаний об обществе, сведения их в единую теорию функционирования и развития общества. Одновременно социальная философия — это и определенный способ видения отдельных социальных явлений, позволяющий соотносить их с широким контекстом, включающим, если это необходимо, даже всю известную человеческую историю.

Социальная философия, как и всякая научная дисциплина, находится в постоянном развитии. Меняются основные направления ее исследований, ее связи с другими науками и прежде всего с социологией и историей. Меняются также представления об основных задачах социальной философии и о самих возможностях философского осмысления общества и его истории.

Чтобы конкретизировать представление о современной социальной философии, перечислим некоторые из ее основных тем.

- Причины, определяющие характер и динамику социальной жизни. Когда-то считалось, что устройство общества и ход истории предопределены волей бога. Позднее была выдвинута идея общих законов истории, неуклонно ведущих человечество от первобытного,

дикого состояния через варварство к цивилизации. Были предложены разнообразные социальные теории, стержнем которых являлся так называемый закон прогресса. Марксизм предполагал, в частности, что вершиной развития общества явится коммунизм, при котором материальное изобилие будет сочетаться с исчезновением государства и свободой личности. XX век развеял многие иллюзии, в том числе представление о всемогуществе человеческого разума, о «железных законах истории» и неуклонном прогрессе. С новой остротой развернулись дискуссии по поводу того, определяется ли социальная жизнь и в какой именно мере — материальными и экономическими структурами, борьбой государств и наций, борьбой классов, стратегией возвышения и установления равновесия в отношениях между разными частями крупных социальных групп, семейными формами и т. д.

- Периодизация человеческой истории, деление ее на эпохи, цивилизации, культуры и т. п. Упрощенная схема «дикость — варварство — цивилизация» была быстро отброшена. Марксистская периодизация истории, начинавшаяся с первобытного и кончавшаяся индустриальным коммунизмом, обнаружила свою несостоятельность. Остается открытым вопрос, по каким существенным признакам можно было бы разбить историю на крупные эпохи и затем выделить в рамках таких эпох цивилизации или культуры.

- Отношения между прошлым, настоящим и будущим в развитии общества и его наиболее важных институтов. Существовали теории, согласно которым история имеет форму круга, постоянного повторения одного и того же, не несущего с собой никакой принципиальной новизны, или форму прямой линии, в силу чего времена не могут повторять друг друга, или форму спирали, сочетающей линейное и кругообразное движение, или форму колебаний отдельных обществ между двумя достаточно устойчивыми полюсами, ит.д. Анализ общей формы протекания истории остается, как и раньше, актуальной проблемой.

- Смысл человеческой истории, ее предназначение или цель. Долгое время истории придавался объективный, не зависящий ни от воли людей, ни от их деятельности смысл. Другой альтернативой является идея, что человеческая история имеет только субъективный, определяемый самими людьми смысл, и то, будут ли достигнуты цели, которые человечество ставит перед собой, зависит не от каких-то внешних факторов, а от разумности и настойчивости в реализации этих целей.

- Возможные перспективы ставшего в последние два столетия особенно очевидным процесса формирования единого человечества и, соответственно, подлинно мировой истории. Крайние случаи здесь — демократическая конфедерация обладающих достаточно широкой автономией государств и диктатура немногих объединившихся

для этой цели государств над всеми остальными странами и народами.

- Общие тенденции развития современных обществ. Национал-социализм сошел с исторической арены, коммунизм постепенно сходит с нее. Нет, однако, социальных законов или причин, совершенно исключающих возвращение этих агрессивных форм тоталитарного общества в каком-то новом облике. Трудно предсказать направление дальнейшего развития развитых демократических, или посткапиталистических, обществ и тем более их сколько-нибудь отдаленную историческую перспективу.

- Главные опасности, таящиеся в современном социальном развитии. Человечество ожидает дальнейшее обострение так называемых глобальных проблем, от решения которых зависит само его выживание. В числе этих проблем — предотвращение мировой термоядерной войны, прекращение стремительного роста населения, исключение катастрофического загрязнения окружающей среды, терроризм и т. д. Серьезные опасности кроются в постепенном преобразовании народов в однородные, импульсивные, подверженные воздействию пропаганды массы, в превращении таких масс в решающий фактор происходящих событий. Опасны постоянно повторяющиеся в разных странах попытки введения тотального планирования социальной жизни. Темп происходящих в современном обществе перемен все убыстряется и кажется, что теперь под угрозу может быть поставлена сама глубинная природа человека.

Социальная философия является наукой в том же смысле, что и другие науки об обществе. Она отправляется, в конечном счете, от эмпирически данного мира социальных отношений; на этой основе ею строятся теории, позволяющие объяснять (предсказывать) и понимать ход социальных процессов; следствия социальных теорий сопоставляются с опытом, что позволяет совершенствовать теории. Вместе с тем социальная философия отличается существенным своеобразием и занимает особое положение среди других наук об обществе.

Социальная философия может заниматься почти любыми общими, не имеющими решения проблемами социальных и гуманитарных наук: природа общества и возможность социального прогресса; смысл человеческой истории и ее движущие силы; природа человека и его предназначение; соотношение стихийного и сознательного в истории; сущность морали и права и т. д. Материал для своего анализа социальная философия черпает из конкретных наук о культуре, стремясь, однако, к предельной общности своих рассуждений. Проверка теорий, развиваемых в рамках социальной философии, осуществляется опять же на основе соответствия их выводам социальных и гуманитарных наук. Социальная философия не вдается в эмпири-



ческие детали, ее цель — общая характеристика общества, являющаяся итогом и выводом всего того, что говорят об отдельных аспектах его жизни и истории конкретные социальные и гуманитарные дисциплины.

Политическая наука занимается политическими отношениями (государство, власть, правительство, политические партии и т. п.); экономическая наука изучает производство и распределение ресурсов; социология исследует основы участия людей в жизни общества, анализирует структуру социальных отношений в том виде, в каком она складывается в ходе социального взаимодействия. Социальная философия рассматривает политические, экономические и социальные феномены в их единстве и взаимосвязи.

Как и социальная философия, социология складывается из разнообразных, конкурирующих между собой концепций и направлений. В силу этого ни одно определение этой науки не может быть исчерпывающим. Социология не является подобием естественных наук, поскольку люди, составляющие общество, обладают способностью мыслить, ставить перед собою определенные цели и наделять смыслом окружающий их мир. Помимо причинного объяснения социального поведения, социология должна предоставлять также возможность понимания социальных явлений, основывающегося на учете тех ценностей, которыми руководствуются люди.

Теоретическая социология и социальная философия, несмотря на известное их сходство в трактовке многих общих проблем, являются разными научными дисциплинами, отличающимися друг от друга не только своими предметами, но и используемыми методами. О различии этих наук выразительно говорит уже тот факт, что социальная философия зародилась еще в древности и ее история насчитывает более двух тысяч лет. Социология же начала формироваться только в XIX в., так что ее история охватывает всего лишь два последних столетия.

Социология и социальная философия различаются, во-первых, степенью своей общности и, соответственно, характером своей связи с эмпирической реальностью. Социология, даже чисто теоретическая, ближе к опыту и всегда должна указывать пути эмпирической проверки своих теорий. Социальная философия более абстрактна, ее концепции отправляются не столько от конкретных эмпирических данных, сколько от совокупного, нерасчлененного опыта наблюдений над социальной жизнью. Большая абстрактность и, можно сказать, большая спекулятивность социальной философии обеспечивают ей более широкий кругозор. Вместе с тем эта широта кругозора таит в себе многие опасности, и как раз ею объясняется, почему социальная философия нередко вырождается в социальную утопию, как это было у Платона и К. Маркса, или в антиутопию, как у Ж.-Ж. Руссо.

Во-вторых, социология занимается по преимуществу современным обществом, в то время как социальная философия принимает во внимание более широкий исторический контекст, а если нужно, то и всю известную историю. В-третьих, социология сдержанно относится к сколько-нибудь отдаленным прогнозам социального развития. Широта кругозора социальной философии позволяет ей, продолжая в будущее основные линии современного развития, наметить ту точку их схода, которая, даже не будучи достаточно ясно видима сама, создает более широкую, чем у социологии, перспективу изображения современности и в большей мере упорядочивает социальное пространство. Погружая социальные события в широкий контекст не только прошлой, но и настоящей и будущей культуры, социальная философия очищает эти события от исторических случайностей, отделяет важное от второстепенного и, подчеркивая основные линии социального развития, придает реальной эволюции общества недостающие ей ясность и схематичность. Конструкции социальной философии – это всегда идеализации, но идеализации, сопоставление с которыми реальных событий и их цепей позволяет яснее понять суть последних.

В-четвертых, социология стремится устанавливать закономерности, касающиеся повторяющихся социальных явлений, в то время как социальная философия не претендует на установление каких-либо социальных законов. Современная социальная философия вообще исходит, как правило, из идеи, что социальная история представляет собой смену единичных и уникальных явлений, что в ней нет прямого повторения одного и того же, и поэтому в ней нет общих законов.

В-пятых, социология и социальная философия различаются типами объективности, выдвигаемыми ими в качестве своих методологических идеалов. Социология более свободна, в частности, от оценочных суждений о социальном поведении, и в этом смысле менее субъективна, чем социальная философия. Исследование общества по образцу природы невозможно уже потому, что представители и социологии, и социальной философии сами являются членами того общества, которое они изучают, и не могут подняться над традициями и стилем мышления своего общества, над своим «настоящим». Рассмотрение социальной реальности осуществимо лишь в том виде, в каком она предстает, пройдя сквозь фильтр оценочных, остающихся по преимуществу неявными, суждений. Тем не менее в социологии, стоящей ближе к эмпирическим данным и не претендующей на чересчур широкие обобщения, оценочные суждения легче, чем в социальной философии, отделить от чисто описательных суждений. Социология складывается из множества конфликтующих между собой направлений, между которыми идут постоянные споры. Вместе с тем совпадение мнений в социологии более обычно, чем в социальной философии.

Социальная философия существенным образом опирается на результаты исторического исследования общества. Однако подход ее к человеческой истории существенно отличается от подхода к последней науки истории. Историк стремится заниматься прошлым и только прошлым. Он не делает прогнозов и не заглядывает в будущее. Он рассматривает только имевший место ход событий и неодобрительно относится к мысленному эксперименту в истории, к анализу наряду с реальным также возможных вариантов хода событий. «История не имеет сослагательного наклонения» — такова одна из методологических максим истории, впрочем, постоянно нарушаемых ею. Историк смотрит в прошлое из настоящего, что существенно ограничивает перспективу его видения. Каждая книга по истории — это книга определенной эпохи и определенного, более конкретного настоящего. С изменением настоящего меняется и та перспектива видения прошлого, которую оно определяет. Хотя истории, написанной с «вневременной», или «надвременной», позиции не существует, историк стремится максимально ограничить воздействие на свои суждения о прошлом не только своего будущего, но и своего настоящего.

Социальная философия формирует представление не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. Как и история, она исходит из настоящего, поскольку подняться над ним не дано никому. Но настоящее социальной философии существенно шире, чем настоящее историка. В частности, историк вообще избегает вербализации своих представлений о настоящем, стремясь максимально отстраниться от него. Социальная философия открыто высказывается о настоящем как периоде между прошлым и будущим. Ее представления о настоящем вырастают в первую очередь из системы социального и гуманитарного знания, далее — из целостной системы всей современной культуры.

Наука история, как говорят, ничему не учит, точнее, стремится не учить современников, усматривая в этом — и не без основания — один из залогов своей объективности. Социальная философия, соотносящая прошлое с будущим через настоящее, учит уже самим фактом установления такого соотношения.

Существуют две основные опасности, всегда подстерегающие как историческое, так и социально-философское исследование: потеря настоящего и доминирование настоящего над прошлым и будущим. Можно сказать, что потеря настоящего более опасна для исторического, чем для философского исследования. Историк сознательно избирает установку не артикулировать свое понимание того времени и той культуры, в рамках которых он говорит о прошлом. Что касается будущего, также, наряду с прошлым, определяющего смысл настоя-

щего, то историк вообще не размышляет о нем. В этих условиях прошлое может оказаться существующим само по себе, вне всякой связи времен. С другой стороны, для социальной философии более актуальна опасность приоритета настоящего над прошлым и искажения с позиций неглубоко понятого и прочувствованного настоящего не только будущего, но и прошлого.

Современная социальная философия не имеет, как и в прошлом, никакой общепринятой парадигмы (образцовой, общепринятой теории) и представляет собой множество несовместимых друг с другом и конкурирующих между собой концепций. Они различаются делением истории на основные ее этапы, истолкованием основных линий прошлого развития и представлениями о тенденциях будущего развития. Когда заходит речь о социальной философии, всегда приходится уточнять, какая из многочисленных ее версий имеется в виду, иначе разговор рискует оказаться пустым. Но то, что социальная философия существует в форме множества разнородных, не сводимых даже в расплывчатое единство теорий и, можно думать, всегда будет существовать в такой форме, не снижает ценности социально-философского осмысления общества и его истории. Оно дает если не ключ к пониманию общества, то связку ключей, в которой могут оказаться и те, которые откроют путь к такому пониманию.

В науках о природе предсказания обычно строятся на основе научных законов и совпадают по своей структуре с объяснениями. Характерная особенность предсказываемых на основе законов явлений заключается в том, что они, как и сами законы, являются необходимыми и не может быть так, чтобы они не произошли.

Человеческая история представляет собой последовательность индивидуальных и неповторимых событий. В ней нет никаких общих законов, определяющих ее ход и предопределяющих будущее. Каким окажется будущее, во многом зависит от деятельности самого человека, от его ума и воли. Хотя в истории невозможны предсказания, опирающиеся на научные законы («законы истории»), в ней возможны предсказания, основывающиеся на знании причинных связей и устойчивых социальных тенденций, подобных современным тенденциям роста численности человечества, совершенствования техники и т. д. Будущее является открытым не только для индивидов, но и для отдельных обществ и для человечества в целом. Вместе с тем будущее в известной мере определяется каузальными связями, имеющимися между существующими социальными явлениями и уже успевшими сложиться и проявить себя тенденциями социального развития. Предсказание развития общества в будущем является сложным, во многом такое предсказание ненадежно, но, тем не менее, оно возможно.

**Примеры паранаук.** Типичным примером паранауки может служить *парапсихология*.

Парапсихология занимается изучением необычных феноменов предвидения, телепатии, левитации и др. Иными словами, всех тех нуждающихся в объяснении психических явлений, которые представляются не подпадающими под обычное физическое или психологическое объяснение. Термин «парапсихология» предложен П. Бойраком в конце XIX в.; Т. Райн ввел понятие «пси-феномена» и разделил такие феномены на два вида: когнитивные и физические (пси-гамма-феномены и пси-каппа-феномены). К первым, называемым также экстрасенсорным восприятием, относятся ясновидение, способность к предсказанию, телепатия (прямая коммуникация между двумя сознаниями, возможно разделенными большим пространством, обходящаяся без участия органов чувств); ко вторым — психокинез, т. е. духовное воздействие на материальные объекты на расстоянии.

Телепатия является частным случаем телегнозиса — такого знания о состоянии чужого сознания, которое получается, как можно предполагать, не путем восприятия телесных движений другого человека и не благодаря каким-то иным физическим воздействиям, посредством которых обычно устанавливается связь между сознаниями. Вопрос о том, можно ли иметь знание о мыслях другого человека, фактах или будущих событиях без использования обычных сенсорных каналов, остается открытым. Вера в существование такого знания распространена с древнейших времен, но она обычно обосновывалась ссылками на сверхъестественные силы. Научных — и прежде всего твердо установленных эмпирических оснований — для такой веры пока нет.

Еще проблематичнее возможность существования парапсихологических феноменов физического характера: выпадение определенной комбинации цифр при игре в кости или конкретный расклад карт при сдаче по мысленному приказу человека; перемещение предметов одним усилием воли; преодоление благодаря только такому усилию гравитации (левитация); передвижение, нередко разрушительное, предметов при полтергейсте и т. п.

Из парапсихологии иногда делались выводы о существовании параллельной, чисто духовной реальности, о возможности общения с духами и т. п. Более осторожные сторонники парапсихологии считают парапсихологическую деятельность реально существующей, но отвергают ее спиритическое обоснование. Противники парапсихологии обосновывают свои взгляды тем, что пси-феномены совершенно не вписываются в сложившиеся представления о научных данных и что все должно объясняться с помощью естественных факторов, а не путем постулирования еще одной, доступной лишь избранным реальности.

Можно думать, что некоторые положения парапсихологии со временем войдут в состав обычной психологии при условии, конечно, их радикального переосмысления. Однако большинство гипотез парапсихологии носит явно вненаучный характер. Они не имеют какого-либо эмпирического обоснования, плохо согласуются с существующими научными представлениями о полях и силах, существующих в мире, опираются на категории, не имеющие отношения к современной науке, не отвечают тем идеалам, которые ставит перед собой наука, не выдерживают научной критики и т. д.

Еще одним примером паранаучной теории может служить так называемая *теория факторов*. Под «экономическим детерминизмом» обычно понимается теория, согласно которой экономический базис общества детерминирует все другие стороны его жизни. Такой теории придерживался, например, К. Маркс, социальную философию которого можно определить как соединение линейно-стадиального подхода к истории с экономическим детерминизмом. По Марксу, история проходит ряд ступеней (общественно-экономических формаций), своеобразие каждой из которых определяется экономической структурой общества, совокупностью производственных отношений, в которые люди вступают в процессе производства и обмена товаров. Эти отношения соединяют людей и соответствуют определенной ступени развития их производительных сил. Переход к следующей, более высокой ступени вызывается тем, что постоянно растущим производительным силам становится тесно в рамках старых производственных отношений. Экономическая структура есть тот реальный базис, на котором воздвигается и с изменением которого меняется юридическая и политическая надстройка. Под влиянием критики Маркс попытался несколько смягчить положение об одностороннем характере воздействия экономического базиса на идеологическую надстройку (науку, искусство, право, политику, конституции и т. п.) и учесть обратное воздействие надстройки на базис. Экономический детерминизм является основой так называемого материалистического понимания истории, которое видит конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой.

Суть теории факторов сводится к идее, что общественное развитие определяется взаимодействием многих факторов: экономики, науки, техники, религии, морали и т. д.; в разные периоды развития общества ведущим является какой-то один из таких факторов или их группа. Например, в Средние века социальная жизнь определялась

прежде всего религией и традицией. В индустриальном обществе ведущими факторами являются развитие науки и техники.

Теория факторов сложилась в конце XIX — начале XX в. как реакция на неудачные попытки объяснить общественное развитие решающим воздействием какого-то одного, остающегося постоянным фактора (географического, экономического, геополитического, демографического, расового и др.). Но если, например, экономический детерминизм был теорией, то теория факторов теорией вообще не является. Она представляет собой только общую, быть может, небезынтересную, рекомендацию по построению теории социального развития. Не будучи научной теорией, теория факторов не способна служить основанием ни для объяснения (предсказания) социальных явлений, ни для их понимания.

Еще одним простым примером паранауки может служить постулируемая витализмом особая, не сводимая ни к чему иному элементарная сила, благодаря которой в организме возникают явления жизни. В начале прошлого века немецкий биолог Г. Дриш попытался ввести гипотетическую *жизненную силу*, названную им «энтелехией», присущую только живым существам и заставляющую их вести себя так, как они себя ведут. Он полагал, что жизненная сила имеет различные виды, зависящие от стадии развития организмов: в простейших одноклеточных организмах она сравнительно проста, у человека она значительно больше, чем разум, потому что ответственна за все то, что каждая клетка делает в теле. Г. Дриш не определял, однако, чем энтелехия, например, дуба отличается от энтелехии жирафа; он просто говорил, что каждый организм имеет свою собственную энтелехию. Обычные законы биологии он истолковывал как проявления энтелехии. Существование этой таинственной жизненной силы невозможно было проверить на опыте, поскольку ничем, кроме известного и объяснимого без нее, она себя не проявляла. Она ничего не добавляла к научному объяснению, и никакие конкретные факты не могли ее коснуться. Не имеющая принципиальной возможности фальсификации, гипотеза энтелехии была отброшена как бесполезная.

И наконец, в качестве последнего примера паранауки можно привести *механицизм* — концепцию, широко распространенную в прошлом, но отброшенную сейчас. Согласно механицизму, все явления полностью объяснимы на основе механических принципов. Под механицизмом понималась также идея, что каждое явление представляет собой результат существования материи, находящейся в движении. И может быть объяснено, исходя из законов этого движения, или доктрины, что природа, подобно машине, является таким целым, функционирование которого автоматически обеспечивается его частями. В космологии механицизм впервые был провозглашен Лев-

киппом и Демокритом, заявлявшими, что природа объяснима с помощью атомов, находящихся в движении, и пустоты. Механицизм поддерживался Г. Галилеем и другими учеными XVII в. Согласно Р. Декарту, сущностью материи является протяженность, и все физические явления объяснимы через законы механики. Механицизм в биологии представляет собой утверждение, что любые организмы могут быть полностью объяснены на основе механических принципов. Противоположностью механицизма здесь служит витализм, также являющийся паранучной концепцией.

**Примеры псевдонаук.** В качестве псевдонаучных концепций рассмотрим коротко *алхимию и астрологию*. Алхимия является типичным феноменом средневековой культуры, в котором своеобразно переплетались начальные естественнонаучные (прежде всего химические) представления о мире и характерные для данной культуры представления о человеке и обществе<sup>1</sup>. Главной целью алхимиков являлись поиски так называемого философского камня («великого эликсира», «великого магистерия», «красной тинктуры» и т. д.), способного превращать неблагородные металлы в золото и серебро. «Философский камень» должен был, кроме того, обеспечивать вечную молодость, излечивать все болезни и т. д.

Алхимия, существовавшая в рамках средневековой культуры, не могла не разделять основные особенности этой культуры: ее общую спиритуалистическую ориентацию, догматизм и авторитарность, традиционализм и символизм, иерархизм и т. д. Этому не способно было помешать даже то, что алхимия, стоявшая между оккультным теоретизированием и химико-техническим имитирующим ремеслом, представляла собой изнанку магистральной культуры.

Символический характер алхимии проявлялся, в частности, уже в параллелизме двух действий: превращение вещества в процесс «великого делания» являлось только символом параллельной внутренней работы алхимика над собой. «Великое делание», призванное дать в итоге «философский камень», было лишь внешней стороной алхимического процесса, символизировавшей то, что в его ходе сам алхимик уподобляется богу. Не случайно алхимия считалась в Средние века ересью. В рассуждениях алхимиков ртуть и сера не только вещества, но и бесплотные принципы, газ не только нечто воздухоподобное, но и таинственный дух и т. п.

В алхимическом рецепте, принадлежавшем по преданию испанскому философу и логика Раймонду Луллию, предписываются, в

---

<sup>1</sup> См. об алхимии подробнее: *Рабинович В. Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979; *Он же.* Ученый Средневековья. Психологический портрет // Научное творчество. М., 1979.



частности, такие действия: «Непроницаемые тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно раздели, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови». Этот рецепт столь же темен, как и тени, покрывающие реторту с драконом внутри. Может даже показаться, что это бессмысленное бормотание мага или шарлатана, рассчитанное на непосвященных и не имеющее никакого отношения к химии.

Но как раз с химической стороной дело оказалось относительно простым. Уже в XIX в. этот рецепт был расшифрован, таинственные львы и драконы исчезли и вместо них появились самые обыкновенные вещества. «Буквально химическое» прочтение алхимического рецепта показало, что в нем описывается серия химических превращений свинца, его окислов и солей. В частности, «горючей водой» оказался обычный ацетон.

Однако только «химического» толкования и прояснения явно недостаточно. Оно выявляет только скелет алхимического текста, оставляя в стороне все остальное, без чего алхимия перестает быть полнокровным средневеково-противоречивым культурным явлением. Алхимия, выявившая ряд химических веществ и описавшая их взаимодействие друг с другом, явилась предшественницей возникшей в XVII в. науки химии. Алхимия не была наукой, хотя и опиралась частично на опыт и использовала некоторые собственно химические методы. Существование «философского камня» физически (онтологически) невозможно, поскольку противоречит хорошо обоснованным законам природы.

Феномен алхимии, одновременно «недохимии» и «сверххимии», надолго пережил Средние века. Известно, в частности, что И. Ньютон, настаивавший в своих книгах по физике на необходимости строго механического, каузального и математического объяснения природы, проводил алхимические опыты. Делал он это, впрочем, в тайне от своих коллег по «естественной (натуральной) философии».

С точки зрения социальной философии алхимия может рассматриваться как смутное предвосхищение возникшей только в Новое время идеи создания «рая на земле» для всех людей, или коммунизма. Алхимики первыми начали поиски способа создания богатого и процветающего общества, в котором нет надобности в тяжелом и монотонном труде, а легкость получения богатства (золота) лишает смысла само понятие частной собственности.

Астрология представляет собой концепцию, согласно которой события земной жизни можно предсказать по расположению небесных светил. Обычно астролог для предсказания судьбы человека составляет по особым правилам гороскоп — условный чертеж расположения светил в момент рождения данного человека.

Астрология как толкование звезд была широко распространена на Древнем Востоке, откуда она пришла в Древнюю Грецию и затем в Рим, где означала то же, что и астрономия. Позднее астрология начала рассматриваться как средство для определения судьбы человека по положению и движению звезд. основополагающий учебник по астрологии написал знаменитый астроном Птолемей, полагавший, однако, что расположение звезд — только половина дела, а остальное зависит от самого человека. Другой, не менее знаменитый астроном И. Кеплер составлял гороскопы для своих современников.

Критика астрологии началась еще в античности; в Новое время даже отдаленное сходство какой-то научной концепции с астрологией истолковывалось учеными как свидетельство ущербности данной концепции. «Со стороны аристотелианцев и других рационалистов вплоть до Ньютона, — пишет об астрологии К. Поппер, — она подвергалась нападкам по ошибочным основаниям — за ее ныне признанное утверждение о том, что планеты оказывают “влияние” на земные (“подлунные”) события. Фактически ньютоновская теория гравитации, и в частности лунная теория приливов, исторически была детищем астрологических идей. По-видимому, Ньютон очень не хотел принимать теорию, восходящую к тому же источнику, что и теории, объясняющие, например, возникновение эпидемий гриппа “влиянием” звезд. И Галилей, несомненно, по тем же основаниям отвергал лунную теорию приливов, и его опасения по поводу результатов Кеплера легко объясняются его опасениями в отношении астрологии»<sup>1</sup>.

Астрология является типичной псевдонаукой, тем не менее она существует и в наши дни. Отчасти это объясняется извечным желанием человека узнать свое будущее, иметь представление о своей судьбе, о том, «что написано на звездах». Кроме того, человек, вооружившийся своим гороскопом, имеет, как ему кажется, хороший аргумент в поддержку убеждения, что он не несет полной ответственности за свои дела и поступки. Долгожительство астрологии во многом объясняется также тем, что она пользуется псевдоэмпирическим методом, т. е. методом, который хотя и апеллирует активно к эмпирическим данным (гороскопы, биографии и др.), тем не менее не соответствует научным стандартам. И наконец, астрология как целостная те-

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. С. 248.

ория вообще не допускает фальсификации, опровержения фактами. Астрологи обращают внимание только на то, что ими считается подтверждающими свидетельствами, и пренебрегают неблагоприятными для них примерами. Свои предсказания они формулируют в достаточно неопределенной форме, что позволяет объяснить всё, что могло бы оказаться опровержением астрологической теории, если бы она и вытекающие из нее пророчества были более точными.

#### § 4. Две основные задачи научного исследования

Выражаясь кратко, можно сказать: то, чем занимаются ученые, сводится к двум основным задачам: *обоснованию* выдвигаемых идей и теорий и *рационализированию* мира с помощью этих идей и теорий. Обе эти фундаментальные цели науки пока описываются неудовлетворительно. Об обосновании говорится обычно вскользь. Иногда обоснование сводится только к научной критике и отбору тех теорий, которые устояли в ходе такой критики (К. Поппер); в других случаях для обоснования считается достаточным использования двух принципов — простоты и консерватизма, или привычности (У. Куайн).

Понятие рационализирования в философии науки вообще пока не вводилось. Вместе с тем только эти два связанных между собой по смыслу понятия позволяют раскрыть цели научного поиска и конкретизировать сложный процесс конструирования научных теорий.

Рационализирование изучаемого научной теорией фрагмента реальности — это набрасывание на него сети научных, достаточно строго определенных и связанных между собою понятий. Рационализирование позволяет объяснять, предсказывать и понимать исследуемые явления. Эта цель может быть достигнута только при условии, что научная теория является в достаточной мере обоснованной, и, прежде всего, имеет убедительные эмпирические основания.

Между научной теорией и исследуемым ею фрагментом реальности существуют, таким образом, отношения двоякого типа. С одной стороны, теория черпает в изучаемых ею предметных отношениях свое обоснование. Это движение от предметного мира к теоретическому всегда дополняется обратным движением — от теоретического мира к предметному, или рационализированием.

Обоснование и рационализирование являются двумя взаимодополняющими процедурами. Нужно не только привести теорию в соответствие с исследуемыми объектами, т. е. обосновать ее, но и осмыслить мир исследуемых явлений в системе понятийных отношений, без которой он остается непрозрачным, необъясненным и непонятным.

Отношения между обоснованием и рационализированием можно представить в виде простой схемы.

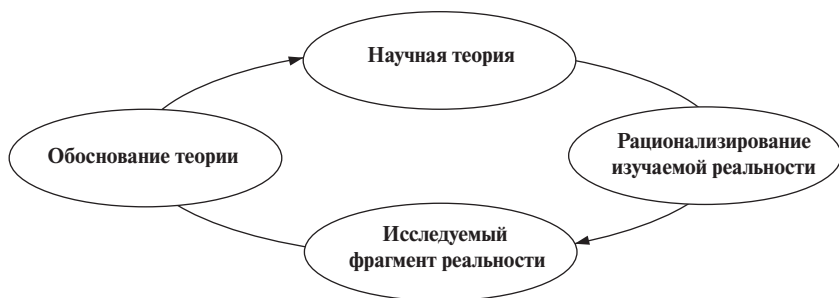


Рис. 1

Рационализирование находит свое выражение в двух дополняющих друг друга операциях: *объяснении* и *понимании*. Изучаемые явления объясняются исходя из системы теоретических представлений о них; эти явления понимаются на основе тех ценностей, которые явно или неявно постулируются теорией. Операции объяснения и понимания составляют сущность процесса рационализирования, или теоретического осмысления исследуемых объектов, подведения их под те схемы взаимных отношений, которые диктуются теорией. Операция предсказания является частным случаем операции объяснения. Предсказание представляет собой объяснение, направленное в будущее и касающееся тех объектов или событий, которые еще не наступили.

Особую ценность имеют *номологические* объяснения и предсказания, или объяснения и предсказания на основе научных законов. Такого рода объяснения и предсказания достижимы, однако не во всех науках, а только в науках, говорящих о вечном повторении одних и тех же событий, состояний и процессов и не принимающих во внимание «стрелу времени» и «настоящее». В науках, утверждающих постоянное изменение исследуемых ими объектов, объяснения и предсказания опираются на общие истины, не являющиеся законами природы. Особую роль среди таких истин имеют утверждения о *тенденциях развития*, в частности утверждения о тенденциях социального развития. В науках о мире, рассматриваемом в процессе изменения, большая часть объяснений и предсказаний основывается не на общих утверждениях, а на утверждениях о причинных связях.

Далее будут подробно рассмотрены проблема обоснования научных положений и теорий и проанализированы две основные операции, с помощью которых теория делает мир прозрачным и понятным

и тем самым рациональным, — операции объяснения (предсказания) и понимания. Будет показано, что в сложных отношениях теории и описываемой ею реальности не только внешняя реальность меняет теорию, постоянно стремящуюся найти максимально твердые эмпирические основания, но и теория изменяет реальность, точнее, теоретическое видение последней.

Анализ исследуемых объектов и их отношений — исходный пункт построения и обоснования теории. Теория находится в процессе постоянного приспособления к этим объектам и всегда опасается утратить связь с ними. С другой стороны, существующая теория, даже если она элементарна, является теми очками, через которые исследователь воспринимает мир и без которых он попросту ничего не видит. Объяснение и понимание мира на основе теории является в известном смысле его изменением, а именно изменением его видения и истолкования.

Исследуемая реальность заставляет меняться теорию, теория принуждает нас менять наше видение мира, давать происходящим явлениям новое объяснение и истолкование. Эта простая картина усложняется тем, что научная теория существует не в вакууме, а в системе других научных теорий своего времени, с которыми она должна считаться и которые способны как поддерживать ее, так и порождать сомнения в ее приемлемости.

Эмпирическое обоснование, черпаемое теорией из ее согласия с исследуемой реальностью, всегда дополняется *теоретическим обоснованием*, проистекающим из взаимных отношений обосновываемой теории с другими научными теориями и из всей атмосферы научного творчества. Теория существует, далее, не только в чисто научном контексте, но и в контексте культуры своего конкретного времени и своей исторической эпохи. Из контекста науки в целом и контекста культуры теория черпает свое *контекстуальное обоснование*. Это касается не только социальных и гуманитарных теорий, особенно тесно связанных с культурой своей эпохи, но и естественнонаучных теорий, в случае которых влияние культуры гораздо менее заметно.

Противопоставление обоснования и рационализирования оказывается, таким образом, относительным. Оно относительно в еще одном смысле. Удачное объяснение и глубокое понимание изучаемых объектов позволяет не только представить изучаемый фрагмент действительности как систему отношений научных понятий, но и является в определенном смысле важным элементом процесса обоснования теории. Теория, позволяющая объяснять и понимать новые и тем более неожиданные объекты и их связи, представляется более обоснованной, чем теория, не дающая интересного и глубокого объяснения и понимания исследуемых ею объектов.

Последний момент, подчеркивающий относительность противопоставления обоснования и рационализирования, связан с тем, что утверждения теории взаимно поддерживают друг друга. Как говорил Л. Витгенштейн, в хорошей теории утверждениям трудно упасть, поскольку они держатся друг за друга, как люди в переполненном автобусе. Этот аспект обоснования научной теории не касается, конечно, рационализирования.

Рационализирование как истолкование предметов, свойств и отношений реального мира в терминах некоторой теоретической системы представляет собой движение от теоретического мира к предметному, теоретизацию последнего. Рационализированию противостоит обоснование — обратное движение от предметного мира к теоретическому, наделение теории предметным содержанием. Оба движения — от теории к реальности и от реальности к теории — тесно взаимосвязаны. Об обосновании говорится в тех случаях, когда мир, описываемый теорией, считается исходным и более фундаментальным, чем мир самой теории. О рационализировании можно вести речь, если мир, задаваемый теорией, берется как более фундаментальный, ясный, чем описываемый теорией фрагмент реального мира.

Например, перед средневековой культурой стояла двуединая задача: рационализирования и обоснования религиозного учения. Его понимание могло быть достигнуто путем постижения предметного мира, связывания недоступного самого по себе умозрительного, небесного мира с миром реальным, земным. С другой стороны, сам предметный мир становился понятным и обжитым в той мере, в какой на него распространялась сеть понятий и отношений умозрительного мира. Укоренение религии являлось постижением предметного мира и его религиозным рационализированием; постижение мира означало набрасывание на него сети отношений, постулируемых религией.

Средневековой церкви предстояло, пишет Л. П. Карсавин, развивая «небесную жизнь» в высших сферах религиозности, нисходить в мир и преобразовать его в Град Божий, живя «земной жизнью». Поэтому в церкви одновременно должны были обнаруживаться два видимо противоположных движения, лишь на мгновение раскрывающих свое единство: движение от мира к небу и движение от неба к миру<sup>1</sup>.

Движение к миру означало восприятие его культуры, частью внешнее освоение, т. е. обмирщение, и возможность падений с высот «небесной жизни». Движение к небу, наиболее энергично выражавшееся в религиозном умозрении и мистике, грозило устранением

---

<sup>1</sup> Карсавин Л. П. Культура Средних веков. Общий очерк. Пг., 1918. С. 137.

от всего мирского, вело к аскетизму и пренебрежению земными целями. Обоснование религиозной теории (теологии) и рационализирование с ее помощью мира были необходимы для жизненности друг друга, они, переплетаясь, создавали одно неразложимое в своих проявлениях противоречивое целое. Особенно наглядно это выразилось в средневековом искусстве: оно аскетично и всецело наполнено «неземным содержанием», но не настолько, чтобы совершенно оторваться от земли и человека, пребывающего, хотя и временно, на ней.

Угроза «приземления небесного», постоянно витавшая над средневековой культурой, реализовалась только на рубеже средних веков и Нового времени. В этот период рационализирование земного мира получило явный приоритет над обоснованием религии, в результате чего божественные предметы оказались приземленными, нередко сниженными до вполне житейских и будничных, а человеческое начало приобретать черты возвышенно-божественного. Небесный мир как бы сдвинулся с места и устремился в здешний, земной мир, пронизывая его собою.

В современной науке, конструирующей высоко абстрактные теоретические миры и устанавливающей сложные их связи с предметным миром, процессы обоснования (движения от предметного мира к теоретическому) и рационализирования (обратного движения от теоретического мира к предметному) переплетены особенно тесно. В философии науки некоторое внимание уделяется, однако, только процедурам обоснования, что чревато опасностью объективизма и возникновением иллюзии полной понятности мира на основе существующих теорий. Сходная ситуация существовала в естествознании в конце XIX в., когда рационализирование явно преобладало над обоснованием, и казалось, что развитие естественных наук завершено и никаких крупных открытий ожидать уже не приходится.

Понятие рационализирования (рационализации) употребляется в социологии, и перенос его в философию науки является расширением его первоначального значения. Процесс рационализации, как его определяет А. С. Панарин, — это последовательное преодоление стихий природы, культуры и человеческой души (психики) и замена их логически упорядоченными системами практик, следующих принципу эффективности. Первоначальными источниками рационалистической мотивации являлись страх перед безднами хаоса и стремление отвоевать у него пространство упорядоченности и предсказуемости. «Только с возобладанием социоцентрических установок, вызванных к жизни выпадением человека из природной гармонии, противопоставлением природы и культуры возникает устойчивая ориентация на упорядочивание “неразумных” стихий окружающего мира. Поэтому процесс рационализации включает психологию насилия над

этим миром, статус которого занижается и ставится под вопрос. Процесс рационализации предполагает дихотомию активный субъект — пассивный объект; в ранге последнего может выступать и природная среда, которую предстоит «покорить», и собственные инстинкты, которые надлежит обуздать, и культура, которую необходимо модернизировать. Процесс рационализации предполагает, с одной стороны, постоянную критическую рефлексия, стимулируемую недоверием к внешне заданным и унаследованным формам, а с другой — веру в безграничные возможности усовершенствования себя самого и окружающего мира посредством логически ясных процедур, а также процессы модернизации человеческого менталитета, общественных отношений и практик»<sup>1</sup>.

А. С. Панарин выделяет две модели процесса рационализации, выработанные европейской традицией. Первая, тоталитарная модель наиболее полно реализуется в марксистском проекте, приписывающем иррациональность индивидуальному сознанию и связывающая процесс рационализации со всеупорядочивающей деятельностью государства, назначение которого — преодолеть анархию общественной и личной жизни, подчинив их вездесущему рациональному планированию. Вторая, либеральная, модель, напротив, находит источники иррационального как раз в надындивидуальных структурах, порождающих ложные цели и провоцируемые ими ненужную жертвенность и коллективную расточительность.

Аналогами этих двух моделей рационализирования социальной жизни в научном познании являются рассматриваемые далее *методологизм* и *антиметодологизм*. Выделение только двух крайних типов рационализирования социальной жизни является таким же упрощением реальной картины этой жизни, как и сведение всех возможных отношений к научному методу к методологизму и антиметодологизму. О разнообразии возможных моделей рационализирования общества речь пойдет, однако, только в заключительной главе книги.

---

<sup>1</sup> Панарин А. С. Рационализации процесс // *Философия: энциклопедический словарь*. М., 2004. С. 717.



## Глава II

# НАУЧНЫЙ МЕТОД

### § 1. Общая, частная и конкретная методология

Особенностью излагаемого здесь подхода к науке и, соответственно, к научному методу является рассмотрение научного познания как одной из областей *человеческой деятельности*, осуществляемой определенным, достаточно устойчивым кругом людей — *научным сообществом*. Такой подход диктует широкое истолкование методологии, при котором в нее включаются не только способы обоснования, применяемые в науке, но и анализ критериев приемлемости научных теорий, а также исследование тех категорий, в системе которых всегда протекает научное исследование.

Широко понимаемая методология, характеризующаяся обычно как «общая», или «философская», говорит не только о методах науки, но и о той среде, в которой протекает их применение; о тех ценностях, которые должны быть достигнуты; о тех ограничениях, которые налагаются на исследователя, и т. д. Обсуждение проблем саморегуляции науки, открытости научного исследования, научного критицизма, запрета в науке некорректных приемов убеждения, пропаганды и проч. сближает общую методологию с этикой, или моралью, науки. В число методов обоснования научного знания включаются не только эмпирические и теоретические, но и контекстуальные методы, предполагающие обращение к традиции, авторитетам, здравому смыслу, интуиции. Обсуждение последних предполагает сближение методологии наук о культуре с философской герменевтикой.

Социальные и гуманитарные науки, ориентированные на ценности, существенно отличаются от естественных наук своими частными методами. Однако своеобразие познания общества и человека определяется прежде всего той системой категорий, в рамках которой протекает это познание и которая определяет его основные координаты. С точки зрения общих характеристик научного метода различие между науками о природе и науками о культуре является несущественным. И те и другие руководствуются одними и теми же общими методологическими соображениями.

Под *методом* обычно понимается любая процедура, используемая для получения определенного результата. Метод в широком смысле

включает не только предписания или правила определенной деятельности, но и те критерии и идеалы, которыми она руководствуется, образцы удачного применения метода, требования к тому, кто пользуется данным методом, и т. д.

Под *научной методологией*, как правило, понимается систематический анализ тех рациональных принципов и процессов, которые должны направлять научное исследование. Методология занимается не только наукой в целом, но и отдельными проблемами и их группами в рамках изучения процесса научного познания.

В XIX в. методологию науки нередко рассматривали как ветвь логики или как своего рода прикладную логику: методология, как тогда казалось, изучает приложение логических принципов и операций в сфере научного познания. Сложилась даже так называемая расширенная логика, сторонники которой резко сдвинули центр тяжести логических исследований с изучения правильных способов рассуждения на разработку проблем теории познания, причинности, индукции и т. п. В логику были введены темы, интересные и важные сами по себе, но не имеющие к ней прямого отношения. Собственно логическая проблематика отошла на задний план. Вытеснившие ее методологические проблемы трактовались, как правило, упрощенно, без учета динамики научного познания. С развитием современной (математической или символической) логики это направление в логике, путающее ее с поверхностно понятой методологией, постепенно захирело.

Методология науки не является прикладной логикой. Как станет ясно из дальнейшего, то содержание методологии, которое тем или иным образом связано с проблематикой логики, незначительно (дедуктивное обоснование, фальсификация, индуктивные приемы обоснования и т. п.). Это не означает, конечно, что идеи и аппарат логики не смогут использоваться при исследовании отдельных конкретных проблем методологии.

Методологические исследования можно разделить на *общие*, *частные* и *конкретные*. Общая методология занимается проблемами обоснования научного знания, независимо от того, в какой из конкретных научных дисциплин оно получено, проблемой роли опыта в научном познании реальности, различиями между науками о природе и науками о культуре, структурами таких универсальных операций научного мышления, как объяснение и понимание, проблемой единства научного познания и др.

Частная методология исследует методологические проблемы отдельных наук или их узких групп. Можно, например, говорить о методологии физики, о методологии биологии, о методологии наук исторического ряда. И в физике, и в биологии применяется операция

объяснения. Вместе с тем многие биологические объяснения используют понятие цели, которое теряет смысл применительно к физическим объектам. Что представляет собой целевое, или телеологическое, биологическое объяснение, и почему оно может использоваться только в биологических науках, но не в физике, космологии или химии? Можно ли заменить телеологическое объяснение обычным для других естественных наук объяснением через научный закон? Эти и подобные им вопросы относятся к частной методологии биологических наук.

В социальных и гуманитарных науках сравнительно хорошо разработаны частные методологии социологии, экономической науки, психологии, наук исторического ряда и др. Особенностью всякой частной методологии является то, что она, будучи интересной для какой-то отдельной науки или узкой группы наук, почти не представляет интереса для других наук.

Объекты исследования социальных и гуманитарных наук находятся в процессе постоянного изменения, и каждый из них не может быть вполне понят в отвлечении от его истории. Основываясь на этом обстоятельстве, иногда говорят, что история является в некотором смысле «общей наукой», поскольку к ней вынуждены обращаться все другие науки о культуре. И вместе с тем своеобразная методология исторического исследования вряд ли может вызвать интерес у лингвиста, психолога или экономиста.

Конкретная методология, называемая иногда *методикой*, занимается методологическими аспектами, связанными с отдельными исследовательскими операциями в рамках конкретных научных дисциплин. К сфере этой методологии, меняющейся от науки к науке, относятся, например, методика проведения физического эксперимента, методика эксперимента в биологии, методика опроса в социологии, методика анализа источников в истории и т.п.

## § 2. Понятие научного метода

*Научный метод* представляет собой систему категорий, ценностей, регулятивных принципов, способов обоснования, образцов, которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество. Научный метод предполагает:

- достаточно устойчивую и ясную систему категорий, служащих координатами научного мышления;
- определенную систему тех идеалов, на которые ориентируются в своей деятельности ученые;

- систему норм научного познания, требующих обоснованности научного знания, его логической последовательности и т. д.;
- специфический отбор способов обоснования полученного знания;
- ряд общих регулятивных принципов, соответствие которым желательно, но не обязательно;
- особые, специфические для каждой научной дисциплины правила адекватности;
- особые принципы упорядочения, или иерархизации, многообразных толкований истины, типов научных теорий, применяемых в науке приемов обоснования, видов научного объяснения;
- использование определенных философских представлений о мире, позволяющих прояснить философские основания науки и использовать метафизику в анализе роста и развития научного знания;
- определенные образцы успешной исследовательской деятельности в конкретной области.

В числе научных категорий — бытие (существование), становление, время, пространство, изменение, причинность, детерминизм, рациональность, ценность, истина, убеждение, знание и т. д.

Среди ценностей, направляющих научную деятельность, первостепенную роль играет *реализм* — убеждение в реальном (чаще всего материальном) существовании исследуемых объектов, в том, что они независимы от ученого, не являются его конструкцией, иллюзией, фантазией и остаются в силу этого одинаковыми для всех исследователей. Иногда вместо термина «реализм» используется термин «объективность»: «Краеугольным камнем научного метода является постулат о том, что природа объективна» (Ж. Моно). Однако, как отмечает К. Лоренц, в «постулате объективности» содержатся на самом деле два разных постулата, один из которых относится к объекту научного поиска, а другой имеет в виду самого ученого. Прежде всего, очевидно, следует допустить материальное существование самого объекта исследования, если исследование рассчитывает иметь какой-нибудь смысл. В то же время объективность предполагает определенные, лежащие на ученом обязанности, требующие непредвзятого анализа исследуемого объекта. Эти обязанности нелегко поддаются явному определению.

Другой основополагающей научной ценностью является *эмпиризм* — уверенность в том, что только наблюдения и эксперименты играют решающую роль в признании или отбрасывании научных положений, включая законы и теории. В соответствии с требованием эмпиризма аргументация, не являющаяся эмпирической, мо-

жет иметь только вспомогательное значение и никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории. В методологическом плане эмпиризм гласит, что различные правила научного метода не могут допускать «диктаторской стратегии»: они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами; природа должна быть способна хотя бы иногда наносить нам поражения.

К ценностям, предполагаемым научным методом, относятся далее:

- теоретичность — стремление придать итогам исследования особую систематическую форму, а именно форму теории, способной обеспечить объяснение (предсказание) и понимание исследуемых явлений;
- истинность — соответствие научных идей и теорий описываемым ими фрагментам реальности;
- объективность — требование избавляться от индивидуальных и групповых пристрастий, непредвзято и без предубеждений вникать в содержание исследования, представлять изучаемые объекты так, как они существуют сами по себе, независимо от субъекта, или «наблюдателя», всегда исходящего из определенной «точки зрения»;
- совместимость — убеждение, что новое знание должно в целом соответствовать имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям или, если такого соответствия нет, объяснять, в чем состоит ошибочность ранее принятых представлений;
- адекватность — требование давать соответствующую исследуемому фрагменту реальности картину изучаемых объектов, т. е. такую их картину, которая способна обеспечить объяснение, предсказание и понимание этих объектов;
- критичность — готовность подвергнуть полученные выводы критике и проверке в надежде найти ошибки, чему-то научиться на этих ошибках и, если повезет, построить более совершенную теорию;
- открытость — возможность свободного обмена информацией в рамках научного сообщества;
- воспроизводимость — повторяемость проведенных другими исследователями наблюдений и экспериментов, причем с теми же результатами, что и полученные ранее.

Множество основных ценностей, которыми руководствуется ученый, не имеет отчетливой границы, и данный их перечень не является исчерпывающим. В дальнейшем все ценности науки делятся на

*идеалы науки и нормы науки.* Нет оснований сводить эти ценности к какой-то одной или немногим из указанных, например, к критичности, как это делает, например, К. Поппер, полагающий, что критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, или опровержимость.

Соответствие указанным ценностям гуманитарных и подобных им наук носит иной характер, чем соответствие этим же ценностям естественных наук, подобных физике или химии, и социальных наук. Это касается в первую очередь требований эмпиризма, теоретичности, объективности, критичности, адекватности. Данные требования гораздо труднее реализовать в науках первого типа, чем в науках второго типа. В частности, та степень теоретичности и объективности, которая является обычной в естественных и социальных науках, использующих временной ряд без «настоящего» и оценочный ряд без «хорошо», никогда не достигается в гуманитарных и подобных им науках, опирающихся на временной ряд с «настоящим» и предполагающих (явные или неявные) абсолютные оценки.

Допускаемые научным методом способы обоснования образуют определенную иерархию, вершиной которой является эмпирическая аргументация. Далее следует теоретическая аргументация: дедуктивная и системная аргументация, методологическая аргументация и др. Что касается контекстуальной аргументации (ссылки на традицию, авторитеты, интуицию, веру, здравый смысл, вкус и т. п.), она считается менее убедительным, а иногда и просто сомнительным способом научного обоснования. И вместе с тем без контекстуальных, зависящих от аудитории аргументов не способны обходиться ни гуманитарные, ни нормативные науки, поскольку «все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами» (Х. Г. Гадамер).

Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщения. Но из этого не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются.

Научный метод предполагает, что новое научное положение должно находиться в согласии не только с эмпирическими данными и хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными регулятивными принципами, складывающимися в практике

научных исследований. Эти принципы разнородны, обладают разной степенью общности и конкретности. Наиболее известными из них являются принцип простоты (требование объяснения изучаемых явлений при минимальном числе независимых и как можно более простых допущений); принципы привычности или консерватизма (рекомендация избегать неоправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов); принцип универсальности (пожелание проверять выдвинутое положение на приложимость его к классу явлений, более широкому, чем тот, на основе которого оно было первоначально сформулировано); принцип красоты (требование, чтобы хорошая теория отличалась особым эстетическим впечатлением, элегантностью, ясностью, стройностью и даже романтичностью).

В каждой области знания есть свои *правила (стандарты) адекватности*. Они являются не только контекстуальными, но и имеют во многом конвенциональный характер. Эти стандарты, принимаемые научным сообществом, касаются общей природы объектов, которые должны быть исследованы и объяснены, той количественной точности, с которой это должно быть сделано, строгости рассуждений, широты данных и т. п.

Научный метод не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследования. Даже самые очевидные из его правил могут истолковываться по-разному и имеют многочисленные исключения. Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным их содержанием является не кодифицируемое, вырабатываемое в самой практике исследования, мастерство — умение проводить конкретное исследование и делать вытекающие из него обобщения. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил так же невозможно, как кодифицировать мастерство художника или мастерство политика.

Тема философских оснований науки, хорошо разработанная в отечественной философии науки, отдельно рассматриваться не будет. Можно лишь отметить, что именно философские идеи нередко являются тем источником, из которого вырастают фундаментальные научные теории, и эти идеи часто стимулируют научный поиск и указывают путь к новым научным открытиям. «...Ошибочно проводить демаркационную границу между наукой и метафизикой так, — пишет К. Поппер, — чтобы исключить метафизику как бессмысленную из осмысленного языка»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Popper K. Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. N.-Y., 1968. P. 257.

И. Лакатос включает философские принципы в состав ядра научных исследовательских программ и относит их к эвристике, заложенной в каждом таком ядре. Вся наука предстает, таким образом, как огромная исследовательская программа, опирающаяся на «метафизические принципы»<sup>1</sup>. М. Вартофский, последовательно выступавший против неопозитивистской философии науки, отмечает, что метафизические термины обладают такой же ценностью, как и научно-теоретические термины, и любая попытка разделения философии и науки не приводит к успеху. «У нас не может быть сомнения в том, что в истории науки «метафизические модели» играли важную роль при построении научных теорий и в научных спорах по поводу альтернативных теорий. Достаточно сослаться на понятия *материи, движения, силы, поля, элементарной частицы* и на концептуальные структуры *атомизма, механицизма, прерывности и непрерывности, эволюции и скачка, целого и части, неизменности в изменении, пространства, времени, причинности*, которые первоначально имели «метафизическую» природу и оказали громадное влияние на важнейшие построения науки и на ее теоретические понятия»<sup>2</sup>. Борьба неопозитивизма против «дурной метафизики» закончилась, таким образом, возрождением старого убеждения, что философские идеи и принципы являются необходимой составной частью контекста научного поиска.

### § 3. Методологизм и антиметодологизм

*Методологизм* и *антиметодологизм* — две крайние позиции в истолковании значения методологии в развитии научных теорий. Методологизм считает следование научному методу решающим условием приемлемости научной теории и нередко отождествляет соответствие методу с соответствием теоретической конструкции реальности, т.е. с истиной, или, по меньшей мере, с объективностью. Антиметодологизм отрицает возможность использования методологических соображений при оценке теории и в крайних своих вариантах даже утверждает, что научного метода как такового не существует.

Методологизм начал складываться в XVII—XVIII вв. вместе с формированием науки в современном ее понимании. Он естественным образом вытекал из фундаментальных предпосылок мышления Нового времени и из его оппозиции средневековому мышлению, тяго-

---

<sup>1</sup> *Lakatos I.* Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes // Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970. P. 125–127.

<sup>2</sup> *Вартофский М.* Эвристическая модель метафизики в науке // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 63.



тевшему к умозрительным спекуляциям. Зарождающейся науке предстояло научиться вести систематическое наблюдение за природными явлениями, не искажаемое предвзятыми допущениями.

Показательна в этом плане борьба Ф. Бэкона против беспорядочного опыта, характерного для позднего Средневековья, стремление доказать, что научное значение имеет лишь методический опыт, полученный в результате строго регламентированных процедур. Даже изготовление золота и совершение разных чудес следовало, по Бэкону, осуществлять по строгим, методологически выверенным рецептам. Чуть позднее Р. Декарт попытался разработать универсальный метод, гарантирующий достижение истины в любых областях исследования.

Критика Д. Юмом правдоподобного рассуждения — индукции, считавшейся основой единого научного метода, на долгий период оказалась почти забытой. И. Кант развил концепцию априорных предпосылок, гарантирующих универсальность метода науки; Г. В. Ф. Гегель выдвинул в качестве условия универсальности диалектику; О. Конт и К. Маркс апеллировали к закономерному характеру природных и исторических процессов, как если бы сама онтологическая необходимость обладала способностью диктовать общезначимые правила своего познания.

Проблема «оправдания» индукции, вставшая со всей остротой в конце XIX — начале XX в., привела к постепенному ослаблению позиций методологизма. Характерно, что К. Айдукевич, долгое время шедший в русле старой традиции и определявший понятия обоснования и научности через понятие метода, в 50-е гг. прошлого века уже характеризовал методологизм как весьма ограниченную точку зрения<sup>1</sup>. Проблема обоснования должна ставиться, по Айдукевичу, предельно широко, чтобы в обсуждение было вовлечено и понятие *принятия* утверждения, связанное по своему смыслу с человеческой деятельностью; научные методы сами должны оцениваться и оправдываться с прагматической точки зрения.

Если «классический» методологизм полагал, что существуют универсальные, значимые всегда и везде правила и методы научного исследования, то сложившийся к середине прошлого века «контекстуальный методологизм» ставил правила в зависимость от контекста исследования и заявлял, что, хотя никакие из этих категорических правил не являются универсальными, имеются, тем не менее, универсальные условные правила, предписывающие определенные действия в определенных исследовательских ситуациях. Позднее стала утверждаться промежуточная между методологизмом и антиметодологизмом

<sup>1</sup> Ajdukiewicz K. Język a poznanie. Warszawa, 1965. T. 2. S. 334.

точка зрения, что даже условные правила имеют свои пределы, так что и они могут иногда приводить к отрицательным результатам.

Согласно крайней версии антиметодологизма, методологические правила всегда бесполезны и должны быть отброшены. Если методологизм — это, выражаясь словами Ф. Ницше, «не победа науки, а победа научного метода над наукой», то антиметодологизм — это приоритет бессистемности и хаотичности над научной строгостью и методичностью. За методологизмом всегда скрывается опасность релятивизации научного знания. Если истинность знания определяется не соответствием реальности, а соблюдением методологических канонов, то наука утрачивает почву объективности. Никакие суррогаты, подобные общепринятости метода, его успешности и полезности получаемых результатов, не способны заменить истину в качестве решающего критерия принятия (описательных) утверждений. Подмена ее методологическими требованиями вынуждает признать, что каждое коренное изменение научных методов и концептуальных каркасов приводит к изменению той реальности, которую исследует ученый. Переворот в методологии оказывается радикальным разрывом со старым видением мира и его истолкованием.

Методологизм сводит научное мышление к системе устоявшихся, по преимуществу технических способов нахождения нового знания. Как пишет М. Мерло-Понти, результатом является то, что «научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приемов и процедур фиксации и улавливания. Мыслить — означает пробовать, примеривать, осуществлять операции, преобразовывать при единственном условии экспериментального контроля, в котором участвуют только в высокой степени «обработанные» феномены, скорее создаваемые, чем регистрируемые нашими приборами»<sup>1</sup>.

Наука, лишенная свободы операций, перестает быть подвижной и текучей и во многом лишается способности увидеть в себе построение, в основе которого лежит «необработанный», или существующий, мир. Слепым операциям, выполняемым по правилам научного метода, методологизм придает конституирующее значение: они формируют мир опыта, мир эмпирических данных.

В своих крайних вариантах методологизм склоняется к субъективной теории истины: истинно утверждение, полученное по определенным правилам и удовлетворяющее определенным критериям. Эти правила и критерии могут относиться к происхождению или источнику знания, к его надежности или устойчивости, к его полезности, к силе убежденности или неспособности мыслить иначе. Клас-

---

<sup>1</sup> Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 12.

сическая теория истины как соответствия утверждений описываемым ими фактам, напротив, предполагает, что некоторая концепция может быть истинной, даже если никто не верит в нее, и ее происхождение методологически не безупречно. Научная теория может оказаться ложной, даже если она отвечает всем методологическим канонам и образцам и кажется имеющей хорошие методологические основания для ее признания.

Согласно принципу эмпиризма, в науке только наблюдения или эксперименты играют решающую роль в признании или отбрасывании научных высказываний. В соответствии с этим принципом методологическая аргументация может иметь только второстепенное значение. Она никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории.

В качестве характерного примера антиметодологизма обычно приводится так называемый методологический анархизм П. Фейерабенда: существует лишь один методологический принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на всех этапах человеческого развития, а именно принцип *«Допустимо любое правило»*<sup>1</sup>.

Однако позиция Фейерабенда является скорее попыткой избежать крайностей как методологизма, так и антиметодологизма. Методологические правила, полагает Фейерабенд, нужны и всегда помогают исследователю: ученый, переступивший некоторую норму, руководствуется при этом другой нормой, так что какие-то нормы есть всегда. Проблема в том, что не существует абсолютных, значимых всегда и везде правил и образцов научного исследования, и их поиски являются пустым делом. Условные методологические правила имеют исключения даже в тех ситуациях, к которым они относятся. Эти правила также имеют свои пределы и иногда приводят к отрицательному результату.

Ранее был сформулирован общий методологический принцип эмпиризма: различные правила научного метода не должны допускать «диктаторской стратегии». Они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами: природа должна быть способна хотя бы иногда говорить нам «нет».

Методологические правила расплывчаты и неустойчивы, они всегда имеют исключения. Особую роль в научном рассуждении играет индукция, связывающая наше знание с опытом. Но она вообще не имеет ясных правил. «Ни одно наблюдение, — пишет К. Поппер, — никогда не может гарантировать, что обобщение, выведенное из истинных — и даже часто повторяющихся — наблюдений, будет ис-

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 153.

тинно... Успехи науки обусловлены не правилами индукции, а зависят от счастья, изобретательности и от чисто дедуктивных правил критического рассуждения»<sup>1</sup>. Когда речь идет о «правилах обоснованной индукции» или о «кодексе обоснованных индуктивных правил», имеется в виду не некий реально существующий перечень «правил индукции» (его нет и он в принципе невозможен), а вырабатываемое долгой практикой мастерство обобщения, относящееся только к той узкой области исследования, в рамках которой оно сложилось. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил невозможно.

Научный метод, несомненно, существует, но он не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследователя. Даже самые очевидные из этих правил могут истолковываться по-разному и имеют многочисленные исключения. Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным содержанием, этих правил является *некодифицируемое мастерство* — даваемое самой практикой научной деятельности умение проводить исследование объектов определенного типа и делать вытекающие из такого исследования обобщения.

**Версии методологизма.** Понимая методологизм предельно широко, можно выделить три его версии, различающиеся по своей силе:

- 1) существуют универсальные, значимые всегда и везде правила и методы научного исследования (старый методологизм: Декарт, Кант и др.);
- 2) правила зависят от контекста исследования, ни одно из них не является универсальным; имеются, однако, универсальные условные суждения и соответствующие им условные правила, предписывающие в определенной ситуации определенное действие (контекстуальный методологизм);
- 3) не только абсолютные, но и условные правила и образцы имеют свои пределы, так что даже контекстуально определенные правила могут иногда приводить к отрицательным результатам.

Характерным примером третьей версии является так называемый методологический анархизм П. Фейерабенда, выражаемый им максимой «Все дозволено». «Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности сталкивается со значительными трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования. При этом выясняется, что не существует правила — сколь бы правдоподобным и эпистемологи-

---

<sup>1</sup> Поннер К. Логика и рост научного знания. М., 1985. С. 271.

чески обоснованным оно ни казалось, — которое в то или иное время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случайны и не являются результатом недостаточного знания. Или невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, что они необходимы для прогресса науки»<sup>1</sup>. И далее: «...идея жесткого метода или жесткой теории рациональности покоится на слишком наивном представлении о человеке и его социальном окружении. Если иметь в виду обширный исторический материал и не стремиться «очистить» его в угоду своим низшим инстинктам или в силу стремления к интеллектуальной безопасности до степени ясности, точности, «объективности», «истинности», то выясняется, что существует лишь *один* принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на *всех* этапах человеческого развития, — *допустимо все*»<sup>2</sup>.

Позиция Фейерабенда иногда истолковывается как призыв не следовать вообще никаким правилам и нормам и, значит, как некоторый новый методологический императив, призванный заместить прежние методологические нормы. Однако Фейерабенд утверждает нечто иное: поиски универсальных, не знающих исключений и не имеющих ограничений в своем применении методологических правил способны привести только к такому пустому и бесполезному правилу, как «Все дозволено». Оно означает, что любой способ деятельности исследователя где-нибудь может оказаться дозволенным, оправданным контекстом исследования и ведущим к успеху.

Фейерабенд стремится показать, что всякое методологическое правило, даже самое очевидное с точки зрения здравого смысла, имеет границы, за которыми его применение неразумно и мешает развитию науки. Методологические правила нужны и всегда помогают исследователю. Проблема не в том, какие нормы и стандарты методологии признавать, а какие — нет. Проблема в отношении к методологическим предписаниям и в их использовании. В некоторых ситуациях одни методологические нормы можно заменять другими, быть может, противоположными.

«Такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно *решили* разорвать путы «очевидных» методологических правил, либо *непроизвольно* нарушали их... такая либеральная прак-

---

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Указ. соч. С. 153.

<sup>2</sup> Там же. С. 158–159.

тика есть не просто факт истории науки — она и разумна, и *абсолютно необходима* для развития знания»<sup>1</sup>.

Каким бы фундаментальным или необходимым для науки ни казалось любое конкретное правило, всегда возможны обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже действовать вопреки ему. Например, существуют обстоятельства, когда вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы, противоречащие обоснованным и общепринятым экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем содержание уже существующих и эмпирически адекватных альтернатив, или просто противоречивые гипотезы. Иногда исследователь, отстаивающий свою позицию, вынужден отказаться от корректных приемов аргументации и использовать пропаганду или даже принуждение, потому что аудитория оказывается психологически невосприимчивой к приводимым им аргументам.

Критика Фейерабендом сильных версий методологизма, если отвлечься от ее полемических крайностей, в основе своей верна. Не существует абсолютных, значимых всегда и везде правил и образцов научного исследования, и поиски их являются пустым делом. Условные методологические правила имеют исключения даже в тех ситуациях, к которым они относятся; они имеют свои пределы и иногда приводят к отрицательному результату. Вместе с тем выводы, которые Фейерабенд делает из своей критики, не вполне ясны и в конечном счете внушают известное недоверие к научному методу.

Все методологические правила рассматриваются Фейерабендом в одной плоскости, в результате чего исчезает различие между важными и второстепенными методологическими требованиями, между вынужденными и спонтанными отступлениями от стандартной научной методологии. Способы аргументации, реально применяемые в науке, также уравниваются в правах, и, скажем, и стандартное обоснование гипотезы путем подтверждения ее следствий, и пропаганда оказываются почти одинаково приемлемыми. «Нет никаких гарантий, что известная форма рациональности всегда будет приводить к успеху, так же как у нас нет оснований думать, что известные формы иррациональности всегда будут вести к неудачам»<sup>2</sup>.

Научное исследование не диалог изолированного ученого с природой, как это представляло себе Новое время, а одна из форм социальной деятельности. Ученый — человек своего времени и своей среды, он использует те аргументы, которые характерны для этого

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Указ. соч. С. 153—154.

<sup>2</sup> Feyerabend P. K. Changing Patterns of Reconstruction // British Journal for the Philosophy of Science. 1977. № 4. Vol. 28. P. 368.

времени и которые могут быть восприняты его средой. Научная аргументация, как и всякая иная, должна учитывать свою аудиторию, в частности то, что аудитория иногда оказывается более восприимчивой к ссылкам на традицию или на «классику» (признанные авторитеты), чем, допустим, к ссылкам на эксперимент, истолкование которого не однозначно.

Ученый, проводящий исследование, руководствуется прежде всего правилами, входящими в *ядро* методологических требований. Лишь неудача в применении стандартных правил заставляет его обращаться к тому, что не общепринято в методологии, или даже к тому, что противоречит существующим ее образцам. Ученый начинает также со стандартных приемов *корректной* научной аргументации и старается не отступать от них до тех пор, пока к этому его не вынудят обстоятельства, в частности аудитория.

**Историчность научного метода.** Все правила научного метода допускают исключения, являются условными и иногда могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщества. Но из этого вовсе не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются. В этом отношении «методологический кодекс» вполне аналогичен моральному кодексу. Таким образом, методологическая аргументация является вполне правомерной, а в науке, когда ядро методологических требований достаточно устойчиво, необходимой. Однако только методологические аргументы никогда не способны заставить принять или отвергнуть научную теорию. Особенно это касается методологии гуманитарного познания, которая не настолько ясна и бесспорна, чтобы на нее можно было ссылаться. Иногда даже представляется, что в науках о культуре используется совершенно иная методология, чем в науках о природе.

О методологии практического и художественного мышления вообще трудно сказать что-нибудь конкретное. Как пишет Х. Г. Гадамер, «в опыте искусства мы имеем дело с истинами, решительно возвышающимися над сферой методического познания, то же самое можно утверждать и относительно наук о духе в целом, наук, в которых наше историческое предание во всех его формах, хотя и становится *предметом* исследования, однако вместе с тем само *обретает голос в своей истине*»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Гадамер Х. Г. Истина и метод. М., 1988. С. 40. Сходную мысль о «внеметодическом» («неоперационном») характере гуманитарного мышления выражает М. Мерло-

Далее, методологические представления ученых в каждый конкретный промежуток времени являются итогом и выводом предшествующей истории научного познания. Методология науки, формулируя свои требования, опирается на данные истории науки. Настаивать на безусловном выполнении этих требований значило бы возводить определенное историческое состояние науки в вечный и абсолютный стандарт. Каждое новое исследование является не только применением уже известных методологических правил, но и их проверкой. Исследователь может подчиниться старому методологическому правилу, но может и счесть его неприменимым в каком-то конкретном новом случае.

Истории науки известны как случаи, когда апробированные правила приводили к успеху, так и случаи, когда успех был результатом отказа от какого-то устоявшегося методологического стандарта. Ученые не только подчиняются методологическим требованиям, но и критикуют их и создают новые теории и новые методологии.

Прямое или косвенное эмпирическое подтверждение считается одним из наиболее эффективных методов обоснования научного знания. Вместе с тем К. Поппер долгое время отстаивал мысль, что такая вещь, как подтверждение гипотез, вообще является выдумкой. Возможно только опровержение гипотез на основе установления ложности вытекающих из них следствий. То, что мы привыкли считать достоверным знанием, представляет собой, по мысли Поппера, лишь совокупность предположений, до поры до времени выдерживающих попытки опровергнуть их.

Еще более радикальную позицию занимает П. Фейерабенд, утверждающий, что так называемый научный метод, всегда считавшийся наиболее эффективным средством получения нового знания и его обоснования, не более чем фикция: «Наука не выделяется в положительную сторону своим методом, ибо такого метода не существует, она не выделяется и своими результатами: нам известно, чего добилась наука, однако у нас нет ни малейшего представления о том, чего могли бы добиться другие традиции»<sup>1</sup>.

Авторитет науки Фейерабенд склонен объяснять внешними для нее обстоятельствами: «Сегодня наука господствует не в силу ее срав-

---

Понти: если «операционное» мышление «берется трактовать человека и историю и, полагая возможным не считаться с тем, что мы знаем о них благодаря непосредственному контакту и расположению, начинает их конструировать, исходя из каких-то абстрактных параметров, то, поскольку человек в самом деле становится тем *manipulandum* [манипулируемым], которым думал быть, мы входим в режим культуры, где нет уже, в том, что касается человека и истории, ни ложного, ни истинного, и попадаем в сон или кошмар, от которого ничто не сможет пробудить» (*Мерло-Понти М.* Указ. соч. С. 11).

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. С. 518.



нительных достоинств, а благодаря организованным для нее пропагандистским и рекламным акциям»<sup>1</sup>. В ключе этого «развенчания» научного метода и его результата — объективного научного знания Фейерабенд делает и общий скептический вывод, что наука почти ничем не отличается от мифа: «Наука гораздо ближе к мифу, чем это готова допустить философия науки. Наука — одна из многих форм мышления, разработанная людьми и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Такое отделение — наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали»<sup>2</sup>.

Если наука не дает объективного, обоснованного знания и настолько близка к мифу и религии, что должна быть, подобно им, отделена от государства и, следовательно, от процесса обучения, то сама постановка задачи обоснования знания лишается смысла. Факт и слово авторитета, научный закон и вера или традиция, научный метод и интуитивное озарение становятся совершенно равноправными. Вследствие этого стирается различие между объективной истиной, требующей надежного основания, и субъективным мнением, часто не опирающимся на какие-либо разумные доводы. Так, сложность и неоднозначность процесса обоснования склоняет к идее, что всякое знание — всего лишь не особенно правдоподобная гипотеза, и даже внушает мысль, что наука мало отличается от религии и мифа.

Действительно, поиски абсолютной надежности и достоверности обречены на провал, идет ли речь о химии, истории или математике. Научные теории всегда в той или иной мере предположительны. Они дают не абсолютную, а только относительную, справедливую для своего времени истину. Но это именно истина, а не догадка или рискованное предположение. Практические результаты применения научного знания для преобразования мира, для осуществления человеческих целей свидетельствуют о том, что в теориях науки есть объективно истинное и, значит, неопровержимое содержание.

«Ушло в прошлое наивное представление, — пишет М. Малкей, — что наука строится на постоянно разрастающейся совокупности нейтральных фактов. Отброшена также идея о невозможности пере-

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. С. 513.

<sup>2</sup> Там же. С. 146.

смотра хорошо установленных фактов, равно как и вытекающая из нее концепция относительной прямолинейности процесса накопления научного знания. Тем не менее, хотя понятие “факт” стало более условным и хотя отныне факты должны рассматриваться в их взаимосвязи со специфическими интеллектуальными структурами, было бы неправильно воспринимать в целом ученых как людей, рассматривающих опытное или теоретическое знание, которым они владеют, в качестве гипотетического и находящегося под постоянной угрозой опровержения. На деле одним из важнейших факторов, существенно повлиявшим на впечатляющее интеллектуальное развитие современной науки, была как раз способность ее сторонников забывать об исходных предпосылках и концентрироваться исключительно на использовании этих предпосылок для осуществления детальных эмпирических исследований... Современная наука пользуется необычной по сравнению с другими областями интеллектуальной деятельности свободой от споров относительно своих оснований. Большинство научных исследований осуществляется в условиях столь сильной защищенности всех цепочек исходных положений, что пересмотр их или опровержение делаются практически невозможными»<sup>1</sup>.

#### § 4. Два полюса развития научных теорий

С противопоставлением методологизма и антиметодологизма непосредственно связано противопоставление так называемых нормальной и анархической наук. Первая явственно тяготеет к методологизму, вторая доходит до отрицания существования какого-либо особого метода, отличающего научную деятельность от других областей человеческой деятельности. Термины «нормальная» наука» и «анархическая» наука» не кажутся особенно удачными. Они употребляются, однако, уже относительно давно, и нет смысла заменять их теперь какими-то другими терминами.

«Нормальная наука» и «анархическая наука» являются теми двумя полюсами, между которыми протекает развитие научных теорий. Теории, стоящие между отчетливой «нормальной наукой» и отчетливо выраженной «анархической наукой» составляют в реальном процессе научного познания подавляющее большинство. Однако своеобразие любой из промежуточных теорий не может быть описано без учета того, к какому из двух возможных полюсов она тяготеет.

Противопоставление «нормальной» и «анархической» науки является, как станет ясно из дальнейшего, аналогом противопоставления

---

<sup>1</sup> Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. С. 73–74.

друг другу закрытого (коллективистического) и открытого (индивидуалистического) устройства общества. Из этого можно заключить, что наука, несмотря на все ее своеобразие, развивается по тем же общим принципам, по которым развивается само общество.

**Коллективистические сообщества.** Прежде чем перейти непосредственно к описанию и анализу «нормальной науки», остановимся вкратце на так называемых закрытых, или коллективистических, сообществах. «Нормальная наука» является одним из таких сообществ. Сопоставление ее с другими, хорошо известными коллективистическими сообществами, подобными армии или церкви, позволит яснее понять те особенности «нормальной науки», которые кажутся на первый взгляд парадоксальными.

В каждом обществе, независимо от того, является оно закрытым (коллективистическим) или открытым (индивидуалистическим), имеются определенные коллективистические сообщества. К их числу относятся *армия, церковь, тоталитарные религиозные секты, тоталитарные политические партии, предприятия, корпорации, организованная преступность* и др. Коллективистическим по своей сути сообществом является и так называемая нормальная наука, впервые возникающая в индустриальном обществе.

Характерные коллективистические свойства демонстрирует также *человеческая толпа*, приобретающая свойство «психологической массы»<sup>1</sup>. Рассмотрим ее подробнее, поскольку представитель «нормальной науки» по своим психологическим характеристикам во многом напоминает человека массы. Масса имеет как бы коллективную душу, в силу чего входящие в нее индивиды совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы. В массе стираются индивидуальные различия людей, исчезает их своеобразие. Индивид испытывает в массе чувство неодолимой мощи, позволяющее ему предаться первичным позывам, которые он, будучи один, вынужден был бы обуздывать. Масса чрезвычайно заражаема. В ней заразительно каждое действие, каждое чувство, и притом в такой высокой степени, что индивид очень легко жертвует своим личным интересом ради общего. Масса очень внушаема, причем заражаемость есть лишь следствие внушаемости.

Главные отличительные признаки индивида, находящегося в массе: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной личности, ориентация мыслей и чувств индивидов на одно и

---

<sup>1</sup> Яркую характеристику «психологической массы» дает З. Фрейд (*Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Он же. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С. 258 и др.*). Как и в случае армии, Фрейд сводит все особенности массовой души к любовным отношениям (эмоциональным связям).

то же вследствие внушения и заражения, тенденции к безотлагательному осуществлению внушенных идей. Индивид становится как бы не самим собой, а безвольным автоматом. Фрейд сравнивает состояние индивида в массе с гипнотическим состоянием, но последнее ничуть не яснее, чем первое. При растворении человека в массе его интеллектуальные способности снижаются. Он как бы опускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации<sup>1</sup>.

Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Импульсы, которым она повинуетя, могут быть благородными или жестокими, но во всех случаях они чрезвычайно повелительны. Масса неспособна к постоянству воли, она не терпит отсрочки между желанием и осуществлением желаемого. У индивида в массе исчезает понятие невозможного. Масса легковерна и очень легко поддается влиянию, она некритична, неправдоподобного для нее, можно сказать, не существует. Масса не сомневается в истинности или ложности, она нетерпима и одновременно подвластна авторитету. Мышление массы консервативно, она испытывает отвращение к новшествам и прогрессу и очень уважительно относится к традиции. Вместе с тем под влиянием внушения масса способна и на большое самоотречение, бескорыстие и преданность идеалу. Если индивид исходит почти всегда из личной пользы, в массе этот стимул преобладает очень редко.

Масса никогда не жаждет истины, она требует иллюзий и не может без них жить. Ирреальное для нее всегда имеет приоритет перед реальным, нереальное влияет на нее почти так же сильно, как реальное. Масса имеет явную склонность не видеть между ними разницы.

Аффекты индивидуального человека вряд ли дорастают до такой силы, как это бывает в массе. Кроме того, человеку массы доставляет наслаждение безудержно предаваться своим страстям, растворяясь при этом в массе и утрачивая чувство индивидуальной обособленности. Эмоциональное заражение тем сильнее, чем больше количество лиц, у которых проявляется тот же аффект. Критическая способность личности замолкает, и человек отдается аффекту.

Характерно, что масса производит на отдельного человека впечатление не только неограниченной мощи, но и очевидной опасности. На короткое время она заменяет все человеческое общество, являющееся носителем авторитета, наказаний которого страшатся и во имя

---

<sup>1</sup> Фрейд замечает по этому поводу, что хотя великие интеллектуальные достижения возможны только в случае отдельного человека, трудящегося в уединении, тем не менее «и массовая душа способна на гениальное духовное творчество, и это прежде всего доказывает сам язык, а также народная песня, фольклор и другое. И кроме того, остается нерешенным, насколько мыслитель или поэт обязан стимулам, полученным от массы, среди которой он живет, и не является ли он скорее завершителем духовной работы, в которой одновременно участвовали и другие» (Фрейд З. Указ. соч. С. 268–269).

которого сурово себя ограничивают. Опасно противоречить массе, обезопасить себя можно лишь, следуя примеру окружающих, иной раз даже «воя с волками по-волчьи». Слушаясь нового авторитета, индивид может выключить свою прежнюю «совесть» и с наслаждением отдаться свободе от ее запретов. Человек в массе нередко совершает действия, от которых он в обычной ситуации отвернулся бы.

Этот анализ массовой души интересен в нескольких аспектах. Во-первых, он показывает, что высокоорганизованная масса («психологическая масса») является, как уже говорилось, коллективистическим сообществом или, во всяком случае, проявляет целый ряд черт, характерных для таких сообществ. Она имеет свой особый «теоретический (умозрительный) мир», противопоставляемый миру обычной жизни и включающий рассудочную, чувственную и деятельностную стороны. Первая предполагает ту цель, для реализации которой сложилась масса; вторая охватывает весь комплекс чувств, которые пропитывают массу и суммируются в ее коллективном энтузиазме и страхе отдельного индивида пойти наперекор всем; третья включает определенные коллективные действия, осуществляемые массой. Масса предполагает не только цель, но и врага, способного противодействовать достижению цели, причем пособники этого врага могут присутствовать в самой массе, что диктует ей агрессивность и объясняет ту опасность, которую индивид испытывает в массе. Масса предполагает, наконец, вождя.

Было бы, однако, большим упрощением сводить, подобно тому, как это делает Фрейд, все характеристики высокоорганизованной массы к отказу составляющих ее индивидов от своего «идеала Я» и замене его массовым идеалом, воплощенным в вожде. Толпа, когда-то штурмовавшая Бастилию, являлась по всем своим параметрам высокоорганизованной массой, хотя и не имела очевидного вождя.

Во-вторых, человек всякого коллективистического общества и сообщества, включая «нормальную науку», является человеком массы. Два основных его чувства — энтузиазм и страх — это также основные чувства массы. Как и масса, он импульсивен и возбудим. Он не терпит отсрочки между решением и действием, приговором и его исполнением. Коллективистический человек легковверен, не критичен, его чувства просты и заметно гиперболизированы. Он отвергает колебания и неуверенностью. Коллективистический человек не особенно озабочен проверкой истинности выдвигаемых идей и обвинений. Его мышление авторитарно, догматично и консервативно. Он предан идеалам, способен на большое самоотречение и бескорыстие. Только в редких случаях он исходит из соображений личной пользы. Коллективистическому человеку всегда нужен вождь, причем харизматический вождь, способный не только убеждать, но и заражать.

**«Нормальная наука» как коллективистическое сообщество.** «Нормальная наука», т. е. сообщество ученых, занимающихся разработкой научной теории, уже добившейся несомненных успехов в объяснении исследуемой области явлений и относительно устоявшейся, является одним из коллективистических сообществ. «Нормальная наука» — это не только сообщество ученых, занимающихся ее разработкой. Это и сама научная теория, ставящая перед учеными задачу последовательного развертывания господствующего в ней образца и прослеживания на разнообразном конкретном материале его следствий, зачастую не особенно считаясь с тем, в какой мере они согласуются с отдельными фактами.

Представление о нормальной науке было введено в 60-е гг. прошлого века Т. Куном. Центральным для такой науки является понятие *парадигмы* — теоретического примера или образца для дальнейшей деятельности определенного научного сообщества. «...Термин «нормальная наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений — достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для развития его дальнейшей практической деятельности»<sup>1</sup>. Ученые, опирающиеся в своей деятельности на одну и ту же парадигму, используют одни и те же правила и стандарты научной практики. Общность исходных установок и та согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой предпосылки для нормальной науки, т. е. для генезиса и преемственности в традиции того или иного направления исследований.

«Вводя этот термин, — пишет Кун о понятии парадигмы, — я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований — примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, — все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы традиции, которые историки науки описывают под рубриками “астрономия Птолемея (или Коперника)”, “аристотелевская (или ньютоновская) динамика”, “корпускулярная (или волновая) оптика” и так далее»<sup>2</sup>.

Кун полагает, что развитие научных теорий идет по схеме: «нормальная наука» → научная революция → «нормальная наука» → ...

---

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 27. Достижения, составляющие основу «нормальной науки», должны удовлетворять двум требованиям: быть достаточно беспрецедентными, чтобы отвратить ученых на долгое время от конкурирующих моделей научных исследований, и в то же время быть настолько открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида (Там же.).

<sup>2</sup> Там же. С. 27–28.

Каждая теория проходит этап «нормальной науки», а последняя является необходимой предпосылкой научной революции. Революция ведет к установлению новой «нормальной науки» и т. д.

Выделим те особенности «нормальной науки», которые позволяют охарактеризовать сообщество ученых, занимающееся разработкой такой науки, как коллективистическое по своей сути сообщество:

- уменьшение до одной числа тех теорий, которые конкурируют в объяснении исследуемой области явлений;
- твердое убеждение в том, что монополярная теория способна обеспечить решительное продвижение в изучении рассматриваемого круга явлений, что она впервые даст полное и исчерпывающее объяснение всех относящихся к делу фактов и исключит все аномалии;
- сведение к минимуму фундаментальных исследований, касающихся той парадигмы, которая лежит в основе «нормальной науки»;
- резкое ограничение научной критики и, прежде всего, критики, касающейся оснований «нормальной науки»;
- сведение всех задач научного исследования к конкретизации знания, даваемого «нормальной» наукой, развитию его деталей и распространению исходной и не подлежащей критике теории на всю исследуемую область;
- ограничение рассматриваемых проблем проблемами-головоломками, ответ на которые вытекает из принятой парадигмы и не требует введения новых фундаментальных допущений;
- нетерпимое отношение к тем, кто отказывается признать монополию теории, принимаемой «нормальной наукой» в качестве своей парадигмы.

Как и всякое коллективистическое сообщество, «нормальная наука» имеет свой символ веры и свою радикальную цель, своих вождей и своих врагов. Она предполагает энтузиазм своих сторонников, связанный с неуклонным и радикальным преобразованием знания в соответствующей области, и вместе с тем известный страх, что какие-то из постоянно обнаруживаемых аномальных явлений не удастся объяснить в рамках принятой и хорошо уже себя зарекомендовавшей парадигмы. «Нормальная наука» предполагает, наконец, определенную систему действий, поскольку парадигмы направляют научное исследование как благодаря непосредственному моделированию, так и с помощью абстрагированных из них правил деятельности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. Раздел пятый.

Концепция «нормальной науки» Куна вызвала оживленные споры, продолжавшиеся более двух десятилетий. Ее сторонники находили парадигмы и, соответственно, «нормальную науку» в самых разных областях знания, включая даже социологию и психологию; схема научного развития от «нормальной науки» через научную революцию снова к «нормальной науке» представлялась им универсальной, не знающей исключений. Те научные дисциплины, которые не укладывались в эту схему, оценивались как недостаточно зрелые и только находящиеся на пути к «нормальной науке».

**«Анархическая наука».** Противники концепции «нормальной науки» и связанного с нею представления об основных этапах развития научного знания утверждали, что таковой просто не существует. Рекомендацию выбирать из множества теорий одну, обещающую наиболее плодотворные результаты, и упорно держаться за нее, несмотря на серьезные трудности, П. Фейерабенд называет «принцип упорства».

«Принцип упорства вполне разумен, поскольку теории способны развиваться, совершенствоваться и со временем справляться с теми трудностями, которых они совершенно не могли объяснить в их первоначальной форме. Кроме того, неблагоприятно слишком полагаться на экспериментальные результаты... Разные экспериментаторы способны совершать разнообразные ошибки, и обычно требуется значительное время для того, чтобы все эксперименты пришли к общему знаменателю»<sup>1</sup>.

Вместе с тем Фейерабенд полагает, что если цель ученого — изменение парадигмы, а не ее сохранение любой ценой, он должен быть готов принять вместо принципа упорства «принцип пролиферации», требующий постоянного изобретения альтернатив обсуждаемых точек зрения, включая даже выдвижение гипотез, противоречащих подтвержденным теориям<sup>2</sup>. Фейерабенд отвергает приверженность единственной точке зрения и показывает, что в некоторых областях знания нет и никогда не было парадигм, не допускающих критического обсуждения.

«Физиология, нейрофизиология и некоторые разделы психологии далеко опередили современную физику в том, что научились делать обсуждение фундаментальных проблем существенной частью даже самых конкретных исследований. Содержание понятий не фиксировано жестко — они остаются открытыми и получают дополнительное

---

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 118.

<sup>2</sup> Фейерабенд П. Против методологического принуждения... // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. Гл. 3.



разъяснение то от одной, то от другой теории. Ничто не указывает на то, что такая «философская» установка, которая, согласно Куну, лежит в основе подобного образа действий, препятствует прогрессу познания»<sup>1</sup>. Позиция Фейерабенда — характерный пример отбрасывания самой концепции «нормальной науки» и диктуемой ею схемы научного развития, «в которой профессиональная тупость периодически сменяется вспышками философских исканий только для того, чтобы подняться на «более высокий уровень»»<sup>2</sup>.

**Существует ли «нормальная наука»?** Включение «нормальной науки» (сообщества ученых, занятых такой наукой) в число коллективистических сообществ позволяет дать ясные ответы на два ключевых вопроса, связанных с такой наукой: существует ли нормальная наука реально и является ли схема «нормальная наука» → научная революция → «нормальная наука» ... универсальной, применимой ко всем без исключения научным дисциплинам. Ответ на первый вопрос должен быть утвердительным. «Нормальная наука» существует, и Кун приводит убедительные примеры, подпадающие под его описание такой науки. Он правильно подчеркивает догматический, авторитарный и ограниченный характер «нормальной науки»<sup>3</sup>. Верным является и его заключение, что она приводит к временному «ограничению мысли»<sup>4</sup>, что ученые в этот период «в значительной мере перестают быть исследователями ...или, по крайней мере, исследователями нового. Вместо этого они стараются разрабатывать и конкретизировать уже известное»<sup>5</sup>.

Вместе с тем «нормальная наука» не является необходимым этапом в развитии каждой научной теории, миновавшей период своей предыстории. «Нормальная наука» представляет собой коллективистическое предприятие и, как всякое такое предприятие, не может быть универсальной.

Не каждое общество проходит этап ясно выраженного коллективистического развития, не всякая политическая партия или религиозная секта с необходимостью становится тоталитарной. Точно так же не каждая научная дисциплина со временем вступает в период «нормальной науки» и далее развивается, чередуя такие периоды с научными революциями. Так, большинство гуманитарных наук явно не имеет ясных, общепринятых и не подвергающихся критике парадигм, задающих направление будущих исследований. Да и многие есте-

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм. С. 111.

<sup>2</sup> Там же. С. 124.

<sup>3</sup> Кун Т. Структура научных революций. С. 349, 393, 350.

<sup>4</sup> Там же. С. 393.

<sup>5</sup> Там же. С. 363.

ественнонаучные теории никогда не приобретают тех ясных коллективистических черт, которые имеет «нормальная наука».

Этап «нормальной науки» не только не универсален, но и столь же редок, как редок чистый коллективизм, а в современном обществе — тоталитаризм. Реальные научные теории столь же разнообразны, как и способы социального устройства в разных странах или как способы организации и функционирования разных политических партий.

Все это означает, что идея, будто всякое научное развитие идет по одной и той же схеме, чередуя периоды «нормальной» науки с периодами научных революций, является существенным упрощением реальной эволюции научного знания. Таким же упрощением было бы представлять развитие каждого общества как переход его от предыстории к истории, сводящейся затем к схеме: коллективистическое общество → социальная революция → новая форма коллективистического общества и т. д.

«Нормальная наука» — только один из полюсов, к которому могут тяготеть реальные научные теории. Многие из них никогда не достигают этого полюса и не основывают свою деятельность на безусловном соблюдении «принципа упорства». Другим полюсом, притягивающим к себе научные теории, является описываемая Фейерабендом «анархическая наука» с ее «принципом пролиферации» и максимой «Допустимо все» (нет методологических принципов, всегда ведущих к успеху в научном исследовании, так же, как нет принципов, в любых условиях приводящих к неудаче).

«Анархическая наука» является индивидуалистическим предприятием, и ее можно уподобить индивидуалистическому обществу. Как редкая научная теория достигает коллективистического полюса, точно так же лишь немногие теории достигают индивидуалистического полюса. Большинство научных теорий движется между этими двумя полюсами, причем естественнонаучные теории, как правило, тянутся к форме коллективистической «нормальной науки», а гуманитарные и социальные науки — к форме индивидуалистической «анархической науки».

Интересно отметить, что Фейерабенд упрекает Куна за то, что его описание «нормальной науки» очень близко по своему смыслу описанию организованной преступности: «Каждое утверждение Куна о “нормальной науке” останется истинным, если слова “нормальная наука” заменить словами “организованная преступность”, а любое его утверждение об “индивидуальном ученом” в равной мере применимо к отдельному взломщику сейфов»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм. С. 113.

Организованная преступность безусловно представляет собой только решение головоломок. Она приводит к минимуму фундаментальные исследования и старается лишь конкретизировать известное. Отсутствие успеха у индивида она объясняет его некомпетентностью, а не ошибочностью той общей теории, которой он руководствовался. «Вот так шаг за шагом мы можем дойти до самого конца перечня особенностей научной деятельности, выделенных Куном... Куда ни глянь, не увидишь разницы между гангстерами и учеными»<sup>1</sup>.

Причину этого сближения «нормальной науки» и организованной преступности Фейерабенд видит в том, что Кун забывает о важном факторе — о цели науки, и не ставит вопрос, позволяет ли «нормальная наука» достигнуть этой цели. Фейерабенду не откажешь в наблюдательности, но то, в чем он усматривает явный порок куновского представления о «нормальной науке», можно оценить и как известное достоинство этого представления.

«Нормальная наука» в описании Куна является коллективистическим сообществом, как и организованная преступность. И то, что между ними обнаруживается далеко идущее сходство, является выражением этого простого факта. «Нормальную науку» можно было бы сопоставить также с тоталитарной сектой или с тоталитарной политической партией, и здесь вновь обнаружилось бы важное сходство.

---

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Объяснение, редукция и эмпиризм. С. 115.

## Глава III

# НАУЧНЫЕ КАТЕГОРИИ

### § 1. Мир как бытие и мир как становление

*Научные категории* — это наиболее общие, фундаментальные понятия, представляющие собой формы и организующие принципы научного мышления. Примеры научных категорий: бытие, становление, время, пространство, причинность, научный закон, социальная тенденция, детерминизм, историзм, обоснования, рационализирование, объяснение, предсказание, понимание и т. д. Часть из этих категорий относится к самому миру, а часть — к его познанию в рамках науки.

Научные категории носят двойственный, дескриптивно-прескриптивный характер. Они являются описанием и систематизацией предшествующего опыта научных исследований и одновременно они диктуют линию будущих исследований. Именно поэтому научные категории сложно однозначно отделить от *идеалов науки*, рассматриваемых далее. Можно лишь сказать, что в научных категориях доминирует дескриптивное содержание, в то время как в идеалах науки ведущим является прескриптивное начало. Научные категории более описывают, чем предписывают, в то время как идеалы науки в большей мере предписывают, нежели описывают.

**О системах категорий.** Система научных категорий, или категориальная структура, представляет собой сеть основных понятий научного мышления, их устойчивую конфигурацию и взаимосвязь, при которой изменение одних элементов влечет за собой изменение других. Образно говоря, научные категории — это те очки, через которые ученый смотрит на мир и без которых он не способен воспринять предмет своего исследования. Категориальная структура науки представляет собой систему координат научного мышления: его вопросов к самому себе и ожидания ответов на них. Такая структура, являясь инвариантным аспектом научного мышления, обеспечивает его единство, целостность и постоянную воспроизводимость, несмотря на динамику и многообразие областей научного исследования.

Анализ категорий как оснований всего сущего восходит к античности. Впервые систематическое учение о категориях попытался развить Аристотель в трактате «Категории», где обобщались более ран-

ние попытки вычленить основные категории и давалась их характеристика. Аристотель выделил категории, лежащие, по его мнению, в основе человеческого мышления, включая и научное: «сущность (субстанция)», «количество», «качество», «отношение», «место», «время», «положение», «состояние», «действие» и «страдание». Эта система категорий с несущественными изменениями обсуждалась в философии вплоть до Нового времени.

И. Кант истолковал категории как априорные неизменные формы мышления, упорядочивающие опыт, и подразделил их на следующие разряды: качество (реальность, отрицание, ограничение); количество (единство, множество, цельность); отношение (субстанция и свойство, причина и действие, взаимодействие); модальность (возможность и невозможность, действительность и недействительность, необходимость и случайность). Г. В. Ф. Гегель выделял в качестве категорий «бытие» (качество, количество, мера); «сущность» (основание, явление и действительность, включающая субстанцию, причину и взаимодействие); «понятие» (субъект, абсолютная идея, объект).

Системы категорий, создававшиеся в рамках философии, поражают своей искусственностью, оторванностью от реальной практики мышления и прежде всего — от научного мышления. Почти все эти системы основываются на ошибочных предпосылках: существует якобы замкнутый перечень категорий; он не зависит от культуры и не изменяется вместе с нею; система категорий представляет собой не результат анализа реального мышления, а следствие определенных общих философских идей, касающихся реальности, и др.

Под непосредственным воздействием науки современная философия ввела в число категорий такие понятия, как вероятность, рациональность, объяснение, понимание, содержание, форма. С другой стороны, новое понимание общества и человека побудило отнести к категориям такие понятия, как жизненный мир, страх, заброшенность, забота, сомнение, языковые игры и т. д. Стало ясно, что никакого исчерпывающего перечня категорий не существует, что множество категорий является не только размытым, но и весьма разнородным, так что о «системе категорий» следует говорить с большой осторожностью.

Следует подчеркнуть, что система научных категорий, хотя она и формируется в рамках науки, вырастает в конечном счете из глубин культуры конкретной эпохи и определяется культурой как целым, а не какими-то отдельными ее областями, например философией, теологией или естественной наукой. С изменением культуры меняется и соответствующая ей система категорий. Переход от одной исторической эпохи к другой всегда сопровождается настолько радикальным

изменением системы научных категорий, что возникает сомнение в том, что наука последующей эпохи способна адекватно понять научные теории, развивавшиеся в предшествующую эпоху. В частности, О. Шпенглер был убежден в том, что такое понимание невозможно: представления о пространстве, числе, судьбе, детерминированности, лежащие в фундаменте мышления определенных исторических эпох, совершенно непонятны для последующих эпох. Основатель эволюционной эпистемологии К. Лоренц полагал, что категории — это функции нейросенсорной организации, сформировавшейся в интересах выживания.

Каждое направление в философии науки вводит свои категории, претендующие на то, чтобы быть уточнениями, или экспликациями, категорий реального научного мышления. Всякая философская классификация категорий является в той или иной мере искусственной. Нет оснований думать, что в будущем философия науки даст естественную, и значит, единственную, классификацию научных категорий. Из числа категорий, которые так или иначе предполагаются большинством философских систем категорий, можно выделить следующие: существование, время, пространство, изменение, причинность, определенность, рациональность, добро, истина, убеждение, знание. Некоторые из этих категорий рассматриваются в данной главе, другие — позднее.

**Два типа категорий.** Классификация наук представляет собой разветвленное, многоступенчатое деление существующих научных дисциплин на виды. Основанием излагаемой далее классификации наук является особая система научных категорий, распадающаяся на две взаимно дополняющие друг друга части. Все науки подразделяются на науки о бытии и науки о становлении, далее на описательные науки и науки, предполагающие оценки, и, наконец, на науки о природе и науки о культуре.

*Становление* — это постоянное, охватывающее все без исключения объекты изменение; *бытие* — бесконечное повторение одного и того же. Хорошими примерами объектов, находящихся в процессе постоянного изменения, являются человеческие общества и цивилизации, изучаемые историей. Примерами объектов, не претерпевающих изменений, могут служить объекты, изучаемые физикой или химией: металлические стержни при нагревании всегда удлиняются; два атома водорода и один атом кислорода всегда образуют молекулу воды и т. п.

Общая тенденция и философии и науки XX в. — повышенное внимание ко времени, имеющему направление и связанному с изменчивостью мира, с его становлением. Эта тенденция была совершенно чуждой логическому позитивизму, ориентировавшемуся на естествен-

ные науки (прежде всего, на физику), истолковывающие существование как устойчивое бытие, повторение одного и того же.

Противопоставление становления как постоянного, охватывающего все изменения, бытию, представляющему собой бесконечное повторение, берет свое начало в античной философии. Гераклит растворял бытие в становлении и представлял мир как становящееся, текучее, вечно изменчивое целое. Парменид, напротив, считал становление кажимостью и подлинное существование приписывал только бытию.

В онтологии Платона вечно существующий умопостигаемый мир является парадигмой для вечно становящегося, но по сути иллюзорного чувственно воспринимаемого мира. Аристотель, отказавшийся от бытия в форме особого мира идей, придал становлению характер направленности.

Описание мира как становления опирается на особую систему категорий, отличную от той, на которой основывается описание мира как бытия. Единая категориальная система мышления распадается на две системы понятий. В первую из них входят *абсолютные понятия*, представляющие свойства объектов, во вторую — *сравнительные понятия*, представляющие отношения между объектами. Абсолютные категории можно назвать, универсализируя терминологию, введенную Дж. Мак-Таггартом для обозначения двух типов времени, *А-понятиями*, сравнительные категории — *В-понятиями*. *Существование как свойство* — это становление (возникновение или исчезновение); *существование как отношение* — это бытие, которое всегда относительно («А более реально, чем В»).

*Время как свойство* представляется динамическим временным рядом «было — есть — будет» («прошлое — настоящее — будущее») и характеризуется направленностью, или «стрелой времени»; *время как отношение* представляется статическим временным рядом «раньше — одновременно — позже» и не имеет направления. *Пространство как свойство* — это «здесь» или «там»; *пространство как отношение* — это выражения типа «А дальше В», «А совпадает с В» и «А ближе В».

*Изменение как свойство* передается понятиями «возникает», «остается неизменным» и «исчезает». *Изменению как отношению* соответствует «А преобразуется (переходит) в В». *Определенность существующего*, взятая как свойство, передается рядом «необходимо — случайно — невозможно»; *определенность как отношение* передается выражением «А есть причина В».

*Добро в качестве свойства* — это ряд «хорошо — безразлично — плохо»; *добро как отношение* — это ряд «лучше — равноценно — хуже». *Истина как свойство* передается понятиями «истинно — неопределенно — ложно», *истина как отношение* — выражением «А более ве-

роятно, чем В» и т. д. За каждой из двух категориальных систем стоит особое видение мира, свой способ его восприятия и осмысления.

Отношение между абсолютными и сравнительными категориями можно уподобить отношению между обратной перспективой в изображении предметов, доминировавшей в средневековой живописи (и в более поздней иконописи), и прямой перспективой «классической» живописи Нового времени. Обе системы перспективы внутренне связны, цельны и самодостаточны; каждая из них, будучи необходимой в свое время и на своем месте, не лучше и не хуже другой.

Вопрос о том, зачем при научном исследовании мира необходима не одна, а две системы категорий, дополняющие друг друга, остается открытым. Бинарная оппозиция «становление — бытие» оказывается, таким образом, центральной оппозицией теоретического мышления.

## § 2. Классификация наук

Видение мира как становления и видение его как бытия имеют в философии науки своих сторонников и противников. Склонность отдавать предпочтение восприятию мира как потока и становления можно назвать *аристотелевской традицией* в теоретическом мышлении; выдвижение на первый план описания мира как бытия — *платоновской традицией*. В русле первой из этих традиций идут гуманитарные науки (науки исторического ряда, лингвистика, индивидуальная психология и др.), а также нормативные науки (этика, эстетика, искусствоведение и др.). К этому же направлению относятся и те естественнонаучные дисциплины, которые занимаются изучением истории исследуемых объектов и — эксплицитно или имплицитно — предполагают «настоящее». Остальные естественные науки, включая физику, химию, ориентируются преимущественно на представление мира как постоянного повторения одних и тех же элементов, их связей и взаимодействий. Социальные науки (экономическая наука, социология, социальная психология и др.) также тяготеют к использованию сравнительных категорий.

Разница между науками, использующими абсолютные категории (науками о становлении, или *А-науками*), и науками, опирающимися на систему сравнительных категорий (науками о бытии, или *В-науками*), не совпадает, таким образом, с границей между гуманитарными и социальными науками (или науками о культуре), с одной стороны, и естественными науками (науками о природе), с другой.

Отношение между А-науками и В-науками можно представить с помощью следующей схемы.



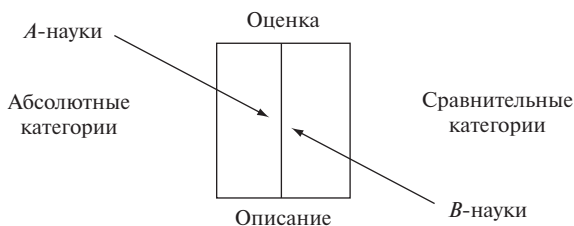


Рис. 2. Отношение между А-науками и В-науками

Отношение между описательными науками и науками, предполагающими оценки, представляется с помощью схемы.

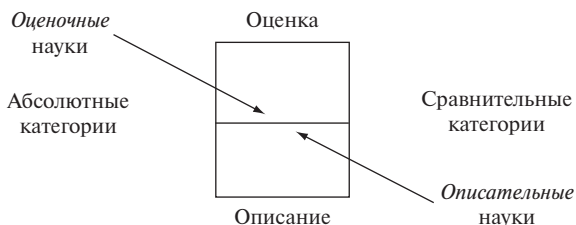


Рис. 3. Отношение между описательными науками и науками, предполагающими оценки

Иногда утверждается, что сравнительные категории более фундаментальны, чем абсолютные категории, и что вторые сводимы к первым. В частности, неопозитивизм, предполагавший редукцию языка любой науки к языку физики, настаивал на субъективности абсолютных категорий и необходимости замены их сравнительными категориями. Между тем сторонники феноменологии и экзистенциализма подчеркивали, что человеческое измерение существования передается именно абсолютными, а не сравнительными категориями. Например, М. Хайдеггер высказывался против «неподлинного» понимания времени (тем самым и бытия) в терминах сравнительных категорий и называл «физически-техническое» В-время «вульгарным» временем. Ранее А. Бергсон абстрактному времени (физической) науки противопоставлял истинное, конкретное время («длительность»), являющееся в сущности А-временем.

Философия Нового времени долгое время тяготела к описанию мира в терминах сравнительных категорий. Но затем у А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, А. Бергсона, в философии жизни и более явно в феноменологии и экзистенциализме на первый план вышли абсолютные категории и в первую очередь А-время с его «стрелой времени» и «настоящим», лежащим между «прошлым» и «будущим».

В русле старой традиции продолжал двигаться, однако, неопозитивизм, настаивавший на использовании во всех науках, включая и гуманитарные науки, только «объективных», не зависящих от точки зрения исследователя сравнительных категорий, и в частности временного ряда «раньше — одновременно — позже».

**Номотетические и идиографические науки.** Прежде чем обратиться к изложению деления наук на *науки о природе* и *науки о культуре*, остановимся вкратце на истории этого деления. Оно было предложено в XIX в. В. Виндельбандом и подробно разработано Г. Риккертом. Виндельбанд говорил о *номотетических* и *идиографических науках*.

Термин «идиографическая наука» (от греч. *idios* — особенный, своеобразный, странный, неслыханный и *grapho* — пишу) был введен Виндельбандом в целях противопоставления индивидуализирующих идиографических наук генерализирующим номотетическим наукам.

«Номотетическое мышление», по Виндельбанду, направлено на отыскание общих законов, которым подчиняются изучаемые явления, на «неизменные формы реальных событий»; «идиографическое мышление» ищет «отдельные исторические факты», рассматривает явления с точки зрения «их однократного, в себе самом определенного содержания». Основной целью номотетической науки является открытие общих универсальных научных законов. Номотетическая наука пользуется генерализирующим методом и противостоит идиографической науке, использующей индивидуализирующий метод и имеющей своей задачей не открытие законов, а представление исследуемых объектов в их единственности и неповторимости<sup>1</sup>.

Риккерт называл номотетические науки «науками о природе» (сохраняя за ними и обычное название — «естественные науки»), а идиографические науки — «науками о культуре». С середины XIX в. довольно активно стал употребляться термин «науки о духе», обозначающий примерно то же, что и науки о культуре, или идиографические науки. К наукам о духе обычно относились история, лингвистика, социология, этика, эстетика и др. Психология считалась стоящей между науками о природе и науками о духе.

В. Дильтей, резко противопоставлявший науки о духе естественным наукам, считал предметом исследования первых общественно-историческую действительность. Он полагал, что науки о духе опираются не только на принцип причинности, имеющий силу для всех наук, но и на определенные ценности и суждения о целях.

Риккерт, говоривший о «науках о природе» и «науках о культуре», не считал, что понятие научного закона является универсаль-

---

<sup>1</sup> Виндельбанд В. Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания. Киев, 1904.

ной категорией эпистемологии и что каждая наука призвана устанавливать законы. Если мы отделим закономерность как методологическую форму от причинности, говорил Риккерт, то все же, хотя всякая действительность обусловлена причинно, могут существовать науки, которые вовсе не интересуются законами, но стремятся познавать индивидуальные причинные ряды. Естественные науки, или науки о природе, устанавливают универсальные законы; науки, занимающиеся изучением «человека в истории», не формулируют никаких законов, а изучают отдельные исторические факты и их причинные связи. Таким образом, с точки зрения Риккерта, понятия закона науки и закона природы совпадают, поскольку никаких законов, касающихся развития культуры, не существует. Социологию Риккерт характеризовал как «чисто естественнонаучную трактовку человеческой социальной духовной жизни»<sup>1</sup>. Позднее М. Вебер, принимавший риккертовское противопоставление наук о культуре и наук о природе, выдвинул программу развития социологии как «универсально-исторической» науки. «Понимающая социология» разрабатывалась им как противоположность «понимающей психологии» Дильтея.

Противопоставление идиографической науки номотетической не выдвигалось в качестве абсолютного. Виндельбанд, в частности, подчеркивал, что идиографические науки, воссоздающие объекты в их единичности и уникальности, нуждаются в определенных общих положениях, которые устанавливаются номотетическими науками. Идиографические науки не должны отказываться полностью от номотетического метода, а использовать его в качестве подчиненного, иначе они рискуют впасть в релятивизм (неокантианцы неточно называли его «историзмом»). Преувеличение же роли номотетического метода в идиографических науках ведет к «методологическому натурализму», трактующему генерализирующий метод естественных наук как универсальный.

**Науки о природе и науки о культуре.** Постановка Виндельбандом и Риккертом вопроса о специфике методологии исторических наук оказала существенное воздействие на методологию социального и гуманитарного познания. Приводимая далее классификация наук имеет две особенности. Во-первых, в ней для подразделения наук на типы важным является то, используются ли в рассматриваемых науках оценки и какого именно типа (абсолютные или сравнительные). Во-вторых, данная классификация является уточнением классификации, разрабатывавшейся когда-то Виндельбандом и Риккертом и ставшей, можно сказать, классической. Сложившееся в рамках нео-

<sup>1</sup> Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 44–129.

кантианства и доказавшее свою полезность подразделение всех наук на науки о природе и науки о культуре должно быть, однако, проявлено и детализировано.

Обычно все науки делятся на три группы: естественные науки, социальные и гуманитарные науки, формальные науки. К естественным наукам относятся физика, химия, науки биологического ряда и др. Некоторые естественные науки, например космология, рассматривают исследуемые ими объекты в развитии и оказываются, таким образом, близкими к гуманитарным наукам, а именно к наукам исторического ряда. Другие естественные науки, например география или физическая антропология, формируют сравнительные оценки и тяготеют к таким социальным наукам, как социология и экономическая наука. Поле естественных наук является, таким образом, весьма разнородным. Различия отдельных естественных наук настолько велики, что невозможно выделить какую-то одну из них в качестве парадигмы «естественнонаучного познания».

Идея неопозитивизма о том, что физика является тем образцом, на который должны ориентироваться все другие науки (исключая формальные науки, подобные логике и математике), является непродуктивной. Физика не способна служить в качестве образца даже для самих естественных наук. Ни космология, ни биология, ни тем более физическая антропология не похожи в своих существенных чертах на физику. Попытка распространить на эти научные дисциплины методологию физики, взятую в сколько-нибудь полном объеме, не может привести к успеху.

Тем не менее определенное внутреннее единство у естественных наук имеется:

- они стремятся описывать исследуемые ими фрагменты реальности, а не оценивать их;
- даваемые данными науками описания обычно формулируются в терминах не абсолютных, а сравнительных понятий (временной ряд «раньше — позже — одновременно», пространственные отношения «ближе — дальше» и т. п.).

В число социальных наук входят экономическая наука, социология, политические науки, социальная психология и др. Для этих наук характерно, что:

- они не только описывают, но и оценивают;
- при этом они очевидным образом стремятся не к абсолютным, а к сравнительным оценкам, как и вообще к использованию сравнительных понятий.

К гуманитарным наукам относятся в частности науки исторического ряда, лингвистика, (индивидуальная) психология. Одни из этих наук тяготеют к чистым описаниям (например, история), другие —

сочетают описание с оценкой, причем предпочитают абсолютные оценки (например, психология).

Гуманитарные науки используют, как правило, не сравнительные, а абсолютные категории (временной ряд «было — есть — будет», пространственные характеристики «здесь — там», понятие предопределенности, или судьбы, и т. п.).

Область социальных и гуманитарных наук еще более разнородна, чем область естественных наук. Идея отыскать научную дисциплину, которая могла бы служить образцом социально-гуманитарного познания, нереалистична. История, старающаяся избегать оценок и всегда обсуждающая прошлое только с точки зрения настоящего, не может служить образцом для социологии или экономической науки, включающих явные и первые сравнительные оценки и использующих временной ряд «раньше — одновременно — позже», не предполагающий настоящего; политические науки не способны дать каких-то образцов для психологии или лингвистики. Поиски парадигмальной социальной или гуманитарной дисциплины еще более утопичны, чем поиски «образцовой» естественной науки.

Между собственно социальными и гуманитарными науками лежат науки, которые можно назвать *нормативными*: этика, эстетика, искусствоведение и др. Эти науки формулируют, подобно социальным наукам, оценки (и их частный случай — нормы), однако даваемые ими оценки являются, как правило, не сравнительными, а абсолютными. В использовании абсолютных оценок нормативные науки подобны гуманитарным, всегда рассуждающим в координатах абсолютных категорий.

К *формальным наукам* относятся логика и математика. Их подход к исследуемым объектам настолько абстрактен, что получаемые результаты находят приложение при изучении всех областей реальности. П. Ф. Стросон считает такие понятия, как «настоящее» («есть», «теперь») и «здесь», скорее не категориями, а средствами, с помощью которых категории связываются с миром, теми инструментами, которые придают опыту характерную для него избирательность. В этой терминологии проводится различие между «категориями» и «категориальными характеристиками».

Например, понятие «время» является категорией, а понятия «прошлое — настоящее — будущее» и «раньше — одновременно — позже» — два вида ее категориальных характеристик (абсолютная и сравнительная); понятие «добро» — категория, а понятия «хорошо — безразлично — плохо» и «лучше — равноценно — хуже» — ее категориальные характеристики; понятие «детерминированность» — категория, а «необходимо — случайно — невозможно» и «причина — следствие» — ее категориальные характеристики.

Различие между категориями и их категориальными характеристиками проводилось уже И. Кантом. Принимая во внимание это различие, можно сказать, что большинство категорий (включая категории «бытие», «время», «пространство», «детерминированность», «истина», «добро») предполагает для своей связи с миром абсолютные и сравнительные категориальные характеристики. В итоге имеют место два разных и дополняющих друг друга способа представления бытия, времени, пространства и т. д.

Приведенная классификация наук опирается на две оппозиции: «оценка — описание» и «абсолютные понятия — сравнительные понятия». Все науки сначала делятся на естественные науки, тяготеющие к описанию в системе сравнительных категорий, и социальные и гуманитарные науки, тяготеющие к оценке в системе абсолютных категорий; затем последние подразделяются на социальные, нормативные и гуманитарные науки. Такая классификация не является, конечно, единственно возможной, существуют многообразные иные основания деления наук.

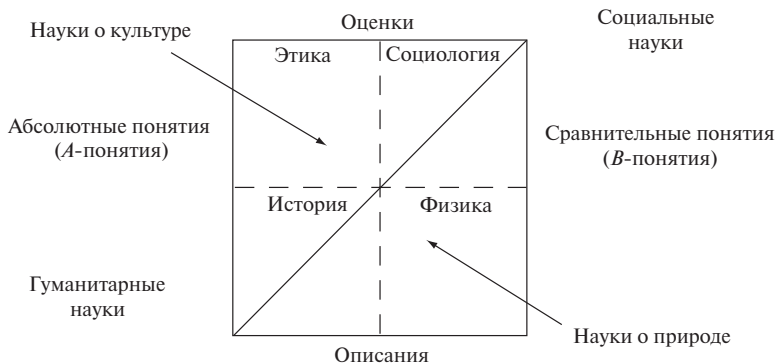


Рис. 4. Классификация наук

В приведенном квадрате, графически представляющем классификацию наук, науки, расположенные над диагональю квадрата, представляют гуманитарные и социальные науки. Между этими науками располагаются нормативные науки. Данные три вида наук могут быть названы науками о культуре. Треугольник под диагональю квадрата представляет естественные науки, которые могут быть названы науками о природе.

Употребление Риккертом терминов «науки о природе» и «науки о культуре» было связано с идеей, вызывающей серьезные возражения. Суть этой идеи в том, что науки о природе, использующие генерализирующий метод, устанавливают научные законы, в то время

как науки о культуре, пользующиеся индивидуализирующим методом, не формулируют никаких законов. Эта идея не нашла сколько-нибудь убедительного обоснования. Физика и химия действительно стремятся обосновать общие регулярности, которые называются «законами науки». Но уже в биологии эта тенденция к поиску законов выражена гораздо слабее (особенно в теории эволюции); космология использует физические закономерности, но сама не формулирует законов развития Вселенной.

С другой стороны, хотя гуманитарные науки не открывают законов, неверно, что и все социальные науки не способны делать этого. Экономическая наука достигла заметного прогресса в установлении общих регулярностей экономической жизни; социология стремится обосновать регулярности, касающиеся форм и изменений совместной жизни людей. Граница между науками, формулирующими законы, и науками, не делающими этого, не совпадает с границей между естественными науками («науками о природе»), с одной стороны, и социальными и гуманитарными науками («науками о культуре»), с другой.

Устанавливают законы те науки (естественные и социальные), которые описывают или оценивают исследуемые явления в системе *сравнительных* категорий. Не формулируют законов науки (гуманитарные и естественные), описывающие или оценивающие изучаемые объекты в системе *абсолютных* категорий. Иными словами, формулируют научные законы науки, трактующие исследуемую область явлений как бытие; науки, истолковывающие мир как становление, постоянно порождающее новое, не устанавливают научных законов.

В графическом представлении классификации наук квадрат, охватывающий все науки, делится диагональю на два треугольника, соответствующие наукам о природе и наукам о культуре. Если же попытаться изобразить графически подразделение всех наук на науки о природе и науки о культуре, как его представлял Риккерт, то указанный квадрат нужно было бы разделить вертикальной линией на два прямоугольника: правый из них представлял бы науки о природе, формулирующие научные законы, левый — науки о культуре, не устанавливающие никаких регулярностей.

Иначе говоря, правый прямоугольник представляет науки о бытии, левый — науки о становлении.

### § 3. Причинность

В числе ключевых научных категорий традиционно рассматриваются причинность, научный закон, социальная тенденция, детерминизм, историзм. *Причинность*, или каузальность, — это определенное

внутреннее отношение между явлениями, такая их связь, при которой всякий раз за одним явлением следует другое. *Причина* — это явление, вызывающее к жизни другое явление; результат действия причины — *следствие*.

В старину между стенами здания, подлежащего сносу, помещали прочный железный стержень и разводили под ним костер. От нагревания стержень удлинялся, распирал стены, и они разваливались. Нагревание здесь причина, расширение стержня — ее следствие. Камень попадает в окно, и оно разлетается на осколки. Молния ударяет в дерево, оно раскалывается и обугливается. Извергается вулкан, пепел засыпает многометровым слоем город и он гибнет. Начинается дождь, и на земле через некоторое время образуются лужи. Во всех этих случаях одно явление — причина — вызывает, порождает, производит другое явление — свое следствие.

Причина всегда *предшествует во времени* следствию. Сначала железо нагревается, а затем начинает расширяться. Стекло раскалывается не до удара камня, а после него. Основываясь на этом очевидном свойстве причинности, человек всегда ищет причину интересующего его события только среди того, что предшествовало ему, и не обращает внимание на всё, что случилось позднее.

Далее, причинная связь *необходима*: всякий раз, когда есть причина, неизбежно наступает и следствие. Вода при нормальном атмосферном давлении нагревается до 100 °С, закипает и превращается в пар. Можно миллион раз нагревать воду до кипения, и она всегда будет переходить в пар. И если бы при миллион первом нагревании этого вдруг не произошло, мы должны были бы сказать, что между нагреванием воды и превращением ее в пар нет причинной связи. Названных характеристик недостаточно, однако, для отграничения причинной связи от связей других типов.

Наступлению каждого явления предшествует бесконечное множество других явлений. Но только одно из них может быть его причиной. Постоянное следование одного явления за другим не говорит еще, что предшествующее — причина последующего. Ночь всегда предшествует утру, а за утром неизменно наступает день. Но ночь не причина утра, а утро не причина дня. Как предостерегает латинская поговорка: «После этого не значит следствие этого».

Причина всегда предшествует следствию, и следствие обязательно наступает в случае реализации причины. Но сверх того, причина *порождает и обуславливает* следствие. В этом — еще одна особенность причинной связи, отграничивающая ее от всех других случаев постоянного следования одного явления за другим. Без этой особенности причинную связь невозможно охарактеризовать однозначно. Без нее нельзя, в частности, отличить причину от *повода*, т. е. события,



которое непосредственно предшествует другому событию, делает возможным его появление, но не порождает и не определяет его.

Допустим, что на нитке подвешен камень. Нитку разрезают, камень падает. Что является причиной падения? Ясно, что разрезание нитки — только повод, а причина — земное притяжение. Если бы камень лежал на поверхности или находился в состоянии невесомости, он, лишенный подвески, не упал бы. Для причинной связи также характерно, что *изменением интенсивности* или силы действия причины соответствующим образом меняется и интенсивность следствия.

Причинность, наконец, *всеобща*. Нет и не может быть беспричинных явлений. Все в мире возникает только в результате действия определенных причин. Это — *принцип причинности*, требующий естественного объяснения всех явлений природы и общества и исключаящий их объяснение с помощью каких-то сверхъестественных сил.

Эти особенности причинности обуславливают специфическую ее черту: наличие причинной связи нельзя установить на основе только наблюдения. Чтобы определить, какое из двух деревьев выше, мы сравниваем их и приходим к соответствующему заключению. Решая вопрос, является ли один человек братом другого, мы изучаем их прошлое и пытаемся определить, имели ли они общих родителей. И в первом, и во втором случае нет необходимости рассматривать какие-то другие деревья и других людей. Иначе обстоит дело с причинными связями. Предположим, мы видим, что камень летит к окну, ударяется об оконное стекло и оно раскалывается. Мы говорим, что удар камня был причиной разрушения стекла. Мы видели, как камень ударил в стекло, а стекло, как мы хорошо знаем, всегда раскалывается от сильного удара. Увидев летящий в окно камень, мы можем заранее предсказать, что произойдет. Но представим, что перед окном была прозрачная пластмассовая поверхность, и в тот момент, когда камень ударился о пластмассу, кто-то в доме, чтобы обмануть нас, незаметно разбил окно. В обычных ситуациях мы исключаем такой обман и уверенно говорим, что видели своими глазами причину разрушения стекла.

Этот упрощенный пример говорит о том, что о причинной связи нельзя судить только на основе наблюдения, относящегося к одному случаю. Необходимо сопоставление нескольких сходных случаев, а также знание того, что обычно происходит в соответствующих ситуациях.

Причину можно установить только на основе рассуждения. В логике разработаны определенные методы проведения таких рассуждений, получившие название *принципов*, или *канонов*, *индукции*. Первая формулировка этих принципов была дана еще в начале XVII в. Ф. Бэконом. Систематически они были исследованы в XIX в.

Д.-С. Миллем. Отсюда их название — «каноны (принципы) Бэкона-Милля».

Все принципы индукции опираются на рассмотренные выше свойства причинной связи. Каждое явление имеет причину, именно поэтому поиски ее не лишены смысла. Причиной может быть только явление, имевшее место до наступления того явления, причину которого мы ищем. После явления, считаемого причиной, всегда должно наступать ее следствие. При отсутствии причины следствие не должно иметь места. Изменения в причине влекут за собой изменения в следствии.

Возникновение проблематики причинности обязано человеческой способности задавать вопрос «почему?». Под причиной изначально понималось то, что способно породить нечто иное как свое следствие, а указание на причину давало объяснение следствию. Издавна представления о причинности связывались с понятиями силы, власти, принуждения, необходимости, понимаемыми то в обыденно-профанном, то в возвышенно-сакральном смысле. Магия выступила исторически первой проблематизацией причинности; для первобытного человека вопрос о причинах событий возникает лишь в экстраординарной ситуации, отклонение которой от обычного течения событий должно найти оправдание. Дж. Фрэзер объясняет магию переносом психологической ассоциации на причинную связь реальных драматических событий. Этот «кошмар причинности» (Х. Л. Борхес) находит разрешение в магической космологии, указывающей на тайные силы как источник аномальной ситуации. В мифологии и эпосе вопрос о причинах событий возникает преимущественно в трагических ситуациях (Эдип, Иов), и ответом служит указание на ее сакральную обусловленность (рок, судьба, Божественная воля).

Для Платона область причин совпадает, в сущности, со сферой идей, порождающих чувственные вещи. Аристотелевская теория четырех причин (материальной, формальной, действующей и целевой) задавала в целом античную и средневековую парадигму, механистическая картина мира Нового времени оставила из этого набора лишь действующую причину.

Новый этап исследования причинности связан с концепцией Д. Юма. Она и сегодня, по убеждению представителей аналитической философии, является основой для обсуждения этой проблемы. Юм пытался показать, что каузальность как необходимое отношение объективного порождения причиной следствия не обнаруживается в опыте, в котором не наблюдаются такие феномены, как «сила», «принуждение» или «необходимость»; человеческому представлению о причинности соответствует в природе лишь регулярная последовательность сходных событий. Восходящая к Юму аналитическая «тео-

рия регулярности» утверждает, что одно событие В является причиной события С тогда и только тогда, если:

- а) события В и С имеют место;
- б) событие В имеет место раньше события С;
- в) всегда, когда имеет место В-подобное событие, за ним следует С-подобное событие.

Согласно Юму, наше представление о причинности основано на опыте, но выходит за его пределы, поскольку всякое суждение об отдельной ситуации причинности имеет общий характер, будучи основано на индукции, не являющейся формой необходимо-истинного вывода. Хотя понятие причинности не может быть обосновано онтологически и логически, оно допускает психологическое оправдание того, почему определенные каузальные суждения рассматриваются как истинные: ожидание привычных последовательностей событий есть свойство человеческого ума, переносимое на природу. По Юму, общие принципы описания причинных событий не могут быть обоснованы именно в силу несовершенства индукции. Таковы принципы универсальности (всякое явление имеет свою причину) и единообразия (одинаковые причины постоянно продуцируют одинаковые следствия) причинности. До сих пор нет единого мнения о приемлемости этих принципов.

Современная проблематика причинности определяется следующими вопросами. Имеют ли причинные суждения особую логическую форму? Каковы носители причинных связей — события или состояния? Чем отличаются актуально действующие причины от потенциальных причин, симптомов, условий и предпосылок? Как различить причинные и случайные регулярности? Каков онтологический статус причинных связей и в чем могли бы заключаться основания для выбора между их реалистической и нереалистической интерпретацией? Что имеет более фундаментальный характер: каузальная связь или каузальные законы? Как относятся между собой причинность и время, причинность и детерминизм, причинность и объяснение?<sup>1</sup>

Анализ причинности в рамках теории деятельности обращается к антропологическим истокам представлений о причинности. Она определяется через термины «производить» и «препятствовать» (Г. Х. фон Вригт) и выступает как перенесение этих образов на неживую природу с помощью контрфактических (противоречащих фактам) высказываний. Вероятностный анализ причинности не связывает ее с детерминизмом; причина рассматривается как то, что делает

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Бом Д.* Причинность и случайность в современной физике. М., 1959; *Бунге М.* Причинность. М., 1962; *Свечников Г. А.* Причинность и связь состояний в физике. М., 1971;

следствие некоторым образом более вероятным. Для уточнения данной идеи вводятся понятия «позитивная статистическая релевантность» (П. Саппс), «каузальный процесс» (Г. Саймон) и используются контрфактические суждения о вероятности. Новейшее развитие науки оживило дискуссии по проблеме причинности, в частности, в связи с вопросом об индетерминистской интерпретации квантовой механики, релятивистскими теориями пространства-времени и неравновесной термодинамикой.

#### § 4. Научный закон

*Научный закон* — универсальное, необходимое утверждение о связи явлений. Общая форма научного закона: *«Для всякого объекта из данной предметной области верно, что если он обладает свойством А, то он с необходимостью имеет также свойство В»*. Универсальность закона означает, что он распространяется на все объекты своей области, действует во всякое время и в любой точке пространства. Необходимость, присущая научному закону, является не логической, а *онтологической*. Она определяется не структурой мышления, а устройством самого реального мира, хотя зависит также от иерархии утверждений, входящих в научную теорию. Научными законами являются, например, утверждения: «Если по проводнику течет ток, вокруг проводника образуется магнитное поле»; «Химическая реакция кислорода с водородом дает воду»; «Если в стране нет развитого устойчивого общества, в ней нет устойчивой демократии». Первый из этих законов относится к физике, второй — к химии, третий — к социологии.

Научные законы делятся на *динамические* и *статистические*. Первые, называемые также закономерностями *жесткой детерминации*, фиксируют строго обозначенные связи и зависимости; в формулировке вторых решающую роль играют методы теории вероятностей. Неопозитивизм предпринимал попытку найти формально-логические критерии различения научных законов и случайно истинных общих высказываний (таких, например, как «Все лебеди в этом зоопарке белые»), однако эти попытки закончились ничем. Номологическое (выражающее научный закон) высказывание с логической точки зрения ничем не отличается от любого другого общего условного высказывания.

Для понятия научного закона, играющего ключевую роль в методологии таких наук, как физика, химия, экономическая наука, социология, характерны одновременно неясность и неточность. Неясность проистекает из смутности значения понятия онтологической необходимости; неточность связана в первую очередь с тем, что об-

щие утверждения, входящие в научную теорию, могут изменять свое место в ее структуре в ходе развития теории.

Так, известный химический закон кратных отношений первоначально был простой эмпирической гипотезой, имевшей к тому же случайное и сомнительное подтверждение. После работ английского химика В. Дальтона химия была радикально перестроена. Положение о кратных отношениях сделалось составной частью определения химического состава, и его стало невозможно ни проверить, ни опровергнуть экспериментально. Химические атомы могут комбинироваться только в отношении один к одному или в некоторой целочисленной пропорции — сейчас это конститутивный принцип современной химической теории. В процессе превращения предположения в тавтологию положение о кратных отношениях на каком-то этапе своего существования сделалось законом химии, а затем снова перестало быть им. То, что общее научное утверждение может не только стать научным законом, но и прекратить быть им, было бы невозможным, если бы онтологическая необходимость зависела только от исследуемых объектов и не зависела от внутренней структуры описывающей их теории, от меняющейся со временем иерархии ее утверждений.

Научные законы, относящиеся к широким областям явлений, имеют отчетливо выраженный двойственный, дескриптивно-прескриптивный характер. Они описывают и объясняют некоторую совокупность фактов. В качестве описаний они должны соответствовать эмпирическим данным и эмпирическим обобщениям. Вместе с тем такие научные законы являются также стандартами оценки как других утверждений теории, так и самих фактов. Если роль ценностной составляющей в научных законах преувеличивается, они становятся лишь средством для упорядочения результатов наблюдения и вопрос об их соответствии действительности (их истинности) оказывается некорректным.

В жизни широкого научного закона можно выделить, таким образом, три типичных этапа:

- 1) период его становления, когда он функционирует как гипотетическое описательное утверждение и проверяется прежде всего эмпирически;
- 2) период зрелости закона, когда он в достаточной мере подтвержден эмпирически, получил ее системную поддержку и функционирует не только как эмпирическое обобщение, но и, как правило, оценки других, менее надежных утверждений теории;
- 3) период старости закона, когда он входит уже в ядро теории, используется в первую очередь как правило оценки других ее утверждений и может быть отброшен только вместе с самой

теорией; проверка такого закона касается прежде всего его эффективности в рамках теории, хотя за ним остается и старая, полученная еще в период его становления эмпирическая поддержка.

На втором и третьем этапах своего существования научный закон является двойственным, описательно-оценочным утверждением и проверяется как все утверждения такого рода. Речь идет именно о типичных этапах эволюции закона, а не о том, что каждый закон проходит все три этапа. Здесь можно провести аналогию с этапами жизни человека: юностью, зрелостью и старостью. Выделение этих этапов не означает, что биография каждого человека включает их все: одни люди доживают до глубокой старости, другие умирают совсем молодыми.

Аналогично, научные законы, представляющие собой простые эмпирические обобщения («Все металлы электропроводны»; «Все многоклеточные живые организмы смертны» и т. п.), никогда не вступают, как кажется, в период старости. Этим объясняется их удивительная — в сравнении с другими научными законами — устойчивость: когда теория, в которую они входили, отбрасывается, они обычно становятся элементами новой, пришедшей ей на смену. В качестве примера закона, прошедшего в своей эволюции все три этапа, можно привести Второй закон механики Ньютона. Долгое время этот закон был фактической истиной. Потребовались века упорных эмпирических и теоретических исследований, чтобы дать ему строгую формулировку. Сейчас данный закон выступает в рамках теории Ньютона как аналитически истинное утверждение, которое не может быть опровергнуто никакими наблюдениями<sup>1</sup>. Другим примером закона, прошедшего все три типичных этапа эволюции, может служить упоминавшийся ранее химический закон кратных отношений, ставший аналитическим высказыванием после работ Дальтона.

На втором и третьем этапах своего существования научный закон является описательно-оценочным утверждением и проверяется как все такие утверждения. В так называемых *эмпирических законах*, или законах малой общности, подобных закону Ома или закону Гей-Люссака, оценочная составляющая ничтожна. Эволюция теорий, включающих такие законы, не меняет места последних в иерархии утверждений теории; новые теории, приходящие на место старым, достаточно безбоязненно включают такие законы в свой эмпирический базис.

Общие принципы научный теорий и научные законы имеют отчетливо выраженный описательно-оценочный характер. Законы

<sup>1</sup> Hanson N. R. Patterns of Discovery. Cambridge, 1965. P. 99–105.

описывают и объясняют определенные совокупности фактов, и в этом качестве законы должны соответствовать эмпирическим данным. С другой стороны, более или менее устоявшиеся научные принципы и законы всегда выступают стандартами оценки как остальных утверждений научной теории, так и самих фактов. Научный закон говорит не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, если ход реальных событий соответствует описывающей их теории.

Если роль ценностной составляющей в общих принципах научной теории преувеличивается, они становятся лишь средством для упорядочения результатов наблюдения и вопрос о соответствии данных принципов действительности оказывается некорректным. Так, Н. Хэнсон сравнивает общие теоретические суждения с рецептами повара. Как рецепт лишь предписывает, что надо делать с имеющимися в наличии продуктами, так и теоретическое суждение следует рассматривать скорее как указание, которое дает возможность осуществлять те или иные операции с некоторым классом объектов наблюдения. «Рецепты и теории сами по себе не могут быть ни истинными, ни ложными. Но с помощью теории я могу сказать нечто большее о том, что я наблюдаю»<sup>1</sup>.

Ценностно нагружены не только общие принципы, но и в той или иной мере и все законы научных теорий. Научный факт и научную теорию невозможно строго отделить друг от друга. Факты истолковываются в терминах теории, их содержание определяется не только тем, что непосредственно устанавливается ими, но и тем, какое место они занимают в теоретической системе. Теоретическая нагруженность языка наблюдения и выражаемых в нем фактов означает, что и факты не всегда являются ценностно нейтральными.

**Два типа аналитических истин научной теории.** Эволюция научных законов показывает, что нет жесткой, раз и навсегда установленной границы между аналитическими и синтетическими (фактическими, эмпирическими) утверждениями.

Существуют два типа аналитических истин: 1) утверждения, истинные благодаря своей форме и значению входящих в них логических терминов (например, «Если идет дождь, то идет дождь»); 2) утверждения, истинные благодаря значениям входящих в них не только логических, но и дескриптивных терминов («Ни один холостяк не является женатым»). Аналитические истины первого типа определяют логику теории. Они не подвергаются ни исследованию, ни тем более сомнению в ее рамках и являются в известном смысле высшими ее ценностями, с которыми должно соотносываться все остальное. С точки зрения самой теории более интересны аналитиче-

---

<sup>1</sup> *Hanson N. R. Perception and Discovery. San Francisco, 1969. P. 300.*

ские истины второго типа. Они приобретают аналитический характер в определенный момент развития теории и могут утратить его в ходе последующей ее эволюции.

Примером утверждений, считавшихся истинными в силу значений входящих в них дескриптивных терминов теории и превратившихся позднее в фактические истины, могут служить те определения тока и сопротивления, которые принимались до открытия закона Ома. После установления этого закона и ряда уточнений значений входящих в него терминов данные определения перешли в разряд эмпирических утверждений. «Я в настоящее время даже подозреваю, — пишет Т. Кун, — что все революции, помимо прочего, влекут за собой отказ от обобщений, сила которых покоилась раньше в какой-то степени на тавтологиях»<sup>1</sup>.

Л. Витгенштейн отмечает, что разделение всех утверждений на две взаимоисключающие группы — случайных, или требующих проверки в опыте, и необходимых, или истинных в силу своего значения — и бедно и неверно. Статус эмпирического утверждения зависит от контекста. Вне контекста бессмысленно спрашивать, является ли данное положение проверяемым или оно просто «крепко удерживается» нами. Когда мы твердо придерживаемся некоторого убеждения, мы обычно более склонны сомневаться в источнике противоречащих данных, нежели в самом убеждении. Однако когда эти данные становятся настолько многочисленными, что мешают использовать рассматриваемое убеждение для оценки других предложений, мы можем все-таки расстаться с ним<sup>2</sup>.

Это в общем верное описание аналитических истин теории, как, впрочем, и иных ее внутренних ценностей. Они определяются контекстом и функционируют как ценности до тех пор, пока выступают в качестве стандартов оценки ее утверждений. Под давлением обстоятельств, прежде всего новых фактических данных, прежние стандарты могут быть пересмотрены и заменены другими. Последние должны по-новому упорядочить утверждения теории и сверх того объяснить, почему старые стандарты оказались неэффективными.

Одна из главных функций научного закона — *объяснение*, или ответ на вопрос «Почему исследуемое явление происходит?». Объяснение обычно представляет собой дедукцию объясняемого явления из некоторого общего положения и утверждения о так называемых начальных условиях. Такого рода объяснение принято называть номологическим, или объяснением через охватывающий закон. Объяснение может опираться не только на научный закон, но и на случайное

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 231.

<sup>2</sup> Wittgenstein L. On Certainty. Oxford, 1969. § 73.



общее положение, а также на утверждение о каузальной связи. Объяснение через научный закон имеет, однако, известное преимущество и перед другими типами объяснений: оно придает объясняемому явлению необходимый характер.

«Наука существует только там, — пишет лауреат Нобелевской премии по экономике М. Алле, — где присутствуют закономерности, которые можно изучать и предсказать. Таков пример небесной механики. Но таково положение большей части социальных явлений, а в особенности явлений экономических. Их научный анализ действительно позволяет показать существование столь же поразительных закономерностей, что и те, которые обнаруживаются в физике. Именно поэтому экономическая дисциплина является наукой и подчиняется тем же принципам и тем же методам, что и физические науки»<sup>1</sup>.

Такого рода позиция все еще обычна для представителей конкретных научных дисциплин. Однако мнение, что наука, не устанавливающая собственных научных законов, невозможна, не выдерживает методологической критики. Экономическая наука действительно формулирует специфические закономерности, но ни политические науки, ни история, ни лингвистика, ни тем более нормативные науки, подобные этике и эстетике, не устанавливают никаких научных законов. Эти науки дают не номологическое, а каузальное объяснение исследуемым явлениям или же выдвигают на первый план вместо операции объяснения операцию понимания, опирающуюся не на описательные, а на оценочные утверждения.

Как уже говорилось, научные законы формулируются теми естественными и социальными науками, которые используют в качестве своей системы координат сравнительные категории Гуманитарные и естественные науки, опирающиеся на абсолютную систему категорий, не устанавливают научных законов.

## § 5. Социальные тенденции

Идея существования особых законов, которым подчиняется историческое развитие, начала складываться только в Новое время. Номологическое, опирающееся на универсальный закон объяснение исторических событий противопоставлялось характерному для религиозных концепций телеологическому их объяснению. Однако замысел открыть законы истории и тем самым поставить науку историю в один ряд с другими науками, устанавливающими определенные зако-

---

<sup>1</sup> Алле М. Экономика как наука. М., 1995. С. 93.

номерности, приводил и, надо думать, всегда будет приводить, в лучшем случае лишь к расплывчатым банальностям.

В качестве примера можно сослаться на «социальные законы развития» В. Вундта, составляющие, по его мнению, особый отдел «исторических законов развития». «Согласно закону социальных равновесствующих, каждое данное состояние в общем всегда сводится к одновременно имеющимся слагаемым, которые соединяются в нем для единого совместного действия»<sup>1</sup>. Трудно сказать, что означает данный закон и какое вообще отношение он имеет к истории.

Не лучше обстоит дело и с «законом социальных контрастов». Этому закону, говорит Вундт, «подчиняются все те процессы социальной жизни, при которых определенные явления повышаются благодаря своей противоположности с другими предшествующими или одновременными явлениями»<sup>2</sup>. Данный закон Вундт относит не только к истории, но и к литературе и искусству и говорит о нем, что «в особенности благоприятно господству контраста политическое положение дел, благодаря смене подъема страхом и надеждой; здесь, вместе с тем, контраст обычно не поддается какому-либо предварительному подсчету, не только из-за единичного характера исторических событий, но из-за повышенного действия чувств, чего никогда не следует упускать из виду».

Возможно, за этими расплывчатыми утверждениями и стоит какое-то верное психологическое наблюдение, однако непонятно, как приложить его к истории и что оно способно дать для исторического объяснения. Стремление во что бы то ни стало открыть законы истории приводило иногда к тому, что явно ошибочные концепции излагались в форме отдельных тезисов, а последние выдавались за исторические законы.

**Историцизм.** Воззрение, согласно которому задачей науки истории является открытие законов человеческой истории, позволяющих предсказывать будущее развитие общества, стало называться историцизмом. Иногда историцизм говорит не о «законах истории», а о ее «ритмах», «схемах» и т. п., на основе чего может осуществляться объяснение прошлого и настоящего и предсказание сколь угодно отдаленного будущего.

Термин «историцизм» введен в середине 1930-х гг. К. Поппером, полагавшим, что именно исторические концепции ответственны за неудовлетворительное состояние теоретических социальных наук<sup>3</sup>. Историцизм зародился еще в античной философии (Гераклит, Пла-

<sup>1</sup> Вундт В. Социальные законы // Философия истории. Антология. М., 1995. С. 146.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.

тон); в XIX в., когда он достиг расцвета, его сторонниками являлись Гегель, О. Конт, К. Маркс, Дж. Милль и др. В частности, Милль говорил о своем методе, что он «заключается в попытке путем изучения и анализа общих фактов истории открыть... закон прогресса; данный закон, будучи установлен, должен позволить нам предсказывать будущие события так же, как это происходит в алгебре, когда уже из первых членов бесконечного ряда становится понятным принцип регулярности их образования, и мы можем предсказать, каким будет весь оставшийся ряд вплоть до любого члена»<sup>1</sup>.

Поппер подвергает резкой критике идею существования законов истории. Он проводит различие между обобщающими науками и историческими науками. Теоретические обобщающие науки занимаются проверкой универсальных гипотез, прикладные обобщающие науки — предсказанием конкретных событий. Исторические науки заняты конкретными, специфическими событиями и их объяснением: «С нашей точки зрения действительно не может быть никаких исторических законов. Обобщение принадлежит к таким научным процедурам, которые следует строго отличать от анализа отдельного события и его причинного объяснения. Задача истории как раз и заключается в том, чтобы анализировать отдельные события и объяснять их причины. Те, кого интересуют законы, должны обратиться к обобщающим наукам (например, к социологии)»<sup>2</sup>.

То, что историки интересуются единичными или специфическими событиями, а не законами или обобщениями, вполне совместимо, полагает Поппер, с научным методом, и в частности с причинным объяснением. Исторические науки не стоят особняком в своем отношении к универсальным законам. Всякий раз, когда речь идет о применении науки к единичной или частной проблеме, возникает сходная ситуация. Химик, проводящий анализ некоторого соединения, допустим, куска породы, не думает об универсальном законе. Он применяет стандартную процедуру, являющуюся с логической точки зрения проверкой единичной гипотезы (например, «это соединение содержит серу»). Интерес его является главным образом «историческим» — это описание одной совокупности событий или одного индивидуального физического тела.

Историцизм является одной из форм *натурализма* — стремления перенести в сферу общественных наук то, что считается методом естественных наук. Типичный аргумент в пользу историцизма состоит в следующем: «Мы можем предсказывать затмения, почему же тогда

---

<sup>1</sup> Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной. СПб., 1914. Кн. VI. Ч. X.

<sup>2</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 165.

мы не можем предсказывать революции?». В более систематической форме этот аргумент звучит так: «Задачей науки является предсказание. Поэтому задачей общественных наук должны быть предсказания относительно общества, т. е. истории».

Нередко историцистское истолкование истории соединяется с *активизмом* — уверенностью, что история делается самими людьми и вызванным этой уверенностью стремлением к активности, неприятием бездеятельности и пассивного ожидания. Как выразил эту «активистскую позицию» Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе», «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить».

Однако активизм, который, подобно активизму Маркса, опирается на идею естественных законов истории, столь же непреложных, что и законы природы, является внутренне непоследовательной позицией. Такой активизм предполагает, что общество изменяется людьми, но при этом движется по предопределенному и неизменному пути, стадии которого предначертаны непреложной исторической необходимостью. Впредисловии к первому тому «Капитала» Маркс был вынужден так ограничить возможность активного вмешательства людей в ход их собственной истории: когда общество находит естественный закон, определяющий его развитие, даже в этом случае оно не может ни перескочить через естественные фазы своей эволюции, ни выкинуть их из мира росчерком пера. Но кое-что оно может сделать: сократить и облегчить родовые муки.

Совмещение активизма с идеей «железных законов истории» вызвало критику уже в конце XIX в. Утверждалось, в частности, что создание политической партии, ставящей своей целью уничтожение капитализма и построение социализма, столь же бессмысленно, как и создание партии, борющейся за то, чтобы Луна — в соответствии с законами природы — двигалась по своей орбите. Поппер так перефразирует активистское изречение Маркса: «Историцист может только объяснить социальное развитие и помогать ему различными способами; однако дело, по его мнению, заключается в том, что *никто не способен его изменить*»<sup>1</sup>. Историцизм не учит бездеятельности и фатализму и вместе с тем утверждает, что любая попытка вмешаться в социальные изменения тщетна.

Историцизм видит основную задачу индивидуальной жизни в том, чтобы быть добровольным инструментом для достижения историей ее объективных целей. Если человек будет бороться против них, ему все равно не удастся остановить или изменить ход истории. Все, чего он добьется, так это своего осуждения потомками. Тот, чья дея-

<sup>1</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 62.

тельность идет по линии движения истории, удостоится со временем общественной похвалы, в то время как тех, которые пытаются действовать против хода истории, ждет неминуемое осуждение.

Историцизм проводит, таким образом, идею, что высший суд есть суд истории, или, как говорили в средние века, «всемирная история — это всемирный суд». Эта идея, характерная для всех закрытых (коллективистических) обществ, замещается в открытых (индивидуалистических) обществах убеждением, что высшим судьей своей жизни и своей истории является сам человек, живущий в конкретную эпоху. Историцизм представляет собой крайнюю версию *историзма*, рассматриваемого далее.

**Особенности социальных тенденций.** *Социальная тенденция* представляет собой достаточно устойчивую линию развития группы взаимосвязанных социальных явлений. Понятие социальной тенденции является одним из основных в методологии социальных и гуманитарных наук. Его роль во многом аналогична той, какую в методологии естественных наук играет понятие закона науки. Особенно существенное значение имеет исследование социальных тенденций в истории и тех, подобных ей науках, для которых понятие научного закона является инородным. Примерами социальных тенденций могут служить тенденция роста численности человечества; остающаяся устойчивой в течение многих веков тенденция технического прогресса, распространяющаяся на три последних столетия.

Социальные тенденции могут быть универсальными, охватывающими все человечество, или локальными, касающимися только отдельных регионов или групп стран, отдельных социальных слоев и т. д. Позиция, что история представляет собой смену единичных и уникальных явлений, что в ней нет прямого повторения, и потому нет законов, сложилась в конце XIX — начале XX в. (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Б. Кроче, Ф. А. Хайек, К. Поппер, К. Ясперс, Р. Арон и др.).

Отсутствие законов исторического развития не означает ни того, что в истории нет причинных связей, ни того, что в ней нельзя выявить определенные тенденции, или линии, развития. В истории действует принцип причинности: «Все имеет причину, и ничто не может произойти без предшествующей причины». Этот принцип универсален, он распространяется на все области и явления, и совокупная деятельность людей, именуемая историей, не является исключением из него. Однако законы отличны от причинных связей, и наличие в истории причинности никак не означает существования исторических законов. Выявление причинных зависимостей между историческими событиями — одна из основных задач науки истории.

Другой ее важной задачей является обнаружение складывающихся в определенный период в определенном обществе тенденций развития, прослеживание линий развития его институтов, идей и т. д. Тенденции не являются законами истории, хотя их часто путают с ними. Прежде всего, научный закон — это универсальное утверждение, его общая форма: «Для всякого объекта верно, что если этот объект имеет свойство А, то он имеет также свойство В». Высказывание о тенденции является не универсальным, а экзистенциальным: оно говорит о существовании в определенное время и в определенном месте некоторого направленного изменения. Если закон действует всегда и везде, то тенденция складывается в конкретное время и срок ее существования ограничен.

Скажем, тенденция роста численности человечества сохранялась сотни и даже тысячи лет, но она может измениться за считанные десятилетия. Технический прогресс охватывает три последних столетия, однако при определенных неблагоприятных обстоятельствах его результаты могут быть утрачены в течение жизни одного поколения.

Тенденции, в отличие от законов, всегда условны. Они складываются при определенных условиях и прекращают свое существование при исчезновении этих условий. Тенденция, отчетливо проявившаяся в одну эпоху, может совершенно отсутствовать в другую. Например, греческие философы говорили о ясном направлении смены форм правления: от демократии к аристократии и затем к тирании. Но сегодня такой тенденции уже нет: некоторые демократии длятся, не вырождаясь, сотни лет, другие сразу же переходят к тирании и т. д.

Одной из типичных ошибок, связанных с тенденциями исторического развития, является распространение социальных тенденций, кажущихся устойчивыми, в настоящем, на прошлое или на будущее. Так, в начале 1960-х гг. П. Сорокин выделил «три главные тенденции нашего времени»: 1) перемещение творческого лидерства человечества из Европы в Америку, Азию и Африку; 2) распад чувственной (материалистической) культуры и переход к идеационной (религиозной) культуре; 3) сближение капиталистического и коммунистического порядков и образов жизни и формирование более совершенного, чем капитализм и коммунизм, интегрального строя<sup>1</sup>. Уже сейчас можно сказать, что первая тенденция реализуется только частично, а два других предсказания являлись ошибочными.

**Проблема исторического прогресса.** Хорошим примером социальных тенденций может служить прогресс, имеющий место в ряде областей социальной жизни. Идея прогресса как неуклонного движения вперед, от низшего к высшему, перехода на более высокие ступени

<sup>1</sup> Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997. С. 148–150.

развития и изменения к лучшему сложилась и окрепла в эпоху Просвещения. Лейбниц первым сформулировал в качестве единого принципа исторической науки «принцип возвышения духа», возникающего из природы, обретающего самостоятельность и в силу внутренней необходимости постоянно движущегося вперед. Историческая наука Просвещения, проникнутая оптимизмом своего времени, считала всесторонний культурный прогресс очевидным следствием освобожденного от религиозных предрассудков разума. Идея прогресса стала формулироваться как всеобщий закон, детерминирующий динамику истории.

Прогрессизм как вера в неуклонный прогресс опирался, прежде всего, на очевидное бурное развитие науки и техники. Однако он не останавливался на этом, распространяя идею восходящего развития на все другие области культуры. Вера в прогресс получила особое распространение в XVIII в., в период торжествующей национальной и культурной экспансии, когда Западная Европа сделалась своего рода центром мира. Но даже для того периода трудно было согласовать поверхностный оптимизм с историческими фактами.

Обычно различают две формы прогрессизма: веру в прогресс как бесконечное восходящее развитие, не имеющее предела, и веру в прогресс как развитие, ведущее, в конце концов, к совершенному обществу. Элемент бесконечного прогресса есть у Гегеля в его диалектических триадах. Наибольшее значение для развития идеи поступательного движения без определенного завершения имело неокантианство, истолковывавшее действительность как никогда не кончающийся акт творения, порождаемый культурной деятельностью человека. Вторая форма прогрессизма — утопизм, характерным примером которого является теория социального развития Маркса. Утопические концепции, активизировавшиеся с эпохи Возрождения, продолжают питать революционные движения и в наши дни.

XX век, вместивший две мировые войны, социалистические революции и тоталитарные режимы, обнажил проблематичный характер прогресса. Стало очевидным, что идея прогресса вовсе не является всеобщим историческим законом. Прогресс распространяется далеко не на все сферы социальной жизни, а его результаты в тех областях, где он все же имеет место, неоднозначны. Неожиданность и радикальность, которыми сопровождался распад прогрессизма, были столь поразительны, что многие из тех, кто в свое время боролся против идеологии прогрессизма, почувствовали себя призванными защитить те ее элементы, которые достойны оправдания.

«...»Мы потеряли веру в «прогресс» и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным, — говорил в начале 1920-х гг. С. Л. Франк. — Человечество вообще и европейское человечество

в частности, вовсе не беспрерывно совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без предуказанного пути, поднимаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и каждая эпоха живет какой-то верой, ложностью или односторонностью которой потом изобличается»<sup>1</sup>. Франк полагает, что подлинного прогресса не было даже в Новое время, когда возникла сама идея прогресса. Раньше этот период представлялся временем бесспорного совершенствования человечества, освобождения его от интеллектуальной, моральной и духовной тьмы и узости прошлого, расширения внешнего и внутреннего кругозора его жизни, увеличения его могущества, освобождения личности, накопления не только материальных, но и духовных богатств, повышения нравственного уровня. Но теперь стало очевидным, что Новое время было эпохой, которая через ряд блестящих внешних успехов завела человечество в какой-то тупик и совершила в его душе непоправимое опустошение. В итоге этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло совершенно неожиданно для себя к состоянию нового варварства.

Суждения Франка о прогрессе чересчур скептически. В них не различаются с достаточной ясностью области, в которых прогресс очевиден, области, в которых он чередуется с периодами регресса, и, наконец, области, в которых он просто отсутствует или не может быть обнаружен из-за краткости известной нам истории.

Есть несомненный прогресс в знании и техническом умении, причем результаты его постоянно передаются дальше и все более становятся всеобщим достоянием. В этой области, отмечает К. Ясперс, мировая история может быть понята как развитие по восходящей линии, хотя и содержащее отступления и остановки, но в целом связанное с постоянным ростом достижений, в которые вносят свою лепту все люди, все народы, которые по самой своей сущности доступны всем людям и действительно становятся достоянием всех. В истории мы обнаруживаем ступени этого продвижения, которое в настоящее время достигло своей высшей точки. Однако это лишь одна линия целого. Прогресс в науке и технике не является, конечно, всеобщим законом истории. Это только длительная историческая тенденция, которая, несомненно, продолжится и в будущем.

Научный и технический прогресс ведет к единству в области знания, но не к единству человечества. Сомнителен прогресс в искусстве. Будучи всеобщим достоянием, оно достигает высокого совершенства лишь у определенных народов и в определенные исторические пери-

---

<sup>1</sup> Франк С. А. Крушение кумиров // Сочинения. Вып. 2. М., 1991. С. 165.



оды. Затем, взойдя на неповторимую высоту, оно как бы исчерпывает заложенные в нем потенции. Свершенное становится классикой, и новая волна в искусстве представляет собой уже совершенно иной стиль и не считает себя продолжением или даже преодолением того, что было достигнуто ранее.

Нет сколько-нибудь заметного прогресса в человеческой природе, в человеческой доброте и мудрости, в развитии интеллектуальных способностей человека. Высокоразвитые культуры не вызывают восхищения у народов, значительно уступающих им в развитии. «Быстрый рост усредненности, неразмывляющего населения, даже без борьбы, самим фактом своей массовости, торжествует, подавляя духовное величие. Бесперывно идет отбор неполноценных, прежде всего в таких условиях, когда хитрость и брутальность служит залогом значительных преимуществ»<sup>1</sup>.

Подводя итог, можно еще раз повторить, что идея прогресса, чрезвычайно популярная еще сто лет назад, в свете событий прошлого века оказалась не очевидной и не однозначной. Прогресс не закон истории, прогрессивное развитие в тех областях, где оно существует, есть результат человеческого разума и человеческих усилий.

## § 6. Детерминизм

Категория *детерминизма* является одной из конкретизаций более общей категории *определенности*, или устойчивости, существующего. Детерминированное является необходимым, в то время как недетерминированное представляет собой возможное, случайное или невозможное.

Детерминизм и индетерминизм — две противоположные позиции в вопросе о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. Детерминизм утверждает определенность одних событий или состояний другими, индетерминизм есть отрицание детерминизма. Каузальная детерминация может рассматриваться как частный случай детерминированности, а именно как определенность следствий их причинами.

Многие события или состояния таковы, что в одно время является детерминированным их наличие, а в другое — отсутствие. Наступление некоторого события или состояния в определенное время может быть детерминировано в одно время и не детерминировано в другое. Можно утверждать, например, что выпадение дождя сегодня детерминировано, а выпадение его послезавтра — нет; сверх того, можно заявлять, что сегодняшний дождь был детерминирован событиями,

---

<sup>1</sup> Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М., 1991. Вып. 2. С. 165.

имевшими место еще неделю назад, но не был детерминирован событиями годичной давности.

Вневременная детерминация может считаться с известным приближением частным случаем временной. Выражение «детерминировано А» истолковывается при этом как означающее «во всякое время детерминировано наступление (события, описываемого высказыванием) А во время t».

В выражении «в t' детерминировано, что в t имеет место событие А» время детерминации и время наступления события могут совпадать (*одновременная* детерминация) или различаться. Случай, когда время детерминации предшествует времени наступления события, можно называть *преддетерминацией*; если момент детерминации расположен позднее момента, в который происходит детерминированное событие, можно говорить о *постдетерминации*. В случае каузальной детерминации речь идет, соответственно, о *причинной детерминации* и *следственной детерминации*.

Часто детерминированность неявно отождествляется с преддетерминацией. Во многих контекстах — и особенно в случае каузальной детерминации — сосредоточение внимания исключительно на определенности последующего предшествующим оправдано. Вместе с тем понятие постдетерминации (которая может быть названа также *телеологической*, или *целевой*, детерминацией) необходимо для обеспечения ясности в постановке и обсуждении ряда важных проблем, прежде всего проблем, касающихся человеческой деятельности.

Можно выделить два основных типа определенности последующих событий предшествующими: каузальную детерминацию и вызревание предпосылок для последующего наступления конкретного события. Например, в XV в. в Западной Европе созрели предпосылки для модернизации и перехода от традиционного общества к индустриальному; в XVII в. появились предпосылки для создания классической механики, в XIX в. — предпосылки для формулировки развитой теории социализма. Как говорит П. Рикёр, прошлое воздействует на настоящее и будущее не только каузально: оно открывает определенные возможности, что, собственно, и заставляет постоянно обращаться к нему. Формирование предпосылок вряд ли можно отождествить с каузальной детерминацией: причина с необходимостью влечет наступление следствия, в то время как предпосылки не связаны со следующим за ними событием отношением необходимости.

Аналогично выделяются два основных типа постдетерминации: телеологический (целевой) детерминизм и постепенное вызревание целей. Например, можно сказать, что многие действия человека предопределены тем, что, в конце концов, он должен умереть; что к осени 1917 г. Россия постепенно созрела для социалистической рево-

люции. Судя по всему, важное для гуманитарных рассуждений понятие судьбы (предопределенности) следует отнести не к преддетерминизму, а к постдетерминизму, причем именно к случаю вызревания целей.

Каузальная детерминированность не единственный, но, по-видимому, наиболее интересный случай детерминированности. Введение представления о следственной детерминации не означает отрицания односторонней направленности, или асимметрии, причинной связи, активности и производительности причин и пассивности их следствий. Оно не ведет также с необходимостью к растворению причинности в универсальном взаимодействии и к отказу от принципа, утверждающего одностороннюю зависимость следствий от причин. Для получения всех этих нежелательных, как кажется, заключений требуется вполне определенное понимание каузального постдетерминизма, предполагающего производительность следствий и возможность обратного воздействия следствий на вызвавшие их явления, в том числе и на явления, переставшие уже существовать.

**Принципы детерминизма.** Утверждения, подобные принципам «Всякое явление имеет характерные черты и приобретает их одним или несколькими определенными способами»; «Все, что происходит, необходимо порождается действием какой-либо причины»; «Истинное однажды истинно во все последующие времена»; «Следствия всех событий уходят сколь угодно далеко в будущее»; «Причины некоторых событий не простираются бесконечно в прошлое», не являются истинами логики. В этих утверждениях фиксируются определенные свойства реальных событий и их связей. Установление истинности или ложности этих утверждений не может быть результатом анализа значений входящих в них слов и выражений; оно требует обращения к опыту, к исследованию тех вещей и состояний, о которых мы говорим, используя данные слова и выражения. Это не означает, конечно, что приведенные и подобные им утверждения не могут быть объектом концептуального, и в частности формально-логического, анализа.

Высказывания о детерминированности и недетерминированности событий, об их причинных связях, следствиях имеют определенную логическую структуру и находятся в некоторых дедуктивных отношениях между собой. Во многих случаях для выявления этих отношений нет необходимости прибегать к помощи формальной логики. Большинство вопросов, связанных с детерминизмом, успешно обсуждалось и будет в дальнейшем обсуждаться без привлечения идей и аппарата современной логики. Почти все истины, которые можно открыть о детерминизме, могут быть в принципе установлены в рамках обычного языка, без обращения к некоторому логически совершенному языку.

Имеется, однако, ряд касающихся детерминизма проблем, анализ которых средствами только естественного языка является медлительным и малопродуктивным из-за недостаточно ясной логической структуры этого языка, аморфности его правил придания значений выражениям, громоздкости его формулировок. К таким проблемам относятся, например, задача проведения четкого различия между детерминизмом и индетерминизмом, между разновидностями детерминизма и индетерминизма, анализ доктрины логического детерминизма, в соответствии с которой строгий детерминизм является следствием логического принципа двужначности, проблемы, связанные с реальностью прошлого и будущего, с их асимметрией. Для обсуждения этих и многих иных проблем целесообразно использовать особый искусственный язык, позволяющий дать компактные формулировки разных версий детерминизма и индетерминизма, выявить такие их логические отношения, как следование, эквивалентность, совместимость, несовместимость, и проследить сколь угодно далеко идущие следствия каждой из этих версий.

Важные отличия излагаемого далее подхода к проблеме систематизации логических свойств утверждений о детерминации и каузальной связи состоят в следующем. В основании логики детерминированности лежит логическая теория времени. Это позволяет говорить не только о детерминированности и недетерминированности некоторых событий или состояний, но и указывать также время, в которое эти события и состояния обладают данными характеристиками. Многие события и состояния, кажется, таковы, что в одно время является детерминированным их наличие, а в другое — отсутствие. Язык, допускающий формы «детерминировано событие А» и «наступление события А причинно имплицирует наступление события В» и не содержащий форм «детерминировано во время  $t$  наступление в иное время  $t'$  события А» и «наступление в  $t$  события А причинно имплицирует наступление в  $t'$  события В», не обладает достаточной выразительной силой для представления приведенных и подобных им утверждений.

Явная временная квалификация детерминированности событий и состояний позволяет говорить не только об определенности последующего предшествующим, но и о детерминированности предшествующего последующим. Обычно, обсуждая детерминацию, и в частности каузальную детерминацию, имеют в виду лишь однозначную определенность более позднего более ранним.

Некоторые утверждения, включающие понятия «детерминировано» и «причинно имплицирует», представляются аналитически истинными. К ним можно отнести, например, утверждения «Всякое событие или детерминировано или недетерминировано»; «Не может быть одновременно детерминировано наступление в одно и то же

время двух противоположных событий»; «Если событие имеет причину, то неверно, что оно не имеет ее»; «Одно и то же событие не может быть причиной двух несовместимых событий». Для установления истинности подобных утверждений нет нужды обращаться к опыту, анализ значений входящих в них терминов является необходимым и достаточным средством для обоснования суждения об их истинности.

Утверждения же типа «все детерминировано», «нет беспричинных явлений», «причина предшествует следствию», «всякое событие детерминировано во всякий предшествующий его наступлению момент» могут быть лишь фактически истинными. Знание значений входящих в них слов и выражений и в частности знание значений таких слов, как «детерминировано», «причина», «следствие», не является достаточным основанием для заключения об истинности или ложности данных утверждений. Только эмпирическое исследование фактически встречающихся многообразных случаев детерминации и каузальной связи может оказаться таким основанием.

В формализованном языке, предназначенном для систематизации логических характеристик утверждений об определении одних явлений другими, можно выделить две части. В одной из них систематизируются аналитически истинные утверждения о детерминации, вторая является расширением первой некоторыми фактически истинными утверждениями, касающимися эмпирических свойств детерминированности и недетерминированности. Первую часть можно назвать логической частью теории детерминации, вторую — фактической ее частью.

Исходным выражением логики времени, лежащей в основании теории детерминации, является выражение «В момент, удаленный на  $t$  единиц времени от момента отсчета реализуется А» или «В  $t$  реализуется (имеет место) А». Момент отсчета временного интервала может быть постоянным, т. е. не изменяющим своего положения с течением времени, или переменным. Временные оценки с постоянными моментами отсчета не меняют своего истинностного значения со временем, временные оценки с переменным моментом отсчета могут быть истинными в одно время и ложными в другое. Примерами первых могут служить оценки «Наполеон умер в 1821 году» и «Наполеон умер раньше Гегеля», примерами вторых — оценки «Завтра будет дождь» и «Все прошлое лето было дождливым».

Формализованный язык является удобным средством для точной формулировки различных принципов детерминизма и для выявления их дедуктивных отношений. Эти принципы не являются аналитически истинными утверждениями и не могут быть доказаны в качестве теорем логической теории детерминации. Но их можно сформулировать на языке этой теории и использовать для получения практически

интересных ее расширений. Рассматривая эти принципы, мы будем явно говорить только о каузальной детерминации, но рассуждения о ней нетрудно обобщить.

Один из принципов детерминизма гласит:

(1) «Всякое событие, когда бы оно ни происходило, каузально детерминировано в каждый момент времени».

Два частных случая этого принципа, касающихся причинной и следственной детерминации, таковы:

(1а) «Каким бы ни было событие и в какой бы момент времени оно ни происходило, причина этого события существует во всякий предшествующий его наступлению момент». Или короче: «Причины всех событий уходят бесконечно в прошлое» (под «прошлым» понимается всякое время, предшествующее рассматриваемому событию).

(1б) «Следствия каждого события существуют в сколь угодно отдаленный момент будущего».

Заменяя в принципе (1), который может быть назван *принципом строгого детерминизма*, слово «все» на слово «некоторые», и наоборот, можно получить различные ослабленные версии принципа детерминизма. К ним относятся, в частности, следующие:

(2) «Существуют такие события, что, независимо от того, в какое время они происходят, их наличие в это время каузально детерминировано во всякое время».

(3) «Для каждого события имеется такой момент времени, что наступление данного события в этот момент детерминировано в любое время».

(4) «Всякое событие, когда бы оно ни происходило, каузально детерминировано в определенный момент времени».

(5) «Каждое событие в некоторый момент своего наступления каузально детерминировано в определенный момент времени»;

(7) «Существуют такие события, что их наступление в некоторый момент времени каузально детерминировано во всякое время».

(6) «Некоторые события каузально детерминированы в определенные моменты времени».

Легко убедиться, что из принципа (1) следуют принципы (4)–(7) и что (7) следует из (4) и из (6). Утверждения (4) и (5), (5) и (6), (5) и (7) логически независимы друг от друга. Можно соглашаться с одним из них, не принимая вместе с тем другое.

Частными случаями принципов (4) и (6) являются следующие утверждения:

(8) «Существуют события, причины которых простираются бесконечно в прошлое».

(9) «Следствия некоторых событий могут быть обнаружены в сколь угодно отдаленном будущем».

(10) «Всякое событие имеет причину в некоторый предшествующий ему момент времени».

(11) «Все события имеют следствия».

Системы, получаемые присоединением к логике детерминированности одного или нескольких из принципов (1), (4)–(7), являются *симметричными* в следующем смысле: каждому доказуемому в них утверждению о причинах соответствует аналогичное утверждение о следствиях, и наоборот. Иными словами, если в системе утверждается, что имеются события с бесконечно удаленными причинами, то в ней доказуема также теорема, говорящая о существовании событий с бесконечными во времени следствиями. И если в симметричной системе устанавливается наличие следствий у всех без исключения событий, то в ней утверждается также отсутствие явлений, лишенных причины.

Утверждения о следствиях и утверждения о причинах логически независимы друг от друга. Это означает, что возможны различные разновидности *несимметричных* систем. Наиболее интересным примером их является, по-видимому, система, в которой доказуемы принципы (3) и (10), но не является теоремой утверждение (2). В этой системе признается, что следствия всех явлений бесконечны во времени, но вместе с тем не утверждается, что причины каждого из них существуют во всякий, предшествующий его наступлению момент.

**Индетерминизм.** Граница между детерминизмом и индетерминизмом не является четкой. Нередко одна и та же точка зрения одними авторами оценивается как детерминистическая, а другими как индетерминистическая. Определим индетерминизм как позицию, находящуюся в противоречии с некоторой детерминистической позицией. Коротко говоря, индетерминизм есть отрицание детерминизма.

Возможны несколько версий принципа каузального детерминизма и, следовательно, несколько версий каузального индетерминизма. Наиболее сильная формулировка первого принципа постулирует каузальную детерминированность всякого явления во всякое время. Соответствующая ей формулировка второго принципа утверждает существование событий, наличие которых в определенное по меньшей мере время не является каузально детерминированным в то или иное время. Наиболее слабая версия принципа детерминизма постулирует существование событий, отдельные случаи наступления которых каузально детерминированы в некоторые моменты времени. Связанная с нею наиболее сильная формулировка индетерминизма отрицает наличие моментов времени, в которые было бы каузально детерминировано то или иное событие.

Ранее было проведено различие между причинным и следственным детерминизмом. Можно ввести теперь аналогичное различие

между причинным и следственным индетерминизмом. Например, принцип, утверждающий, что всякое явление, независимо от того, когда оно происходит, не является каузально детерминированным в некоторое время, имеет следующие два частых случая:

- а) для всякого события существуют моменты времени, в которые оно не имеет еще причины;
- б) не имеется событий с бесконечно протяженными во времени следствиями. Первый из этих случаев является одной из версий причинного индетерминизма, второй — следственного.

Возможны симметричные и несимметричные детерминистические позиции. Сходная возможность сохраняется и для индетерминистических точек зрения. Можно принимать, например, что причины каждого события не уходят сколь угодно далеко в прошлое, и вместе с тем отрицать, что какое-либо событие имеет следствия, и т. д.

Особый интерес представляет допускаемая рассматриваемой классификацией позиций возможность комбинации принципов детерминизма с теми или иными принципами индетерминизма. Существование *комбинированных* позиций, объединяющих детерминистические утверждения с индетерминистическими, является, по-видимому, основной причиной разногласий по поводу различения детерминизма и индетерминизма и последующей квалификации той или иной конкретной позиции.

Наиболее сильная версия детерминизма несовместима ни с одним из вариантов индетерминизма. Сходным образом наиболее сильная формулировка индетерминизма не может быть дополнена без противоречия тем или иным утверждением о существовании причин или следствий. Но имеются *неполные* детерминистические и индетерминистические позиции, оставляющие открытым вопрос о детерминированности или недетерминированности некоторых явлений в отдельные моменты времени.

Примерами их могут служить следующие две: а) некоторые события детерминированы во все моменты времени; б) неверно, что каждое событие детерминировано во всякое предшествующее его наступлению время. Первую из них можно расширить до полной детерминистической позиции, вторую — до полной индетерминистической. Но можно также объединить приведенные два утверждения и получить комбинированную позицию, согласно которой существуют как всегда детерминированные события, так и события, не определенные в некоторые, по меньшей мере, моменты, предшествующие их наступлению. Утверждения о существовании в определенное или всякое время причин отдельных или всех событий могут комбинироваться с положениями, отрицающими наличие следствий у всех или определенных явлений в некоторый или каждый момент времени



Очень популярной является такая, например, комбинированная позиция, когда принимается бесконечная протяженность следствий каждого явления и вместе с тем утверждается, что некоторые явления не имеют причин в достаточно отдаленном прошлом. Еще одна распространенная комбинированная позиция может быть передана утверждением: ничто не происходит без причины, но вместе с тем неверно, что причины всякого события вечны. Такую позицию занимал в момент создания многозначных логик Я. Лукасевич, называвший себя, однако, индетерминистом<sup>1</sup>.

До сих пор принципам детерминизма и индетерминизма и их комбинациям давалась онтологическая интерпретация. Они формулировались как утверждения о структуре действительности, о реально существующих или несуществующих причинах и следствиях. Этим же принципам может быть дана также гносеологическая интерпретация, в которой они говорят о возможности определенных описаний действительности.

Например, онтологическому утверждению «Причины некоторых событий не уходят бесконечно в прошлое» можно поставить в соответствие гносеологическое утверждение «Невозможна теория, позволяющая указать причину всякого события в сколь угодно отдаленном прошлом». Первое из этих утверждений характеризует определенным образом действительность, второе — теорию, дающую ее описание. Отношение между онтологической и гносеологической интерпретациями одного и того же принципа является одним из аспектов отношения теории к описываемому ею фрагменту реального мира.

## § 7. Историзм

Понятие *историзма* является одной из важных категорий тех гуманитарных и социальных наук, которые истолковывают мир — и прежде всего социальную жизнь — как постоянное изменение (становление) и используют временной ряд «прошлое — настоящее — будущее» («было — есть — будет»). Если понятие детерминизма является конкретизацией категории *определенности* применительно к наукам о бытии, то понятие историзма представляет собой конкретизацию этой же общенаучной категории, но уже применительно к наукам о становлении.

Из многочисленных значений термина «историзм» можно выделить следующие два основных его значения: 1) определенность настоящего прошлым и/или будущим; 2) определенность прошлого и буду-

---

<sup>1</sup> Ивин А. А. Логические теории Яна Лукасевича. М., 2002. Гл. 3.

щего настоящим. В неисторических науках, подобных физике, химии или экономической науке, мир понимается как постоянное повторение (бытие); в их основе лежит временной ряд «раньше — одновременно — позже», исключаящий «настоящее» и «стрелу времени». Аналогом понятия историзма в такого рода науках является понятие детерминизма, или определенности последующего предшествующим, и наоборот.

Религиозные концепции истории, как правило, настаивают на определенности настоящего будущим. В частности, история, написанная в соответствии с принципами христианства, является провиденциальной и апокалиптической. Она приписывает исторические события не мудрости людей, но действиям бога, определившего не только основное направление, но и все детали человеческой деятельности. Для средневекового историка, пишет Р. Дж. Коллингвуд, история была не просто драмой человеческих устремлений, в которой он принимал ту или иную сторону, но процессом, которому присуща внутренняя объективная необходимость. Самые мудрые и сильные люди вынуждены подчиниться ей не потому, что, как у Геродота, Бог — разрушительное и вредоносное начало, но потому, что Бог, будучи провидцем и творцом, имеет соответственный план и никому не позволит помешать его осуществлению. Поэтому человек, действующий в истории, оказывается втянутым в божественные планы, и они увлекает его за собой, независимо от его согласия. «История как воля бога предопределяет самое себя, и ее закономерное течение не зависит от стремления человека управлять ею»<sup>1</sup>. Теология истории длится от творения до судного дня и спасения. Поступь бога в истории обнаруживает себя в последовательности актов сотворения мира, создания человека и изгнания его из рая, изъятия божественной воли устами пророков, спасения, явления бога людям на рубеже времен, предстоящего Страшного суда. Смысл исторического существования заключен в будущем и является результатом не одного познания, но и исполненного надежд ожидания.

Упования на будущее воздаяние сделались инородными для исторического сознания лишь в XX в. Радикальные концепции прогресса, выдвигавшиеся в XVIII—XIX вв. Ж. А. Кондорсе, Сен-Симоном, О. Контом, К. Марксом, оставались эсхатологически мотивированными будущим. В частности, А. Тойнби писал о марксизме, интерпретировавшем историю как постепенную подготовку к коммунизму: «Определенно иудийский... дух марксизма — это апокалиптическое видение безудержной революции, которая неизбежна, поскольку предписана самим Богом и которая должна изменить нынешние роли пролета-

<sup>1</sup> Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 53.

риата и правящего меньшинства до полной их перестановки, которая должна возвести избранных людей в единой связке с низайшего до высочайшего положения в царстве этого мира. Маркс возвел в своем на все способном деизме богиню «исторической необходимости» на место Яхве, пролетариат современного западного мира — на место евреев, а царство Мессии изобразил как диктатуру пролетариата. Однако характерные черты традиционного еврейского апокалипсиса выступают здесь сквозь потертую маску. Наш философский импресарио предлагает в современном западном костюме дораввинский маккавейский иудаизм...»<sup>1</sup>.

Вместе с тем у Маркса начинается складываться идея определенности настоящего не только будущим, но и прошлым. В результате его позиция оказывается двойственной: история движется не только своим притяжением к конечной цели, но и объективными историческими законами, обуславливающими переход от более низких к более высоким общественно-экономическим формациям и в конечном счете — к коммунистической формации.

В XX в. представление о предопределенности настоящего будущим утрачивает остатки былого влияния, уступая место убеждению, что настоящее определяется прошлым и в известной мере образом того ближайшего, обозримого будущего, которое ожидает общество, культуру и т. п. и реализация которого во многом зависит от усилий человека. Отказ от идеи законов истории, действующих с «железной» необходимостью, придает определенности настоящего прошлым вероятностный, статистический характер. Такое понимание историзма лишает ценности «удобное и по существу ничего не значащее толкование истории как постижимого и необходимого поступательного движения человечества» (К. Ясперс).

В истолковании историзма особую роль играет тот смысл, который придается понятию *определенности* одного времени другим. Определенность настоящего прошлым может интерпретироваться по меньшей мере трояко: как каузальная определенность (настоящее есть следствие, причина которого — прошлое), как определенность традицией и как определенность законами истории. Эти интерпретации могут комбинироваться, последняя из них получила название историзма. Определенность настоящего будущим может означать телеологическую определенность (настоящее есть средство для достижения цели — будущего) или вызревание в настоящем предпосылок для будущего. Определенность будущего настоящим может пониматься как каузальная определенность или как подготовка в настоящем некоторых, не обязательно каузальных предпосылок для будущего. Наибо-

<sup>1</sup> Тойнби А. Постигание истории. М., 1995. С. 184.

лее сложно истолковать определенность прошлого настоящим: здесь не может идти речи о каузальной определенности, но можно говорить о телеологической определенности (ценности настоящего определяя, как должно истолковываться прошлое).

Представления историков о прошлом постоянно изменяются. Происходит это главным образом не из-за открытия новых фактов о прошлых событиях, а в силу изменения истолкования *настоящего*. Идея определенности не только будущего, но и прошлого настоящим начала складываться в конце XIX — начале XX в. Еще Ф. Шлейермахер, положивший начало современной герменевтике, требовал от историка встать на позицию того исторического персонажа, действия которого описываются, и понять его лучше, чем он сам понимал себя. При этом предполагалось, что современный интерпретатор, смотрящий в прошлое из своего специфического настоящего, способен выйти из своего «теперь» и полностью идентифицироваться с прошлым. Но уже у О. Шпенглера разные культуры не являются проницаемыми друг для друга, так что человек более поздней культуры не способен адекватно представить себя индивидом ушедшей в прошлое культуры и не может вполне понять строй мыслей и образ действий последнего. Настоящее, границы которого совпадают с границами культуры, предопределяет невозможность адекватного познания прошлого.

С особой силой подчеркнул историчность бытия человека, его погруженность в настоящее и зависимость не только будущего, но и прошлого от настоящего экзистенциализм. Невозможно подняться над историей, чтобы рассматривать прошлое «беспристрастно». Объективность исторична, и она прямо связана с той позицией в истории, с которой исследователь пытается воссоздать прошлое. «Мы ведь тоже вынуждены видеть и истолковывать прежнее мышление из горизонта определенного, т. е. нашего мышления... Мы не можем выйти из нашей истории и из нашего “времени” и рассмотреть само по себе прошлое с абсолютной позиции, как бы помимо всякой определенной и поэтому обязательно односторонней оптики... Вопрос об истинности данного “образа истории” заходит дальше, чем проблема исторической корректности и аккуратности в использовании и применении источников. Он соприкасается с вопросом об истине нашего местоположения в истории и заложенного в нем отношения к ее событиям”<sup>1</sup>. Хайдеггер почти с той же силой, что и Шпенглер, настаивает на взаимной непроницаемости и принципиальной необъяснимости культур. Единственным приближением к чужой культуре ему представляется самостоятельное, т.е. достигаемое внутри собственной живой истории и каждый раз заново, ее осмысление. Позиция са-

<sup>1</sup> Heidegger M. Der europaische Nihilismus. Pfulingen, 1967. S. 90–91.

мостоятельного мыслителя, какая бы она ни была, будет уникальной и вместе с тем окончательной полноценной интерпретацией истории.

О роли настоящего в историческом исследовании Р. Дж. Коллингвуд пишет, что «каждое настоящее располагает собственным прошлым, и любая реконструкция в воображении прошлого нацелена на реконструкцию прошлого этого настоящего... В принципе целью любого такого акта является использование всей совокупности воспринимаемого “здесь и теперь” в качестве исходного материала для построения логического вывода об историческом прошлом, развитие которого и привело к его возникновению»<sup>1</sup>. По Коллингвуду, эта цель никогда не может быть достигнута: настоящее не может быть воспринято и тем более объяснено во всей его целостности, а бесконечное по материалу прошлое никогда не может быть схвачено целиком. Желание понять полное прошлое, исходя из полного настоящего, не реализуемо на практике, что делает историю «стремлением к нравственному идеалу, поиску счастья».

Основной парадокс нашей истории состоит в том, что она, с одной стороны, ничему не учит (точнее, стремится не учить современников), а с другой, представляет интерес главным образом постольку, поскольку позволяет яснее понять настоящее и отчетливее представить будущее. Занимаясь прошлым и только прошлым, историк не делает прогнозов и не заглядывает в будущее. Вместе с тем он осознает, что истории, написанной с вневременной или надвременной позиции, не существует и с изменением настоящего изменится и определяемая им перспектива видения прошлого, так что потребуются новая, отвечающая новому настоящему трактовка истории. Решение парадокса — в постоянном переписывании истории, хотя прошлое, как таковое, может считаться историками неизменным.

Особенно тяготеют к переистолкованию прошлого в свете все нового настоящего так называемые коллективистические, или закрытые, общества (средневековое, умеренно-коллективистическое общество, тоталитарные режимы индустриального общества и др.). В частности, тоталитарное общество не отделяет прошлое от настоящего и будущего и истолковывает прошлое как обоснование и оправдание настоящего. Это означает, что с изменением настоящего должно неминуемо меняться и пошлое. Отсюда постоянное *переписывание истории*, так хорошо изображенное Дж. Оруэллом, главный герой которого работает в министерстве правды, занятом, в частности, и этим делом<sup>2</sup>.

Своеобразную трактовку историзма давали представители Баденской школы неокантианства В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Они раз-

<sup>1</sup> Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 53.

<sup>2</sup> Оруэлл Дж. 1984. М., 1982.

личали генерализирующие, ориентирующиеся на формулировку научных законов номотетические науки (науки о природе) и индивидуализирующие, описывающие единичное и не повторяющееся идиографические науки (науки о культуре). Если наука о культуре, например, история, использует главным образом методы наук о природе, она впадает в *натурализм* и истолковывает культуру по чуждому ей образцу – образцу природы. Если же наука о культуре вообще не прибегает к методу наук о природе и не использует его даже в качестве второстепенного, она впадает в другую крайность – в релятивизм, или историзм, и представляет явления культуры как просто следующие друг за другом, но внутренне не связанные между собой. Эту трактовку историзма позднее поддерживал М. Хайдеггер.

Историзм в истолковании Виндельбанда и Риккерта представляет собой отказ от идеи, что прошлое определяет настоящее, а настоящее, в свою очередь, задает ту оптику, в которой только и возможно видение прошлого и его цельности и внутренней связности. Историзм как отрицание двусторонней связи между прошлым и настоящим действительно лишает историческое видение всякой перспективы и, значит, системы. Он дает «историю без истории» (М. Хайдеггер), поскольку выбор из бесконечного множества прошлых событий становится хаотичным и произвольным. Истолкование историзма как релятивизма и оппозиции (методологического) натурализма идет, однако, вразрез с традицией, согласно которой историзм есть определенность одного времени другим, а не отказ от такой определенности.

## § 8. Модальные категории

К *модальным категориям*, или *модальностям*, относятся понятия, с помощью которых с той или иной позиции конкретизируется характер связей и отношений объектов. Модальная конкретизация осуществляется чаще всего путем использования понятий «необходимо», «возможно», «доказуемо», «опровержимо», «обязательно», «разрешено», «хорошо», «плохо».

Наиболее употребительными являются следующие группы модальных категорий:

- логические модальности; они подразделяются на абсолютные: «логически необходимо», «логически случайно», «логически возможно», «логически невозможно» и сравнительные: «логически влечет», «есть логическое следствие»;
- онтологические, или каузальные, модальности, включающие абсолютные модальные понятия: «необходимо», «случайно»,

«невозможно», «возможно» и сравнительные модальные понятия: «есть причина», «есть следствие», «не является ни причиной, ни следствием»;

- теоретико-познавательные, или эпистемические, модальности, подразделяемые на модальные понятия, относящиеся к знанию: «доказуемо», «опровержимо», «неразрешимо»; модальные понятия, относящиеся к убеждению: «убежден», «сомневается», «отвергает», «допускает» и модальные понятия, связанные с истинностной характеристикой и включающие абсолютные модальные понятия: «истинно», «ложно», «неопределенно» и сравнительные модальные понятия: «вероятнее», «менее вероятно», «равновероятно»);
- деонтические, или нормативные, модальные категории: «обязательно», «нормативно безразлично», «запрещено», «разрешено»;
- аксиологические, или оценочные, модальные категории, распадающиеся на абсолютные: «хорошо», «аксиологически безразлично», «плохо» и сравнительные: «лучше», «равноценно», «хуже»);
- временные модальности, включающие абсолютные модальные понятия: «было», «есть», «будет» и сравнительные модальности: «раньше», «одновременно», «позже».

Модальные категории разных типов имеют общие формальные свойства. Так, независимо от того, к какой группе относятся эти понятия, они определяются друг через друга по одной и той же схеме. Нечто возможно, если противоположное не является необходимым; действие разрешено, если воздержание от него не обязательно; утверждение принимается, если нет убеждения в противоположном. Случайно то, что не является ни необходимым, ни невозможным. Безразлично то, что не обязательно и не запрещено. Неразрешимо то, что недоказуемо и неопровержимо, и т. п.

Подобным же образом сравнительные модальные понятия разных групп определяются по одной и той же схеме: «первое лучше второго» равносильно «второе хуже первого», «первое раньше второго» равносильно «второе позже первого», «первое причина второго» равносильно «второе следствие первого» и т. д.

Модальные понятия, относящиеся к разным группам, имеют разное содержание. При сопоставлении таких понятий (например, «необходимо», «доказуемо», «убежден», «обязательно», «хорошо», «всегда») складывается впечатление, что они не имеют ничего общего. Однако это не так. Модальные понятия разных групп выполняют одну и ту же функцию: они уточняют устанавливаемую в высказывании связь,

конкретизируют ее. Правила их употребления определяются только этой функцией и не зависят от содержания высказывания. Поэтому данные правила являются едиными для всех групп понятий и имеют чисто формальный характер.

Логические модальные понятия изучались еще Аристотелем и средневековыми логиками. Детальное исследование других групп модальных категорий началось в 1950-е гг., хотя первые упоминания о них относятся еще к поздней античности и средним векам.



## *Глава IV*

# **ИДЕАЛЫ НАУКИ**

### **§ 1. Теория**

Научное познание мира является разновидностью человеческой деятельности. Как всякая деятельность, оно руководствуется и направляется системой определенных ценностей. Обычно они называются научными идеалами или нормами науки. Их задача — направлять усилия ученого, являться высшим или даже конечным устремлением научного исследования. Принято, например, считать, что ученый призван стремиться к объективному знанию; что это знание должно представлять собой не совокупность разрозненных заметок об изучаемых объектах, а научную теорию; что такая теория обязана быть логически последовательной и т. д.

Между идеалами науки и ее нормами можно провести различие, хотя это и непросто сделать. Идеалы располагаются в будущем, они притягивают к себе, но не всегда оказываются достижимыми. Нормы располагаются в прошлом, они не влекут к себе из будущего, а толкают в него из прошлого. Если идеалы остаются нереализованными, об этом можно сожалеть. Нормы же всегда предполагают угрозу наказания, в силу чего они непременно должны быть соблюдены. И, наконец, идеалы, как правило, более расплывчаты, чем нормы. Идеалы — по преимуществу пожелания, в то время как нормы являются директивными распоряжениями. Идеал — это прежде всего ценностное представление, так как им утверждается определенное положительное содержание научной деятельности; норма является императивным, повелевающим представлением.

В структуре научного сознания научные идеалы занимают одно из ключевых мест: ими задается значение хорошего и плохого в научной деятельности, должного и предосудительного, правильного и неправильного и т. д. Идеалы науки систематизируют наиболее отвлеченное и общее представление о деятельности ученого, ее промежуточных и конечных целях. Ценностная сила научных идеалов несомненна, вместе с тем они обладают также известным императивным содержанием.

Идеалы науки всегда стояли в центре внимания философии науки. В ней многое было сказано о структуре научных теорий, об объ-

ективности утверждений науки, о границах аксиоматизации и формализации и др. Вместе с тем никакой систематизации идеалов науки пока не существует, большинство этих идеалов рассматривается, как правило, неконкретно. Многое, например, говорилось о требовании истинности научных утверждений. Но истина как соответствие утверждения описываемому им фрагменту реальности не отделялась ясным образом от истины как согласия системы научных утверждений друг с другом. Не рассматривался вопрос о том, является ли истина целью всякой науки, включая не только естественные, но и социальные и гуманитарные науки, а также науки, подобные математике. И если положения математики должны быть истинными, т. е. обязаны соответствовать реальному положению вещей, то с каким фрагментом действительности следует сопоставлять весьма абстрактные математические утверждения, всегда говорящие об идеализированных, т. е. вымышленных объектах.

Далее дается более или менее подробное описание тех идеалов, которыми руководствуется наука, и предпринимается попытка систематизировать эти идеалы. Естественнее всего начать обсуждение идеалов науки с требования системности, или теоретичности, научного знания. Научное знание всегда стремится приобрести форму *научной теории* — системы научных утверждений, дающей целостное представление о закономерностях или существенных связях изучаемой области действительности. Примерами научных теорий являются классическая механика Ньютона, корпускулярная и волновая теории света, специальная и общая теория относительности, хромосомная теория наследственности.

В чисто логическом смысле теория — это совокупность высказываний, замкнутых относительно логического следования. С логической точки зрения теорий может быть даже отдельное высказывание, взятое вместе с его логическими следствиями. Этому предельно общему и наиболее абстрактному определению теории противопоставим конкретную, достаточно развитую и обоснованную научную теорию — теорию эволюции Ч. Дарвина.

Человечеству со временем пришлось пережить два тяжелых удара науки по своему наивному себялюбию. Первый — когда оно осознало, что Земля не центр Вселенной, а лишь пылинка в мировой системе невообразимых размеров. Второй — когда биологическая наука «низвела» человека до мира животных. Первый из этих ударов был нанесен гелиоцентрической системой Н. Коперника, заставившей Землю в хороводе других планет вращаться вокруг Солнца. Второй — теорией эволюции живых существ Ч. Дарвина.

О глубине воздействия теории Дарвина на современников хорошо говорит резкая поляризация ее сторонников и противников. Озна-

комившись с доводами Дарвина, Т. Хаксли, ставший впоследствии одним из наиболее авторитетных его сторонников, восхищенно заметил: «Не понимаю, как мы раньше не додумались до этого!» Зато оксфордский епископ С. Вильберфорс категорически отверг «унизительное понимание скотского происхождения того, кто создан по образу и подобию божию».

Теория Дарвина — крупнейшее естественнонаучное достижение XIX в. — в основе своей проста. Она основывается на четырех принципах, связанным с биологическим видом.

1. Избыточное потомство: все биологические виды способны давать потомство большее, чем необходимо для простого воспроизводства вида. Одна пара мышей может производить на свет по шесть мышат до шести раз в год. Через шесть недель это потомство может давать свое потомство.

2. Борьба за выживание: среда может воздействовать на шансы выживания особи. Все живые организмы взаимодействуют со средой их обитания, ибо среда — это пища, место и соответствующие условия жизни, включая конкурентов и хищников. Поэтому в любой популяции не все особи выживают и дают потомство. Та же мышь может стать жертвой хищника или эпидемии, остаться без пищи или без пары.

3. Некоторые существенные различия: поскольку не все особи одинаковы, вероятность выживания одних больше, чем других. Нет двух совершенно одинаковых мышей, различия между ними могут влиять на их шанс на выживание.

4. Наследственность: некоторые характерные особенности передаются следующему поколению, некоторые различия между особями — наследственные. Например, окрас передается у мышей по наследству. В местности с темной почвой темные мыши имеют больше шансов ускользнуть от глаз хищников, выжить и дать потомство. Поэтому наиболее вероятно, что следующему поколению передадутся их характерные особенности и темных мышей станет больше, чем раньше. При сохранении тех же условий пропорция темных мышей в популяции будет постепенно увеличиваться, Дарвин назвал этот процесс естественным отбором. Этот отбор позволяет объяснить, как могут измениться характерные особенности популяции с улучшением приспособленности особей к среде их обитания.

Структура научной теории. Дарвиновская теория эволюции является, можно сказать, классическим примером научной теории как с точки зрения своей внутренней структуры и выполняемых функций, так и в отношении своего возникновения и последующего развития. Эта теория складывается из относительно *жесткого ядра* и его *защитного*

*пояса*. В ядро входят четыре указанных принципа. Отказ от любого из них равносильно отбрасыванию самой теории.

Не все эти принципы были очевидными и обоснованными с самого начала. Например, естественный отбор зависит от изменчивости организма. Но каким образом сохраняется эта изменчивость? Предположим, что защитная окраска помогает какой-то особи лучше скрываться от врагов и повышает ее шансы на выживание. Но в чем гарантия того, что это преимущество не будет утрачено? Ведь, абстрактно говоря, потомство этой особи, рожденное от животного с другой окраской, может приобрести какую-то промежуточную окраску, не дающую особых преимуществ. Ответ на этот вопрос о механизме наследственности был дан гораздо позднее, когда сложилась наука генетика.

Широко известной научная теория становится, как правило, тогда, когда она уже хорошо устоялась и получила основательное подтверждение. Это создает иллюзию, что такая теория представляет собой собрание окончательных истин, к которым нечего добавить. Первоначальная неясность самих основ теории Дарвина показывает, что это далеко не так. Возникшая теория еще должна подтвердить свое право на существование.

Защитный пояс теории содержит вспомогательные гипотезы, конкретизирующие ее ядро и принимающие на себя удары, направленные против теории. Этот пояс определяет проблемы, подлежащие дальнейшему исследованию, предвидит факты, не согласующиеся, как кажется, с теорией, и истолковывает их так, что они превращаются в примеры, подтверждающие ее. Дарвин, придумав свою теорию, около двадцати лет собирал факты в ее поддержку и пересматривал те факты, которые могли быть направлены против нее. Если эволюция живых существ шла на протяжении миллионов лет, то как объяснить скудость геологической летописи, почему находится относительно мало ископаемых останков этих существ? Так называемые рабочие муравьи сами не размножаются. Как могут передаваться по наследству те их признаки, которые благоприятствуют выживанию муравьиной семьи? Эти и подобные им вопросы рассматривались Дарвиным и его последователями в процессе разработки защитного пояса теории эволюции.

С точки зрения своей структуры теория представляет собой систему взаимосвязанных утверждений. Теория не совокупность утверждений, лежащих в одной плоскости, а определенная их иерархия, имеющая свои «верх» и «низ». В самом низу, так сказать, в фундаменте, лежат фактические утверждения и простейшие эмпирические обобщения, хорошо подтверждаемые опытом. Выше располагаются более общие положения и гипотезы, несущие по преимуществу

теоретическое содержание. На самой вершине этой пирамиды находятся основополагающие принципы теории и ее аналитические утверждения.

Факты не являются совершенно независимыми от теории. Они всегда теоретически нагружены, наблюдаемое явление становится фактом только в рамках определенной теории. Не существует содержательно интересных теорий, которые в какой-то момент своего развития полностью соответствовали бы всем относящимися к компетенции теории фактам. Теория не объясняет всех без исключения фактических данных, расхождение ее с опытом — основной источник ее эволюции. Познание определенной области явлений получает особенно существенный импульс тогда, когда между теорией и опытом возникают противоречия. Последние дают ключ к более широкому пониманию исследуемых явлений и заставляют совершенствовать теорию. Чем крупнее противоречия, тем фундаментальнее должна быть перестройка тех входящих в теорию законов или общих принципов, которыми объясняются изучаемые явления.

Все теории, как естественнонаучные, так и гуманитарные и социальные находятся в процессе постоянного развития. Это происходит даже в том случае, если объекты, изучаемые теорией, остаются неизменными. Тем более это необходимо, когда описываемые теорией объекты претерпевают изменения. В частности, теория Дарвина за сто пятьдесят лет своего существования прошла довольно сложный путь. Оригинальность понятия естественного отбора, а также скрупулезность наблюдений и аргументации сразу же убедили многих в справедливости теории дарвиновской эволюции. С годами число сторонников теории увеличивалось, и сейчас редко кто думает, что биологическая эволюция протекает в общих чертах не так, как описал ее Дарвин, и что естественный отбор не является ее основным фактором. Хотя и есть значительные расхождения во мнениях по отдельным вопросам функционирования механизма эволюции, это не влияет на общее принятие дарвиновской теории как фундаментального объяснения развития жизни на земле.

К настоящему времени знания об отдельных этапах эволюции значительно расширились: от кого произошли те или иные виды и какие этапы развития они прошли. Вместе с тем в теорию Дарвина были внесены важные поправки и дополнения. Было, в частности, замечено, что естественный отбор не всегда дает однозначные результаты: определенную роль здесь играют и другие факторы. Например, большее значение, чем считалось ранее, имеет случайность. В тех случаях, когда численность популяции невелика, в ней могут получить распространение наследуемые изменения, которые, в общем-то, являются бесполезными и которые возникли лишь в силу того, что пер-

воначальным носителям этих мутаций по счастливой случайности удалось выжить

В начале XX в. дарвиновская теория испытала кризис, но затем она постепенно вошла в более широкий современный контекст, включающий результаты генетики и других биологических дисциплин. Оформилась новая всеобъемлющая концепция эволюции, именуемая обычно синтетической теорией. Этот новый синтез учитывает не только достижения генетики, но и различные открытия, связанные с концепцией вида, биогеографией, палеонтологией и т. д.

Пример эволюции теории Дарвина показывает, что каждая научная теория, какой бы совершенной она ни казалась, проходит определенные этапы в своем развитии, имеет собственную историю, не лишнюю кризисов и потрясений. Усовершенствованная и конкретизированная теория помещается в итоге в более широкий контекст, сохраняющий ее основное позитивное содержание. На этом развитие теории, конечно, не заканчивается. Но оно становится уже одним из моментов эволюции более обширного, охватывающего ее контекста.

Иногда теоретичность, или системность, научного знания переоценивается. Ни физика или математика, ни химия или биология, ни тем более социальные дисциплины, подобные социологии и политологии, не представляют собой некой единой теории. Внутреннее единство научной дисциплины является результатом ее развития и носит динамический характер. Оно всегда должно быть выявлено и установлено, и оно меняется от одного периода этого развития к другому. Процесс объединения разрозненных сведений, относящихся к какой-то конкретной области, является, как и процесс развития науки в целом, бесконечным. Единство знания, касающегося этой области объектов, всегда является временным и относительным.

«Сегодня наши законы, законы физики — множество разрозненных частей и обрывков, плохо сочетающихся друг с другом. Физика еще не превратилась в единую конструкцию, где каждая часть — на своем месте. Пока что мы имеем множество деталей, которые трудно подогнать друг к другу. Вот почему в этих лекциях я вынужден говорить не о том, что такое *закон* физики, а о том, что роднит различные законы; мы плохо понимаем их связь. Но интересно, что у них все же есть некоторые общие черты»<sup>1</sup>. Если это верно в отношении современной физики, то тем более это справедливо в отношении других наук, менее точных, чем физика, и добившихся в своей систематизации не столь заметных успехов, чем она.

---

<sup>1</sup> Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1987. С. 27.

## § 2. Истина

Понятие *истины* является одним из наиболее важных в теории познания и в философии науки. Одновременно оно относится к понятиям, вызывающим наибольшие споры. Иногда даже высказывается мнение, что описание научных теорий и их развития вполне может обойтись — а, может быть, даже должно обходиться — без понятия истины.

Истина в ее обычном понимании несет в себе некоторое абсолютное содержание: истинное однажды остается истинным во все времена. Но наука дает только проблематичное знание, которое со временем с неизбежностью будет пересмотрено, изменено и уточнено. Как можно в таком случае использовать понятие истины?

Замена одних научных теорий другими, более совершенными, все возрастающая детализация и углубляющееся понимание мира иногда истолковываются как процесс постепенного, но никогда не завершающегося (как иногда выражаются, асимптотического) приближения к истине. Но подобное понимание делает процесс развития науки направленным к некоторой цели и придает эволюции науки неприемлемый телеологический характер.

«Действительно ли мы должны считать, — задается вопросом Т. Кун, — что существует некоторое полное, объективное, истинное представление о природе и что надлежащей мерой научного достижения является степень, с какой оно приближает нас к этой конечной цели? Если мы научимся замещать “эволюцию к тому, что мы надеемся узнать”, “эволюцией от того, что мы знаем”, тогда множество раздражающих нас проблем могут исчезнуть»<sup>1</sup>. Кун высказывает предположение, что проблема индукции, давно вызывающая острые споры, внутренне связана с истолкованием науки как деятельности, направленной к определенной и в общем-то никогда не достижимой цели.

Гарантию того, что список проблем, решаемых наукой, и точность решений отдельных проблем будет все более возрастать, Кун ищет не в стремлении науки к истине, а в особенностях сообщества ученых, занимающихся научными исследованиями в данной области знания. «По крайней мере, природа сообщества обеспечивает такую гарантию, если есть вообще способ, которым она может быть обеспечена. Какой критерий может быть вернее, чем решение научной группы?»<sup>2</sup>. Наука не нуждается в прогрессе иного рода. «Мы можем для большей точности отказаться здесь от дополнительного

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 215.

<sup>2</sup> Там же. С. 214.

предположения, явного или неявного, что изменения парадигмы ведут за собой ученых и студентов и подводят их все ближе и ближе к истине»<sup>1</sup>.

В своей книге о развитии научных теорий Т. Кун употребляет термин «истина» только в цитате из Ф. Бэкона. И даже здесь этот термин используется только как источник убеждения ученого, что несовместимые правила научной деятельности не могут сосуществовать, за исключением периода научной революции, когда главная задача ученых как раз и состоит в упразднении всех наборов правил, кроме одного.

Сопоставляя свое нетелеологическое видение развития науки с теорией эволюции Дарвина, Кун замечает, что понятиям «эволюция», «развитие» и «прогресс» можно придать смысл при отсутствии определенной цели. Современное научное знание является чистым результатом постепенного отбора. Последовательные стадии в этом процессе развития знаменуются возрастанием конкретности и специализации. «И весь этот процесс может совершаться, как мы сейчас представляем биологическую эволюцию, без помощи какой-либо общей цели, постоянно фиксируемой истины, каждая стадия которой в развитии научного знания дает улучшенный образец»<sup>2</sup>.

Л. Лаудан одной из главных характеристик науки считает непрерывный рост знания. Прогресс науки предполагает постановку и решение проблем. Определяя науку как деятельность по решению проблем, Лаудан интерпретирует ее развитие как возрастание способности исследовательских программ к решению эмпирических и теоретических проблем<sup>3</sup>. Если научное исследование описывается в терминах решения проблем, в использовании понятия истины нет необходимости. Лаудан не отрицает существования истины, но, подобно Куну, полагает, что введение этого понятия порождает ряд запутанных вопросов.

Идея, что развитие науки допускает описание, не использующее понятия истины, является, таким образом, достаточно распространенной. В связи с тем что с введением истины как цели научного познания в науку вводится чуждый для нее момент телеологии, можно предположить, что прогресс науки вообще следует описывать без ссылки на истину как цель научного познания. И тем не менее понятие истины постоянно используется как в самой науке, так и в философии науки. Это показывает, что роль данного понятия в научном познании остается пока не особенно ясной.

---

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций... С. 214.

<sup>2</sup> Там же. С. 217.

<sup>3</sup> Laudan L. Progress and its Problems. Berkeley, 1977. P. 16, 25.



Принято считать, что истина является *свойством* высказываний. Например, высказывание «снег бел» является истинным, в то время как высказывание «снег черный» ложно. Точнее говоря, истина обычно рассматривается как свойство тех мыслей, или суждений, которые выражаются высказываниями. Истина неприменима к понятиям, представлениям, образам.

Сопоставление понятия истины с понятием (позитивной) ценности показывает, однако, что истина представляет собой не свойство высказывания, а *отношение* между высказыванием и сопоставляемым с ним фрагментом действительности. Отношением, а не свойством является и ценность. В обычном употреблении истина и (позитивная) ценность асимметричны. Если высказывание, сопоставляемое с действительностью, соответствует ей, то свойство быть истинным приписывается высказыванию. Когда реальность соответствует высказыванию (тому стандарту, который выражается им), (позитивная) ценность приписывается самому фрагменту реальности, а не высказыванию.

Чтобы не усложнять язык, будем, как обычно, говорить, что высказывания являются теми объектами, которые способны быть истинными. Истинными или ложными могут быть не все высказывания, а только те, которые относятся к так называемому пассивному употреблению языка. Вопрос о возможных употреблениях языка требует, однако, более подробного обсуждения. Это тем более необходимо, что этот вопрос касается не только понятия истины, но и рассматриваемого позднее понятия ценности.

**Пассивное и активное употребления языка.** Язык пронизывает человеческую жизнь, и он должен быть таким же богатым, как и она. С помощью языка мы можем не только описывать самые разные ситуации, но и оценивать их, отдавать команды, предостерегать, обещать, формулировать нормы, молиться, заклинать и т. д. Можно ли перечислить все те задачи, которые человек решает посредством языка? Какие из употреблений, или функций, языка являются основными, а какие вторичными, сводимыми к основным? Как ни странно, эти вопросы встали только в начале прошлого века.

В числе употреблений языка особое место занимает *описание* — высказывание, главной функцией которого является сообщение о реальном положении вещей и которое является истинным или ложным. Описание, соответствующее действительности, является истинным. Описание, не отвечающее реальному положению дел, ложно. Например, описание «снег бел» является истинным, а описание «кислород — металл» ложно. Иногда допускается, что описание может быть неопределенным, лежащим между истиной и ложью. К неопределенным можно отнести многие описания будущего: «Через год в этот день бу-

дет пасмурно». Иногда в описаниях используются слова «истинно», «верно», «на самом деле» и т. п.

Долгое время считалось, что описание — это единственная функция языка или, во всяком случае, та его функция, к которой может быть сведено любое иное его употребление. Предполагалось, что любое грамматически правильное повествовательное предложение является описательным и, значит, истинным или ложным. Как оказалось при более внимательном анализе, описание, несмотря на всю его важность, не единственная задача, решаемая с помощью языка. Оно не является даже главной его задачей. Перед языком стоят многие задачи, не сводимые к описанию.

В 1920-е гг. Ч. Огден и А. Ричардс написали книгу, в которой привлекли внимание к *экспрессивам* и убедительно показали, что эмотивное (выражающее) употребление языка, не сводимо к его обозначающему, описательному значению. Так, фразы «Сожалею, что разбудил вас», «Поздравляю вас с праздником» не только описывают состояние чувств говорящего, но и выражают определенные психические состояния, связанные с конкретной ситуацией.

Например, я вправе поздравить вас с победой на соревнованиях, если вы действительно победили и если я на самом деле рад вашей победе. В этом случае поздравление будет искренним и его можно считать истинным, т. е. соответствующим внешним обстоятельствам и моим чувствам. Если же я поздравляю вас с тем, что вы хорошо выглядите, хотя на самом деле вы выглядите неважно, мое поздравление неискренне. Оно не отвечает реальности, и если я знаю об этом, то не соответствует и моим чувствам. Такое поздравление вполне можно оценить как ложное. Ложным было бы и поздравление с тем, что вы открыли квантовую механику: всем, в том числе и вам, заведомо известно, что это не так, и поздравление звучало бы насмешкой.

Особое значение для разработки теории употреблений языка имели идеи английского философа Дж. Остина. Он, в частности, привлек внимание к тому необычному факту, что язык может напрямую использоваться для изменения мира. Именно эта задача решается, например, выражениями, названными Остином *декларациями*: «Назначаю вас председателем», «Ухожу в отставку», «Я заявляю: наш договор расторгнут», «Обручаю вас» («Объявляю вас мужем и женой») и т. п. Декларацию можно определить как высказывание, меняющее существовавшее до его произнесения положение вещей.

Когда, допустим, я успешно осуществляю акт назначения кого-то председателем, он становится председателем, а до этого акта он не был им. Если успешно выполняется акт производства в генералы, в мире сразу же становится одним генералом больше. Когда футбол-

ный арбитр говорит: «Вы удаляетесь с поля», игрок оказывается вне игры, и она, по всей очевидности, меняется.

Декларации явно не описывают некоторую существующую ситуацию. Они непосредственно меняют мир, а именно мир человеческих отношений, и делают это самым фактом своего произнесения. Очевидно, что декларации не являются истинными или ложными. Они могут быть, однако, обоснованными или необоснованными (я могу назначить кого-то председателем, если у меня есть право сделать это).

Еще одно употребление языка — *нормативное*. С помощью языка формулируются *нормы*, посредством которых говорящий хочет добиться того, чтобы слушающий выполнил определенные действия. Нормативные высказывания называются также деонтическими (от греч. *deon* — долг, обязанность) или прескриптивными (от лат. *prescribere* — предписывать) и обычно противопоставляются описательным высказываниям, именуемым также дескриптивными (от лат. *describere* — описывать).

Норма (нормативное, или деонтическое, высказывание) — высказывание, обязывающее, разрешающее или запрещающее что-то сделать под угрозой наказания. Они чрезвычайно разнообразны и включают команды, приказы, требования, предписания, законы, правила и т. п. Примерами могут служить выражения: «Прекратите говорить!», «Старайтесь приносить максимум пользы как можно большему числу людей», «Следует быть стойким» и т. п. Нормы, в отличие от описаний, не являются истинными или ложными, хотя могут быть обоснованными или необоснованными.

Язык может использоваться также для *обещаний*, т. е. для возложения на себя говорящим обязательства совершить в будущем какое-то действие или придерживаться определенной линии поведения. Обещаниями являются, например, выражения: «Обещаю вести себя примерно», «Клянусь говорить правду и только правду», «Буду всегда вежлив». Обещания можно истолковать как нормы, адресованные говорящим самому себе и в чем-то предопределяющие его поведение в будущем. Как и все нормы, обещания не являются истинными или ложными. Они могут быть обдуманными или поспешными, целесообразными или нецелесообразными и т. п.

Язык может использоваться также для *оценок*. Последние выражают положительное, отрицательное или нейтральное отношение субъекта к рассматриваемому объекту или, если сопоставляются два объекта, для выражения предпочтения одного из них другому. Оценками являются, например, выражения: «Хорошо, что свет распространяется прямолинейно», «Плохо, когда нет условий для демократических выборов», «Лучше начать экономические реформы раньше, чем опоздать». Оценки столь же фундаментальны и ни к чему не сводимы,

как и описания. Однако, в отличие от описаний, они не являются истинными или ложными. Таким образом, имеется большое число разных употреблений языка: сообщение о положении дел (описание), попытка заставить что-либо сделать (норма), выражение чувств (экспрессив), изменение мира словом (декларация), принятие обязательства что-то сделать (обещание), выражение позитивного или негативного отношения к чему-то (оценка) и др. Л. Витгенштейн полагал даже, что число разных употреблений языка (разных «языковых игр», как он говорил) является неограниченным.

Как можно было бы привести многообразные употребления языка в систему? Можно ли выделить какие-то употребления языка в качестве основных и установить их связь со всеми иными его употреблениями? В рамках лингвистики была разработана так называемая теория речевых актов, представляющая собой упрощенную классификацию употреблений языка (Дж. Остин, Дж. Сёрль, П. Стросон и др.)<sup>1</sup>. Эта теория сыграла большую роль в исследовании употреблений языка. Вместе с тем сейчас она представляется уже не особенно удачной. В ней пропускается ряд фундаментальных употреблений языка (оценки, выражения языка, внушающие какие-то чувства, и др.), не прослеживаются связи между разными употреблениями языка, не является возможность редукции одних из них к другим и т. п.

С точки зрения логики, теории аргументации и философии науки важным является прежде всего, проведение различия между двумя основными употреблениями языка: *описанием* и *оценкой*. В случае первого отправным пунктом сопоставления высказывания и действительности является реальная ситуация и высказывание выступает как ее описание, характеризуемое в терминах понятий «истинно» и «ложно». При второй функции исходным является высказывание, выступающее как стандарт, перспектива, план, Соответствие ситуации этому высказыванию характеризуется в терминах понятий «хорошо», «безразлично» и «плохо».

Описание и оценка являются двумя полюсами, между которыми имеется масса переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки есть многие разновидности и описаний и оценок. Чистые описания и чистые оценки довольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный, или «смешанный», описательно-оценочный характер.

Все это должно учитываться при изучении множества «языковых игр», или употреблений языка. Вполне вероятно, что множество таких

---

<sup>1</sup> Развернутая критика этой теории дается в работе *Ивина А. А.* «Теория аргументации» (М., 2000. Гл. 1). Изложение новой теории употреблений языка содержится в его же книге «Риторика» (М., 2002. Гл. 1).

«игр» является, как считал Л. Витгенштейн, неограниченным. Нужно учитывать, однако, то, что более тонкий анализ употреблений языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок и является всего лишь его детализацией. Она может быть полезной во многих областях, в частности в лингвистике, но лишена, вероятнее всего, интереса в логике, в теории аргументации и др.

Далее, важным является различие между экспрессивами, близкими описаниям, и *орективами*, сходными с оценками. Оректив — высказывание, используемое для возбуждения чувств, воли, побуждения к действию. Так, орективами являются выражения: «Возьмите себя в руки», «Вы преодолете трудности», «Верьте в свою правоту и действуйте!». Частным случаем оректического употребления языка может считаться так называемая *нуминозная функция* — зачаровывание слушателя словами (заклинания колдуна, слова любви, лесть, угроза и т. п.).

Для систематизации употреблений языка воспользуемся двумя оппозициями. Противопоставим мысль чувству (воле, стремлению и т. п.), а выражение определенных состояний души — внушению таких состояний. Это даст простую систему координат, в рамках которой можно расположить все основные и производные употребления языка (рис. 5)



Рис. 5. Употребления языка

Описания представляют собой выражения мыслей, экспрессивы — выражения чувств. Описания и экспрессивы относятся к тому, что может быть названо *пассивным употреблением* языка и охарактеризовано в терминах истины и лжи. Оценки и орективы относятся к *активному употреблению языка* и не имеют истинностного значения.

Нормы и представляют собой частный случай оценок, обещания — частный, или вырожденный, случай норм. Декларации являются особым случаем магической функции языка, когда он используется для изменения мира человеческих отношений. Как таковые декларации — это своего рода предписания, или нормы, касающиеся

поведения людей. Обещания представляют собой особый случай *постулативной функции*, охватывающей не только обещания в прямом смысле этого слова, но и принятие конвенций, аксиом вновь вводимых теорий и т. п. Таким образом, имеются, четыре основных употребления языка: описание, экспрессив, оценка и оректив, а также ряд промежуточных его употреблений, в большей или меньшей степени тяготеющих к основным: нормативное, магическое, постулативное и др.

**Классическая и неклассические теории истины.** Принято проводить различие между *природой* истины и *критерием* истины. Природа истины — это вопрос о том, в чем сущность истины и как можно определить понятие истины. Критерии истины касаются того, как устанавливается истинность высказываний разного типа, начиная с эмпирических констатаций и кончая абстрактными теоретическими высказываниями, принципами математики и законами логики.

Хорошо известны три традиционные теории, раскрывающие природу истины: *истина как соответствие (корреспонденция)*, *истина как согласие (когеренция)* и *истина как полезность*. У каждой из этих теорий есть разнообразные модификации. Согласно *теории корреспонденции* высказывание является истинным, если оно соответствует описываемой ситуации, т. е. представляет ее такой, какой она является на самом деле. Например, высказывание «Сажа черная» истинно, поскольку сажа на самом деле черная; высказывание же «Металлы не пластичны» ложно, так как в действительности металлы пластичны.

Понятие истины как корреспонденции является конкретизацией более общего понятия *адекватности* на случай описательных высказываний. Представление о мире адекватно, если оно соответствует тем вещам, к которым оно относится; средство адекватно, когда оно действительно способствует достижению цели; оценка адекватна, если она согласуется с принятыми в данной области стандартами оценивания или если осуществляемые на ее основе действия приносят желаемый результат. Понятие адекватности шире понятия истины: истина характеризует лишь описательные высказывания; адекватными способны быть как описания, так и оценки, орективы и даже действия человека.

Истолкование истинности как соответствия мысли действительности восходит еще к античности и обычно называется *классической концепцией истины*. Все иные понимания истины именуются *неклассическими*. Тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, писал Платон, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе — лжет. Так же истолковывал истину Аристотель: «... Истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным, а свя-

занное — связанным, а ложное — тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит с вещами»<sup>1</sup>. Иногда классическое определение истины называется аристотелевским, что не вполне точно. Истина как корреспонденция объективна и существует вне и независимо от человека и его намерений, от того, признается она в определенный период времени или нет.

С классическим определением истины связаны две сложные проблемы. Прежде всего, оборот «соответствие мысли действительности» является очевидной метафорой. Мысль ничем не напоминает то реальное положение вещей, которого она касается. Это два совершенно разных вида бытия. О каком сходстве между смыслом высказывания «Вода кипит» и кипящей водой может идти речь? Скорее всего, здесь можно усматривать только некоторое структурное сходство. Б. Рассел полагал, в частности, что согласие мысли и действительности заключается в соответствии тех элементов, из которых состоит высказывание, тем элементам, которые образуют факт.

Далее, на смену одним представлениям о мире приходят новые представления, в свете которых старые оказываются ложными. Теория Дарвина показала, что более ранние теории эволюции Э. Кювье и Ж. Б. Ламарка ошибочны; общая теория относительности Эйнштейна опровергла представления Ньютона о природе пространства и времени; современная экономическая наука выявила ограниченность и в конечном счете ошибочность рецептов Д. М. Кейнса по предотвращению экономических кризисов. В свете современных концепций старые идеи оказываются сплошной цепью заблуждений. Как на смену алхимии, относящейся к псевдонаукам, могла прийти несовместимая с нею химия? Каким образом ошибочная геоцентрическая астрономия Птолемея могла дать начало гелиоцентрической астрономии Коперника? Ответы на подобного рода вопросы требуют конкретизации классического определения истины.

Один из возможных путей такой конкретизации был намечен в Средние века. Суть его — в проведении различия между *абсолютной истиной* и *относительной истиной*. Абсолютная истина — это истина в уме всезнающего и всемогущего Бога. Она является вечной и неизменной. Относительная истина — это истина в уме человека, обладающего ограниченными возможностями, но пытающегося уловить божественную истину, отобразить ее хотя бы в неполной и несовершенной форме. Человек никогда не обретет абсолютно истинного знания, но он будет постепенно, хотя и неограниченно долго («до конца веков», т. е. до прекращения хода времени) приближаться к такому знанию.

---

<sup>1</sup> Аристотель. Метафизика. 1051b10.

Если истина, доступная человеку, относительна, то относительным является и ее противоположность — *заблуждение*. Оно почти всегда содержит зерно истины. Однако человек способен отделить верное от неверного только в процессе дальнейшего познания. И даже расставаясь со старыми, ошибочными представлениями, он приходит не к абсолютной, а только к новой относительной истине, отягощенной собственным ошибочным содержанием.

Различение абсолютной и относительной истины позволило отказать от представления процесса познания как серии неожиданных и необъяснимых переходов от заблуждения к истине. Познание мира является цепью последовательных переходов от одних относительных, или частичных, истин к другим относительным истинам. Последние стоят все ближе и ближе к абсолютной истине, но никогда не смогут совпасть с нею.

С разграничением абсолютной и относительной истины связана получившая широкое распространение в позднее Средневековье *теория двойственной истины*. Эта теория начала складываться, когда обнаружилось, что некоторые положения философии Аристотеля противоречат догматам христианства и ислама. Это затруднение попытались преодолеть с помощью учения о разделении философских и богословских истин: истинное в философии может быть ложным в теологии, и наоборот. Теории двойственной истины придерживались Аверроэс, Иоанн Дунс Скот, У. Оккам и др. Широкое распространение учение об истинности некоторых описательных высказываний в теологии и ложности их в философии или в других областях знания получило в эпоху Возрождения. Стремясь отграничить научное исследование от теологических рассуждений, этого учения придерживался позднее Галилей. Теологические утверждения представлялись абсолютными истинами; положения философии и других областей знания мыслились как относительные истины, содержащие элемент заблуждения и требующие в силу этого дальнейшего исследования и уточнения.

В Средние века теория двойственной истины истолковывалась узко, как касающаяся прежде всего взаимных отношений истин философии и теологии. При широком истолковании эта теория относится ко всем описаниям, независимо от области знания, в которой они получены, и говорит о том, что описательное высказывание может быть истинным при одном основании (т. е. при той точке зрения, исходя из которой что-то описывается) и ложным при другом основании.

Формально принято считать, что все описания (в отличие от оценок) имеют одно и то же основание. В этом суть требования интерсубъективности — независимости употребления и понимания описа-



тельных высказываний от лиц и обстоятельств. Однако реально основания, с опорой на которые даются описания различных положений дел, могут быть разными. Переход от одной относительной истины к другой может истолковываться как смена точки зрения, с использованием которой дается описание. Новая теория — это в первую очередь новый ракурс видения реальности, смена оснований тех описаний, которые давались старой теорией.

Научные истины, как и все иные, носят относительный характер. Они справедливы только для своего времени и для того круга эмпирических данных, на основе которого они установлены. В процессе углубления знаний об изучаемых объектах одни из этих истин уточняются, другие превращаются в аналитические истины и теряют способность сопоставления с опытом, третьи оказываются ложными утверждениями.

«В науке понятие истины совершенно относительно. Никакая теория, никакая модель не могут претендовать на обладание «абсолютной истиной», а если бы такая и существовала, то она оставалась бы для нас недоступной. Есть модели, более или менее хорошо подтвержденные данными наблюдения. А из двух моделей «лучшей» всегда будет та, которая *при именно такой степени приближения* представляет данные наблюдения наиболее простым образом. Каковы бы ни были ее эмпирические подтверждения, лучшее, что можно сказать о такой теории, что “все происходит так, как если бы ее гипотезы действительно соответствовали реальной природе явлений”<sup>1</sup>.

Согласно *теории когеренции* истина представляет собой систематическое согласие выдвинутого положения с уже принятыми утверждениями. Такое согласие сильнее логической непротиворечивости: не всякое высказывание, не противоречащее ранее принятым высказываниям, может быть отнесено к истинным. Истинно только положение, являющееся необходимым элементом систематической, целостной концепции. «Целостность» обычно понимается так, что из нее нельзя удалить без ее разрушения ни одного элемента.

Строго говоря, при таком истолковании истины, если оно проводится последовательно, истина оказывается характеристикой прежде всего самой «целостности», а не ее отдельных элементов. «Целостность» приобретает при этом абсолютный характер: она не оценивается с точки зрения соответствия ее чему-то иному, например, внешней реальности, но придает входящим в систему высказываниям ту или иную степень истинности. При этом степень истинности высказывания зависит только от его вклада в систематическую согласованность элементов «целостности».

---

<sup>1</sup> Алле М. Экономика как наука. М., 1995. С. 95.

Теория когеренции отправляется от важной черты всякого знания и в первую очередь научного — его системности. В науке систематизированное знание приобретает форму научной теории. Допустимо предположить, что новое положение, позволяющее придать теории большее внутреннее единство и обеспечить более ясные и многообразные ее связи с другими, заслуживающими доверия теориями, может оказаться истинным также в классическом смысле. В математике и логике, не имеющих непосредственной связи с опытом, такое предположение является обычным. В этих дисциплинах истина как согласование нового положения с уже принятыми утверждениями оказывается важным рабочим инструментом. Большинство «логических» и «математических» истин никогда не выходит за пределы согласования их с уже принятыми логическими и математическими теориями и теми критериями, по которым оцениваются последние.

Иначе обстоит дело с теориями, лежащими за пределами формальных наук. Эти теории ценны лишь постольку, поскольку они согласуются с наблюдаемыми фактами. Единственным источником истины здесь является опыт. Внутренняя согласованность высказываний таких теорий оказывается только вспомогательным средством. Его эффективность во многом зависит от степени абстрактности как самой теории, так и новых, вводимых в нее положений.

«Всеобщее согласие или же согласие большинства не может рассматриваться в качестве критерия истины. В конечном счете, существенным условием прогресса науки является полное подчинение урокам опыта, единственного реального источника нашего знания. Нет и не может быть другого критерия истинности теории, кроме ее более или менее полного соответствия конкретным явлениям»<sup>1</sup>.

В этом противопоставлении внутренней согласованности (когеренции) и соответствия опыту (корреспонденции) можно было бы подчеркнуть слова «в конечном счете». Опыт действительно является источником научного знания. Но далеко не всегда новую и тем более абстрактную гипотезу удастся непосредственно сопоставить с эмпирическими данными. В этом случае ее согласие с другими утверждениями теории, в рамках которой она выдвинута, значение гипотезы в систематизации и прояснении связей этой теории с другими, хорошо обоснованными теориями, вполне может играть роль вспомогательного определения истины.

Между формальными науками и науками, не относящимися к ним, нет четкой границы. Не случайно «чистую» математику обычно противопоставляют «прикладной» математике. В логике ситуация еще сложнее, поскольку даже «чистая» логика строится из множества

<sup>1</sup> Алле М. Философия моей жизни // Экономика как наука. М., 1995. С. 101.

конкурирующих между собой концепций. В формальных науках истина понимается прежде всего как когеренция. В тех разделах наук, которые близки формальным наукам, истина как корреспонденция тоже нередко уходит на второй план, уступая место истине как когеренции.

Согласно *прагматической теории*, высказывание истинно, если оно *работает*, является полезным, приносит успех. Эта теория истины, предложенная Ч. Пирсом в конце XIX в., позднее разрабатывалась У. Джеймсом, Дж. Дьюи и др. «Работоспособность идеи», или ее полезность, истолковывалась по-разному.

Рациональный смысл некоторого слова или выражения постигается, полагал Пирс, исключительно через его возможные последствия для реального жизненного поведения. Наши верования являются для нас правилами возможного действия. Постигение объекта — это уяснение возможных практических последствий его применения. Истинными являются идеи, подтверждаемые практическими результатами. Последние никогда не являются, однако, окончательными или абсолютными. Пирс определял истину также как то, что является ясным, отчетливым, неопровержимым на данной стадии исследований. Истинность при таком определении оказывается условием практической полезности, характеризующей значение истины, ее надежность. Истина относительна, изменение практики требует постоянного обновления истины.

Таким образом, Пирс не сводил истину напрямую к полезности, а скорее выдвигал методологическое требование рассматривать истину как *совершаемое*. Критерием истины является соответствие опыту, но опыту, открытому в будущее и учитывающему практические следствия и возможные приложения идей. Это понимание естественным образом вытекало из представления Пирса, что философия должна быть не абстрактным размышлением о первых началах бытия и познания, а общим методом решения тех проблем, которые встают перед людьми в различных жизненных («проблематических») ситуациях, в процессе практической деятельности, протекающей в непрерывно меняющемся мире. Идеи, понятия и теории лишь инструменты, орудия или планы действия. Их значение сводится к возможным практическим последствиям. Вот почему выражение «истина как полезность» огрубляет истолкование истины Пирсом. Можно, однако, отметить, что позднее Дьюи, развивавший идеи Пирса, прямо заявлял: «...истина определяется как полезность...»<sup>1</sup>.

Прагматическое определение истины обычно подвергается критике на том основании, что человеческая практика непрерывно ме-

<sup>1</sup> Dewey J. *Reconstruction in Philosophy*. Boston, 1957. P. 157.

няется, и то, что было несомненно полезным в один ее период, нередко оказывается бесполезным или даже вредным в более позднее время. Традиционный пример с религиозными верованиями является хорошей иллюстрацией этой мысли. Начиная с истоков человеческой истории религия являлась одним из наиболее эффективных средств социализации индивида. Всякая религия включает определенную систему утверждений (кредо), составляющую в религиозные эпохи ядро господствующего мировоззрения; регламентацию способов поведения и в частности группового поведения при выполнении религиозных обрядов; особый язык, проникающий и во все другие сферы повседневной коммуникации людей; определенные эмоциональные установки, способные придавать особую окраску всей эмоциональной жизни верующих. Религия предлагает также решения всех сложных проблем человеческого существования: смысл человеческой жизни, предназначение страданий, смерти, любви и т. д. Особая сила религии как средства социализации была связана с тем, что боги (или бог в монотеистических религиях) постоянно держат человека в своем поле зрения. Даже оставаясь один, он помнит, что есть инстанция, способная оценить его поведение и наказать его, если он отступает от системы норм и правил, поддерживаемой религией. Не только любые поступки, но даже все мысли и намерения человека, скрытые от окружающих его людей, не являются тайной для божества.

Однако в индустриальном обществе значимость религии как одного из важных механизмов социализации стала заметно падать. Капитализм является светским обществом, придерживающимся принципа свободы совести. Две крайние формы социализма — коммунизм и национал-социализм — атеистичны по своей сути, причем воинственно атеистичны. Сами они являются, можно сказать, постиндустриальными аналогами религии, и поэтому не могут допустить, чтобы религия конкурировала с ними в сфере мировоззрения, идеологии, характерных форм групповой деятельности, в эмоциональной сфере индивидов и т. д.

«...Гипотеза о боге истинна, если она служит удовлетворительно»<sup>1</sup>. Тысячелетия эта гипотеза действительно была полезна. Но в постиндустриальном обществе в ней нет особой необходимости. Означает ли это, что являвшаяся ранее истинной система религиозных верований в настоящее время утратила свою истинность? Нужно к тому же учитывать, что современный мир является очень пестрым и постиндустриальными является только небольшое число стран. Подавляющее большинство людей религиозно, причем верят они в самых разных богов. Следует ли из этого заключить, что для некоторых обществ ре-

<sup>1</sup> Джемс У. Прагматизм. СПб., 1910. С. 182.

лигия остается истинной, в то время как для других она уже утратила свою истинность? Такого рода вопросы ставят под сомнение объективность истины.

Вместе с тем определение истины как полезности, несмотря на его уязвимость для критики, достаточно широко используется в науке. Оно замещает классическое истолкование истины в тех случаях, когда сопоставление новых идей с действительностью оказывается затруднительным, а то и просто невозможным. Такие ситуации обычно в социальных и гуманитарных науках, имеющих дело с неустойчивыми, «текучими» фактами и постоянно меняющейся реальностью. Хорошо известны, например, социальные концепции либерализма, консерватизма и социализма. Во многих аспектах они несовместимы друг с другом. Можно ли, отвлекаясь от понятий полезности и успеха в практической деятельности, говорить об истинности одной из этих концепций и ложности двух других? — Вряд ли. Это тем более маловероятно, что социальные концепции формулируют определенные оценки, не являющиеся истинными или ложными: «Индивидуальная свобода предпочтительнее надежной социальной защищенности»; «Коллективные ценности, связанные с органическими социальными целостностями, подобными морали и государству, стоят выше индивидуальных ценностей»; «Реализация глобальной социальной цели построения совершенного общества требует ограничения потребностей человека минимальными, естественными потребностями» и т. п.

Определение истины как полезности и того, что приводит к успеху, используется не только в науках о культуре, но и в формальных науках. Истина как когеренция — наиболее частое, а иногда и единственно возможное понимание истины в математике и в абстрактных, далеких от опыта областях науки. Но согласие вновь вводимого положения с системой утверждений, принятых в конкретной области научного знания, обычно определяется степенью полезности этого положения для данной области и смежных с нею отраслей знания. Согласие и полезность оказываются, таким образом, тесно связанными друг с другом.

Взаимные отношения трех основных истолкований истины можно проиллюстрировать на примере двух абстрактных математических принципов, предлагаемых для расширения теории множеств. Ни «наивная» теория множеств Г. Кантора, ни предложенная Э. Цермело и А. Френкелем формальная аксиоматизация этой теории не давали ответа на многие, казалось бы, простые вопросы о множествах, причем о множествах, широко использующихся в математических исследованиях. Требовались новые, дополнительные принципы, позволяющие лучше организовать мир множеств и наделить множества более определенными свойствами. В качестве таких принципов были пред-

ложены, в частности, аксиома выбора (1904 г.) и аксиома детерминированности (1964 г.).

Аксиома выбора сразу же вызвала серьезные возражения как своей формулировкой, не похожей на формулировки других теоретико-множественных аксиом, так и своими следствиями, утверждающими существование множеств, лишенных какой-либо индивидуальности, но влекущих следствия, утверждающие существование множеств, свойства которых кажутся явно парадоксальными. В частности, аксиома выбора позволила доказать разбиение шара (поверхность+внутренность) на конечное число частей, из которых без наложений и пустот составляются два шара того же радиуса.

Как было показано, к теории множеств можно присоединять без противоречия как саму аксиому выбора, так и ее отрицание. Это означает, что эту аксиому нельзя ни доказать, ни опровергнуть традиционными средствами математических рассуждений. Однако чем более абстрактными являются математические объекты, попадающие в область исследования, тем в большей степени оказывается необходимой аксиома выбора. При изучении общих топологических пространств, произвольных множеств, мощностей и порядковых чисел эта аксиома оказывается органически включенной в структуру многих построений и рассуждений.

Следствия аксиомы детерминированности, как правило, противоречат следствиям аксиомы выбора, но обычно более согласованы с естественной интуицией множеств. Аксиома детерминированности позволяет, кроме того, решить многие из тех проблем, которые не поддаются решению с помощью аксиомы выбора.

Решающим следствием в пользу принятия аксиомы детерминированности является богатство ее следствий во многих разделах теории множеств, дающих удивительно стройную и согласованную картину мира множеств. Данная аксиома пригодна не только для устранения парадоксальных множеств, даваемых аксиомой выбора, но и для построения таких примеров множеств, которые вообще нельзя получить с помощью последней.

Таким образом, аксиома выбора и аксиома детерминированности нередко порождают противоположные следствия в тех областях, где они применимы. Какую из этих двух аксиом следует принять в качестве расширения традиционной теории множеств? Развитие математических дисциплин, связанных с основаниями математики, пока не дает окончательного ответа на этот вопрос.

«Аргументированный выбор между аксиомой выбора и аксиомой детерминированности возможен, вероятно, только путем сравнения красоты и богатства теорий, построенных на этих аксиомах, а также сравнения согласованности следствий аксиомы выбора и ак-

сиомы детерминированности со складывающейся математической интуицией»<sup>1</sup>. В. Г. Кановой высказывает, в частности, предположение, что если аксиома детерминированности позволит построить топологическую теорию, сравнимую по красоте и богатству следствий с созданной к настоящему времени топологией на основе аксиомы выбора, то будет снято едва ли не самое серьезное препятствие на пути широкого признания аксиомы детерминированности.

Аксиома выбора и аксиома детерминированности чересчур абстрактны, чтобы можно было предположить, что они могут быть каким-то образом сопоставлены с эмпирическими данными. Данные аксиомы не входят в состав более частных математических теорий, которые могли бы быть использованы в конкретных научных теориях, допускающих сопоставление с опытом. Это заставляет предположить, что понятие истины как корреспонденции не приложимо к аксиомам выбора и детерминированности.

Вместе с тем два других истолкования истины — истина как когеренция и истина как полезность — применимы для оценки рассматриваемых аксиом. При этом согласованность и полезность являются взаимно поддерживающими друг друга свойствами рассматриваемых математических утверждений. Согласованность и полезность не являются, однако, единственными способами обоснования данных аксиом и утверждений подобного им типа. Обычная в математике ссылка на интуицию хотя и опирается в известной степени на согласованность и полезность, является, в общем-то, независимым от них доводом. Точно так же ссылка на богатство следствий, получаемых в результате принятия одного из двух конкурирующих утверждений, как и ссылка на общий принцип, что красивая теория не способна быть ложной или что она по меньшей мере предпочтительнее менее совершенной в эстетическом плане теории, не являются аргументами, связанными сколько-нибудь непосредственно с истолкованием понятия истины.

Подводя итог обсуждению наиболее известных определений истины, следует прежде всего отметить, что они не противоречат друг другу. Вряд ли оправданно ставить вопрос так, что из трех рассмотренных определений истины следует выбрать одно, а два других отбросить как заведомо ошибочные. В реальной практике науки используется и определение истины как соответствия, и определение ее как согласия, или согласованности, и определение ее как средства, ведущего к успеху.

Нужна, однако, иерархизация этих истолкований истины, отделение главного от вспомогательного, от того, что в конкретной обла-

<sup>1</sup> Кановой В. Г. Аксиома выбора и аксиома детерминированности. М., 1984. С. 63.

сти знания замещает главное на какой-то, возможно весьма продолжительный, промежуток времени. С этой точки зрения несомненным преимуществом обладает классическое определение истины. Соответствие выдвигаемых идей и теорий изучаемой реальности является тем идеалом, к которому стремится каждая научная дисциплина. Далеко не всегда этот идеал достижим, особенно в науках о культуре и в формальных науках. В таких ситуациях целесообразно использовать неклассические истолкования истины, отдавая, однако, отчет в том, что они являются неизбежными в конкретных обстоятельствах палиативами.

Что касается понимания истины как согласия и понимания ее как успеха, выбор более предпочтительного из них вряд ли возможен. Истина как согласие успешно функционирует в формальных науках, но опасна для применения в науках о культуре. В последних истина чаще истолковывается как средство, способное вести к успеху в социальной деятельности.

**Тезис Дюэма—Куайна.** Иногда высказывается мнение, что системный характер научного знания делает неоправданным вопрос об истинности любого отдельно взятого утверждения. Всякое более или менее абстрактное предложение, лишь косвенно поддерживаемое непосредственным опытом, может считаться истинным только в рамках какой-то концепции или теории. За ее пределами оно просто бессмысленно, и значит, не может быть ни обосновано, ни опровергнуто. Эта идея зависимости истинности отдельных утверждений от истинности той теории, составными элементами которой они являются, получила название «тезис Дюэма—Куайна».

«Мы можем говорить и говорим разумно о том или ином предложении как истинном скорее тогда, когда мы обращаемся к положениям фактически существующей в данный момент теории, принятой хотя бы в качестве гипотезы. Осмысленно применять понятие “истинный” к такому предложению, которое сформулировано в терминах данной теории и понимается в рамках постулированной в ней реальности»<sup>1</sup>. Даже такие утверждения, как «Брут убил Цезаря» и «Атомный вес натрия — 23», значимы лишь относительно определенной теории. Она представляется нам настолько естественной и очевидной, что ускользает от нашего внимания.

Еще в начале прошлого века сходную идею высказывал французский философ и историк науки П. Дюэм. Сомнительно, что защищаемая Дюэмом и Куайном крайняя позиция верна. Обоснованность утверждения во многом зависит от той системы представле-

---

<sup>1</sup> Куайн У. В. О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. М., 1966. С. 47.



ний, в которую оно включено. Но эта зависимость не абсолютна. Утверждение, истинное в рамках одной теории вряд ли может стать ложным в свете какой-то иной теории. Если бы это было так, понятие истины оказалось бы вообще не приложимым к отдельным утверждениям.

Тезис Дьюэма—Куайна говорит о возможности сохранения любой гипотезы путем соответствующих изменений той теоретической системы, в рамках которой она выдвигается. Как пишет Куайн, «любое высказывание способно во что бы то ни стало сохранять свою истинность, если мы сделаем достаточно решительную корректировку в каком-то ином разделе системы»<sup>1</sup>. Опираясь на данный тезис, можно сказать, что любое произвольное утверждение теоретической системы является истинным «во что бы то ни стало»: ценой соответствующих компенсирующих модификаций в теории любое из входящих в нее положений может быть сохранено перед лицом явно противоречащих ему эмпирических данных.

Убедительных доводов в поддержку тезиса Дьюэма—Куайна приведено не было. Сославшись на такую гипотезу, как «На Элм стрит есть кирпичные дома», Куайн замечает, что даже это утверждение, «столь уместное в чувственном опыте... может сохранить силу перед лицом противоречащих ему переживаний с помощью защитной галлюцинации или внесения поправок в высказывания, которые именуются законами логики»<sup>2</sup>. Ссылка на галлюцинацию несерьезна, аргумент о возможности изменения логики не убедителен.

Как показывает А. Грюнбаум, нельзя доказать общее положение, что теорию можно модифицировать так, чтобы любая относящаяся к ней гипотеза была непременно сохранена. Для каждого частного случая теории необходимо особое доказательство существования такой модификации<sup>3</sup>. Таким образом, системность научной теории и ее обоснования не означает, что отдельно взятое эмпирическое утверждение не способно быть истинным или ложным и что оно не может быть ни обосновано, ни опровергнуто вне рамок той теоретической системы, к которой оно принадлежит.

Если наука рассматривается в статике, как нечто уже сложившееся и подлежащее оценке, то ни в какой теории истины, кроме классического определения истины как соответствия утверждений описываемым ими фактам, нет необходимости. Но когда научное познание берется в динамике и учитывается то обстоятельство, что это познание по самой своей сути является бесконечным предприятием,

<sup>1</sup> Quine V. W. O. From Logical Point of View. Cambridge, 1961. P. 43.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1967. С. 131—139.

могут использоваться различные вспомогательные истолкования истины. Неизбежность использования последних диктуется и тем, что не только научные теории различаются степенью своей абстрактности, отдаленности от эмпирической реальности, но и в рамках конкретных научных теорий имеются утверждения, вообще не допускающие сопоставления с опытом и оцениваемые только косвенно, на основе их вклада в «целостность» теории, их полезности в рамках теории, их способности прояснять связи данной теории с другими принятыми теориями.

Возвращаясь к вопросу, можно ли описать развитие научных теорий без использования понятия истины, нужно заметить следующее. Характерная особенность человека в том, что он ставит перед собой определенные цели и пытается найти рациональные способы их достижения. Если истина понимается как глобальная, всеподавляющая цель науки, научному познанию придается телеологический характер. Оно оказывается отправляющимся не столько от уже достигнутого, сколько движущимся к в принципе недостижимому. Такое описание развития науки можно назвать, воспользовавшись терминологией М. Вебера, «материальной рациональностью».

Наука направляется, однако, не столько абстрактной целью, лежащей в будущем, сколько тем, что уже достигнуто в прошлом: имеющимся уровнем знания, существующими аномалиями, которые еще предстоит объяснить в рамках принятой концепции, сложившимися научными коллективами, решающими стоящие перед ними проблемы, принятыми методами исследования, усвоенной манерой критики выдвигаемых концепций и т. д. Такого рода «формальная рациональность» не требует каких-либо глобальных целей вроде «постижения истины».

И материальная и формальная рациональность при описании развития научных теорий являются крайностями, между которыми необходимо найти золотую середину. Материальная рациональность, обычно прибегающая к понятию истины как цели науки, делает это развитие реализующим некое *предназначение*, и потому имеющим телеологический характер. Формальная рациональность представляет эволюцию науки как сплетение исторических случайностей и лишает исследовательскую деятельность сколько-нибудь ясного общего направления.

Те описания развития науки, которые дают Кун и Лаудан, являются формально рациональными. Эти описания обходятся без понятия истины, но являются явно неполными. В частности, как показал У. Ньютон-Смит, описание развития научной теории в терминах одного лишь решения научных проблем не позволяет ответить на простой, казалось бы, вопрос о селекции научных проблем. Не

всякие проблемы рассматриваются наукой. Ученые не изучают, почему лебеди зеленые, почему свободно движущееся тело при отсутствии силы ускоряется и т. п. «Возникает желание ответить, что это не подлинные проблемы, потому что утверждение, поставленное в подобных утверждениях в форме вопроса, ложно, и известно, что оно ложно»<sup>1</sup>. Истина играет регулятивную роль в науке, и если отказаться от истины, исчезает запрет на произвольную формулировку проблем. Но в практической научной деятельности «теории, ориентированные решать проблемы, относительно которых известно, что они ложны, отвергаются именно на этом основании»<sup>2</sup>.

В описании развития науки, не использующем понятие истины, учитывается воздействие прошлого на настоящее, но упускается не менее важное с точки зрения характера человеческой деятельности воздействие будущего на настоящее. О влиянии будущего на настоящее говорилось при обсуждении категории историзма, необходимой в социальных и гуманитарных науках. Прямое или косвенное использование понятия истины в описании эволюции научных теорий как раз и относится к неизбежному влиянию будущего науки на ее настоящее.

Истина как идеал научного познания представляет собой идею регулятивного порядка. Она указывает скорее направление на цель, чем создает образ самой цели, и руководит исследователем как чувство верного направления, а не как ясный образ результата<sup>3</sup>.

**Истина и время.** Хотя понятию истины всегда уделялось большое внимание, имеется ряд важных проблем, касающихся истины, которые почти полностью выпадают из поля зрения современных исследователей. В числе этих проблем вопрос о связи истины со временем. Известно, что как раз этот вопрос очень живо интересовал еще античных философов, в частности Аристотеля и стоиков.

Отсутствие внимания к временному аспекту истины во многом объясняется восходящей к Новому времени абсолютизацией истины, приданием ей вневременного или надвременного характера. Если истина, подобно числу и квадрату, стоит вне потока времени, бессмысленно задаваться вопросом, как она ведет себя в этом потоке и какие изменения она претерпевает с течением времени. Связь со временем сводится в результате к вопросу о том, в какой именно момент впервые была обнаружена истина. Для нее самой это случайный и второстепенный вопрос.

---

<sup>1</sup> *Newton-Smith W. H.* The rationality of Science. London; N.-Y., 1981. P.187.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 190.

<sup>3</sup> См. об этом подробнее: *Никифоров А. Л.* Философия науки: история и методология. М., 1998. Гл. VII «Понятие истины в философии науки XX века».

Основная наша задача — дать строгое определение понятия истины для высказываний о прошлых и будущих событиях и связать обсуждение проблемы истины с проблемой детерминизма<sup>1</sup>. Вводимое далее каузальное определение истины является конкретизацией классического ее истолкования. Присоединение этого определения к комплексной теории, объединяющей логику времени и логику причинности, позволяет с помощью точных методов современной логики исследовать важный фрагмент теории истины.

В соответствии с классическим определением высказывание истинно, если оно соответствует действительности, и ложно, если оно не соответствует ей. Это определение представляет собой абстрактную схему, приложение которой в частных случаях предполагает определенную ее конкретизацию, уточнение того смысла, который вкладывается в рассматриваемом случае в идею «соответствия действительности».

Необходимость такой конкретизации особенно наглядно проявляется при обсуждении вопросов о значении истинности высказываний о прошлых и будущих событиях, а также высказываний о ненаблюдаемых или несуществующих объектах, об изменяющихся ситуациях, о переходных состояниях и т. п. Истина состоит в соответствии мысли и действительности. Но несуществующих объектов в действительности нет. С чем же в таком случае сопоставляются утверждения о них? Является ли каждое утверждение о подобных объектах ложным? Эти и сходные вопросы энергично обсуждались в конце XIX и начале XX в. Ф. Брентано, Г. Фреге, Б. Расселом и др.

Аналогичные вопросы возникают и в связи с высказываниями о прошлых и будущих событиях. Будущей действительности еще нет. С чем должна сопоставляться мысль о ней, и является ли всякая такая мысль ложной? Будут ли сейчас истинными высказывания «Завтра будет дождь» и «Через сто лет в это время будет идти дождь?» Как устанавливается истинностное значение подобных высказываний? С какими фрагментами настоящего они сопоставляются при этом? Прошлое также не существует наряду с настоящим и не может исследоваться независимо от него. Что позволяет нам, располагая наблюдениями, относящимися только к настоящему, судить об истинностном значении высказываний о прошлых событиях? С чем именно в настоящем сопоставляются эти высказывания?

На эти вопросы можно отвечать по-разному. В основе предлагаемого далее ответа лежит каузальное истолкование существования в прошлом и будущем. Опирающуюся на него конкретизацию класси-

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А. Модальные теории Яна Лукасевич. М., 2000. Гл. 3.*

ческого определения истины можно назвать в соответствии с этим *каузальным определением (временной) истинности*.

Примем следующие положения, касающиеся прошлого и будущего существования: существует в прошлом то, что имеет свои следствия в настоящем; существует в будущем то, что имеет в настоящем свою причину. Будущее реально лишь в той мере, в какой оно может быть признано установленным, или детерминированным, причинами, имеющими место в настоящем. Ни о чем нельзя сказать с истиной, что оно случится, если сейчас не имеется причины для наступления рассматриваемого события в будущем. Утверждение «Будет А» истинно в том и только том случае, если истинно утверждение «Сейчас имеется причина для наступления позднее А». Некоторое событие происходило в прошлом, если следствия его существования дошли до настоящего. То, что прошло «бесследно», вообще не имело места. Утверждение «Было А» истинно в том и только в том случае, когда истинно утверждение «Сейчас имеются следствия того, что ранее было А».

Ясно, что эта каузальная теория временного существования сводит прошлое и будущее к настоящему. Вопросы о реальности тех или иных явлений в прошлом или будущем переформулируются ею как вопросы о наличии следствий или причин этих явлений в настоящем. Она позволяет дать ясную интерпретацию оборотам типа «Было, что было», «Будет, что всегда было» и т. п. Например, в соответствии с ней выражение «Будет, что будет А» означает, что сейчас есть причина для того, чтобы в некоторый более поздний момент имелась причина для наступления А, оно означает, короче говоря, что имеется причина причины будущего события. Выражение «Было, что было А» указывает на наличие следствия следствий А, «Будет, что всегда было А» утверждает существование в настоящем причины для наступления в будущем такого момента, в который имеются следствия того, что во всякий предшествующий момент было А.

В XV в. последователи У. Оккама полагали, что фразы типа «Было, что будет А», «Всегда было, что будет А» по форме являются утверждениями о прошлом, но по смыслу они представляют собой утверждения о будущем. С точки зрения каузального истолкования этих фраз, они говорят не о прошлом и не о будущем, а только о настоящем.

Прошлое существует лишь в форме своих следствий в настоящем, поэтому изучение прошлого осуществимо только в виде исследования настоящего. Оборот «познание прошлого» метафоричен. Им предполагается, что познаваться может не только настоящее, но и прошлое, существующее как бы наряду с настоящим и допускающее анализ, независимый от анализа настоящего. Сходным образом обстоит

дело и с познанием будущего. Будущие события реальны постольку, поскольку они определяются настоящими причинами, и исследование этих событий возможно лишь в форме изучения существующих их причин<sup>1</sup>.

Допустим, что истинен следующий принцип детерминизма: всякое событие каузально детерминировано в определенные моменты времени и вместе с тем некоторые события таковы, что они не являются каузально детерминированными во всякое время. Этот принцип является примером симметричной позиции. Ему соответствуют два утверждения о причинах и следствиях: (а) все имеет причину, но неверно, что причины всех событий простираются неограниченно в прошлое, (б) всякое событие имеет следствия, но они могут не уходить неограниченно в будущее. Приняв первое из этих утверждений, необходимо согласиться с тем, что будущее невозможно предсказать полностью. Описание будущего есть описание причин будущих событий, а так как причины достаточно отдаленных будущих событий могут не доходить до настоящего, даже исчерпывающая его характеристика не будет являться полной характеристикой будущего. Принятие второго из указанных утверждений должно сопровождаться признанием невозможности законченного описания прошлого. Следствия отдельных прошлых событий способны «затухнуть» и не дойти до настоящего. Предельно подробное описание настоящего окажется, поэтому заведомо неполной характеристикой прошлого, так как оно не будет давать описания каких-то прошлых событий.

Это показывает, что имеются точки зрения по поводу детерминированности одних явлений другими, принятие которых ведет к отказу от мнения, что прошлое в принципе полностью познаваемо. Сверх того, если принимаемая позиция является симметричной, то различие между прошлым и будущим с точки зрения их познаваемости оказывается иллюзорным.

Прошлое может быть исчерпывающе познано только в том случае, если следствия всех прошлых событий имеются в настоящем, т. е. если справедлив принцип каузального постедетерминизма: «Истинное однажды истинно во все последующие времена». Причинным его аналогом является принцип «Истинное однажды истинно во всякое предшествующее время». Признав эти два принципа, можно утверждать, что не только прошлое, но и будущее полностью познаваемо: в настоящем имеются следствия всех прошлых событий и причины всех будущих. Вопрос полноты описания прошлого и будущего сводится в силу этого к вопросу всесторонности описания настоящего. В случае симметричной детерминистической позиции не существует никаких принципиальных различий между описанием прошлого и описанием будущего с точки зрения их полноты.

Утверждение о полной познаваемости прошлого и только частичной предвидимости будущего предполагает (в рамках каузальной теории временного существования) *несимметричную* формулировку принципа каузального детерминизма. Действительно, допустим бесконечную протяженность во времени следствий всех событий и вместе с тем предположим, что причины некоторых или, может быть, всех событий существуют только конечные промежутки времени. В этом случае любое прошлое событие входит своими следствиями в настоящее и может быть описано с любой степенью полноты. Но причины отдельных или всех бесконечно удаленных будущих событий формируются только в будущем. Отсутствие этих причин в настоящем делает невозможной какую-либо более близкую характеристику рассматриваемых будущих событий и исключает тем самым возможность полного предсказания будущего. Существуют и такие версии несимметричных детерминистических позиций, принятие которых позволяет утверждать полную предсказуемость будущего и отрицать одновременно полноту любого описания прошлого.

Обратимся теперь к вопросу об асимметрии прошлого и будущего относительно их изменяемости. Выражение «изменение будущего», подобно выражению «познание будущего», метафорично. Изменять и познавать можно только настоящее, никакого изменения и формирования будущего, помимо познания и преобразования настоящего, нет. Невозможно, далее, воздействовать на то, что не существует. Будущие события допускают трансформацию постольку, поскольку они реальны, т. е. в той мере, в какой они присутствуют в настоящем в виде своих причин. Изменение будущего может протекать только в форме изменения имеющихся сейчас причин будущих событий. Выражение «изменение прошлого» также является всего лишь неадекватным способом передачи мысли о преобразовании представленных в настоящем следствий прошлых событий. Прошлое не существует наряду с настоящим, и оно неспособно быть объектом воздействия, минующего настоящее. Изменение прошлого, понимаемое как изменение следствий прошлых событий, не менее возможно, чем изменение будущего, истолковываемое как преобразование причин будущих событий.

Всякое изменение настоящего является одновременно изменением прошлого, поскольку настоящее есть его следствие, и изменением будущего, причиной которого является настоящее. В случае принятия симметричной формулировки принципа детерминизма прошлое и будущее являются вполне равноправными с точки зрения их изменения.

Допустим, что имеются основания принять принцип строгого каузального детерминизма, объявляющий однажды истинное истинным

во все времена. Согласно причинной версии этого принципа, причины всех событий могут быть обнаружены в любое время и в частности в настоящем. Это означает, что всякое будущее событие, имеющее сейчас свою причину, может быть преобразовано в желательном для нас направлении. В соответствии со следственной версией указанного принципа, следствия всех событий существуют во всякое время. Наличие в настоящем следствий прошлых событий дает принципиальную возможность подвергнуть все эти события изменению. Прошлое оказывается, таким образом, столь же полно преобразуемым, как и будущее.

Предположим, что является верным принцип «Истинное однажды истинно только в некоторые времена». Причинный его вариант отрицает наличие в настоящем причин всех будущих событий, следственный — наличие всех следствий прошлых событий. Будущее и прошлое допускают в этом случае изменения, уступающие по своей полноте изменениям, возможным в условиях истинности строгого детерминизма. Но прошлое и будущее остаются симметричными относительно изменения.

Допустим, наконец, что истинна одна из несимметричных формулировок принципа детерминизма. Прошлое и будущее являются в этом случае неравноправными. В зависимости от характера принятого принципа, одно из них допускает возможность более полных преобразований, чем другое. Так, если не все следствия прошлых событий способны дойти до настоящего, но все частичные причины будущих событий имеются сейчас, то будущее может быть объектом более радикальных преобразований, чем прошлое. И если каждое прошлое событие представлено в настоящем своими следствиями и вместе с тем не всякое будущее событие имеет уже сейчас свою причину, то существует принципиальная возможность более полного преобразования прошлого, чем будущего. Итак, утверждение асимметрии прошлого и будущего, с точки зрения их познания и изменения, существенным образом зависит от предпочтительности несимметричных формулировок принципа каузального детерминизма.

Нужно еще раз подчеркнуть, что все приведенные рассуждения о познании и изменении прошлого и будущего основываются на вполне определенном представлении о прошлом и будущем существовании. Убеждение в статичности прошлого и динамичности будущего, в возможности полного познания прошлого и неосуществимости исчерпывающего предсказания будущего кажется очень естественным. Но его сохранение требует или принятия несимметричной формулировки принципа каузального детерминизма, или отказа от каузальной теории реальности прошлых и будущих событий.



### § 3. Объективность

Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению понятия объективности знания, сделаем несколько замечаний относительно часто употребляемого понятия *интерсубъективности*. Последнее, как кажется, вводится именно с целью заменить весьма сложное понятие объективности чем-то более простым и легче поддающимся анализу.

Под интерсубъективностью обычно понимается независимость употребления и понимания языковых выражений от лиц и обстоятельств. Принято говорить об интерсубъективности языка, интерсубъективности понятий, интерсубъективности знания, интерсубъективности подтверждения и т. п.

Особое значение интерсубъективному характеру науки придавал неопозитивизм, выводивший из идеи интерсубъективности требование исключать из науки любые оценки (и нормы), всегда являющиеся субъективными. С разложением неопозитивизма понятие интерсубъективности отошло на второй план, а требование избегать оценок в научном знании, и в частности в социальных и гуманитарных науках, стало подвергаться все более резкой критике. Очевидно, что человеческая деятельность невозможна без оценок. Науки, изучающие человека и общество и ставящие задачу совершенствования человеческой деятельности, должны формулировать или предполагать те или иные оценки. Речь нужно вести не об устранении оценок, которое в этих науках в принципе нереально, а в обосновании их объективности или хотя бы интерсубъективности.

Имеются четыре основных употребления языка: описание, выражение чувств (экспрессив), оценка и внушение чувств (оректив). Между ними находится ряд промежуточных употреблений языка: нормативное, магическое, постулативное, декларативное и др. Описания и экспрессивы относятся к пассивным, ориентированным на приспособление к реальности употреблениям языка и могут характеризоваться в терминах истины и лжи. Оценки и орективы относятся к активным, направленным на преобразование действительности употреблениям языка и не имеют истинностного значения.

Если объективность отождествляется, как это нередко делается, с истинностью, а интерсубъективность рассматривается как ступень, ведущая от субъективного к объективному, то оказывается, что интерсубъективными способны быть только описания и экспрессивы, но не оценки и орективы. На самом деле граница между интерсубъективным и субъективным не совпадает с границей между пассивными и активными употреблениями языка. Не только описания, но и оценки способны быть интерсубъективными, хотя и в более слабом смысле, чем описания.

Всякое описательное утверждение включает четыре части: субъект (лицо, или сообщество, дающее описание), предмет (описываемая ситуация), основание (точка зрения, в соответствии с которой производится описание) и характер (указание на истинность или ложность описания). Оценочное утверждение содержит четыре аналогичные части: субъект, предмет оценки, основание оценки и характер оценки (указание на абсолютную или сравнительную ценность предмета оценки).

В случае описательных утверждений предполагается, что основания всех таких утверждений тождественны: если оцениваться объекты могут с разных позиций, то описываются они всегда с одной и той же точки зрения. Предполагается также, что какому бы субъекту ни принадлежало описание, оно остается одним и тем же. Отождествление оснований и субъектов описаний составляет основное содержание идеи интерсубъективности знания.

Постулат тождества оснований и субъектов, лежащий в основе описательного употребления языка, предписывает исключать упоминание этих двух частей из состава описаний. Вместо того чтобы говорить, например: «Для каждого человека с любой точки зрения истинно, что Земля вращается вокруг Солнца», мы говорим просто: «Земля вращается вокруг Солнца».

Оценки могут принадлежать разным субъектам, один из которых может оценивать какую-то ситуацию как хорошую, а другой — как безразличную или плохую. Оценки «Хорошо, что А» и «Плохо, что А», принадлежащие двум разным субъектам, не противоречат друг другу. Описания же «Истинно, что А» и «Ложно, что А» противоречат друг другу, даже если они принадлежат разным субъектам.

Далее, оценки одного и того же предмета, даваемые одним и тем же субъектом, могут иметь разные основания. Выражения «Хорошо, что А, с точки зрения С» и «Плохо, что А, с точки зрения В» не противоречат друг другу, даже если они принадлежат одному и тому же субъекту. Субъекты и основания разных оценок не могут быть отождествлены.

Это означает, что оценки являются интерсубъективными только в ином, более слабом, смысле, чем описания. Именно это имеет в виду М. Хайдеггер, когда говорит в «Письме о гуманизме», что «оценка всегда субъективирует».

**Типы объективности.** Объективность — независимость суждений, мнений, представлений от объекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений (противоположность — субъективность). Она означает способность непредвзято и без предрассудков вникать в содержание дела, представлять объект так, как он существует сам по себе, независимо от субъекта. Под субъектом понимается как индивид, так и кон-

солидированная группа лиц (например, научное сообщество, церковь и т. п.), общество, целостная культура, человечество. Объективность предполагает освобождение от «наблюдателя», выносящего суждение о мире и всегда исходящего из определенной «точки зрения».

Абсолютная объективность недостижима ни в одной области, включая научное познание. Тем не менее идеал объективного — одна из наиболее фундаментальных ценностей науки. Объективность исторична: мнения, представлявшиеся объективными в одно время, могут оказаться субъективными в другое. Например, астрономы более двух тысяч лет считали вполне объективной геоцентрическую картину мира. Потребовалось несколько столетий и усилий выдающихся ученых и философов (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), чтобы показать, что более объективной является гелиоцентрическая картина.

Хотя наука постоянно стремится к объективности, объективное и субъективное, знание и вера в ней существенным образом переплетены и нередко взаимно поддерживают друг друга. Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта, и предположения не становятся частью науки до тех пор, пока что-то не заставит в них поверить. Субъективная вера стоит не только за отдельными утверждениями, но и за целостными концепциями или теориями.

Особенно наглядно это проявляется при переходе от старой теории к новой, во многом аналогичном «акту обращения» в новую веру и не осуществимом шаг за шагом на основе логики и нейтрального опыта. Как показывает история науки, такой переход происходит или сразу, хотя не обязательно в один прием, или не происходит вообще при жизни современников новой теории. Например, коперниканское учение приобрело лишь немногих сторонников в течение почти целого столетия после смерти Коперника. Работа Ньютона не получила всеобщего признания, в особенности в странах континентальной Европы, в продолжение более чем полувека после появления «Начал». Пристли никогда не принимал кислородной теории горения, так же как Кельвин не принял электромагнитную теорию и т. д.

М. Планк как-то заметил, что новая научная истина прокладывает дорогу к триумфу не посредством убеждения оппонентов и принуждения их видеть мир в новом свете, но скорее потому, что ее оппоненты рано или поздно умирают и вырастает новое поколение, которое привыкло к ней. Иногда эту идею, имеющую важное значение для понимания процесса принятия новой научной теории, называют «принципом Планка».

Определенная система верований лежит в основе не только отдельной теории, но и науки в целом. Эта система определяет предпосылки научного теоретизирования и определяет то, что отличает

научное мышление от идеологического, утопического или художественного мышления. Совокупность мыслительных предпосылок науки размыта, значительная их часть носит характер неявного знания. Этим прежде всего объясняется, что науку трудно сколько-нибудь однозначно отграничить от того, что наукой не является, и определить научный метод исчерпывающим перечнем правил.

Предпосылочным, опирающимся на неявные, размытые верования и в этом смысле субъективным является и мышление исторической эпохи. Совокупность этих верований определяет стиль мышления эпохи, ее интеллектуальный консенсус. Стиль мышления почти не осознается той эпохой, в которую он господствует, и подвергается определенному осмыслению и критике только в последующие эпохи. Переход от стиля мышления одной эпохи к стилю мышления другой, и значит, от одного общего типа объективности к другому, является стихийно-историческим процессом, занимающим довольно длительный период.

Конкретные науки различаются своими характерными типами объективности. К. Леви-Строс пишет, в частности, об объективности (физической) антропологии, что она требует от исследователя не только абстрагироваться от своих верований, предпочтений и предрассудков (подобная объективность свойственна всем социальным наукам), но и подразумевает нечто большее: «речь идет не только о том, чтобы подняться над уровнем ценностей, присущих обществу или группе наблюдателей, но и над методами мышления наблюдателя... Антрополог не только подавляет свои чувства: он формирует новые категории мышления, способствует введению новых понятий времени и пространства, противопоставлений и противоречий, столь же чуждых традиционному мышлению, так и те, с которыми приходится сегодня встречаться в некоторых ответвлениях естественных наук»<sup>1</sup>.

Неустанный поиск антропологией объективности происходит только на уровне, где явления не выходят за пределы человеческого и остаются постижимыми — интеллектуально и эмоционально — для индивидуального сознания. «Этот момент чрезвычайно важен, поскольку он позволяет отличать тип объективности, к которому стремится антропология, от объективности, представляющей интерес для других социальных наук и являющейся, несомненно, не менее строгой, чем ее тип, хотя она располагается и в иной плоскости»<sup>2</sup>. Антропология в этом отношении ближе к гуманитарным наукам, стремящимся всегда оставаться на уровне значений (смыслов).

---

<sup>1</sup> *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М., 1985. С. 384.

<sup>2</sup> Там же. С. 385.

В зависимости от того, какое из языка употреблений имеется в виду, можно говорить об объективности описаний, объективности оценок и объективности художественных образов (в последних ярко выражаются экспрессивная и орективная функции языка). Объективность описаний можно охарактеризовать как степень приближения их к истине. Промежуточной ступенью на пути к такой объективности является интерсубъективность.

Объективность оценок связана с их эффективностью, являющейся аналогом истинности описательных утверждений и указывающей, в какой мере оценка способствует успеху предполагаемой деятельности. Эффективность устанавливается в ходе обоснования оценок (и прежде всего их целевого обоснования), в силу чего объективность оценок иногда, хотя и совершенно неправомерно, отождествляется с их истинностью.

К. Маркс отстаивал идею, что групповая субъективность совпадает с объективностью, если это — субъективность передового класса, т. е. класса, устремления которого направлены по линии действия законов истории. Например, буржуазные социальные теории субъективны, поскольку их сверхзадача — сохранение капиталистического общества, что противоречит законам истории; пролетарские революционные теории объективны, ибо они выдвигают цели, отвечающие данным законам. Согласно Марксу, объективно позитивно ценным является то, реализация чего требуется законами истории. В частности, если в силу таких законов неизбежен революционный переход от капитализма к коммунизму, то объективно хорошим является все, что отвечает интересам пролетарской революции и задачам построения коммунистического общества.

История представляет собой, однако, смену уникальных и единичных явлений, в ней нет прямого повторения одного и того же, и потому в ней нет законов. Отсутствие законов исторического развития лишает основания идею, что оценка из субъективной способна превратиться в объективную и стать истинной, если она соответствует направлению социального движения, определяемому законами истории.

Оценки, в отличие от описаний, не имеют истинностного значения; они способны быть лишь эффективными или неэффективными. Эффективность же, в отличие от истины, всегда субъективна, хотя ее субъективность может быть разной — от индивидуального пристрастия или каприза до субъективности целой культуры.

В науках о культуре можно выделить три разных типа объективности. Объективность социальных наук (экономическая наука, социология, демография и др.) не предполагает понимания изучаемых объектов на основе опыта, переживаемого индивидом; она требует

использования сравнительных категорий и исключает «я», «здесь», «теперь» («настоящее») и т. п. Объективность гуманитарных наук (история, антропология, лингвистика и т. п.), напротив, опирается на систему абсолютных категорий и понимание на основе абсолютных оценок. И, наконец, объективность нормативных наук (этика, эстетика, искусствоведение и т. п.), также предполагающая систему абсолютных категорий, совместима с формулировкой явных оценок, и в частности явных норм.

В эпистемологии XVII–XVIII вв. господствовало убеждение, что объективность, обоснованность и тем самым научность необходимо предполагают истинность, а утверждения, не допускающие квалификации в терминах истины и лжи, не могут быть ни объективными, ни обоснованными, ни научными. Данное убеждение было связано в первую очередь с тем, что под наукой имелись в виду только естественные науки; социальные и гуманитарные науки считались всего лишь преднауками, существенно отставшими в своем развитии от наук о природе.

Сведение объективности и обоснованности к истине опиралось на убеждение, что только истина, зависящая лишь от устройства мира и потому не имеющая градаций и степеней, являющаяся вечной и неизменной, может быть надежным основанием для знания и действия. Там, где нет истины, нет и объективности, и все является субъективным, неустойчивым и ненадежным. Все формы отражения действительности характеризовались в терминах истины: речь шла не только об «истинах науки», но и об «истинах морали» и даже об «истинах поэзии». Добро и красота оказывались в итоге частными случаями истины, ее «практическими» разновидностями.

Редукция объективности к истинности имела своим следствием также сведение всех употреблений языка к описанию: только оно может быть истинным и значит, надежным. Все другие употребления языка — оценка, норма, обещание, декларация (изменение мира с помощью слов), экспрессия, оректив, предостережение и т. д. — рассматривались как замаскированные описания или объявлялись случайными для языка, поскольку казались субъективными и ненадежными.

В конце XIX в. позитивисты объединили разнообразные неописательские утверждения под общим именем «оценки» и потребовали решительного исключения всякого рода оценок из языка науки. Одновременно представители философии жизни, стоявшей в оппозиции позитивизму, подчеркнули важность оценок для всего процесса человеческой жизнедеятельности и неустранимость их из языка социальной философии и всех социальных наук. Этот спор об оценках продолжается по инерции и сейчас. Однако очевидно, что если соци-

альные и гуманитарные науки не будут содержать никаких рекомендаций, касающихся человеческой деятельности, целесообразность существования таких наук станет сомнительной. Экономическая наука, социология, политология, лингвистика, психология, перестроенные по образцу физики, в которой нет субъективных и потому ненадежных оценок, бесполезны.

Не только описания, но и оценки, и нормы могут быть обоснованными или необоснованными. Действительная проблема, касающаяся социальных и гуманитарных наук, всегда содержащих явные или неявные оценочные утверждения (в частности, двойственные, описательно-оценочные высказывания), состоит в том, чтобы разработать надежные критерии обоснованности и, значит, объективности такого рода утверждений и изучить возможности исключения необоснованных оценок. Оценивание всегда субъективирует, в силу чего науки о культуре отстоят дальше от идеала объективности, чем науки о природе. Вместе с тем без такого рода субъективации и тем самым отхода от объективности невозможна деятельность человека по преобразованию мира.

В естественных науках также имеются разные типы объективности. В частности, физическая объективность, исключая телеологические (целевые) объяснения, явным образом отличается от биологической, обычно совместимой с такими объяснениями. Объективность космологии, предполагающей «настоящее» и «стрелу времени», отлична от объективности тех естественных наук, законы которых не различают прошлого и будущего.

Проблема объективности касается не только научных идей и теорий, но и произведений искусства. Вопрос об объективности художественных образов остается, однако, пока почти неисследованной. Аргументация (прежде всего обоснование) объективирует поддерживаемое положение, устраняет личностные, субъективные моменты, связанные с ним. Однако в художественном произведении ничего не нужно специально обосновывать и тем более доказывать, напротив, надо отрешиться от желания строить цепочки рассуждений и выявлять следствия принятых посылок.

И вместе с тем художественный образ может быть не только субъективным, но и объективным. «...Сущность художественного произведения состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями — чем больше оно или обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, — но о том, что оно говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное — это для искусства ограниченность, даже порок. “Искусство”, которое исключительно или хотя бы в основном лично, заслуживает того, чтобы его рассматривали как

невроз»<sup>1</sup>. По поводу идеи З. Фрейда, что каждый художник обладает инфантильно-автоэротически ограниченной личностью, Юнг замечает, что это может иметь силу применительно к художнику как личности, но не приложимо к нему как творцу: «ибо творец ни автоэротичен, ни гетероэротичен, ни как-либо еще эротичен, но в высочайшей степени объективен, существенен, сверхличен, пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он ест свой труд, а не человек»<sup>2</sup>.

**Субъективность.** *Субъективность* как противоположность объективности — это зависимость суждений, мнений, представлений от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т. д. Под субъектом может пониматься не только индивид, но и группа лиц, общество, культура или цивилизация и даже человечество в целом. Субъективностью была характерна, например, для распространённой когда-то уверенности в существовании загробной жизни, в бессмертии человеческой души и т. п. Субъективным являлось и господствовавшее в недавнем прошлом в некоторых обществах убеждение в возможности построения в обозримом будущем общества, исключаящего частную собственность, тяжёлый, монотонный труд и неравенство людей. Можно выделить разные уровни субъективности: зависимость от личных, индивидуальных пристрастий; зависимость от групповых пристрастий (например, зависимость от предубеждений, разделяемых в определенное время научным сообществом); зависимость от пристрастий общества в целом; зависимость от односторонности и пристрастности культуры или даже эпохи.

Каждая историческая эпоха вырабатывает собственный стиль мышления, в силу чего она смотрит на мир своими глазами, пользуется своей специфической системой мыслительных координат. Воздействие стиля мышления сказывается на всех аспектах теоретизирования, так что все сказанное в определенную эпоху несет на себе ее отпечаток. Зависимость суждений человека от той эпохи, в которую он живет, может рассматриваться как одно из проявлений субъективности его мышления.

Само «настоящее», в которое погружен каждый исследователь, диктует своеобразную субъективность в истолковании им как прошлого, так и будущего. Человек не может выйти из истории и из своего «времени». Он всегда рассматривает прошлое с определенной, а потому односторонней позиции.

Взаимная непроницаемость и принципиальная необъяснимость культур друг для друга, на которой настаивали О. Шпенглер, М. Хай-

<sup>1</sup> Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 245.

<sup>2</sup> Там же.



деггер, Л. Витгенштейн, может рассматриваться как следствие субъективности, присущей каждой культуре. Зависимость воззрений от общества, культуры и эпохи можно назвать, используя выражение Э. Гуссерля, «непсихологически понятой субъективностью». Такого рода зависимость означает, что всякая система взглядов, включая и научные теории, является в известной мере субъективной и что полная объективность представляет собой только идеал, требующий для своего достижения выхода из истории.

Универсальность субъективности не означает, однако, отказа от требования максимальной объективности в тех областях (например, в науке), где последняя представляется основополагающей ценностью. Преодоление субъективности предполагает в первую очередь, что исследователь абстрагируется от своих субъективных верований, предпочтений и предрассудков. Он должен стремиться также критически подойти к тем ценностям, которые присущи его сообществу и обществу в целом. Ему следует подняться и над «методами мышления наблюдателя» (К. Леви-Строс) с тем, чтобы достигнуть формулировки, приемлемой не только для честного и объективного наблюдателя, но и для всех возможных наблюдателей.

Идеалом науки, представляющейся сферой наиболее эффективного преодоления субъективности, является окончательное освобождение от «точки зрения», с которой осуществляет рассмотрение некоторый «наблюдатель», описание мира не с позиции того или другого, а «с ничьей точки зрения» (Э. Кассирер). Этот идеал никогда не может быть достигнут, но наука постоянно стремится к нему, и это стремление движет ее вперед.

Имеется существенное различие между субъективностью описаний и субъективностью оценок: первым удастся, как правило, придать большую объективность, чем вторым. Это связано прежде всего с тем, что в случае описаний всегда предполагается, что их субъекты совпадают, так же как и их основания; оценки же могут не только принадлежать разным субъектам, но и иметь разные основания в случае одного и того же субъекта. В этом смысле оценки всегда субъективны.

Субъективность всякого оценивания нередко истолковывается односторонне, вплоть до требования исключать любые оценки из гуманитарных и социальных наук (наук о культуре). Как требование освобождения наук о культуре от оценок, так и пожелание отделения в этих науках оценок от описаний утопичны. Речь может идти только о необходимости тщательного обоснования оценок, уменьшения их субъективности в той мере, в какой это возможно, и исключении необоснованных, заведомо субъективных оценок.

Приемы снижения субъективности оценок те же, что и в случае описаний: отказ от личных и групповых пристрастий, стремление рассматривать все объекты с одной и той же точки зрения, критический анализ господствующих ценностей и т. д. Описания никогда не достигают идеала полной объективности; тем более нельзя требовать этого от оценок.

«Всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть субъективация. Оно предоставляет сущему не быть, а, на правах объекта оценивания, всего лишь считаться. Когда бога, в конце концов, объявляют «высшей ценностью», то это — принижение божественного существа. Мышление в ценностях здесь и во всем остальном — высшее святотатство, какое только возможно по отношению к бытию»<sup>1</sup>. Хайдеггер призывает «мыслить против ценностей» с тем, чтобы, сопротивляясь субъективации сущего до простого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины: «...из-за оценки чего-либо как ценности оцениваемое начинает существовать просто как предмет человеческой оценки. Но то, чем нечто является в своем бытии, не исчерпывается предметностью, тем более тогда, когда предметность имеет характер ценности»<sup>2</sup>.

Этот призыв не может не претендовать на установление универсальной, охватывающей все стороны человеческого существования иерархии ценностей и даже избегать по мере возможности оценок того, что лежит в самой основе социальной жизни, в известной мере оправданы. Глубинные основы социального существования в каждый конкретный период истории воспринимаются и переживаются человеком, живущим в это время, как непосредственная данность, т. е. как нечто объективное. Попытка вторгнуться в эти основы с рефлексией и оценкой лишает их непосредственности и субъективизирует их, поскольку всякая оценка субъективна.

Но есть, однако, и другая сторона дела. Социальная жизнь, как и жизнь отдельного человека, представляет собой процесс непрерывных перемен, причем перемен, являющихся во многом результатом самой человеческой деятельности. Никакая деятельность не является возможной без оценок. И потому она невозможна без связанной с оценками субъективации мира и превращения сущего в тот «простой объект», который может быть преобразован человеком.

Человек не должен субъективировать все подряд, иначе «истина бытия» перестанет ощущаться им и он окажется в зыбком мире собственных рефлексии и фантазии. Вместе с тем человек не может не действовать, и значит, не может не оценивать и не разрушать объ-

<sup>1</sup> Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Человек и его ценности. Ч. 1. М., 1988. С. 47.

<sup>2</sup> Там же.

ективное. Мысли, идущей наперекор ценности, он постоянно противопоставляет мышление в ценностях. Проблема не в исключении одного из этих противоположно направленных движений мысли, а в их уравнивании, в таком сочетании объективации и субъективации мира, которое требуется исторически конкретными условиями человеческого существования.

## § 4. Аксиоматизация и формализация

Среди способов прояснения научной теории особую роль играют выявление логических связей ее утверждений, минимизация ее исходных допущений, построение ее в форме *аксиоматической системы* и, наконец, если это возможно, ее *формализация*.

«Если мы требуем от наших теорий все лучшей проверяемости, то оказывается неизбежным и требование их логической строгости и большого информативного содержания. Все множество следствий теории должно быть получено дедуктивно: теорию, как правило, можно проверить лишь путем непосредственной проверки отдаленных ее следствий — таких следствий, которые трудно усмотреть интуитивно»<sup>1</sup>.

При аксиоматизации теории некоторые ее положения избираются в качестве исходных, а все остальные положения выводятся из них чисто логическим путем. Исходные положения, принимаемые без доказательства, называются аксиомами (постулатами), положения, доказываемые на их основе, — теоремами. Аксиоматический метод систематизации и прояснения знания зародился еще в античности и приобрел большую известность благодаря «Началам» Евклида — первому аксиоматическому истолкованию геометрии. Сейчас аксиоматизация используется в математике, логике, а также в отдельных разделах физики, биологии и др. Аксиоматический метод требует высокого уровня развития аксиоматизируемой содержательной теории, ясных логических связей ее утверждений. С этим связана довольно узкая его применимость и наивность попыток перестроить всякую науку по образцу аксиоматизированной геометрии Евклида.

Аксиоматизация теории не является универсальным научным идеалом. Аксиоматизация находит широкое применение в математике и в современной логике. Аксиоматизированы отдельные, достаточно узкие фрагменты физики и биологии. Но неразумно требовать аксиоматизации каких-то частей антропологии или истории, социологии или психологии.

---

<sup>1</sup> Поннер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 334.

В свое время Б. Спиноза предпринял грандиозную попытку перестроить этику по образцу «Геометрии» Евклида: из немногих принятых аксиом выводились разнообразные «моральные теоремы». Сама этическая концепция Спинозы являлась оригинальной, но та «аксиоматическая» форма, в которую она была облечена, не проясняла, а только затемняла эту концепцию. Охотно прибегающая к аксиоматическому методу геометрия не образец для этики, противящейся всякой аксиоматизации, точно так же как этика, которую невозможно аксиоматизировать, не образец для геометрии.

Построение научной теории в форме аксиоматизированной дедуктивной системы не является идеалом и той конечной целью, достижение которой означает предел совершенствования теории. Формализация может быть определена как отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях. При формализации исследуемым объектам, их свойствам и отношениям ставятся в соответствие некоторые устойчивые, хорошо обозримые и отождествимые материальные конструкции. Цель формализации — уточнить содержание путем выявления его формы.

Формализация может осуществляться с разной степенью полноты. Первый шаг формализации — выражение результатов мышления в естественном языке. Дальнейшее углубление формализации достигается путем введения в естественный язык разного рода специальных знаков и созданием частично искусственных и полностью искусственных языков.

Особый интерес представляет логическая формализация, т. е. формализация, направленная на выявление логической формы выводов и доказательств. Полная формализация теории имеет место тогда, когда совершенно отвлекаются от содержательного смысла ее исходных понятий и утверждений и перечисляют все правила логического вывода, используемые в доказательствах. В формализованной теории доказательство не требует обращения к содержанию используемых понятий, их смыслу. Доказательство оказывается последовательностью формул, каждая из которых либо является аксиомой (принимается без доказательства), либо получается из аксиом по указанным правилам вывода.

Формализация доказательства сводит процесс доказательства к простым операциям со знаками. Проверка формализованного доказательства (но не его поиск) является механической процедурой. Поскольку она носит алгоритмический характер, ее можно передать машине.

Формализация играет существенную роль в уточнении научных понятий. Многие проблемы не могут быть не только решены, но даже сформулированы, пока не будут формализованы связанные с ними рассуждения. Так обстоит дело, в частности, с широко используемым

теперь понятием алгоритма и вопросом о том, существуют ли алгоритмически неразрешимые проблемы. Они существуют. Подавляющее большинство проблем, решаемых человеком, не имеет никакого алгоритма своего решения. Только формализация дала возможность поставить вопрос: охватывает ли формализованная, так сказать машинная, арифметика всю содержательную арифметику.

Формализованное доказательство — это доказательство, записанное на специальном искусственном — формализованном — языке. Он имеет точно установленную структуру и простые правила, благодаря чему процесс доказательства сводится к элементарным операциям со знаками. Формализованное доказательство — идеальное и неоспоримое доказательство. Но насколько реалистичен этот идеал, не слишком ли формализованные рассуждения отходят от обычных научных рассуждений? Можно ли полностью формализовать любую научную теорию?

Ответы на эти вопросы были получены в 1930-е гг., когда был установлен ряд теорем, принципиально ограничивающих формализацию. Наиболее важная из них принадлежит австрийскому математику и логике К. Гёделю. В 1931 г. он показал, что любая достаточно богатая по содержанию и являющаяся непротиворечивой теория неизбежно неполна: она не охватывает все истинные утверждения, относящиеся к ее области. Теорема Гёделя непосредственно относилась к арифметике и утверждала, что существует имеющее смысл утверждение арифметики целых чисел (обозначим это утверждение буквой  $C$ ), которое в рамках данной теории нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но либо утверждение  $C$ , либо утверждение не- $C$  истинно. Следовательно, в арифметике существует истинное утверждение, которое недоказуемо, а значит, и неразрешимо.

Эта теорема произвела эффект разорвавшейся бомбы не только в математике и логике. Она распространяется на любую формализованную теорию, содержащую арифметику, и говорит о внутренней ограниченности процедуры формализации, о невозможности представления достаточно богатой теории в виде завершенной формализованной системы.

Гёделевская теорема не дискредитирует, конечно, метод формализации. Но она говорит, что никакая формализация не способна исчерпать все богатство приемов и методов содержательного мышления. Сравнивая возможности человека и современных вычислительных машин, можно сказать, что для каждой конкретной задачи в принципе можно построить машину, которой эта задача была бы под силу. Нельзя, однако, создать машину, пригодную для решения любой задачи. Из гёделевской теоремы о неполноте следует непреложный вывод: природа и резервы человеческого разума неизмеримо тоньше и

богаче любой из существующих или воображаемых вычислительных машин.

Теорема Гёделя иногда истолковывается как свидетельство внутренне непреодолимой ограниченности человеческого мышления. Такая пессимистическая интерпретация безосновательна. Теорема устанавливает границы только машиноподобного, «вычисляющего» разума. Вместе с тем она косвенно говорит о могуществе творческого разума, способного создавать новые понятия и методы для решения принципиально новых проблем.

Выявление логических связей утверждений теории позволяет прояснить их дедуктивные взаимоотношения, установить определенную их иерархию и уточнить тем самым их смысл.

## Глава V

# НОРМЫ НАУКИ

### § 1. Обоснованность научного знания

Обсуждение норм науки начнем с требования *обоснованности* научного знания, поскольку оно представляется одним из наиболее важных требований к результатам научной исследовательской деятельности. В самом общем смысле *обосновать* некоторое положение — значит привести те убедительные или достаточные основания, в силу которых оно представляется убедительным и должно быть принято.

Требование обоснованности знания одно время было принято называть принципом (законом) достаточного основания и относить к основным законам логики. Разумеется, требование обосновывать выдвигаемые положения не является законом логики. К последней оно имеет такое же отношение, как и к психологии, физике, космологии, истории. Во всякой области научного знания выдвигаемые положения должны опираться на известные основания. Но об этом говорит вовсе не логика, а философия науки. К тому же, как показала современная логика, деление логических законов на основные и не основные («второстепенные») лишено каких-либо ясных оснований.

Иногда утверждается, что требование обоснованности знания впервые сформулировал в XVII в. Г. В. Лейбниц. Это неточное утверждение. Требование обоснованности знания в достаточно ясной форме обсуждалось еще Платоном и Аристотелем, хотя и не получило в древности никакого собственного имени.

Понятие обоснования — центральное в теории познания вообще и в методологии научного познания в частности. В каждой конкретной научной дисциплине исторически складывается свой уровень точности и обоснованности. Но к какой бы области знания ни относилось то или иное положение — идет ли речь о математике, физике или этике, — всегда предполагается, что имеются достаточные основания, в силу которых данные положения принимаются или считаются истинными.

Обоснование теоретических положений является, как правило, сложным процессом, не сводимым к построению отдельного умозаключения или проведению одноактной эмпирической, опытной про-

верки. Обоснование обычно включает серию процедур, касающихся не только самого рассматриваемого положения, но и той системы утверждений, той теории, составным элементом которой оно является. Существенную роль в механизме обоснования играют логические (дедуктивные) умозаключения, хотя лишь в редких случаях процесс обоснования удается свести к умозаключению или цепочке умозаключений.

**Некоторые особенности научного обоснования.** Оставляя в стороне так называемые формальные науки (логику и математику), процедуры обоснования в которых весьма своеобразны, основные особенности научного обоснования можно свести вкратце к следующему:

- обоснование научных положений протекает в рамках научного сообщества, или коллектива исследователей, занимающихся конкретной областью знания;
- ни одно положение и ни одна теория не принимается в науке без обоснования;
- обоснование всегда направлено не только на подтверждение нового положения или теории, но и на его опровержение; процесс обоснования представляет собой преимущественно критику выдвинутого положения, поиск уязвимых его мест;
- только положения или теории, выдержавшие всесторонний критический натиск, имеют право быть принятыми в качестве научных; сколь бы очевидным ни представлялось то или иное научное положение или теория, открытая или неявная критика никогда не прекращается;
- научное знание всегда остается по своей природе предположительным, гипотетичным, независимо от того, насколько надежными кажутся в конкретный момент времени те основания, на которые оно опирается; процесс обоснования научных положений является, в сущности, бесконечным;
- вместе с тем научное обоснование повышает вероятность обосновываемого положения и приближает его к истине настолько, насколько это вообще возможно в данный период времени и на конкретном этапе исследования определенного круга явлений; рано или поздно любое научное утверждение или система таких утверждений подвергается пересмотру, уточнению, ограничению сферы своего действия или даже замене другим, представляющейся более адекватным утверждением или теорией;
- ключевую роль в научном обосновании играет опыт, или эмпирическое обоснование; не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его



основании, также гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения;

- сам по себе опыт, взятый вне контекста теоретического обоснования и независимо от тех традиций, авторитетов, верований, вкусов, которые разделяет научное сообщество, не способен обеспечить твердое основание для принятия даже тех утверждений, которые, как представляется, непосредственно опираются на эмпирические данные; не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его основании, также гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения;
- хотя конечной целью научной теории является соответствие предлагаемого ею описания реальности, результатом обоснования является не истина, а убеждение в приемлемости обосновываемого положения; научная истина только постепенно вырастает из научного убеждения и всегда сохраняет в себе элемент гипотетичности, предположительности;
- не существует никаких особых, характерных только для науки способов обоснования; в научном обосновании используется все те стандартные приемы обоснования, которые применяются в других областях;
- вместе с тем научный метод предполагает определенную систему, способов обоснования: эмпирическое обоснование предпочтительнее обоснования путем ссылки на другие, уже принятые положения; теоретическое обоснование выдвигаемого положения предпочтительнее обоснования этого положения путем ссылки на сложившиеся традиции, принятые авторитеты, интуицию, здравый смысл, вкус, моду и т. п.;
- обоснование в естественных науках (науках о природе) существенным образом отличается от обоснования в социальных и гуманитарных науках (науках о культуре), хотя и в естественных, и в социальных и в гуманитарных науках применяются все стандартные способы обоснования, начиная со ссылки на опыт и иные, уже обоснованные положения и заканчивая аргументами из классики, основанными на интуиции и т. п.

Допускаемые научным методом способы обоснования образуют определенную *иерархию*, вершиной которой является *эмпирическая аргументация* (прямое и косвенное подтверждение в опыте). Далее следует *теоретическая аргументация* (дедуктивная и системная, методологическая аргументация и др.). Что касается *контекстуальной аргументации* (ссылки на традицию, авторитеты, вера, здравый смысл, вкус и т. п.), она считается менее убедительной, а в устоявшейся и хо-

рошо подкрепленной опытом теории она обычно оценивается как сомнительный прием научного обоснования.

И вместе с тем без контекстуальных, зависящих от аудитории аргументов, не способны обходиться ни гуманитарные, ни социальные науки, поскольку «все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами» (Х. Г. Гадамер). Контекстуальная аргументация применяется и в естественных науках, что нетрудно обнаружить, если рассматривать эти науки не в статике (как они излагаются в учебниках), а в процессе их развития. Аргументы научной традиции, классики, интуиции, здравого смысла вполне приемлемы на начальных этапах развития естественнонаучных теорий.

В науке фактически используются любые приемы аргументации, не исключая даже некорректных приемов. Ученый начинает, однако, со стандартных приемов корректной научной аргументации и старается не отступать от них до тех пор, пока к этому его не вынудят обстоятельства, в частности аудитория. При этом эмпирические аргументы оцениваются выше теоретических, а теоретические — выше контекстуальных. Обращение же к таким приемам, как, скажем, пропаганда или угроза принуждением, хотя они также могут иногда применяться в науке, более поздними исследователями не оцениваются как использование подлинно научных аргументов.

Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования. Точно так же любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщения. Но из этого не следует, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны и безразлично, в какой последовательности они используются.

**Абсолютное и сравнительное обоснование.** Все многообразные способы обоснования, обеспечивающие в конечном счете достаточные основания для принятия утверждения, делятся на *абсолютные* и *сравнительные*. Первое — это приведение убедительных, или достаточных, оснований, в силу которых должно быть принято обосновываемое положение. Второе — система убедительных доводов в поддержку того, что лучше принять обосновываемое положение, чем иное, противопоставляемое ему.

Абсолютное обоснование относится к отдельному утверждению и представляет собой совокупность доводов в его поддержку. Сравнительное обоснование касается пары связанных между собою утверж-

дений и является системой доводов в поддержку того, что должно быть принято (лучше принять) одно из этих утверждений, а не другое.

Совокупность доводов, приводимых в поддержку обосновываемого положения, называется *основанием обоснования*. Пусть А — какое-то обосновываемое положение, В — другое положение, противопоставляемое в каком-то смысле положению А, и С — основание обоснования. Общая схема, или структура, абсолютного обоснования такова:

*«А должно быть принято в силу С».*

Структура сравнительного обоснования:

*«Лучше принять А, чем принять В, в силу С».*

Например, выражение «Следует принять, что небо в обычных условиях голубое, поскольку в пользу этого говорит непосредственное наблюдение» — абсолютное обоснование, точнее, его результирующая часть. Выражение же «Лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно красное, основываясь на положениях физики атмосферы», — это результирующая стадия сравнительного обоснования утверждения «Небо синее, а не красное».

Различие между абсолютным и сравнительным обоснованием является принципиальным. В случае первого обоснованность приписывается отдельному утверждению и выступает как его свойство: «Обосновано А» или «А является обоснованным». При сравнительном обосновании обоснованность оказывается уже отношением между утверждениями: «А более обосновано, чем В». Иными словами, абсолютное обоснование является абсолютной оценкой какого-то утверждения, взятого само по себе; сравнительное обоснование — это сравнительная оценка, связывающая между собой два утверждения.

Если мы говорим, например, что розы — хорошие цветы, мы однозначно приписываем розам позитивную ценность. Но если утверждается, что розы лучше гладиолусов, это не означает, что розы считаются хорошими: и розы, и гладиолусы могут оцениваться нами негативно, и вместе с тем мы можем отдавать предпочтение розам. И ложь и воровство являются предосудительными, негативно ценными. Но можно сказать, что лгать все-таки лучше, чем воровать, хотя и то и другое плохо.

Если какое-то описательное утверждение оценивается как обоснованное, есть основания принять его в качестве истинного. Если же говорится, что одно описательное утверждение более обосновано, чем другое, и что лучше — в силу приведенных оснований — принять первое, а не второе, это не означает, что первое утверждение истинно, а второе ложно. Оба они могут быть малоправдоподобными, но одно из них при этом может являться более правдоподобным, чем другое.

Так, если кто-то полагает, что лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно зеленое, из этого не следует, что небо в самом деле синее, а не голубое.

Из оценки «*A* лучше *B*» не вытекает ни то, что *A* является хорошим, ни то, что *B* плохое. Аналогичным образом из сравнительного обоснования «Лучше принять *A*, а не *B*» не следует, что *A* обосновано, а *B* нет. Утверждение *A* может быть малообоснованным и маловероятным, но при этом возможно, что утверждение *B* еще менее обосновано и правдоподобно, и раз вопрос стоит о выборе между ними, лучше все-таки принять *A*, а не *B*.

В условиях, когда абсолютное обоснование недостижимо, сравнительное обоснование представляет собой существенный шаг вперед в совершенствовании знания, в приближении его к стандартам научной рациональности. Известно, что сравнительные оценки не сводимы к абсолютным, и наоборот. «Лучше» не определимо через «хорошо»: лучше одна другой могут быть и две хорошие, и две плохие вещи. «Хорошо» не определимо в общем случае через «лучше». Установление абсолютной ценности какого-то предмета и установление его сравнительной ценности — это два разных, взаимодополняющих видения одного и того же объекта, не редуцируемых друг к другу<sup>1</sup>.

Вопрос о соотношении абсолютного и сравнительного обоснования остается пока почти неисследованным. Однако очевидно, что сравнительное обоснование не сводимо к абсолютному. Если удалось показать, что одно утверждение более правдоподобно, чем другое, этот результат невозможно выразить в терминах изолированной обоснованности одного или обоих утверждений.

Менее ясен ответ на вопрос, можно ли абсолютное обоснование свести к сравнительному. Иногда «хорошо» так определяется через «лучше»: нечто является хорошим, когда его наличие лучше, чем его отсутствие. Например: «Хорошо иметь синий цвет, если и только если быть синим лучше, чем не быть синим». Однако это и подобные ему определения носят только частичный характер и не позволяют получить «логику добра» в качестве следствия логики предпочтений («логики лучше»).

Можно предположить, что в некоторых случаях абсолютное обоснование допускает определение через сравнительное обоснование по следующей схеме, где  $Df A$  означает равенство по определению:

*Обосновано A = Df A более обосновано, чем не-A*, т. е. утверждение *A* является обоснованным только в том случае, если оно более обосновано, чем его отрицание.

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А. Логика оценок*. М., 2004. Гл. 1.

Например, обосновано, что в недрах Луны имеется нефть, если и только если наличие нефти в недрах Луны обосновано лучше, чем отсутствие нефти. Указанное определение можно передать и так:

*Должно быть принято A, в силу  $C = Df$  Лучше принять A, чем не-A в силу C.*

Исходя из общих соображений, касающихся определимости абсолютных оценок через сравнительные, можно сказать, что рассматриваемое определение абсолютного обоснования через сравнительное, если и применимо, то очень редко. В самом деле, из того, что в настоящее время более обосновано наличие нефти на Луне, чем отсутствие, вряд ли вытекает, что обоснованно, будто она там определенно есть. Из того, что лучше принять, что Роберт Пири был первым на Северном полюсе, чем принять, что он не был там первым, вряд ли с необходимостью следует, что нужно без всяких колебаний и возражений принять, что именно Пири был первым на Северном полюсе.

Таким образом, естественно допустить, что абсолютное и сравнительное обоснование с общим случае не сводимы друг к другу. Они представляют собой два разных, в широких пределах независимых друг от друга способа утверждения и упрочения знания, нередко дополняющие друг друга.

Проблема абсолютного обоснования была центральной для эпистемологии Нового времени. Конкретные формы этой проблемы менялись, но в «классическом» мышлении того времени они всегда были связаны с характерным для него представлением о существовании абсолютных, непоколебимых и не пересматриваемых оснований всякого подлинного знания, с идеей постепенного и последовательного накопления «чистого» знания, с противопоставлением истины, допускающей обоснование, и субъективных, меняющихся от человека к человеку ценностей, с дихотомией эмпирического и теоретического знания и другими «классическими предрассудками». Речь шла о способе или процедуре, которая была бы способна обеспечить безусловно твердые, неоспоримые основания для знания.

С разложением «классического» мышления смысл проблемы обоснования существенно изменился. Стали очевидными три момента:

- никаких абсолютно надежных и не пересматриваемых со временем оснований теоретического знания не существует: можно говорить только об относительной их надежности;
- в процессе обоснования используются многочисленные и разнородные приемы, удельный вес которых меняется от случая к случаю и которые не сводимы к какому-то ограниченному, каноническому их набору;
- само обоснование имеет ограниченную применимость; оно является, прежде всего, процедурой науки и связанной с нею

техники; автоматическое перенесение образцов обоснования, сложившихся в одних областях (прежде всего, в науке) на любые другие области, недопустимо.

В современной философии науки «классическая» проблема обоснования трансформировалась в задачу исследования лишнего четким границ многообразия способов обоснования знания, с помощью которого достигается приемлемый в данной области (но никогда не абсолютный!) уровень обоснованности. Поиски «твердых оснований» отдельных научных дисциплин перестали быть самостоятельной задачей, обособившейся от решения конкретных проблем, встающих в ходе развития этих дисциплин. «Обоснование физики», «обоснование математики», «обоснование социологии» — все это отголоски «классического» мышления, отрывавшего процесс обоснования конкретных научных дисциплин от их непрерывного и бесконечного по своей сути развития, в ходе которого решаются не только частные вопросы, но и достигается обоснование дисциплины в целом.

Понятие *рациональности* имеет многовековую историю, но только со второй половины XIX в. оно стало приобретать общее содержание и сделалось предметом острых споров. Во многом это было связано с рассмотрением теоретического знания в его развитии, с уяснением сложности и неоднозначности процесса его обоснования. В сравнительном обосновании, представляющем обычно оценку знания с точки зрения его рациональности, стала искаться своеобразная компенсация выявившейся ненадежности процедур обоснования. Переосмысление «классической» проблемы обоснования надвинуло на первый план новую — проблему рациональности, понятую как исследование методов сравнительного обоснования.

Оценка с точки зрения (абсолютной) обоснованности относится прежде всего к знанию, взятому в динамике, еще не сложившемуся и ищущему сколько-нибудь надежных оснований. Оценка с точки зрения рациональности (сравнительной обоснованности) — это по преимуществу оценка знания, рассматриваемого в статике, как нечто уже сформировавшееся и в известном смысле устоявшееся и завершенное.

Первая оценка идет в русле аристотелевской традиции видеть мир, в том числе и реконструированный в рамках какой-то теории или концепции, как *становление*. Вторая оценка — продолжение платоновской традиции рассматривать мир как *бытие* как нечто уже ставшее. Полная оценка знания должна, очевидно, складываться из этих двух исключаящих друг друга оценок. Дуализм абсолютного и сравнительного обоснования является частным случаем того общего дуализма абсолютного и относительного, динамического и статического, который проявляется в случае каждой из основных категорий мышления.

**Обоснование как аргументация.** Теория аргументации является комплексной дисциплиной, исследующей многообразные способы убеждения слушателя (аудитории) с помощью речевого воздействия<sup>1</sup>. Теория аргументации анализирует и объясняет скрытые механизмы «незаметного искусства» речевого воздействия в рамках самых разных коммуникативных систем: от научных и судебных доказательств до политической пропаганды, художественного языка и торговой рекламы.

Влиять на убеждения слушателей или зрителей можно не только посредством речи, словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: жестом, мимикой и т. п. Даже молчание в определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом. Эти способы воздействия на убеждения изучаются, например психологией, теорией искусства, но не затрагиваются теорией аргументации. Кроме того, на убеждения можно воздействовать насильем, гипнозом, внушением, подсознательной стимуляцией, лекарственными средствами, наркотиками и т. п. Этими методами воздействия также занимается психология, но они явно выходят за рамки даже широко трактуемой теории аргументации.

*Аргументация* — это приведение доводов в целях изменения позиции или убеждений другой стороны (аудитории). Довод, или аргумент, представляет собой одно или несколько связанных между собой утверждений. Он предназначен для поддержки *тезиса аргументации* — утверждения, которое аргументирующая сторона находит нужным внушить аудитории, сделать составной частью ее убеждений.

Словом «аргументация» часто называют не только процедуру приведения аргументов в поддержку какого-то положения, но и саму совокупность таких аргументов. Это речевое действие, включающее систему утверждений, предназначенных для обоснования или опровержения какого-то мнения. Аргументация обращена в первую очередь к разуму человека, который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.

Таким образом, для аргументации характерны следующие черты:

- всегда выражена в языке, имеет форму произнесенных или написанных утверждений; теория аргументации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не те мысли, идеи, мотивы, которые стоят за ними;
- является целенаправленной деятельностью: она имеет своей задачей изменение, усиление или ослабление чьих-то убеждений;

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Введение в теорию аргументации. М., 1997; *Он же.* Теория аргументации. М., 200; *Он же.* Риторика. М., 2002.

- это социальная деятельность, поскольку она направлена на другого человека или других людей, предполагает диалог и активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;
- предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или оспаривать.

Убеждение изучается многими науками: психологией, логикой, лингвистикой, философией, теорией социальной коммуникации и др. Особое место среди них занимает теория аргументации, систематизирующая и обобщающая то, что говорят об убеждении другие дисциплины. Эта теория отвечает на вопросы о способах обоснования и опровержения убеждений, о зависимости этих способов от аудитории и обсуждаемой проблемы, о своеобразии обоснования в разных областях мышления и деятельности — от естественных и гуманитарных наук и до идеологии, пропаганды и искусства.

**О понятии убеждения.** Убеждение представляет собой уверенность в том, что определенное высказывание (положение) должно быть принято в силу имеющихся оснований. Предметом убеждения может быть не только отдельное высказывание, но и целостная система высказываний: сообщение о каких-то событиях, доказательство, концепция, теория и т. п.

Убеждение не совпадает ни с истиной, ни с верой, лишенной сколько-нибудь отчетливых оснований (слепая вера). Когда утверждение истинно, описываемая им ситуация реально существует. Но если утверждение представляет собой чье-то убеждение, это не означает, что ему что-то соответствует в действительности. В отличие от чистой веры, способной служить основанием самой себя, убеждение предполагает определенное основание. Последнее может быть слабым, фантастическим или даже внутренне противоречивым, но, тем не менее, оно должно существовать.

Отношения между знанием, убеждением и верой можно представить с помощью следующей схемы (рис. 6).



Рис. 6. Отношения между знанием, убеждением и верой

Таким образом, убеждение представляет собой веру, имеющую под собой определенные основания.

Убеждение стоит между *истиной* и чистой, или, как чаще говорят, *слепой верой*, не предполагающей никаких оснований. *Нейтральность* — это отсутствие веры или неверия по поводу того или иного факта или события. Все то, над чем мы вообще не задумываемся и от-



ношение к чему остается неясным или неинтересным для нас, является нейтральным. Противоположностью истины является *заблуждение*. Противоположность убеждения — *сомнение*, противоположность веры — *неверие*.

Истина и добро могут быть промежуточными целями аргументации, но конечная ее задача — убедить аудиторию в справедливости предлагаемого ее вниманию положения, склонить ее к принятию этого положения и, возможно, к действию, предполагаемому им.

Это означает, что оппозиции «истина — ложь» и «добро — зло», важные для других областей знания, не являются ключевыми ни в аргументации, ни соответственно в ее теории. Аргументы могут приводиться не только в поддержку тезисов, представляющихся истинными, но и в поддержку заведомо ложных или неопределенных тезисов. Аргументированно могут отстаиваться не только добро и справедливость, но и то, что кажется или впоследствии окажется злом.

**Сомнение.** *Сомнение* — неуверенность, колебания в том, следует ли принимать в качестве истинного, правильного или эффективного какое-то утверждение или систему утверждений. В зависимости от характера утверждения можно говорить о сомнении в истинности описания сомнения в эффективности (правильности) оценки. В зависимости от той области, к которой относится сомнение, оно может быть теоретическим, нравственным, религиозным и т. д.

Августин, а позднее Р. Декарт придавали сомнению важное методологическое значение и считали его предварительной ступенью познания. Декарт настаивал на необходимости возможно более полного и радикального сомнения и считал, что вполне достоверно лишь положение «Я мыслю, следовательно, я существую». В философии XX в. отношение к сомнению усложнилось и оно перестало считаться необходимым предварительным условием познания. Л. Витгенштейн полагал, что вообще нельзя начинать с сомнения, поскольку для него всегда нужны веские основания, и что есть категории утверждений, в приемлемости которых неразумно сомневаться<sup>1</sup>. Выделение этих классов утверждений непосредственно связано с системным характером человеческого знания, с его внутренней целостностью и единством.

Связь обосновываемого утверждения с той системой утверждений, в рамках которой оно выдвигается и функционирует, существенным образом влияет на эмпирическую проверяемость этого утверждения и, соответственно, на ту аргументацию, которая может быть выдвинута в его поддержку.

---

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 358–362.

В контексте своей системы («практики», «языковой игры», по выражению Витгенштейна) утверждение может приниматься в качестве несомненного, не подлежащего критике и не требующего обоснования по меньшей мере в двух случаях. Во-первых, если отбрасывание этого утверждения означает отказ от определенной практики, от той целостной системы утверждений, составным элементом которой оно является. Например, утверждение «Небо голубое» не требует проверки и не допускает сомнения, иначе будет разрушена вся практика визуального восприятия и различения цветов. Сомневаясь в утверждении «Солнце завтра взойдет», мы подвергаем сомнению всю естественную науку. Сомнение в достоверности утверждения «Если человеку отрубить голову, то обратно она не прирастет» ставит под вопрос всю физиологию и т. д.

Эти и подобные им утверждения обосновываются не эмпирически, а ссылкой на ту устоявшуюся и хорошо апробированную систему утверждений, составными элементами которой они являются и от которой пришлось бы отказаться, если бы они оказались отброшенными. В начале прошлого века английский философ Дж. Мур задавался вопросом, как можно было бы обосновать утверждение «У меня есть рука»<sup>1</sup>. Согласно Витгенштейну, ответ на этот вопрос является простым: данное утверждение очевидно и не требует никакого обоснования в рамках человеческой практики восприятия; сомневаться в нем значило бы поставить под сомнение всю эту практику.

Во-вторых, утверждение должно приниматься в качестве несомненного, если в рамках соответствующей системы утверждений оно стало стандартом оценки иных ее утверждений, в силу чего сделалось предписанием (прескрипцией) и утратило свою эмпирическую проверяемость.

Среди таких утверждений, перешедших из разряда описаний в разряд оценок, можно выделить две разновидности: утверждения, не проверяемые в рамках определенной, достаточно узкой практики, и утверждения, не проверяемые в рамках любой, сколь угодно широкой практики. Например, человек, просматривающий почту, не может сомневаться в своем имени, пока не занят этой деятельностью. Ко второй разновидности относятся утверждения, названные Витгенштейном «методологическими»: «Существуют физические объекты», «Земля существовало до моего рождения», «Объекты продолжают существовать, даже когда они никому не даны в восприятии» и т. п. Связь этих утверждений с другими нашими убеждениями практически всеобъемлюща. Подобные утверждения зависят не от конкрет-

---

<sup>1</sup> Мур Дж. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998.

ного контекста, а от совокупности всего воображаемого опыта, в силу чего пересмотр их практически невозможен.

Имеются, таким образом, пять типов утверждений, по-разному относящихся к практике их употребления. Это утверждения:

- 1) относительно которых не только возможно, но и разумно сомнение в рамках конкретной практики;
- 2) в отношении которых сомнение возможно, но не является разумным в данном контексте (например, результаты надежных измерений; информация, полученная из заслуживающего доверия источника);
- 3) не подлежащие сомнению и проверке в данной практике под угрозой ее разрушения;
- 4) ставшие стандартами оценки иных утверждений и потому не проверяемые в рамках данной практики, однако допускающие проверку в других контекстах;
- 5) методологические, не проверяемые в рамках любой практики.

Можно предположить, что утверждения типа 3 всегда входят в состав утверждений типа 4 и являются стандартами оценки других утверждений. Эти два типа утверждений можно сделать предметом сомнения, проверки и обоснования, выйдя за пределы их практики, поместив их в более широкий или просто иной контекст. Что касается методологических утверждений, входящих во всякую мыслимую практику, аргументация в их поддержку может опираться только на убеждение в наличии тотального соответствия между совокупностью наших знаний и внешним миром, на уверенность во взаимной согласованности всех наших знаний и опыта.

**Внешние и внутренние факторы убедительности.** Основания принятия высказываний могут быть очень разными. Одни высказывания принимаются, поскольку кажутся верными описаниями реального положения дел, другие принимаются в качестве полезных советов, третьи — в качестве эффективных оценок или норм и т. д. Невозможно создать полный перечень оснований принятия высказываний или их групп. Нет также какой-либо, даже предварительной, классификации таких оснований. Убеждения людей, т. е. их верования, имеющие известные основания, столь же многообразны и изменчивы, как и сама человеческая жизнь, в ткань которой они всегда вплетены.

Вместе с тем существуют определенные приемы, позволяющие с той или иной вероятностью побудить человека принять одни утверждения и отвергнуть другие. Изучением этих приемов, или способов убеждения, и занимается теория аргументации. В числе таких хорошо известных приемов ссыла на эмпирические данные, на существующее логическое доказательство, на определенные методологические соображения, на оправдавшую себя временем традицию, на особо

проницательную интуицию или искреннюю веру, на здравый смысл или на вкус, на причинную связь или связь цели и средства и т. д.

Теория аргументации ничего не говорит о том, почему те или иные люди или группы людей разделяют какие-то конкретные — разумные или, напротив, нелепые — верования. Ее задача — исследовать и систематизировать приемы, или способы, рассуждения, с помощью которых можно попытаться убедить отдельного человека или группу людей в необходимости или целесообразности принятия каких-то утверждений.

Аристотель выделял три фактора, определяющих убедительность речи: характер самой речи, особенности говорящего (оратора) и особенности слушающих (аудитории)<sup>1</sup>. Первый фактор можно назвать *внутренним*, два других — *внешними*. Для научной аргументации характерно, что в ней стремятся принимать во внимание прежде всего внутренний фактор — характер самой излагаемой концепции или гипотезы, оставляя в стороне то, кто и в какой форме ее высказывает, и то, к какому конкретно научному сообществу адресуется новая идея. В реальности, однако, влияния внешних факторов убеждения не удается избежать даже в научной дискуссии. Аргументация обращена в первую очередь к разуму человека, его мышлению, а уже затем к его чувствам, воле, подсознанию.

## § 2. Логическая последовательность

Всякое научное рассуждение должно быть *логически последовательным*, т. е. должны соблюдаться законы и правила логики. Хотя это требование представляется само собою разумеющимся, оно нередко нарушается, особенно в социальных науках. Именно это обстоятельство заставляет упомянуть очевидное, казалось бы, условие логической последовательности в числе идеалов науки.

Самым общим образом *логику* можно определить как науку о законах и операциях правильного мышления. Рассуждение — это всегда принуждение. Размышляя, мы постоянно ощущаем давление и несвободу. От нашей воли зависит, на чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прервать начатое размышление и перейти к другой теме. Но если мы решили провести его до конца, то мы сразу же попадем в сети необходимости, стоящей выше нашей воли и наших желаний. Согласившись с одними утверждениями, мы вынуждены принять и те, что из них вытекают, независимо от того нравятся они нам или нет, способствуют нашим целям или, напротив, препятствуют им.

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1355в.

Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным.

Если мы убеждены, что все металлы проводят электрический ток, мы должны признать также, что вещества, не проводящие ток, не относятся к металлам. Уверив себя, что каждая птица летает, мы вынуждены не считать птицами курицу и страуса. Из того, что все люди смертны, и Сократ является человеком, мы обязаны заключить, что он смертен.

Платон настаивал на божественном происхождении человеческого разума. Бог создал зрение, говорил он, и вручил его нам, чтобы мы видели на небе движение Разума мира и использовали его для руководства движениями нашего собственного разума. Человеческий разум оказывается, таким образом, только воспроизведением той разумности, которая господствует в мире и которую люди улавливают, благодаря милости бога.

Первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос о природе и принципах человеческого мышления дал Аристотель. «Принудительную силу человеческих речей» он объяснил существованием особых законов — логических законов мышления. Именно они заставляют принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать несовместимое с принятым. К числу необходимого, писал Аристотель, принадлежит доказательство, так как если что-то безусловно доказано, то иначе уже не может быть; и причина этому — исходные посылки. Подчеркивая безоговорочность логических законов и необходимость всегда следовать им, он замечал: «Мышление — это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тягость она нам». Сейчас мы думаем, конечно, иначе: чем больше регулярностей, или законов природы и общества, нам известно, тем шире наша свобода.

История логики насчитывает около двух с половиной тысяч лет. Раньше логики возникли, пожалуй, только математика, философия и теория аргументации, называвшаяся в древности риторикой. Интересно отметить, что примерно в этот же период логическая теория мышления начала складываться в Древней Индии и Древнем Китае. Однако развивалась она там медленно и неуверенно и за многие прошедшие века мало чего добилась. Проблема в своеобразии культуры данных регионов, и, прежде всего, в отсутствии острой необходимости в строго рациональном мышлении. Для развития логики имеется хорошая почва в тех обществах, которые строятся на принципах демократии и в которых процедура убеждения опирается не на традицию, и тем более не на принуждение или прямое насилие, а главным образом на доказательную речь.

Историю логики можно разделить на два основных этапа. Первый продолжался более двух тысяч лет, в течение которых логика раз-

вивалась очень медленно. Это дало повод И. Канту заявить, что логика, подобно геометрии, не имеет собственной истории и со времен Аристотеля не продвинулась ни на один шаг. Второй этап начался в XIX в., когда в логике произошла научная революция, в корне изменившая ее лицо. Это было обусловлено, прежде всего, проникновением в нее математических методов. На смену старой логике, обычно называемой *традиционной*, пришла *современная* логика, именуемая также *математической*, или *символической*. Эта новая логика не является, конечно, логическим исследованием исключительно математических доказательств. Она представляет собой современную теорию всякого правильного рассуждения, независимо от того, о каких объектах мы рассуждаем.

Сфера конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении ее истории, но основная цель всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. Логика занимается также многими иными вопросами: операциями определения и деления (классификации), проблемами значения выражений языка, операциями доказательства и опровержения, правдоподобными рассуждениями, дающими из истинных посылок только вероятное заключение, и др. Но основная задача логики — определить «что из чего следует». При этом предполагается, что логическая правильность рассуждения зависит только от способа связи входящих в него утверждений и их строения, а не от их конкретного содержания. Изучая логическое следование одних утверждений из других, логика выявляет наиболее общие, или, как говорят, формальные, условия правильного мышления.

Вот несколько простых примеров логических, или формальных, требований к мышлению:

- независимо от того, о чем идет речь, нельзя что-либо одновременно и утверждать и отрицать;
- нельзя принимать некоторые утверждения, не принимая вместе с тем все то, что вытекает из них;
- невозможное не является возможным, доказанное — сомнительным, обязательное — запрещенным и т. п.

Эти и подобные им требования не зависят, конечно, от конкретного содержания наших мыслей, от того, что именно утверждается или отрицается, что считается возможным, а что — невозможным. Задача логического исследования — обнаружение и систематизация определенных схем правильного рассуждения. Эти схемы представляют собой логические законы, лежащие в основе логически правильного мышления. Рассуждать логично — значит рассуждать в соответствии с законами логики.

Отсюда понятна важность данных законов. Об их природе, источнике их обязательности высказывались разные точки зрения. Ясно, что логические законы не зависят от воли и сознания человека. Их принудительная сила для человеческого мышления объясняется тем, что они являются, в конечном счете, отображением в голове человека наиболее общих отношений самого реального мира, практики его познания и преобразования человеком. Именно поэтому законы логики кажутся самоочевидными и как бы изначально присущими человеческой способности рассуждать.

Логика отталкивается от реального мышления, но она дает абстрактную его модель. С другой стороны, прибегая к абстракциям высокого уровня, логика не должна вместе с тем отрываться от конкретных, данных в опыте процессов рассуждения. Как и математика, логика не является эмпирической, опытной наукой. Но стимулы к развитию она черпает из практики реального мышления. Изменение последней, так или иначе, ведет к изменению самой логики.

Развитие логики всегда было связано с теоретическим мышлением своего времени, прежде всего, с развитием науки. Конкретные рассуждения дают логике материал, из которого она извлекает то, что именуется логическим законом, формой мысли и т. д. Теории логической правильности оказываются в итоге очищением, систематизацией и обобщением практики мышления.

Современная логика с особой наглядностью подтверждает это. Она активно реагирует на изменения в стиле и способе научного мышления, на осмысление его особенностей в теории науки. Сейчас логическое исследование научного знания активно ведется в ряде как давно освоенных, так и новых областей. Можно выделить четыре основных направления этого исследования:

- 1) анализ логического и математического знания;
- 2) применение логических идей и аппарата к опытному знанию;
- 3) применение логического анализа к оценочно-нормативному знанию;
- 4) применение логического анализа в исследовании приемов и операций, постоянно используемых во всех сферах научной деятельности (доказательство, определение, классификация и т. п.).

Логика не только используется в исследовании научного познания, но и сама получает мощные импульсы для развития в результате воздействия своих научных приложений. Имеет место именно взаимодействие логики и науки, а не простое применение готового аппарата логики к некоторому внешнему для него материалу.

Логических законов бесконечно много и в этом ее отличие от большинства других наук. Однородные законы объединяются в ло-

гические системы, которые тоже обычно именуются логиками. Каждая из них дает описание логической структуры определенного фрагмента, или типа, наших рассуждений.

Без логического закона нельзя понять, что такое логическое следствие, а тем самым — и что такое доказательство. Законы логики составляют тот невидимый железный каркас, на котором держится последовательное рассуждение и без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь. Один из наиболее известных законов логики — *закон противоречия*. Его сформулировал еще Аристотель, назвав «самым достоверным из всех начал, свободным от всякой предположительности».

Закон говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другое, а вместе они составляют логическое противоречие. Например: «Пять — нечетное число» и «Неверно, что пять — нечетное число», «Земля — планета» и «Земля не является планетой».

Идея, выражаемая законом противоречия, проста: высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными. Неверно, например, что Солнце — звезда и Солнце не является звездой, что человек — разумное существо и вместе с тем не является разумным и т. п.

Закон противоречия не раз становился предметом ожесточенных споров. Попытки опровергнуть его чаще всего были связаны с неправильным пониманием логического противоречия. Составляющие его утверждения должны говорить об одном и том же предмете, который рассматривается в одном и том же отношении. Если этого нет, нет и противоречия. Те примеры, которые обычно противопоставляют закону противоречия, не являются подлинными противоречиями и не имеют к нему никакого отношения.

Противоречие недопустимо в строгом, в частности в научном, рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но очевидно, что в обычной речи у противоречия много разных задач. Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и т. д. Реальное мышление — и тем более художественное — не сводится к одной логичности. В нем важно все: и ясность и неясность, и доказательность и зыбкость, и точное определение и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту.

Настаивая на исключении логических противоречий, не следует, однако, всякий раз «поверять алгеброй гармонию» и пытаться втиснуть все многообразие противоречий в прокрустово ложе логики. Логические противоречия недопустимы в науке, но установить, что конкретная теория не содержит их, непросто. То, что в процессе развития и развертывания теории не встречено никаких противоречий, еще не



означает, что их в самом деле нет. Научная теория — очень сложная система утверждений. Не всегда противоречие удастся обнаружить относительно быстро путем последовательного выведения следствий из ее положений. Вопрос о непротиворечивости становится яснее, когда теория допускает аксиоматическую формулировку, подобно геометрии Евклида или механике Ньютона. Для большинства аксиоматизированных теорий непротиворечивость доказывается без особого труда. Есть, однако, теория, по поводу которой десятилетия упорнейших усилий не дали ответа на вопрос, является она непротиворечивой или нет. Это математическая теория множеств, лежащая в основе всей математики.

Современная логика интересуется не столько отдельными законами, сколько их системами. Логический закон вне системы — это что-то вроде единственного кирпича, который мало на что пригоден. В частности, ряд особенностей обычного языка мешает точно передавать логическую форму рассуждений. Он, как заметил Л. Витгенштейн, переодевает наши мысли, пряча в складках одежды их логическую структуру и определяемые ею логические связи. Это не значит, конечно, что обычный язык никуда не годен и его следует заменить какой-то специальной символикой. Но для целей логики, для формулировки ее законов необходим искусственный язык, построенный по строгим правилам. Этот язык служит только одной задаче — выявлению логических связей наших мыслей. Но она должна решаться эффективно.

Язык, специально созданный логикой для своих задач, получил название *формализованного*. Слова обычного языка заменяются в нем отдельными буквами и разными специальными символами. Формализованный язык — это «насквозь символический язык». В нем исчезают неясность и двусмысленность, всегда присутствующие при обращении с такой трудно уловимой вещью, как смысл выражения. Использование формализованного языка для описания способов правильного рассуждения невозможно переоценить. Без него нет, в сущности, современной логики.

**Доказательство.** Невозможно переоценить значение доказательств в науке. И тем не менее доказательства встречаются не так часто, как хотелось бы. Иногда за доказательство выдается то, что им вовсе не является. К доказательствам прибегают часто, но редко кто задумывается над тем, что означает «доказать», почему доказательство «доказывает», всякое ли утверждение можно доказать или опровергнуть, все ли нужно доказывать и т. п.

Наше представление о доказательстве как особой интеллектуальной операции формируется в процессе проведения конкретных доказательств. Изучая разные области знания, мы усваиваем и отно-

сящиеся к ним доказательства. На этой основе мы постепенно составляем — чаще всего незаметно для себя — общее интуитивное представление о доказательстве как таковом, его общей структуре, не зависящей от конкретного материала, о целях и смысле доказательства и т. д. Особую роль при этом играет изучение математики. С незапамятных времен математические рассуждения считаются общепризнанным эталоном доказательности. Желая похвалить чью-либо аргументацию, мы называем ее математически строгой и безупречной.

Изучение доказательства на конкретных его образцах и интересно и полезно. Но также необходимо знакомство с основами логической теории доказательства, которая говорит о доказательствах безотносительно к области их применения. Практические навыки доказательства и интуитивное представление о нем недостаточны для многих целей, но далеко не для всех. Практика и здесь, как обычно, нуждается в теории. Логическая теория доказательства в основе своей проста и доступна, хотя ее детализация требует специального символического языка и другой изощренной техники современной логики.

*Доказательство* — это процедура установления обоснованности некоторого утверждения путем логического выведения его из других обоснованных (принятых) утверждений. В доказательстве различают тезис — утверждение, которое надо доказать, и основание, или аргументы, — те утверждения, с помощью которых обосновывается тезис. Понятие доказательства всегда предполагает указание посылок, на которые опирается тезис, и тех логических правил, по которым осуществляются преобразования утверждений в ходе доказательства. В обычной практике мы редко формулируем все используемые посылки и, в сущности, никогда не обращаем внимания на применяемые нами правила логики.

Одна из основных задач логики состоит в придании точного значения понятию доказательства. Но хотя это понятие является едва ли не главным в логике, оно не имеет точного, строго универсального определения, применимого во всех случаях и в любых научных теориях.

Доказательство — один из многих способов убеждения. В науке это один из основных таких способов, и можно сказать, что научный метод убеждения является, прежде всего, методом строгих и точных доказательств. Требование доказательности научного рассуждения определяет то «общее освещение», которое модифицирует попавшие в сферу его действия цвета. Этим «общим освещением» пронизываются все другие требования к научной аргументации. Без него она неизбежно вырождается в бездоказательный набор общих деклараций и поучений, в апелляцию к вере и эмоциям.

Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить логический характер. По своей форме доказательство — это умозаключение или цепочка умозаключений, ведущих от обоснованных посылок к доказываемому положению.

Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. При этом под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая правдоподобные рассуждения, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и т. д. Расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных науках. Оно встречается и в экспериментальных, опирающихся на наблюдения рассуждениях. Как правило, широко понимается доказательство и в науке. Для подтверждения выдвинутой идеи активно привлекаются факты, типичные в определенном отношении явления и т. п.

Широкое употребление понятия доказательства само по себе не ведет к недоразумениям. Но только при одном условии. Нужно постоянно иметь в виду, что обобщение, переход от частных фактов к общим заключениям, дает не достоверное, а лишь вероятное знание.

**Современная логика.** Революция в логике в конце XIX — начале XX в. привела к возникновению на стыке таких двух разных наук, как философия и математика, современной, или математической, логики. На первых порах новая логика ориентировалась почти всецело на математическое рассуждение. Эта связь с математикой была настолько тесной, что до сих пор в названии «математическая логика» прилагательное «математическая» иногда истолковывается как указывающее не только на своеобразие методов новой логики, но и на сам ее предмет. В сложившихся первых классических разделах математической логики многое было отражением определенного своеобразия математического рассуждения. Кроме того, связь по преимуществу с одной наукой, математикой, поддерживала иллюзию, будто логика движется только в силу внутренних импульсов и ее развитие совершенно не зависит от эволюции теоретического мышления и не является в каком-либо смысле отображением последней.

В 1920-е гг. предмет логических исследований существенно расширился. Начали складываться многозначная логика (предполагающая, что наши утверждения являются не только истинными или ложными, но могут иметь и другие истинностные значения), модальная логика (рассматривающая понятия необходимости, возможности, случайности и т. п.), теория логического следования, логика нормативного рассуждения и др. Все эти новые разделы не были непосредственно связаны с математикой. В сферу логического исследования

вовлекались уже естественные и гуманитарные науки. Постепенно начала формироваться широкая концепция логики научного познания, занимающейся применением идей, методов и аппарата современной логики к анализу как математического, так и всякого иного знания.

И сейчас логика продолжает энергично расти вширь, на старом дереве появляются все новые и новые ветви. Сложились и нашли интересные приложения логика времени, описывающая логические связи утверждений о прошлом и будущем, так называемая паранепротиворечивая логика, не позволяющая выводить из противоречия все, что угодно, логика знания и убеждений, изучающая понятия «доказуемо», «опровержимо», «неразрешимо», «убежден», «сомневается» и т. п., логика добра, имеющая дело с понятиями «хорошо», «плохо» и «безразлично», логика предпочтений, исследующая понятия «лучше», «хуже» и «равноценно», логика изменения, говорящая об изменении и становлении нового, логика причинности, изучающая утверждения о детерминизме и причинности, и др.

Экстенсивный рост логики, судя по всему, завершится не скоро. Современная логика растет не только вширь, но и вглубь. Все прочнее утверждаются ее основы, совершенствуются методы, упрочиваются принципы. Большой резонанс вызвало, в частности, доказательство ряда «ограничительных теорем», устанавливающих пределы эффективного применения разрабатываемых логикой методов. По-новому представляются теперь взаимные отношения математики и логики. Один из авторов сведения первой из этих наук ко второй Б. Рассел писал, что логика стала более математической, математика — более логической; в действительности они составляют одно целое. Однако замысел вывести всю математику из чистой логики без принятия дополнительных основных понятий и дополнительных допущений оказался утопичным. Особенно чувствительный удар нанес по нему К. Гёдель, показавший, что все системы формализованной, логически совершенной арифметики существенно неполны: их средствами нельзя доказать некоторые содержательно истинные арифметические утверждения. Прояснение и углубление оснований логики сопровождалось пересмотром и уточнением центральных ее понятий. По-новому теперь истолковываются закон логики, доказательство, логическое следствие и др.

Законы логики когда-то представлялись абсолютными истинами, никак не связанными с нашим опытом. Уверенность в их непогрешимости подкреплялась длительным и, как казалось, безотказным их использованием. Однако возникновение конкурирующих систем логики, отстаивающих разные множества законов, показало, что логика складывается в практике мышления и что она меняется с изменением

этой практики. Логические законы — такие же продукты человеческого опыта, как и аксиомы евклидовой геометрии.

Эти законы не являются непогрешимыми и зависят от области, к которой они прилагаются. Например, при рассуждении о бесконечных совокупностях объектов не всегда применимы закон исключенного третьего, принципы косвенного доказательства и др.; рассуждение о недостаточно определенных или изменяющихся со временем предметах требует особой логики и т. д. Более того, на разных этапах развития научной теории находят применение разные множества логических законов. Так, в условиях формирующейся теории ограничена применимость законов, позволяющих выводить любые следствия из противоречий и отвергать положения, хотя бы одно следствие которых оказалось ложным. Обнаружилась, таким образом, «двойная гибкость» человеческой логики: она может изменяться не только в зависимости от области обсуждаемых объектов, но и в зависимости от уровня теоретического осмысления этой области.

Доказательство, в особенности математическое, всегда было принято считать императивным и универсальным указанием, обязательным для любого непредубежденного ума. Прогресс логики показал, однако, что доказательства вовсе не обладают абсолютной, не зависящей от времени строгостью и являются только культурно опосредствованными средствами убеждения. Даже способы математической аргументации на деле историчны и социально обусловлены. В разных логических системах доказательствами считаются разные последовательности утверждений, и ни одно доказательство не является окончательным.

Существенно изменились и представления об отношении логики к человеческому мышлению и обычному языку. Согласно господствовавшей одно время точке зрения, правила логики представляют собой продукт произвольной конвенции, выбор их, подобно выбору правил игры, ничем не ограничен. В силу этого все искусственные языки, имеющие ясную логическую структуру, равноправны, и ни один из них не лучше и не хуже другого. Это так называемый принцип терпимости, отрывающий логику от обычного мышления и обычного языка. Разумеется, ни мышление, ни язык не копируют окружающий мир своей внутренней структурой. Но это не означает, что они никак с ним не связаны, и что логика — только своеобразная интеллектуальная игра, правила которой произвольны. Правила игры определяют способы обращения с вещами, правила логики — с символами. Искусственные языки логики имеют предметное, семантическое измерение, которого лишены игры. Нарушающий правила игры вступает в конфликт с соглашениями, нарушающий же правила логики нахо-

дится в конфликте с истиной, стандарты которой не принимаются по соглашению.

Логика как инструмент познания связана в конечном счете с действительностью и своеобразно отражает ее. Это проявляется в обусловленности развития логики развитием человеческого познания, в историческом изменении логических форм, в успешности практики, опирающейся на логическое мышление.

Перемены, происшедшие в логике, низвели ее с заоблачных высот непогрешимой абстракции. Они приблизили логику к реальному мышлению и тем самым к человеческой деятельности, одной из разновидностей которой оно является. Несомненно, это заметно усложнило современную логику, лишило ее прежней твердости и категоричности. Но этот же процесс насыщения реальным содержанием придал ей новый динамизм и открыл перед ней новые перспективы.

**«Логика научного познания».** Так или «логикой науки» принято называть применение идей, методов и аппарата логики в анализе научного познания. Современная логика активно реагирует на изменения в стиле и способе научного мышления, на осмысление его особенностей в методологии науки. Сфера приложений логики в изучении систем научного знания непрерывно расширяется. В конце XIX — начале XX в. логика почти всецело ориентировалась на исследование математического рассуждения, и эта связь с математикой была настолько тесной, что до сих пор в имени «математическая логика» прилагательные «математическая» иногда истолковывается как указывающее не только на своеобразие методов новой логики, но и на сам ее предмет. В 20-е гг. прошлого века предмет логических исследований научного знания существенно расширился. Начали складываться такие разделы логики, как многозначная логика, принимающая, что помимо истины и лжи имеются также промежуточные между ними значения истинности, модальная логика, изучающая такие понятия, как «необходимо», «возможно» и «невозможно», теория логического следования, нормативная, или деонтическая, логика и др. Были предприняты попытки систематического построения индуктивной, или вероятностной логики. Все эти новые разделы не были непосредственно связаны с математикой, в сферу логического исследования вовлеклось уже естественнонаучное, социальное и гуманитарное знание.

В 20—40-е гг. прошлого века логика научного познания интенсивно разрабатывалась в рамках философии неопозитивизма, сделавшей логический анализ языка науки основным средством борьбы с «дурной метафизикой» и порождаемыми ею «псевдопроблемами». Неопозитивизм принял идею о безоговорочной применимости мате-

матической (современной) логики не только к дедуктивным наукам, но и к опытному знанию и резко противопоставил свою «логику науки» традиционному философскому и методологическому анализу познания.

Претенциозная неопозитивистская программа сведения философии науки к логическому анализу ее языка потерпела крах. Причина его не в принципиальной неприменимости современной логики к опытному знанию, а в порочных философско-методологических установках, связанных с фетишизацией формальных аспектов познания, абсолютизацией языка и формальной логики. Особенности неопозитивистской методологии — изоляционизм, отказ от исследования научного знания в динамике, наивный индуктивизм, эмпирический фундаментализм и редукционизм — фатальным образом сказались не только на самой этой методологии, но и на направляемом ею логическом анализе научного знания. Неудачными оказались, в частности, попытки чисто формальными средствами охарактеризовать правдоподобный вывод (индукцию), определить понятие естественнонаучного закона, диспозиционного предиката, говорящего о предрасположенности объектов к определенным реакциям, объяснения, контрфактического (противоречащего фактам) высказывания, осуществить сведение теоретических терминов к эмпирическим и др.

Неопозитивистское расширительное истолкование возможностей логики научного познания было преодолено только в конце 50-х — начале 60-х гг., когда стало очевидно, что задачи, которые выдвигались перед нею неопозитивизмом, плохо поставлены и не имеют решения. Борьба неопозитивизма против «псевдопроблем» традиционной философии и теории познания во многом вылилась в бесплодные дискуссии по поводу псевдопроблем самой неопозитивистской логики науки.

Использование логики в анализе научного познания означает ее рост не только вширь, но и вглубь, хотя последний процесс из-за сопровождающих его споров менее заметен. Прояснение и углубление оснований логики сопровождается пересмотром и уточнением таких центральных ее понятий, как *логическая форма*, *логический закон*, *доказательство*, *логическое следование* и др.

Если не принимать во внимание давно сформировавшуюся методологию дедуктивных наук, существенный вклад в которую внесла логика, можно сказать, что логика научного познания не достигла пока особо впечатляющих успехов. Тем не менее есть определенное продвижение и есть перспектива. Уже сейчас можно сделать вывод о плодотворности крепнущих связей логики с естественными, социальными и гуманитарными науками как для методологии этих наук, так и для самой логики.

**О так называемых диалектике и диалектической логике.** Существуют такие общества (обычно они называются «закрытые», или «коллективистические»), в которых требование логической последовательности не считается обязательным даже для научных рассуждений. Взамен этого требования выдвигается положение о всеобщей противоречивости существующего, которая должна найти свое отражение и в научном исследовании.

Таким являлось, в частности, социалистическое (коммунистическое) общество. Его идеологи объявляли обычную, или формальную, логику приемлемой только для кухонного обихода; в теоретических же областях предлагалось рассуждать в соответствии с принципами диалектики и являющейся ее преломлением в мышлении человека диалектической логики.

*Диалектика* — философская теория, настаивающая на внутренней противоречивости всего существующего и мыслимого и считающая эту противоречивость основным или даже единственным источником всякого движения и развития. Элементы диалектики имеются во всякой философии, отстаивающей идеалы закрытого (коллективистического) общества. Такие элементы были, в частности, еще в философии Гераклита, прозванного за неясность («диалектичность») изложения своих идей Темным. Позднее диалектика как учение о противоречии возродилась в средневековой философии, прежде всего в христианской концепции Бога, человека и человеческой истории. Как связная и универсальная теория диалектика впервые была построена только в XIX в. предшественником марксизма Гегелем. Она была активно подхвачена марксизмом, которому не удалось, однако, ни углубить, ни прояснить основные идеи Гегеля. В XX в. диалектику пытались разработать марксизм-ленинизм и неомарксизм, однако, без особого успеха. В частности, в неомарксизме диалектика свелась к идее универсального развития, радикально отрицающего свои предшествующие ступени («негативная диалектика»).

Коллективистическое общество (средневековое феодальное общество, тоталитарные коммунистическое и национал-социалистическое общества и др.) всегда ставит перед собой глобальную цель — достижение «рая на небесах» или «рая на земле». Переход от несовершенного существующего мира к совершенному будущему миру составляет основную проблему коллективистического мышления, так называемую проблему триединства. Диалектика является необходимой предпосылкой решения данной проблемы. Если такой переход не является предметом чистой, или слепой, веры, он может обосновываться только диалектически.

Уже в умеренном средневековом коллективизме проблема будущего осмысливалась во многом на основе диалектики. Несовершенство



ный «земной мир», являющийся миром Бога-сына, связывался с совершенным «небесным миром» Бога-отца не только с помощью мистического Бога-духа, но и посредством диалектических ходов мысли. В средневековой философии имелись все те ключевые элементы диалектики, включая так называемый закон отрицания отрицания, которые позднее Гегель и коммунистическая философия включили в свою «диалектику природы, общества и мышления».

Цель средневековой диалектики — попытаться схватить мир сразу в обеих его ипостасях, сакральной и мирской, сублимированной и низменной. Средневековая культура сочетает в единство полярные противоположности: небесное и земное, спиритуальное и грубо телесное, жизнь и смерть. Утверждается богоустановленная иерархия людей — для того чтобы тут же обречь на вечную гибель стоящих у ее вершины и возвысить подпирających ее основание. Прославляют ученых и в то же время самым верным путем, ведущим к спасению души, считают неразумие, нищету духа, а то и вовсе безумие. Суду над умершими предстоит состояться «в конце времен», и вместе с тем он вершится над душой каждого в момент его кончины, и т. д.

В средневековой философии достаточно распространенным было убеждение, что познание бога требует соединения вместе несовместимого, т. е. диалектики. «В первопричине бытия, — говорил средневековый философ Псевдо-Дионисий (Ареопагит), — нужно утверждать все, что где-либо утверждается в сущем и ему приписывается как качество; и опять-таки все это надо отрицать в ней, в собственном смысле, потому что она возвышается над всем этим; и не надо думать, что здесь отрицания противоречат утверждениям, ибо первопричина, возвышаясь над всякими ограничениями, превосходит и все утверждения и отрицания»<sup>1</sup>.

Познание небесного мира и его связей с земным миром стоит, таким образом, выше логического требования непротиворечивости. Борьба средневековой философии против формально-логического закона противоречия была не менее ожесточенной, чем борьба с ним гегелевской, а затем и марксистско-ленинской философии, и продолжалась столетия. Инерция диалектического мышления была столь велика, что даже в период раннего Возрождения Николай Кузанский заявлял: «Великое дело — быть в состоянии твердо укрепиться в единении противоположностей».

Глубинной основой гегелевской диалектики является средневековая концепция истории. Последняя представляет собой развитие применительно к человеческому обществу христианской доктрины бога и человека, так что диалектика Гегеля — это распространение не

<sup>1</sup> Антология мировой философии. Ч. 2. М., 1969. Т. 1. С. 609.

только на общество, но и на природу ключевых идей христианского понимания связи бога и человека. Основные идеи гегелевской диалектики сводятся к следующему. Все конечное, вместо того, чтобы быть прочным и окончательным, наоборот, изменчиво и преходяще, поскольку, будучи в себе самом другим, выходит за пределы того, что оно есть непосредственно, и переходит в свою противоположность. Всякий развивающийся объект имеет свою «цель» или «судьбу». Эта линия складывается из качественно отличных друг от друга «отрезков», разделяемых характерными, скачкообразными событиями («узлами»). Они снимают (отрицают) определенное качество, место которого занимает другое качество, так что развитие включает подлинное возникновение и уничтожение. Всё взаимосвязано со всем, линии развития отдельных объектов, сплетаясь, образуют единый поток мирового развития. Он имеет свою объективную «цель», внутреннюю объективную логику, предопределяемую самим потоком и не зависящую от «целей» или «судеб» отдельных объектов.

В систематизации диалектики, являвшейся общепринятой в диалектическом материализме в 60–80 гг. прошлого века, некоторые из ведущих идей Гегеля именовались принципами, другие — законами. Эта систематизация включала следующие положения: принцип всеобщей взаимосвязи, утверждающий, что всё связано со всем и только ограниченность человеческого знания не позволяет видеть все существующие связи; принцип развития, провозглашающий необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов в качестве универсального их свойства; закон единства и борьбы противоположностей, касающийся перехода вещей в процессе своего развития в свою противоположность (определения понятия противоположности, или диалектического противоречия, так и не было дано); закон перехода количества в качество, говорящий о накоплении развивающимися объектами постепенных количественных изменений и последующем переходе последних в скачкообразные качественные изменения; закон отрицания отрицания, говорящий о «судьбах» или «целях», определяющих развитие объектов, например о «целях» пшеничного зерна, которому сначала предстоит стать колосом, а затем опять зерном и тем самым вернуться, но на более высоком уровне, к началу.

Принцип «Всё связано со всем» высказывался еще в античности. В средневековой философии универсальная взаимосвязь выводилась из сотворенности мира богом и носила преимущественно характер связи символа и символизируемой им вещи. Начиная с Нового времени данный принцип утратил сколько-нибудь ясный смысл. Принцип развития также известен с античности, хотя еще во времена И. Канта он казался «рискованным приключением разума». Идея на-

правленного развития, восходящего от низших ступеней к высшим, очевидным образом неприменима к природе, а для тех, кто не разделяет идею неуклонного социального прогресса, и к обществу. Закон борьбы противоположностей, названный «ядром диалектики», явно неприменим к природе. Приводившиеся примеры такой борьбы (борьба плюса с минусом, определяющая развитие математики; борьба северного полюса магнита с его южным полюсом, раскрывающая суть магнетизма, и т. п.) несерьезны. Закон перехода количественных изменений в качественные не является универсальным: в одних случаях развитие носит скачкообразный характер, в других оно протекает без каких-либо ясно выраженных скачков. Закон отрицания отрицания предполагает идею «цели» или «судьбы», заданной извне. Без этой идеи распространение данного закона на природу, не имеющую ни в научном, ни в марксистско-ленинском (но не в гегелевском) понимании «цели» и не подвластную судьбе, кажется грубым насилием над самой диалектикой.

Указанная систематизация диалектики представляет собой, таким образом, причудливое сочетание положений, одни из которых неясны, другие не универсальны, третьи не совместимы с рациональным мышлением. Логически противоречивое мышление иррационально, в конечном счете, оно представляет собой сумбур и хаос. Пытаясь снять это возражение против диалектики, русский философ прошлого века С. Л. Франк вводил, наряду с понятиями «рациональное мышление» и «иррациональное мышление», новое понятие — «трансрациональное мышление». Однако суть проблемы от этого не меняется: философия, опирающаяся на понятия «знающего незнания» (Николай Кузанский), «монодуализма», «ведающего неведения», «двоицы, которая есть вместе с тем одно» (Франк), выходит за границы рациональной философии.

К. Мангейм видит основную функцию диалектики в рациональном объяснении исторически разнородной и неповторимой личности, теряемой при постулировании исторических законов и обобщений. Попытка понять принципиально иррациональный, исторически неповторимый индивидуум в рациональных категориях ведет к парадоксу в рамках диалектики, поскольку способствует созданию такого варианта рационализма, который должен вести к отрицанию самого рационализма. Еще одна функция диалектики — прослеживание «внутренней линии» развития цивилизации. Она снова рационализирует нечто в своей основе иррациональное и чуждое недialeктическому естественнонаучному мышлению. И, наконец, диалектика представляет собой подход, ведущий к открытию смысла в историческом процессе. Следствием этой философской рационализации истории является такая форма рациональности, которую трудно согласо-

вать с рациональностью естественных наук, чуждых всяким этическим оценкам и метафизике вообще<sup>1</sup>.

Неприложимость диалектики к исследованию природы связана в первую очередь с тем, что диалектика плохо согласуется с принципом причинности, утверждающим, что все происходящее в мире имеет причину, и требующим объяснять мир от прошлого к будущему. Диалектика настаивает на целевом (телеологическом) обосновании от будущего к прошлому. Она неразрывно связана с понятием цели, и значит, с понятием ценности. Не случайно, основное понятие диалектики — понятие развития — определяется не просто как движение или изменение, а как направленное восходящее изменение, т. е. изменение, идущее в направлении определенной цели. Направленность всякого развития прямо утверждает диалектический закон отрицания отрицания.

Э. Трёльч говорит о попытках К. Маркса связать диалектику с материализмом и дополнить ее каузальным обоснованием, что диалектика при всем своем реалистическом и позитивистском преобразовании, при всем своем отрешении от божественных мировых целей в действительности самым тесным образом связана с целью и с идеей ценности, с понятием восходящего развития. Динамика не может быть превращена в принципиальное понятие, не приняв вместе с этим в себя определенной направленности. Телеологический характер диалектики не согласуется также с понятием закона природы, играющим центральную роль в методологии естественных наук<sup>2</sup>.

Диалектическая рациональность представляет собой особый тип рациональности, несовместимый, в частности, с рациональностью естественнонаучного мышления и ведущий к неразрешимым парадоксам.

Коммунистическое общество ставило цель радикально преобразовать существующий социальный мир в соответствии с утопическим, не допускающим реализации образом. Диалектика, служившая средством обоснования возможности — и даже необходимости — такого невозможного преобразования, являлась одним из неперменных условий крепости идеологии данного общества. Именно поэтому она настойчиво, а нередко и насильственно, внедрялась в мышление его индивидов и достаточно естественно («наивно», как говорит Ю. Бохенский<sup>3</sup>) принималась ими.

Национал-социалистическая идеология, являющаяся идеологией другой формы коллективистического тоталитарного общества, также

<sup>1</sup> Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 357–359.

<sup>2</sup> Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 258–259.

<sup>3</sup> Bochenski J.M. *Diamat*. Stuttgart, 1968. S. 34.

обнаруживала явственную тенденцию к диалектике. Хотя эта идеология просуществовала недолго и не была столь теоретически развита, как средневековое мировоззрение и марксизм-ленинизм, она тяготела к утверждению всеобщей зависимости вещей и универсального скачкообразного развития на основе борьбы противоположностей, развития, ведущего в конечном счете к нацистской версии «рая на земле» («тысячелетнего рейха»).

«Человек возвысился, — утверждал А. Гитлер, — благодаря борьбе... Чего бы ни достиг человек, он добился этого благодаря оригинальности, усиленной брутальностью... Жизнь можно уложить в три тезиса: борьба — всему голова, добродетель — голос крови, а главное и решающее — это вождь». Идея Гитлера, что вечная борьба является законом жизни, явно перекликается с идеей Ленина, что закон единства и борьбы противоположностей представляет собой «ядро диалектики». Идея, что добродетель есть голос крови, аналогична ленинскому утверждению, что добром является только то, что отвечает интересам пролетариата и цели построения будущего коммунистического общества. И, наконец, положение о решающей роли вождя — аналог ленинской идеи о руководящей роли коммунистической партии в борьбе за построение совершенного общества. Вопрос об элементах диалектики в национал-социалистическом мышлении нуждается, однако, в специальном исследовании.

Диалектическая логика представляет собой реализацию принципов диалектики в человеческом мышлении. В античности и средние века слово «диалектика» употреблялось в другом смысле, чем тот, который придал этому слову Гегель. Оно обозначало особый метод аргументации, суть которого в выдвижении наряду с тезисом также антитезиса и выведении из них следствий до тех пор, пока не станет ясным, какое из данных двух утверждений истинно. Термин «диалектический» впервые был использован Платоном, приписавшим открытие диалектики как метода аргументации Зенону Элейскому. Иногда открытие этого метода считается заслугой Протагора, говорившего, что относительно любого предмета могут быть высказаны два противоположных утверждения. Протагор отрицал, однако, закон противоречия и тем самым делал диалектическую аргументацию бессмысленной. Сократ, вероятно, был первым, кто удачно совмещал два главных положения диалектики как теории аргументации: мысль о ценности мнений, в особенности противоположных мнений, и логический закон противоречия.

Таким образом, в закрытом обществе диалектика сосредоточивает свои усилия на борьбе с формально-логической последовательностью

мышления, и прежде всего мышления о социальных проблемах; в открытом обществе диалектика означает один из возможных способов аргументации.

### § 3. Рациональность

Наука, как принято считать, является образцом рациональности для всех других областей применения человеческого разума. Вместе с тем требование рациональности, предъявляемое к результатам научного исследования, не является самоочевидным и нуждается в комментарии.

*Рациональность*, или разумность, является характеристикой знания с точки зрения его соответствия наиболее общим принципам мышления, разума. Поскольку совокупность таких принципов не является вполне ясной и не имеет отчетливой границы, понятию рациональности свойственны и неясность, и неточность.

Мышление человека является разным не только в разные исторические эпохи, но и в разных областях его приложения. Поэтому существенным является различие между двумя уровнями рациональности: универсальной рациональностью, охватывающей целую эпоху или культуру, и локальной рациональностью, характеризующей особенности мышления в отдельных областях теоретизирования конкретной эпохи или культуры.

Универсальная рациональность, предполагает, в частности, соответствие требованиям логики и требованиям господствующего в конкретную эпоху стиля мышления. Предписания логики составляют ядро рациональности любой эпохи, и вместе с тем они не являются однозначными. Прежде всего, не существует единой логики, законы которой не вызывали бы разногласий и споров. Логика складывается из необозримого множества частных систем. «Логик», претендующих на определение понятия закона логики, а значит и понятия логического следования, в принципе бесконечно много. Известны классическое определение логического закона и логического следования, интуиционистское их определение, определение в паранепротиворечивой, в релевантной логике и т. д. Ни одно из этих определений не свободно от критики и от того, что можно назвать «парадоксами логического следования». «Что имеется в виду, когда требуется соответствие логике? — задается естественным вопросом П. Фейерабенд. — Ведь существует целый спектр формальных, полуформальных и неформальных логических систем: с законом исключенного третьего и без него, с законом недопустимости противоречия и без

него (логика Гегеля); с принципом, что противоречие влечет все, что угодно, и без него»<sup>1</sup>.

Особенно сложно обстоит дело с требованием рассуждать непротиворечиво, фиксируемым законом противоречия. Аристотель называл данный закон наиболее важным принципом не только мышления, но и самого бытия. И вместе с тем в истории логики не было периода, когда этот закон не оспаривался бы и дискуссии вокруг него совершенно затихали.

Относительно мягкая критика требования (логической) непротиворечивости предполагает, что если перед теоретиком встала дилемма: заниматься устранением противоречий из теории или работать над ее дальнейшим развитием, обогащением и проверкой на практике — он может выбрать второе, оставив устранение противоречий на будущее. Жесткая критика требования непротиворечивости отрицает универсальность этого требования, приложимость его в некоторых, а иногда и во всех областях рассуждений. В частности, диалектика в гегелевском смысле настаивает на внутренней противоречивости всего существующего и мыслимого и считает такую противоречивость основным или даже единственным источником всякого движения и развития. Для коллективистических обществ диалектика является необходимой предпосылкой решения ими ключевых социальных проблем; индивидуалистические общества считают диалектику, постоянно тяготеющую к нарушению законов логики, интеллектуальным мошенничеством. Это означает, что рациональность коллективистического мышления, взятого с обязательными для него экскурсами в диалектику, принципиально отличается от рациональности индивидуалистического мышления, и что в рамках каждой эпохи намечаются два типа универсальной рациональности, различающиеся своим отношением к требованиям логики.

Рациональность не оставалась неизменной на протяжении человеческой истории: в античности требования разума представлялись совершенно иначе, чем в средние века; рациональность современного мышления радикально отличается от рациональности мышления Нового времени. Рациональность, подобно искусству, аргументации и т. д., развивается волнами, или стилями: каждой эпохе присущ свой собственный стиль рациональности, и смена эпох является, в частности, сменой характерных для них стилей рациональности<sup>2</sup>.

Сам стиль рациональности эпохи, складывающийся стихийно-исторически, укоренен в целостной ее культуре, а не в каких-то го-

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 487.

<sup>2</sup> См. об этом подробнее: Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. М., 1991. Раздел 3.

сподствующих в конкретный исторический период идеях, философских, религиозных, научных или иных концепциях. Социально историческая обусловленность стилей рациональности опосредствуется стилем мышления эпохи, представляющим собой систему глобальных, по преимуществу имплицитных предпосылок мышления эпохи. В истории рациональности отчетливо выделяются четыре основных периода ее развития, соответствующие главным этапам развития общества: античность, средние века, Новое время и современность. Первобытное мышление не является рациональным и составляет только предысторию перехода в гораздо более позднее время от мифа к логосу.

Глубокие различия между рациональностью разных исторических эпох далее будут проиллюстрированы на примере сопоставления рациональности Нового времени и современной рациональности. Но уже сейчас можно отметить, что мышление Нового времени подчеркнуто антиавторитарно, для него характерны уверенность в том, что всякое («подлинное») знание может и должно найти со временем абсолютно твердые и неизменные основания (фундаментализм), кумлятивизм, аналитичность, бесконечные поиски определений, сведение обоснованности к истинности, редукция всех употреблений языка к описанию, отказ от сравнительной аргументации, стремление ко всеобщей математизации и т. д. Современное мышление не противопоставляет авторитеты («классику») разуму и считает аргумент к авторитету допустимым во всех областях, включая науку, не ищет окончательных, абсолютно надежных оснований знания, не истолковывает новое знание как простую надстройку над всегда остающимся неизменным старым фундаментом, противопоставляет дробности восприятия мира системный подход к нему, не переоценивает роли определений в структуре знания, не редуцирует обоснованность (и в частности обоснованность оценок и норм) к истинности, не считает описание единственной или ведущей функцией языка, использует, наряду с абсолютной, сравнительную аргументацию, не предполагает, что во всяком знании столько научности, сколько в нем математики, и т. д. Многое из того, что представлялось мышлению Нового времени естественными, не вызывающими сомнений предпосылками правильного теоретизирования, современному мышлению кажется уже предассудком.

Универсальная рациональность, остающаяся неизменной во все эпохи, очень бедна по своему содержанию. Требования рациональности, меняющейся от эпохи к эпохе, довольно аморфны, даже когда они относятся к логике. Эти требования историчны; большая их часть носит имплицитный характер: они не формулируются явно, а усваиваются как «дух эпохи», «дух среды» и т. п.



Универсальная рациональность действует только через локальную рациональность, определяющую требования к мышлению в некоторой частной области. Характерным приемом локальной рациональности является научная рациональность, активно обсуждаемая в последние десятилетия и представляющая собой совокупность ценностей, норм и методов, используемых в научном исследовании.

От стихийно складывающейся научной рациональности необходимо отличать разнообразные ее экспликации, дающие более или менее полное описание эксплицитной части требований к разумному и эффективному научному исследованию. В числе таких экспликаций, или моделей, научной рациональности можно отметить индуктивистскую (Р. Карнап, М. Хессе), дедуктивистскую (К. Поппер), эволюционистскую (С. Тулмин), реконструктивистскую (И. Лакатос), анархистскую (П. Фейерабенд) и др.

Локальная рациональность предполагает:

- определенную систему ценностей, которой руководствуются в конкретной области мышления (науке, философии, политике, религии, идеологии и т. д.);
- специфический набор методов обоснования, применяемых в этой области и образующих некоторую иерархию;
- систему категорий, служащих координатами мышления в конкретной области;
- специфические правила адекватности, касающиеся общей природы рассматриваемых объектов, той ясности и точности, с которой они должны описываться, строгости рассуждений, широты данных и т. п.;
- определенные образцы успешной деятельности в данной области.

Универсальная рациональность вырастает из глубин культуры своей исторической эпохи и меняется вместе с изменением культуры. Два трудных вопроса, связанных с такой рациональностью, пока остаются открытыми. Если теоретический горизонт каждой эпохи ограничен свойственным ей стилем рациональности, то может ли одна культура осмыслить и понять другую культуру? Существует ли прогресс в сфере рациональности и может ли рациональность одной эпохи быть лучше, чем рациональность другой эпохи?

О. Шпенглер, М. Хайдеггер и другие философы полагали, что предшествующий культуры непроницаемы и принципиально необъяснимы для всех последующих. Сложная проблема соизмеримости стилей рациональности разных эпох, относительной «прозрачности» предшествующих стилей для последующих близка проблеме соизмеримости научных теорий.

Можно предположить, что историческая объективность в рассмотрении рациональности мышления возможна лишь при условии признания преемственности в развитии мышления. Отошедший в прошлое способ теоретизирования и стиль рациональности может быть понят, только если он рассматривается с позиции более позднего и более высокого стиля рациональности. Последний должен содержать, выражаясь гегелевским языком, «в свернутом виде» рациональность предшествующих эпох, представлять, так сказать, аккумулированную историю человеческого мышления. Прогресс в сфере рациональности не может означать, что, например, в Средние века более эффективной была бы не средневековая рациональность, а допустим, рациональность Нового времени и тем более современная рациональность.

Если рациональность является порождением культуры своей эпохи, каждая историческая эпоха имеет единственно возможную рациональность, которой не может быть альтернативы. Ситуация здесь аналогична истории искусства: современное искусство не лучше древнегреческого искусства или искусства Нового времени. Вместе с тем прогрессу рациональности можно придать другой смысл: рациональность последующих эпох выше рациональности предшествующих эпох, поскольку первая содержит в себе все то позитивное, что имелось в рациональности вторых. Прогресс рациональности, если он и существует, не является законом истории, точно так же, как и неуклонный прогресс в развитии науки.

**Рациональность как традиция.** Разум не представляет собой некоего изначального фактора, призванного играть роль беспристрастного и безошибочного судьи. Он складывается исторически и рациональность может рассматриваться как одна из традиций.

«Рациональные стандарты и обосновывающие их аргументы, — пишет П. Фейерабенд, — представляют собой видимые элементы конкретных традиций, которые включают в себя четкие и явно выраженные принципы и незаметную и в значительной части неизвестную, но абсолютно необходимую основу предрасположений к действиям и оценкам. Когда эти стандарты приняты участниками такой традиции, они становятся «объективной» мерой превосходства. В этом случае мы получаем «объективные» рациональные стандарты и аргументы, обосновывающие их значимость»<sup>1</sup>. Вместе с тем разум — особая традиция, отличная от всех иных. Он старше других традиций и пропускает через себя любую из них; он универсален и охватывает всех людей; он гибок и критичен, поскольку имеет дело, в конечном счете, с истиной.

---

<sup>1</sup> Цит по: Гайденок П. П., Давыдов Ю. Н. Указ. соч. С. 490—491.

Из того, что разум — одна из традиций, Фейерабенд делает два необоснованных вывода: во-первых, рациональность как традиция ни хороша, ни плоха — она просто есть; во-вторых, рациональность кажется объективной лишь до тех пор, пока она не сопоставляется с другими традициями. Позиция Фейерабенда — это в сущности воспроизведение старой, отстаивавшейся романтизмом трактовки традиции как исторической данности, не подлежащей критике и совершенствованию. Традиции проходят, однако, через разум и могут оцениваться им. Эта оценка является исторически ограниченной, поскольку разум принадлежит определенной эпохе и разделяет все ее «предрассудки». Тем не менее оценка с точки зрения рациональности может быть более широкой и глубокой, чем оценка одной традиции с точки зрения какой-то иной традиции, не универсальной и некритической. Разные традиции не просто существуют наряду друг с другом. Они образуют определенную иерархию, в которой разум занимает особое, привилегированное место.

Слово «рациональность» многозначно. Помимо рациональности как соответствия правилам и стандартам разума, рациональность может означать соответствие средств избранной цели (целесообразность, или целерациональность, по М. Веберу), способность всегда выбирать лучшую из имеющихся альтернатив (по Р. Карнапу, действие рационально, если оно имеет максимально ожидаемую полезность), сравнительную оценку знания, противопоставляемую его абсолютной оценке, и т. д.

**Научная рациональность.** В каждой области теоретической деятельности складывается свое специфическое понимание рациональности. Можно говорить, например, о локальных научной, политической, теологической, медицинской рациональности и т. д. В современных постиндустриальных обществах понятие научной рациональности продолжает оставаться образцом для других разновидностей локальной рациональности. В античности таким образом служила специфическая философская рациональность, в Средние века — теологическая рациональность. В Новое время значение научной рациональности как эталона, которому нужно следовать в других областях теоретической деятельности, заметно переоценивалось. В новейшее время заметно возрос скептицизм в отношении возможностей научного мышления решать острые проблемы социального развития, не нанося вреда природе и культуре. Однако скептицизм не достиг пока отметки, после которой могло бы наступить полное разочарование в способностях разума, действующего по аналогии с научным разумом.

Особенностью всех представлений о локальной рациональности, к какой бы области теоретизирования эти представления ни от-

носились, является их нечеткость и неясность. Это касается и научной рациональности, хотя в случае науки, в отличие от, скажем, медицины, существует особый раздел знания — философия науки, призванный выявлять идеалы и нормы мышления ученого. Трудно определить, какими специфическими признаками должно обладать мышление, чтобы его можно было считать строго научным. Нет четкой границы между научными теориями и теми концепциями, которые только внешне напоминают науку, но, по сути, не относятся к ней.

Далее рассматривается один из существенных моментов научной рациональности — постоянное использование в науке *принципа упорядочения*. Поскольку научное упорядочение всегда или почти всегда имеет свои «верх» и «низ», относительно которых предполагается, что «верх» *лучше* «низа» и должен предпочитаться ему, это упорядочение представляет собой *иерархизацию*.

Иерархизм представлял собой один из основных принципов устройства сословного средневекового общества. Он являлся также одним из ведущих принципов средневекового мышления. Наука, насквозь пронизанная иерархиями, во многом напоминает средневековое общество, а в одном из своих крайних вариантов — в случае «нормальной» науки — и характерное для этого общества мышление.

Из многообразных типов научного упорядочения можно выделить следующие основные, как кажется, его типы:

- упорядочение истолкований истины, в соответствии с которым универсальным идеалом науки является соответствие научных положений описываемой ими реальности (истина как корреспонденция), а внутренняя согласованность утверждений (истина как когеренция), их практическая полезность и другие истолкования истины имеют лишь частное, вспомогательное значение;
- упорядоченность применяемых в науке способов обоснования знания, согласно которой эмпирическое обоснование предпочтительнее теоретического, а теоретическое обоснование лучше (или «надежнее») контекстуальных, эффективных лишь в некоторых аудиториях способов обоснования;
- упорядоченность типов научных теорий, ставящая *объяснительные теории* выше *описательных теорий* и, соответственно, предполагающая, что теория, не только описывающая, но и объясняющая изучаемые явления, предпочтительнее теории, дающей лишь систематическое описание и классификацию исследуемых объектов;
- упорядоченность типов научного объяснения, предполагающая, что объяснение на основе научного закона предпочти-

тельное каузального объяснения, опирающегося на выявленные причинные связи;

- упорядоченность при построении и организации знания, выделение среди научных положений, относимых к истинным, тех, которые являются просто истинными, далее, тех, которые, по выражению Л. Витгенштейна, «крепко удерживаются нами», и, наконец, тех, которые особенно «крепко удерживаются нами» и отбрасывание которых грозит разрушением определенной области научной «практики» (например, теории визуального восприятия, в случае признания ложным высказывания «Небо голубое»; физиологии, когда отбрасывается высказывание «Отрезанная голова обратно не прирастет»);
- упорядоченность видов научных споров, в соответствии с которой такие споры должны иметь форму дискуссии (спора об истине, использующего только корректные приемы) или в крайнем случае форму полемики (корректный спор о ценностях), но не форму эклектики (спор об истине с использованием некорректных приемов) и тем более не форму софистики (спор, целью которого является победа, т. е. утверждение собственной системы ценностей любой ценой).

Упорядочение истолкований истины уже рассматривалось. Иерархизация способов обоснования упоминалась, она подробно обсуждается при анализе научного обоснования. Здесь целесообразно остановиться на требовании упорядоченности при построении и организации знания, на присущем науке стремлении выстраивать свои утверждения в цепочки, в которых всегда имеются «верх» и «низ», есть положения, которые должны быть приняты, которые могут быть приняты и, наконец, которые ни при каких условиях не должны приниматься.

В общем случае иерархия — это расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему, с возрастающим значением и уменьшающимся числом членов. Примерами иерархий могут служить существующая в каждом обществе иерархия ценностей, принявшаяся в Новое время иерархия наук и т. д.

Развитие научных теорий протекает между двумя крайними полюсами, одним из которых является «нормальная» наука — научная дисциплина, имеющая парадигму и занимающаяся устранением расхождений между нею и реальностью, а другим — «анархическая» наука, не опирающаяся ни на какую «образцовую» теорию и представляющая собой множество конкурирующих между собою концепций. Наиболее отчетливые иерархии существуют в «нормальной» науке. В «анархической» науке иерархии, как правило, неустойчивы и яв-

ляются разными в разных версиях одной и той же научной дисциплины.

Поскольку «нормальная» наука представляет собой коллективистическое сообщество, полезно предварительно пояснить понятие иерархии на примере средневекового коллективистического общества, в котором принцип иерархизации проводился особенно наглядно и последовательно.

«Символизм и иерархизм — такова формула средневекового мировоззрения и такова формула всей средневековой культуры... Средневековье создало... иерархическое общество, иерархию чинов духовных и светских, иерархию общественных союзов, корпораций, “университетов”, образующих вместе общую *universitas*, христианско-феодалный мир. Иерархизмом проникнут весь социальный уклад Средневековья»<sup>1</sup>. Поскольку вершиной всех средневековых иерархий являлся бог и он мыслился как высшее благо и совершенство, то мир и все ступени иерархии, его составляющей, получали нравственную оценку. «В средневековой “модели” мира нет этически нейтральных сил и вещей; все они соотнесены с космическим конфликтом добра и зла и вовлечены во всемирную историю спасения»<sup>2</sup>.

Противоположностью иерархии является *равенство*. Средневековые мыслители весьма своеобразно, можно сказать, мистически соединяли «ранжирование душ и движений» с идеей совершенного равенства. Например, Фома Аквинский изображал небеса как иерархическую структуру со многими уровнями святости и в то же время как светлое единство, в котором даже самый большой святой не испытывает ни малейшей гордости за свое положение.

«Нормальная» наука также тяготеет к иерархиям, выстраивая в иерархические цепочки как теоретические положения, так и изучаемые факты. Высшей целью науки является, как принято считать, истина, в силу чего в науке нет этически безразличных действий. Ученый вовлечен в увлекательную историю поиска истины, всякое отступление от этой максимы предосудительно.

Истина означает равенство принимаемых утверждений. Каждое утверждение или соответствует реальности, или не соответствует ей, и никаких промежуточных граней здесь нет. И вместе с тем в науке выделяются более фундаментальные и менее фундаментальные принципы и факты. В иерархизации положений, являющихся истинными, нет, однако, никакой мистики. Эта иерархия является одним из следствий того, что наука есть человеческая деятельность, разворачиваю-

<sup>1</sup> Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1990. С. 17.

<sup>2</sup> Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1995. С. 188.

щаяся, как и всякая деятельность, во времени и требующая отделения главного от второстепенного.

В середине прошлого века в науке сложилась так называемая иерархическая модель обоснования научных теорий. Ее основным назначением было объяснение процесса выработки *согласия* научного сообщества по важным вопросам и снятия периодически возникающих в сообществе *разногласий*.

Иерархическая модель, сторонниками которой, например, были К. Поппер, К. Гемпель, Г. Рейхенбах, исходила из того, что в развитых науках имеется высокая степень консенсуса относительно базисных теоретических принципов и методов. Выделялись три уровня научного знания: *фактуальный* (нижний), *теоретический* (средний) и *методологический* (высший). В последний включались правила и принципы, регулирующие отношение теории и фактов. Предполагалось, что диссенсус научного сообщества относительно фактов устраняется, благодаря консенсусу в теории, а диссенсус в теории снимается консенсусом в методологии.

Иерархическая модель хорошо соответствует интуитивным представлениям ученых о развитии науки. Обычно ученому кажется, что если в научном сообществе возникли разногласия по поводу фактов, нужно обратиться к теоретическим представлениям об исследуемой области явлений, что и позволит в процессе дискуссии прийти к согласию относительно истолкования фактов. Если не удастся достигнуть консенсуса относительно теоретических положений, остается обратиться к правилам и принципам методологии и таким способом устранить диссенсус.

Несмотря на всю привлекательность иерархической модели, в последние десятилетия она стала подвергаться все более настойчивой критике. Прежде всего, обнаружилось, что между фактическим и теоретическим знанием нет ясной границы. Факты теоретически нагружены, каждая теория является одновременно и объяснением фактов, и их истолкованием, т. е. приданием им определенного смысла. Постепенно было выявлено, что методологические нормы и правила не являются чем-то константным — они исторически изменчивы. Эти два обстоятельства заставили отказаться от иерархической модели. Снова оказался открытым вопрос о том, благодаря чему во многих научных дисциплинах длительные периоды царит консенсус, а если диссенсус все же возникает, он довольно быстро устраняется.

Были предложены новые, более тонкие истолкования иерархизации положений научных теорий. В частности, Л. Лаудан модифицировал иерархическую модель, объединив в один уровень эмпирическое и теоретическое знание. В фактуальное входят «не только

утверждения о непосредственно наблюдаемых событиях, но и утверждения о том, что происходит в мире, в том числе и утверждения о теоретических и ненаблюдаемых сущностях»<sup>1</sup>. Консенсус научного сообщества реализуется на трех уровнях: фактуальном, методологическом и аксиологическом. Дискуссии относительно эмпирических данных и фактов, а также теорий, принимаемых научным сообществом, являются, таким образом, «фактуальными разногласиями» и «фактуальным консенсусом». К методологическому уровню относятся регулятивные правила и предписания, определяющие стратегию и тактику принятия научным сообществом фактов и теорий. Эти правила и предписания исторически изменчивы, в силу чего возможны споры об их эффективности. Аксиологический уровень определяет фундаментальные цели и ценности научного познания. Предполагается, что фактуальные разногласия устраняются на методологическом уровне, а методологические разногласия — на аксиологическом.

Однако эта модификация иерархической модели не принимает во внимание того, что споры возможны не только относительно фактов и теорий, но и по поводу понимания целей и ценностей науки. Кроме того, предполагается, что нельзя решить разногласия на более низком уровне, не имея консенсуса на более высоком уровне. Учитывая это, Лаудан отверг и модифицированную иерархическую модель, а вместо нее предложил «сетчатую модель» научной рациональности. «Сетчатая модель» очень отличается от иерархической модели, так как показывает, что сложный процесс обоснования пронизывает все три уровня научных состояний. Обоснование течет как вверх, так и вниз по иерархии, связывая цели, методы и фактуальные утверждения. Не имеет смысла далее трактовать какой-либо из этих уровней как более привилегированный или более фундаментальный, чем другие. Аксиология, методология и фактуальные утверждения неизбежно переплетаются в отношениях взаимной зависимости»<sup>2</sup>.

Имеются и другие концепции упорядочения утверждений научных теорий. Эти концепции конкурируют друг с другом, и ни о каком более или менее единодушном принятии какой-то из них, напоминающем признание иерархической модели, не может быть и речи. Таким образом, проблема иерархизации научных утверждений и связанный с ней вопрос о путях достижения консенсуса в науке остаются открытыми.

---

<sup>1</sup> Лаудан Л. Наука и ценности (главы из книги: *Laudan L. Science and Values*. Berkeley; Los-Angeles; London, 1984) // Современная философия науки: хрестоматия. М., 1994. С. 207.

<sup>2</sup> Там же. С. 226.



## § 4. Практическая значимость

Наука существует не ради самой себя, а, в конечном счете, ради той пользы, которую она способна принести обществу. Не все научные дисциплины одинаково полезны, многие результаты науки причиняют прямой вред обществу. Однако идеал практической полезности стоит перед каждой наукой, даже если она занимается разработкой новейших средств истребления людей.

Привязывать науку к практике и требовать от научного исследования немедленной практической пользы опасно. И тем не менее не столько чистый теоретический, познавательный интерес, сколько нужды общества стимулируют постоянное развитие науки. Как говорил Маркс, одна ясно осознанная социальная потребность окажется более энергичным стимулом для научного поиска, чем десяток чисто научных институтов.

Развитие науки заключается в том, что одна научная теория заменяется другой. Можно без колебаний сказать, что наука является прекрасным примером филиации, преемственности идей. Однако за движением от одних идей к другим почти всегда проглядывает не только теоретический, но и практический интерес. Наука существует, в конечном счете, для того, чтобы обеспечивать эффективность человеческой практики.

«Великие открытия, даже сделанные исследователями, которые не имели в виду никакого практического применения и занимались исключительно теоретическим решением проблем, быстро находили затем себе применение в технической области. Конечно, Планк, когда он впервые написал формулу, носящую теперь его имя, совсем не думал об осветительной технике. Но он не сомневался, что затраченные им огромные усилия мысли позволят нам понять и предвидеть большое количество явлений, которые быстро и во все возрастающем количестве будут использованы осветительной техникой. Нечто аналогичное произошло и со мной. Я был крайне удивлен, когда увидел, что разработанные мною представления очень быстро находят конкретные приложения в технике дифракции электронов и электронной микроскопии»<sup>1</sup>.

Оригинальные научные открытия всегда потенциально содержат в себе будущие новые технологии и неожиданные практические приложения. К. А. Тимирязев писал: «Несмотря на отсутствие в современной науке узкоутилитарного направления, именно в своем, независимом от указки житейских мудрецов и моралистов, свободном развитии она являлась, более чем когда, источником практических,

<sup>1</sup> Бройль Л. де. По тропам науки. М., 1962. С. 223.

житейских применений. То поразительное развитие техники, которым ослеплены поверхностные наблюдатели, готовые признать его за самую выдающуюся черту XIX века, является результатом не для всех видимого небывалого в истории развития именно науки, свободной от утилитарного гнета. Разительным доказательством тому служит развитие химии: была она и алхимией и ятрохимией, на послугах и у горного дела, и у аптеки, и только в XIX веке, “веке науки”, став просто химией, т. е. чистой наукой, явилась она источником неисчислимых приложений и в медицине, и в технике, и в горном деле, пролила свет и на стоящие в научной иерархии выше ее физику и даже астрономию, и на более молодые отрасли знания, как, например, физиологию, можно сказать, сложившуюся только в течение этого века»<sup>1</sup>.

Отношения между наукой и ее практическими приложениями очень сложны. С одной стороны, наука призвана способствовать решению тех проблем, которые порождаются социальной жизнью людей. Но, с другой стороны, сама практика способна оказывать существенное воздействие не только на постановку научных проблем, но и на сам способ научного теоретизирования. На этой сложной и спорной проблеме нужно остановиться специально.

Практика представляет собой материальную, чувственно-предметную деятельность людей. Она включает целесообразную деятельность, предмет, на который направлена последняя, средства, с помощью которых достигается цель, и результат деятельности. Практика обычно понимается как систематическая, многократно повторяющаяся деятельность, как объединение такого рода деятельности многих индивидов. Частным случаем практики является приложение разрабатываемой теории к тому фрагменту реальности, который описывается ею. Практика в этом смысле иногда противопоставляется теории.

Философское понятие практики сформировалось относительно поздно. Ему предшествовало понятие разума, взятого со стороны своих практических функций, или практического разума. Согласно Канту, такой разум дает человеку «законы свободы», т. е. моральные принципы, возвышающие его над миром природы. Теоретический разум занят вопросом: «Что я могу знать?», практический разум ставит перед собой вопрос: «Что я должен делать?». В философии Гегеля практический разум («практический дух») является формой предметно-практического отношения человека к миру. Само понятие практики Гегель истолковывал как «волевою деятельность идеи».

В «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса, написанных в 1845 г., но опубликованных только в 1888 г., практика предстала как конечный кри-

<sup>1</sup> Тимирязев К. А. Сочинения. М., 1939. Т. VIII. С. 17.

терий истины. Маркс говорит, что вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Марксизм-ленинизм утверждал, что успешность человеческой практики доказывает согласие наших представлений с объективной природой вещей, но что вместе с тем критерий практики никогда не может, по самой сути дела, подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления.

Идея, что процесс познания не способен сам по себе обеспечить удовлетворительное обоснование открываемых истин и что для этого требуется выход за пределы теории в сферу практической, предметной деятельности, отстаивалась также прагматизмом. Задача мышления не познание как отражение независимой от мышления реальности, а преодоление сомнения, являющегося помехой для действия (Ч. Пирс), выбор средств, необходимых для достижения цели (У. Джемс) или для решения «проблематической ситуации» (Д. Дьюи).

Согласно так называемому принципу Пирса, идеи, понятия и теории являются лишь инструментами или планами действия, значение которых полностью сводится к возможным практическим последствиям. «...Истина определяется как полезность» (Дьюи), или практическая успешность идеи. Понятие практики своеобразным образом преломляется в теории «языковых игр», или «практик», позднего Л. Витгенштейна.

Эмпирические предложения могут быть, по Витгенштейну, в некоторых случаях проверены и подтверждены в опыте. Но есть ситуации, когда они, будучи включенными в систему утверждений, используемую в конкретной области деятельности, не проверяются, но сами используются как основание для проверки других утверждений. Сомнение имеет смысл только в рамках некоторой языковой игры, или сложившейся практической деятельности, при условии принятия ее правил. Поэтому бессмысленно мне сомневаться, что у меня две руки или что Земля существовала за сто пятьдесят лет до моего рождения, ибо нет такой практики, внутри которой, при принятии ее предпосылок, можно было бы сомневаться в этих вещах.

В контексте своей системы («языковой игры») утверждение может приниматься в качестве несомненного, не подлежащего критике и не требующего обоснования по меньшей мере в двух случаях. Во-первых, если отбрасывание этого утверждения означает отказ от определенной практики, от той целостной системы утверждений, неотъемлемым составным элементом которой оно является. Например, утверждение «Небо голубое» не требует проверки и не допускает со-

мнения, иначе будет разрушена вся практика визуального восприятия и различения цветов; отбрасывая утверждение «Солнце завтра взойдет», мы подвергаем сомнению всю естественную науку.

Во-вторых, утверждение должно приниматься в качестве несомненного, если оно стало в рамках соответствующей системы утверждений стандартом оценки иных ее утверждений и в силу этого утратило свою эмпирическую проверяемость. Среди таких утверждений-стандартов выделяются те, которые не проверяются в рамках определенной, достаточно узкой практики, и утверждения, не проверяемые в рамках любой, сколь угодно широкой практики. Примерами последних утверждений, называемых Витгенштейном методологическими, могут служить: «Существуют физические объекты», «Объекты продолжают существовать, даже когда они никому не даны в восприятии» и т. п.

## Глава VI

# НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

### § 1. Классификация способов обоснования

Не существует каких-либо способов обоснования, которые применялись бы только в науке и не находили применения ни в каких иных областях. Нет, в частности, доступной лишь науке особой «научной индукции», способной вести от истинных посылок к истинному, а не к проблематичному заключению; нет таинственной «научной интуиции», которая позволяет ученому усматривать научные законы и теории, недоступные интуиции иного человека. Наука не отличается от других сфер теоретического мышления наличием каких-то специфических, не используемых в других сферах мышления приемов обоснования своих положений. В научном обосновании используются те же способы убеждения, которые находят применение во всяком теоретизировании.

Своеобразие науки — в особой иерархизации обычных приемов обоснования, в расположении этих приемов в своего рода пирамиду. Основанием этой пирамиды служат способы обоснования, непосредственно связанные с опытом, ее вершиной являются те научные и регулятивные принципы, которые представляются настолько обоснованными и убедительными, что могут использоваться в качестве критериев приемлемости новых научных утверждений.

Проблема систематизации разнообразных, а во многом и разнородных способов обоснования остается пока мало исследованной. Излагаемая далее их классификация является только первым подходом к этой сложной теме<sup>1</sup>. В качестве основания классификации далее используется характер аудитории, на которую распространяется воздействие аргументации. Все способы аргументации по этому основанию можно разделить на *универсальные* и *неуниверсальные* (контекстуальные).

Универсальная аргументация в принципе применима и эффективна в любой аудитории. К универсальным способам аргументации относятся прямое (эмпирическое) подтверждение, косвенное эмпи-

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Теория аргументации. М., 2000; *Он же.* Риторика. М., 2002.

рическое подтверждение (в частности, подтверждение следствий), многообразные способы теоретической аргументации: логическое обоснование, системная аргументация, методологическая аргументация и др. Контекстуальная (неуниверсальная) аргументация эффективна лишь в определенных аудиториях. Контекстуальные способы обоснования охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.

Граница между универсальной и контекстуальной аргументацией относительна. Способы аргументации, представляющиеся на первый взгляд универсально применимыми, могут оказаться неэффективными в конкретной аудитории. И наоборот, некоторые контекстуальные аргументы, подобные аргументам к традиции или интуиции, могут оказаться убедительными едва ли не в любой аудитории.

Универсальные способы обоснования иногда характеризуются как «рациональные», а контекстуальные — как «нерациональные» или даже как «иррациональные». Такое различие не является, как будет ясно из дальнейшего, оправданным. Оно резко сужает сферу «рационального», исключая из нее большую часть гуманитарных и практических рассуждений, немыслимых без использования «классики» (авторитетов), продолжения традиции, апелляции к здравому смыслу, вкусу и т. п.

Контекстуальное обоснование должно быть принято как необходимый составной элемент рациональной аргументации. Этого требует правильное понимание той конечности, которая господствует над человеческим бытием и историческим сознанием: человек погружен в историю, особенности его мышления и сам горизонт его мышления определяются эпохой.

Все многообразные способы универсального обоснования можно разделить на *эмпирические* и *теоретические*. Эмпирическое обоснование — аргументация, неотъемлемым элементом которой является ссылка на опыт, на эмпирические данные. Теоретическое обоснование — аргументация, опирающаяся на рассуждение и не пользующаяся непосредственно ссылками на опыт. Различие между эмпирическим и теоретическим обоснованием относительно, как относительна сама граница между эмпирическим и теоретическим знанием. Нередки случаи, когда в одном и том же процессе аргументации соединяются и ссылки на опыт, и теоретические рассуждения.

Способы эмпирического обоснования знания называются также *эмпирическим подтверждением*, или *верификацией*. Подтверждение может быть *прямым*, или непосредственным, и *косвенным*. Эмпирическое обоснование применимо, строго говоря, только для поддержки описательных утверждений. Оценки, нормы, декларации, клятвы, предостережения, решения, идеалы и иные выражения, тяготеющие к оценкам, не допускают эмпирического подтверждения и обосновываются

иначе, чем ссылками на опыт. В случае таких выражений вообще неуместна эмпирическая аргументация. Ее использование с намерением убедить кого-то в приемлемости определенных решений, норм, идеалов следует отнести к некорректным приемам аргументации.

Эмпирические данные могут использоваться не только для подтверждения утверждений и теорий, но и для их *эмпирического опровержения*, или *фальсификации*. Неудавшаяся фальсификация представляет собой ослабленную форму эмпирического подтверждения. Слабыми формами эмпирического подтверждения являются также *примеры* и *иллюстрации*.

Из разных способов теоретического обоснования особо важное значение имеют:

- *логическая аргументация* (выведение обосновываемого утверждения из других, ранее принятых утверждений),
- *системная аргументация* (обоснование утверждения путем включения его в хорошо проверенную систему утверждений, или теорию),
- *принципиальная проверяемость* и *принципиальная опровержимость* (демонстрация принципиальной возможности эмпирического подтверждения и эмпирического опровержения обосновываемого утверждения),
- *условие совместимости* (показ того, что обосновываемое положение находится в хорошем согласии с законами, принципами и теориями, относящимися к исследуемой области явлений),
- *методологическая аргументация* (обоснование утверждения путем ссылки на тот надежный метод, с помощью которого оно получено).

Таким образом, способы обоснования можно систематизировать следующим образом:

#### **Универсальная аргументация**

##### *Эмпирическая аргументация*

Эмпирическое подтверждение:

прямое эмпирическое подтверждение

косвенное эмпирическое подтверждение

Другие способы индуктивного обоснования

Примеры

Иллюстрации

Образцы

##### *Теоретическая аргументация*

Логическая аргументация

Системная аргументация

Принципиальная проверяемость

Принципиальная опровержимость

Условие совместимости

Соответствие общим принципам

Методологическая аргументация

#### **Контекстуальная аргументация**

Аргумент к традиции,

Аргумент к авторитету,

Аргумент к интуиции,

Аргумент к вере,

Аргумент к здравому смыслу,

Аргумент к вкусу.

Все упомянутые способы универсальной (эмпирической и теоретической) и контекстуальной аргументации рассматриваются далее. Они составляют основу всех способов аргументации, но, конечно, ими не исчерпывается множество возможных приемов убеждения. В частности, среди перечисленных способов аргументации отсутствуют два из тех способов, которыми особенно активно занималась старая риторика: убеждение с помощью красиво построенной речи и убеждение путем использования определенных психологических особенностей аудитории.

## § 2. Эмпирическое обоснование: прямое подтверждение

Пять органов чувств человека — зрение, слух, осязание, обоняние и вкус — являются теми «окнами», через которые человек воспринимает окружающий его мир. Данные этого восприятия составляют конечную основу и фундамент человеческого знания. Никаких других — «шестых», «седьмых» — чувств, способных служить источниками знания о мере, не существует.

Всякая наука претендует на эмпирическое или подобное ему подтверждение, на соответствие своих теорий реальному положению вещей и реальной человеческой деятельности. Исключением из этого общего требования к научному знанию не являются ни социальные и гуманитарные науки, ни математика и логика, ни даже нормативные науки. Характер соответствия утверждений изучаемой реальности меняется вместе с изменением этой реальности и изменением тех требований, которые предъявляются к результатам ее исследования, но само *требование соответствия* научной теории эмпирическим данным всегда остается в силе.

*Прямое подтверждение* — это непосредственное наблюдение тех явлений, о которых говорится в обосновываемом утверждении. Хорошим примером прямого подтверждения служит доказательство гипотезы о существовании планеты Нептун. Французский астроном Ж. Леверье, изучая возмущения в орбите Урана, теоретически предсказал существование Нептуна и указал, куда надо направить телескопы, чтобы увидеть новую планету. Когда самому Леверье предложили посмотреть в телескоп, чтобы убедиться что найденная на «кончике пера» планета существует, он отказался: «Это меня не интересует, я и так точно знаю, что Нептун находится именно там, где и должен находиться, судя по вычислениям».

Это была, конечно, неоправданная самоуверенность. Как бы ни были точны вычисления Леверье, до момента непосредственного наблюдения утверждение о существовании Нептуна оставалось пусть



высоко вероятным, но только предположением, а не достоверным фактом. Могло оказаться, что возмущения в орбите Урана вызываются не неизвестной пока планетой, а какими-то иными факторами. Именно так и оказалось при исследовании возмущении в орбите другой планеты — Меркурия.

При *косвенном подтверждении* речь идет о подтверждении логических следствий обосновываемого утверждения, а не о прямом подтверждении самого утверждения.

**Теоретическая нагруженность фактов.** Чувственный опыт человека — его ощущения и восприятия — источник знания, связывающий его с миром. Обоснование путем ссылки на опыт дает уверенность в истинности таких утверждений, как «Эта роза красная», «Холодно», «Стрелка вольтметра стоит на отметке 17» и т. п. Нетрудно, однако, заметить, что даже в таких простых констатациях нет «чистого» чувственного созерцания. У человека оно всегда пронизано мышлением, без понятий и без примеси рассуждения он не способен выразить даже самые простые свои наблюдения, зафиксировать самые очевидные факты. Например, мы говорим: «Этот дом голубой», когда видим дом при нормальном освещении и наши чувства не расстроены. Но мы скажем «Этот дом кажется голубым», если мало света или мы сомневаемся в нашей способности или возможности наблюдения.

К восприятию, к чувственным данным мы примешиваем определенное теоретическое представление о том, какими видятся предметы в обычных условиях и каковы эти предметы в других обстоятельствах, когда наши чувства способны нас обмануть.

«Даже наш опыт, получаемый из экспериментов и наблюдений не состоит из “данных”. Скорее он состоит из сплетения догадок-предположений, ожиданий, гипотез и т.п., с которыми связаны принятые нами традиционные научные и ненаучные знания и предрассудки. Такого явления, как *чистый* опыт, полученный в результате эксперимента или наблюдения, просто не существует. Нет опыта, не содержащего соответствующих ожиданий и теорий. Нет никаких чистых “данных” и эмпирически данных “источников знания”, на которые мы могли бы опереться при проведении нашей критики»<sup>1</sup>.

К. Поппер приводит интересные примеры существенной предопределенности опыта задачей, стоящей перед исследователем, принятой им точкой зрения или теорией: «...Вера в то, что мы можем начать научное исследование с одних чистых наблюдений, не имея чего-то похожего на теорию, является абсурдной. Справедливость этого утверждения можно, проиллюстрировать на примере человека, который всю свою жизнь посвятил науке, описывая каждую вещь, попа-

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания // Избранные работы. М., 1983. С. 405.

давшуюся ему на глаза, и завещал свое бесценное собрание наблюдений Королевскому обществу для использования в качестве индуктивных данных. Этот пример хорошо показывает, что, хотя вещи иногда копить полезно, наблюдения копить нельзя.

...Я пытался внушить эту мысль группе студентов-физиков в Вене, начав свою лекцию словами: “Возьмите карандаш и бумагу, внимательно наблюдайте и описывайте ваши наблюдения!” Они спросили, конечно, *что именно* они должны наблюдать. Ясно, что простая инструкция “Наблюдайте!” является абсурдной<sup>1</sup>.

Наблюдение всегда имеет избирательный характер. Из множества объектов должен быть выбран один или немногие, должна быть сформулирована проблема или задача, ради решения которой осуществляется наблюдение. Описание результатов наблюдения предполагает использование соответствующего языка, и значит, всех тех сходств и классификации, которые заложены в этом языке.

Опыт — от самого простого обыденного наблюдения и до сложного научного эксперимента — всегда имеет теоретическую составляющую и в этом смысле не является «чистым». На опыте сказываются те теоретические ожидания, которые он призван подтвердить или опровергнуть, тот язык, в терминах которого фиксируются его результаты, и та постоянно присутствующая интерпретация видимого, слышимого, без которой человек не способен видеть, слышать и т. д.

«...Даже наблюдения и сообщения о наблюдениях находятся под властью теорий... Действительно, не интерпретированных наблюдений; наблюдений, не пропитанных теорией, вообще не существует. На самом деле даже наши глаза и уши являются результатом эволюционных приспособлений, то есть метода проб и ошибок, соответствующего методу предположений и опровержений. Оба эти метода заключаются в приспособлении к закономерностям окружающей среды»<sup>2</sup>.

Можно отметить, что идея «теоретической нагруженности» опыта, столь популярная в современной методологии науки, стала складываться еще в конце XIX в. В частности, Дж. Милль писал: «В каждом из актов нашей воспринимающей способности наблюдение и умозаключение тесно между собой связаны, и то, что мы называем «наблюдением», представляет из себя обычно некоторый сложный результат, из которого иногда только одна десятая действительно наблюдается,

---

<sup>1</sup> Поннер К. Указ. соч. С. 260–261.

<sup>2</sup> Там же. С. 588–589. «При более тщательном анализе мы обнаружим, что наука вообще не знает «голых фактов», а те «факты», которые включены в наше познание, уже рассмотрены определенным образом и, следовательно, существенно концептуализированы» (Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 149).

а остальные девять десятых представляют собою умозаключения»<sup>1</sup>. И в другом месте: «Мы не можем описать факта, не захватив кое-чего большего, чем этот факт. Воспринимаются только индивидуальные вещи; но “описать” любую из них значит утверждать ту или другую связь между нею и всякою другою вещью, означаемую или созначаемою каждым из употребленных в описании терминов»<sup>2</sup>.

Позднее О. Шпенглер писал, что «всякий научный опыт, каким бы он ни был, является ко всему прочему еще и свидетельством *способов* символического, представления. Все словесно зафиксированные законы суть живые, одушевленные распоряжки, исполненные самого сокровенного содержания какой-то одной, и притом только этой, культуры»<sup>3</sup>. Шпенглер был склонен считать, что научный и повседневный опыт не только содержит теоретическую составляющую, связанную с его интерпретацией и выражением в языке, но всегда является выражением своеобразной и целостной культуры своего времени: «Всякий факт, даже простейший, уже содержит в себе теорию. Факт — это единственное в своем роде впечатление, испытываемое бодрствующим существом, и все зависит от того, для кого он существует или существовал: для античного ли человека или западного, для человека готики или барокко»<sup>4</sup>. Так, молния производит совершенно разное впечатление на воробья и на наблюдающего за ней естествоиспытателя. Сходным образом она по-разному воспринималась людьми разных исторических эпох. «Нынешний физик слишком легко забывает, что уже сами слова типа «величина», «положение», «процесс», «изменение состояния», “тело” выражают специфически западные картины с уже не поддающимся словесной фиксации семантическим ощущением, которое совершенно чуждо античному или арабскому мышлению и чувствованию, по которому в полной мере определяет характер научных фактов как таковых, самый способ их познания, не говоря уже о столь запутанных понятиях, как “работа”, “напряжение”, “квант действия”, “количество теплоты”, “вероятность”, каждое из которых само по себе содержит настоящий *миф* о природе. Мы воспринимаем подобные мысленные образования как

<sup>1</sup> Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. СПб., 1914. С. 583–584.

<sup>2</sup> Там же. С. 566.

<sup>3</sup> Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. С. 569. И. Гете как-то заметил: «Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория» (*Goethe I. Naturwissenschaftliche Schriften. Leipzig, 1923. Bd. 5. S. 376*). Эта мысль была, однако, нетипична для эпистемологии Нового времени, видевшей в опыте и «фактах» незыблемую и не зависящую от каких-либо теоретических соображений основу человеческого знания.

<sup>4</sup> Шпенглер О. Указ. соч. С. 376.

результат свободного от предрассудков исследования, а при случае и как окончательный результат. Какой-нибудь утонченный ум времен Архимеда, по основательному штудировании новейшей теоретической физики, клятвенно заверил бы, что ему непонятно, как мог бы кто-либо считать наукой столь произвольные гротескные и путанные представления, да к тому же еще и выдавать их за необходимые следствия, вытекающие из подлежащих фактов. Научно оправданными следствиями были бы скорее... и тут на основании тех же “фактов”, т. е. фактов, увиденных его глазами и сложившихся в его уме, он, со своей стороны, развил бы теории, к которым наши физики прислушались бы с удивленной улыбкой»<sup>1</sup>.

Теоретическая нагруженность фактов особенно наглядно проявляется в современной физике, исследующей объекты, не наблюдаемые непосредственно, и широко использующей для их описания математический аппарат. Истолкование фактов, относящихся к таким объектам, представляет собой самостоятельную и иногда весьма сложную проблему. Интересный пример на эту тему приводит в своих воспоминаниях В. Гейзенберг. Обсуждая с Н. Бором эксперименты, относящиеся к квантовой механике, они останавливались в недоумении перед вопросом, как привести в согласие с формулами квантовой и волновой механики такой простой феномен, как траектория электрона в камере Вильсона. Эта траектория существовала, ее можно было наблюдать. Однако в квантовой механике понятие траектории вообще не упоминалось, а в волновой механике траектория должна была выглядеть совершенно иначе. «В один из вечеров случилось так, — пишет Гейзенберг, что я внезапно подумал о моем разговоре с Эйнштейном и вспомнил его утверждение: “Только теория решает, что можно наблюдать”. Мне тут же стало ясно, что ключ к столь долго не отпиравшейся двери нужно искать в этой точке... В самом деле, мы всегда бездумно говорим, что траекторию электрона в камере Вильсона можно пронаблюдать. Однако возможно, что реально наблюдалось нечто иное. Возможно, наблюдались лишь дискретные следы неточно определенных местоположений электрона. Ведь фак-

---

<sup>1</sup> Шпенглер О. Указ. соч. С. 376. Из правильных наблюдений о зависимости фактов от теоретических представлений соответствующей эпохи и, в конечном счете, от ее культуры Шпенглер делает, однако, неожиданный и неоправданный вывод, что в основе всякого знания о природе, пусть даже самого точного, лежит религиозная вера и что не существует естествознания без предшествовавшей ему религии. «В этом пункте исчезает всякое различие между католическим и материалистическим природовоззрениями: оба они говорят одно и то же разными словами. Атеистическое исследование природы также имеет религию; современная механика в каждой своей детали есть слепок религиозного созерцания» (Там же. С. 571). В основе этого странного заключения о религии как необходимой предпосылке науки лежит, очевидно, расширительное понимание религиозной веры.

тически мы видим лишь отдельные капельки воды в камере, которые заведомо намного протяженнее, чем электрон. Правильно поставленный вопрос, поэтому, должен был гласить: можно ли в квантовой механике отразить ситуацию, при которой электрон приблизительно — то есть с известной неточностью — находится в определенном месте и при этом приблизительно — то есть опять-таки с известной неточностью — обладает заранее данной скоростью, и можно ли сделать эту неточность настолько малой, чтобы не возникли расхождения с экспериментальными данными?»<sup>1</sup>.

Краткие вычисления подтвердили, что подобные ситуации можно представить математически и что неточности охватываются теми соотношениями, которые позднее были названы соотношениями неопределенности квантовой механики. Тем самым была наконец установлена связь между наблюдениями в камере Вильсона и математическими формулами квантовой механики. Далее нужно было доказать, что при любом эксперименте могут возникнуть лишь ситуации, удовлетворяющие этим соображениям неопределенности. Но, продолжает Гейзенберг, «это мне заранее казалось вероятным, потому что сами по себе эксперимент, наблюдение должны удовлетворять законам квантовой механики. Поэтому, когда мы предпосылаем эксперименту отвечающие этим законам соотношения неопределенности, из эксперимента вряд ли могут вытекать ситуации, не охватываемые квантовой механикой. Ибо только теория решает, что можно наблюдать»<sup>2</sup>.

Обычно географические открытия представляются «чистыми» наблюдениями островов, морей, горных вершин и т. п. Но можно заметить, что и географическое наблюдение имеет тенденцию направляться теорией, требует истолкования в терминах этой теории. Например, Колумб исходил из идеи шарообразности Земли и, держа постоянный курс на запад, приплыл к берегам Америки. Он не считал, однако, что им открыт новый, неизвестный европейцам материк. Руководствуясь своими теоретическими представлениями, Колумб полагал, что им найден только более короткий и простой путь в уже известную Вест-Индию. Экспедиции Т. Хейердала предпринимались в целях проверки определенных теорий, и результаты этих экспедиций истолковывались в соответствии с этими теориями.

**Относительная надежность опыта.** Таким образом, непровержимость чувственного опыта, фактов относительна. Нередки случаи, когда факты, представлявшиеся поначалу достоверными, при

---

<sup>1</sup> Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. М., 1980. С. 78.

<sup>2</sup> Там же. С. 79.

их теоретическом переосмыслении пересматривались, уточнялись, а то и вовсе отбрасывались. На это обращал внимание К.А. Тимирязев. «Иногда говорят, что гипотеза должна быть в согласии со всеми известными фактами; правильное было бы сказать — быть в таком согласии, или быть в состоянии обнаружить несостоятельность того, что неверно признается за факты и находится в противоречии с нею»<sup>1</sup>.

Кажется, например, несомненным, что если между экраном и точечным источником света поместить непрозрачный диск, то на экране образуется сплошной темный круг тени, отбрасываемый этим диском. Во всяком случае, в начале XIX в. это представлялось очевидным фактом.

Французский физик О. Френель выдвинул гипотезу, что свет не поток частиц, а движение волн. Из гипотезы следовало, что в центре тени должно быть небольшое светлое пятно, поскольку волны, в отличие от частиц, способны огибать края диска. Получалось явное противоречие между гипотезой и фактом. В дальнейшем более тщательно поставленные опыты показали, что в центре тени действительно образуется светлое пятно. В итоге отброшенной оказалась не гипотеза Френеля, а казавшийся очевидным факт.

Особенно сложно обстоит дело с фактами в науках о человеке и обществе. Проблема, во-первых, в том, что некоторые факты могут оказаться сомнительными и даже просто несостоятельными, а во-вторых, в том, что полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты только в определенном теоретическом контексте, при рассмотрении факта с какой-то общей точки зрения. Эту особую зависимость фактов гуманитарных наук от теорий, в рамках которых они устанавливаются и интерпретируются, не раз подчеркивал русский философ А. Ф. Лосев. В частности, он писал, что факты всегда случайны, неожиданны, текучи и ненадежны, часто непонятны. Поэтому волей-неволей приходится иметь дело не только с фактами, но еще более того — с теми общностями, без которых нельзя понять и самих фактов.

Чувственный опыт, служащий конечным источником и критерием знания, сам не однозначен, содержит компоненты теоретического знания и потому нуждается в правильном истолковании, а иногда и в особом обосновании. Опыт не обладает абсолютным, неопровержимым статусом, он может по-разному интерпретироваться и даже пересматриваться. Именно в силу этого обстоятельства говорится, что не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпириче-

<sup>1</sup> Тимирязев К. А. Жизнь растений. М., 1957. С. 9.

ские данные, что лежат в его основании, также гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения.

В частности, К. Поппер пишет, что «опыт, особенно научный опыт, можно представить как результат обычно ошибочных догадок, их проверки и обучения на основе наших ошибок. Опыт в таком смысле не является “источником знания” и не обладает каким-либо авторитетом»<sup>1</sup>. Отсюда Поппер делает довольно неожиданный вывод: критика научных и иных теорий и гипотез, опирающаяся на опыт, не имеет «авторитетного значения». Суть критики не в сопоставлении сомнительных теоретических результатов с твердо установленными данными, какими могли бы считаться свидетельства наших чувств. «Такая критика скорее заключается в сравнении некоторых сомнительных результатов с другими зачастую столь же сомнительными, которые могут, однако, для нужд данного момента быть принятыми за достоверные. Вместе с тем в какое-то время эти последние также могут быть подвергнуты критике, как только возникнут какие-либо сомнения в их достоверности или появится какое-то представление или предположение. Например, то, что определенный эксперимент может привести к новому открытию»<sup>2</sup>.

Позиция, когда опыт и опирающаяся на него теоретическая конструкция представляются в равной мере сомнительными, не кажется достаточно обоснованной. Эмпирические данные, факты обладают, как правило, гораздо большей устойчивостью, чем опирающиеся на них теории. Все теории, даже представляющиеся сейчас вполне надежными, гипотетичны: со временем они будут пересмотрены и на смену им придут другие, более совершенные теории. Несколько иначе обстоит дело с фактами. Пересмотр обобщающей их теории не означает автоматически ревизии всех лежащих в ее основании фактов. Они могут истолковываться по-новому, но их основное содержание чаще всего остается неизменным.

Например, вода закипает в обычных условиях при 100 °С, свинец плавится при 322 °С — эти фактические утверждения принимались теорией теплоты как особого вещества — флогистона. Они оставались верными и в корпускулярной теории теплоты, они не подвергаются сомнению и современной, квантово-механической теорией теплоты. Сходным образом обстоит дело и с эмпирическими законами, непосредственно опирающимися на опыт. Они более устойчивы, чем включающие и объясняющие их теории: новая теория так или иначе включает их в свой состав наряду с хорошо проверенными фактами.

---

<sup>1</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 406.

<sup>2</sup> Там же.

**Ограниченность прямого подтверждения.** Прямое подтверждение возможно лишь в случае утверждений о единичных объектах или ограниченных их совокупностях. Теоретические же положения обычно касаются неограниченных множеств вещей. Факты, используемые при таком подтверждении, далеко не всегда надежны и во многом зависят от общих, теоретических соображений. Поэтому нет ничего странного в том, что сфера приложения прямого наблюдения является довольно узкой.

Широко распространено суждение, что в аргументации, в обосновании и опровержении утверждений главную и решающую роль играют факты, непосредственное наблюдение исследуемых объектов. Это убеждение нуждается в существенном уточнении. Использование верных и неоспоримых фактов — надежный и успешный способ обоснования. Противопоставление таких фактов ложным или сомнительным положениям — хороший метод опровержения. Действительное явление, событие, не согласующееся со следствиями какого-то универсального положения, опровергает не только эти следствия, но и само положение. Факты, как известно, упрямая вещь. При подтверждении утверждений, относящихся к ограниченному кругу объектов, и опровержении ошибочных, оторванных от реальности, спекулятивных конструкций «упрямство фактов» проявляется особенно ярко. Тем не менее факты, даже в этом узком своем применении, не обладают абсолютной «твердостью». Даже взятые в совокупности, они не составляют совершенно надежного, незыблемого фундамента для опирающегося на них знания. Факты значат много, но далеко не всё.

### § 3. Косвенное подтверждение

В зависимости от того, имеется ли в умозаключении связь логического следования между его посылками и заключением, различаются два вида умозаключений: *дедуктивные* и *индуктивные*. В дедуктивном, или необходимом, умозаключении связь посылок и заключения опирается на закон логики, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает (логически следует) из посылок. Такое умозаключение всегда ведет от истинных посылок к истинному заключению (например, «Все металлы проводят ток; алюминий — металл; значит, алюминий проводит ток»).

В индуктивном, или правдоподобном, умозаключении посылки и заключение не связаны между собой законом логики, и заключение не следует логически из посылок. Достоверность посылок не гарантирует достоверности выводимого из них индуктивного заключения. Оно вытекает из посылок не с необходимостью лишь с некоторой ве-



роятностью («Алюминий проводит ток; железо проводит ток; медь проводит ток; алюминий, железо, медь — металлы; значит, вероятно, все металлы проводят ток»).

Понятие дедукции (дедуктивного умозаключения) не является вполне ясным<sup>1</sup>. Индукция (индуктивное умозаключение) определяется, в сущности, как «не-дедукция» и представляет собой еще менее ясное понятие. Можно, тем не менее, указать относительно определенное «ядро» индуктивных способов рассуждения. В него входят, в частности, рассматриваемые далее косвенное эмпирическое подтверждение, неполная индукция, рассуждение по так называемым перевернутым законам логики, целевое (телеологическое) обоснование, использование фактов, иллюстраций и образцов в качестве средств обоснования, истолкование объяснения и понимания как доводов в поддержку их общих посылок и др.

Способы индуктивного рассуждения чрезвычайно многообразны и разнородны. Их объединяет только одно — принятые посылки говорят только об известной вероятности, или правдоподобности, связываемого с ними заключения, но не о его истинности. Дедукция дает из истинных посылок истинное заключение; индукция ведет от истинных посылок только к вероятному, или проблематичному, заключению, нуждающемуся в дальнейшей проверке.

Поскольку каждая наука отправляется от того, что дано реально (независимо от того, факты это или ценности), и стремится объяснить и понять исследуемый фрагмент реальности, в обосновании научных утверждений и теорий особую роль играют индуктивные расхождения. Особенно велико их значение в эмпирическом подтверждении научных обобщений.

**Подтверждение следствий.** Наиболее важным и вместе с тем универсальным способом эмпирического подтверждения является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка. Подтверждение следствий оценивается при этом как индуктивное свидетельство в пользу истинности самого положения.

Два элементарных примера такого подтверждения. *Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит.* Пробным камнем ясного мышления является умение передать свои знания кому-то другому, возможно, далекому от обсуждаемого предмета. Если человек обладает таким умением и его речь ясна и убедительна, это можно считать подтверждением того, что его мышление является ясным. Известно, что *сильно охлажденный предмет в теплом помещении покрывается капельками росы.* Если

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Основы теории аргументации. М., 1997, С. 61–65.

мы видим, что у человека, вошедшего в дом, запотели очки, мы можем с достаточной уверенностью заключить, что на улице морозно. В каждом из этих примеров рассуждение идет по схеме: *«Если есть первое, то имеет место второе; второе имеет место; значит, по всей вероятности, есть и первое»*. Например, «Если на улице мороз, у человека, вошедшего в дом, очки запотевают; очки и в самом деле запотели; значит, вероятно, на улице мороз».

Истинность посылок не гарантирует здесь истинности заключения. Из посылок «если есть первое, то есть второе» и «есть второе» заключение «есть первое» вытекает только с некоторой вероятностью (например, человек у которого в теплом помещении запотели очки, мог специально охладить их, скажем, в холодильнике, чтобы затем внушить нам, будто на улице сильный мороз).

Выведение следствий и их подтверждение, взятое само по себе, никогда не в состоянии установить справедливость обосновываемого положения. Подтверждение следствия только повышает его вероятность. Но ясно, что при этом далеко не безразлично, является выдвинутое положение маловероятным или же оно высоко правдоподобно.

Чем большее число следствий нашло подтверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Отсюда рекомендация — выводить из выдвигаемых и требующих надежного фундамента положений как можно больше логических следствий с целью их проверки.

Значение имеет не только количество следствий, но и их характер. Чем более неожиданные следствия какого-то положения получают подтверждение, тем более сильный аргумент они дают в его поддержку. И наоборот, чем более ожидаемо в свете уже получивших подтверждение следствий новое следствие, тем меньше его вклад в обоснование проверяемого положения.

Общая теория относительности А. Эйнштейна позволила сделать своеобразный и неожиданный вывод: не только планеты вращаются вокруг Солнца, но и эллипсы, которые они описывают, должны очень медленно вращаться относительно Солнца. Это вращение тем больше, чем ближе планета к Солнцу. Для всех планет, кроме Меркурия, оно настолько мало, что не может быть уловлено. Эллипс Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, осуществляет полное вращение в три миллиона лет, что удастся обнаружить. И вращение этого эллипса действительно было открыто астрономами, причем задолго до Эйнштейна. Никакого объяснения такому вращению не находилось. Теория относительности не опиралась при своей формулировке на данные об орбите Меркурия. Поэтому когда из ее гравитационных уравнений было выведено оказавшееся верным заключение о вращении эллипса Меркурия, это справедливо было расценено как важное свидетельство в пользу теории относительности.

Подтверждение неожиданных предсказаний, сделанных на основе какого-то положения, существенно повышает его правдоподобность. Неожданное предсказание всегда связано с риском, что оно может не подтвердиться. Чем рискованней предсказание, выдвигаемое на основе какой-то теории, тем больший вклад в ее обоснование вносит подтверждение этого предсказания. Типичным примером здесь может служить предсказание теории гравитации Эйнштейна: тяжелые массы (например, Солнце) должны притягивать свет точно так же, как они притягивают материальные тела. Вычисления, произведенные на основе этой теории, показывали, что свет далекой фиксированной звезды, видимой вблизи Солнца, достиг бы Земли по такому направлению, что звезда казалась бы смещенной в сторону от Солнца, иначе говоря, наблюдаемое положение звезды было бы сдвинуто в сторону от Солнца по сравнению с реальным положением. Этот эффект нельзя наблюдать в обычных условиях, поскольку близкие к Солнцу звезды совершенно теряются в его лучах. Их можно сфотографировать только во время затмения. Если затем те же самые звезды сфотографировать ночью, то можно измерить различия в их положении на обеих фотографиях и таким образом подтвердить предсказанный эффект. Экспедиция Эддингтона отправилась в Южное полушарие, где можно было наблюдать очередное солнечное затмение, и подтвердила, что звезды действительно меняют свое положение на фотографиях, сделанных днем и ночью. Это оказалось одним из наиболее важных свидетельств в пользу эйнштейновской теории гравитации.

Как бы ни было велико число подтверждающих следствий и какими бы неожиданными, интересными или важными они ни оказались, положение, из которого они выведены, все равно остается только вероятным. Никакие следствия не способны сделать его истинным. Даже самое простое утверждение в принципе не может быть доказано на основе одного подтверждения вытекающих из него следствий. Это — центральный пункт всех рассуждений об эмпирическом подтверждении. Непосредственное наблюдение того, о чем говорится в утверждении, дает уверенность в истинности последнего. Но область применения такого наблюдения является ограниченной. Подтверждение следствий — универсальный прием, применимый ко всем утверждениям. Однако прием, только повышающий правдоподобие утверждения, но не делающий его достоверным.

Важность эмпирического обоснования утверждений невозможно переоценить. Обусловлено это прежде всего тем, что конечным источником и критерием научного знания выступает опыт. Чувственный опыт связывает человека с миром, теоретическое знание — только надстройка над эмпирическим базисом. Вместе с тем опыт

не является абсолютным и бесспорным гарантом неопровержимости знания. Он тоже может критиковаться, проверяться и пересматриваться. «В эмпирическом базисе объективной науки нет ничего “абсолютного”. Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или “данного” обоснования. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере, некоторое время, выдерживать тяжесть нашей структуры»<sup>1</sup>.

Таким образом, если ограничить круг способов обоснования утверждений их прямым или косвенным подтверждением в опыте, то окажется непонятным, каким образом все-таки удастся переходить от гипотез к теориям, от предположений к истинному знанию. Эмпирическое обоснование должно быть дополнено теоретическим обоснованием.

**Гипотетико-дедуктивный метод.** С темой косвенного подтверждения непосредственно связана тема *гипотетико-дедуктивного метода*. Долгое время значение этого метода явно переоценивалось. Он представлялся как если не единственный, то, по меньшей мере, как главный метод науки и как само воплощение научного подхода. Гипотетико-дедуктивные рассуждения, основанные на выведении из гипотез заключений и последующей проверке последних, рассматривались еще античными философами. Широкое применение гипотетико-дедуктивный метод получил в XVII–XVIII вв., особенно в механике. В частности, механика, изложенная в «Математических началах натуральной философии» Ньютона, является образцом гипотетико-дедуктивной системы. Посылками в ней служат основные принципы движения. Использувавшийся Ньютоном «метод принципов» оказал громадное воздействие на развитие точного естествознания.

К. Гемпель, считающий, что наука основывается на гипотетико-дедуктивном методе, так объясняет работу ученых: они начинают с того, что производят наблюдения и фиксируют их результаты; затем формулируют гипотетический закон, относящийся к наблюдаемым явлениям; наконец, используют этот закон как посылку дедуктивных выводов, заключениями которых являются утверждения о наблюдавшихся явлениях<sup>2</sup>. Сходным образом истолковывает гипотетико-

<sup>1</sup> Поннер К. Указ. соч. С. 382.

<sup>2</sup> Гемпель К. Логика объяснения. М., 1998. С. 49–51.

дедуктивный метод лауреат Нобелевской премии по экономике М. Алле: «Любая наука опирается на модели, а любая научная модель содержит три различные стадии:

- исходная точка — четко высказанные гипотезы;
- выведение из гипотез всех следствий и ничего, кроме следствий;
- сопоставление этих следствий с данными наблюдений.

Модель и вводимая ею теория должны или приниматься, по меньшей мере, временно, или отвергаться в соответствии с тем, согласуются или нет данные наблюдения с гипотезами и выводами модели. Теория, чьи гипотезы и следствия не могут быть сопоставлены с реальностью, не имеет никакого научного интереса. В то же время логическая дедукция, будь она и математической, остается лишенной всякой познавательной ценности, если тесно не привязана к изучению реальности»<sup>1</sup>.

Гипотетико-дедуктивный метод оказывается здесь универсальным методом науки, что связывается с тем, что всякая наука строит модели. Даже те исследователи, которые не считают построение моделей центральной задачей любого научного исследования, склонны универсализировать гипотетико-дедуктивный метод и приписывать ему особо важное значение. В частности, социолог Ч. Миллс, отмечая, что социологи и политологи, в отличие от экономистов, меньше внимания уделяют построению моделей, пишет: «Создать классическую теорию — значит разработать систему понятий и исходных предположений, из которых следуют выводы и обобщения. Последние, в свою очередь, сравниваются с различными эмпирическими заключениями. При выполнении этих задач понятия, процедуры и даже вопросы, по крайней мере, неявно, кодифицируются»<sup>2</sup>.

Гипотетико-дедуктивный метод является методом исследования, а не методом обоснования. С точки зрения обоснования выдвижение гипотез с последующей проверкой их следствий представляет собой обычное косвенное эмпирическое подтверждение. Гипотетико-дедуктивный метод не является универсальным: он применим только в случае теорий, допускающих выделение основных принципов и четкое разграничение между этими принципами и всеми остальными элементами теории.

Подавляющее большинство научных теорий не допускают не только аксиоматизации, но даже построения по «методу принципов». Социологическим, политологическим и подобным им социальным теориям, как правило, не удается придать форму, в которой немногие

<sup>1</sup> Алле М. Экономика как наука. М., 1995. С. 67.

<sup>2</sup> Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 1998. С. 159.

основополагающие принципы и подлежащие проверке их следствия разделялись бы сколько-нибудь отчетливо. Об использовании «метода принципов» в гуманитарных науках, подобных истории и психологии, вообще не может быть речи.

И, наконец, процесс обоснования теории, построенной по «методу принципов» вовсе не сводится к простой проверке вытекающих из них эмпирических следствий. Этот процесс всегда включает теоретическое обоснование и нередко также контекстуальное обоснование. Переоценка роли гипотетико-дедуктивного метода в научном познании и тенденция к его универсализации связаны скорее всего с тем, что его использование особенно наглядно показывает эмпирический характер всякого научного знания и подчеркивает ту роль, которую играет в обосновании такого знания косвенное эмпирическое подтверждение.

**Объяснение как косвенное подтверждение.** Об объяснении подробно говорится далее. Здесь же будет затронута совершенно неисследованная тема истолкования объяснения как одного из способов косвенного подтверждения. Имеются несколько типов объяснения. Объяснение, которое можно назвать *сильным*, представляет собой подведение объясняемого явления под известное общее положение и носит дедуктивный характер. При таком объяснении общей посылкой нередко (хотя и не всегда) является научный закон, в силу чего это объяснение называется также номологическим. Пример номологического объяснения, относящийся к экономике: «Всякая рыночная экономика предполагает конкуренцию. Французская экономика является рыночной. Следовательно, французская экономика предполагает конкуренцию».

Объяснение — это выведение единичного утверждения из некоторого общего положения. По своей структуре объяснение совпадает с косвенным подтверждением (подтверждением следствий обосновываемого общего положения), но по ходу мысли эти операции противоположны. При косвенном подтверждении мысль идет от единичного заключения умозаключения к его общей посылке: заключение индуктивно поддерживает эту посылку. При объяснении мысль идет от общего утверждения, входящего в состав посылок, к заключению умозаключения: общая посылка (вместе с другими посылками) дедуктивно обосновывает заключение.

Если выведенное при объяснении следствие подтверждается, то тем самым косвенно подтверждается и используемое в объяснении общее положение. Скажем, из утверждений «Все латиноамериканские страны являются республиками» и «Бразилия — латиноамериканская страна» вытекает заключение «Бразилия — республика». Если последнее утверждение находит подтверждение, то тем самым индук-

тивно подтверждается и общее положение «Все латиноамериканские страны — республики».

Другой пример объяснения: «Во всякой стране с частной собственностью есть тенденция к соблюдению прав человека; Греция — страна с частной собственностью, следовательно, в Греции есть тенденция к соблюдению прав человека». То, что в Греции имеется такая тенденция, в какой-то мере поддерживает общее положение, что во всякой стране с частной собственностью имеет место указанная тенденция.

Можно заметить, что «подтверждающая сила» объясняемого явления заметно выше, чем та поддержка, которую оказывает общему утверждению произвольно взятое подтвердившееся его следствие. Формально говоря, из общего утверждения можно вывести неограниченное число следствий. Не все они равноправны с точки зрения влияния их подтверждения на подтверждение общего утверждения. Следствия могут быть ожидаемыми и неожиданными, и вклад вторых в подтверждение общего утверждения существенно выше, чем вклад первых. Следствий могут описывать ключевые для теории факты и могут касаться второстепенных с точки зрения теории деталей. Подтверждение первых может быть решающим для судьбы теории, в то время как подтверждение вторых может оказаться совершенно несущественным для нее.

Особая «подтверждающая сила» получивших объяснение фактов связана в первую очередь с тем, что объяснения строятся как раз для ключевых, имеющих принципиальную важность для формирующейся теории фактов; для фактов, представляющихся неожиданными или даже парадоксальными с точки зрения ранее существовавших представлений; наконец, для фактов, которые претендуют объяснить именно данные теории и которые необъяснимы для конкурирующих с нею теорий. Подтверждение подобных фактов, достигаемое в результате их объяснения, придает теории особую силу и крепость.

Кроме того, хотя объяснение совпадает по общей структуре с косвенным подтверждением, эти две операции преследуют прямо противоположные цели. Объяснение включает факт в теоретическую конструкцию, делает его теоретически осмысленным и тем самым «утверждает» его как нечто не только эмпирически, но и теоретически несомненное. Косвенное подтверждение направлено не на «утверждение» эмпирических следствий некоторого общего положения, а на «утверждение» самого этого положения путем подтверждения его следствий.

Эта разнонаправленность объяснения и косвенного подтверждения (объяснение исследуемых явлений и укрепление самой объясняющей теории) также сказывается на особой «подтверждающей силе»

фактов, получивших объяснение, в сравнении с фактами, служащими исключительно для подтверждения теории. В некотором смысле объяснять мир важнее, чем строить о нем теории, хотя эти две задачи во многом неотделимы друг от друга.

Сказанное о роли объяснений в подтверждении и укреплении теории относится также к предсказаниям, отличающимся от объяснений только по своей временной направленности. «... Если прогресс науки является непрерывным и ее рациональность не уменьшается, то нам нужны не только успешные опровержения, но также и позитивные успехи. Это означает, что мы должны достаточно часто создавать теории, из которых вытекают новые предсказания, в частности, предсказания новых результатов, и новые проверяемые следствия, о которых никогда не думали раньше»<sup>1</sup>. Поппер упоминает в числе предсказаний, подтверждение которых сыграло особую роль в судьбе предложивших их теорий, предсказание того, что при определенных условиях движение планет должно отклоняться от законов Кеплера, и предсказание, что свет, несмотря на свою нулевую массу, подвержен гравитационному притяжению.

Еще одним примером может служить предсказание Дирака, что для каждой элементарной частицы должна существовать античастица. «Нам нужны успехи такого рода. Недаром крупные научные теории означали все новые завоевания неизвестного, новые успехи в предсказании того, о чем никогда не думали раньше»<sup>2</sup>.

Хорошим примером того, как серия успешных, можно сказать, блестящих предсказаний привела к быстрому утверждению теории является теория атома Н. Бора. Бор вывел формулу для диаметра электронных орбит и получил размер водородного атома, равный примерно  $10^{-8}$  см. С одной стомиллионной сантиметра физики давно уже были знакомы по косвенным оценкам размера этого атома. Теперь данная величина вытекала непосредственно из теории. Бор указал еще одно число: 109 000 для константы Ридберга, входившей во все спектральные формулы. Экспериментальное значение этой константы было 109 675. Эти количественные совпадения теории с опытом произвели очень сильное впечатление.

Успешные объяснения и предсказания — необходимое условие истинности независимо проверяемой теории. Но они не являются достаточным условием ее истинности. Подобно косвенному подтверждению теории (подтверждению вытекающих из нее следствий) подтвердившиеся объяснения и предсказания повышают правдоподобие теории и способствуют ее утверждению, но не делают ее истинной.

---

<sup>1</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 368.

<sup>2</sup> Там же.



В связи с этим можно вспомнить старую теорию флогистона («огненной материи»), которая внесла в свое время существенную упорядоченность в большой ряд физических и химических явлений. Она объяснила, почему некоторые тела горят, а другие нет (первые богаты флогистоном, а вторые бедны им) и почему металлы имеют намного больше общих друг с другом свойств, нежели их руды (металлы полностью состоят из различных элементарных земель, соединенных с флогистоном, а поскольку флогистон содержится во всех металлах, он создает общность их свойств). Кроме того, теория флогистона объяснила ряд реакций получения кислоты при окислении веществ, подобных углероду и сере. Она также объяснила уменьшение объема, когда окисление происходило в ограниченном объеме воздуха: флогистон высвобождался при нагревании, которое «портит» упругость воздуха, абсорбирующего флогистон, точно так же, как огонь «портит» упругость пружины. Несмотря на все эти успешные объяснения, теория флогистона оказалась ошибочной.

Операция понимания является параллелью операции объяснения. Но если объяснение опирается на общее описательное положение, то понимание основывается на общей оценке. Подобно объяснению, понимание тех явлений, которые изучаются научной теорией, является одновременно и вкладом в обоснование этой теории. Но понимание обосновывает ценности, лежащие в основе теории, а не ее законы или иные общие описания. Ценности не способны иметь эмпирического подтверждения. В силу этого понимание, даже в каузальном его варианте, предполагающее ценности, не имеет отношения к эмпирическому обоснованию научной теории.

**Эмпирическое обоснование в формальных науках.** «Подчинение опытным данным является золотым правилом, главенствующим в любой научной дисциплине. Именно оно объясняет необычайный успех западной мысли за последние три столетия. Это правило является одним и тем же, как для экономической, так и для физической науки. Никакая теория не может быть принята, если она не подтверждается эмпирическими данными»<sup>1</sup>. Вместе с тем имеются серьезные трудности на пути приложения принципа доминирующей роли эмпирического подтверждения к формальным наукам — математике и логике.

Не вдаваясь в детали, по этому поводу можно сказать следующее. Косвенное эмпирическое подтверждение играет особую роль и в обосновании утверждений формальных наук, однако сама процедура такого подтверждения является в данных науках чрезвычайно сложной и обычно растянутой во времени. Она включает два разнородных этапа. На первом из них критерием истинности утверждения явля-

<sup>1</sup> Алле М. Указ. соч. С. 94.

ется не соответствие его реальности, а соответствие его логической или математической интуиции и принятым в логике или математике принципам. Второй этап предполагает включение конкретной логической или математической теории в состав концепции, допускающий прямое или косвенное эмпирическое подтверждение. Только в результате проверки такой концепции логическая или математическая теория способна получить опосредствованное эмпирическое подтверждение.

Следует подчеркнуть, что в этом плане положения логики и математики не отличаются от самых общих научных принципов. Такие принципы тоже не допускают непосредственного сопоставления с опытом и подтверждаются эмпирически лишь в составе конкретных научных теорий, допускающих сопоставление с опытом. «Теории множеств и всю математику разумнее представлять себе так, как мы представляем теоретические разделы естественных наук, — состоящими из гипотез, правильность которых подтверждается не столько сиянием безупречной логики, сколько косвенным систематическим вкладом, который они вносят в организацию эмпирических данных в естественных науках»<sup>1</sup>.

Математическое утверждение получает статус «математической истины», как только выясняется, что оно не противоречит иным доказанным положениям математики. Иными словами, на первых порах истина в математике понимается как когеренция, т. е. как согласие нового положения с ранее принятыми утверждениями. Большая часть того, что доказывается в математике и считается «математической истиной», так и остается в этом статусе «внутреннего согласования», не находя никакого применения в научных теориях, допускающих эмпирическое подтверждение.

Лишь очень немногие математические результаты оказываются востребованными научными теориями, допускающими сопоставление с опытом. Эмпирическое подтверждение таких теорий означает, что используемые в них математические построения оказываются истинными не только в смысле когеренции, но и в смысле корреспонденции — согласия не только с математикой в целом, но и с существующей вне ее реальностью.

Математика представляет собой динамическое единство, в котором отдельные разделы и теории существуют только в многообразных и постоянно обновляющихся связях с другими разделами математики. Установление соответствия научной теории опыту означает в определенном смысле соответствие опыту и того математического аппарата, который используется в этой теории. Одновременно с опытом

---

<sup>1</sup> Куайн У. Слово и объект. М., 2000. С. 285.

оказываются связанными, хотя и косвенно, также все те математические истины, которые тем или иным образом связаны в рамках математики с тем ее фрагментом, который нашел эмпирическое приложение в рамках конкретно-научной теории<sup>1</sup>.

В конечном счете, математика и логика опираются на опыт, хотя их связь с эмпирией не является прямой и всегда опосредствуется многими промежуточными звеньями. Математика и логика сходны по своей природе, поэтому обсуждение вопроса об эмпирических основаниях математики целесообразно не отрывать от анализа проблемы связи с опытом логики. Об этом говорят, в частности, так называемые логические парадоксы, периодически заставляющие возвращаться от абстрактных рассуждений о природе «логических истин» к анализу процессов реального мышления. Аналогичные парадоксы периодически возникают и в математике.

В широком смысле парадокс — это положение, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися, «ортодоксальными» мнениями. «Общепризнанные мнения и то, что считают делом давно решенным, чаще всего заслуживает исследования» (Г. Лихтенберг). Парадокс — начало такого исследования. В более узком и специальном значении парадокс — это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых имеются кажущиеся убедительными аргументы. Наиболее резкая форма парадокса — *антиномия*, рассуждение, доказывающее эквивалентность двух утверждений, одно из которых является отрицанием другого.

Особой известностью пользуются парадоксы в самых строгих и точных науках — математике и логике. И это не случайно. Логика — абстрактная наука. В ней нет экспериментов, нет даже фактов в обычном смысле этого слова. Строя свои системы, логика исходит, в конечном счете, из анализа реального мышления. Но результаты этого анализа носят синтетический, нерасчлененный характер. Они не являются констатациями каких-либо отдельных процессов или событий, которые должна была бы объяснить теория. Такой анализ нельзя, очевидно, назвать наблюдением: наблюдается всегда конкретное явление.

Конструируя новую теорию, ученый обычно отправляется от фактов, от того, что можно наблюдать в опыте. Как бы ни была свободна его творческая фантазия, она должна считаться с одним не переменным обстоятельством: теория имеет смысл только в том случае, когда она согласуется с наиболее важными относящимися к ней фактами. Теория, расходящаяся с такими фактами и наблюдениями, является

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Стёпин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000. С. 387—418.

надуманной и ценности не имеет. Но если в логике нет экспериментов, нет фактов и нет самого наблюдения, то чем сдерживается логическая фантазия? Какие, если не факты, то факторы принимаются во внимание при создании новых логических теорий?

Расхождение логической теории с практикой действительного мышления нередко обнаруживается в форме более или менее острого логического парадокса, а иногда даже в форме логической антиномии, говорящей о внутренней противоречивости теории. Этим как раз объясняется то значение, которое придается парадоксам в логике, и то большое внимание, которым они в ней пользуются. Специальная литература на тему парадоксов практически неисчерпаема. Достаточно сказать, что только об одном из них — так называемом парадоксе лжеца — написано более тысячи работ.

Большая группа парадоксов говорит о том круге вещей, к которому они сами относятся. Их особенно сложно отделить от утверждений, по виду парадоксальных, но на самом деле не ведущих к противоречию. Возьмем, например, высказывание «Из всех правил имеются исключения». Само оно является, очевидно, правилом. Значит, из него можно найти, по крайней мере, одно исключение. Но это означает, что существует правило, не имеющее ни одного исключения. Высказывание содержит ссылку на само себя и отрицает само себя.

Парадоксы не всегда легко отделить от того, что только напоминает их. Еще труднее сказать, откуда возник парадокс, чем не устраивают нас самые естественные, казалось бы, допущения и многократно проверенные способы рассуждения. С особой выразительностью это показывает парадокс лжеца. Он относится как раз к выражениям, говорящим о самих себе. В классическом варианте этого парадокса речь идет о ситуации, когда человек произносит всего одну фразу: «Я лгу». Является ли это высказывание истинным или же оно ложно? Если оно ложно, то говорящий сказал правду и, значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а говорящий утверждает, что оно ложно, то это его высказывание ложно. Таким образом, оказывается, если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот.

Уже на примере парадокса лжеца хорошо видны характерные особенности парадоксов. Они не ставят явно и прямо конкретных проблем. Парадокс имеет форму краткого рассказа или описания простого в своей основе случая. Какие же проблемы скрываются за парадоксом лжеца? Почему он приводит к противоречию?

По мысли А. Тарского, причина парадокса лжеца в том, что на одном и том же языке говорится как о предметах, существующих в мире, так и о самом этом «предметном» языке. Язык с таким свойством Тарский назвал «семантически замкнутым». Естественный

язык, очевидно, семантически замкнут. Отсюда неизбежность возникновения в нем парадокса. Чтобы устранить его, надо строить своеобразную лесенку, или иерархию, языков, каждый из которых используется для вполне определенной цели: на первом говорят о мире предметов, на втором — об этом первом языке, на третьем — о втором языке и т. д. Ясно, что в этом случае утверждение, говорящее о своей собственной ложности, уже не может быть сформулировано, и парадокс исчезнет.

Это разрешение парадокса, предложенное в начале 30-х гг. прошлого века, не является, конечно, единственно возможным. Одно время оно было общепринятым, но сейчас былого единодушия уже нет. Традиция устранять парадоксы такого типа путем «расслаивания» языка осталась, но наметились и другие подходы.

Математические и логические парадоксы заставляют в первую очередь уточнить понятие «математической» или «логической» истины. Но косвенно парадоксы говорят о расхождении математической или логической теории с реальностью.

#### **§ 4. Теоретическое обоснование: логическое доказательство**

Общие утверждения, научные законы и принципы не могут быть обоснованы чисто эмпирически, путем ссылки только на опыт. Они требуют также теоретического обоснования, опирающегося на рассуждение и отсылающего к другим принятым утверждениям. Невозможно доказать общее утверждение посредством ссылок на свидетельства, относящиеся к каким-то отдельным случаям его применимости. Универсальные обобщения науки — это своего рода гипотезы, строящиеся на базе существенно неполных рядов наблюдений. Подобные универсальные утверждения невозможно доказать не только исходя из тех наблюдений, в ходе обобщения которых они были выдвинуты, но и на основе последующих обширных и детализированных серий предсказаний, выведенных из них и нашедшие свое подтверждение в опыте.

Теории, концепции и иные обобщения эмпирического материала не выводятся логически из этого материала. Одну и ту же совокупность фактов можно обобщить по-разному и охватить разными теориями. Так, существуют не менее десяти теорий, охватывающих и объясняющих те же факты, что и общая теория относительности А. Эйнштейна. При этом ни одна из этих теорий, включая и теорию Эйнштейна, не вполне согласуется со всеми известными в своей области фактами.

Сами факты и теории не только постоянно расходятся между собой, но и никогда четко не отделяются друг от друга. Все это говорит о том, что согласие теории с экспериментами, фактами или наблюдениями недостаточно для однозначной оценки ее приемлемости. Эмпирическое обоснование всегда требует дополнения теоретическим. Не эмпирический опыт, а теоретические рассуждения оказываются обычно решающими при выборе одной из конкурирующих концепций.

В отличие от эмпирического обоснования, способы теоретического обоснования чрезвычайно многообразны и внутренне разнородны. Они включают дедуктивное обоснование, системную аргументацию, методологическую аргументацию и т. д. Никакой единой, проведенной последовательно классификации способов теоретического обоснования не существует.

Логическое, или дедуктивное, обоснование — это выведение обосновываемого положения из иных, ранее принятых утверждений. Если выдвинутое положение удастся логически (дедуктивно) вывести из уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той же мере, что и сами эти положения. Допустим, кто-то отстаивает идею, что никаких надежных концепций нет. Однако сама эта идея выражает как раз такую концепцию. Ошибочному мнению, что надежных концепций нет можно противопоставить его отрицание: есть по меньшей мере одна такая концепция, а именно концепция, что надежных концепций нет. Отсюда следует, что такие концепции существуют.

Обоснование утверждения путем выведения его из других принятых положений не делает это утверждение абсолютно достоверным и неопровержимым. Но такое обоснование в полной мере переносит на него ту степень достоверности, которая присуща положениям, принимаемым в качестве посылок дедукции. Если, скажем, мы убеждены, что все люди смертны и что Сократ при всей его особенности и неповторимости — человек, мы обязаны признать, что и он смертен.

Обоснование одних утверждений путем ссылки на истинность или приемлемость других утверждений не единственная функция, выполняемая дедукцией. Дедуктивное рассуждение служит также для верификации утверждений: из проверяемого положения логически выводятся его эмпирические следствия; подтверждение этих следствий оценивается как возможный довод в пользу исходного положения.

Дедуктивное рассуждение может использоваться также для опровержения (фальсификации) гипотез. В этом случае демонстрируется, что вытекающие из них следствия являются ложными. Не достигшая успеха фальсификация данных гипотез представляет собой, как будет показано далее, ослабленный вариант верификации: неудача в опро-

вержении эмпирических следствий проверяемой гипотезы является аргументом, хотя и весьма слабым, в поддержку этой гипотезы.

И, наконец, дедукция используется для систематизации теории, прослеживания логических связей входящих в нее утверждений, построения обоснований, опирающихся на общие принципы, предлагаемые теорией. Прояснение логической структуры теории, укрепление ее эмпирической базы и выявление ее общих предпосылок является, как будет ясно из дальнейшего, вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.

Дедуктивное обоснование применимо во всех областях рассуждения и в любой аудитории. Вот, например, теологическое рассуждение средневекового философа И. С. Эриугены: «И если блаженство есть не что иное, как жизнь вечная, а жизнь вечная — это познание истины, то блаженство — это не что иное, как познание истины»<sup>1</sup>. Это рассуждение представляет собой дедуктивное умозаключение, а именно категорический силлогизм.

Удельный вес дедуктивного обоснования в разных областях знания существенно различается. Очень широко оно используется в математике и математической физике и только эпизодически в истории и философии. Аристотель писал, имея в виду как раз сферу приложения дедуктивного обоснования: «Не следует требовать от оратора научных доказательств, точно так же как от математики не следует требовать эмоционального убеждения»<sup>2</sup>. Сходную мысль высказывал и Ф. Бэкон: «...Излишняя педантичность и жестокость, требующие слишком строгих доказательств, а еще больше небрежность и готовность удовольствоваться весьма поверхностными доказательствами в других, принесли науке огромный вред и очень сильно задержали ее развитие»<sup>3</sup>.

Дедуктивное обоснование является очень сильным средством, но, как и всякое такое средство, оно может быть использовано только в узких областях. В зависимости от того, насколько широко используется дедуктивное обоснование, все науки принято делить на *дедуктивные* и *индуктивные*. В первых используется по преимуществу или даже единственно дедуктивное обоснование. Во вторых такое обоснование играет лишь заведомо вспомогательную роль, а на первом месте стоит эмпирическое обоснование, имеющее индуктивный, вероятностный характер. Типично дедуктивной наукой считается математика, образцом индуктивных наук являются естественные науки. Деление наук на дедуктивные и индуктивные, широко распростра-

<sup>1</sup> Эриугена И. О. О божественном предопределении // Сегодня. 1994. 6 авг.

<sup>2</sup> Аристотель. Метафизика. II, 3.

<sup>3</sup> Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1966. Т. I. С. 326.

ненное еще несколько десятилетий назад, сейчас во многом утратило свое былое значение. Оно ориентировано на науку, рассматриваемую в статике, прежде всего как систему надежно установленных истин.

Применение правил дедукции к любым посылкам гарантирует получение заключений, столь же надежных, как и сами посылки. Если посылки истинны, то истинны и логически выведенные из них заключения. На этом основании античные математики, а вслед за ними и античные философы настаивали на исключительном использовании дедуктивных рассуждений.

Средневековые философы и теологи также переоценивали значение дедуктивного обоснования. Их интересовали самые общие истины, касающиеся бога, человека и мира. Но чтобы убедить кого-то, что бог есть в своей сущности доброта, что человек — его подобие и что в мире царит божественный порядок, дедуктивное рассуждение, отправляющееся от немногих общих принципов, подходит гораздо больше, чем индукция или эмпирическое обоснование. Характерно, что все предлагавшиеся доказательства существования бога замышлялись их авторами как дедукции из самоочевидных посылок.

В начале Нового времени Декарт утверждал, что математика и в особенности геометрия являются моделью образа действий в науке. Он полагал, что фундаментальным научным методом является дедуктивный метод геометрии, и представлял себе этот метод как строгое рассуждение на основе самоочевидных аксиом. Он думал, что предмет всех физических наук должен быть в принципе тот же, что и предмет геометрии, и что с точки зрения науки единственно важными характеристиками вещей в физическом мире являются пространственные характеристики, изучаемые геометрией.

Декарт предлагал картину мира, в которой единственными реальностями, помимо бога, являются, с одной стороны, чисто математическая субстанция, не имеющая никаких характеристик, кроме пространственных; с другой — чисто мыслительные субстанции, бытие которых по существу заключается в мышлении, и в частности в их способности схватывать самоочевидные аксиомы и их дедуктивные следствия. Имеются, таким образом, с одной стороны, предмет геометрии, с другой — души, способные к математическому или геометрическому рассуждению. Познание есть только результат применения этой способности. Дедуктивное обоснование переоценивалось до тех пор, пока исследование мира носило умозрительный характер и ему были чужды опыт, наблюдение и эксперимент.

**Неясность понятия доказательства.** Понятие дедукции является общеметодологическим. В логике ему соответствует понятие доказательства. Оно обычно определяется как процедура обоснования истинности некоторого утверждения путем приведения тех истинных



утверждений, из которых оно логически следует. Это определение включает два центральных понятия логики: понятие истины и понятие логического следования. Оба эти понятия не являются в достаточной мере ясными. Это означает, что определяемое через них понятие доказательства также не может быть отнесено к ясным.

Многие наши утверждения не являются ни истинными, ни ложными, лежат вне «категории истины». К ним относятся оценки, нормы, номинальные определения, конвенции, предостережения и т. п. Они указывают, какой данная ситуация должна быть или в каком направлении ее нужно преобразовать. От описаний мы вправе требовать, чтобы они являлись истинными. Но удачный приказ, совет, приглашение мы характеризуем как эффективный или целесообразный, но не как истинный.

В стандартном определении доказательства используется понятие истины. Доказать некоторый тезис — значит логически вывести его из других, являющихся истинными положений. Но есть утверждения, не связанные с истиной. Очевидно также, что, оперируя ими, нужно быть и логичным и доказательным. Таким образом, встает вопрос о существенном расширении понятия доказательства. Оно должно охватывать не только описания, но и утверждения типа оценок и норм. Задача переопределения доказательства пока не решена ни логикой оценок, ни логикой норм. В результате понятие доказательства остается не вполне ясным по своему смыслу<sup>1</sup>.

Не существует, далее, единого понятия логического следования. Это понятие определяется через понятие закона логики: из утверждения (или системы утверждений) *A* логически следует утверждение *B* в том и только том случае, когда выражение «если *A*, то *B*» представляет собой закон логики. Это определение — только общая схема бесконечного множества возможных определений. Конкретные определения логического следования получаются из нее путем указания логической системы, задающей понятие логического закона. Логических же систем, претендующих на определение закона логики, в принципе существует бесконечно много. Хорошо известны, в частности, клас-

---

<sup>1</sup> О попытках распространения понятия доказательства на случай нормативных утверждений см.: *Ивин А. А.* Логика норм. М., 1973. Гл. 1. Можно отметить, что уже Юм определял доказательство как аргумент, не оставляющий места для сомнения. Определение Юма выходило, как кажется, за рамки простого утверждения о невозможности сомнения, поскольку предполагало, что невозможность сомнения сама должна быть основана на том, что нет основания для сомнения. Иными словами, Юм связывал понятие доказательства с идеей отсутствия рационального (обоснованного) основания для сомнения. С определением Юма перекликаются современные определения доказательства как рассуждения, убеждающего нас настолько, что с его помощью мы готовы убеждать других. Подобный подход к доказательству не связывает его однозначно с категорией истины.

сическое определение логического следования, интуиционистское его определение, определение следования в так называемой релевантной логике и др. Ни одно из имеющихся в современной логике определений логического закона и логического следования не свободно от критики и от того, что можно назвать парадоксами логического следования.

Образцом доказательства, которому в той или иной мере стремятся следовать во всех науках, является математическое доказательство. «Нигде нет настоящих доказательств, кроме как в науке геометров и там, где ей подражают»<sup>1</sup>. Под «геометрией» Паскаль имел в виду, как это было обычным в его время, всю математику.

Долгое время считалось, что математическое доказательство представляет собой ясный и бесспорный процесс. В нашем веке отношение к математическому доказательству изменилось. Математики разбились на группировки, каждая из которых придерживается своей версии понятия доказательства. Причиной этого послужили несколько обстоятельств. Прежде всего, изменились представления о лежащих в основе доказательства логических принципах. Исчезла уверенность в их единственности и непогрешимости. Возникли также разногласия по поводу того, сколь далеко простирается сфера логики. Логицисты были убеждены, что логики достаточно для обоснования всей математики. По мнению формалистов, одной лишь логики для этого недостаточно и логические аксиомы необходимо дополнить чисто математическими принципами. Представители теоретико-множественного направления не особенно интересовались логическими принципами и не всегда указывали их в явном виде. Интуиционисты из принципиальных соображений считали нужным вообще не вдаваться в логику.

Подводя итог этому пересмотру понятия доказательства в математике, американский математик Р. Л. Уайлдер пишет, что математическое доказательство есть не что иное, как «проверка продуктов нашей интуиции ... Совершенно ясно, что мы не обладали и, по-видимому, никогда не будем обладать критерием доказательства, не зависящим ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует критерий, будь то отдельное лицо или школа мышления. В этих условиях самое разумное, пожалуй, признать, что, как правило, в математике не существует абсолютно истинного доказательства, хотя широкая публика убеждена в обратном»<sup>2</sup>.

Математическое доказательство является парадигмой доказательства вообще, но даже в математике оно не является абсолютным

<sup>1</sup> Паскаль Б. Избранное. М., 1989. С. 85.

<sup>2</sup> Wilder R. L. The Nature of Mathematical Proof // American Mathematical Journal. 1944. V. 51. P. 320.

и окончательным. «Новые контрпримеры подрывают старые доказательства, лишая их силы. Доказательства пересматриваются, и новые варианты ошибочно считаются окончательными. Но, как учит история, это означает лишь, что для критического пересмотра доказательства еще не настало время»<sup>1</sup>.

Математик не полагается на строгое доказательство в такой степени, как обычно считают. «Интуиция может оказаться более удовлетворительной и вселять большую уверенность, чем логика, — пишет математик М. Клайн. — Когда математик спрашивает себя, почему верен тот или иной результат, он ищет ответа в интуитивном понимании. Обнаружив непонимание, математик подвергает доказательство тщательнейшему критическому пересмотру. Если доказательство покажется ему правильным, то он приложит все силы, чтобы понять, почему интуиция подвела его. Математик жаждет понять внутреннюю причину, по которой успешно срабатывает цепочка силлогизмов ... Прогрессу математики, несомненно, способствовали главным образом люди, наделенные не столько способностью проводить строгие доказательства, сколько необычайно сильной интуицией»<sup>2</sup>.

Таким образом, даже математическое доказательство не обладает абсолютной убедительностью и гарантирует только относительную уверенность в правильности доказанного положения. Как пишет польский логик и философ К. Айдукевич, «сказать, что в дедуктивных науках обоснованными считаются такие утверждения, для которых приведено дедуктивное доказательство, значит мало что сказать, поскольку мы не знаем ясно, что представляет собой то дедуктивное доказательство, которое делает правомочным в глазах математика принятие доказанного утверждения или которое составляет его обоснование»<sup>3</sup>.

Переоценка роли доказательств в научном обосновании обычно связана с неявным допущением, что рациональная дискуссия — а именно такой и должна быть научная дискуссия — должна иметь характер доказательства, логического вывода спорных тезисов из некоторых исходных, кажущихся достаточно обоснованными принципов. Сами эти принципы следует принимать на веру, если мы желаем избежать бесконечного регресса, ссылки на все новые и новые принципы.

Однако реальные научные дискуссии только в редких случаях приобретают форму вывода обсуждаемых положений из каких-то

<sup>1</sup> Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С. 361.

<sup>2</sup> Там же. С. 362–363.

<sup>3</sup> Ajdukiewicz K. Zagadnienie uzasadniania // Język a poznanie. Warszawa, 1965. T. 1. S. 378–379.

более общих истин. Доказательство является ведущим способом обоснования только в математике и в современной логике. Но и в этих дисциплинах оно опирается в конечном счете на математическую или логическую интуицию.

Математик Ван Хао задается вопросом, существует ли доказательство независимо от нашего знания. «Изменяет ли доказательство смысл ранее недоказанного предложения? Изменяет ли новое доказательство математической теоремы ее смысл? Будем мыслить предложение как станцию в формальной системе. Кругом — страна, и мы не знаем, имеется ли какая-либо дорога, ведущая к станции. Вот мы находим одну дорогу, затем — другую. Но страна остается той же самой и станция — тоже. Под предложением мы оба понимаем теорему: существует бесконечно много простых чисел. Он знает доказательство, а я — нет. Имеет ли это предложение для нас обоих один и тот же смысл? Пока неизвестно, существует ли бесконечно много пар простых  $n$  и  $n + 2$  (пар близнецов). Изменит ли доказательство смысл этого предложения? Доказательство откроет новые связи и напомним ряд старых, известных связей и фактов, которые позволят каждому члену математического коллектива признать доказываемое предложение верным. Влияет ли возрастание знания на смысл предложения или отношение между знанием и смыслом только внешнее, напоминающее отношение между весом слона и нашим знанием этого веса?»<sup>1</sup>.

Ван Хао проводит такую аналогию. Имеются картины, кажущиеся хаотичными при первом взгляде. Только пристальное рассматривание позволяет обнаружить на подобной картине, например, человеческое лицо. Впечатление, которое мы получаем от картины, не воздействует на нее как на физический объект. Тем не менее картина означает разные вещи до того, как мы раскрыли в ней лицо, и после этого. Обнаруженное на картине лицо можно обвести карандашом, и каждый сможет увидеть его, хотя все конфигурации на картине останутся прежними.

Доказательство, связывающее доказанное утверждение с другими положениями теории, указывает точное место утверждения в рамках теории и тем самым конкретизирует его смысл. Смысл утверждения очевидным образом зависит не только от него самого, но и от его окружения, от способа его включенности в систему. Выявление новых связей утверждения и его нового или более точного положения в системе меняет и его смысл. Наше знание веса слона никак не влияет на сам этот вес. Иначе обстоит дело с объектами культуры, характер-

---

<sup>1</sup> Ван Хао. Процесс и существование в математике // Математическая логика и ее применение. М., 1965. С. 324–325.

ная особенность которых в том, что они всегда обладают определенным значением, или смыслом. Изменение знания о таком объекте, и в частности о его связях с другими объектами, меняет его смысловую составляющую и, значит, изменяет сам объект. В этом плане научное знание, представляющее собой продукт человеческой деятельности, является обычным объектом культуры.

## § 5. Системное обоснование

Трудно выделить утверждение, которое обосновывалось бы само по себе, в изоляции от других положений. Обоснование всегда носит системный характер. Включение нового положения в систему других положений, придающих устойчивость своим элементам, является одним из наиболее существенных шагов в его обосновании.

*Системное обоснование* — обоснование утверждения путем включения его в качестве составного элемента в кажущуюся хорошо обоснованной систему утверждений или теорию. Подтверждение следствий, вытекающих из теории, является одновременно и подкреплением самой теории. С другой стороны, теория сообщает выдвинутым на ее основе положениям определенные импульсы и силу и тем самым содействует их обоснованию. Утверждение, ставшее элементом теории, опирается уже не только на отдельные факты, но и во многом также на широкий круг явлений, объясняемых теорией, на предсказание ей новых, ранее неизвестных эффектов, на связи ее с другими теориями и т. д. Анализируемое положение, включенное в теорию, получает ту эмпирическую и теоретическую поддержку, какой обладает теория в целом.

Л. Витгенштейн писал о целостности и системности знания: «Не изолированная аксиома бросается мне в глаза как очевидная, но целая система, в которой следствия и посылки взаимно поддерживают друг друга»<sup>1</sup>. Системность распространяется не только на теоретические положения, но и на данные опыта: «Можно сказать, что опыт учит нас каким-то утверждениям. Однако он учит нас не изолированным утверждениям, а целому множеству взаимозависимых предложений. Если бы они были разрознены, я, может быть, и сомневался бы в них, потому что у меня нет опыта, непосредственно связанного с каждым из них»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Wittgenstein L. On certainty. Oxford, 1969. § 142.

<sup>2</sup> Ibid. § 140. «...Научные гипотезы и теории, — пишет о позиции Витгенштейна З. А. Сокулер, — не являются в его глазах логическими следствиями из предшествующего опыта, которые должны отбрасываться, как только появляется новое, опровергающее свидетельство. Любое предложение, гипотеза, теория опутаны многообразными связя-

Основания системы утверждений, замечает Витгенштейн, не поддерживают эту систему, но сами поддерживаются ею. Это значит, что надежность оснований определяется не ими самими по себе, а тем, что над ними может быть надстроена целостная теоретическая система.

**Внутренняя перестройка научной теории.** Важным, но пока почти не исследованным способом обоснования теоретического утверждения является *внутренняя перестройка теории*, в рамках которой оно выдвинуто. Эта перестройка, или переформулировка, предполагает введение новых образцов, норм, правил, оценок, принципов, меняющих внутреннюю структуру как самой теории, так и постулируемого ею «теоретического мира».

Новое научное, теоретическое положение складывается не в вакууме, а в определенном теоретическом контексте. Контекст теории определяет конкретную форму выдвигаемого положения и основные перипетии его последующего обоснования. Если научное предложение берется в изоляции от той теоретической среды, в которой оно появляется и существует, остается неясным, как ему удастся в конце концов стать элементом достоверного знания.

Выдвижение предположений диктуется динамикой развития той теории, к которой они относятся, стремлением ее охватить и объяснить новые факты, устранить внутреннюю несогласованность и противоречивость во многом поддержка, получаемая новым положением от теории, связана с внутренней перестройкой последней. Эта перестройка может заключаться во введении номинальных определений (определений-требований) вместо реальных (определений-описаний), в принятии дополнительных соглашений относительно изучаемых объектов, уточнении основополагающих принципов теории, в изменении иерархии этих принципов и т. д.

Теория придаст входящим в нее положениям определенную силу. Эта поддержка во многом зависит от положения утверждения в теории, в иерархии составляющих ее утверждений. Перестройка теории, обеспечивающая перемещение какого-то утверждения от ее «периферии» к ее «ядру» сообщает этому утверждению большую системную поддержку. Подобного рода внутреннюю перестройку теории можно попытаться проиллюстрировать на упрощенном примере.

---

ми с элементами некоторого целого, в которое они входят. Научные гипотезы и теории имеют как бы “подпорки” в виде явлений в объяснении которых они используются, смежных теорий, обосновывающихся с их помощью, и пр. Чтобы теория или гипотеза была отброшена, недостаточно одного опровергающего свидетельства. Требуется что-то такое, что могло бы перевесить всю систему “подпорок”» (Сокулер З. А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в. Долгопрудный, 1994. С. 154).

Допустим, нам надо установить, что объединяет между собой следующие города: Вадуц, Валенсия, Валлетта, Ванкувер, Вена, Вьентьян. Сразу можно выдвинуть предположение, что это — города, являющиеся столицами. Действительно, Вьентьян — столица Лаоса, Вена — Австрии, Валлетта — Мальты, Вадуц — Лихтенштейна. Но Валенсия не столица Испании, а Ванкувер не столица Канады. Вместе с тем Валенсия — главный город одноименной испанской провинции, а Ванкувер — одноименной канадской провинции. Чтобы сохранить исходную гипотезу, мы должны соответствующим образом уточнить определение понятия столицы. Будем понимать под «столицей» главный город государства или его территориальной части: провинции, области и т. д. В таком случае Валенсия — столица провинции Валенсия, а Ванкувер — столица провинции Ванкувер. Благодаря перестройке «мира столиц» мы добились того, что наше исходное положение стало истинным.

Теория дает составляющим ее утверждениям дополнительную поддержку. Чем крепче сама теория, чем она яснее и надежнее, тем большей является такая поддержка. В силу этого совершенствование теории, укрепление ее эмпирической базы и прояснение ее общих, в том числе философских и методологических предпосылок является одновременно существенным вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.

## § 6. Условие совместимости

От обосновываемого утверждения требуется, чтобы оно находилось в согласии с фактическим материалом, на базе которого и для объяснения и понимания которого оно выдвинуто. Должно выполняться также *условие совместимости* — обосновываемое утверждение обязано соответствовать имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям и т. п.

Например, если кто-то предлагает детальный проект вечного двигателя, то нас прежде всего интересуют не тонкости конструкции и не ее оригинальность, а то, знаком ли ее автор с законом сохранения энергии. Как хорошо известно, энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, она только переходит из одной формы в другую. Это означает, что создание вечного двигателя несовместимо с одним из фундаментальных законов природы, следовательно, такой двигатель невозможен в принципе, независимо от его конструкции.

Как говорил еще в XIX в. один из французских романтиков, если человек заявляет, что его теория и открытия отменяют все предшествующие, то теория эта наверняка безумна и беспочвенна, а откры-

тия ложны. Здесь уместно привести и слова Т. Куна: «Ни одна теория никогда не решает всех головоломок, с которыми она сталкивается в данное время, а также нет ни одного уже достигнутого решения, которое было бы совершенно безупречно. Наоборот, именно неполнота и несовершенство существующих теоретических данных дают возможность в любой момент определить множество головоломок, которые характеризуют нормальную науку. Если бы каждая неудача установить соответствие теории природе была бы основанием для ее опровержения, то все теории в любой момент можно было бы опровергнуть»<sup>1</sup>.

Условие совместимости, являясь принципиально важным, не означает, конечно, что от каждого нового положения следует требовать полного приспособления к тому, что сегодня принято считать законом. Как и соответствие фактам, соответствие утверждения теоретическим истинам не должно истолковываться слишком прямолинейно. Может случиться, что новое знание заставит иначе посмотреть на то, что принималось раньше, уточнить или даже отбросить что-то из старого знания. Согласование с принятыми теориями разумно до тех пор, пока оно направлено на отыскание истины, а не на сохранение авторитета старой теории.

Если требование совместимости понимать абсолютно, возможность интенсивного развития науки исключается. В таком случае науке предоставляется возможность развиваться за счет распространения уже открытых законов на новые явления, но она лишается права пересматривать уже сформулированные положения. Фактически это есть отрицание развития науки. Конечно, открытие нового явления или выдвижение новой научной теории не всегда противоречит старым представлениям.

«В принципе, новое явление может быть обнаружено без разрушения какого-либо элемента прошлой научной практики. Хотя открытие жизни на Луне в настоящее время было бы разрушительным для существующих парадигм (поскольку они сообщают нам сведения о Луне, которые кажутся несовместимым с существованием жизни на ней), открытие жизни в некоторых менее изученных частях Галактики не было бы таким разрушительным»<sup>2</sup>.

Новая теория может не противоречить предшествующим, а может, во-первых, касаться исключительно тех явлений, которые ранее не были известны, или, во-вторых, быть теорией более высокого уровня, связывающей воедино группу теорий более низкого уровня. Например, закон сохранения энергии обеспечивает именно такую связь между динамикой, химией, электричеством, оптикой, теорией

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 186.

<sup>2</sup> Там же. С. 126.



теплоты и др. Возможны и другие связи между старыми и новыми теориями, не ведущие к их несовместимости. Но если бы все связи между теориями были таковы, то развитие науки было бы подлинно кумулятивным: новые явления просто раскрывали бы упорядоченность в некоторой области природы, до этого никем не замеченную, и в эволюции науки новое знание приходило бы на смену невежеству, а не другому знанию, не совместимому с прежним. Однако, заключает Кун, упрямые факты истории науки говорят о том, что «кумулятивное приобретение новшеств не только фактически случается редко, но в принципе невозможно»<sup>1</sup>.

В самом начале своей статьи о планетарной модели атома английский физик Э. Резерфорд, выдвинувший эту модель, писал: «Вопрос об устойчивости предлагаемого атома на этой стадии не следует подвергать сомнению...» И действительно, по классическим законам, атом не мог быть устроен наподобие Солнечной системы: вращение вынуждало бы электроны непрерывно излучать энергию, а потеря энергии приводила бы их, в согласии с механикой Ньютона, к неминуемому падению на ядро. С точки зрения предшествовавших представлений модель Резерфорда была теоретически незаконнорожденной.

История науки наглядно показывает, что новая теория, радикально порывающая с традицией, на первых порах буквально погружена в «океан аномалий». Гелиоцентрическое учение Коперника во времена Галилея было настолько явно и очевидно несовместимо с фактами, что Галилей назвал его явно ложным. «Нет пределов моему изумлению тому, — писал он, — как мог разум Аристарха [античного предшественника этого учения] и Коперника произвести такое насилие над их чувствами, чтобы вопреки последним восторжествовать и убедить»<sup>2</sup>.

Модель атома, созданная в начале XX в. Н. Бором, была введена и сохранена, несмотря на явные и точные свидетельства, не согласующиеся с ней. Теория оптических цветов И. Ньютона утверждала, что свет состоит из лучей различной преломляемости, которые могут быть разделены, воссоединены, подвергнуты преломлению, но никогда не изменяют своего внутреннего строения и обладают чрезвычайно малым пространственным свечением. Сам Ньютон признавал, что его теория лучей несовместима с существованием зеркальных отображений. Поскольку поверхность зеркала является гораздо более грубой, чем поперечное сечение лучей, зеркало не должно отражать свет. Ньютон спас свою теорию, введя особую гипотезу, со-

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. С. 128.

<sup>2</sup> Цит. по: Фейерabend П. Указ. соч. С. 187.

гласно которой отражение луча производится не одной точкой отражающего тела, но некоторой «силой тела», равномерно рассеянной по всей его поверхности. Что представляет собой эта «сила», было совершенно неясно.

**Гипотезы, противоречащие фактам.** Ни одна гипотеза не способна охватить всех явлений, изучаемых в конкретной области. Круг их не определен однозначно и жестко, границы его в большей или меньшей мере размыты. Как правило, гипотеза ориентируется не на все факты, а лишь на немногие, но ключевые в каком-то смысле. Сами факты не являются чем-то абсолютно твердым и неизменным. Они могут пересматриваться, уточняться и даже отбрасываться. Новая теория с этого и начинается — с перепроверки и собственной интерпретации наиболее важных из ранее установленных фактов. Кроме того, полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты часто только благодаря гипотезе, вступившей в конфликт с этим фактом.

Факт не просто то, что непосредственно дано в опыте, что мы видим, слышим и т. п. Факт всегда существует в рамках определенной теоретической конструкции и является теоретически нагруженным: помимо чисто чувственного значения он имеет и определенное теоретическое содержание. Гипотеза, не отвечающая факту, вырывает его из привычного теоретического контекста и тем самым повышает вероятность обнаружить в нем то, что раньше проходило незамеченным.

Иногда гипотезы, противоречащие фактам, позволяют увидеть в уже известных фактах совершенно новую сторону, как бы стертую или затусшеванную той прежней теорией, через очки которой мы взирали на них. Это можно уподобить тому, как эксперты-криминалисты рассматривают стертые надписи в ультрафиолетовых лучах: невидимое при обычном свете проступает в условиях необычного освещения; или мы рассматриваем предмет на контрастном фоне: детали, незаметные на белом фоне, могут привлечь внимание, когда предмет помещается на черный или цветной фон.

Таким образом, в конкретном исследовании могут оказаться полезными даже гипотезы, прямо и недвусмысленно не согласующиеся с устоявшимися фактами. В большинстве случаев эти гипотезы обречены на провал, но даже будучи опровергнуты, они приносят пользу — представляют известное в новом, необычном свете. Все это относится и к согласованию гипотез с принятыми в науке законами и теориями.

Итак, выдвигаемая гипотеза должна учитывать весь относящийся к делу фактический и теоретический материал и соответствовать ему. Но если конфликт между опытом и теорией все-таки имеет место, гипотеза должна быть в состоянии доказать несостоятельность того, что

раньше принималось за твердо установленный факт или за доказанное теоретическое положение. Во всяком случае, она должна позволять по-новому взглянуть на исследуемые явления, на факты и их теоретическое осмысление.

## § 7. Соответствие регулятивным принципам

Новое положение должно находиться в согласии не только с хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными общими принципами, сложившимися в практике научных исследований. Эти принципы, называемые часто *регулятивными*, разнородны, обладают разной степенью общности и конкретности, соответствие им желательно, но не обязательно.

**Принцип простоты.** Наиболее известный из регулятивных принципов — *принцип простоты*. Согласно ему, при объяснении изучаемых явлений не должно быть много независимых допущений, а те, что используются, должны быть возможно более простыми. Данный принцип проходит через всю историю естественных наук. Многие крупнейшие естествоиспытатели указывали, что в своих исследованиях они руководствовались именно этим принципом. В частности, И. Ньютон выдвигал особое требование «не излишествовать» в причинах при объяснении явлений.

Вместе с тем понятие простоты не однозначно. Можно говорить о простоте допущений, лежащих в основе теоретического обобщения, о независимости друг от друга таких допущений. Но простота может пониматься и как удобство манипулирования, легкость изучения и т. д. Не очевидно также, что стремление обойтись меньшим числом посылок, взятое само по себе, повышает надежность выводимого из них заключения.

«Казалось бы, разумно искать простейшее решение. Но это предполагаемое свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать... действующие нормы простоты, как бы их ни было трудно сформулировать, играют все более важную роль. В компетенцию ученого входит обобщение и экстраполяция образцовых данных и, следовательно, постижение законов, покрывающих больше явлений, чем было учтено; и простота в его понимании как раз и есть то, что служит основанием для экстраполяции. Простота относится к сущности статистического вывода. Если данные ученого представлены в виде точек, а закон должен быть представлен в виде кривой, проходящей через эти точки, то он чертит самую плавную, самую простую кривую, какую только может. Он даже немного воздействует на точки, чтобы упростить задачу, оправдываясь неточностью измерений. Если

он может получить более простую кривую, вообще опустив некоторые точки, он старается объяснить их особым образом... Чем бы ни была простота, она не просто увлечение»<sup>1</sup>.

Простота не столь необходима, как согласие с опытными данными и соответствие ранее принятым теориям. Но иногда обобщения формулируются таким образом, что точность и соответствие опыту в какой-то степени приносятся в жертву достижению приемлемого уровня простоты; стремление к простоте особенно проявляется при математических вычислениях. Например, в физике есть законы, выражающие те или иные пропорциональности, скажем, закон Гука в теории упругости, закон Ома в теории электричества. Во всех подобных случаях не возникает сомнений, что нелинейные отношения описывали бы факты с большей точностью, но до тех пор, пока это возможно, пытаются добиться успеха, используя линейные законы<sup>2</sup>.

Требование простоты меняет свое значение в зависимости от контекста. Так, чисто математическая оценка простоты зависит от уровня развития математики. Одно время физики предпочитали законы, не требующие для своего выражения дифференциальных уравнений. В этот период в противоборстве корпускулярной и волновой теорий света использовался довод, что корпускулярная теория обладает большей математической простотой, в то время как волновая теория требует решения сложных дифференциальных уравнений<sup>3</sup>.

**Принцип привычности.** При оценке выдвигаемых предположений часто используется *принцип привычности (консерватизма)*. Он рекомендует избегать неоправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов.

«Привычность — это то же, чем мы пользуемся, когда ухитряемся “объяснить” новые сущности с помощью старых законов, например, когда мы придумываем молекулярную теорию, чтобы вернуть явления тепла, капиллярного притяжения и поверхностного напряжения в лоно привычных старых законов механики. Привычность имеет значение и тогда, когда “неожиданные наблюдения”... побуждают нас пересматривать старую теорию; действие привычности заключается в этом случае в предпочтении минимального изменения»<sup>4</sup>.

Принципы простоты и привычности обладают разной ценностью: если простота и консерватизм дают противоположные рекомендации, предпочтение должно быть отдано простоте. По мысли Куайна, эти

---

<sup>1</sup> Куайн У. В. О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII: Логический анализ естественного языка. М., 1986. С. 42–43.

<sup>2</sup> Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. С. 93.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Куайн У. В. О. Указ. соч. С. 43.

требования входят в «ядро» научного метода: научный метод в первом приближении может быть определен посредством обращения к чувственным данным, к понятию простоты и понятию привычности<sup>1</sup>.

**Принцип универсальности.** *Принцип универсальности* предполагает проверку выдвинутого положения на приложимость его к классу явлений, более широкому, чем тот, на основе которого оно было первоначально сформулировано. Если утверждение, верное для одной области, оказывается достаточно универсальным и ведет к новым заключениям не только в исходной, но и в смежных областях, его объективная значимость заметно возрастает. Тенденция к расширению сферы своей применимости в большей или меньшей мере присуща всем плодотворным научным обобщениям.

Хорошим примером здесь может служить гипотеза квантов, выдвинутая немецким физиком М. Планком. В конце XIX в. физики столкнулись с проблемой излучения так называемого абсолютно черного тела, т. е. тела, поглощающего все падающее на него излучение и ничего не отражающего. Планк предположил, что энергия излучается не непрерывно, а отдельными дискретными порциями — квантами, что позволило избежать не имеющих физического смысла бесконечных величин излучаемой энергии. На первый взгляд, гипотеза казалась объясняющей одно сравнительно частное явление — излучение абсолютно черного тела. Но если бы это было действительно так, гипотеза квантов вряд ли удержалась бы в науке. На самом деле введение квантов оказалось необычайно плодотворным и быстро распространялось на ряд других областей: А. Эйнштейн разработал на основе идеи о квантах теорию фотоэффекта. Н. Бор — теорию атома водорода. В короткое время квантовая гипотеза объяснила из одного основания чрезвычайно широкое поле весьма различных явлений.

Швейцарский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики В. Паули говорил: «Понять природу — это ведь значит действительно заглянуть в ее внутренние взаимосвязи, точно знать, что мы познали ее скрытые механизмы. Такое знание не дается познанием одного отдельного явления или одной отдельной группы явлений, даже когда мы открыли в них определенный порядок, оно приходит лишь благодаря тому, что познается как взаимосвязанное и редуцируется к одному простому корню огромное множество опытных фактов. Ведь достоверность покоится как раз на таком множестве. Опасность ошибки становится тем меньше, чем обильнее и многообразнее явления и чем проще общий принцип, к которому они могут быть возведены. Наша мысль удовлетворяется, когда мы познаем, что какая-нибудь особенная, по внешней видимости запутывающая си-

<sup>1</sup> Куайн У. В. О. Указ. соч. С. 46.

туация является лишь специфическим случаем чего-то более общего, что в качестве такового поддается более простой формулировке. Возведение пестрого множества к общему и простому, или, если сказать в духе греков “многого” к “единому”, и есть ведь то самое, что мы называем “пониманием”»<sup>1</sup>.

Расширение поля действия нового утверждения, его способность объяснять и предсказывать совершенно новые факты является несомненным и важным доводом в его поддержку. Подтверждение какого-то научного положения фактами и экспериментальными законами, существование которых до его выдвижения невозможно было даже предполагать, прямо говорит о том, что это положение отражает глубокое внутреннее родство изучаемых явлений<sup>2</sup>.

**Принцип красоты.** Английский физик П. Дирак говорил, что красивая, внутренне согласованная теория не может быть неверной. В этой лаконичной формулировке соединяются два других общих принципа, или требования, играющих важную роль в оценке новой теории: принцип красоты и принцип логичности. Согласно *принципу красоты*, хорошая теория должна отличаться особым эстетическим впечатлением, элегантностью, ясностью, стройностью и даже романтичностью.

Особую роль требование красоты играет и математике, меньшую — в естествознании и совсем малую — в гуманитарных науках. «Первые варианты большинства новых парадигм являются незрелыми. Когда со временем получает развитие полный эстетический образ парадигмы, оказывается, что большинство членов сообщества уже убеждены другими средствами. Тем не менее значение эстетических оценок может иногда оказываться решающим. Хотя эти оценки привлекают к новой теории только немногих ученых, бывает так, что это именно те ученые, от которых зависит ее окончательный триумф. Если бы они не приняли ее быстро в силу чисто индивидуальных причин, то могло бы случиться, что новый кандидат в парадигмы никогда не развился бы достаточно для того, чтобы привлечь благосклонность

---

<sup>1</sup> Цит. по: Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. М., 1980. С. 54–55.

<sup>2</sup> К. Поппер сводит принцип универсальности к принципу простоты: «Новая теория должна исходить из *простой новой, плодотворной и объединяющей идеи* относительно некоторой связи или отношения (такого, как гравитационное притяжение), существующего между до сих пор не связанными вещами (такими, как планеты и яблоки) или фактами (такими, как инерционная и гравитационная массы), или новыми “теоретическими сущностями” (такими, как поля и частицы). Это *требование простоты* несколько неопределенно и, по видимому, его трудно сформулировать достаточно ясно. Кажется однако, что оно тесно связано с мыслью о том, что наши теории должны дописывать структурные свойства мира, то есть с мыслью, которую трудно развить, не впадая в регресс и бесконечность» (Поппер К. Указ. соч. С. 365).

научного сообщества в целом. Ни астрономическая теория Коперника, ни теория материи де Бройля не имели других сколько-нибудь значительных факторов привлекательности, когда впервые появились. Даже сегодня общая теория относительности Эйнштейна действует притягательно главным образом благодаря своим эстетическим данным. Привлекательность подобного рода способны чувствовать лишь немногие из тех, кто не имеет отношения к математике»<sup>1</sup>.

Споры вокруг новых теорий во многом касаются не столько их способности к решению уже стоящих проблем, сколько перспектив, открываемых такими теориями в дальнейших исследованиях, в том числе и в разрешении будущих проблем. В силу этого выбор новой теории существенно опирается на веру в нее, на внутреннее убеждение в том, что у нее есть будущее.

Принципы простоты, привычности, универсальности, красоты и другие несут контекстуальный характер: их конкретизация зависит как от области знания, так и от стадии развития этого знания. Скажем, простота в физике не сводится к математической простоте и отличается от простоты в биологии или истории; простота сформировавшейся, хорошо обоснованной теории отлична от простоты теории, только ищущей свои основания.

Помимо указанных имеются и другие общие принципы, используемые при оценке новых идей и теории. Среди них есть не только неясные, но и просто ошибочные утверждения<sup>2</sup>. Такой же сложный, описательно-оценочный характер имеют разнообразные критерии совершенства теории и регулятивные принципы познания. К числу последних в естествознании относятся обычно, помимо упомянутых выше, принцип соответствия, принцип ограничений, принцип запретов, принцип инвариантности, принцип наблюдаемости, принцип эмпирической проверяемости, принцип дополнительности, принцип фальсифицируемости и т. д.<sup>3</sup>

Эти и подобные им принципы занимают промежуточное положение между требованиями, связанными с господствующим стилем мышления и принципами самих естественнонаучных теорий. «Не определяя содержания научных идей и не будучи формально-логическим обоснованием добытого теоретического знания, регулятивные принципы существенно ограничивают произвол в выборе основных положений строящейся концептуальной системы»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Кун Т. Указ. соч. С. 197.

<sup>2</sup> Карнап Р. Философские основания физики. М., 1975. С. 275–276.

<sup>3</sup> См об этом подробнее: Мамчур Е. А., Илларионов С. В. Регулятивные принципы построения теории // Синтез современного научного знания. М., 1973.

<sup>4</sup> Там же. С. 357.

Регулятивные принципы функционируют прежде всего как эвристические указатели, помогающие сформировать и реализовать исследовательскую программу, как *предписания*, касающиеся конструирования и оценки теоретических систем. Вместе с тем они формируются в самой практике научного исследования и являются попыткой осознать закономерности познания. В связи с этим они выполняют и функцию описания. Ими систематизируется и очищается от случайностей долгий опыт научных исследований, выявляются устойчивые связи между теорией и отображаемой ею реальностью, и уже на этой основе выдвигаются определенные образцы и требования.

Различные принципы обладают разной степенью общности и обоснованности. Они различаются также степенью настоятельности, или аподиктичности, выдвигаемых требований. Сопоставление теории с регулятивными принципами представляет собой подведение задаваемой ею «теоретической действительности» под некоторый стандарт или шаблон, т. е. является установлением ценностного отношения. Поэтому нет оснований утверждать, что данные принципы «выступают как средство обоснования истинности уже полученного теоретического знания»<sup>1</sup>.

## § 8. Стандарты адекватности

В каждой области знания есть свои *стандарты адекватности*, или приемлемости, новой идеи или теории. Они не только являются контекстуальными, но и имеют во многом конвенциональный характер. Эти стандарты, принимаемые научным сообществом, касаются общей природы объектов, которые предстоит исследовать и объяснить, той количественной точности, с которой это должно быть сделано, строгости рассуждений, широты данных и т. п.

Ранее принятые утверждения, когда они используются для защиты справедливости последующих, говорит М. Малкей, не обеспечивают полной надежности этого процесса, поскольку все научные утверждения в своей основе не вполне убедительны. Критерии адекватности не более надежны, ибо они даже не могут быть установлены с помощью обычных процедур, то есть посредством аргументации, базирующейся на контролируемых наблюдениях. Отчасти поэтому их трудно, как правило, сделать гибкими; в чем-то они сродни скрытому знанию, которое мастера своего дела передают друг другу в непосредственном общении<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Мамчур Е. А., Илларионов С. В. Указ. соч. С. 357.

<sup>2</sup> Малкей М. Указ. соч. С. 93.



Например, аристотелевские и схоластические объяснения сводились к сущностям материальных тел и их «скрытым качествам». Но уже в XVII в. на рассуждение о камне, который упал потому, что его «природа» движет его по направлению к центру Вселенной, стали смотреть лишь как на тавтологичную игру слов. Идея Ньютона, что тяготение является действительно некоей внутренней силой природы, вначале не принималась, поскольку подобным образом истолкованное тяготение было скрытым качеством в том же самом смысле, как и схоластическое понятие «стремление к падению».

Можно выделить определенные общие классы стандартов, или критериев, адекватности, однако отдельные стандарты, входящие в тот или иной класс, по-разному реализуются в каждой конкретной области исследований. Д. Равец выделяет два широких типа стандартов адекватности: относящиеся к процессам вывода и связанные с фактическими данными. Стандарты второго типа более разнообразны, «... ибо они контролируют не только условия продуцирования данных и информации, но также силу и пригодность этих данных в конкретном контексте»<sup>1</sup>.

Сложность множества релевантных стандартов адекватности сравнима со сложностью самой решаемой проблемы. Это множество существенным образом зависит от области исследований. «Следовательно, невозможно создать точный список критериев адекватности, использующихся в применении к некоторому широкому кругу проблем»<sup>2</sup>.

Сходную мысль высказывает и М. Малкей, уподобляющий стандарты адекватности неявному (скрытому) знанию, не допускающему сколько-нибудь полной кодификации: «Ранее принятые утверждения, когда они используются для защиты справедливости последующих, не обеспечивают полной надежности этого процесса, ибо все научные утверждения в своей основе не вполне убедительны. Критерии адекватности не более надежны, ибо они даже не могут быть установлены с помощью обычных процедур, то есть посредством аргументации, базирующейся на контролируемых наблюдениях. Отчасти поэтому их трудно, как правило, сделать четкими; в чем-то они сродни скрытому знанию, которое мастера своего дела передают друг другу в непосредственном общении, и эта их особенность помогает объяснить, почему философы пока что не преуспели и сколько-нибудь детальном их изучении. Это также означает, что такие критерии нелегко подвергать критическим публичным оценкам посредством журнальных публикаций. Итак, в то время как критерии научной адек-

<sup>1</sup> Ravetz J. R. *Scientific Knowledge Its Social Problems*. Oxford, 1971. P. 154.

<sup>2</sup> Ibid. P. 155.

ватности фигурируют в качестве ресурсов для оценки новых научных утверждений, их собственная «адекватность» может быть установлена лишь самым косвенным и ненадежным образом»<sup>1</sup>.

Теория, методы научного исследования и стандарты адекватности теснейшим образом переплетаются. С изменением теории обычно значительно изменяются и стандарты адекватности. Таким образом, новые научные утверждения не оцениваются с помощью универсальных и неизменных критериев. Принимаемые в науке правила обоснования, требование совместимости, общие принципы и стандарты адекватности не являются жесткими. Границы «научного метода» расплывчаты и отчасти конвенциональны. Любое значительное изменение теории ведет к изменению совокупности тех методологических средств, которые в ней используются. Даже выводы естественной науки определяются не только физическим, но и социальным миром.

## § 9. Методологическое обоснование

*Методологическое обоснование* представляет собой обоснование отдельного утверждения или целостной концепции путем ссылки на тот несомненно надежный метод, с помощью которого получено обосновываемое утверждение или отстаиваемая концепция. Например, для обоснования утверждения « $242 + 345 = 587$ » проще всего сослаться на однозначный, никогда не подводящий метод сложения чисел. Утверждая, что небо голубое, мы можем сослаться на то, что в обычных условиях оно всегда видится таким человеком с нормальным зрением. Если мы ошибаемся, говоря, что  $12 \times 12 = 145$ , то это залог существования процедуры счета, приводящей к правильным результатам. Если кто-то утверждает, что небо зеленое, мы в первую очередь интересуемся той системой требований, которой руководствовался наблюдатель, и в частности требований к его зрению.

Иногда методологической обоснованности придается столь большое значение, что в терминах метода определяется само понятие обоснованности. «Обосновать утверждение, значит оправдать его принятие с помощью метода, который обеспечивает достижение поставленной цели, например, обеспечивает получение истинного знания о действительности. Отнесение утверждения к обоснованным означает, что его принятие оправдано использованием процедуры, эффективной с точки зрения нашей цели и, далее, сама эта процедура заслуживает позитивной оценки и что следование ей позитивно ценно в аспекте данной цели. На эту оценку может опираться норма, позволя-

---

<sup>1</sup> Малкей М. Указ. соч. С. 96.

ющая применять данную процедуру всякий раз, когда нужно достичь данной цели»<sup>1</sup>.

Представления о сфере применимости методологической аргументации менялись от одной эпохи к другой. Существенное значение придавалось ей в новое время, когда считалось, что именно методологическая гарантия, а не соответствие фактам как таковое, сообщает суждению его обоснованность. Современная методология науки скептически относится к мнению, что строгое следование методу способно само по себе обеспечить истину и тем более служить ее обоснованием.

Возможности методологической аргументации различны в разных областях знания. Ссылки на метод, с помощью которого получено конкретное заключение, довольно обычны в естественных науках, крайне редки в социальных и гуманитарных науках и почти не встречаются в практическом и тем более в художественном мышлении. Методологическая аргументация является вполне правомерной, а в науке, когда ядро методологических требований достаточно устойчиво, необходимой. Однако методологические аргументы никогда не имеют решающей силы.

Прежде всего, методология социального и гуманитарного познания не настолько ясна и бесспорна, чтобы на нее можно было ссылаться. Иногда даже представляется, что в науках о культуре используется совершенно иная методология, чем в науках о природе. О методологии практического и художественного мышления вообще трудно сказать что-нибудь конкретное. Как пишет Х.-Г. Гадамер, «в опыте искусства мы имеем дело с истинами, решительно возвышающимися над сферой методологического познания, то же самое можно утверждать и относительно наук о духе в целом, наук, в которых наше историческое предание во всех его формах хотя и становится предметом исследования, однако вместе с тем само обретает голос в своей истине»<sup>2</sup>.

Далее, методологические представления ученых являются в каждый конкретный промежуток времени итогом и выводом предшеству-

<sup>1</sup> *Ajdukiewicz K.* *Lezyk a poznanie*. Т. 2. S. 334.

<sup>2</sup> *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1986. С. 40. Сходную мысль о «внеметодическом» («неоперационном») характере социального и гуманитарного мышления выражает М. Мерло-Понти: если «операционное» мышление «берется трактовать человека и историю и, полагая возможным не считаться с тем, что мы знаем о них благодаря непосредственному контакту и расположению, начинает их конструировать, и ходя из каких-то абстрактных параметров, то, поскольку человек в самом деле становится тем *manipulandum* (манипулируемым), которым думал быть, мы входим в режим культуры, где нет уже, в том, что касается человека и истории, ни ложного, ни истинного, и попадаем в сон или кошмар, от которого ничто не сможет пробудить». (*Мерло-Понти М.* *Око и дух*. С. 11).

ющей истории научного познания. Методология науки, формулируя свои требования, опирается на данные истории науки. Настаивать на безусловном выполнении этих требований значило бы возводить определенное историческое состояние науки в вечный и абсолютный стандарт.

Каждое новое исследование является не только применением уже известных методологических правил, но и их проверкой. Исследователь может подчиниться старому методологическому правилу, но может и счесть его неприменимым в каком-то конкретном новом случае. История науки включает как случаи, когда апробированные правила приводили к успеху, так и случаи, когда успех был результатом отказа от какого-то устоявшегося методологического стандарта. Ученые не только подчиняются методологическим требованиям, но и критикуют их и создают как новые теории, так и новые методологии.

## § 10. Принципиальная проверяемость и опровержимость

Еще одним способом теоретического обоснования является анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения. От научных положений требуется, чтобы они допускали принципиальную возможность своего опровержения и предполагали определенные процедуры своего подтверждения. Если этого нет, относительно выдвинутого положения нельзя сказать, какие ситуации и факты несовместимы с ним, а какие — поддерживают его. Положение, в принципе не допускающее опровержения и подтверждения, оказывается вне конструктивной критики, оно не намечает никаких реальных путей дальнейшего исследования. Такое утверждение нельзя, конечно, признать обоснованным.

Вряд ли можно назвать обоснованным, допустим, предположение, что ровно через десять лет в этом же месте будет солнечно и сухо. Оно не опирается ни на какие факты, нельзя даже представить, как можно было бы опровергнуть или подтвердить его, если не сейчас, то хотя бы в недалеком будущем.

«Душа не может прыгнуть выше самой себя, то есть не может устанавливать какие-либо абсолютные истины; ибо ее собственная полярность обуславливает релятивность ее высказываний. Когда душа провозглашает абсолютные истины, как например, “Вечная сущность есть Единое”, она *nolevolens* впадает в те или иные противоречия. Ведь с одинаковым успехом могли бы значиться: “Вечная сущность есть покой” или “Вечная сущность есть Все”. В своей односторонности душа разрушает самое себя и утрачивает способ-

ность познавать»<sup>1</sup>. Приводимые Юнгом суждения о «вечной сущности» явно не допускают даже в принципе эмпирического подтверждения или опровержения. Нельзя надеяться также на то, что когда-то удастся эмпирически подтвердить или опровергнуть и такие, высказываемые самим Юнгом суждения: «Неверно, будто наше восприятие способно охватить все формы существования» и «То, что душа может сама высказать о себе, никогда не превосходит ее самое»<sup>2</sup>.

Не допускающая фальсификации теория не налагает никаких ограничений на описываемую ею область явлений и обладает неограниченными объяснительными возможностями. «Я обнаружил, что те из моих друзей, которые были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под впечатлением их явной объяснительной силы. Казалось, эти теории способны объяснить практически все, что происходило в той области, которую они описывали. Изучение любой из них будто приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвященных» Раз ваши глаза были однажды раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон верификациями теории. Все, что происходит, подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с их классовыми интересам, либо в силу присущей им подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении»<sup>3</sup>. Непрерывный поток подтверждений и наблюдений, «верифицирующих» теорию, является выражением не силы, а, наоборот, слабости этой теории.

Требование, чтобы научная теория допускала принципиальную возможность опровержения, Р. Арон использует для критики теории заработной платы Маркса. Теория, согласно которой стоимость рабочей силы измеряется стоимостью товаров, необходимых рабочему и его семье, либо ложна, либо не подлежит опровержению и, следовательно, является ненаучной. Объем необходимых товаров представляет собой либо физиологический минимум, либо минимум, меняющийся от общества к обществу. По Марксу, минимум определяется скорее уровнем культуры, чем естественными потребностями. В этом случае, каков бы ни был уровень зарплаты, он никогда не будет выше того минимума, которого требуют коллективное сознание и потребности трудящегося. И никогда не будет противоречия между теорией

<sup>1</sup> Юнг К. Г. Поздние мысли // Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 298.

<sup>2</sup> Там же. С. 299.

<sup>3</sup> Поннер К. Указ. соч. С.242.

и сколь угодно высоким уровнем зарплаты. «Но является ли теория научной в современном смысле слова, если ни один факт не может ее опровергнуть?»<sup>1</sup>

Об историческом материализме Маркса Арон пишет, что он также «не поддается ни верификации, ни опровержению. При анализе капитализма его нельзя опровергнуть количественными данными, так как он их не признает. При анализе исторических событий он опять-таки неопровержим, потому что он в конце концов их объясняет и принимает»<sup>2</sup>.

Положения, в принципе не допускающие проверки, надо, конечно, отличать от утверждений, непроверяемых лишь сегодня, на нынешнем уровне развития науки. Сто с небольшим лет назад представлялось очевидным, что мы никогда не узнаем химического состава отдаленных небесных тел. Различные гипотезы на этот счет казались принципиально непроверяемыми. Но после создания спектроскопии они сделались не только проверяемыми, но и перестали быть гипотезами, превратившись в экспериментально устанавливаемые факты. В начале XVI в. Фрекасторо предположил, что некоторые болезни переносятся мельчайшими существами, невидимыми невооруженным глазом. До открытия микроскопа это предположение оставалось только абстрактной гипотезой. О ней нельзя было, однако, сказать, что она не допускает эмпирической проверки в будущем.

Утверждения, не допускающие проверки, не отбрасываются сразу, если в принципе остается возможность проверки их в будущем. Но обычно такие утверждения не становятся предметом серьезных научных дискуссий. Так обстоит дело, например, с предположением о существовании внеземных цивилизаций, практическая возможность проверки которого пока что ничтожна.

Требование принципиальной фальсифицируемости является важным, но в реальной практике его непросто приложить. Оно предполагает, с одной стороны, изолированность теоретических утверждений, с другой — наличие абсолютно проблематичных наблюдений. Но любое теоретическое утверждение связано с другими подобными утверждениями и зависит от них. Наблюдения теоретически нагружены и для установления их смысла необходимы некоторые теоретические допущения. Исследователь никогда не оказывается в ситуации, когда он может сравнивать изолированное теоретическое утверждение с ничем не опосредованным миром. Далее, требование фальсифицируемости предполагает, что утверждения, сопоставляемые с опытом, формулируются с помощью достаточно определен-

<sup>1</sup> Арон Р. Мнимый марксизм. М., 1993. С. 278–279.

<sup>2</sup> Там же. С. 334.

ных терминов, чтобы исключить сомнения в том, противоречат данные утверждения каким-то фактам или нет. Этому предположению не удовлетворяют многие гипотезы, особенно в социальных и гуманитарных науках. Допустим, кто-то утверждает, что все поступки совершаются исключительно из эгоистических побуждений. До тех пор, пока понятие эгоизма не будет должным образом уточнено, выдвинутая гипотеза будет неуязвимой для критики. Каждый контрпример поведения, кажущегося альтруистическим, можно истолковывать, смещая смысл слова «эгоистический», как подтверждение глубинного эгоизма, находящего в альтруизме свое парадоксальное выражение. И, наконец, требование фальсифицируемости трудно применить в таких науках, как математика и логика. Принято считать, что их суждения необходимо истинны. Как можно сопоставить их с эмпирическими данными? Какие «факты» можно противопоставить математической или логической теории? На эти вопросы нет ясных ответов. Математика и логика опираются в конечном счете на опыт, но это — совокупный опыт познания, не допускающий расчленения на отдельные «факты»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Сомнительно, пишет Т. Кун, что фальсифицирующий опыт действительно существует. «... Ни одна теория никогда не решает всех головоломок, с которыми она сталкивается в данное время, а также нет ни одного уже достигнутого решения, которое было бы совершенно безупречно. Наоборот, именно неполнота и несовершенство существующих теоретических данных дают возможность в любой момент определить множество головоломок, которые характеризуют нормальную науку. Если бы каждая неудача установить соответствие теории природе была бы основанием для ее опровержения, то все теории в любой момент можно было опровергнуть» (Кун Т. Указ. соч. С. 186).

## Глава VII

# КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

### § 1. Традиция

Универсальные приемы обоснования применимы в любой аудитории, контекстуальное обоснование эффективно лишь в определенных аудиториях. Контекстуальные способы обоснования должны включаться, как уже говорилось, в число рациональных способов убеждения.

«Размышление о том, чем является истина в науках о духе, не должно стремиться к мыслительному выделению самого себя из исторического предания, связанность которым сделалась для него очевидной. Такое размышление должно, следовательно, поставить себе самому требование, добиться от себя наивозможной исторической ясности своих собственных посылок... Оно должно ясно сознавать, что его собственное понимание и истолкование не является чистым построением из принципов, но продолжением и развитием издаелека идущего свершения. Оно не может, поэтому просто и безотчетно пользоваться своими понятиями, но должно воспринять то, что дошло до него из их первоначального значения»<sup>1</sup>.

В случае контекстуальных способов обоснования речь нужно вести, однако, не столько о «науках о духе» (науках о культуре), как это делает Гадамер, сколько о науках, истолковывающих мир не как бытие, а как становление. Именно в них всегда фигурирует «настоящее», от которого исследователь не в состоянии избавиться. Как раз они учитывают «стрелу времени», делающую контекстуальные аргументы необходимой составной частью всякого процесса обоснования. Что касается наук о культуре, то контекстуальное обоснование необходимо в них прежде всего потому, что они предполагают оценки.

Из всех контекстуальных аргументов наиболее употребимым и наиболее значимым является *аргумент к традиции*. В сущности, все контекстуальные аргументы содержат в свернутом, имплицитном виде ссылку на традицию. Признаваемые авторитеты, интуиция, вера, здравый смысл, вкус формируются исторической традицией и не могут существовать независимо от нее.

---

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1968. С. 176.



Чуткость научного сообщества к приводимым аргументам в значительной мере определяется теми традициями, которые оно разделяет. Это верно не только для обоснования в науках о культуре, но во многом и для обоснования в науках о природе. Традиция закрепляет те наиболее общие допущения, в которые нужно верить, чтобы аргумент казался правдоподобным, создает ту предварительную установку, без которой он утрачивает свою силу.

«...Один и тот же аргумент, выражающий одно и то же отношение между понятиями и опирающийся на хорошо известные допущения, в одно время может быть признан и даже прославляться, в другое — не произвести никакого впечатления»<sup>1</sup>. В качестве примера Фейерабенд приводит спор между сторонниками и противниками гипотезы Коперника. Стремление Коперника разработать такую систему мироздания, в которой каждая часть вполне соответствовала бы всем другим частям и в которой ничего нельзя было бы изменить, не разрушая целого, не могло найти отклика у тех, кто был убежден, что фундаментальные законы природы открываются нам в повседневном опыте, и кто, следовательно, рассматривал полемику между Аристотелем и Коперником как решающий аргумент против идей последнего. Из анализа индивидуальных реакций на учение Коперника следует, заключает Фейерабенд, что «аргумент становится эффективным только в том случае, если он подкреплён соответствующей предварительной установкой, и лишается силы, если такая установка отсутствует... Чисто формальных аргументов не существует»<sup>2</sup>.

*Традиция* представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образцов, норм, правил, которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей. Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее популярные традиции, как правило, не осознаются теми, кто следует им. Особенно наглядно это проявляется в «традиционном» обществе, где традициями определяются все сколько-нибудь существенные стороны социальной жизни.

Традиция является формой передачи социальных ценностей и способом воздействия прошлого на настоящее. Взаимодействие, говорит Г. Зиммель, сплетающее индивидов в их совместном бытии, постоянно пересекается с традицией, где определенное содержание переносится одним индивидом на другого, но не вызывает его противодействия. Это превращает общество в подлинно историческое об-

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 469.

<sup>2</sup> Там же.

разование: оно уже не только предмет истории, но прошлое еще обладает в нем действенной реальностью, в форме общественной традиции прошедшее становится основанием для определения настоящего. «Традиция — поразительное и создающее, собственно говоря, всю культуру и духовную жизнь человечества явление, посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше, как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя — даже если этот продукт чисто духовен, если он состоит только в учениях, в религиозных идеях, в возможности распространения чувства или в выражениях чувства, — есть подлинное условие роста культуры. Ибо культура прежде всего создает возможность суммирования достижений человечества, ведет ... к тому, что человек не только потомок, но и наследник»<sup>1</sup>.

Традиции, как уже говорилось, имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. В них аккумулируется предшествующий опыт успешной деятельности, и они оказываются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой проект и предписание будущего поведения. Традиции являются тем, что выражает пребывание человека в историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяющем прошлое и будущее.

Просвещение истолковывало традицию как одну из форм авторитета. На этом основании был выдвинут общий лозунг преодоления всех предрассудков и, прежде всего, предрассудков авторитета и предрассудков поспешности. Поспешность — источник ошибок, возникающих при пользовании собственным разумом. Она может быть устранена или скорректирована путем методически дисциплинированного употребления разума. Предрассудки авторитета проистекают из того, что люди вообще не пользуются собственным разумом, передоверяя способность рассуждать авторитету. И эти предрассудки самые опасные.

Как указывает Х.-Г. Гадамер, действительным результатом Просвещения является подчинение разуму всех авторитетов и в конечном счете — их отрицание. Противоположность между верой в авторитет и использованием собственного разума сама по себе вполне оправдана. «Авторитет, если он занимает место собственных суждений, и в самом деле становится источником предрассудков. Однако это не исключает для него возможности быть также источником истины; эту-то возможность и упустило из виду Просвещение, безоговорочно отвергнув

<sup>1</sup> Зиммель Г. Избранное. Т. I. Философия культуры. М., 1996. С. 535.

все предрассудки»<sup>1</sup>. Учение о предрассудках должно быть освобождено от просвещенческого экстремизма, вообще отрицающего авторитет как источник вне разумных суждений.

К традиции, истолкованной как разновидность авторитета, относится все, что касается авторитета вообще. «То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом, и все наше историческое конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами»<sup>2</sup>.

В значительной степени благодаря обычаям и преданию существуют нравы и этические установления. Все попытки основать систему морали на одном разуме, остаются абстрактными. Философы, начиная с Декарта, много раз обращались к проблеме рационально обоснованной системы морали, но в сущности ничего или почти ничего не достигли. Романтизм, достигший своего расцвета в начале XIX в., возвеличивал традицию и противопоставлял ее разумной свободе. Он рассматривал традицию как историческую данность, подобную данностям природы. В результате традиция оказывалась противоположностью свободного самоопределения, поскольку выступала как некая самоочевидность и не нуждалась в разумных основаниях.

«На мой взгляд, — пишет Гадамер, — безусловной противоположности между традицией и разумом не существует. Сколь бы проблематичной ни была сознательная реставрация старых или сознательное основание новых традиций, романтическая вера в «естественные традиции», перед которыми разум якобы просто-напросто умолкает, исполнена не меньших предрассудков и в основе своей носит просвещенческий характер»<sup>3</sup>. Истолкование Гадамером соотношения традиции и разума удачно избегает крайностей и Просвещения, и романтизма. Традиция завоевывает свое признание, опираясь прежде всего на познание, и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающей критического обсуждения.

Традиция — это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории. Следствием ошибочной трактовки соотношения традиции и разума является заключение о решающем влиянии традиции на убедительность аргументации. «У каждой традиции имеются свои способы привлечения сторонников, — пишет П. Фейерабенд. — Некоторые традиции осознают эти способы и варьируют их в соответствии с особенностями той или иной группы. Другие считают, что

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 331.

<sup>2</sup> Там же. С. 333.

<sup>3</sup> Там же. С. 334.

существует лишь один способ заставить людей принять эти взгляды. В зависимости от принятой традиции этот способ будет считаться приемлемым, смехотворным, рациональным, глупым или будет отброшен как “обычная пропаганда”. Один и тот же аргумент будет для одного наблюдателя лишь пропагандистской уловкой, для другого — выражением существа человеческого рассуждения»<sup>1</sup>.

Традиция действительно способна усиливать или ослаблять значение аргументов и даже производить определенную их селекцию. В первую очередь это касается контекстуальной аргументации. Но возможности традиции являются ограниченными. Она может снизить воздействие универсальной аргументации, но не способна отменить ее полностью. Точно также она не способна превращать любой аргумент в простую пропагандистскую уловку.

Противоположность традиции и разума носит относительный характер: традиции складываются не без участия разума. «Даже самая подлинная и прочная традиция, — пишет Гадамер, — формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы. По существу своему традиция — это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических переменах. Но такое сохранение суть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью. Отсюда проистекает то, что обновление, планирование выдают себя за единственное деяние и свершение разума. Но это всего лишь видимость. Даже там, где жизнь меняется стремительно и резко, как, например, в революционные эпохи, при всех видимых превращениях сохраняется гораздо больше старого, чем предполагают обыкновенно, и это старое господствует, объединяясь с новым в новое единство. Во всяком случае, сохранение старого является свободной установкой не в меньшей мере, чем переворот и обновление. Поэтому ни просвещенческая критика традиции, ни ее романтическая реабилитация не ухватывают ее подлинного исторического бытия»<sup>2</sup>.

Обращение к традиции для поддержки выдвигаемых положений — обычный способ аргументации в обществах, где господствует традиционализм и где традиция ставится если не выше разума, то, по меньшей мере, наравне с ним. В закрытых (коллективистических) обществах и сообществах с жесткой структурой аргумент к традиции является одним из самых весомых и убедительных. Это относится и к «нормальной» науке, продолжающей и развивающей определенную традицию.

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 494.

<sup>2</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 334—335.

Аргумент к традиции неизбежен во всех научных рассуждениях, в которые входит «настоящее» как тема обсуждения или как один из факторов, определяющих позицию исследователя. Иными словами, эксплицитное или имплицитное обращение к традиции является обычным приемом обоснования в науках о становлении, исходящих из «настоящего» и включающих не только историю, описывающую становление современного человечества, но и космологию, говорящую и формировании нынешней Вселенной. Поскольку традиция имеет не только дескриптивную, но и прескриптивную природу, социальные науки, тяготеющие к явным и неявным оценкам, так или иначе развиваются в контексте традиции.<sup>1</sup>

Обращение к традиции — обычный способ обоснования в морали. Наши установления и поступки в значительной степени определяются традицией. Все попытки обоснования или усовершенствования системы морали, абстрагирующиеся от традиции, неизбежно являются декларативными и не имеющими никаких практических последствий. «Совершенно нелегко было бы ожидать от совершенной науки и ее прогресса обоснования новой морали»<sup>2</sup>.

## § 2. Авторитет

Аргументу к традиции близок *аргумент к авторитету* — ссылка на мнение или действие лица, прекрасно зарекомендовавшего себя в данной области своими суждениями или поступками. Традиция складывается стихийно и не имеет автора, авторитетом же является конкретное лицо. Аргумент к авторитету встречается во всех областях познания и деятельности. Но если в науках о природе он представляется весомым на первых этапах развития новых теорий, то в науках о культуре аргумент к авторитету сохраняет свое значение и после того, как научная теория уже сформировалась и имеет уже достаточно твердые основания. Наиболее част аргумент к авторитету в закрытых обще-

---

<sup>1</sup> «...В науках о духе, вопреки всему их методологизму, присутствует действенный момент традиции, составляющий их подлинное существо и характерную особенность» (Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 336).

Как уже отмечалось, в эпоху Просвещения авторитет истолковывался более широко и традиция считалась одной из форм авторитета. Широко понимается «авторитет» и в обычном смысле, когда говорится об «авторитете власти», «авторитете разума» и т. п. В социологии авторитет обычно рассматривается как одна из форм воздействия власти, а именно как власть, которой сознательно и добровольно подчиняются. Два других вида действия власти — насилие и манипулирование, т. е. власть, о механизме действия которой подчиненные ничего не знают (см., напр.: Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 1998. С. 54).

<sup>2</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 332.

ствах с жесткой структурой, немыслимых не только без сохранения и соблюдения определенных традиций, но и без собственных, признаваемых всеми авторитетов.

*Научный авторитет* обычно пользуется одновременно и признанием и уважением. Его труды являются источником идей, определяющих направление исследований в соответствующей области знания, а его поведение представляет собой образец для подражания со стороны коллег по научному сообществу. Иными словами, научный авторитет, как правило, соединяет вместе авторитет *эпистемический* (авторитет знатока) и *деонтический* (авторитет вышестоящего лица), причем деонтический авторитет является не *авторитетом санкции*, а *авторитетом солидарности*: у следующих ему есть общая цель.

«Первым суеверием, связанным с авторитетом, является мнение, что авторитет и разум — вещи, противоречащие друг другу. На самом деле прислушиваться к авторитету — значит вести себя вполне благоразумно, в соответствии с разумом. ...Даже в науке мы прибегаем к авторитету. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на обширные библиотеки, имеющиеся в любом научном институте. Книги в этих библиотеках чаще всего содержат обзоры научных результатов, полученных другими учеными, т. е. высказывания эпистемических авторитетов»<sup>1</sup>.

Ученые, авторитетные в какой-то области знания, выполняют ряд функций, связанных с сохранением и обновлением ценностей, структур знания, норм поведения и систем деятельности в этой области<sup>2</sup>. В числе этих функций:

- сохранение канона знания и правил научной деятельности;
- «узаконение» изменений в структуре теории и в научной методологии; «нельзя всерьез говорить о введении изменений в теорию или методы, признаваемые данным научным сообществом (ни также об изменении формы или процедуры поисков и исследований), без признания научных авторитетов поборниками таких изменений, причем авторитетов, выступающих вместе и в существенном согласии друг с другом»<sup>3</sup>;
- «легализация» возникновения новых научных дисциплин;
- введение в свой круг новых авторитетов путем признания их высокой научной квалификации и особых личностных качеств;

<sup>1</sup> Бохеньский Й. Сто суеверий. М., 1993. С. 16.

<sup>2</sup> См. об этом подробнее: Goćkowski J. Autorytet w nauce // Filozofia i nauka. Warszawa, 1987.

<sup>3</sup> Ibid. S. 45–46.

- определение «проблемной ситуации» в своей области знания, основного содержания ведущихся в ней дискуссий;
- установление связи между традицией и инновацией в сферах исследования и обучения;
- формирование профессиональной этики ученых, стиля жизни и аксиологической ориентации своего сообщества и научного сообщества в целом.

Наука, взятая в динамике, представляет собой деятельность достаточно большого и устойчивого коллектива людей, направленную на отыскание и обоснование нового знания. Эта деятельность подчиняется тем общим принципам, которыми руководствуется всякая коллективная человеческая деятельность. В этом плане сообщество ученых, в сущности, не отличается от политических партий, от сообществ служителей определенного культа и т. п. И как любая коллективная деятельность, наука невозможна без признаваемых научным сообществом авторитетов.

Ссылка на авторитет, на сказанное или написанное кем-то не относится к универсальным способам обоснования. Разумеется, авторитеты нужны, в том числе и в теоретической сфере. Возможности отдельного человека ограничены, далеко не все он в состоянии самостоятельно проанализировать и проверить. Во многом он вынужден полагаться на мнения и суждения других. Но полагаться следует не потому, что это сказано «тем-то», а потому, что сказанное представляется правильным. Слепая вера во всегдашнюю правоту авторитета, а тем более суеверное преклонение перед ним плохо совместимы с поисками истины, добра и красоты, требующими непредвзятого, критичного ума. Как говорил Б. Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе».

Авторитет принадлежит определенной человеческой личности, но авторитет личности имеет своим последним основанием не подчинение и отречение от разума, а осознание того, что эта личность превосходит нас умом и остротой суждения. «Авторитет покоится на признании и, значит, на некоем действии: самого разума, который, сознавая свои границы, считает других более сведущими. К слепому повиновению приказам этот правильно понятый смысл авторитета не имеет вообще никакого отношения. Более того, авторитет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он связан, прежде всего, с познанием»<sup>1</sup>. Признание авторитета всегда опирается на допущение, что его суждения не носят неразумно-произвольного характера, а доступны пониманию и критическому анализу.

---

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 332.

### § 3. Интуиция

*Интуицию* обычно определяют как прямое усмотрение истины, постижение ее без всякого рассуждения и доказательства. Для интуиции типичны неожиданность, невероятность, непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути.

*Интуитивное обоснование* представляет собой ссылку на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого положения. Интуитивное обоснование в чистом виде является редкостью. В «непосредственном схватывании», внезапном озарении и прозрении много неясного и спорного. Философ науки М. Бунге говорит даже, что «интуиция — это коллекция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых мы не знаем, как их проанализировать, или даже как точно их назвать, либо такие, анализ которых нас не интересует. Поэтому, как правило, для результата, найденного интуитивно, задним числом подыскиваются основания, кажущиеся более убедительными, чем простая ссылка на интуитивную очевидность.

Тем не менее интуиция существует и играет заметную роль в познании. Далеко не всегда процесс научного постижения мира осуществляется в развернутом, расчлененном на этапы виде. Нередко человек охватывает мыслью сложную ситуацию, не отдавая отчета во всех ее деталях, да и просто не обращая внимания на них. Особенно наглядно это проявляется в принятии новых научных теорий, в военных сражениях, при постановке диагноза, при установлении виновности и невиновности и т. п.

Роль интуиции и, соответственно, интуитивной аргументации в математике и логике трудно переоценить. Существенное значение имеет интуиция в социальном и гуманитарном познании. Слово «интуиция» вошло в философию в качестве аналога древнегреческого термина, означающего познание предмета не по частям, а сразу, одним движением. В позднее Средневековье интуиция означала по преимуществу познание того, что конкретно и единично, в противовес абстрактному познанию.

В Новое время Декарт свел все акты мышления, позволяющие нам получать новое знание без опасения впасть в ошибку, к двум: интуиции и дедукции. «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя



и не может быть плохо построена человеком»<sup>1</sup>. Опираясь на первичную интуицию, Декарт пытался доказать, в частности, существование бога — «субстанции бесконечной, вечной, неизменной, независимой, всемогущей, создавшей и породившей меня и все остальные существующие вещи».

Начиная с Платона утверждается противопоставление интуиции и дискурсивного мышления. Интуиция — это божественный способ познания чего-нибудь одним лишь взглядом, в один миг, вне времени. Дискурсивное же мышление — человеческий способ познания, состоящий в том, что в ходе некоторого рассуждения последовательно, шаг за шагом разворачивается обоснование. Особой остроты противопоставление интуиции и дискурсивного мышления достигает у Канта. Он отрицает декартовскую интеллектуальную интуицию и выделяет чувственную интуицию и чистую интуицию пространства и времени. Последняя более фундаментальна, поскольку данные, даваемые чувствами, должны быть упорядочены в пространстве и времени. По Канту, аксиомы математики опираются на чистую интуицию: их истинность можно «увидеть» или «воспринять» непосредственно, благодаря этой интуиции. Кроме того, последняя участвует в каждом шаге каждого доказательства в математике. «Все выводы гарантированы от ошибок тем, что каждый из них показан наглядно»<sup>2</sup>.

Кант не совсем точно оценивает область применения интуиции в математике. Математические аксиомы далеко не всегда представляются интуитивно очевидными и их приемлемость только в редких случаях поддерживается одной лишь ссылкой на такую очевидность. Аксиомы оцениваются не столько сами по себе, сколько по множеству тех теорем, которые могут быть логически выведены из них. Последние могут быть далеки от какой-нибудь интуитивной очевидности. Наличие чистой интуиции в каждом отдельном шаге доказательства совершенно не является необходимым.

К идеям Канта близка концепция интуиционизма, выдвинутая Л. Э. Я. Брауэром в начале этого века. Математика рассматривается Брауэром как деятельность мысленного конструирования математических объектов на основе чистой интуиции времени. Математика — автономный находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она не является лингвистической и не зависит от языка. Слова используются в математике лишь для передачи открытых истин. Последние не зависят от словесного одевания, в которое их облекает язык, и не могут быть полностью выражены даже на особом математическом языке.

<sup>1</sup> Декарт Р. Правила для руководства ума. М.—Л., 1936. С. 57.

<sup>2</sup> Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 317.

После Канта под интуицией все более понимается интеллектуальная очевидность. Согласно А. Шопенгауэру, органом интуитивного, непосредственного, моментального познания того, что единично, является интеллект. Разум преобразует интеллектуальное познание в абстрактное. Последнее не расширяет знание, а только придает ему новую форму, способную выполнять практические функции и быть объектом межличностной коммуникации.

Своеобразную концепцию интуиции развивает русский философ первой половины прошлого века Н. О. Лосский. Он определяет интуицию как акт непосредственного созерцания предметов в подлиннике. Акты внимания, различения, направленные на предмет, ничего не меняют в нем. Поэтому мы знаем предметы в подлиннике, такими, как они существуют независимо от нас и нашего познания. Кант называл вещи в их бытии, независимо от познающего сознания, термином «вещь в себе» и считал их абсолютно непознаваемыми. Согласно интуитивизму Лосского, всякое знание есть знание о «вещах в себе». Логически обосновать знание о существовании внешнего мира невозможно. Поэтому необходимо допустить интуицию как непосредственное восприятие этого мира. Существуют также другие, абсолютно достоверные разновидности знания, которые может обеспечить только интуиция. По Лосскому, человек способен непосредственно созерцать в подлиннике любые виды и стороны бытия, существующие в мире. В чувственном опыте даны материальные процессы как нечто глубоко отличное от душевных процессов, наблюдаемых путем нечувственного опыта. Человек способен наблюдать не только свою, но и чужую душевную жизнь. Он способен наблюдать не только реальное бытие, но и бытие идеальное посредством интеллектуальной интуиции. Сверхлогические принципы, находящиеся в мире, и даже сверхмировое начало, бог, познаются посредством мистической интуиции<sup>1</sup>. В этой концепции интуиция оказывается надежным, а нередко и единственным возможным средством познания предметного мира (чувственная интуиция), идеального бытия (интеллектуальная интуиция), запредельного бытия (мистическая интуиция) и даже ценностных характеристик мира (аксиологическая интуиция).

Из других трактовок интуиции можно эскизно наметить следующие:

- интуиция Платона как созерцание стоящих за вещами идей, приходящее внезапно, но предполагающее длительную подготовку ума;
- интуиция «здорового смысла» Шотландской школы философов, дающая нам самоочевидные моральные и религиозные истины;

---

<sup>1</sup> Лосский Н. О. Учение о непосредственном интуитивизме. М., 1990. С. 137.

- художественная интуиция Шопенгауэра, улавливающая сущность мира как мировую волю;
- интуиция философии жизни Ницше, несовместимая с разумом, логикой и жизненной практикой, не постигающая мир как форму проявления жизни;
- интуиция Бергсона как непосредственное слияние субъекта с объектом и преодоление противоположности между ними;
- моральная интуиция Дж. Мура как непосредственное видение добра, не являющегося «естественным» свойством вещей и не допускающего рассудочного определения;
- интуиция З. Фрейда как скрытый, бессознательный первоисточник творчества;
- интуиция М. Полани как спонтанный процесс интеграции, непосредственного внезапного усмотрения целостности и взаимосвязи в ранее разрозненном множестве объектов.

Этот перечень можно продолжать долго. В сущности, едва ли не у каждого крупного философа и психолога имеется свое собственное понимание интуиции. В большинстве случаев эти понимания не исключают друг друга. Общим для всех истолкований интуиции является признание непосредственного характера интуитивного знания — оно представляет собой знание без осознания путей и условий его получения.

**Интуиция и логика.** Существует давняя традиция противопоставлять интуицию логике. Нередко интуиция ставится выше логики даже в математике, где роль строгих доказательств особенно велика.

Чтобы усовершенствовать метод в математике, говорил Шопенгауэр, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превышает интуитивного знания. Паскаль проводил различие между «духом геометрии» и «духом проничательности». Первый выражает силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений, второй — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке «дух проничательности» независим от логики и стоит неизмеримо выше ее. Еще раньше некоторые математики утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику, подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны.

Вряд ли такое неумеренное возвеличение интуиции в ущерб строгому логическому доказательству оправдано. Ближе к истине был, пожалуй, А. Пуанкаре, считавший, что логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, способная дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.

Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплетаются, поддерживая и дополняя друг друга. Доказательство санкционирует и узаконивает завоевания интуиции, оно сводит к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми всегда чревато интуитивное озарение.

По выражению математика Г. Вейля, логика — это своего рода гигиена, позволяющая сохранять идеи здоровыми и сильными. «Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, — пишет другой математик, М. Клайн, — то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя... интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям с множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции»<sup>1</sup>.

Уточняя и закрепляя завоевания интуиции, логика вместе с тем сама обращается к ней в поисках поддержки и помощи. Логические принципы не являются чем-то заданным раз и навсегда. Они формируются в многовековой практике познания и преобразования мира и представляют собой очищение и систематизацию стихийно складывающихся «мыслительных привычек». Вырастая из аморфной и изменчивой паралогической интуиции, из непосредственного, хотя и неясного «видения логического», эти принципы всегда остаются интимно связанными с изначальным, интуитивным «чувством логического». Не случайно строгое доказательство ничего не значит даже для математика, если результат остается непонятным ему интуитивно. Как заметил математик Л. Лебег, логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство.

Логику и интуицию не следует, таким образом, направлять друг против друга. Каждая из них необходима на своем месте и в свое время. Внезапное интуитивное озарение способно открыть истины, вряд ли доступные строгому логическому рассуждению. Однако

---

<sup>1</sup> Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С. 366.

ссылка на интуицию не может служить твердым и тем более окончательным основанием для принятия каких-то утверждений. Интуиция дает интересные новые идеи, но нередко порождает также ошибки, вводит в заблуждение. Интуитивные догадки субъективны и неустойчивы, они нуждаются в логическом обосновании. Чтобы убедить в интуитивно схваченной истине не только других, но и самого себя, требуется развернутое рассуждение, доказательство.

**Ошибочные представления об интуиции.** С интуицией связан ряд явно ошибочных идей. Такова, в частности, идея, что без интуиции, во всяком случае, без интуиции интеллектуальной, можно обойтись. Человек способен познавать, только рассуждая, выводя заключения, и не может что-то знать непосредственно. Хорошими контрпримерами этому убеждению являются математика и логика, опирающиеся в конечном счете на интеллектуальную интуицию.

Ошибочно и представление, будто интуиция лежит в основе всего нашего знания, а разум играет только вспомогательную роль. Интуиция не может заменить разум даже в тех областях, где ее роль особенно существенна. Она не является непогрешимой, ее прозрения всегда нуждаются в критической проверке и обосновании, даже если речь идет о фундаментальных видах интуиции. «...Не только общая концепция интуиции как непогрешимого источника знания является мифом, но и наша интуиция времени подвержена критике и исправлению — точно таким же образом, как, согласно Брауэровскому заключению, это происходит с нашей интуицией пространства»<sup>1</sup>.

Интуиция никогда не является окончательной, и ее результат обязательно подлежит критическому анализу. Даже в математике интуиция не всегда ясна. Как пишет представитель интуиционизма в математике А. Гейтинг, «понятие интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным. Можно даже построить нисходящую шкалу степеней очевидности. Высшую степень имеют такие утверждения, как  $2 + 2 = 4$ . Однако  $1002 + 2 = 1004$  имеет более низкую степень; мы доказываем это утверждение не фактическим подсчетом, а с помощью рассуждения...»<sup>2</sup>.

Интуиция может просто обманывать. На протяжении большей части XIX в. математики были интуитивно убеждены, что любая непрерывная функция имеет производную. Но Вейерштрасс доказал существование непрерывной функции, ни в одной точке не имеющей производной. Такая функция явно противоречила математической

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 2001. С. 475.

<sup>2</sup> Гейтинг А. Тридцать лет спустя // Математическая логика и ее применения. М., 1965. С. 225.

интуиции. Математическое рассуждение «исправило» интуицию и «дополнило» ее.

Интуиция меняется со временем и в значительной степени является продуктом культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении. Интуиция Эйнштейна, касающаяся пространства и времени, явно отлична от соответствующих интуиций Ньютона или Канта. Интуиция специалиста, как правило, превосходит интуицию дилетанта.

Интуитивная аргументация обычна в математике и логике, хотя и здесь она редко является эксплицитной. Вместо оборота «Интуитивно очевидно, что ...» изложение ведется так, как если бы апеллирующие к интуиции утверждения выделялись сами собой, уже одним тем, что в их поддержку не приводится никаких аргументов. Кроме того, ссылка на чужие или ранее полученные результаты обычно является также неявным признанием того, что в их основе лежит интуиция.

Ни в математике, ни в логике обычно не предполагается, что ссылка на интуитивную очевидность абсолютно надежна и не нуждается в дальнейшем анализе. Интуитивно очевидное для одних может не быть очевидным для других. Даже в рамках одного направления в математике, скажем интуиционизма, представление о том, что может быть принято на основе интуиции, существенно различаются. Еще более замаскирована интуитивная аргументация в других областях. Интуитивно очевидное нередко выдается за бесспорное и доказательное и не ставится в ясную связь с интуицией.

## § 4. Вера

Интуиции близка *вера* — глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости какого-то положения или концепции<sup>1</sup>. Вера заставляет принимать какие-то положения за достоверные и доказанные без критики и обсуждения. Как и интуиция, вера субъективна. В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные воззрения. То, во что когда-то свято верили все, спустя время большинству представлялось уже наивным предрассудком.

В отличие от интуиции, вера затрагивает не только разум, но и эмоции. Нередко она захватывает всю душу и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую расположенность. Интуиция же, даже когда она является наглядно содержа-

---

<sup>1</sup> Иногда вера противопоставляется аргументации и понимается предельно широко: вера — это все, что принимается не на основе признаваемых убедительными аргументов. В этом случае к вере относятся любые не опосредуемые рассуждением убеждения, в том числе убеждения, опирающиеся на традицию, авторитет, интуицию и т. п.

тельной, затрагивает только разум. Если интуиция — это непосредственное усмотрение истины и добра, то вера — непосредственное тяготение к тому, что представляется истиной или добром.

Вера противоположна сомнению и отлична от знания. Если человек верит в какое-либо утверждение, он считает его истинным на основании соображений, которые представляются ему достаточными.

В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают рациональную и нерациональную веру. Последняя служит оправданием самой себе: сам факт веры считается достаточным для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепая». Например, религиозная вера в чудо не требует какого-либо обоснования чуда, помимо самого акта веры в него. Рациональная вера предполагает некоторые основания для своего принятия. Ни рациональная, ни тем более нерациональная вера не гарантируют истины. Из того, что кто-то твердо верит, что на Луне тоже есть жизнь не вытекает, что она там действительно имеется. Рациональная вера может быть названа *убеждением*.

Иногда знание определяется как оправданная, истинная вера: человек знает какое-то утверждение, если он верит в данное утверждение и оно является истинным, независимо от веры в него. Этим определением знание сводится к вере и истине. Вряд ли это делает понятие знания более ясным.

Соотношение знания и веры во многом является неясным. Очевидно только, что они существенно переплетены, нередко взаимно поддерживают друг друга и разделение их и отнесение к разным, не соприкасающимся друг с другом сторонам действительности, может быть только временным и условным.

Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта. Предположения не становятся частью науки до тех пор, пока их кто-нибудь не выскажет и не заставит в них поверить. «Как всякое интеллектуальное действие, искреннее убеждение всегда несет в себе также эмоциональную нагрузку. С его помощью мы стараемся уверить, убедить тех, кому мы адресуем свою речь. Нам памяты крики безумного ликования, дошедшие до нас благодаря записям Кеплера, которые он сделал в предвкушении открытия; мы знаем много других подобных проявлений в ситуациях, когда людям только казалось, что они приблизились к открытию; нам известно также с какой силой великие пионеры науки, такие, как Пастер, отстаивали свои взгляды перед лицом критики. Врач, который ставит серьезный диагноз в сложном случае, или член суда, выносящий приговор в сомнительном деле, чувствуют тяжелейший груз личной ответственности. В обычных ситуациях, когда нет ни оппонентов, ни сомнений, такие страсти спят, но не отсутствуют вовсе; всякая искренняя кон-

статация факта сопровождается чувством интеллектуального удовлетворения или стремлением постичь что-то, а также ощущением личной ответственности»<sup>1</sup>.

Ссылка на твердую веру, решительную убежденность в правильности какого-либо положения может использоваться в качестве аргумента в пользу принятия этого положения. Однако аргумент к вере кажется убедительным и веским, как правило, лишь тем, кто разделяет эту веру или склоняется к ее принятию. Другим аргумент от веры может казаться субъективным или почти что пустым: верить можно и в самые нелепые утверждения.

Тем не менее встречаются, как замечает Л. Витгенштейн, ситуации, когда аргумент к вере оказывается едва ли не единственным.<sup>2</sup> Это ситуации радикального инакомыслия, непримиримого «разноверия». Обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таком случае остается только держаться за свою веру и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т. п. Там, где рассуждения и доводы бессильны, выражение твердой, неотступной убежденности может сыграть со временем какую-то роль. Если аргумент к вере заставит все-таки инакомыслящего присоединиться к противоположным убеждениям, это не будет означать, конечно, что данные убеждения по каким-то intersubjectивным основаниям предпочтительнее.

Аргумент к вере только в редких случаях выступает в явном виде. Обычно он только подразумевается и только слабость или неотчетливость приводимых прямо аргументов косвенно показывает, что за их спиной стоит неявный аргумент к вере.

Средневековый комментатор Дионисий Картузианец так раскрывает идею, что мрак — это сокровеннейшая сущность бога: «Чем более дух близится к сверхблистающему божественному твоему свету, тем полнее обнаруживаются для него твоя неприступность и непостижимость, и когда он вступает во тьму, то вскоре и совсем исчезают все имена и все знания. Но ведь это и, значит, для духа узнать тебя: узреть вовсе незримого; и чем яснее зрит он сие, тем более светлым он тебя прозревает. Сподобиться стать этой сверхсветлою тьмою — о том тебя молим, о, преблагословенная Троица, и дабы через незримость и неведение узреть и познать тебя, ибо пребываешь сверх всякого облика и всякого знания. И взору тех лишь являешься, кои, все ощутиемое и все постижимое и все сотворенное, равно как и себя самих, преодолев и отринув, во тьму вступили, в ней же истинно пребываешь»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Полани М. Личностное знание. М., 1965. С. 52–53.

<sup>2</sup> Wittgenstein L. On certainty. Oxford, 1969. § 270.

<sup>3</sup> Цит. по: Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 247.



Здесь только один явный аргумент, понятный средневековой аудитории — ссылка на авторитет. В Библии сказано: «И содеял мрак покровом Своим». Другим подразумеваемым доводом является аргумент к вере: тому, кто уже верит, что бог непредставим и невыразим, могут показаться убедительными и свет, обращающийся во мрак («сверхсветлая тьма»), и отказ от всякого знания («узрение и познание через незримость и неведение»).

Иногда аргумент к вере маскируется специально, чтобы создать впечатление, будто убедительность рассуждения зависит только от него самого, а не от убеждений аудитории. Фома Аквинский пытался строго разделить то, что может быть доказано при помощи разума, и то, что требует для своего доказательства авторитета священного писания. Б. Рассел упрекает св. Фому в неискренности: вывод, к которому тот должен прийти, определен им заранее. «Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: (а) потому что он разумнее матери, (б) потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что (а) нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщины, (б) что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают какое-либо участие в воспитании детей»<sup>1</sup>. Однако, отмечает Рассел, эти доводы вряд ли убедили бы св. Фому или его последователей: «...Ни один последователь св. Фомы не откажется на этом основании от веры в пожизненную моногамию, так как действительные основания этой веры совсем не те, на которые ссылаются в ее обоснование»<sup>2</sup>. В этом примере основным аргументом является скрытая апелляция к твердой вере аудитории.

Таким образом, аргумент к вере не так редок и не так предосудителен, как это может показаться. Он встречается в науке, особенно в периоды ее кризисов. Он неизбежен при обсуждении многих общих вопросов, таких, как скажем, вопрос о будущем человечества или вопрос о предпосылках теоретического мышления. Аргумент к вере обычен в общении людей, придерживающихся какой-либо общей системы веры. Как и все контекстуальные аргументы, он нуждается в определенной, сочувственно воспринимающей его аудитории. В другой аудитории он может оказаться не только неубедительным, но и попросту неуместным.

<sup>1</sup> Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. I. С. 480.

<sup>2</sup> Там же.

Э. Дюркгейм высказывал убеждение, что вся наука держится на коллективной вере, или коллективном мнении. Социальная жизнь порождает коллективное мышление, совершенно отличное по своей природе от индивидуального мышления. Коллективное мышление включает определенные коллективные взгляды, или представления. Они навязываются индивидам в качестве концептов, определяющих приемлемый для общества способ формирования знания о мире. Власть науки становится реальностью только тогда, когда этого хочет общество. «Далеко не все концепты, даже когда они построены по всем правилам науки, пользуются влиянием исключительно благодаря своей объективной ценности. Концептам недостаточно быть истинными, чтобы пользоваться доверием. Если они не находятся в согласии с другими верованиями, мнениями, словом, с совокупностью коллективных представлений, они будут отвергнуты; умы для них будут закрыты; следовательно, будет так, как если бы их не было, если сегодня, в общем, им достаточно нести на себе печать науки, чтобы пользоваться доверием, значит, мы верим в науку. Но эта вера, по существу, сродни религиозной. Ценность, придаваемая нами науке, в общем и целом зависит от коллективно вырабатываемого нами представления о ее природе и роли в жизни. Это значит, что она выражает состояние мнения. В самом деле, как и все в общественной жизни, наука держится на мнении»<sup>1</sup>. Мнение можно рассматривать в качестве объекта науки, к этому в основном и сводится социология. Однако наука о мнении не создает мнения, она может лишь его проявить. На этом пути она действительно может быть причиной его изменения. Но наука продолжает зависеть от мнения и тогда, когда она, как кажется, повелевает им, — ибо мнение снабжает ее силой, необходимой для воздействия на мнение.

Дюркгейм прав — если в каком-то обществе нет веры в науку и в эффективность ее методов, все научные доказательства теряют свою силу. Однако вера в науку только внешне напоминает религиозную веру. Вера в существование особого небесного мира основывается на совершенно ином фундаменте, чем вера в науку. Научные способы обоснования инородны для религии. Наука, в отличие от религии, ориентируется на истину и объективность. Если в некотором обществе ослабевает или вообще исчезает вера в науку, установленные ею результаты, тем не менее, сохраняют свое значение, хотя и не в этом обществе. Отсутствие веры в науку способно ослабить или даже лишить силы научную аргументацию, но наука держится вовсе не на коллективной вере в нее. Аргумент к вере, центральный в религии, в науке всегда имеет вспомогательный и преходящий характер. Ар-

<sup>1</sup> *Durkheim E.* Les formes elementaires de la vie religieuse. Paris, 1912. P. 625–626.

гумент к коллективной вере саму науку вообще может быть элективным, пожалуй, только за пределами научного сообщества.

Аргумент к вере был в свое время основательно скомпрометирован противопоставлением веры, и прежде всего религиозной веры, разуму тем, что «конкретная реальность» веры ставилась выше «абстрактным истин умозрения». «Верую, чтобы понимать», — заявляли в Средние века Августин и Ансельм Кентерберийский. Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью ее с разумом: легко верить в то, что подтверждается и рассуждением; но нужна особенно сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только вера способна заставить, по Тертуллиану, принять логически недоказуемое и нелепое: «Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Но уже в начале XII в. философ и теолог П. Абеляр поставил разум и опирающееся на него понимание перед верой. Выдвинутая им максима «Понимаю, чтобы верить» — ключ к истолкованию соотношения разума и веры.

Бездоказательная вера является антиподом знания, к которому она обычно относится с недоверием, а то и с неприязнью. Отстаивающие такую веру усматривают ее преимущество в том, что она крепка и активна, ибо идет из глубин души, охватывает и выражает ее всю, в то время как теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустойчив. Но этот довод малоубедителен. Прежде всего, самые надежные истины, подобные истинам математики и физики, открываются именно разумом, а не верой; не следует, далее, путать веру, требующую, скажем признания чудес, с верой как глубокой убежденностью, являющейся следствием исторического или жизненного опыта.

Аргумент к вере достаточно обычен в естественнонаучных теориях в период их зарождения и укрепления. Однако как только находят более надежные основания, чем вера, они легко расстаются с апелляцией к вере. Сложнее обстоит дело в случае социальных теорий, особенно тех теорий, которые касаются острых проблем социальной жизни. Объем и формы равенства людей, их свободы, необходимые в конкретном обществе формы справедливости, способы распределения богатства, степень эксплуатации одними людьми других — все это те проблемы, которые даже в случае, казалось бы, хорошо обоснованных социальных концепций во многом остаются предметом веры.

## § 5. Здравый смысл

*Здравый смысл* можно примерным способом охарактеризовать как общее, присущее каждому человеку чувство истины к справедливо-

сти, приобретаемое с жизненным опытом. В основе своей он не является знанием. Скорее, это способ отбора знания, то общее освещение, благодаря которому в знании различаются главное и второстепенное и обрисовываются крайности. Здравый смысл играет особую роль в социальной и гуманитарной аргументации и при обсуждении всех проблем, касающихся жизни и деятельности человека<sup>1</sup>.

*Аргумент к здравому смыслу* — это обращение в целях поддержки выдвигаемого положения к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории. Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противопоставления мудрости («софии») и практического знания («фронесиса»). Это противопоставление было теоретически разработано Аристотелем и развито его последователями до уровня критики теоретического жизненного идеала.

Практическое знание, руководящее поступками человека, — это особый, самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную ситуацию и требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь не строится исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого смысла. В схоластике, например у Фомы Аквинского, здравый смысл — это общая основа внешних чувств, а также опирающейся на них способности судить о данном, присущей всем людям.

Важную роль отводил здравому смыслу Д. Вико, истолковывавший его как общее чувство истины и права. На этом чувстве Вико основывал значение красноречия и его право на самостоятельность. Воспитание не может идти путем критического исследования и нуждается в образах для развития фантазии. Изучение наук не способно дать этого и нуждается в дополнении топики — искусством находить аргументы. Топика служит для развития чувства убежденности, функционирующего инстинктивно и мгновенно и не заменяемого наукой. Здравый смысл, по Вико, — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но в еще большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. Здравый смысл направлен против теоретических спекуляций философов и определяет своеобразие исследования в социальных и гуманитарных науках. Их предмет — моральное и историческое существование человека, обнаруживающееся в его деяниях. Само это существование решающим образом определяется здравым смыслом.

А. Шефтсбери, влияние которого в XVIII в. было огромным, истолковывал здравый смысл как понимание общего блага и одновременно

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 61–72.

менно как приверженность общине или обществу, как естественные чувства, гуманность, любезность. Здравый смысл — это скорее добродетель сердца, нежели ума, являющаяся не просто обиходной добродетелью, но предполагающая некоторую моральную и даже метафизическую основу.

В философии Шотландской школы понятие здравого смысла обрело центральную систематическую функцию. «Несомненно, здесь проявилась аристотелевско-скептическая понятийная традиция здравого смысла. Исследование чувств и их познавательных достижений почерпнуто из этой традиции и в философских спекуляциях»<sup>1</sup>. Но одновременно при этом понятие здравого смысла конкретизируется на обществе: «Он служит для того, чтобы направлять нас в общественных делах или в общественной жизни, когда наши способности к рассуждению покидают нас в темноте». Философия здравого человеческого разума у представителей шотландской школы выступает не только как целительное средство против “лунатизма” метафизики, но еще и содержит основы моральной философии, воистину удовлетворяющей жизненные потребности общества»<sup>2</sup>.

Моральные мотивы в понятии здравого смысла подчеркивал А. Бергсон. В его определении указывается, что, хотя здравый смысл и связан и чувствами, но реализуется на социальном уровне. Чувства ставят нас в какое-то отношение к вещам, здравый смысл руководит тугими отношениями с людьми. Он не столько дар, сколько постоянная корректировка вечно новых ситуаций, работа, по приспособлению к действительности общих принципов.

Существенное значение придает здравому смыслу современная философская герменевтика, выступающая против его интеллектуализации и сведения его до уровня простой поправки: то, что в чувствах, суждениях и выводах противоречит здравому смыслу, не может быть правильным.

Здравый смысл — одно из ведущих начал человеческой жизни. Она разворачивается не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под решающим воздействием здравого смысла. Именно поэтому он необходим представителям социальных и гуманитарных наук, исследующим моральное и историческое существование человека.

Здравый смысл проявляется в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом. «Обладатель здравого суждения не просто способен определять особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно от-

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 66.

<sup>2</sup> Там же. С. 67.

носится, то есть видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее, не является носителем здравого суждения в полном смысле слова»<sup>1</sup>.

Прежде всего, здравый смысл приложим в общественных, практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания разума, а скорее на убедительные примеры. Поэтому решающее значение для него имеет история и опыт жизни. Здравому смыслу нельзя выучить, в нем можно только упражняться. Он имеет двойственный, описательно-оценочный характер: с одной стороны, опирается на прошлые события, а с другой — является наброском, проектом будущего.

С изменением общественной жизни и человека меняется и здравый смысл. Так, в древности сны представлялись обычному человеку одним из важнейших выражений его души, материалом для предсказания будущего. В эпоху Просвещения идея о том, что сны могут быть вещими, уже казалась предрассудком: в них видели преимущественно отражение соматических факторов и избыток душевных страстей. Позднее снова начала усматриваться связь между характером человека и его сновидениями: в сновидениях отражается характер и особенно те его стороны, которые не проявляются наяву: во сне человеком осознаются скрытые мотивы его действий, и потому, толкуя сновидения, можно предсказать его будущие действия. Как говорил З. Фрейд, «сновидения — это царская дорога к бессознательному».

Здравый смысл способен впадать в заблуждение, но это, как правило, своеобразное заблуждение: оно является ошибкой не столько с точки зрения того контекста, в котором сформировался здравый смысл, сколько с точки зрения последующего периода, порождающего новые представления здравого смысла. В частности, так обстоит дело с пренебрежительным отношением античного и средневекового человека к науке и ученым.

«Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли, — жалуется Ф. Ницше, — тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение; ученый не допускался в общество “приличных” людей — считался “врагом бога”, презирающим истину, считался “одержимым”. Человек, занятый наукой, — чандала («нечистый», «неприкасаемые» в Индии, т. е. не входящие ни в одну из варн. — *Прим. автора*)... Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, — все было против нас; произнося “ты обязан!...”, всегда обращали эти слова против нас

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 74.

... Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам... Все казалось совершенно недостойным, презренным... В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Скрамность шла вразрез со вкусом...»<sup>1</sup>.

Дело здесь, конечно, не в грубом эстетическом вкусе, требующем от ученых и науки «истин-картин», а в отдаленности античной и средневековой науки от основного потока социальной жизни, в скудости результатов этой науки и их не существенности с точки зрения реальной практической деятельности. Наука должна была обнаружить себя как важное измерение повседневной жизни, чтобы здравый смысл смог изменить о ней свое мнение. Здравый смысл служит своей эпохе, и значимость его суждений не выходит за пределы этой эпохи.

Хотя здравый смысл касается в первую очередь социальной жизни, по своей природе он более универсален, так как способен судить о любой деятельности и ее результатах, включая теоретическую деятельность и ее результаты — сменяющие друг друга теории и концепции. Однако в естественнонаучной области здравый смысл является, как правило, ненадежным советчиком: от современных естественнонаучных теорий резоннее требовать парадоксальности, разрыва с ортодоксальным, чем соответствия устоявшимся представлениям о мире. Аргумент к здравому смыслу применим здесь только на первых этапах развития научных теорий. Дальнейшее обсуждение здравого смысла и вкуса существенно опирается на эту работу. В достаточно зрелой естественнонаучной теории апелляция к здравому смыслу является редкой и ненадежной. Такие теории всегда стремятся абстрагироваться от своей истории и вынести ее за скобки. Для суждений здравого смысла, непосредственно связанных с историей и меняющихся вместе с нею, не остается тем самым места.

## § 6. Вкус

*Аргументация к вкусу* — это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудитории, способному склонить ее к принятию выдвинутого положения. Понятие вкуса существенно уже понятия здравого смысла. Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредственное чувство, а не на рассуждение. Кант харак-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства // Сумерки богов. М., 1989. С. 27—28.

теризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и видел в нем основание своей критики способности суждения.

Понятие вкуса первоначально было моральным, и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности». Идея человека, обладающего вкусом, пришла в XVII в. на смену христианскому идеалу придворного и была идеалом так называемого образованного общества.

«Вкус — это не только идеал, провозглашенный новым обществом, это в первую очередь образующийся под знаком этого идеала «хороший вкус», то, что отныне отличает «хорошее общество». Оно узнается и узаконивается теперь не по рождению и рангу, а в основном благодаря общности суждений или, вернее, благодаря тому, что вообще умеет возвыситься над ограниченностью интересов и частностью пристрастий до уровня потребности в суждении»<sup>1</sup>.

Хороший вкус не является субъективным, он предполагает способность дистанцироваться от себя самого и групповых пристрастий. «...Вкус по самой сокровенной своей сущности не есть нечто приватное; это общественный феномен первого ранга. Он в состоянии даже выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной инстанции по имени “всеобщность”, которую он представляет и мнение которой он выражает»<sup>2</sup>. Можно отдавать чему-то предпочтение, несмотря на неприятие этого собственным вкусом.

Вкус — это не простое своеобразие подхода индивида к оцениваемому им явлению. Вкус всегда стремится к тому, чтобы стать хорошим и реализовать свое притязание на всеобщность. Хороший вкус уверен в своем суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не оглядываясь на других и не подыскивая оснований. «...Вкус в чем-то приближается к чувству, — пишет Гадамер. — В процессе действования он не располагает познанием, на чем-то основанном. Если в делах вкуса что-то негативно, то он не в состоянии сказать почему. Но узнает он это с величайшей уверенностью. Следовательно, уверенность вкуса — это уверенность в безвкусице... Дефиниция вкуса состоит прежде всего в том, что его уязвляет все ему противоречащее, как избегают всего, что грозит травмой»<sup>3</sup>.

Понятию хорошего вкуса противостоит понятие отсутствие вкуса, а не понятие плохого вкуса. «Хороший вкус — это такой тип восприятия, при котором все утрированное избегается так естественно, что эта реакция, по меньшей мере, непонятна тем, у кого нет вкуса»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 78.

<sup>2</sup> Там же. С. 79.

<sup>3</sup> Там же. С. 79.

<sup>4</sup> Там же. С. 79–80.



Широко распространено мнение, что о вкусах не спорят: приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью. Кант полагал, что в этой сфере возможен спор, но не диспут<sup>1</sup>. Причину того, что в вопросах вкуса нет возможности аргументировать, Гадамер видит в непосредственности вкуса и не сводимости его к каким-то другим и в особенности понятийным основаниям: «...Это происходит не потому, что невозможно найти понятийно всеобщие масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а потому, что их даже не ищут, и ведь их невозможно правильно отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус; его невозможно преподать путем демонстрации и нельзя заменить простым подражанием»<sup>2</sup>.

Принцип «О вкусах не спорят» не кажется верным в своей общей формулировке. Споры о вкусах достаточно обычные, эстетика и художественная критика состоят по преимуществу из таких споров. Когда выражается сомнение в их возможности или эффективности, имеются в виду, скорее, лишь особые случаи спора, не приложимые к суждениям вкуса<sup>3</sup>.

Действительно, о вкусах невозможно вести дискуссию — спор, направленный на поиски истины и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах невозможен также эклектический спор, тоже ориентирующийся на истину, но использующий и некорректные приемы. Суждения вкуса являются оценками: они определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как и всякие оценки, эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об оценках возможна полемика — спор, цель которого — победа над другой стороной и который пользуется только корректными приемами аргументации. Оценки и в частности суждения вкуса могут быть также предметом софистического спора, тоже ориентированного на победу, но использующего и некорректные приемы (О видах научных споров говорится в главе «Научная критика»).

Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, нуждается, таким образом, в серьезной оговорке. О вкусах можно спорить, но лишь с намерением добиться победы, утверждения своей системы оценок, прием спорить не только некорректно, но и вполне корректно.

Вкус всегда претендует на общую значимость. Это особенно наглядно проявляется в феномене *моды*, тесно связанной со вкусом. Мода касается быстро меняющихся вещей, и воплощает в себе не

<sup>1</sup> Кант И. Сочинения. М., 1966. Т. 5. С. 359.

<sup>2</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 80. «Никто не сомневается в том, что вопросы вкуса не могут решаться с помощью аргументации и демонстрации» (Там же. С. 85).

<sup>3</sup> См. об этом подробнее: Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997. С. 145–146.

только вкус, но и определенный, общий для многих способ поведения. «Мода по своему усмотрению управляет лишь такими вещами, которые в равной степени могут быть такими или иными. Фактически ее составляющей является эмпирическая общность, оглядка на других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения»<sup>1</sup>.

Будучи формой общественной деятельности, мода создает общественную зависимость, от которой трудно уклониться. В частности, Кант считал, что лучше быть модным дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур серьезно<sup>2</sup>. «...Хороший вкус характеризуется тем, что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего «стиля», то есть согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются»<sup>3</sup>. *Аргумент к моде* является, таким образом, частным случаем аргумента к вкусу и представляет собой ссылку на согласие выдвинутого положения с господствующей в данное время модой.

Вкус не сводится к правилам и понятиям и не является системой образцов, на основе которых выносятся оценочные суждения. Вкус присущ не каждому и предполагает не совпадение с суждениями всех других по любому конкретному поводу, а одобрение суждений вкуса некоторой идеальной общностью, совокупностью тех, кто тоже обладает хорошим вкусом. Вкус, отмечает Кант, «не говорит, что каждый будет согласен с нашим суждением, а говорит, что он *должен* согласиться»<sup>4</sup>.

Чувство вкуса необходимо в тех областях, где единичное характеризуется с учетом того целого, к которому оно принадлежит и где само целое не представляет собой устойчивой системы правил и понятий. Вкус говорит о том, подходит ли данное единичное ко всему другому, составляющему целое, вписывается оно или нет в это целое. Поскольку целое само только чувствуется, а не определяется сколь угодно строгим образом, принадлежность к нему единичного также можно только почувствовать, но не доказать. «... Вкус никоим образом не ограничивается прекрасным в природе и искусстве, опреде-

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 80.

<sup>2</sup> Кант И. Указ. соч. Т. 6. С. 71.

<sup>3</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 80.

<sup>4</sup> Кант И. Указ. соч. Т. 5. С. 244.

ляя его декоративные качества, но охватывает всю область нравов и приличий»<sup>1</sup>. Включение единичного в какую-то целостность, лежащую в основе суждения вкуса, является одновременно уточнением и конкретизацией этой целостности.

Особое значение и вместе с тем особую силу вкус имеет в сфере нравственного решения. «...Вкус — это хотя и никоим образом не основа, но, пожалуй, высшее совершенство нравственного суждения. Если неправильное противоречит вкусу человека, то его уверенность в принятии добра и отвержении зла находится на высочайшем уровне; она столь же высока, сколь и уверенность самого витального из наших чувств, которое выбирает или отвергает пищу»<sup>2</sup>.

Вкус несет на себе отпечаток общности социальной жизни и изменяется вместе с ее изменением. Суждения вкуса, относящиеся к разным эпохам или к разным обществам, обычно оказываются несовместимыми друг с другом.

Обоснование путем ссылки на соответствие вкусу встречается в науке чаще всего в период становления новых идей и теорий. Формирующаяся теория оценивается со многих точек зрения, и в частности — в эстетическом отношении. Теория, как и все произведения ума и рук человека, может быть «красивой» или «некрасивой». Позитивное эстетическое впечатление, производимое новой теорией, может оказываться одним из аргументов в ее поддержку.

Как и другие области человеческой жизни, наука не стоит в стороне от моды. В определенные периоды модными являются одни научные построения или их типы, в другие периоды современными, отвечающими духу времени и т.п. оказываются другие построения и их виды. Например, в 30–40-е гг. прошлого века из всех философских концепций наиболее модным и влиятельным был неопозитивизм, в 1950-е гг. — экзистенциализм, в 1960-е — философская герменевтика.

Модными могут быть как определенные идеи, так и способы исследования и обоснования. Мода в науке не так заметна, однако, как в других областях и изменяется относительно медленно. Аргумент к моде, как и вообще аргумент к вкусу, только в редких случаях предстает здесь в открытой форме.

## § 7. Ограниченность научного обоснования

Недостаточное внимание к обоснованию утверждений, отсутствие объективности, системности и конкретности в рассмотрении предметов и явлений ведут в конечном счете к *эклетике* — некритическому

<sup>1</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 81.

<sup>2</sup> Там же. С. 83.

соединению разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов и идей. Для эклектики характерны пренебрежение логическими связями положений, объединяемых в одну систему, подмена объективно значимых способов обоснования теми, которые имеют лишь субъективную убедительность, широкое применение многозначных и неточных понятий, ошибки в определениях и классификациях и т. п. Используя вырванные из контекста факты и формулировки, произвольно объединяя противоположные воззрения, эклектика стремится вместе с тем создать видимость предельной логической последовательности и строгости.

Элементы эклектики так или иначе присутствуют и в начальный период изучения нового, сложного материала, когда знания остаются фрагментарными и когда нет возможности выделить в массе сведений наиболее существенное и определяющее. Это следует иметь в виду, чтобы не казалось хорошо усвоенным то, что еще не обрело внутренней последовательности и единства.

Обоснование не только сложная, но и многоэтапная процедура. Обоснованное утверждение, вошедшее в теорию в качестве ее составного элемента, перестает быть проблематичным знанием. Но это не означает, что оно становится абсолютной истиной, не способной к дальнейшему развитию и уточнению. Обоснование утверждения делает его не абсолютной, а лишь относительной истиной, верно схватывающей механизм исследуемых явлений на данном уровне познания. В процессе дальнейшего углубления знаний такая истина может быть и непременно будет уточнена. Но ее основное содержание, подвергнувшись ограничению и уточнению, сохранит свое значение.

При всей своей важности наука не является ни единственной, ни даже центральной сферой человеческой деятельности. Научное познание — по преимуществу только средство для решения обществом своих многообразных проблем. Сводить все формы человеческой деятельности к научному познанию или строить их по его образцу не только наивно, но и опасно.

Ранее речь шла о способах обоснования, применяемых в науке и в тех областях жизни, в которых центральную роль играет последовательное, доказательное рассуждение. Но даже систему научного знания нельзя утвердить исключительно аргументами. Попытка обосновать каждое научное положение привела бы к регрессу в бесконечность. В фундаменте обоснования лежит способ действия, конкретная практика.

Неоправданно распространять приемы обоснования, характерные для науки, на другие области, имеющие с наукой, возможно, мало общего и убеждающие совсем иными средствами. В художественном произведении ничего не нужно специально доказывать, напро-

тив, надо отрешиться от желания строить цепочки рассуждений, выявляя следствия принятых посылок. «Сила разума в том, — говорил Б. Паскаль, — что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять». Здесь под «разумом» имеется в виду аргументирующий, обосновывающий разум, находящий наиболее совершенное воплощение в науке.

Эстетик Ж. Жубер замечает об Аристотеле: «Он был не прав в своем стремлении сделать все в своих книгах научным, то есть доказуемым, аргументированным, неопровержимым, он не учел, что существуют истины, доступные одному лишь воображению, и что, быть может, именно эти истины — самые прекрасные»<sup>1</sup>. И если это верно в отношении Аристотеля, занимавшегося прежде всего логикой и философией, то тем более не правы те, кто, «поверяя алгеброй гармонию», хочет перестроить по строгому научному образцу идеологию, мораль, художественную критику и т. д.

Эмпирическое и теоретическое обоснование объективирует подерживаемое положение, устраняет личностные, субъективные моменты, связанные с ним. Отсутствие аргументов в пользу какого-то убеждения не означает, однако, его полной субъективности. Особенно ярко об этом свидетельствует искусство. «Сущность художественного произведения состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями — чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, — но в том, что оно говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное — это для искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или хотя бы в основном личностно, заслуживает того, чтобы его рассматривали как невроз. Если фрейдовская школа выдвинула мнение, что каждый художник обладает инфантильно автоэротически ограниченной личностью, то это может иметь силу применительно к художнику как личности, но неприменима к нему как творцу. Ибо творец... в высочайшей степени объективен, существен, сверхличен, пожалуй даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он есть свой труд, а не человек»<sup>2</sup>.

Рациональные способы обоснования — незаменимое орудие человеческого разума. Но область их приложения не безгранична. Расширение ее сверх меры столь же неоправданно, как и неумеренное сужение.

---

<sup>1</sup> Жубер Ж. Литературная критика // Эстетика французского романизма М., 1988. С. 327.

<sup>2</sup> Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. С. 145.

## Глава VIII

# НАУЧНАЯ КРИТИКА

### § 1. Эмпирическое опровержение

Наука делается не исследователями-одиночками, а большими коллективами людей, насчитывающими тысячи и тысячи человек. Среди ученых, занятых исследованием конкретной области явлений, всегда имеются противостоящие друг другу направления и школы, иногда очень остро полемизирующие друг с другом. Без дискуссии и полемики наука задыхается и глохнет.

Наука — это прежде всего критика научным сообществом выдвигаемых гипотез и одновременно это потенциальная, всегда готовая разразиться критика уже принятых и считающихся хорошо проверенными утверждений и теорий. Проблема научной критики, направленной на опровержение выдвигаемых и уже принятых гипотез и теорий, имеет особое значение с точки зрения философии науки и анализа научного метода. Научную критику можно разделить на *эмпирическую* и *теоретическую*. Первая опирается непосредственно на факты, вторая использует по преимуществу теоретические соображения. Различие между эмпирической и теоретической научной критикой является, конечно, условным, как условно и относительно само разграничение эмпирического и теоретического знания.

Далее рассматривается главным образом эмпирическая научная критика. Проблема такой критики имеет прямое отношение к теме эмпирического обоснования и опровержения научных утверждений и теорий. Что касается теоретической критики, то при ее обсуждении внимание уделяется только спору как средству прояснения, уточнения, а возможно и опровержения выдвигаемых или уже считающихся принятыми научных положений.

*Эмпирическое опровержение*, или *фальсификация*, представляет собой процедуру установления ложности гипотезы или теории путем эмпирической ее проверки. Далее будет показано, что не удавшаяся фальсификация какого-то положения, по существу, представляет собой ослабленное косвенное подтверждение этого положения. Иначе говоря, несостоявшееся эмпирическое опровержение, или не достигшая успеха эмпирическая критика — это косвенное эмпирическое подтверждение, хотя и более слабое, чем обычно.

Интерес к проблеме фальсификации привлек К. Поппер, противопоставивший фальсификацию верификации, эмпирическое опровержение эмпирическому подтверждению. Позиция Поппера складывалась в полемике с неопозитивистами, которые считали, что наука развивается путем осторожного обобщения результатов наблюдений и что сами обобщения обоснованы тем лучше, чем больше имеется подтверждающих их фактов. Характерную черту науки неопозитивисты видели в ее обоснованности и достоверности, а особенность не-науки (например, алхимии или метафизики) — в недостоверности и ненадежности. Индукция и верифицируемость оказывались, таким образом, критериями отграничения науки от не-науки.

Поппер отказался рассматривать обоснованность, или эмпирическую подтверждаемость, положений науки в качестве отличительной ее черты. Подтвердить опытом можно всё что угодно. В частности, астрология подтверждается многими эмпирическими свидетельствами. Подтверждение теории еще не говорит о ее научности. Испытание гипотезы должно заключаться не в отыскании подтверждающих ее данных, а в настойчивых попытках опровергнуть ее.

«Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средство для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой и “метафизическими” системами — с другой, я называю, *проблемой демаркации*», — пишет Поппер<sup>1</sup>. Критерием демаркации должно быть не эмпирическое подтверждение, а эмпирическая опровержимость, или фальсификация.

«...Некоторую систему я считаю эмпирической или научной только в том случае, если она может быть проверена, опытом. Эти рассуждения приводят к мысли, что не верифицируемость, а фальсифицируемость системы должна считаться критерием демаркации. Другими словами, от научной системы я не требую, чтобы она могла быть раз и навсегда выделена в позитивном смысле; но я требую, чтобы она имела такую логическую форму, которая делает возможным ее выделение в негативном смысле: для эмпирической научной системы должна существовать возможность быть опровергнутой опытом...»<sup>2</sup>.

Противопоставление Поппером фальсификации и верификации связано с его идеей, что выдвигаемые в науке гипотезы должны быть (и обычно не являются) настолько смелыми, насколько это возможно.

---

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1980. С. 55. Эмпирические науки Поппер понимает очень узко, так что не только математика, логика и философия выпадают из числа таких наук, но и в сущности почти все социальные и гуманитарные науки. См. об этом: Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.

<sup>2</sup> Поппер К. Р. Указ. соч. С. 63.

Но это означает, что они должны быть заведомо неправдоподобными, так что попытки верифицировать их заведомо обречены на провал.

**Логический принцип фальсификации и фальсификационизм.** Исходным пунктом позиции Поппера является очевидная асимметрия между верификацией и фальсификацией. Согласно современной (классической) логике, две взаимосвязанные операции — подтверждение и опровержение — существенно неравноправны. Достаточно одного противоречащего факта, чтобы окончательно опровергнуть общее утверждение, и вместе с тем сколь угодно большое число подтверждающих примеров не способно раз и навсегда подтвердить такое утверждение, превратить его в истину. Например, даже осмотр миллиарда деревьев не делает общее утверждение «Все деревья теряют зимой листву» истинным. Наблюдение потерявших зимой листву деревьев, сколько бы их ни было, лишь повышают вероятность, или правдоподобие, данного утверждения. Зато всего лишь один пример дерева, сохранившего листву среди зимы, опровергает это утверждение.

Вот как описывает радикальную асимметрию между подтверждением и опровержением Р. Карнап, находящий ее по-своему примечательной. «Довольно интересно то, что, хотя и не существует способа, с помощью которого можно было бы верифицировать закон (в строгом смысле), имеется простой способ, с помощью которого мы можем его опровергнуть. Для этого необходимо найти только один противоречащий случай. Само знание о таком случае может оказаться недостоверным. Вы можете ошибиться в наблюдении или как-нибудь иначе. Но если мы предполагаем, что противоречащий случай представляет собой факт, тогда отрицание закона следует из него непосредственно. Если закон утверждает, что каждый объект, обладающий свойством Р, обладает также свойством Q, а мы находим объект, обладающий свойством Р, но не обладающий свойством Q, тогда закон опровергается. Миллиона положительных примеров недостаточно, чтобы верифицировать закон, но одного противоречащего случая достаточно, чтобы опровергнуть его. Ситуация здесь сильно асимметрична. Легко опровергнуть закон, но крайне трудно найти ему сильное подтверждение»<sup>1</sup>.

Асимметрия подтверждения и опровержения опирается на популярную схему рассуждения, которую можно назвать *принципом фальсификации*. Этот принцип был известен еще стоикам; в средневековой логике он получил название *modus tollens*. Принцип фальсификации можно выразить словами: «Если верно, что А имплицитует В, и неверно, что В, то неверно, что А». Или, как передавали эту схему умо-

<sup>1</sup> Карнап Р. Философские основания физики. М., 1972. С. 61–62.



заклЮчения стоики: «Если есть первое, то есть второе; но второго нет, следовательно, нет и первого». Например: «Если все птицы летают, то страус летает; но страус не летает; значит, неверно, что все птицы летают».

По традиции *modus tollens* противопоставляется такой схеме неправильного умозаключения: «Если есть первое, то есть второе; второе есть, следовательно, есть и первое», способной вести от истинных посылок к ложному заключению. Как утверждает традиционная логика, от ложности следствия можно заключать к ложности основания; но от истинности следствия нельзя заключать к истинности основания.

Принцип фальсификации является законом классической логики, сформировавшейся в конце XIX — начале XX в. Его совершенно не коснулась критика в адрес последней, начавшаяся в 20-е гг. прошлого века и ставшая особенно активной в 50-е гг. Этот закон принимается во всех известных неклассических логических системах, претендующих на более адекватное описание отношения логического следования. В частности, он является законом систем строгой импликации К. Льюиса и систем релевантной логики А. Андерсона и Н. Белнапа<sup>1</sup>.

Хотя асимметрия подтверждения и опровержения, опирающаяся на принцип фальсификации, активно обсуждалась в недавнее время, особенно в связи с критикой фальсификационизма Поппера, сам принцип фальсификации никогда не вызывал подозрений. В итоге критика фальсификационизма оказалась в известной мере непоследовательной и неполной. Ограничиваясь эпистемологической несостоятельностью последнего, она оставляет без внимания логическую сторону дела. Неравноправие подтверждения и опровержения по-прежнему считается имеющим твердые логические основания. В итоге фальсификационизм сохраняет определенную респектабельность: он отправляется, как будто, от хорошо установленного логического факта.

То, что даже бесконечное множество подтверждающих фактов не превращает теорию или какой-то ее фрагмент в абсолют, представляется вполне естественным. Но то, что единственный противоречащий факт тут же заставляет если не отбросить теорию, то по меньшей мере радикально перестроить ее, определенно не согласуется с обычной практикой теоретического мышления. В реальной научном мыш-

---

<sup>1</sup> Принцип фальсификации не является законом некоторых многозначных и иных, в общем-то достаточно экзотичных систем. Его отбрасывание в этих системах не сопровождается, однако, какой-либо аргументацией и выглядит как побочный и случайный результат.

лении опровержение теории не является более легким и простым, чем ее обоснование.

Представляется, что опровержение и подтверждение должны быть равноправны и симметричны. Во всяком случае ясно, что формальная логика не должна предрешать ответ на выходящий за рамки ее компетенции вопрос: симметричны опровержение и подтверждение или нет? Но пока она недвусмысленно высказывается в пользу их «сильной асимметричности».

Необходима, как кажется, неклассическая логика высказываний, в которой принцип фальсификации не являлся бы логическим законом. Отказ от него не может быть, конечно, безоговорочным. Подобно ряду других законов классической логики (например, закону исключенного третьего, плохо приложимому в рассуждениях о бесконечных множествах), данный принцип не является универсально приложимым. Это не исключает, однако, что он приложим в каких-то ограниченных, удовлетворяющих дополнительным требованиям сферах рассуждений.

Принцип фальсификации получил особую популярность после того, как Поппер сделал его исходным пунктом своей методологической концепции. В рамках теоретической системы, говорит Поппер, различаются высказывания, относящиеся к разным уровням универсальности. Высказывания более высокого уровня всегда имеют характер гипотез относительно высказываний более низкого уровня, которые из них выводимы: первые можно фальсифицировать посредством фальсификации этих менее универсальных высказываний. Не только общие, но даже некоторые единичные высказывания являются гипотетическими, если из них можно вывести в рамках принятой теоретической системы следствия таким образом, чтобы фальсификация этих следствий могла фальсифицировать данные единичные высказывания. «Фальсифицирующий вывод, который при этом имеется в виду, то есть схема, в которой фальсификация следствия влечет фальсификацию системы, из которой оно выведено, — это *modus tollens* классической логики»<sup>1</sup>.

«Интерсубъективно проверяемую фальсификацию» Поппер считает окончательной, если она хорошо обоснована, — «именно в этом проявляется асимметрия между верификацией и фальсификацией теории»<sup>2</sup>. Поппер полагает также, что опровержение одного из следствий фальсифицирует всю систему (как теорию, так и начальные условия), которая была использована для дедукции данного следствия. Только в том случае, если фальсифицированное следствие «не-

<sup>1</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 103.

<sup>2</sup> Там же. С. 213.

зависимо от некоторой части этой системы, мы можем сказать, что эта часть системы не затронута фальсификацией»<sup>1</sup>.

Согласно критерию фальсифицируемости, «то есть по крайней мере асимметричной, или односторонней, разрешимости», «высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно — если их можно систематически проверять, то есть подвергать (в соответствии с некоторым «методологическим решением») проверкам, результатом которых может быть их опровержение»<sup>2</sup>.

Логическое неравноправие верификации и фальсификации оказывается у Поппера не только основой концепции «эмпирического значения», но и ключом к проблемам индукции и демаркации. «Только в том случае, если принята во внимание асимметрия между верификацией и фальсификацией — та асимметрия, которая обусловлена логическим отношением между теориями и базисными высказываниями — можно избежать ловушек проблемы индукции». И далее: «...признание односторонне разрешимых высказываний позволяет нам решить не только проблему индукции (заметим, что существует лишь один тип умозаключения, осуществляемого в индуктивном направлении, а именно дедуктивный *modus tollens*), но также более фундаментальную проблему демаркации... Наш критерий фальсифицируемости с достаточной точностью отличает теоретические системы эмпирических наук от систем метафизики (а также от конвенционалистских и тавтологических систем), не утверждая при этом бессмысленности метафизики...»<sup>3</sup>.

«Решение» проблемы индукции сводится, таким образом, к идее, что индукция попросту не существует. То, что принимается за нее, есть лишь движение «в индуктивном направлении» от следствий (или единичных высказываний) к аксиомам с помощью относящегося к дедуктивной логике принципа фальсификации. Отграничение рациональной науки от «различных форм предрассудков» также оказывается весьма простым. Наука, и только она, критично и систематически использует принцип фальсификации для жесткой и бескомпромиссной проверки создаваемых теорий: ...рациональность науки заключается не в том, что она по традиции прибегает к эмпирическим свидетельствам в поддержку своих положений (астрология делает то же самое), а исключительно в критическом подходе, который, конечно наряду с другими аргументами, критически использует также и

<sup>1</sup> Поппер К. Указ. соч. С. 104.

<sup>2</sup> Там же. С. 238.

<sup>3</sup> Там же. С. 209, 238.

эмпирические свидетельства (в частности, при опровержениях)... Мы стремимся лишь к критике и проверке наших теорий в надежде найти наши ошибки, чему-то научиться на этих ошибках и, если повезет, построить лучшие теории»<sup>1</sup>.

Эти высказывания Поппера хорошо показывают роль принципа фальсификации в общей концепции фальсификационизма. Они показывают также, что асимметрия подтверждения и опровержения, называемая этим принципом, способна быть основой для далеко идущих и вместе с тем ошибочных методологических и философских выводов.

## § 2. Логическая фальсификация и реальное опровержение

Поппер проводит различие между *позитивным* и *критическим* обоснованием утверждений<sup>2</sup>.

Позитивное обоснование — это обычная косвенная эмпирическая верификация, являющаяся разновидностью абсолютного обоснования. Ее результат: «Утверждение А, следствие которого получило подтверждение, является обоснованным». Критическое обоснование — это обоснование путем критики; его результат: «Утверждение А приемлемее противопоставляемого ему утверждения В, поскольку А выдержало более резкую критику, чем В».

Критическое обоснование — это сравнительное обоснование: то, что утверждение А является более устойчивым к критике и, значит, более обоснованным, чем утверждение В, не означает, что А истинно

---

<sup>1</sup> В книге «Объективное знание» Поппер прямо провозглашает дедуктивную логику «органоном критицизма» и усматривает в этом основание для отождествления критицизма с рациональностью (*Popper K. Objective knowledge. An evolutionary approach. Oxford, 1973. P. 31*).

<sup>2</sup> «Мы часто можем найти основания тому, — пишет Поппер, — чтобы рассматривать одну теорию в качестве предпочтительной по отношению к другой. Эти основания показывают, что одна теория до сих пор лучше противостояла критике, чем другая. Я называю такие основания критическими, чтобы отличить их от позитивных оснований, предлагаемых с целью обосновать теорию или, говоря иными словами, обосновать веру в то, что она истинна.

Критические основания не обосновывают теорию, ибо факт, что одна теория до сих пор противостояла критицизму лучше, чем другая, не дает какого-либо основания предполагать, что она в действительности истинна. Ибо хотя критические основания никогда не обосновывают теорию, они могут быть использованы, чтобы защитить (а не обосновать) предпочтение, отданное этой теории, иными словами, решение использовать эту теорию, а не некоторую из предложенных альтернативных теорий или все выдвинутые к настоящему времени альтернативные теории...» (*Поппер К. Критический подход: решение проблемы индукции // Современная философия науки. М., 1996. С. 94*).

или хотя бы правдоподобно. Таким образом, Поппер двояко ослабляет индуктивистскую программу: 1) вместо понятия абсолютного обоснования вводится понятие сравнительного обоснования (предпочтения); 2) вместо понятия верификации (эмпирического обоснования) вводит более слабое понятие фальсификации.

Фальсификационизм Поппера подвергается очень жесткой и аргументированной критике. В сущности, от этой концепции в ее ортодоксальной форме еще при жизни автора, продолжавшего активно ее защищать, мало что осталось<sup>1</sup>. Так, И. Лакатос точно кодифицирует фальсификационизм как «дедуктивную модель научной критики». «Оружием критики является *modus tollens*: ни индуктивная логика ни интуитивная простота не усложняют... методологическую концепцию»<sup>2</sup>. Вслед за этим Лакатос говорит о «логической безупречности» фальсификационизма, который сталкивается только с «эпистемологическими трудностями»<sup>3</sup>. Возникает естественный вопрос: насколько безупречно это «дедуктивное оружие», если его применение заводит в эпистемологический тупик?

Сходным образом разграничивают логическую и методологическую стороны фальсификационизма и другие авторы. Принцип фальсификации превращается Поппером из логического в методологический принцип. То, что теория опровергается при условии истинности противоречащего ей сингулярного высказывания, известно давно. Принцип же фальсифицируемости Поппера далеко выходит за рамки этого совершенно справедливого утверждения и по своему существу означает признание такого механизма фальсификации важнейшим методологическим правилом, согласно которому, если теория опровергнута, она должна быть немедленно отброшена, а также придание этому принципу значения критерия демаркации. В подобного рода рассуждениях противопоставление логики и методологии ведет к тому, что понятие опровержения лишается основного содержания, поскольку оказывается, что опровергнутую теорию нет необходимости отбрасывать.

---

<sup>1</sup> Сам Поппер был вынужден смягчить свой критерий «научности» и допустить известную «некритичность» (догматизм) и в науке. Научные теории, писал он, могут быть «иммунизированы» против противоречащих им фактов с помощью некоторых вспомогательных гипотез. «Все это показывает не только то, что некоторая степень догматизма плодотворна даже в науке, но также и то, что с логической точки зрения фальсифицируемость, или проверяемость, не могут рассматриваться как очень жесткий критерий (Philosophy of Karl Popper. La Salle, 1974. Vol. 1. P. 32).

<sup>2</sup> Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 213.

<sup>3</sup> Там же.

Назовем *логической фальсификацией* идею о том, что несостоятельность любого следствия некоторого положения автоматически означает ложность этого положения. Именно эта идея выражается принципом фальсификации. Логическая фальсификация — это дедуктивная операция. В основе же подтверждения лежат, как принято считать, некоторые индуктивные процедуры.

Понятие опровержения будем употреблять в его обычном смысле, который относительно устоялся в эпистемологии. Хотя понятие опровержения не является ни содержательно, ни объемно точным, имеется достаточно определенное ядро его содержания, явно не совпадающее с содержанием понятия логической фальсификации.

Прежде всего, неверно, будто один противоречащий факт способен опровергнуть теорию. «Ученые сплошь и рядом игнорируют данные, несовместимые с принятой системой научного знания, в надежде, что в конечном счете эти данные окажутся ошибочными или не относящимися к делу»<sup>1</sup>.

Факты имеют разную научную ценность, зависящую не только от их достоверности, но и от их релевантности для данной системы знания. «Весьма малая внутренняя достоверность будет достаточна, чтобы придать высшую научную ценность предполагаемому факту, если только он согласуется с крупным научным обобщением, в то время как самые упрямые факты будут отодвинуты в сторону, если для них нет места в уже сформировавшейся научной системе»<sup>2</sup>.

«Простая «фальсификация» (в попперовском смысле) не влечет отбрасывания соответствующего утверждения, — пишет Лакатос. — Простые «фальсификации» (то есть аномалии) должны быть зафиксированы, но вовсе не обязательно реагировать на них»<sup>3</sup>.

Понятие фальсификации предполагает, по Попперу, существование (негативных) решающих экспериментов<sup>4</sup>. Лакатос, с иронией именуя эти эксперименты «великими», замечает, что «решающий эксперимент» — это лишь почетный титул, который, конечно, может быть пожалован определенной аномалии, но только *спустя долгое время* после того, как одна программа будет вытеснена другой»<sup>5</sup>.

Фальсификация не считается также с тем, что теория, встретившаяся с затруднениями, может быть преобразована за счет вспомогательных гипотез и приемов, подобных замене реальных определений номинальными. «...Никакое принятое базисное утверждение само по себе не даст ученому права отвергнуть теорию. Такой конфликт мо-

<sup>1</sup> Полани М. Личностное знание. М., 1985. С. 201.

<sup>2</sup> Там же. С. 201–202.

<sup>3</sup> Лакатос И. Указ. соч. С. 218.

<sup>4</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 116.

<sup>5</sup> Лакатос И. Указ. соч. С. 218.

жет породить проблему (более или менее важную), но он ни при каких условиях не может привести к “победе”. Природа может крикнуть “Нет!”, но человеческая изобретательность... всегда способна крикнуть еще громче»<sup>1</sup>.

Особый интерес представляет мысль Лакатоса, что фальсификация вообще не приложима к «жесткому ядру» исследовательской программы. Такая программа «включает в себя конвенционально принятое (и потому “неопровержимое”, согласно заранее избранному решению) “жесткое ядро” и “позитивную эвристику”, которая определяет проблемы для исследования, выделяет защитный пояс вспомогательных гипотез, предвидит аномалии и победоносно превращает их в подтверждающие примеры — все это в соответствии с заранее разработанным планом»<sup>2</sup>. Опровержение «жесткого ядра» не итог одномоментной логической фальсификации, а результат сложного процесса вытеснения одной исследовательской программы другой. При этом роль принципа фальсификации, концентрирующего внимание единственно на аномалиях, второстепенна.

Все это означает, что приложимость принципа фальсификации к разным частям исследовательской программы является разной. Она зависит также от этапа развития такой программы: пока последняя успешно выдерживает натиск аномалий, ученый может вообще игнорировать их и руководствоваться не аномалиями, а позитивной эвристикой своей программы<sup>3</sup>.

Конечно, принцип, который используется в одних случаях и оказывается неприменимым в других, нельзя назвать универсальным. Сложный характер реальных опровержений научных теорий подчеркивает и Т. Кун. «Если бы каждая неудача установить соответствие теории природе была бы основанием для ее опровержения, то все теории и любой момент можно было бы опровергнуть... фальсификация, хотя она, безусловно, и имеет место, не происходит вместе с возникновением или просто по причине возникновения аномального или фальсифицирующего примера. Напротив, вслед за этим разворачивается самостоятельный процесс, который может быть в равной степени назван верификацией, поскольку он состоит в триумфальном шествии новой парадигмы по развалинам старой»<sup>4</sup>.

Отказ от теории реален и разумен только тогда, когда выдвинута альтернативная и более успешная новая теория. Если этого нет, то наличие аномалий и прямая фальсификация теории еще не означают

---

<sup>1</sup> Лакатос И. Указ. соч. С. 219.

<sup>2</sup> Там же. С. 217.

<sup>3</sup> Там же. С. 217.

<sup>4</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 186–187.

отбрасывания ее. Кроме того, новая теория отправляется не только от определенной совокупности фактов, но и от старой теории, стремясь не просто объяснить факты, а объяснить их лучше, чем это делала старая теория. Эмпирический и теоретический отправные пункты создания новой теории тесно взаимосвязаны. В силу этого опровержение теории — не столько результат ее фальсификации, сколько итог борьбы двух теорий за более успешное объяснение фактов.

Как отмечает А. Л. Никифоров, у Поппера были важные философские основания для того, чтобы сделать фальсификационизм ядром своей методологии. Поппер признает, что человеческое познание стремится к истинному описанию внешнего мира, и даже готов согласиться с тем, что человек способен получить истинное знание о мире. Однако он отвергает существование критерия, который позволил бы нам выделить истину из всей совокупности наших убеждений. Даже если бы мы в своем научном поиске случайно натолкнулись на истину, мы не смогли бы с уверенностью это знать. «В попытках понять мир люди выдвигают гипотезы, создают теории и формулируют законы, но они никогда не могут с уверенностью сказать, что из созданного ими истинно. Это убеждение оказало фатальное влияние на методологическую концепцию самого Поппера и на последующее развитие англо-американской методологии его учениками и последователями. Хотя Поппер иногда отступал от этого убеждения и развивал идеи, несовместимые с ним, оно наложило отпечаток на все его воззрения»<sup>1</sup>.

Приведенные мнения об опровержении научных теорий расходятся между собой во многих деталях, но определенно согласуются в главном: опровержение — это не логическая фальсификация, определяемая правилом *modus tollens*; опровержение — сложная процедура, зависящая от многих факторов, одним из которых, но далеко не всегда решающим, является фальсификация следствий опровергаемой теории.

Критика фальсификационизма не может быть до конца последовательной, если она не связана с критикой традиционного понятия опровержения и лежащего в его основе логического принципа фальсификации. Если в трактовке этого понятия логика и эпистемология оказывается, как сейчас, в конфликте, оно неминуемо раздваивается.

С логической точки зрения общее положение считается опровергнутым, как только обнаруживается хотя бы одно (важное или третьестепенное) ошибочное следствие. С эпистемологической точки зрения процедура опровержения является не менее сложной, чем про-

---

<sup>1</sup> Никифоров А. Л. Фальсификационизм и эпистемологический анархизм // В поисках теории развития науки. М., 1982. С. 213.



цедура подтверждения, и учитывает ваность ошибочных следствий, их число, их отношение к «ядру» теории, состояние конкурирующих теорий и множество других факторов.

Существованием двух понятий опровержения и объясняются заключения типа: теория опровергнута (в логическом смысле), но она сохраняется, поскольку она не опровергнута (в эпистемологическом смысле). «Наиболее притягательной чертой попперовской методологии является ее четкость, ясность и конструктивная сила»<sup>1</sup>.

Что касается фальсификационизма, то его «четкость и ясность» — простое следствие бедности его содержания, сводящегося к единственному принципу дедуктивной логики и его перефразировкам. «Конструктивная сила» же в основном тратится на то, чтобы, представив опровержение как сугубо дедуктивную операцию, придать этому абстрактному и неадекватному представлению видимость согласия с реальной практикой опровержения научных теорий. Как только осознается неуниверсальность опровержения, следующего исключительно принципу фальсификации, фальсификационизм утрачивает остатки своей убедительности.

### § 3. Научная критика как ослабленная верификация

По мысли Поппера, обоснование научных теорий не может быть достигнуто с помощью наблюдения и эксперимента. Теории всегда остаются необоснованными предположениями. Факты и наблюдения нужны науке не для обоснования, а лишь для проверки и опровержения теорий, для их фальсификации. Метод науки — это не наблюдение и констатация фактов для последующего их индуктивного обобщения, а метод проб и ошибок. «Нет более рациональной процедуры, — пишет Поппер, — чем метод проб и ошибок — предположений и опровержений: смелое выдвижение теорий; попытки наилучшим образом показать ошибочность этих теорий и временное их признание, если критика оказывается безуспешной»<sup>2</sup>. Метод проб и ошибок универсален: он применяется не только в научном, но и во всяком познании, его используют и амеба и Эйнштейн.

Резкое противопоставление Поппером верификации и фальсификации, индуктивного метода и метода проб и ошибок не является, однако, оправданным. Критика научной теории, не достигшая своей цели, неудавшаяся попытка фальсификации представляет собой ослабленный вариант косвенной эмпирической верификации.

<sup>1</sup> Лакатос И. Указ. соч. С. 213.

<sup>2</sup> Popper K. *Conjectures and reputations*. Oxford, 1979. P. 268–269.

Косвенная верификация является индуктивным рассуждением, протекающим по схеме: «Если верно, что если  $A$ , то  $B$ , и верно  $B$ , то, вероятно, верно  $B$ ».

Фальсификация в узком смысле, используемом Поппером, представляет собой дедуктивное рассуждение, протекающее по схеме: «Если верно, что если  $A$ , то  $B$ , и неверно  $B$ , то неверно  $A$ ».

Фальсификация как процедура включает два этапа: 1) установление истинности условной связи «если  $A$ , то  $B$ », где  $B$  является эмпирически проверяемым следствием; 2) установление истинности «неверно  $B$  (не- $B$ )», т. е. ложности  $B$ .

Неуспех фальсификации означает неудачу в установлении ложности  $B$ . Итог этой неудачи — вероятностное суждение «Возможно, что является истинным не-не- $B$ , т. е.  $B$ ». Неуспех фальсификации представляет собой, таким образом, индуктивное рассуждение, имеющее схему: «Если верно, что если  $A$ , то  $B$ , и неверно не- $B$ , то  $A$ » («Если верно, что если  $A$ , то  $B$ , и  $B$ , то  $A$ »).

Эта схема совпадает со схемой *косвенной верификации* (подтверждения следствий). Неуспех фальсификации является, однако, ослабленной верификацией: в случае обычной косвенной верификации предполагается, что посылка  $B$  есть истинное утверждение; при неудавшейся фальсификации эта посылка является только правдоподобным утверждением<sup>1</sup>. Таким образом, решительная, но не достигшая успеха критика, которую так высоко оценивает Поппер и которую он противопоставляет в качестве самостоятельного метода верификации, является на самом деле только ослабленным вариантом верификации.

## § 4. Парафальсификация и ее логика

При всей убедительности критика фальсификационизма никогда не доводилась до своего, так сказать, логического конца. Она всегда ограничивалась чисто эпистемологическими соображениями (связанными прежде всего с историей науки и реальными научными теориями) и останавливалась перед попперовским логическим обоснованием фальсификационизма. Она не рисковала подвергнуть сомнению асимметрию подтверждения и опровержения и лежащий в ее фундаменте принцип фальсификации.

Заклучение о несовпадении опровержения и логической фальсификации имеет прямое отношение к логике. Признавая в качестве закона принцип фальсификации, она очерчивает слишком узкие и

<sup>1</sup> См. об этом: *Ивин А. А.* Основы теории аргументации. М., 1997. С. 52.

жесткие рамки для опровержения, сводит его к логической фальсификации. В результате опровержение, истолкованное чисто дедуктивно, отрывается от подтверждения и противопоставляется ему как операция совершенно иной логической природы. Поскольку реальные процессы опровержения научных теорий не укладываются в прокрустово ложе чисто логического опровержения, наряду с последним складывается более широкое — эпистемологическое — понятие опровержения. Опровержение в логическом смысле заметно уже опровержения в эпистемологическом смысле. Первое связывает и стесняет второе, поэтому конфликт между ними неизбежен. Одним из проявлений этого столкновения узко логического и более широкого, эпистемологического, истолкований опровержения был, в частности, фальсификационизм Поппера.

Задаваемое логикой понимание опровержения должно быть шире эпистемологического его понимания. Однако принципом фальсификации навязывается обратное отношение между этими пониманиями. Чтобы согласовать логику и эпистемологию, нужно отбросить данный неадекватный принцип и дать более либеральную логическую трактовку опровержения. Конечно, отказ считать принцип фальсификации законом логики не означает, что фальсификация в духе данного принципа никогда не имеет места. Этот отказ означает, что принцип фальсификации не является универсальным, применимым в любых областях рассуждений. Он может входить в расширения минимальной, универсально приложимой логической системы, но не должен входить в саму эту базисную систему.

Сохранение в базисной логике принципа фальсификации можно попытаться оправдать, ссылаясь на его «безвредность»: он предоставляет право отвергать теорию, если обнаруживается хотя бы одна аномалия, но никто из занимающихся наукой всерьез этим правом не пользуется. Сходным образом когда-то защищались так называемые парадоксы классической логики. Например, по поводу принципа «Из ложного высказывания вытекает любое» говорилось, что никто из разумных людей не принимает в качестве посылок высказывания, ложность которых установлена, и значит, не пользуется позволением выводить из них все что угодно. Доводы этого рода малоубедительны. Если разрешение (или даже требование) считать теорию опровергнутой, как только обнаружена аномалия, бесполезно, его необходимо исключить из числа принципов логики, так как оно, защищая эксцентричные опровержения, подрывает доверие к самому приложению логики в научном исследовании.

Такая минимальная и вместе с тем универсальная логика высказываний была построена и получила название «парафальсифицирую-

шая логика»<sup>1</sup>. В этой логике принцип фальсификации не является доказуемым и вместе с тем в ней осуществима фальсификация в некотором более слабом смысле («парафальсификация»).

Возможны и другие пути реализации идеи парафальсифицирующей логики, например отказ от модального аналога принципа фальсификации: *«Если верифицировано условное высказывание (если А, то В) и фальсифицировано его следствие В, то фальсифицировано А»*.

Принцип фальсификации содержит помимо переменных только связки «если, то», «и», «не» и не включает понятий «верифицировано» и «фальсифицировано». Поэтому может показаться, что он не связан непосредственно с проблемами подтверждения и опровержения и что само его имя не отвечает его содержанию. В действительности это не так. Модальным аналогом принципа фальсификации, прямо говорящим о верификации и фальсификации, является утверждение: *«Если верифицировано высказывание (если А, то В) и фальсифицировано высказывание В, то фальсифицировано высказывание А»*.

Высказыванием А может быть система высказываний, образующих научную теорию, а высказыванием В — одно из следствий, в частности одно из эмпирических следствий, высказывания А. Указанный принцип означает в этом случае, что если из научной теории выводится фальсифицируемое следствие, то сама теория также является фальсифицированной.

Модальный аналог принципа фальсификации является следствием принципа фальсификации в рамках простой логической теории эпистемических модальностей «верифицировано» и «фальсифицировано». Если отбрасывается это следствие принципа фальсификации, должен быть отброшен и сам данный принцип. Как только осознается неуниверсальность опровержения, следующего исключительно принципу фальсификации, фальсификационизм утрачивает остатки своей убедительности.

## § 5. Основные виды научных споров

Спор — столкновение мнений, позиций, в ходе которого каждая из сторон аргументированно отстаивает свое понимание обсуждаемых проблем и стремится опровергнуть доводы другой стороны. Спор представляет собой важное средство прояснения и разрешения вопросов, вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что не является в значительной мере ясным и не нашло еще убедительного

---

<sup>1</sup> Ивин А. А. Логика без принципа фальсификации // Философские науки. 1987. № 3. С. 68–70.

обоснования. Если даже участники спора не приходят в итоге к согласию, в ходе спора они лучше уясняют как позиции другой стороны, так и свои собственные.

Искусство ведения спора называется *эристикой*. Она получила большое распространение в Древней Греции в связи с расцветом политической, судебной и моральной полемики. Первоначально эристика понималась как средство отыскания истины и добра с помощью спора, она должна была учить умению убеждать других в правильности высказываемых взглядов и, соответственно, умению склонять человека к тому поведению, которое представляется нужным и целесообразным. Но постепенно эристика выродилась в обучение тому, как вести спор, чтобы достигнуть единственной цели — выиграть его любой ценой, совершенно не заботясь об истине и справедливости. Широкое хождение получили разнообразные некорректные приемы достижения победы в споре. Это серьезно подорвало доверие к искусству спора.

Использование в споре нечестных или некорректных приемов не способно, конечно, скомпрометировать саму идею спора как интересного и важного средства достижения взаимопонимания между людьми, углубления знаний о мире. Эристика как изучение спора и обучение искусству его ведения и правомерна, и полезна, но только при условии, что целью спора считается установление истины и добра, а не просто победа любой ценой.

Эристика не является отдельной наукой или разделом какой-то науки. Она представляет собой разновидность «практического искусства», подобного обучению ходьбе или музыке. Тактические приемы, помогающие выиграть спор, можно разделить на *корректные* и *некорректные*. Первые носят преимущественно технический характер, в них есть элемент хитрости, но нет прямого обмана. Приемы второго рода — это разнообразные обманные действия.

Частый, но явно некорректный прием в споре — так называемая подмена тезиса. Вместо того чтобы обосновать выдвигаемое положение, приводятся аргументы в пользу другого утверждения, выдвигаемого вместо того, которое требовалось доказать. Например, надо показать, что на осине не могут расти яблоки; вместо этого доказывается, что они растут обычно на яблоне и не встречаются ни на груше, ни на вишне.

Еще один некорректный прием — использование ложных и недоказанных аргументов в надежде на то, что противная сторона этого не заметит. Недопустимы в споре и такие уловки, как умышленный уход от темы, длинные разглагольствования о вещах, не имеющих никакого отношения к обсуждаемым вопросам, попытки запутать основную мысль в чаще всяких деталей и подробностей, чтобы затем неза-

метно направить внимание участников спора на то, что кажется выигрышным, и т. п.

То, что называется общим именем «спор», имеет несколько вариантов. Прежде всего, споры делятся на те, в которых допускаются только корректные приемы ведения спора, и те, в которых используются также некорректные приемы ведения спора. Далее, споры можно подразделить на те, целью которых является *достижение истины*, и те, конечной целью которых является *победа* над противником.

Большим упрощением было бы думать, что целью каждого спора может быть только истина или по меньшей мере достижение общего согласия по нерешенным проблемам, оказавшимся источником спора. Человек — не только разумное и познающее, но и действующее существо. Действие — это всегда успех или неуспех, удача или неудача. Наивно представлять дело так, что успех достигается только теми, кто ориентируется на истину, и что неудача — неизбежный удел тех, кто не особенно считается с нею. Иногда, и нередко, успех достигается и неправыми средствами.

Действие невозможно без оценок: утверждений целей, норм, образцов, идеалов и т. п. Истина является свойством описаний, и спор о ней — это спор о соответствии описания реальному положению дел. Споры об оценках, направляющих действие, не относятся к спорам об истине, поскольку оценки не являются ни истинными, ни ложными.

Имеются, таким образом, *споры об описаниях* и *споры об оценках*. Конечной целью первых является истина, т. е. достижение описания, отвечающего реальности. Цель споров об оценках — утверждение каких-то оценок и, соответственно, принятие конкретного, определяемого ими направления будущей деятельности.

Слово «победа» прямо относится только к спорам об оценках и выражаемых ими ценностях. Победа — это утверждение одной из противостоящих друг другу систем ценностей. В спорах об истине о победе одной из спорящих сторон можно говорить лишь в переносном смысле: когда в результате спора открывается истина, она делается достоянием обеих спорящих сторон и «победа» одной из них имеет чисто психологический характер.

Таким образом, по своей цели споры делятся на преследующие истину и преследующие победу над противоположной стороной. По средствам они подразделяются на использующие только корректные приемы и использующие также разнообразные некорректные приемы. Объединяя эти два деления споров, получаем четыре их разновидности, которые можно назвать *дискуссией*, *полемикой*, *эклектикой* и *софистикой*. Дискуссия — спор, направленный на достижение истины и использующий только корректные приемы ведения спора.

Полемика — спор, направленный на победу над противоположной стороной и использующий только корректные приемы. Эклектика — спор, имеющий своей целью достижение истины, но использующий для этого и некорректные приемы. Софистика — спор, имеющий своей целью достижение победы над противоположной стороной с использованием как корректных, так и некорректных приемов.

Приято считать, что всякий научный спор является дискуссией, т. е. спором, направленным на отыскание истины и использующим только корректные приемы. На самом деле это не так. В реальной науке используются споры всех четырех возможных видов, хотя отношение к ним является разным. Во многом оно зависит от области науки и от того, насколько тема спора затрагивает реальные интересы его участников и существующие острые социальные проблемы.

Дискуссия — одна из важнейших форм научной коммуникации, метод решения спорных проблем и своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. И если даже участники дискуссии не приходят в итоге к согласию, они определенно достигают в ходе дискуссии лучшего взаимопонимания. Польза дискуссии еще и в том, что она уменьшает момент субъективности. Убеждения отдельного человека или группы людей она сообщает общую поддержку и тем самым определенную обоснованность.

Непосредственная задача дискуссии — достижение определенной степени согласия ее участников относительно дискутируемого тезиса. Используемые в дискуссии средства должны, как правило, признаваться всеми, кто принимает в ней участие. Употребление средств другого рода ведет обычно к обрыву дискуссии.

Споры в науках о природе имеют обычно форму дискуссии. Но если на этих спорах сказываются внешние для существа дела социальные и личностные факторы, такие споры могут приобретать форму, весьма далекую от научной дискуссии. В частности, тянувшиеся десятилетия споры по поводу биологических идей Т. Д. Лысенко, никогда не имели формы дискуссии. Чаще всего эти споры являлись эклектикой, а иногда и просто софистикой. Н. С. Хрушев, в конце 1950-х гг. неожиданно взявшийся защищать «учение Лысенко», однажды заметил: «Как все эти биологи смеют нападать на такого известного ученого? У него одного больше правительственных наград, чем у них всех, вместе взятых». Довод подобного рода — типичный прием софистического спора.

Полемика, во многом подобная дискуссии, существенно отличается от последней в отношении как своей цели, так и применяемых средств. Цель полемики — не достижение согласия, а победа над другой стороной, утверждение собственной точки зрения. Средства, упо-

требуемые в полемике, должны быть корректными, но они не обязательно должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними соглашались все участники. Каждый из них применяет такие приемы, которые находит нужными для достижения победы, и не считается с тем, насколько они соответствуют представлениям других участников полемики о допустимых приемах спора.

Споры в философии между представителями разных философских школ, многие споры в социальных науках, особенно те споры, в которых затрагиваются интересы больших социальных групп, являются, как правило, не дискуссией, а полемикой. В таких спорах разговор об истине носит внешний характер, а на самом деле речь идет о ценностях и об утверждении собственной системы оценок, хотя и корректными, типичными для науки приемами.

Спор об истине, использующий и некорректные приемы, именуется эклектикой на том основании, что такие приемы плохо согласуются с самой природой истины. Скажем, расточая комплименты всем участникам спора или, напротив, угрожая им силой, можно склонить их к мнению, что 137 — простое число. Но выигрывает ли сама истина при таком способе ее утверждения? Вряд ли.

Тем не менее эклектические споры, в которых истина поддерживается чужеродными ей средствами, существуют, и они не столь редки, как это может показаться. Они встречаются даже в естественных науках, особенно в период формирования новых научных теорий, когда осваивается новая проблематика и еще недостижим синтез разрозненных фактов, представлений и гипотез в единую систему.

Известно, что Галилей, отстаивая когда-то гелиоцентрическую систему Коперника, победил, не в последнюю очередь благодаря своему стилю и блестящей технике убеждения. Он писал на итальянском языке, а не на быстро устаревавшей латыни и обращался напрямую к людям, пылко протестовавшим против старых идей и связанных с ними канонов обучения. Вовлечение в спор большого числа людей, не способных составить ясное представление о предмете спора, — типичный некорректный, пропагандистский прием, именуемый обычно аргументом к публике. Для истины безразлично, на каком языке она излагается и какие конкретно люди ее поддерживают. Тем не менее пропагандистские аргументы Галилея также сыграли позитивную роль в распространении и укреплении гипотезы Коперника.

«Одну естественную интерпретацию, — пишет П. Фейерабенд, — Галилей заменяет другой, весьма отличной от первой и в то время (1630 г.) казавшейся, по крайней мере отчасти, естественной. Как он это делает? Как ему удается ввести абсурдные и контриндуктивные утверждения, например утверждение о движении Земли, и добиться того, чтобы его внимательно выслушали? Он предчувствует, что од-



них рассуждений будет недостаточно (интересное и в высшей степени важно ограничение рационализма) и что его высказывания на самом деле лишь по видимости представляют собой рассуждения. Галилей прибегает к *пропаганде*. Он пользуется *психологическими хитростями*, дополняя ими разумные основания»<sup>1</sup>. Применение этих хитростей оказалось очень успешным и привело Галилея к победе.

Но эти же хитрости замаскировали новый подход Галилея к опыту и на столетия задержали возникновение здоровой философии. Они скрыли, по мнению Фейерабенда, тот факт, что опыт, на котором Галилей намеревался обосновать коперниканскую концепцию, являлся не чем иным, как плодом его собственного богатого воображения и был, в сущности, изобретен им. Хитрости скрыли это и внушили мысль, что радикально новые результаты всем хорошо известны и всеми признаны, и осталось только привлечь общее внимание к наиболее очевидному выражению истины.

Защита принципа относительности осуществлялась Галилеем двумя способами. Во-первых, показывалось, что этот принцип помогает Копернику, что явно не является корректным доводом. Во-вторых, указывалось, что этот принцип хорошо согласуется со здравым смыслом. «Не было приведено ни одного независимого аргумента в пользу справедливости этого принципа. Обоснование Галилеем принципа круговой инерции носит точно такой же характер. Галилей вводит этот принцип, ссылаясь опять-таки не на эксперимент или независимое наблюдение, а на то, что, как считается, известно каждому»<sup>2</sup>.

Научная истина рождается в споре, и утверждается она, в конечном счете, с помощью корректных средств. Но наука делается живыми людьми, на которых оказывают воздействие и некорректные приемы. Неудивительно поэтому, что в спорах об истине иногда возникает искушение воспользоваться какими-то мягкими формами таких приемов.

Отношение к эклектике как разновидности спора должно быть взвешенным и учитывающим ситуацию, в которой для защиты еще не для всех очевидной истины используются и не вполне корректные средства. Что заслуживает безусловного осуждения, так это софистика — спор, в котором для достижения победы над противником используются любые средства, включая и заведомо некорректные.

Всякий спор опирается на определенные предпосылки, беспредпосылочных споров не существует. Общность базиса обеспечивает

---

<sup>1</sup> Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 216.

<sup>2</sup> Там же. С. 227.

начальное взаимопонимание спорящих, дает ту площадку, на которой только и может развернуться противоборство. Те, кто совершенно не понимают друг друга, не способны спорить, точно так же, как они не способны прийти к согласию.

В Средние века говорили: «С еретиками не спорят, их сжигают». Оставив меру наказания еретиков на совести того времени, когда нравы были суровыми, можно отметить, что первая же часть этой поговорки, говорящая о невозможности или, скорее, о нереальности спора с еретиками, в своей основе верна. Еретиком является тот, кто отвергает некоторые основополагающие принципы, отказывается принять единый для данной среды базис, лежащий в основе форм ее жизни и коммуникации. С таким человеком спор действительно нереален.

Для спора нужна известная общность позиций противостоящих сторон, уходящая своими корнями в их чувства, веру и интуицию. Если такой общности нет, и ничто не кажется сторонам одинаково очевидным, то нет и возможности для спора. Трудно, например, дискутировать о деталях второго пришествия Христа с теми, кто отрицает существование Бога или верит в Будду; того, кто не верит во внеземные цивилизации, вряд ли удастся увлечь спором о внешнем облике инопланетян.

## Глава IX

# МНОГООБРАЗИЕ ЦЕННОСТЕЙ

### § 1. О понятии ценности

Тема ценностей в научном познании уже затрагивалась при обсуждении научного метода, идеалов и норм науки. Теперь проблема внешних и внутренних ценностей научных теорий и прежде всего — наук о культуре будет рассмотрена более подробно. Предварительно необходимо остановиться на самом понятии ценности и на тех многообразных формах, в которых они входят в науку.

Существуют два противоположных отношения мысли и действительности: *истинностное* и *ценностное*. При первом отношении (его можно отнести к *пассивным* употреблениям языка) за исходное принимается действительность и мысль должна быть приведена в соответствие с нею. В случае ценностного отношения, которое относится к *активным* употреблениям, исходным пунктом является уже не действительность, а мысль, и в случае их расхождения действительность следует привести в соответствие с мыслью.

То, что пассивное и активное отношение между мыслью и действительностью является противоположностью, означает, что смысл понятия истины не может быть раскрыт без противопоставления истине (позитивной) ценности. И, соответственно, понимание смысла (позитивной) ценности требует знания смысла понятия истины. Пытаться определить истину, не противопоставляя ее ценности, все равно, что надеяться понять, чем является гладкое, не представляя, что такое шероховатое, или понять, что такое вареное, не зная, что существует также сырое.

Центральный момент всякого рассуждения о ценностях — это определение самого понятия ценности<sup>1</sup>. Как раз этот момент чаще

---

<sup>1</sup> Слово «ценность» иногда употребляется в том же смысле, что и понятие «положительная ценность» или «добро». Иногда же понятию «ценность» придается более широкий смысл и приводится различие между позитивными (положительными) и негативными (отрицательными) ценностями. Первые совпадают с добром, вторые — со злом, первые являются предметом положительного интереса, желания и т. п., вторые — отрицательного. Это употребление характерно для работ по этике и теории ценностей.

Далее слово «ценность» употребляется таким образом, что оно охватывает не толь-

всего остается в тени, и разговор ведется так, как если бы каждому было заранее известно, что представляют собой ценности и чем суждение ценности отличается от описания. Такой разговор неизбежно оказывается до крайности аморфным и бездоказательным.

С отсутствием строгого определения ценности связано и нередко чрезмерно расширительное истолкование ценностных суждений, в частности отождествление результата любого акта суждений с ценностным суждением. Это имеет место тогда, когда ценность трактуется чисто количественно или в качестве оценочного рассматривают суждение о любом свойстве, например суждение о цвете. Трудности, связанные с определением и обоснованием ценностных суждений, являются обычным предлогом для того, чтобы объявить их ненадежными и нестрогими и усомниться в правомерности их употребления в науке<sup>1</sup>.

Категория ценности столь же универсальна, как и категория истины. Ценности — необходимый элемент любой деятельности, а значит и всей человеческой жизни, в каких бы формах она ни протекала. Всякая деятельность неразрывно связана с постановкой целей, следованием нормам и правилам, систематизацией и иерархизацией рассматриваемых и преобразуемых объектов, подведением их под образцы, отделением важного и фундаментального от менее существенного и второстепенного и т. д. Все эти понятия — «цель», «норма», «правило», «система», «иерархия», «образец», «фундаментальное», «второстепенное» и т. п. — являются ценностными или имеют важное оценочное содержание.

Вопрос о соотношении истины и ценности является одним из аспектов более общей проблемы взаимосвязи созерцания и действия, теории и практики. Истинностный и ценностный подходы взаимно дополняют друг друга, и один из них не может быть сведен к другому или замещен им.

**Три основных значения понятия «ценность».** Как уже отмечалось, для понятия «ценность» характерна явно выраженная многозначность. Ценностью может называться любой из тех трех элементов,

---

ко положительные и отрицательные ценности, но и нулевые. Выражение или приписывание ценности (оценивание) является установлением определенного отношения между объектом или субъектами оценки и ее предметом. Очевидно, что это ценностное отношение имеет место как в том случае, когда предмет оказывается объектом положительного или отрицательного интереса субъекта, так и в том, когда данный предмет исключается субъектом из сферы своих интересов, когда ему приписывается субъектом нулевая ценность.

В дальнейшем слово «ценность» иногда употребляется для обозначения положительной ценности, или добра. Случаи такого употребления очевидны из контекста.

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Аксиология. М., 2005.

из которых обычно складывается ситуация оценивания: оцениваемый предмет; образец, нередко лежащий в основе оценки; отношение соответствия оцениваемого объекта к утверждению о том, каким он должен быть. Например, если человек отказывается от участия в выборах, ценностью может считаться или само действие неучастия в выборах, или тот идеал, который требует в определенных условиях отказываться от своего права избирать, или, наконец, соответствие ситуации подразумеваемому или формулируемому явно принципу, что участие в выборах ничего не дает и им следует пренебречь.

Первое значение ценности характерно для обычного употребления языка. Большинство определений ценности ориентируется именно на это значение: ценностью объявляется предмет некоторого желания, стремления или, короче, объект, значимый для человека или группы лиц. Второе значение ценности чаще всего используется в философской теории ценностей (аксиологии), в социологии и вообще в теоретических рассуждениях о ценностях. В этом смысле говорят об «этических ценностях», «эстетических ценностях», «ценностях культуры» (гуманизм, демократия, автономия и суверенитет индивида и т. д.). Ценность, как говорят, например социологи, — это приобретенное, усвоенное из опыта обобщенное и стабильное понятие о том, что является желательным; это — тенденция и критерий постановки целей и результатов действия. Каждое общество имеет четко определенные главные ценности, с которыми члены этого общества в целом согласны.

Вместе с тем при истолковании ценностей нужно учитывать, что большинство реальных оценок не опираются на какие-либо образцы, или идеалы. Для многих объектов устоявшиеся образцы просто отсутствуют. Что такое «хорошая планета» или «хорошая элементарная частица»? Для планет и элементарных частиц нет стандартов, говорящих о том, какими должны эти объекты.

Ценности не существуют вне ситуации оценивания (реального или потенциального), так же как истинность невозможна вне описания реальности. Далее, в каждой новой ситуации человек не только оценивает, но и уточняет, конкретизирует или пересматривает тот образец, на основе которого принято выносить оценочное суждение о рассматриваемых объектах. Сами образцы, имеющие обычно социальный характер, формируются в процессе оценивания и являются всего лишь своеобразным экстрактом из него. Если бы это было не так, невозможно было бы понять, откуда появляются образцы и почему они изменяются со временем. Рассуждения об особом «мире ценностей», о критическом исследовании неких «общеобязательных ценностей», по-разному проявляющихся в разных обществах и в разные эпохи — результат отрыва ценностей от реальных процессов

оценивания, в ходе которых ценности формируются и изменяются. Можно говорить об особом «мире образов», но лишь предполагая, что он является всего лишь надстройкой над человеческой деятельностью и тем реальным оцениванием, без которого невозможна последняя.

**Проблема истинности оценок.** Из противопоставления истины и ценности следует важный вывод: оценки (а значит и нормы) не имеют истинностного значения, они не могут быть истинными или ложными. Истина и ценность — две полярные и вместе с тем взаимодополняющие категории. Истина характеризует отношение между описательным высказыванием и действительностью. Оценки не являются дескриптивными. Они употребляются для целей, отличных от описания, и описывают постольку, поскольку это необходимо для выполнения основной функции — оценивания.

Приписывание оценкам истинностного значения связано с подменой их некоторыми иными выражениями, способными быть истинными или ложными. Чаще всего оценки неосознанно подменяются утверждениями об их общепринятости, существовании, эффективности и т. п. Например, оценка «Хорошо, если научная теория соответствует всем фактам» может рассматриваться как истинная только потому, что по распространенному убеждению согласие теории со всеми относящимися к описываемой ею области явлений фактами действительно является позитивно ценным.

Утверждения, описывающие те или иные особенности оценок или их употребления, являются, конечно, истинными или ложными. Но из этого вовсе не следует, что истинностное значение присуще и самим обсуждаемым оценкам.

Инструментальная (утилитарная) оценка приписывает предмету ценность, принимая во внимание его связи с другими вещами. Такого рода оценки нередко относят к истинным, если они действительно способствуют достижению ценного самого по себе (внутренне ценного) состояния. Утилитарная оценка складывается из утверждения об эмпирическом законе и собственно оценки<sup>1</sup>. Первое является, конечно, истинным или ложным. Подмена им всей утилитарной оценки способна внушить ошибочное представление, будто инструментальная оценка, взятая как целое, способна быть истинной или ложной.

Вопрос о том, приложимы к оценкам термины «истинно» и «ложно» или нет, был и остается предметом оживленных споров<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Основания логики оценок. М., 1970. Гл. 5; *Iwin A. A.* Grundlagen der Logik von Wertungen. Berlin, 1975. Kapitel 5.

<sup>2</sup> *Ивин А. А.* Основания логики оценок. Гл. 3, § 6, 7.

Во многом они связаны с тем, что значительное число выражений языка имеет отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер<sup>1</sup>.

## § 2. Виды оценок

*Оценочное высказывание* — высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность какого-то объекта исходя из определенной точки зрения. Все оценочные высказывания делятся на *абсолютные* и *сравнительные*. Первые формулируются с использованием терминов «хорошо», «плохо», «(оценочно) безразлично» или их аналогов; во вторых употребляются термины «лучше», «хуже», «равноценно» и т. п. Примеры абсолютных оценок: «Хорошо, что существует прогресс научного знания», «Плохо, когда что содержание углекислого газа в атмосфере постоянно растет», «Безразлично, какой язык используется в научном сообщении». Примеры сравнительных оценок, называемых также *предпочтениями*: «Лучше использовать в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания водород, чем бензин», «Несвободная экономика хуже по своим результатам, чем свободная», «Давать невыполнимые обещания равносильно тому, что вообще ничего не обещать».

Способы выражения оценок в языке чрезвычайно разнообразны. В оценках часто используются не только указанные оценочные понятия, но также понятия «позитивно ценно», «негативно ценно», «добро», «зло», «предпочтительнее», «должно быть»: «Ученый должен быть критичным»; «Опытный исследователь предпочтительнее неопытного» и т. п.

К выражениям оценочного характера относятся, кроме явных, или прямых, оценок, также всякого рода *стандарты, правила, образцы, идеалы, утверждения о целях, конвекции, аналитические высказывания, номинальные определения* и т. п. Очевиден оценочный характер *традиций, советов, пожеланий, методологических и иных требований, предостережений, просьб, обещаний* и т. п.

*Вопросы*, имеющие характер требований или рекомендаций предоставить определенную информацию, также содержат неявно оценку. Оценки входят неявно и в *утилитарные* (или *инструментальные*) оценки, устанавливающие цели и указывающие средства для их достижения.

Говоря о формах, в которых воплощается ценностное отношение, нужно отметить, что многие понятия как обычного языка, так и

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Аксиология. Гл. 1—3.

языка науки, имеют явную оценочную окраску. Их иногда называют оценочными, или хвалебными, круг их широк и не имеет четких границ. В числе таких понятий «наука» как противоположность мистике и иррационализму, «значение» как противоположность слепой вере, «теория», «труд», «рациональность», «факт» и т. д. Сами понятия «истина» и «ценность» имеют в большинстве своих употреблений явный оценочный оттенок<sup>1</sup>. Введение оценочных понятий редко обходится без одновременного привнесения неявных оценок.

Но ценности входят в рассуждение не только с особыми «оценочными» словами. Любое слово, сопряженное с каким-то устоявшимся стандартом — а таких слов в языке большинство — вводит при своем употреблении неявную оценку. «...Слова суть этикетки. Поэтому, ища их, обретаешь и вещи»<sup>2</sup>. Таким образом, не только «оценочные», но и, казалось бы, оценочно нейтральные слова способны выражать ценностное отношение. Это делает грань между описательной и оценочной функциями языковых выражений особенно зыбкой и неустойчивой. Вне контекста употребления выражения, как правило, невозможно установить, описывает ли оно или оценивает или же делает и то и другое сразу<sup>3</sup>.

Чистые оценки и чистые нормы не так часты, как это обычно представляется. Гораздо более употребительны двойственные, *описательно-оценочные* (дескриптивно-прескриптивные) выражения. В зависимости от ситуации своего использования они или описывают, или оценивают, но нередко даже знание ситуации не позволяет с уверенностью сказать, какую из этих двух функций выполняет рассматриваемое высказывание<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Сказать о каком-то утверждении, что это — истина, часто значит не просто констатировать соответствие его реальному положению дел, но и как-то одобрить его. Стремление к истине является, как принято считать, позитивно ценным, поэтому каждое конкретное истинное утверждение — если, конечно, оно новое и глубокое, а не какая-то банальность типа «Сажа черная» — обычно оценивается положительно. Но возможность такой оценки не означает, разумеется, что истинностное отношение идеи к действительности переворачивается и превращается в ценностное отношение. Часто приводимое положение «Истина — это одна из ценностей» двусмысленно. Верно, что поиски истины заслуживают одобрения, но неверно, что истинностное отношение — частный случай ценностного.

<sup>2</sup> Жубер Ж. Дневники // Эстетика раннего французского романтизма. М., 1992. С. 345.

<sup>3</sup> См. об этом подробнее: Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 1985. С. 28—33, «Оценочный и дескриптивный компоненты значения».

<sup>4</sup> Еще Сократ столкнулся с затруднением, связанным с возможностью и истинностной, и ценностной интерпретации одного и того же утверждения или рассуждения. На вопрос, может ли справедливый человек однажды совершить несправедливый поступок, он отвечал, что нет: если это произойдет, человек перестанет отвечать идее справедливого. Л. Шестов писал по этому поводу: «Сократовское уверение, что с дурным



### § 3. Из истории исследования ценностей

Здесь нет возможности особенно задерживаться на исторических деталях, связанных с классическим определением ценности. Отметим только два обстоятельства. Прежде всего, это определение является столь же старым, как и классическое определение истины. И первое и второе были сформулированы еще в античности. Вместе с тем определение ценности с момента своего возникновения и на протяжении веков выдавалось обычно за простую перефразировку определения истины, раскрывающую некий, якобы более глубокий и полный ее смысл. Крайности сводились вместе, и ценность из полярной противоположности истины превращалась в ее разновидность или просто отождествлялась с нею.

Несколько разрозненных примеров проиллюстрируют эти особенности истории определения ценности. «...Истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным и связанное — связанным, а ложное — тот, кто думает обратное тому, как дело обстоит о вещами. ...Не потому ты бледен, что мы правильно считаем тебя бледным, а, наоборот, именно потому, что ты бледен, мы, утверждающие это, говорим правду»<sup>1</sup>. Это — ясное определение истины как соответствия мысли той действительности, к которой она относится.

Но ранее у Платона встречается иное истолкование истины. В диалоге «Федон» Сократ выдвигает в качестве критерия истины соответствие того, что познается, своему понятию. «Я решил, — говорит он, — что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия. Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное — идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, — а что не согласно с ним, то считаю

---

не может приключиться ничего хорошего, а с хорошим ничего дурного, есть “пустая болтовня” и «поэтический образ», который он подобрал где-то на большой дороге или в еще худшем месте...» (*Шестов Л.* Скованный Парменид. Париж, 1927. С. 50–51). О пословице «Пророк действительно пророчесствует» Р. Карнап пишет, что она якобы бессмысленна (*Карнап Р.* Философские основания физики. М., 1971. С. 171). Очевидно, что это не так. В ценностной интерпретации она выражает определенное требование к тому, кто именуется пророком: он должен прорицать. Сходным образом, афоризм «Турнирное счастье всегда на стороне призеров» является содержательно пустым в истинностной интерпретации, но в ценностной интерпретации он устанавливает важное условие успеха в турнире — везение.

<sup>1</sup> *Аристотель.* Метафизика. 1051в5.

неистинным»<sup>1</sup>. С этой точки зрения критерием истины оказывается соответствие того, что познается, своему понятию<sup>2</sup>.

Что касается Аристотеля, давшего первое определение истины, его понятие формы, как и понятие идеи Платона, является не личностной, духовно-индивидуальной категорией, а представляет собой только *тип, родовое понятие, образец*. По существу, аристотелевская теория материи и формы является попыткой преодолеть противоположность истинностного и ценностного подходов и совместить истину с ценностью.

Согласно Августину, бог, создавая вещи, руководствовался своими идеями как высшими образцами для любой из сотворенных вещей. В каждой из них заключен тот или иной мысленный, внеземной образ, сохраняемый вещью при всех ее изменениях. В меру соответствия вещи своему образу («своей идее») в ней заключено и добро<sup>3</sup>. Фома Аквинский писал, что «совершенство предмета определяется в меру его актуальности; совершенным называется то, что не испытывает никакой недостаточности в том роде, в котором оно совершенно»<sup>4</sup>. Это — вариант классического определения ценности (добра).

В другом месте Аквинат определенно смешивает истину и добро: «Коль скоро всякий предмет может быть истинным постольку, поскольку имеет форму, соответствующую его природе, с необходимостью следует, что интеллект, поскольку он познает, истинен в меру того, насколько он имеет подобие познанного предмета, которое есть его форма, коль скоро он есть интеллект познающий. И потому истина определяется как согласованность между интеллектом и вещью»<sup>5</sup>. Здесь истиной именуется как соответствие идей вещам, так и соответствие вещей идеям.

В Новое время Лейбниц, продолжая старую традицию, истолковывал совершенное как соответствующее своему понятию. Все вещи, рассматриваемые с правильной точки зрения и понятые наилучшим образом, т. е. рассмотренные в свете надлежащих понятий, оказыва-

<sup>1</sup> Платон. Федон 100.

<sup>2</sup> Можно отметить, что сходную идею высказывал еще раньше Анаксагор, считавший, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум. В сущности, это был один из первых ясно выраженных ценностных подходов — от Ума, т. е. от абстрактного, отвлеченного понятия — к миру как его следствию. Однако Анаксагор не был достаточно последователен, что сразу же заметил Сократ: провозглашая Ум в качестве все упорядочивающего принципа, Анаксагор при объяснении конкретных явлений рассуждал так, как если бы Ум бездействовал, а порядок вещей и их причины определялись не им, а самими природными вещами.

<sup>3</sup> Соколов В. В. Средневековая философия. М.: 1969. С. 61.

<sup>4</sup> Thomas Aquinas. Summa theologiae, I, q. 4, 1 c.

<sup>5</sup> Там же. I, q. 16, 2 c.

ются с необходимостью добрыми и справедливыми<sup>1</sup>. Это понимание совершенного было воспринято Х. Вольфом и А. Баумгартеном, отождествлявшими, вслед за Лейбницем, прекрасное с совершенным.

«После того как люди начали образовывать общие идеи и создавать образцовые представления домов, зданий, башен и т. д. и предпочитать одни образцы вещей другим, каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и наоборот — несовершенным те, что казалось менее согласным с составленным для него образцом...»<sup>2</sup>. Во всех этих высказываниях положительная ценность (добро, совершенство) понимается как соответствие вещей своим образцам, зафиксированным в понятиях или идеях.

У Канта неоднократно встречается мысль, что истина двойственна: она означает соответствие мысли тому предмету, которого она касается, и вместе с тем означает соответствие самого предмета мысли о нем<sup>3</sup>. Подмена истинностного отношения ценностным и истины добром лежит в основе всей философской концепции Гегеля.

Наиболее совершенный способ познания — это, по Гегелю, познание в чистой форме мышления, где человек действует совершенно свободно. «Что форма мышления есть абсолютная форма и что истина выступает в ней так, как она есть в себе и для себя, — в этом состоит вообще основное положение философии»<sup>4</sup>. «Обыкновенно мы называем истиной согласие предмета с нашим представлением. Мы имеем при этом в качестве предпосылки предмет, которому должно соответствовать наше представление о нем. В философском смысле, напротив, истина в своем абстрактном выражении вообще означает согласие некоторого содержания с самим собой. Это, следовательно, совершенно другое значение истины, чем вышеупомянутое...

Впрочем, более глубокое (философское) значение истины встречается отчасти также и в обычном словоупотреблении; мы говорим, например, об *истинном* друге и понимаем под этим такого друга, способ действия которого соответствует понятию дружбы; точно так же мы говорим об *истинном* произведении искусства. Неистинное означает в этих выражениях дурное, несоответствующее самому себе. В этом смысле плохое государство есть неистинное государство, и плохое и неистинное вообще состоит в противоречии между определением или понятием и существованием предмета. О таком плохом

<sup>1</sup> Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 242.

<sup>2</sup> Спиноза Б. Избранные сочинения. М., 1957. Т. 1. С. 521–522.

<sup>3</sup> На это обратил внимание Гулыга А. С. Философия Канта и современность. М., 1974. С. 151.

<sup>4</sup> Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 127.

предмете мы можем составить себе правильное представление, но содержание этого представления есть в себе неистинное. Мы можем иметь в своей голове много правильного, но вместе с тем неистинного. Только бог есть истинное соответствие понятия и реальности. Но все конечные вещи имеют в себе неистинность, их существование не соответствует их понятию. Поэтому они должны пойти ко дну, и эта их гибель служит проявлением несоответствия между их понятием и их существованием»<sup>1</sup>.

Мысль Гегеля ясна, но ошибочна. Имеются якобы два понятия истины. Истину как согласие представления со своим предметом Гегель именует «правильностью» и противопоставляет другому, будто бы более глубокому пониманию истины как соответствия предмета своему понятию. Однако это второе понимание, фиксирующее «согласие некоторого содержания с самим собой», говорит о том, какими должны быть вещи, и является на самом деле определением не истины, а позитивной ценности, или добра. В поддержку явной подмены истины добром или «должным» Гегель ссылается на обычное словоупотребление, на случаи, когда мы говорим об «истинных друзьях», «истинных произведениях искусства» и т. п. Действительно, слово «истинный» иногда используется не в своем обычном смысле, а означает «настоящий, подлинный, очень хороший», короче, «такой, каким и должен быть». Но эта особенность повседневного языка говорит только о том, что в обычной жизни истинностный и ценностный подходы тесно взаимосвязаны и переплетены, что, конечно, не делает истину добром, а добро истиной.

Проведение различия между двумя типами истины — давняя и устойчивая философская традиция. Вот как резюмирует ее И. М. Бохеньский в книге, посвященной своеобразию философского мышления. Истина означает в общем случае совпадение, соответствие мнения и «нечто». «Легко заметить, что установление этого совпадения может происходить в двух, так сказать, направлениях. В одном — когда вещь соответствует мысли, например, когда говорят: этот металл — настоящее золото, или: этот человек — настоящий герой. Этот первый вид истинного и истины философы обычно называют “онтологическим”. В других случаях, наоборот, мысль, суждение, положение и т. д. называются истинными, если они соответствуют вещам. Этот второй вид истинного имеет признак, по которому его можно легко узнать: истинными в этом втором смысле являются лишь мысли, суждения, положения, но не вещи в самом мире. Такой вид истины среди философов принято называть “логической истиной”»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 126.

<sup>2</sup> Bochenski I. M. Wege zum philosophischen Denken. Freiburg, 1959. S. 46–47.

Разумеется, никаких двух видов истины нет. Так называемая логическая истина — это истина в обычном, или классическом, понимании. «Онтологическая истина» — это вовсе не истина, а позитивная ценность, добро, совершенство. Вещь, соответствующая мысли, представляет собой такую вещь, какой она должна быть, т. е. попросту говоря, хорошую или очень хорошую вещь. Утверждение «Этот человек — настоящий герой» — только сокращенная формулировка утверждения о долженствовании: «Этот человек таков, каким должен быть герой».

Выделение двух видов истины — это не некая типичная особенность «глубокого» философского мышления, а ставшая уже традиционной путаница между истиной и добром. Прежде всего, истинностный и ценностный подходы к вещам очевидным образом не тождественны друг другу. Они имеют противоположное направление, и уже поэтому не могут совпадать. В случае истинностного подхода движение направлено от действительности к мысли. В качестве исходной выступает действительность, и задача заключается в том, чтобы дать адекватное ее описание. При ценностном подходе движение осуществляется от мысли к действительности. Исходной является оценка существующего положения вещей, и речь идет о том, чтобы преобразовать его в соответствии с этой оценкой или представить в абстракции такое преобразование.

Истинностный и ценностный подходы взаимно дополняют друг друга. Ни один из них не может быть сведен к другому или замещен им. История теоретического мышления показывает, однако, что попытки такого сведения были в прошлом обычным делом. Более того, редукция истинностного подхода к ценностному или, наоборот, ценностного к истинностному едва ли не всегда рассматривалась как необходимое условие правильного теоретизирования.

В средневековом теоретизировании, двигавшемся по преимуществу от теоретического мира к реальному, явно преобладал ценностный подход. Здесь были все атрибуты такого подхода: рассуждения от понятий к вещам, дедукции из «сущностей», разговоры о «способностях» исследуемых объектов, введение явных или скрытых целевых причин, иерархизация изучаемых явлений и утверждений о них по степени фундаментальности и т. п.

В теоретическом мышлении Нового времени в первый период безраздельно господствовал истинностный подход. Казалось очевидным, что ценностей нет и не может быть в естественных науках; ставилась задача очистить от них и гуманитарные науки, перестроив их по образцу естественных. В этот период сложилось представление о «чистой объективности» научного знания, об «обезличенности», бес-

субъектности науки. Все проблемы рассматривались только в аспекте истинности/неистинности.

Однако начиная с Лейбница ценности допускаются сперва в метафизику, а затем и в гуманитарное познание. У Лейбница сущее (монада) определяется не только перцепцией, но и стремлением, влечением и охватывает в своем воспринимающем представлении совокупность мирового сущего. Лейбниц говорит даже о «точке зрения», присущей этому стремлению<sup>1</sup>.

Но еще у Канта и Гегеля общее понятие ценности отсутствовало. В качестве параллели сущему оно было введено в 60-е годы XIX в. Г. Лотце и Г. Когеном. Истолкование сущего по преимуществу в свете ценностей привело в конце XIX в. к появлению «философии ценностей» — направления неокантианства, связанного с именами В. Виндельбанда и Г. Риккерта.

Ф. Ницше представил всю историю западноевропейской философии как полагание ценностей. Он видел источник ценностей в «перспективности сущего»<sup>2</sup>. Ценности полагаются человеком «из практических соображений, из соображений пользы и перспективы» и являются «пунктуациями воли», размеряющей и размечающей пути своего возрастания<sup>3</sup>. Ценность есть, в конечном счете, просто то, что, так или иначе, признается волей значимым для себя». Воля к власти и полагание ценностей представляют собой, по мысли Ницше, одно и то же. Наука, истина, культура оказываются в итоге только частными ценностями: они являются лишь условиями, в которых осуществляется порядок всеобщего становления — единственной подлинной реальности. И лишь само по себе становление не имеет ценности. «Нигилизм понимает мышление (разум) как принадлежащий воле к власти расчет на упрочение своего состояния... Нигилистическое отрицание разума не исключает мышления, но ставит его на службу своей страстно-жизненной природе»<sup>4</sup>.

Таким образом, к концу XIX в. в западноевропейской философии сложился ясно выраженный дуализм истинностного и ценностного подходов к действительности. В методологии естественных наук человек, как правило, низводился до роли пассивного, созерцающего субъекта. В философии жизни, герменевтике В. Дильтея и особенно в философии «воли к власти» Ницше человек оказался творцом не только истории и культуры, но и самой реальности<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Лейбниц Г. В. Указ. соч. Т. 1. С. 301–302, 404.

<sup>2</sup> Nietzsche F. Werke. Leipzig, 1894–1912. Bd. 15. § 12.

<sup>3</sup> Там же. Bd. 16. § 715.

<sup>4</sup> Там же. Bd. 2, § 294.

<sup>5</sup> «Физики, сами того не зная, кое-что в своей системе опустили: именно необходимый *перспективизм*, благодаря которому всякий центр силы — и не только человек — из

Во многом этот дуализм — противопоставление истины и ценности, созерцания и действия, теории и практики, естественных и гуманитарных наук — сохраняется в философии и в наше время. Но это вчерашний день, продолжение той традиции, которая была характерна для теоретического мышления предшествующей эпохи.

## § 4. Структура оценок и норм

Будем исходить из представления, что всякое оценочное высказывание включает следующие части:

*субъект оценки* — лицо (или группа лиц), приписывающее ценность некоторому объекту;

*предмет оценки* — объект, которому приписывается ценность, или объекты, ценности которых сопоставляются;

*характер оценки* — указание на то, является оценка абсолютной или сравнительной и как именно оценивается рассматриваемый объект (позитивно, негативно и т. д.);

*основание оценки* — позиция, с которой производится оценивание.

Не все эти части находят явное выражение в оценочном высказывании, но это не означает, что они не обязательны. Без любой из них нет оценки, и значит, нет фиксирующего ее оценочного высказывания. Например, в высказывании агронома: «Хорошо, что в июне стоит теплая погода с дождями, так что можно рассчитывать на хороший урожай» субъектом оценки является агроном, ее предметом — июньская погода, характером — слово «хорошо», используемое в абсолютных оценках, и основанием — виды на будущий урожай. В оценке бизнесмена: «Честность — лучшая политика в экономических делах» субъект оценки — бизнесмен, ее предмет — честность, противопоставляемая использованию в бизнесе нечестных приемов, характер сравнительной оценки выражается словом «лучшая» («предпочитается всякой иной»), основание — вера в экономический успех.

Нормативное высказывание — это высказывание, устанавливающее какую-то норму поведения<sup>1</sup>. Нормативными являются, в частности, высказывания: «Никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление», «Никто не может быть произвольно лишен жизни» и т. п.

---

себя конституирует весь остальной мир, т. е. мерит, осязает, формирует его мерой своей силы... Они позабыли включить в истинное бытие эту полагающую перспективы силу, или, говоря школьным языком, бытие в качестве субъекта» (*Nietzsche F. Op. cit. Bd. 15, § 306*).

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Логика норм. М., 1973; *Iwin A. A.* Deontischen Logik. Berlin, 1977.

Языковые формулировки нормативных высказываний многообразны и разнородны. Иногда такие высказывания имеют форму повелительного (императивного) предложения («Не курить!», «Прекратите разговаривать!» и т. п.). Чаще нормативное высказывание представляется повествовательным предложением с особыми нормативными понятиями: «обязательно», «разрешено», «запрещено», «(нормативно) безразлично». Вместо указанных понятий могут употребляться также другие слова и обороты: «должен», «может», «не должен», «позволено», «рекомендуется», «возбраняется» и т. п. В языковом представлении нормативного высказывания решающую роль играет контекст, в котором выражается норма. Можно говорить об обычных, или стандартных, формулировках нормативных высказываний. Но вряд ли можно сказать, что существует грамматическое предложение, в принципе не способное выражать такое высказывание. Попытка определить нормативное высказывание на чисто грамматических основаниях не приводит к спеху.

Более удачными представляются попытки уточнить понятие нормативного высказывания (соответственно, понятие нормы) путем противопоставления нормативных высказываний описаниям, анализу внутренней структуры норм и исследования многообразных разновидностей норм. Обычно нормы и оценки рассматриваются независимо друг от друга. Попытки установить связь норм и оценок редки, причем заранее предполагается, что вопрос об этой связи весьма сложен. Чаще всего утверждается, что оценки как-то «лежат в основе» норм или каким-то образом «влекут» нормы. Попытки выявить точный механизм этой связи приводят к громоздким и содержательно неясным конструкциям.

В действительности эта связь проста. Нормы представляют собой частный случай ценностного отношения между мыслью и действительностью. Как таковые, нормы являются частным случаем оценок. Именно тем случаем, который представляется нормативному авторитету настолько важным, что он находит нужным установить определенное *наказание* за приведение действительности в соответствие со своей оценкой.

Наказание многолико и разнородно, начиная с лишения жизни и кончая абстрактным «осуждением истории». Соответственно, граница области норм не является четкой. В частности, правовые нормы — это жестко закрепленные социальные оценки, со строго фиксированной санкцией. Методологические правила — оценки, отказ от которых грозит возникновением каких-то, не оговоренных заранее затруднений в исследовательской деятельности. Правила игры — оценки со своеобразной санкцией: человек, пренебрегающий ими, выбывает из игры («играет в другую игру»). Грамматические нормы — оценки с



расплывчатой санкцией, во многом сходной с санкцией за нарушение правил игры, и т. д.

Разнообразие видов возможной человеческой деятельности — от преобразования природы и общества до игры крестики и нолики — лежит в основе разнообразия тех наказаний, которыми сопровождается нарушение нормы, и разнородности поля самих норм. Идею, что нормы — это частный случай оценок, можно представить по-разному. В частности, она может быть выражена с помощью следующего определения: *Обязательно действие А=(по определению) Действие А является позитивно ценным, и хорошо, что воздержание от данного действия влечет за собой наказание.* Этим определением норма «Обязательно действие А» разлагается на две оценки: позитивную оценку действия А и позитивную оценку наказания за невыполнение данного действия (воздержание от него).

Нормы как оценки, стандартизированные с помощью санкций, являются частным и достаточно узким классом оценок. Во-первых, нормы касаются человеческих действий или вещей, тесно связанных с действием, в то время как оценки могут относиться к любым объектам. Во-вторых, нормы направлены в будущее, оценки же могут касаться как прошлого и настоящего, так и того, что вообще существует вне времени. Отличие норм от других оценок связано, таким образом, с санкцией. В конечном счете они имеют социальную природу.

Различие между нормами и оценками не предполагает, разумеется, что они никак не связаны между собой. Напротив, их связи многообразны и тесны, хотя и не носят — за одним исключением — характера логического вывода. Это единственное исключение является простым: из нормы, предписывающей некоторое действие, логически следует позитивная оценка данного действия тем, кто установил данную норму. Например, из нормы, предписывающей быть честным, логически следует позитивная оценка честности людьми, выдвигающими данную норму и предполагающими, что ее несоблюдение должно наказываться.

Описательное высказывание говорит о том, что имеет или не имеет место; оценочное (нормативное) высказывание выражает оценку (норму) и говорит о том, что должно, может или не должно быть. Различие между «есть» и «должен» является принципиальным: то, что есть, реально существует; то, что должно быть, может как существовать, так и не существовать. Однако границу между «есть» и «должен» далеко не всегда удается сделать отчетливой.

Сложность различения нормативных высказываний от высказываний иных видов, и прежде всего от описательных, во многом связана с существованием высказываний, выполняющих сразу не-

сколько функций или меняющих свою функцию от ситуации к ситуации. В частности, оценки и нормы почти не встречаются в научных теориях, которые не ставят своей специальной задачей их выработку и обоснование. В обычные теории оценки и нормы входят, как правило, в виде «смешанных», описательно-оценочных или описательно-нормативных утверждений. Очевиден, в частности, двойственный характер наиболее общих принципов теории. Не являются нормативно нейтральными и все иные законы теорий и даже некоторые лежащие в их основе факты.

Все нормы, независимо от их конкретного содержания, имеют одну и ту же структуру. Каждая норма включает следующие *части*, или *элементы*:

*содержание* — действие, являющееся объектом нормативной регуляции;

*характер* — норма обязывает, разрешает или запрещает это действие;

*условия приложения* — обстоятельства, в которых должно или не должно выполняться действие;

*субъект* — лицо или группа лиц, которым адресована норма.

Не все эти части находят явное выражение в нормативном утверждении. Однако без любой из них нет нормы.

Многие нормы имеют в качестве особой части также *авторитет*. Авторитет — это индивид или орган власти, правомочный требовать или разрешать. Юридические нормы всегда имеют определенный авторитет. Моральные нормы также предполагают некоторый авторитет и меняются вместе с изменением своего авторитета. Вместе с тем авторитет, стоящий за моральными нормами, является менее определенным, чем авторитет юридических норм. Еще более расплывчаты авторитеты, стоящие за нормами (правилами) грамматики, игры и т. п. Естественно предполагать, что за нормами логики и математики нет никакого авторитета. «Авторитет природы», иногда упоминаемый в связи с такими нормами, не более чем метафора.

Нормы могут принадлежать разным авторитетам, один из которых может оценивать некоторое состояние как обязательное, а другой — как безразличное или даже запрещенное. Нормы «Обязательно сделать А» и «Запрещено делать А», принадлежащие разным авторитетам, не противоречат друг другу. Описания же «Истинно, что А» и «Ложно, что А» противоречат друг другу, даже если они утверждаются разными лицами. Основания разных норм, их субъекты и авторитеты не могут быть отождествлены.

В этом плане нормы существенным образом отличаются от описаний. Описания, как принято говорить, intersubъективны: их истинность не зависит от того, кем они высказаны, кому адресованы и с ка-

кой точки зрения описывается отображаемая в них ситуация. Нормы не являются интерсубъективными в указанном смысле.

Хотя нормы являются важным элементом социальной жизни, никакой ясной и универсальной классификации, охватывающей нормы всех видов, не существует. Область норм крайне широка, она простирается от законов государства до правил игр, логики и математики. Между нормами и тем, что к ним не относится, ясная граница отсутствует. Это говорит о том, что надежды на создание естественной классификации норм, подобной, скажем, классификации растений или химических элементов, являются неоправданными.

Самым общим образом нормы можно разделить на следующие группы:

*правила*, включающие правила игры, грамматики, логики и математики, обычая и ритуала и т. п.;

*предписания*, охватывающие нормы науки, законы государства, указы, директивы, команды, приказы и т. п.;

*технические*, или *целевые*, нормы, говорящие о том, что должно быть сделано для достижения определенной цели (например, «Чтобы теория стала более обоснованной, следует провести большее число экспериментов»).

Эти группы норм можно назвать *основными*. Существуют также многообразные нормы, занимающие как бы промежуточное значение между главными их видами. Особый интерес среди не являющихся основными групп норм имеют:

*традиции и обычаи* («Следует ценить мнение ученых, получивших Нобелевскую премию», «Перед началом исследования необходимо сформулировать хотя бы предварительную гипотезу» и т. п.);

*моральные принципы* («Забиться о своих близких» «Не будь завистлив» и т. п.);

*правила идеала* («Ученый должен быть объективным», «Отстаивание истины — лучшая политика в науке» и т. п.).

Характерно, что нормы всех видов, несмотря на их многообразие, имеют, если отвлечься от проблемы авторитета нормы, одну и ту же структуру.

## § 5. Описательно-оценочные высказывания

Чистые оценки и нормы являются редкими не только в тех науках, которые не ставят своей непосредственной целью их введение и обоснование, но и в повседневных рассуждениях. Даже в искусствоведческом, моральном и юридическом рассуждении явных оценок и норм не так много, как это иногда представляется.

Чаще всего оценочная или нормативная составляющая переплетается в наших утверждениях с элементами описания. Рассмотрим поэтому *оценочно-описательные* и *описательно-нормативные* высказывания более подробно. Отличительной чертой рассуждений о человеке и обществе является то, что почти все сколько-нибудь важные тезисы таких рассуждений представляют собой двойственные, описательно-оценочные утверждения.

Такого рода утверждения нетрудно найти даже в науках о природе, если последние рассматривать в динамике — не только как результат, но и как процесс научной деятельности. Однако в естественнонаучных теориях двойственные утверждения подобны строительным лесам, нужным только в ходе построения теории. Как только возведение теории завершается и она получает хорошую эмпирическую и теоретическую поддержку, оценочный компонент двойственных утверждений уходит в тень, и они начинают функционировать как обычные описания.

В социальных и гуманитарных теориях двойственные высказывания — необходимые составные элементы как формирующихся, так и устоявшихся теорий и концепций. Причина универсальной распространенности двойственных выражений проста: человек не только созерцает и описывает реальность, но и преобразует ее. Для этого необходимо оценить существующее положение вещей и наметить перспективу его трансформации. Ценности, включающие оценки и нормы, — необходимое условие активности человека. В процессе реальной практики созерцание и действие, описание и оценка, в частности норма, чаще всего неразрывно переплетены.

Это находит свое отражение и в языке: одни и те же выражения нередко выполняют одновременно две противоположных и, казалось бы, несовместимых функции — функцию описания и функцию оценки (нормы). Простым и наглядным примером двойственных высказываний являются определения толковых словарей. Задача словаря — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собой и другую цель — нормировать, и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает, как реально используются слова, но и указывает, как они должны правильно употребляться. Описание он соединяет с нормой, требованием.

Еще одним хорошо известным случаем двойственных выражений являются правила грамматики. Они описывают, как функционирует язык, и вместе с тем предписывают, как правильно его употреблять. Если в определениях толковых словарей ярче выражена их дескрип-

тивная (описательная) роль, то в правилах грамматики доминирует их прескриптивная (предписательная) функция.

Проблема двойственных высказываний — одна из самых сложных и вместе с тем одна из наименее исследованных проблем теории оценок и норм. Исследование двойственных высказываний должно в первую очередь ответить на вопрос: как можно обосновать такие высказывания? Обоснование описаний и обоснование оценок — две совершенно разные процедуры. Описания обосновываются прежде всего ссылкой на прямое или косвенное соответствие их реальности, и итогом обоснования является заключение об истинности (или ложности) обосновываемого описательного высказывания. Оценки представляют собой, в конечном счете, руководство для деятельности и обосновываются главным образом путем ссылки на эффективность направляемых ими действий. Возникает вопрос, в каких терминах оценивать двойственные высказывания: в терминах «истинно/ложно» или же в терминах «эффективно/неэффективно».

В целом, ответ на данный вопрос является простым. Описательно-оценочные высказывания соединяют описание и оценку. В одних контекстах они выступают как описания и должны, подобно всем описаниям, быть истинными или ложными; их обоснование должно быть таким же, как и обоснование обычных описаний. В других контекстах эти высказывания функционируют в качестве оценок и не имеют, как и все оценки, истинностного значения. Сложность состоит в том, что никаких общих принципов, позволяющих разграничивать ситуации, в которых двойственное высказывание употребляется как описание, и ситуации, когда это высказывание должно бы истолковано как оценка, не существует.

Вопрос о том, является какое-то высказывание описанием, оценкой или же оно парадоксальным образом соединяет описание и оценку, обычно невозможно решить вне контекста употребления этого высказывания. Подразделение всех утверждений на описательные, оценочные и двойственные не может стоять вне социальной жизни и человеческой истории и не зависеть от них. Оно исторически конкретно и всегда связано с определенным «настоящим».

**Акцентуированные высказывания.** Рассмотрим вкратце основные типы двойственных, описательно-оценочных, в частности описательно-нормативных, утверждений. Двойственные высказывания, имеющие неотчетливо выраженный описательно-оценочный характер и стоящие ближе к описаниям, чем к оценкам, можно назвать *акцентуированными высказываниями*. Такие высказывания функционируют первоначально как описания, но затем, становясь элементами сложной системы утверждений, начинают нести на себе отблеск входящих в эту систему или служащих ее координатами ценностей.

Акцентуированными являются многие утверждения о фактах, особенно о фактах, играющих ключевую роль в обосновании конкретной теории (или гипотезы). Такие факты обычно фиксируются высказываниями со связкой «есть». Но, учитывая их значение для поддержки общих принципов теории, утверждения о них можно переформулировать с «должно быть»: исследуемый объект не просто обладает указанными свойствами, но *должен* обладать ими, иначе будет поставлена под сомнение сама теория.

К акцентуированным высказываниям можно отнести и высказывания с так называемыми оценочными словами. Многие понятия как обычного языка, так и языка социальных и гуманитарных наук имеют явную оценочную окраску. Круг этих понятий, сопряженных с позитивной или негативной оценкой, широк и не имеет четких границ. В числе таких понятий «наука» как противоположность мистике и иррационализму; «знание» как противоположность слепой вере и откровению; «равенство», под знаком которого проходили все крупные социальные движения начиная с Великой французской революции; «справедливость», воодушевляющая критику всех существующих социальных порядков; «свобода», постоянно меняющая свое значение, но остающаяся одним из ключевых слов почти всех идеологий, и т.п. Введение подобных понятий редко обходится без привнесения неявных оценок.

К акцентуированным высказываниям относятся, далее, наиболее общие принципы научных теорий. Они описывают и объясняют некоторую совокупность фактов. В качестве описаний они должны соответствовать эмпирическим данным и эмпирическим обобщениям. Вместе с тем принципы являются также стандартами оценки как других утверждений теории, так и самих фактов. Ценностно нагружены не только общие принципы, но в той или иной мере и все законы научных теорий.

Научная теория имеет ступенчатое, иерархическое строение. С каждой новой, более высокой ступенью увеличивается ценностное, прескриптивное значение утверждений, относящихся к этой ступени; возрастает их сопротивляемость попыткам опровергнуть их или отказаться от них, усиливается их роль критериев оценки иных положений, принадлежащих более низким ступеням.

**Определения-описания и определения-требования.** Существенным является различие между *реальными* и *номинальными* определениями. Первые представляют собой описания. Они претендуют на соответствие действительности и являются истинными или ложными. Вторые — это, в сущности, завуалированные предписания. Они требуют употреблять определяемый термин в задаваемом ими значении, не считаясь с особенностями реальной ситуации. Более того, сама эта

ситуация в случае необходимости должна быть преобразована так, чтобы не приходилось отступать от предписанного значения. Номинальные определения не имеют истинностного значения<sup>1</sup>.

Как предписания номинальные определения являются оценками. Все сказанное об отличии описаний от оценок, истинностного подхода к миру от ценностного непосредственно относится и к различию между реальными и номинальными определениями. Номинальные определения — обычная форма неявного введения ценностных отношений и оценок. В большинстве своем определения соединяют элементы описания с элементами требования, предписания.

Задача обычного толкового словаря — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собою и другую цель — нормализовать и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает, как реально используются слова. Он указывает также, как они должны правильно употребляться. Описание он соединяет с требованием.

От реальных определений мы вправе ожидать, что они дают верное описание действительности и тем самым являются истинными. Номинальные определения, подобно всем иным требованиям, не являются ни истинным, ни ложным. Их соответствие ситуации оценивается в других терминах. Удачное номинальное определение характеризуют как эффективное, целесообразное и т. п.

Хорошо известные трудности разграничения реальных и номинальных определений только частный случай тех затруднений, с которыми почти всегда связано различие истинностного и ценностного типов сопоставления мысли и действительности. Нередко научное определение в одном контексте звучит как реальное, а в другом — выполняет функцию номинального определения. Иногда реальное определение, описывающее какие-то объекты, обретает оттенок требования, как употреблять термин, соотносимый с ними. Номинальное определение может нести отзвук описания. Из психологии восприятия известны графические фигуры, которые при пристальном их рассмотрении предстают то выпуклыми, то вогнутыми. Сходным

---

<sup>1</sup> К. Айдукевич определяет реальное определение как однозначную характеристику предмета, а номинальное как терминологическую конвенцию. Первое является истинным или ложным, второе не имеет истинностного значения (см.: *Ajdukiewicz K. Trzy pojęcia definicji // Językopoznanie. Warszawa, 1965. Т. 2*). Так, истолкованные реальные определения являются описаниями, а номинальные определения — предписаниями. Реальные и номинальные определения предлагалось различать и по многим другим основаниям. Изложение и детальный анализ этих предложений см: *Горский Д. П. Определение. М., 1974.*

образом одно и то же определение при размышлении над ним может казаться то реальным, то номинальным<sup>1</sup>.

Двойственный, дескриптивно-прескриптивный характер большинства определений, употребляемых в науке, существенно затрудняет проведение четкой границы между реальными и номинальными определениями. Но это еще не предлог, чтобы пренебрегать принципиально важным различием между ними. Одно время в широком ходу был принцип: «Об определениях не спорят». Иногда его выражали несколько иначе: «О словах не спорят». Не совсем ясно, откуда появился и на чем именно основывался этот принцип, но многие повторяли его как что-то само собою разумеющееся.

Однако мнение, будто по поводу определений неразумно или даже бессмысленно спорить, является ошибочным. Оно не согласуется с общими представлениями об определениях и их задачах в обычной жизни и в научном исследовании. Это мнение противоречит также тому очевидному факту, что об определениях спорили всегда и продолжают спорить теперь. Однако споры об определениях разных типов — реальных и номинальных — принципиально отличаются друг от друга. От реального определения требуется, чтобы оно раскрывало сущность рассматриваемых объектов и тем самым однозначно отграничивало их от всех других вещей. Проверка правильности такого определения заключается в сопоставлении его с описываемой областью. Адекватное описание — истинно, описание, не соответствующее реальной ситуации, — ложно. Споры относительно реальных определений — это обычные споры по поводу истинности наших утверждений о действительности.

Иначе обстоит дело с номинальными определениями. Они не описывают что-то, а требуют это реализовать. Поэтому не имеет смысла вопрос, являются они истинными или нет. Это, конечно, не означает, что о номинальных определениях в принципе нельзя спорить. Спор

---

<sup>1</sup> Наглядную иллюстрацию трудностей, связанных с различением реальных и номинальных определений, дает сопоставление толковых словарей, изданных в разное время. Например, словарь-справочник «Новые слова и значения» (М., 1971) фиксирует новую лексику, которая посредством прессы и литературы массового пользования стала (или становится) достоянием литературного языка. «Словарь русского языка» (М., 1983. Т. 4) ставит целью «введение в Словарь новых слов и значений, вошедших в язык и утвердившихся в нем за истекшие двадцать лет». Если взять, скажем, производные от «кино», то в первом словаре найдем 61 словарную статью, во втором нормативными подаются 15 слов из 61. Каждое четвертое слово, которое словарь-справочник считал новым и рекомендовал для употребления, словарь 1983 г. уже описывает в качестве устоявшегося употребления современного русского языка. Этот пример показывает, что граница между реальными и номинальными определениями никоим образом не является стабильной, заданной раз и навсегда. Кроме того, можно сказать, что определения первого словаря по преимуществу номинальные, а определения второго — по преимуществу реальные.



возможен и здесь, но это будет уже спор не об истинности некоторого описания, а о целесообразности, эффективности, правомерности выдвигаемого требования.

Положим, кто-то определяет бегемота как «хищное парнокопытное млекопитающее подотряда нежвачных». Мы вправе возразить, что такое определение неверно, поскольку является ложным. Оно не соответствует действительности: бегемоты не хищники, а травоядные животные. Но, допустим, кто-то говорит, что он будет отныне называть бегемотами всех представителей отряда пресмыкающихся, включающего гавиал, аллигаторов и настоящих крокодилов. Ясно, что в данном случае нельзя сказать, что определение ложно. Человек, вводящий новое слово, ничего не описывает, а только требует — от себя или от других — чтобы рассматриваемые объекты именовались этим, а не другим словом.

Но спор возможен и уместен и здесь. Гавиалов, аллигаторов и настоящих крокодилов принято называть крокодилами. Какой смысл менять это устоявшееся имя на имя «бегемот», тем более что последнее закрепилось уже за совсем иными животными? В чем целесообразность такой замены? Какая от нее польза? Очевидно, никакой. Хуже того, неизбежная в случае переименования путаница принесет прямой вред.

Таким образом, возражения сводятся, к тому, что предложение — или даже требование — переименовать крокодилов в бегемотов нецелесообразно и неэффективно. В данном случае лучше все оставить так, как было. Определение любого вида в принципе может быть предметом полемики или дискуссии. Но спорить об определениях-требованиях следует иначе, чем об определениях-описаниях.

**Высказывания о социальных тенденциях и правила частной практики.** Еще одним типом описательно-оценочных утверждений, отстоящих дальше от полюса чистых описаний, чем научные законы, являются обычные в социальных и гуманитарных рассуждениях высказывания *о тенденциях социального развития*. Чаще всего такие высказывания касаются тенденций эволюции отдельных социальных структур или институтов, но иногда речь идет о тенденциях развития целостных культур или даже человечества в целом.

Высказывания о тенденциях подытоживают изучение развития определенных социальных явлений, и поэтому имеют известное описательное содержание. Вместе с тем такие высказывания представляют собой проект или набросок будущего развития исследуемых явлений. Сам этот проект предполагает выделение исследователем устойчивых ценностей, способных и в дальнейшем направлять деятельность людей в изучаемой области. В проекте рассматривается не то, что есть, и даже не то, что будет, а то, что должно быть, если при-

нять во внимание определенные факторы социального развития, в первую очередь ценности, которые окажутся способными быть ориентирами в деятельности людей в будущем. Иначе говоря, высказывания о тенденциях наряду с описательным содержанием всегда имеют также достаточно явно выраженное оценочное и нормативное содержание.

Всякая человеческая деятельность, будь то изготовление столов, просмотр корреспонденции, проведение научных дискуссий или создание и последующая проверка научных теорий, подчиняется определенным правилам, применяемым обычно лишь в пределах данной области. Их можно назвать правилами *частной практики*. Они носят двойственный, описательно-оценочный характер, хотя оценочная (прескриптивная) составляющая здесь явно доминирует.

Правила частной практики обобщают опыт предыдущей деятельности в соответствующей области. В этом смысле они являются описаниями и, следовательно, должны обосновываться подобно всем иным описательным утверждениям, способным быть истинными или ложными. В то же время правила регламентируют будущую деятельность и как таковые являются предписаниями, т. е. должны обосновываться ссылками на эффективность той деятельности, которая направляется ими.

Хорошим примером правила, широко используемого в такой специфической области деятельности, как научное исследование, может служить требование освобождения науки от ценностей и, соответственно, от оценок и норм. В последнее время это требование стало подвергаться критике, но еще совсем недавно «свободу от ценностей» обычно рассматривали как важное преимущество и свидетельство превосходства науки над другими формами интеллектуальной деятельности.

Предполагалось, что социальные и гуманитарные науки не могут достичь высокого уровня объективности, характерного для естествознания, именно из-за субъективистского влияния ценностей на рассмотрение и объяснение фактов. Вначале требование независимости от ценностей предъявлялось только к естественным наукам, но уже в начале прошлого века его стали все более активно предъявлять к социальным и гуманитарным наукам.

Характерно, что независимость науки от ценностей (называемая иногда «аксиологической нейтральностью») выдвигалась как тезис одновременно и описательный, и предписывающий. В описательном аспекте он утверждал, что наука ограничивается наблюдением и объяснением действительного положения вещей и не формулирует никаких ценностных суждений (т. е. воздерживается от «оценок»). В качестве предписания тезис обязывал ученого: не позволять собственным

ценностным предпочтениям воздействовать на исследование и, оставаясь ученым, воздерживаться от ценностных суждений о результатах исследования.

Критика требования свободы науки от ценностей разворачивалась, как и всякая критика двойственных выражений, в двух направлениях. Во-первых, пытались показать, что описательное содержание этого требования не соответствует реальной практике научных исследований. В сформировавшихся естественных науках действительно нет оценок, но в науках, изучающих человеческую деятельность (например, в юриспруденции, социологии, психологии), оценки обычны. В дальнейшем было показано, что в неявном виде ценности содержатся даже в естественнонаучных теориях, поскольку эти теории имеют иерархическое строение и одни их утверждения способны выступать в качестве стандартов оценки других.

Во-вторых, подвергалась сомнению эффективность правила, предписывающего исключать ценности из научного исследования. Мир человеческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной, насквозь пронизан ценностями. Кроме того, от социальных и гуманитарных наук естественно ожидать не только описания того, что есть, но и суждений относительно того, что должно быть, своего рода рекомендаций по рационализации социальной жизни и деятельности. Если эти науки только описывают, всячески воздерживаясь от оценок, какую пользу принесет исследование ими общества и человека? Понятно, что это был спор не об истинности некоторого описания и не об эффективности какого-то правила, а спор о двойственных высказываниях, соединяющих описание с предписанием.

**Правила универсальной практики.** Помимо правил частной практики, относящихся к ограниченным областям человеческой деятельности, существуют правила, *касающиеся всякой, или универсальной, практики*. Это правила логики и математики. Правила формальных наук (логики и математики) регламентируют изготовление определенных логических и математических объектов, используемых во всякой мыслительной деятельности. К такого рода объектам относятся логически правильные рассуждения, определения, классификации, математически правильные вычисления, построения, доказательства и т. п.

Как и правила частной практики, правила универсальной практики являются описательно-оценочными утверждениями, но с гораздо более отчетливо выраженным прескриптивным моментом. Это иногда служит основанием для истолкования правил логики и математики как чистых предписаний, не содержащих обобщения (значит, и описания) предшествующей практики.

По мнению Л. Витгенштейна, если утверждению придается статус неопровержимо достоверного, оно тут же начинает использоваться

как правило соответствующей языковой игры, или практики, и становится стандартом оценки всех других утверждений данной игры. Эту идею Витгенштейн распространяет и на утверждения логики: их достоверность и неопровержимость объясняются тем, что они представляют собой правила. Как и в случае любых правил, в них нельзя усомниться и нет смысла говорить об их истинности, поскольку они не могут быть ложными.

Витгенштейн признает существование утверждений, которые в одних ситуациях выступают как описания и доступны эмпирической проверке, а в других функционируют как правила для проверки других утверждений. Вместе с тем, полагает Витгенштейн, есть утверждения, настолько закрепившиеся в функции правил, что они потеряли возможность быть ложными. Они входят в структуру некоторой языковой игры и предшествуют определению истины как соответствия реальности. К числу таких утверждений, полностью утративших свое описательное содержание и превратившихся в чистые предписания, или правила, относятся, наряду правилами измерения, таблицами мер и т. п., утверждения логики и математики. Последние, подобно всем иным утверждениям, употребляемым как несомненно достоверные и неопровержимые, играют роль того «масштаба», на основе которого обычные утверждения способны оказываться описаниями реальности. Говорить об истинности или неистинности утверждений логики и математики бессмысленно, так как они являются правилами и должны оцениваться не сами по себе, а только в составе тех игр, которые направляются ими.

Хотя в позиции Витгенштейна есть рациональное зерно, в целом она упрощает ситуацию. Действительно, обоснование правил универсальной практики не может быть сведено к приведению аргументов. Правила логики и математики обосновываются главным образом не сами по себе, а в составе тех теорий, в которых они используются. Внутреннее обоснование данных правил, т. е. их обоснование в рамках чистой логики или чистой математики, всего лишь первый этап обоснования, хотя именно на этом этапе они получают статус «логических» и «математических» истин. Второй этап обоснования — это внешнее обоснование, т. е. обоснование той содержательной теории, в структуру которой входят утверждения логики и математики. Приемлемость такой теории одновременно служит свидетельством приемлемости лежащей в ее основе логической и математической структуры.

Правила универсальной практики вряд ли, допустимо истолковывать как чистые предписания. Подобно правилам частных практик, правила универсальной практики являются двойственными утверждениями и имеют не только прескриптивное, но и описательное со-

держание. Последнее находится в гораздо более глубокой тени, чем в случае правил частной практики, но тем не менее оно существует. Если бы это было не так, осталось бы совершенно непонятным, как можно какую-то теорию, имеющую определенную логическую и математическую структуру, сопоставлять с реальностью и говорить об истинности или ложности теории, структура которой содержательно пуста. Непонятно было бы также, откуда, если не из внешнего обоснования, конкретные логические и математические теории получают импульсы для своего развития.

## Глава X

# ЦЕННОСТИ В НАУКЕ

### § 1. О требовании исключения ценностей из науки

В начале прошлого века М. Вебер выдвинул требование свободы социологической и экономической науки от ценностей. Обоснование его внешне было простым. Единственным критерием познания должна являться истина. Ценности вводятся в науку исследователем. Выражая его субъективные пристрастия и установки, они искажают научную картину мира. Ученый должен, поэтому четко осознавать ценности и нормы, привносимые им в процесс познания, и очищать от них окончательный его результат<sup>1</sup>.

Тезис свободы от ценностей получил широкий резонанс, особенно среди сторонников неопозитивизма. «Ценностные суждения, — писал, в частности Р. Карнап, — являются не более чем приказами, принимающими грамматическую форму, вводящую нас в заблуждение... Они не являются ни истинными, ни ложными. Они ничего не утверждают, и их невозможно ни доказать, ни опровергнуть»<sup>2</sup>. Как таковые ценностные суждения не имеют никакого отношения к научному познанию. Наука вправе говорить о том, что *есть*, но не о том, что *должно быть*, и не о том, чему *лучше быть*. Она не может содержать ценностей и оценок<sup>3</sup>.

Неопозитивистская идея, что включение оценочных элементов в науку является отступлением от идеала чистой науки, продолжает жить даже в условиях нынешнего упадка неопозитивизма. Так, Э. Топич в книге «Познание и заблуждение» доказывает, что реальное познание — это не столько процесс продвижения к истине, сколько формирование иллюзорного представления о мире. Для освобождения познания от «архаичных форм мировоззрения» необходимо прежде всего критически переосмыслить ценностные формы познания и избавиться от ценностно-нормативной интерпретации универсума.

---

<sup>1</sup> Weber M. Der Sinn der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1951. S. 475–526.

<sup>2</sup> Carnap R. Philosophy and Logical Syntax. London, 1935. P. 24–25.

<sup>3</sup> М. Шлик говорит: «Существует познание и ничего, кроме познания, его цель — только истина» (Schlik M. Fragender Etnik. Wien. 1930. S. 1).

Эта работа, начатая когда-то Гиппократом, все еще далека от завершения<sup>1</sup>.

**Постулат Мюрдаля.** Жесткий отказ от ценностей в научном познании является, однако, крайней позицией. Он плохо согласуется с реальной практикой науки и прежде всего с практикой социальных и гуманитарных наук, всегда опирающихся на определенные ценности и стремящихся каким-то образом обосновать их.

Из попыток оправдать правомерность ценностей если не во всех науках, то хотя бы в социальном познании (в частности, в экономической науке) особую известность получил «постулат Мюрдаля». Согласно Г. Мюрдалю, в науках об обществе допустимы явные оценки; ученый вправе делать такие оценки, но он должен ясно отделять их от фактических утверждений.

Мюрдаль писал: «Для устранения пристрастности в науках об обществе нельзя предложить ничего, кроме совета открыто признавать факт оценивания и вводить ясно сформулированные оценки в качестве специфических и надлежащих образом уточненных оценочных посылок»<sup>2</sup>. И в другом месте: «Мы можем сделать наше мышление строго рациональным, но только путем выявления оценок, а не с помощью уклонения от них»<sup>3</sup>.

В более поздней своей работе Мюрдаль подчеркнул, что науки без оценок не бывает, и заметно расширил сферу, где неизбежны оценки<sup>4</sup>. Постановка проблем, определение понятий, выбор моделей, отбор фактов — все это осуществляется на основании исходных установок исследователя. Крупные экономисты прошлого не были беспристрастными в своих оценках, но они сознательно занимали определенную позицию. Декларируемая объективность современных экономистов на поверку оказывается лишь иллюзией. Отказываясь открыто сформулировать свои исходные принципы, исследователь попадает под действие неявных предрассудков, т. е. удаляется от объективности.

Позиция Мюрдаля, подкупающая своей простотой, разделяется многими. В естественных науках ценностей и, соответственно, оценок нет. Социальная реальность вся проникнута идеологией, и поэтому ее познание невозможно без вынесения суждений оценочного характера. Эти суждения должны формулироваться явно и четко отделяться от фактических, описательных утверждений.

<sup>1</sup> *Topitch E.* Erkenntniss und Illusion. Hamburg, 1979. S. 106.

<sup>2</sup> *Myrdal G.* An American Dilemma. Appendix II. A Methodological Note on Facts and Valuation in Social Science. London; N.-Y., 1944. P. 1043.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 1064.

<sup>4</sup> *Value judgments and Income Distribution.* N.-Y., 1981. P. 78–80.

Постулат Мюрдаля нередко представляется как «оптимальная» позиция, не зависящая от исхода спора о роли ценностей и оценок в науке<sup>1</sup>. Однако очевидно, что позиция Мюрдаля представляет собой всего лишь некоторое ослабление неопозитивистской доктрины «свободы от ценностей» и ничего не меняет в ее существовании.

Несомненна также утопичность постулата Мюрдаля. Ни одна реально существующая научная теория, включая и науки об обществе, не строится так, чтобы утверждения оценочного или описательно-оценочного характера отделялись в ней сколько-нибудь ясно от чисто описательных утверждений.

Критика неопозитивизма в 1960–70-е гг. в рамках так называемой исторической школы в методологии науки во многом изменила отношение к ценностям. Были подняты вопросы о ценностях, входящих в контекст, в котором существует и развивается научная теория; о ценностных компонентах образцов, или «парадигм», которыми руководствуются в «нормальной» науке и т. д. Однако и в «исторической школе» отсутствует общая схема подхода к исследованию ценностей, нет ясного определения самого понятия ценности, нет анализа связи ценности и истины. Сами ценности истолковываются по преимуществу субъективно-психологически, как намерения, цели, установки отдельного индивида или узкой, изолированной группы. Но как раз индивидуальные, частные ценности наименее интересны и важны, даже если иметь в виду самого индивида. Ценности в научном познании имеют, как правило, коллективный, групповой характер, начиная с ценностей определенного научного сообщества и кончая ценностями культуры в целом, существующими и действующими века и остающимися в большей своей части неосознанными.

**Ценности в современной эпистемологии.** С кризисом неопозитивизма заметно активизировалась критика требования исключать ценности из науки. Хотя слово «ценности» и эпистемологии употребляется относительно редко, тема ценностей, входящая с разнообразными иными понятиями, сейчас занимает центральное место в большинстве методологических дискуссий.

Критика неопозитивизма в рамках «исторической школы» в методологии науки во многом изменила отношение к ценностям. Были подняты вопросы о ценностях, входящих в контекст, в котором существует и развивается научная теория, о ценностных компонентах тех образцов, которыми руководствуются в науке, и т. д.

Отметим некоторые из тех путей, которыми ценности — эксплицитно или имплицитно — входят в современную эпистемологию. *Па-*

---

<sup>1</sup> См., напр.: *Ossowska M. Rola ocen w kształtowaniu pojec // Fragmenty filozoficzne. Seria trzecia. Warszawa, 1967.*



*радика* Т. Куна как образец научной деятельности в определенной области представляет собой не только описание прежней практики теоретизирования, но и критерии оценки новой практики<sup>1</sup>. Конвенционально принятое, а потому «неопровержимое» жесткое ядро исследовательской программы И. Лакатоса, противостоящее как «позитивной эвристике», так и аномальным фактам, тоже носит двойственный, описательно-оценочный характер<sup>2</sup>. Романтическая эпистемология П. Фейерабенда с ее максимой «Все допустимо» является, по сути, попыткой резко расширить круг тех ценностей, которыми принято руководствоваться в формирующейся теории. «Историческая школа» в методологии науки порвала с неопозитивистской традицией не замечать ценностей в научном познании, особенно в естественных науках. Однако и в «исторической школе» отсутствует общая схема подхода к исследованию ценностей, нет ясного определения самого понятия ценности, не дан анализ связи ценности и истины.

Л. Витгенштейн, чувствуя недостаточность понятия объяснения, ввел наряду с ним также понятие оправдания<sup>3</sup>. Утверждение считается оправданным, если оно не может быть отброшено без того, чтобы не были затронуты другие утверждения, которые «крепко удерживаются» нами и сами не подвергаются оправданию. Оправдание возможно только внутри определенной «практики познания». Оно связано с иерархическим характером принятой системы утверждений; в нем участвуют утверждения двух разных уровней, причем оправдываемое утверждение относится к более низкому уровню: оправдание, как и объяснение, является приведением доводов, из которых следует оправдываемое утверждение.

В сущности, «оправдание» Витгенштейна является установлением ценностного отношения между утверждениями некоторой теории, или «познавательной практики». Эти утверждения иерархически упорядочены. Те из них, за которые мы «крепко держимся» и не считаем нужным особо оправдывать — это стандарты оценки. Подводимое под них утверждение является меньшей ценностью и поэтому должно относиться к более низкому уровню иерархии. С логической стороны оправдание есть дедукция, выведение ценности более низкого уровня из ценности более высокой уровня.

В философской герменевтике трактовка *понимания* с самого начала содержала в зародыше идею, что понимание неразрывно связано с ценностями. Уже В. Дильтей говорил о «принципе нераздельности

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. Гл. V. Приложение 1969 г.

<sup>2</sup> Lakatos I. History of Science and its Rational Reconstruction // Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht, 1970.

<sup>3</sup> Wittgenstein L. On Certainty. Oxford, 1969.

понимания и оценки»<sup>1</sup>, хотя, впрочем, ключевое положение, что понимание — это подведение под ценность, так и не было сформулировано герменевтикой с необходимой общностью и ясностью. В феноменологии *жизненный мир* является в конечном счете ценностной основой всех «объективных» действий, всех идеальных образований и построений науки<sup>2</sup>.

Уже этот беглый перечень понятия, имеющих отчетливо выраженную *описательно-оценочную природу*, показывает важность общей темы ценностей для современной эпистемологии. Вместе с тем ясно, что эти крайне разнородные понятия схватывают лишь отдельные аспекты данной темы, следовательно, движение по пути отказа от идеала науки, чистой от каких бы то ни было ценностей, только началось.

Поворот эпистемологии к исследованию ценностей и их роли в познании должен сказаться и на теории аргументации. Одной из ее основных тем должен стать анализ тех многообразных способов аргументации, которые применяются для поддержки ценностей.

## § 2. Внешние и внутренние ценности научной теории

Ценности уже рассматривались при обсуждении идеалов и норм науки. Необходимо продолжить анализ тех ценностей, которые входят в тот контекст, в котором существует и развивается научная теория, и вместе с тем уделить особое внимание тем ценностям, которые входят в качестве необходимых составных элементов в сами научные теории.

Всякий раз, когда объект сопоставляется с мыслью на предмет ответственности ей, возникает ценностное отношение. Далеко не всегда оно осознается, еще реже оно находит явное выражение в особом высказывании. Если под оценкой понимается каждый случай подведения объекта под мысль и установления тем самым ценностного отношения, все оценки можно разделить на *явные*, выраженные эксплицитно в языке, и *неявные*, неосознанные или только подразумеваемые. Форма явных абсолютных оценок: «Хорошо (плохо, безразлично), что то-то и то-то». Иногда такие оценки выражаются в форме: «Должно быть (не должно быть; безразлично, будет ли) так, что то-то и то-то».

<sup>1</sup> Dilthey W. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924. Bd V. S. 317.

<sup>2</sup> Любое конкретное действие сознания, направленное на освоение действительности, всегда исходит, по мысли Э. Гуссерля, из «глухой скрытой атмосферы основополагающих ценностей, из того жизненного горизонта, в котором Я по своему желанию может реактивировать свои старые переживания, осознанно достичь апперцептивного прояснения и превратить их тем самым в созерцание» (Husserle E. Husserliana. Den Haag, 1950—1975. B. 5. S. 152).

Формы вхождения в рассуждение или теорию неявных оценок гораздо более многообразны. Многие выражения имплицитно включают оценочные и нормативные элементы. Таковы, в частности, *идеалы и нормы науки, методологические и иные рекомендации, советы, предостережения, просьбы, обещания* и т. п. Оценки входят неявно и в *целевые нормы*, устанавливающие цели и указывающие средства для их достижения.

Еще одна важная форма неявного вхождения оценок — *конвенции* всякого рода. Все они являются предписаниями и находятся в ценностном отношении к миру. Конвенциями могут вводиться новые понятия, но гораздо более важную и интересную роль в научном познании играют конвенции, ограничивающие или расширяющие уже употребляемые в науке понятия, а также конвенции, отождествляющие разные совокупности признаков.

Далеко не всегда научная конвенция представляет собой открытое, специально выработанное и одобренное научным сообществом соглашение. Напротив, в большинстве своем конвенции функционируют неявно и не осознаются как таковые теми, кто их использует. Обычно только после научной революции, приводящей к отказу от старой теории или ее ограничению, к новому видению мира, становится ясно, как много не совсем удачных и эффективных условностей и соглашений принималось в старой теории.

Чистые конвенции — редкость в науке. Гораздо более часты своеобразные дескриптивно-преокриптивные единства — соглашения с элементами описания и описания с конвенциональными элементами. Например, утверждение, что жидкость есть такое состояние вещества, при котором давление передается во все стороны равномерно, в течение какого-то периода, было фактической истиной. Универсальная приложимость его ко всем, в том числе к не изученным еще жидкостям, опиралась на конвенцию. В дальнейшем оно превратилось в одно из следствий более глубоких представлений о жидкости и перестало нуждаться в поддержке со стороны.

Многие понятия языка науки имеют, как уже отмечалось, явную оценочную окраску. Круг таких «оценочных понятий» широк и не имеет четких границ. В их числе «наука» как противоположность мистике и иррационализму, «знание» как противоположность слепой вере и откровению, а также «теория», «система», «работа», «труд», «справедливость», «свобода», «рациональность» и т. д. Сами понятия «истина» и «ценность» имеют в большинстве своих употреблений явный оценочный оттенок.

Введение оценочных понятий редко обходится без одновременного привнесения неявных оценок. Ценностное по преимуществу отношение находит выражение также в *аналитических высказываниях*,

являющихся необходимыми элементами всякой теории. Эти высказывания несут, однако, и определенное дескриптивное содержание. Было бы неправомерно поэтому считать их, как это иногда делается, чистыми соглашениями об употреблении понятий или об их значениях.

Из этого перечня форм вхождения оценок в рассуждение можно вывести одно важное общее наблюдение. Чистые оценки и чистые нормы почти не встречаются в тех теориях, которые не ставят своей специальной задачей их выработку и обоснование. В обычные научные теории оценки и нормы входят только в виде «смешанных», описательно-оценочных положений. Обилие последних в науке создает иногда даже обманчивое впечатление, что в ней вообще нет чистых описаний и что «в каждом дескриптивном утверждении обязательно присутствует момент оценки»<sup>1</sup>.

Применительно к конкретной теории ценности могут быть разделены на *внутренние* и *внешние*. Первые входят в структуру самой теории в качестве неотъемлемых ее компонентов, вторые относятся к тому контексту, в котором существует и развивается теория. Граница между первыми и вторыми является, конечно, довольно относительной.

Внешние ценности крайне разнообразны и разнородны. Они охватывают широкий круг *образцов, норм, правил, оценок, принципов*, воздействие которых оказывается как на формировании теории, так и на последующей ее эволюции. Как и обычно, эти ценности редко имеют характер чистых оценок. Почти всегда они предстают в форме комплексных описательно-оценочных образований.

Сложный, описательно-оценочный характер имеют разнообразные *критерии совершенства теории* и *регулятивные принципы познания* (принцип соответствия, принцип ограничений, принцип запретов, принцип инвариантности, принцип наблюдаемости, принцип эмпирической проверяемости, принцип дополнительности, принцип фальсифицируемости, принцип простоты, принцип красоты и т. п.). Эти и подобные им принципы занимают промежуточное положение между требованиями, связанными с господствующим стилем мышления и принципами самих естественнонаучных теорий.

Регулятивные принципы функционируют прежде всего как *эвристические указатели*, помогающие сформировать и реализовать исследовательскую программу, как *предписания*, касающиеся конструирования и оценки теоретических систем. Вместе с тем они формируются в самой практике научного исследования и являются попыткой

---

<sup>1</sup> Scriven M. The Exact Role of Value Judgments in Science // Boston Studies in the Philosophy of Science. 1973. P. 232.

осознать закономерности познания. В связи с этим они выполняют и функцию *описания*. Ими систематизируется и очищается от случайностей долгий опыт научных исследований, выявляются устойчивые связи между теорией и отображаемой ею реальностью, и уже на этой основе выдвигаются определенные образцы и требования.

Различные принципы обладают разной степенью общности и обоснованности. Они различаются также степенью настоятельности, или аподиктичности, выдвигаемых требований. Сопоставление теории с регулятивными принципами представляет собой подведение задаваемой ею «теоретической действительности» под некоторый стандарт или шаблон, т. е. является установлением ценностного отношения.

Существуют также многие другие типы общепринятых или широко признаваемых внешних ценностей. «Вероятно, наиболее глубоко укоренившиеся ценности, — пишет Т. Кун, — касаются предсказаний: они должны быть точными; количественные предсказания должны быть предпочтительнее по сравнению с качественными; в любом случае следует заботиться в пределах данной области науки о соблюдении допустимого предела ошибки и т. д.». К ценностям, по Куну, относятся и «внутренняя и внешняя последовательность в рассмотрении источников кризиса и факторов в выборе теории» и «точка зрения, что наука должна (или не должна) быть полезной для общества»<sup>1</sup>.

Кун отмечает три особенности внешних ценностей. Чувство единства в сообществе ученых-естественников возникает во многом именно благодаря общности таких ценностей. Однако хотя они и бывают широко признанными, конкретное их применение сильно зависит от особенностей личности и биографий, которые отличают друг от друга членов научной группы. И, наконец, вопросы, в которых используются ценности, постоянно являются вопросами, для решения которых требуется идти на риск<sup>2</sup>.

Особую группу внешних ценностей составляют требования, предъявляемые не к теории, а к самому исследователю, конструирующему ее. Широко распространена точка зрения, что ученый — это бесстрастное существо, наделенное способностью подавлять свои личные склонности в интересах объективного изучения мира, и что «наука есть готовность принять факты даже тогда, когда они противоречат желаниям»<sup>3</sup>. Ученого принято считать логичным и рациональным, добросовестным, заинтересованным, прежде всего, в развитии знания, а не в достижении личной известности и признания. Он способен откладывать окончательные суждения, если находящиеся в его

<sup>1</sup> Кун Т. Указ. соч. С. 232, 233.

<sup>2</sup> Там же. С. 234.

<sup>3</sup> Skinner B. F. Science and Human Behavior. N.-Y., 1953. P. 12.

распоряжении данные недостаточны или противоречивы; восприимчив к любым данным, имеющим отношение к интересующей его гипотезе или теории; готов изменить свое мнение, если находящиеся в его распоряжении данные требуют этого, и т. д.

Эти и подобные им характеристики составляют в совокупности *стандарт ученого*, сложившийся еще в Новое время и уже основательно устаревший<sup>1</sup>. В другие эпохи этот стандарт был, разумеется, иным. В Средние века, например, от ученого не требовались ни объективность, ни непредубежденность, ни тем более стремление к новым, позитивным результатам.

Создаваемые наукой представления о реальности не детерминируются однозначно природой изучаемых объектов. В этих условиях неполной определенности и разворачивается действие внешних ценностей, связывающих науку с другими сферами человеческой деятельности и с культурой в целом.

Между утверждениями теории, а также между теорией и реальностью, описываемой ею, всегда имеются определенные ценностные отношения. Внутренние ценности теории, как и внешние, разнородны. *Номинальные определения* теории, *соглашения*, принятые в ней, *аналитически истинные* ее утверждения относятся, вне сомнения, к наиболее отчетливо выраженным внутренним ценностям.

Недостаточное внимание к ценностям в структуре научных теорий, в частности к оценочным компонентам научных законов, во многом объясняется неисследованностью способа упорядочения положений, входящих в теории. Теория всегда имеет иерархическое и ступенчатое строение<sup>2</sup>. С каждой новой, более высокой ступенью иерархии увеличивается ценностное, прескриптивное значение утверждений, относящихся к этой ступени; возрастает их сопротивляемость попыткам опровергнуть или отказаться от них, усиливается их роль как критериев оценки иных положений, принадлежащих более низким ступеням.

Теорию, рассматриваемую в статике, можно уподобить ступенчатой пирамиде, верх которой составляют номинальные определения, конвенции и аналитические истины; чуть ниже расположена об-

---

<sup>1</sup> Критический анализ этих представлений об ученом см.: *Mahoney M. J. Psychology of the Scientist // An Evaluative Review of Social Studies in Science. London, 1979. V. 9. № 3. P. 349–375.* Махони отмечает, что распространенность искаженного образа ученого говорит о продолжающемся невнимании к человеческому фактору в науке.

<sup>2</sup> *О ступенчатом характере физической теории* Е. Вигенер пишет: «Именно переход с одной ступени на другую, более высокую — от явлений к законам природы, от законов природы к симметрии, или принципам инвариантности, — представляет собой то, что я называю иерархией нашего знания об окружающем мире» (*Вигенер Е. Этюды о симметрии. М., 1971. С. 36*).

ласть наиболее общих принципов; еще ниже — область научных законов, устанавливаемых теорией, и тех эмпирических закономерностей, оценочная составляющая которых минимальна и которые обычно сохраняются после падения теории. Теории, взятые в динамике, безусловно не являются устойчивыми: они не существуют вне зависимости от других теорий и в изоляции от фактов, которые в конечном счете оказываются тверже любых конвенций и определений.

Неопозитивисты различали всего два уровня теории: эмпирический и теоретический и выделяли в качестве совершенно независимого уровень логики и математики. Понятно, что такая упрощенная иерархизация не позволяла обнаружить ценностные отношения, существующие между разными уровнями.

И. Лакатос различал «жесткое ядро теории» и ее «периферию». Можно сказать, что ядро теории — это как раз та ее часть, которая несет наибольшую ценностную нагрузку. «Жесткость» ядра означает прежде всего, что не столько оно сопоставляется с другими положениями теории, сколько они соотносятся с ним на предмет соответствия ему. Используя терминологию Витгенштейна, можно сказать, что «ядро теории» — это та ее часть, которая «наиболее крепко удерживается» нами.

Отчетливо двойственный, описательно-предписательный характер наиболее общих принципов теории отмечается многими авторами. Н. Хэнсон, например, пишет: «Формулировки законов иногда используются для выражения возможных и случайных утверждений, иногда для выражения правил, рекомендаций, предписаний, нормативов, соглашений, априорных утверждений... а иногда формально-аналитических высказываний. Немногие осознают разнообразие способов использования формулировок научных законов в одно и то же время, иногда в одном и том же отчете об эксперименте»<sup>1</sup>.

Иногда две функции общих принципов — описание и оценка — разрываются, значение одной из них резко преувеличивается, а другой — игнорируется. Когда абсолютизируется момент описания, принципы онтологизируются и предстают как прямое, однозначное и единственно возможное отображение фундаментальных характеристик бытия. Когда принимается во внимание только оценочная функция, принципы истолковываются как конвенции, на выборе которых сказывается все, начиная с соображений математического удобства и кончая личными склонностями ученого.

Если не только общие принципы теории, но и все ее законы и даже некоторые факты ценностно нагружены, то ясно, что ценности неизбежны в структуре всех теорий, как гуманитарных, так и естествен-

<sup>1</sup> Hanson N. R. Patterns of Discovery. P. 9.

нонаучных. И поскольку ценности входят в теорию, как правило, не в виде явных оценок, а в форме дескриптивно-прескриптивных утверждений, невыполнимо не только требование устранять ценности из науки, но и более слабое требование отделять содержащиеся в теории оценки от чисто описательных утверждений.

Оценки и нормы являются необходимыми элементами социальных, а во многом и гуманитарных теорий. Более того, определенные оценки лежат в самой основе социального и гуманитарного теоретического знания. Социальная теория анализирует общество в свете возможностей улучшения условий существования человека. Описывая альтернативы дальнейшего развития тех или иных сфер социальной жизни или намечая историческую перспективу для общества в целом, социальная теория обязана подвергнуть критике другие возможные пути. Этого нельзя достигнуть без оценочных суждений.

Еще до начала изучения общества социальный исследователь должен принять или отвергнуть некоторые общие оценки. В частности, неомарксист Г. Маркузе выделяет следующие два оценочно-нормативных момента, с самого начала осложняющие соблюдение социальной теорией исторической объективности:

- человеческая жизнь стоит того, чтобы ее прожить, или, скорее, может и должна стать таковой; это суждение лежит в основе всякого интеллектуального труда, оно является предпосылкой социальной теории и отказ от него (хотя он и не был бы нелогичным) равнозначен отказу от самой теории;
- в данном обществе существуют специфические возможности для улучшения человеческой жизни, а также средства и способы, которые данное общество должно использовать для реализации этих возможностей.

Социальная теория должна, опираясь на эмпирические данные, показать объективную значимость данных оценочных суждений, как и всех других оценок, которые исследователь вынужден принять в качестве обоснованных до начала своего конкретного анализа. Выдвигавшееся философами-неопозитивистами требование исключать любые оценки (и, соответственно, нормы) из языка социальных наук неосуществимо и проистекает из стремления перестроить эти науки по образцу естественных наук. Нереалистичной является и более слабая рекомендация отчетливо отделять в социальных дискуссиях нормы и оценки от чисто описательных утверждений. Многие утверждения носят двойственный, описательно-оценочный характер и функционируют в одних контекстах как описания, а в других как оценки или нормы. В социальных и гуманитарных теориях нередко невозможно провести ясную границу между описаниями и нормами или оценками



и воспользоваться советом четко отделять описательные суждения от нормативных и оценочных суждений.

Человеческая деятельность невозможна без норм и оценок. Науки, изучающие человека и общество и имеющие своей конечной целью рационализацию и оптимизацию человеческой деятельности, всегда устанавливают неявные или даже явные нормы и оценки и опираются на определенные ценности. Проблема не в устранении норм и оценок, которое в данных науках в принципе недостижимо, а в обосновании объективности выдвигаемых нормативных и оценочных положений.

### § 3. Особенности обоснования оценок и норм

Оценки и нормы как их частный случай не являются истинными или ложными. Они говорят не о том, какой является реальность, а о том, какой она должны быть. Вместе с тем это не означает, что оценки и нормы не могут быть более или менее объективными, в существенной мере независимыми от высказывающего их субъекта, от того контекста, в котором они существуют. Полная объективность оценок и норм — недостижимый идеал, но повышение их объективности — обычная процедура оценочных и нормативных рассуждений.

Основное средство объективирования оценок и норм — их *обоснование*. Во многих существенных чертах оно отличается от обоснования описательных утверждений, приближающего такие утверждения к истине. Обоснование оценок и норм не связано с истиной, оно может быть направлено только на повышение их *эффективности*, результативности той деятельности, которая опирается на них.

Существенным недостатком современной философии науки является то, что в ней по старой ошибочной традиции оценки и нормы истолковываются как частный случай описаний, не представляющий самостоятельного интереса. Считается, что способы обоснования, применяемые в случае описаний, автоматически приложимы и к оценочным и нормативным утверждениям. Своеобразие аргументации в поддержку ценностей остается пока совершенно не исследованным.

Оставляя в стороне ценности, философия науки повторяет ошибку философии в целом, интерес которой к ценностям был до недавнего времени минимальным. Далее будет подробно рассмотрена проблема обоснования оценок и норм. Поскольку нормы являются, как уже говорилось, частным случаем оценок, а именно — нормы — это оценки с санкциями — прямо речь будет идти об обосновании оценок. Все сказанное на эту тему будет непосредственно относиться и к проблеме обоснования норм.

Проведение четкого различия между описаниями и оценками — предпосылка правильной трактовки ценностей в философии науки. Если убедить научное сообщество (аудиторию) в приемлемости какого-то описательного утверждения, значит прежде всего продемонстрировать ему истинность или, по крайней мере, высокую правдоподобность этого утверждения, то совершенно иначе обстоит дело с оценочными утверждениями. Они не являются ни истинными, ни ложными, поэтому попытка по аналогии с описаниями продемонстрировать аудитории истинность оценочного утверждения — пустая трата сил.

В науке лучший и, пожалуй, единственный способ убеждения — абсолютное или сравнительное обоснование. Однако между обоснованием описательных утверждений и обоснованием оценочных утверждений имеется *существенная асимметрия*. Во-первых, оценочные утверждения не допускают *прямого* и *косвенного эмпирического подтверждения*: в строгом смысле оценки не поддерживаются ни непосредственным наблюдением, приведением фактов, ни подтверждением в опыте их логических следствий. Во-вторых, оценочные утверждения не могут обосновываться и построением *объяснений*, поскольку посылки последних всегда являются описательными утверждениями.

В-третьих, применительно к оценкам бессмысленно говорить о *фальсификации*, успех которой мог бы истолковываться как свидетельство их обоснованности. В-четвертых, относительно оценок не могут быть поставлены вопросы о принципиальной возможности эмпирического подтверждения и эмпирического опровержения оценок. В-пятых, оценки нельзя обосновывать путем их *дедукции* из истинных описаний: они вообще не выводимы логически из описаний.

С другой стороны, есть способы обоснования оценочных утверждений, не приложимые к описаниям. Во-первых, это *целевое подтверждение*, являющееся параллелью косвенного эмпирического подтверждения описательных утверждений. Во-вторых, оценки могут быть составными элементами актов *понимания*, параллельных актам объяснения. Адекватное понимание сложного явления — одно из важных средств утверждения той общей оценки, которая используется в акте понимания. В-третьих, оценка может быть обоснована путем *дедукции* ее из других оценок, что невозможно для описаний. Описательные заключения вообще не выводимы из оценочных посылок. Коротко говоря, описательные утверждения обосновываются принципиально иначе, чем оценочные утверждения, соответственно, аргументация в поддержку описаний должна быть другой, нежели аргументация в поддержку оценок.

В науке и описательные, и оценочные утверждения должны иметь достаточные основания. Эти основания обеспечиваются процедурами абсолютного и сравнительного обоснования. Характер обоснования, а значит, и характер опирающейся на него аргументации, зависит от того, к какому из употреблений языка относится обосновываемое положение. Процедура обоснования радикально меняется в зависимости от того, идет ли речь об обосновании описательных утверждений или об обосновании оценок.

**Принцип Юма.** Обсуждение проблем обоснования оценок должно учитывать то обстоятельство, что из описаний логически не выводимы оценки, а из оценок не выводимы описания. Описательные утверждения обычно формулируются со связкой «есть», в оценочных утверждениях нередко употребляется «должен». Поэтому идею о невыводимости оценок из описаний и описаний из оценок выражают также в форме положения, что от «есть» нельзя с помощью логики перейти к «должен», а от «должен» — к «есть».

Английский философ XVIII в. Д. Юм первым подчеркнул невозможность логического перехода от «есть» к «должен» и упрекнул всю предшествовавшую этику в том, что она не считалась с этим важным обстоятельством. «...В каждой этической теории, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно: “есть” или “не есть”, не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки “должно” или “не должно”. Подмена эта происходит незаметно, но, тем не менее, она в высшей степени важна. Раз это “должно” или “не должно” выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее необходимо следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него... Я уверен, что этот незначительный акт внимания опроверг бы все обычные этические системы и показал бы нам, что различие порока и добродетели не основано исключительно на отношениях между объектами и не познается разумом»<sup>1</sup>.

Этот отрывок из «Трактата о человеческой природе» Юма очень популярен. Положение о невозможности логического перехода от фактических утверждений к утверждениям долженствования получило название *принципа Юма*.

<sup>1</sup> Юм Д. Сочинения: в 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 618.

Данный принцип служил отправным пунктом для важных методологических заключений, касающихся этики и иных наук, устанавливающих или обосновывающих какие-то утверждения о должновании. Утверждалось, в частности, что если моральные заключения не могут логически следовать из неморальных посылок, значит, нельзя обосновывать моральные принципы, выходя за пределы самой морали. Это положение, утверждающее, как кажется, независимость морали от фактов, получило название «принцип автономии морали» и вызвало большие споры.

А. Пуанкаре, используя такой аргумент, пытался показать невозможность научного обоснования морали, или этики: все научные предложения стоят в индикативном наклонении, а все моральные предложения являются императивными; из индикативных предложений с помощью логического вывода могут быть получены только индикативные предложения; следовательно, невозможно вывести моральное предложение из научных предложений<sup>1</sup>.

Положению о невыводимости оценочных утверждений из фактов важное значение придавал К. Поппер: «Наши решения никогда не выводятся из фактов (или утверждений о фактах), хотя они и имеют некоторое отношение к фактам»<sup>2</sup>. Поппер рассматривает два примера. Решение бороться с рабством не зависит от факта, что все люди рождаются равными и свободными и никто не рождается в цепях. Действительно, даже если все рождаются свободными, скорее всего, найдутся люди, пытающиеся заковать других в цепи и даже верящие в то, что они должны это сделать. Если человек заметит, что некоторый факт можно изменить, например, что многие люди страдают от болезней, то по отношению к этому факту он может занять совершенно разные позиции: принять решение сделать все возможное, чтобы изменить этот факт, решить бороться со всякой попыткой его изменения или решить вообще не предпринимать по отношению к нему никаких действий. Действие по принятию решения, введению нормы или стандарта — факт, но сами введенные норма или стандарт фактами не являются.

То, что большинство людей следует норме «Не укради», есть социологический факт. Однако норма «Не укради» не факт и она не может быть выведена из утверждений, описывающих факты. По отношению к определенному факту всегда возможны различные и даже противоположные решения. Так, зная о социологическом факте, что большинство людей подчиняется норме «Не укради», мы можем решить либо подчиняться этой норме, либо бороться с ней; мы можем

<sup>1</sup> Poincaré H. La morale et la science // Dernières pensées. Paris, 1913. P. 213–214.

<sup>2</sup> Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 96.

либо приветствовать тех, кто ей подчиняется, либо бранить их, убеждая подчиняться другой норме. «Итак, невозможно вывести предложение, утверждающее норму, решение или, скажем, политическую рекомендацию, из предложения, утверждающего факт, — иначе говоря, невозможно вынести нормы, решения, предложения-проекты или рекомендации из фактов»<sup>1</sup>.

Идею дуализма фактов и решений (норм) Поппер непосредственно связывает с доктриной автономии морали и либерализмом: «... Учение о дуализме фактов и норм — это одна из основ либеральной традиции. Дело в том, что неотъемлемой частью этой традиции является признание реального существования в нашем мире несправедливости и решимость попытаться помочь ее жертвам. Это означает, что имеется (или возможен) конфликт (или, по крайней мере, разрыв) между фактами и нормами. Факты могут отклоняться от справедливых (верных или истинных) норм, особенно те социальные и политические факты, которые относятся к принятию и проведению в жизнь сводов законов. Иначе говоря, либерализм основывается на дуализме фактов и норм в том смысле, что его сторонники всегда стремятся к поиску все лучших, норм, особенно в сфере политики и законодательства»<sup>2</sup>.

Таким образом, принцип Юма, утверждающий невыводимость оценок, в частности норм и решений, из фактов, имеет важное эпистемологическое значение. Несомненно и его значение для методологии: если этот принцип верен, должно быть признано несостоятельным всякое доказательство, в котором оценочный тезис поддерживается фактическими (описательными) аргументами.

**Обоснование принципа Юма.** Однако Юм не привел никаких аргументов в поддержку идеи о невыводимости «должен» из «есть». Он ссылаясь на то, что было бы ошибочным вводить в заключение некоторое отношение или утверждение, отсутствующее в посылках, и указывал, что отношение или утверждение, выражаемое с помощью «должен» или «не должен», явно отлично от отношения или утверждения, выражаемого посредством «есть». М. Блэк справедливо отмечает, что довод Юма неубедителен<sup>3</sup>. Конечно, «должен» отличается от «есть», но Юм ошибается, думая, что этого достаточно для дисквалификации логического перехода от «есть»-посылок к «должен»-заключению. Смысл, нужный для опровержения данного перехода, таков: *термин А явно отличен от термина В, если и только если утверждение, содер-*

<sup>1</sup> Поппер К. Открытое общество и его враги. С. 99.

<sup>2</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 410.

<sup>3</sup> Black M. The Gap between "Is" and "Should" // Philosophical Review. 1964. Vol. 73. № 2.

жащее *A*, не может быть выведено из посылок, содержащих *B* и не содержащих *A*. Иными словами, чтобы показать, что «должен» явно отличается от «есть», надо показать, что утверждение с «должен» не выводимо из утверждения с «есть». Но именно в этом состоит проблема, в качестве решения которой предлагается ссылка на «явное отличие» одной связи от другой.

Как можно было бы обосновать принцип Юма, не впадая в порочный круг? Можно выдвинуть два довода в поддержку этого принципа. Во-первых, все попытки его опровержения ни к чему не привели. Неудача фальсификации служит аргументом в пользу принятия утверждения, устоявшего под напором критики. Во-вторых, принципу Юма может быть дано теоретическое обоснование путем включения его в теоретическую систему, в рамках которой он будет следствием других, более фундаментальных положений. В частности, такой является система, противопоставляющая описания и оценки как два полярных употребления языка.

К принципу Юма были предложены многочисленные контрпримеры, в которых из посылок, кажущихся чисто описательными, дедуктивно выводилось оценочное (нормативное) заключение<sup>1</sup>. Однако более внимательный анализ показал, что ни одно из предлагавшихся в качестве контрпримера умозаключений не достигало своей цели: или его посылки содержали неявную оценку (норму), или между посылками и заключением отсутствовала связь логического следования<sup>2</sup>. Можно сказать, что никому не удалось продемонстрировать логический переход от «есть» к «должен» и опровергнуть тем самым принцип Юма.

Более существен теоретический аргумент. Описание должно соответствовать миру; задачей оценки является, в конечном счете, приведение мира в соответствие с оценкой. Эти две противоположные задачи не сводимы друг к другу. Очевидно, что если ценность истолковывать как противоположность истины, поиски логического перехода от «есть» к «должен» лишаются смысла. Не существует логически обоснованного вывода, который вел бы от посылок, включающих только описательные утверждения, к заключению, являющемуся оценкой или нормой.

Хотя принцип Юма представляется обоснованным, некоторые методологические выводы, делавшиеся из него, нуждаются в уточне-

---

<sup>1</sup> См., напр.: Searly J. R. How to Derive "Ought" from "Is" // Philosophical Review. 1964. Vol. 73. № 1; Maurodes G. I. "Is" and "Ought" // Analysis. 1964. Vol. 25. № 2; Rynin D. The Autonomy of Morals // Mind. 1957. Vol. 66. № 263.

<sup>2</sup> Cohen M. F. "Is" and "Should". An Unbridged Gap // Philosophical Review. 1965. Vol. 74. № 2; Flew A. On not Deriving "Ought" from "Is" // Analysis. 1964. Vol. 25. № 2.

ниях. Так, А. Пуанкаре, К. Поппер и другие полагали, что из-за отсутствия логической связи оценок и норм с описаниями этика не может иметь какого-либо эмпирического основания и, значит, не является наукой. «Наиболее простым, по-видимому, и наиболее важным результатом в области этики является чисто логический результат. Я имею в виду невозможность выведения нетавтологических этических правил... из утверждений о фактах. Только учитывая это фундаментальное логическое положение, мы можем сформулировать реальные проблемы философии морали и оценить их трудность»<sup>1</sup>.

Принципу Юма нередко и сейчас еще отводится центральная роль в методологии этики и других наук, стремящихся обосновать какие-то ценности и требования. Иногда даже утверждается, что в силу данного принципа этика не способна перейти от наблюдения моральной жизни к ее кодификации, и поскольку все системы (нормативной) этики не опираются на факты, и в этом смысле они автономны и равноценны.

Несмотря на то что принцип Юма справедлив, принцип автономии этики ошибочен. Ни логика норм, ни логика оценок не санкционируют выводов, ведущих от чисто фактических (описательных) посылок к оценочным или нормативным заключениям. Конечно, обсуждение особенностей обоснования моральных норм требует учета этого логического результата. Вместе с тем ясно, что он не предопределяет решение методологических проблем обоснования этики, точно так же как невозможность перехода с помощью только логики от фактов к научным законам не предрешает ответа на вопрос об обоснованности теоретического знания. Научные законы не вытекают логически из фактов, но это не значит, что опыт для них безразличен. Переход от эмпирического описания к закону не является логическим выводом, это всегда скачок в неизвестность, связанный с тем, что закон имеет двойственное, описательно-оценочное значение. Закон не только обобщает известные факты, но и выступает критерием оценки новых фактов и других законов. Безусловно, двойственность научных законов не означает, что каждая наука автономна и не зависит от эмпирического материала.

То, что моральные утверждения не могут быть выведены по правилам логики из описательных утверждений, представляет особый интерес в связи с тем, что в философии морали есть множество концепций, обосновывающих нормы нравственности, ссылаясь на некое их соответствие определенным реалиям внешнего мира: законам природы, направлению естественной эволюции, объективному ходу

---

<sup>1</sup> *Popper K. What can Logic do for Philosophy // Aristotelian Society. Proceedings. 1948. Vol. 22 (suppl.).*

истории и т. п. Все эти концепции некорректны, поскольку предполагают нарушение принципа Юма.

Допустим, в истории господствует необходимость и переход от одного этапа в развитии общества к другому совершается закономерно, но это вовсе не означает, что каждый человек морально обязан содействовать исторической необходимости и даже пытаться ускорить диктуемый ею переход. Из социологических законов не вытекают моральные нормы, точно так же как из закона природы, что все люди смертны, не следует моральный долг способствовать этому исходу.

Сведение морали к исторической или природной необходимости не только методологически несостоятельно, но и опасно. Как пишет Поппер, «...философия, представляющая собой попытку преодоления дуализма фактов и норм и построения некоторой монистической системы, создающей мир из одних только фактов, ведет к отождествлению норм или с властвующей ныне, или с будущей силой. Эта философия неизбежно приводит к моральному позитивизму или моральному историзму...»<sup>1</sup>.

Проще обстоит дело с принципом, согласно которому из оценочных утверждений логически не выводимы описательные утверждения. Ни логика оценок, ни логика норм не считают переход «должен → есть» обоснованным. Если ценность понимается как противоположность истины, то лишаются смысла не только поиски логического перехода «есть → должен», но и поиски перехода «должен → есть».

В качестве иллюстрации рассмотрим «принцип Канта»: если человек обязан что-то сделать, он способен это выполнить. Если этот принцип истолковывать как допущение возможности логического перехода от суждения долженствования (т.е. оценки) к описанию (а именно к описанию способностей человека), он неверен. Но данный принцип представляет собой, скорее, совет, адресованный нормативному авторитету: не следует устанавливать норм, выполнение которых выходит за пределы (обычных) человеческих способностей. Этот совет, как и всякий другой совет, является оценкой. «Принцип Канта» можно интерпретировать, также как описание: из утверждения о существовании нормы можно с определенной уверенностью вывести утверждение, что предписываемое этой нормой действие лежит в пределах человеческих возможностей. Но эта дескриптивная интерпретация, конечно, не является контрпримером к положению о невыводимости описаний из оценок.

**Трудности в применении принципа Юма.** Ценности не даны в непосредственном опыте, поэтому оценки не способны иметь прямого

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. С. 411.



эмпирического подтверждения. Из оценочных утверждений не вытекают эмпирические следствия, подтверждение которых в опыте могло бы истолковываться как свидетельство в поддержку таких утверждений. Это означает, что, во-первых, к оценкам не применимо не только прямое подтверждение, но и косвенное эмпирическое подтверждение, и, во-вторых, что оценки нельзя не только подтвердить, но и опровергнуть с помощью опыта. Таким образом, принцип, отрицающий возможность вывода описательных утверждений из оценочных утверждений, является столь же важным, как и принцип Юма. Эти два принципа прямо говорят о том, что оценки должны обосновываться совершенно иначе, чем описания. Вместе с тем рассматриваемые принципы только ограничивают способы обоснования оценочных утверждений, но не исключают самой возможности их обоснования.

Принцип Юма говорит об отсутствии логической связи между описаниями и оценками. Однако в реальной ситуации дело осложняется тем, что чистые описания и чистые оценки встречаются в гуманитарных и социальных науках не так часто. Гораздо более употребительны двойственные, описательно-оценочные утверждения. Такие выражения размывают границу между описаниями и оценками, вследствие чего принцип Юма лишается той ясности, которой он достигает при противопоставлении чистых описаний и чистых оценок.

Обилие в науках о культуре двойственных выражений, переплетающихся между собой «есть» и «должен», — источник многих неясных рассуждений о связях фактических и оценочных утверждений в этих науках. Например, социолог Ч. Р. Миллс пишет: «В настоящее время едва ли не общепринятым стало убеждение в том, что нельзя вывести оценочные суждения из фактических утверждений и определений основных понятий. Но это не значит, что такие утверждения, и определения совершенно лишены оценочности... в большинстве исследований социальных проблем переплетены фактические ошибки, нечеткие определения понятий и предвзятость оценок. Только после логического анализа можно установить, присутствует ли в постановке конкретной проблемы какой-нибудь конфликт ценностей»<sup>1</sup>.

Под «фактическими утверждениями» и «определениями основных понятий» здесь явно имеются в виду двойственные, описательно-оценочные утверждения. Именно они не лишены оценочности, в том время как собственно фактические утверждения и те определения понятий, которые являются реальными и не содержат в себе оттенка требования, ничего общего с оценками не имеют.

<sup>1</sup> Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 1998. С. 94.

Далее Миллс пишет: «Мы не можем выводить — гласит знаменитое юмовское правило, — как нам должно поступать, из того, во что мы верим. Равным образом, нельзя делать выводы о том, как должны поступать другие, исходя из собственных убеждений о том, как бы поступили мы сами. Но если такой итог действительно приходится подводить, нам остается лишь бить по головам тех, кто с нами не согласен; можно надеяться, что такие исходы бывают редко»<sup>1</sup>. Выражение «то, во что мы верим» включает в общем случае как те описания, в истинности которых мы убеждены, так и те оценки, которые принимаются нами.

В рассуждении Миллса это выражение должно обозначать, однако, только описания, иначе от принципа Юма ничего не останется. Данный принцип вовсе не связан с идеей, что поведение других нельзя оценивать на основе собственных представлений о долге. И, наконец, принципом Юма аргументация в поддержку оценок не сводится, вопреки предположению Миллса, к одному аргументу к силе («бить по головам»). Неясности и передержки в истолковании принципа Юма связаны здесь в первую очередь с тем, что он требует такого четкого разграничения факта и ценности, какое в науках о культуре встречается редко.

#### § 4. Квазиэмпирическое обоснование оценок и норм

В отличие от описательных, оценочные утверждения не могут поддерживаться ссылками на то, что дано в непосредственном опыте. Вместе с тем известны такие способы обоснования оценок, которые в определенном смысле аналогичны способам обоснования описаний и которые можно назвать *квазиэмпирическими*. К ним относятся различные индуктивные рассуждения, среди посылок которых имеются оценки и заключение которых также является оценкой: неполная индукция, аналогия, ссылка на образцы, целевое подтверждение, истолкование акта понимания как индуктивного свидетельства в пользу его посылок и др.

Философы много раз предпринимали попытки опровергнуть идею, что ценности не познаются непосредственно. Чаще всего указывались два источника непосредственного знания ценностей: 1) чувство удовольствия и страдания, моральное чувство или моральная интуиция; 2) особый «практический разум», не сводимый к «теоретическому разуму». Первый источник должен был служить аналогом восприятия в эпистемологии эмпирического познания, второй — ана-

<sup>1</sup> Миллс Ч. Р. Указ. соч. С. 96.

логом «чистого разума» или «интеллектуальной интуиции». Об особом моральном чувстве и отдельном «практическом разуме» трудно говорить всерьез. Что касается моральной интуиции, то она существует, но ничем особым не отличается от интуиции в других областях познания.

**Неполная индукция и аналогия.** Современная логическая теория индукции существенно неполна: в ней отсутствует раздел, рассматривающий индуктивные (правдоподобные) рассуждения, заключениями которых являлись бы оценки. В этом же смысле до середины XX в. была неполна и дедуктивная логика. Она не рассматривала дедуктивные рассуждения, посылки которых включали бы оценки (или нормы) и заключение которых являлось бы оценкой (или нормой). С созданием логики норм и логики оценок в 1950–1960-е гг. этот пробел в дедуктивной логике был устранен. Но индуктивные оценочные рассуждения пока не исследованы. Самым простым и вместе с тем самым ненадежным способом индуктивного обоснования оценок является *неполная* (популярная) *индукция*. Ее общая схема:

$$\begin{array}{l} S_1 \text{ должно быть } P. \\ S_2 \text{ должно быть } P. \\ \dots\dots\dots \\ S_n \text{ должно быть } P. \\ S_1, S_2, \dots, S_n \text{ все являются } P. \end{array}$$


---

Все  $S$  должны быть  $P$ .

Здесь первые  $n$  посылок являются оценками, последняя посылка представляет собой описательное утверждение; заключение является оценкой. Индукция называется неполной, поскольку перечисленные объекты  $S_1, S_2, \dots, S_n$  не исчерпывают всего класса предметов  $S$ . Например:

Ньютон должен был быть критичным и приверженным истине.  
 Кантор должен был быть критичным и приверженным истине.  
 Менделеев должен был быть критичным и приверженным истине.  
 Ньютон, Кантор и Менделеев были учеными.

---

Каждый ученый должен быть критичным и приверженным истине.

Популярным способом индуктивной аргументации в поддержку ценностей является аналогия. Это умозаключение о принадлежности определенного признака предмету на основе того, что сходный с ним иной предмет обладает этим признаком.

Различают аналогию свойств и аналогию отношений. Общая схема умозаключения по аналогии:

Предмет *A* имеет признаки *a, b, c, d*.

Предмет *B* имеет признаки *a, b, c*.

Значит, предмет *B* также имеет, по-видимому, признак *d*.

Заметив сходство свойств, присущих двум разным предметам, можно это сходство продолжить и предположить, что сравниваемые предметы подобны и в других своих свойствах. Например, планеты Земля и Венера сходны по многим признакам. На Земле есть жизнь. По аналогии можно заключить, что и на Венере есть жизнь.

Проводя аналогию отношений, уподобляют не предметы, а отношения между ними. Например, в планетарной модели атома отношение между его ядром и движущимися вокруг него электронами уподобляется отношению между Солнцем и вращающимися вокруг него планетами. Установив это подобие и зная, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, можно заключить по аналогии, что и электроны в атоме движутся вокруг его ядра по таким же орбитам. Аналогия всегда дает только проблематичное (вероятное) заключение.

Отношение к аналогии как способу аргументации весьма сдержанное. Обычно считают, что аналогия представляет собой хорошее средство поиска новых идей и предположений, но не их обоснования. «Никогда еще не отрицалась важность той роли, которую аналогия играет в формировании интеллекта. И, однако, будучи признанной всеми как существенный фактор творчества, она вызывала недоверие, как только из нее пытались делать средство доказательства»<sup>1</sup>. Платон, Плотин, Фома Аквинский и другие оправдывали самое широкое использование аналогии при аргументации. Д. Юм, Дж. Локк, Дж. Милль и другие философы-эмпирики, напротив, видели в аналогии лишь сходство низшего порядка, слабое и ненадежное, единственная ценность которой состоит в том, что она позволяет сформулировать гипотезу, подлежащую проверке другими индуктивными способами.

Можно привести и высокую оценку доказательной силы аналогии, особенно аналогии отношений. «Мы далеки от мысли, что аналогия не может служить отправной точкой для позднейшей проверки; но в этом она не отличается от любого другого способа рассуждения, ибо вывод любого из них может быть подвергнут еще одному новому испытанию опытом. И вправе ли мы отказывать аналогии в какой бы то ни было доказательной силе, если один только тот факт, что она способна заставить нас предпочесть одну гипотезу другой, уже указывает на то, что она обладает силой аргумента? Любое полное иссле-

<sup>1</sup> Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации» // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 226.

дование аргументации должно, следовательно, уделять ей место как элементу доказательства. Нам кажется, что доказательная сила аналогии предстает в виде структуры со следующей самой общей формулой: “А относится к В так же, как С к D”»<sup>1</sup>.

В *оценочной аналогии* сходство двух предметов в каких-то признаках продолжается, и на основании того, что первый предмет имеет определенную ценность, делается вывод, что и второй предмет обладает такой же ценностью.

Общая схема этой аналогии:

Предмет *A* имеет признаки *a*, *b*, *c* и является позитивно (негативно, нейтрально) ценным.

Предмет *B* имеет признаки *a*, *b*, *c*.

Значит, предмет *B* также является, вероятно, позитивно (негативно, нейтрально) ценным.

Например: Религиозные теории о рае на небесах не имеют никакого отношения к опыту, неконкретны, предполагают существование непреложного хода человеческой истории, не указывают способа, каким осуществляется переход человека (или его души) от земной жизни к жизни небесной и вместе с тем иногда оцениваются позитивно. Коммунистические теории создания рая на земле также не опираются на опыт, не являются конкретными, предполагают, что человеческая история направляется особыми законами. Значит, коммунистические теории рая на земле также могут иногда оцениваться положительно.

Часто аналогия с оценочной посылкой предстает в форме:

Предмет *A* имеет свойства *a*, *b*, *c* и должен быть *d*.

Предмет *B* обладает свойствами *a*, *b*, *c*.

Значит, предмет *B*, по-видимому, должен быть *d*.

Например: Хороший автомобиль имеет колеса, двигатель и должен быть экономичным. Хороший трактор имеет колеса и двигатель. Значит, хороший трактор тоже, вероятно, должен быть экономичным.

Аналогия обладает слабой доказательной силой, поскольку продолжение сходства может оказаться поверхностным или даже ошибочным.

Однако доказательность и убедительность — разные вещи. Нередко строгое, проводимое шаг за шагом доказательство оказывается неуместным и убеждает меньше, чем мимолетная, но образная и яркая аналогия. Доказательство — сильнодействующее средство исправ-

---

<sup>1</sup> Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Указ. соч. С. 226–227.

ления и углубления убеждений, в то время как аналогия подобна гомеопатическим лекарствам, принимаемым ничтожными дозами, но оказывающими во многих случаях заметный лечебный эффект.

Аналогия — излюбленное средство убеждения в художественной литературе, которой по самой ее природе противопоказаны сильные, прямолинейные приемы убеждения. Аналогии широко используются также в обычной жизни, в моральном рассуждении, в идеологии, утопии и т. п.

*Метафора*, являющаяся ярким средством художественного творчества, представляет собой, по сути, своего рода сгущенную, свернутую аналогию. «Любая аналогия — за исключением тех, что представлены в застывших формах, подобно притчам или аллегориям, — способна спонтанно стать метафорой»<sup>1</sup>. Примером метафоры с прозрачным аналогическим соотношением служит такое сопоставление Аристотеля: «Старость так [относится] к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер «старостью дня»... а старость — «вечером жизни»<sup>2</sup>.

В традиционном понимании метафора — это троп, удачное изменение значения слова или выражения. С помощью метафоры собственное значение имени переносится на некоторое другое значение, которое подходит этому имени лишь ввиду того сравнения, которое держат в уме. Уже это истолкование метафоры связывает ее с аналогией. «Лучше всего роль метафоры видна в контексте представления об аналогии как об элементе аргументации»<sup>3</sup>. Метафора является результатом слияния членов аналогии и выполняет те же функции, что и аналогия. По воздействию на эмоции и убеждения аудитории метафора даже лучше справляется с этими функциями, поскольку «она усиливает аналогию, вводя ее в сжатом виде в язык»<sup>4</sup>.

**Образец.** Еще одним способом аргументации в поддержку оценок и норм является апелляция к *образцу*. Он принципиально отличается от примера. Пример говорит о том, что имеет место в действительности, образец — о том, что должно быть. Пример используется для поддержки описательных утверждений, ссылка на образец призвана поддержать оценку. Образец, или идеал, — это такое поведение лица или группы лиц, которому надлежит следовать. Образец в силу своего особого общественного престижа служит также порукой выбранному типу поведения. «Следование общепризнанному образцу, принуждение себя к этому гарантирует высокую оценку поведения в гла-

<sup>1</sup> Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л. Указ. соч. С. 253.

<sup>2</sup> Аристотель. Поэтика. 1457в.

<sup>3</sup> Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л. Указ. соч. С. 249.

<sup>4</sup> Там же. С. 259.

зах общества; деятель, повышающий таким способом свой авторитет, сам уже может послужить образцом: философ являет собой образец для своих сограждан, поскольку для него самого образцом выступают боги [Паскаль]; пример святой Терезы воодушевляет христиан, поскольку для нее самой образцом являлся Иисус»<sup>1</sup>.

Следование образцу, имитация чужого поведения может быть спонтанной. Имитирующий тип поведения имеет большое значение в социальной жизни. Повторение одного и того же поведения, которое принято за образец в данном обществе, не нуждается в обосновании. Но аргументация требуется в том случае, когда поведение ориентируется на сознательно избранный образец, действия которого противопоставляются другим возможным способам деятельности.

Образец обладает определенным авторитетом и престижем: неизвестным, никак себя не зарекомендовавшим людям не подражают. Как заметил Ж.-Ж. Руссо, «обезьяна подражает человеку, которого она боится, и не подражает презируемому ею животным; она находит правильным то, что делает высшее по сравнению с ней существо»<sup>2</sup>. Одни образцы предназначены для всеобщего подражания, другие — рассчитаны только на узкий круг людей. Своеобразным образцом является Дон Кихот: ему подражают именно потому, что он был способен самоотверженно следовать избранному им самим образцу.

Образцы, или идеалы, играют исключительную роль в социальной жизни, в формировании и укреплении социальных ценностей. «Человек, общество, эпоха характеризуются теми образцами, которым они следуют, а также тем, как, каким способом они эти образцы понимают»<sup>3</sup>. Образцом может быть реальный человек, взятый во всем многообразии присущих ему черт. Нередко в качестве образца выступает поведение какого-то реального человека в определенной, достаточно узкой области: есть образцы любви к ближнему, любви к жизни, самопожертвования и т. д. Образцом может служить также поведение вымышленного лица: литературного героя, героя мифа, легенды и т. д. Иногда такой вымышленный герой выступает не как целостная личность, а демонстрирует своим поведением только отдельные добродетели или пороки. Можно, например, подражать Кутузову, но можно стремиться следовать в своем поведении Пьеру Безухову или Наташе Ростовой. Можно подражать альтруизму доктора Ф. П. Гааза, но можно следовать Дон Кихоту или Дон Жуану.

«Безразличие к образцам может само по себе выглядеть как образец: в пример иногда ставится тот, кто умеет избежать соблазна под-

<sup>1</sup> Перельман Х., *Ольбрехт-Тытека Л.* Указ. соч. С. 220.

<sup>2</sup> Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 137.

<sup>3</sup> Перельман Х., *Ольбрехт-Тытека Л.* Указ. соч. С. 220.

ражания. Тот факт, что аргументация посредством обращения к образцу действительна также и в этом нетипичном случае, убедительно показывает нам, что способы аргументации применимы в самых различных обстоятельствах, то есть техника аргументации не связана с какой-либо определенной общественной ситуацией или с приверженностью таким-то, а не каким-либо иным ценностям<sup>1</sup>.

Если образцом выступает реальный человек, имеющий обычно не только достоинства, но и определенные недостатки, нередко бывает, что эти его недостатки оказывают на поведение других людей большее воздействие, чем его неоспоримые достоинства. Как заметил Б. Паскаль, «пример чистоты нравов Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства — к распушенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным»<sup>2</sup>.

«Хотя служить образцом престижно, но вызванное имитацией сближение между образцом и тем, кто ему следует и кто почти всегда ниже его, может несколько обесценить образец... Любое сравнение влечет взаимодействие между его членами. Более того, вульгаризуя образец, мы лишаем его той ценности, которой он обладал благодаря своему своеобразию: феномен моды во всех ее ипостасях объясняется, как известно, свойственным толпе желанием приблизиться к тем, кто задает тон, равно как и желанием последних выделиться из толпы и бежать от нее»<sup>3</sup>.

Наряду с образцами существуют и *антиобразцы*, задача которых — дать отталкивающий пример поведения и тем самым отвратить от такого поведения. Воздействие антиобразца на некоторых людей оказывается даже более эффективным, чем воздействие образца. «Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекают скорее из вещей неблагоприятных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца, а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагоприятной и фальши»<sup>3</sup>. Обычно антиобразец менее выразителен и определен, чем образец, и представляет собой не конкретное лицо, взятое во всем объеме присущих ему свойств, а только тот этический минимум, ниже которого нельзя опускаться.

<sup>1</sup> Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л. Указ. соч. С. 220—221.

<sup>2</sup> Ларошфуко Ф. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. М., 1974. С. 135.

<sup>3</sup> Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1979. Кн. 3. С. 132.



## § 5. Целевое обоснование

*Целевое обоснование* представляет собой параллель эмпирическому подтверждению описательных утверждений (верификации следствий). Иногда целевое обоснование именуется *целевым подтверждением*; если упоминаемые в нем цели не являются целями человека, оно называется также *телеологическим обоснованием*.

Хотя целевое обоснование является одним из способов квазиэмпирического обоснования оценок и норм, проанализируем его, учитывая его важность, отдельно. Целевое обоснование позитивной оценки какого-то объекта представляет собой ссылку на то, что с помощью этого объекта может быть получен другой объект, имеющий позитивную ценность. Например, перед ковкой металл следует нагреть, поскольку это сделает его пластичным; нужно отвечать добром на добро, так как это ведет к справедливости в отношениях между людьми.

Универсальным и наиболее важным способом эмпирического обоснования описательных утверждений является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка. Подтверждение следствий — свидетельство в пользу истинности самого положения. Общая схема косвенного эмпирического подтверждения:

(1) Из *A* логически следует *B*.

*B* подтверждается в опыте.

Значит, вероятно, *A* истинно.

Это индуктивное рассуждение, так как истинность посылок не гарантирует истинности заключения. Из посылок «если имеет место первое, то необходимо имеет место второе» и «имеет место второе» заключение «имеет место первое» вытекает только с некоторой вероятностью.

Эмпирическое подтверждение может опираться также на подтверждение в опыте следствия причинной связи. Общая схема такого каузального подтверждения:

(2) *A* является причиной *B*.

Следствие *B* имеет место.

Значит, вероятно, причина *A* также имеет место.

Например: «Если по проводнику течет ток, вокруг проводника образуется магнитное поле; вокруг проводника существует магнитное поле; значит, вероятно, по проводнику течет ток».

Аналогом схемы (1) эмпирического подтверждения является следующая схема *квазиэмпирического обоснования (подтверждения) оценок*:

(1\*) Из *A* логически следует *B*;

*B* — позитивно ценно.

Значит, вероятно, *A* также является позитивно ценным.

Например: «Если завтра будет дождь и завтра будет ветер, то завтра будет дождь; хорошо, что завтра будет дождь; значит, по-видимому, хорошо, что завтра будет дождь и завтра будет ветер». Это индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку («Хорошо, что завтра будет дождь и будет ветер») ссылкой на другую оценку («Хорошо, что завтра будет дождь»).

Аналогом схемы (2) каузального подтверждения описательных утверждений является следующая схема квазиэмпирического целевого обоснования (подтверждения) оценок:

(2\*) *A* является причиной *B*;

Следствие *B* — позитивно ценно.

Значит, вероятно, причина *A* также является позитивно ценной.

Например: «Если в начале лета идут дожди, то урожай будет большим; хорошо, что будет большой урожай; значит, вероятно, хорошо, что в начале лета идут дожди». Это индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку («Хорошо, что в начале лета идут дожди») ссылкой на другую оценку («Хорошо, что будет большой урожай») и определенную каузальную связь.

В схемах (1\*) и (2\*) речь идет о квазиэмпирическом обосновании, поскольку подтверждающиеся следствия являются оценками, а не описательными эмпирическими утверждениями. В схеме (2\*) посылка «*A* является причиной *B*» представляет собой описательное утверждение, устанавливающее связь причины *A* со следствием *B*. Если утверждается, что данное следствие является позитивно ценным, связь причина-следствие превращается в связь средство-цель.

Схему (2\*) можно переформулировать таким образом:

*A* есть средство для достижения *B*.

*B* позитивно ценно.

Значит, вероятно, *A* также позитивно ценно.

Рассуждение по этой схеме оправдывает средства ссылкой на позитивную ценность достигаемой с их помощью цели. Можно сказать, оно является развернутой формулировкой хорошо известного и вызывающего постоянные споры принципа «Цель оправдывает средства». Споры объясняются индуктивным характером стоящего за принципом целевого обоснования. Цель вероятно, но вовсе не с необходимостью и далеко не всегда оправдывает средства — так следовало бы переформулировать данный принцип.

Существует еще одна широко используемая схема квазиэмпирического целевого обоснования:

(2<sup>\*\*</sup>) Не-*A* есть причина не-*B*.

Но *B* — позитивно ценно.

Значит, вероятно, *A* также является позитивно ценным.

Например: «Если вы не поторопитесь, мы опоздаем на поезд; хорошо было бы успеть к поезду; значит, по-видимому, вам следует поторопиться».

Схема (2<sup>\*\*</sup>) эквивалентна на базе простых принципов логики абсолютных оценок схеме:

*A* есть причина *B*.

*B* — отрицательно ценно.

Значит, *A* также, вероятно, является отрицательно ценным<sup>1</sup>.

Например: «Если все лето идут дожди, урожай будет невысоким; плохо, что урожай будет невысоким; значит, по всей вероятности, плохо, что все лето идут дожди».

О так называемом практическом силлогизме. Иногда утверждается, что целевое обоснование оценок представляет собой дедуктивное рассуждение, в котором заключение с логической необходимостью, а не с известной вероятностью вытекает из посылок. Это мнение, впервые высказанное еще Аристотелем, является, однако, ошибочным.

Аристотель считал, что понимание человеческого поведения предполагает раскрытие связи между мотивами (целями, ценностями), которыми руководствуется человек, и его поступками. Понять поведение индивида — значит указать ту цель, которую он преследовал и надеялся реализовать, совершая конкретный поступок. Логической формой элементарного акта целевого понимания поведения является, по Аристотелю, так называемый *практический силлогизм (вывод)*.

Например: «Агент *N* намеревается (желает, стремится) получить *A*. Для получения *A* нужно выполнить действие *B*. Следовательно, *N* должен выполнить действие *B*».

Первая посылка фиксирует цель, которую ставит перед собой действующий субъект. Вторая — описывает его представление о средствах, необходимых для достижения цели. В заключении предписывается то конкретное действие, которое субъект должен совершить. В терминах логики оценок эту схему можно упрощенно представить так:

<sup>1</sup> Iwin A. A. Grundlagen der Logik von Wertungen. Berlin, 1975. S. 162–166.

Позитивно ценно *A*.

Средством для достижения *A* является действие *B*.

Следовательно, позитивно ценно (должно быть сделано) *B*.

Например: «*N* хочет, чтобы в доме было тепло; если *N* не топит печь, в доме не будет тепло; значит, *N* должен протопить печь».

Аристотель, подразделивший все выводы на теоретические и практические, говорил, что если заключением первых является утверждение, то заключение вторых — действие<sup>1</sup>.

Предлагавшийся Аристотелем практический силлогизм был надолго забыт. Лишь в 1960–1970-е гг. он стал центром оживленной дискуссии, связанной с проблемой понимания человеческого поведения. Г. Энскомб и Г. Х. фон Вригт истолковали его как универсальную схему понимания поведения человека, призванную играть в науках о человеке ту же роль, какую в естественных науках играет дедуктивное объяснение через охватывающий закон (номологическое объяснение)<sup>2</sup>. «Практическое рассуждение имеет большое значение для объяснения и понимания действия. Один из основных тезисов состоит в том, что практический силлогизм дает наукам о человеке то, что так долго отсутствовало в их методологии: подходящую модель объяснения, которая является подлинной альтернативой по отношению к модели охватывающего закона. С более общей точки зрения можно сказать, что подводящая под универсальный закон модель служит для каузального объяснения и объяснения в естественных науках; практический же силлогизм служит для телеологического объяснения в истории и социальных науках»<sup>3</sup>.

То, что фон Вригт называет «телеологическим объяснением», представляет собой на самом деле не объяснение, а понимание. В этом «объяснении» из оценки, устанавливающей намерение (цель) действующего субъекта и описательного утверждения о причинной связи цели со средством ее достижения выводится утверждение о том, что должен сделать субъект, т. е. новая оценка (норма).

Эта схема именуется иногда также интенциональным объяснением, т. е. объяснением через цели, которые ставит перед собою индивид. Вряд ли названия «телеологическое объяснение» и «интенциональное объяснение» удачны: они способствуют ставшей уже традиционной путанице между объяснением и пониманием.

Общая логическая теория практического рассуждения (в терминологии Аристотеля — практического силлогизма) пока что отсутствует.

<sup>1</sup> Аристотель. О движении животных. 701a 10–40; Никомахова этика. 1147a 25–31.

<sup>2</sup> Anscombe G. E. M. *Intention*. Oxford, 1957; Wright G. H. von. *The Varieties of Goodness*. London, 1963. Ch. VIII.

<sup>3</sup> Wright G. H. von. *Explanation and Understanding*. London, 1971. P. 27.

Не вдаваясь в детали ее анализа, остановимся на принципиально важном факте: практический силлогизм является не дедуктивным (необходимым), а индуктивным (правдоподобным) рассуждением. Целевое (мотивационное, телеологическое) понимание представляет собой индукцию, заключение которой — проблематическое утверждение. В силу этого попытка представить целевое обоснование как конкурента дедуктивного номологического объяснения является несостоятельной.

В поддержку положения, что практический силлогизм (целевое обоснование) является индуктивным умозаключением можно выдвинуть следующие, представляющиеся достаточно убедительными аргументы. Во-первых, могут быть приведены примеры конкретных рассуждений, следующих схемам целевого понимания, но дающих, как можно думать, только проблематические заключения. Таков, в частности, практический силлогизм: «*N* хочет разбогатеть; единственный способ для *N* достичь богатства — это физически устранить своих конкурентов; значит, *N* должен физически устранить своих конкурентов». Очевидно, что здесь нет дедукции. Во-вторых, связь цели и средства, используемая при целевом понимании, истолкованная как описательное утверждение, является причинно-следственной связью. Как принято считать, такая связь заведомо слабее, чем связь логического следования. Допустим, что схема рассуждения «Если *A* причина *B* и *B* — позитивно ценно, то *A* — позитивно ценно» обоснованна. Тогда обоснованной должна быть и схема, полученная из нее заменой утверждения о причинной связи утверждением о логическом следовании: «Если из *A* логически следует *B* и *B* — позитивно ценно, то *A* — позитивно ценно». Но последняя схема заведомо не относится к обоснованным, это типичная схема индуктивного рассуждения.

В-третьих, в логике истины аналогом схемы целевого обоснования была бы схема: «Если истинно, что *A* — причина *B* и истинно *B*, то истинно *A*». Но последняя схема не является обоснованной. Значит, рассуждая по аналогии, можно сказать, что и схема целевого обоснования также не должна считаться схемой дедуктивного умозаключения. В-четвертых, схема целевого обоснования нарушает принцип, аналогичный известному принципу Юма и утверждающий невыводимость описательных утверждений из оценок. Преобразование схемы «Если *B* — причина *A* и *A* — позитивно ценно, то *B* — позитивно ценно» дает схему «Если *A* — позитивно ценно и неверно, что *B* — позитивно ценно, то неверно что *B* — причина *A*». Здесь из двух оценок вытекает описательное утверждение, что запрещается указанным принципом.

Примеры целевого обоснования. Целевое обоснование оценок находит широкое применение в разных областях, начиная с обыденных, моральных, политических дискуссий и кончая философскими, ме-

тодологическими и научными рассуждениями. Приведем несколько примеров таких рассуждений, чтобы продемонстрировать адекватность описанных схем целевого обоснования на конкретном материале. «Некоторые выводы Дж. Локка настолько странны, — пишет Б. Рассел, — что я не вижу, каким образом изложить их в разумной форме. Он говорит, что человек не должен иметь такого количества слив, которое не могут съесть ни он, ни его семья, так как они испортятся, но он может иметь столько золота и бриллиантов, сколько может получить законным образом, ибо золото и бриллианты не портятся. Ему не приходит в голову, что обладатель слив мог бы продать их прежде, чем они испортятся»<sup>1</sup>.

По-видимому, Локк рассуждал так, используя схему целевого обоснования: «Если у человека слишком много слив, то часть их непременно испортится; плохо, когда сливы портятся; значит, нельзя иметь чересчур много слив». Это рассуждение представляет собой попытку целевого обоснования оценки: «Нельзя иметь слишком много слив». Рассел правильно замечает, что данное рассуждение неубедительно: первая его посылка не является истинным утверждением.

Другое целевое обоснование, присутствующее у Локка: «Драгоценные металлы являются источником денег и общественного неравенства; экономическое неравенство достойно сожаления и осуждения; значит, драгоценные металлы заслуживают осуждения». Локк принимал первую посылку этого рассуждения, чисто теоретически сожалел об экономическом неравенстве, но не думал, что было бы разумно предпринимать меры, которые могли бы предотвратить это неравенство. Логической непоследовательности в такой позиции нет, поскольку заключение не вытекает логически из посылок.

Философы-эмпирики XVIII—XIX вв., занимавшиеся этикой, считали удовольствие несомненным благом. Их противники, напротив, презирали удовольствие и склонялись к иной системе этики, которая казалась им возвышенной. Т. Гоббс высоко ценил силу, с ним соглашался Б. Спиноза. Разные системы принимавшихся исходных ценностей вели к различиям в целевых обоснованиях. Так, рассуждение «Взаимная благожелательность доставляет удовольствие и потому является добром» было бы приемлемым для Локка, но не для Гоббса или Спинозы.

«Большая часть противников локковской школы восхищалась войной как явлением героическим и предполагающим презрение к комфорту и покою. Те же, которые восприняли утилитарную этику, напротив, были склонны считать большинство войн безумием. Это снова, по меньшей мере в XIX столетии, привело их к союзу с капи-

<sup>1</sup> Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. 2. С. 153.

талистами, которые не любили войн, так как войны мешали торговле. Побуждения капиталистов, конечно, были чисто эгоистическими, но они привели к взглядам, более созвучным с общими интересами, чем взгляды милитаристов и их идеологов»<sup>1</sup>.

В этом отрывке упоминаются три разные целевые аргументации, обосновывающие оправдание и осуждение войны:

- 1) война является проявлением героизма и воспитывает презрение к комфорту и покою; героизм и презрительное отношение к комфорту и покою позитивно ценны; значит, война также позитивно ценна;
- 2) война не только не способствует общему счастью, но, напротив, самым серьезным образом препятствует ему; общее счастье — это то, к чему следует всячески стремиться; значит, войны следует категорически избегать;
- 3) война мешает торговле; торговля является позитивно ценной; значит, война вредна.

Убедительность целевого обоснования существенно зависит от трех обстоятельств. Во-первых, от эффективности связи между целью и тем средством, которое предлагается для ее достижения; во-вторых, от приемлемости самого средства; в-третьих, от приемлемости и важности той ценности, которая выдвигается в качестве цели. Связь «средство—цель» в контексте целевого обоснования — это причинно-следственная связь: средство является той причиной, благодаря которой достигается цель-следствие.

Слово «причина» употребляется в нескольких различающихся по своей силе смыслах. В целевых обоснованиях обычно используются не слова «причина» и «следствие», а выражения «способствовать наступлению (какого-то состояния)», «способствовать сохранению», «препятствовать наступлению», «препятствовать сохранению». Эти выражения подчеркивают многозначность слова «причина». Наиболее сильный смысл этого слова предполагает, что имеющее причину *не может не быть*, т. е. не может быть ни отменено, ни изменено никакими иными событиями или действиями. Кроме этого понятия полной, или необходимой, причины имеются также более слабые понятия частичной, или неполной, причины. Полная причина всегда или в любых условиях вызывает свое следствие; частичные причины только способствуют в той или иной мере наступлению своего следствия, и следствие реализуется лишь в случае объединения частичной причины с некоторыми иными условиями. Чем более сильной является причинная связь, упоминаемая в целевом обосновании, т. е. чем эффективнее то средство, которое предлагается для достижения обо-

<sup>1</sup> Рассел Б. Указ. соч. С. 153.

значенной цели, тем более убедительным кажется целевое обоснование.

Средство, указываемое в целевом обосновании, может не быть оценочно нейтральным (безразличным). Если оно приемлемо для аудитории, целевое обоснование будет представляться ей убедительным. Но если средство сомнительно, возникает вопрос о сопоставлении наносимого им ущерба с теми преимуществами, которые способна принести реализация цели.

Все это показывает, что целевое обоснование представляет собой индуктивное, вероятностное рассуждение. Если даже используемая в нем причинная связь является сильной, предполагаемое следствие — приемлемым, а поставленная цель — существенной, заключение целевого обоснования является проблематическим утверждением, нуждающимся в дальнейшем обосновании.

## § 6. Теоретическое обоснование

Теоретическая аргументация в поддержку оценочных утверждений, в том числе норм, во многом похожа на теоретическое обоснование описательных утверждений: почти все способы аргументации, применимые к описаниям, могут использоваться и для обоснования оценок. Исключение составляет анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения. От оценок нельзя требовать, чтобы они допускали принципиальную возможность опровержения эмпирическими данными и предполагали определенные процедуры своего подтверждения такими данными. Вместе с тем можно предполагать, что от оценок следует ожидать принципиальной возможности квазиэмпирического подтверждения и опровержения.

Способы теоретической аргументации в поддержку оценок включают дедуктивное обоснование, системную аргументацию (в частности, внутреннюю перестройку теории), демонстрацию совместимости обосновываемой оценки с другими принятыми оценками и соответствие ее определенным общим оценочным принципам, методологическое обоснование и др.

**Логическое (дедуктивное) обоснование.** *Дедуктивное обоснование оценок* — это выведение обосновываемого оценочного утверждения из иных, ранее принятых оценок. Если выдвинутую оценку удастся логически вывести из каких-то других оценок, это означает, что она приемлема в той же мере, что и данные оценки.

Положим, исследователь, мало знакомый с существующими обычаями научной коммуникации, в общении с коллегами склонен по-



стоянно отклоняться от темы, говорит длинно, неясно и непоследовательно. Для того чтобы убедить его изменить свою манеру общения, можно сослаться на общий «принцип кооперации», особенно отчетливо проявляющийся в научной коммуникации и заключающийся в требовании делать вклад в речевое общение соответствующим принятой цели и направлению разговора. Этот принцип включает, в частности, максимум релевантности, запрещающую отклоняться от темы, и максимум манеры, требующую говорить ясно, коротко и последовательно. Ссылка на эти максимумы будет представлять собой дедуктивное обоснование рассматриваемого требования. Полная формулировка соответствующего дедуктивного умозаключения может иметь следующий вид:

Должно быть так, что, если вы стремитесь соблюдать принцип кооперации, вы не отклоняетесь в разговоре от темы и говорите достаточно ясно, кратко и последовательно.

Вы должны соблюдать принцип кооперации.

Следовательно, вы должны не отклоняться в разговоре от темы, говорить достаточно ясно, кратко и последовательно.

Обе посылки этого рассуждения являются оценками, заключение также представляет собой оценочное утверждение.

Дедуктивное рассуждение в редких случаях формулируется так, чтобы явно указывались все посылки и вытекающее из них заключение. Обычно оно носит сокращенный характер: опускается все, что без особого труда может быть восстановлено из контекста. Кроме того, не выявляется сколько-нибудь наглядно и общая логическая схема, или структура, которая лежит в основе рассуждения и обуславливает его дедуктивный характер.

Следующее дедуктивное рассуждение принадлежит известному средневековому философу И. Эриугене. В этом рассуждении многое не высказывается явно, а только подразумевается, причем логическая структура рассуждения не вполне ясна и нуждается в реконструкции. «Всякое зло есть или грех, или наказание за грех. И тогда как разум не допускает, чтобы Бог предвидел то и другое, кто решится утверждать, что Он предопределяет подобное, если только не толковать это в противоположном смысле? Что же? Вообразимо ли, чтобы Бог, Который один есть истинное бытие и Которым сотворено все сущее в той мере, в какой оно существует, провидел или предопределял то, что не есть Он и не происходит от Него, ибо оно — ничто? Зло есть лишь ущербность добра, а добро есть либо Бог, Который ущербу не подвержен, либо происходящее от Бога и подверженное ущербу, ущерб же имеет целью лишь уничтожение добра — и кто усомнится, что зло есть нечто стремящееся к истреблению добра? Поэтому зло не Бог и не про-

исходит от Бога. Следовательно, Бог не создавал зла не провидит и не предопределяет его»<sup>1</sup>.

Эриугена стремится доказать, что в мире нет зла как такового, а есть лишь добро, которое иногда может быть ущербным. Эта идея выводится из утверждений, характеризующих природу Бога. Бог наделяется тремя главнейшими атрибутами: всезнанием, всемогуществом и всеблагостью, а также функциями творца, хранителя и распорядителя всего сущего. При таком понимании Бога все сотворенное оказывается добром.

Еще один пример обычной дедукции принадлежит С. Боэцию и связан по своему содержанию с предыдущим. Боэций, стоявший у истоков средневековой философии, намеревался строить свои доказательства по образцу математических: «Итак, как делают обычно в математике, да и в других науках, я предлагаю вначале разграничения и правила, которыми буду руководствоваться во всем дальнейшем рассуждении»<sup>2</sup>. В числе исходных девяти посылок, можно сказать, аксиом, принимаемых Боэцием, утверждения: «Для всякого простого его бытие и то, что оно есть, — одно». «Для всего сложного бытие и само оно — разные [вещи]» и т. п. Дальнейшие рассуждения должны быть дедукцией из аксиом. «Выходит, что [существующие вещи] могут быть благами постольку, поскольку существуют, не будучи при этом подобными первому благу; ибо само бытие вещей благо не потому что они существуют каким бы то ни было образом, а потому, что само бытие вещей возможно лишь тогда, когда оно проистекает из первого бытия, т.е. из блага. Вот поэтому-то само бытие благо, хотя и не подобно тому [благу], от которого происходит»<sup>3</sup>. Предполагаемые посылки этого рассуждения — те же, что и в рассуждении Эриугены.

И, наконец, пример, взятый из современной литературы (замечу, что только в редких случаях умозаключения, в которых из одних оценок выводятся другие, имеют такую полную и ясную структуру, как в этом примере). Ю. Бохеньский считает, что философия диалектического материализма соединяет идеи Аристотеля и Гегеля. Следствия такого соединения взаимоисключающих положений подчас обескураживают. «Одно из них — так называемая проблема Спартака. Ведь Спартак руководил революцией в тот период, когда класс рабовладельцев был, согласно марксизму, классом прогрессивным, а следовательно, революция не имела никаких шансов на успех и — с точки зрения морали — была преступлением, ибо противоречила ин-

<sup>1</sup> Эриугена И. С. О божественном предопределении // Сегодня. 1994. 6 авг.

<sup>2</sup> Боэций С. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 162.

<sup>3</sup> Там же. С. 164—165.

тересам прогрессивного класса. Это вытекает из позиции Гегеля, а значит, и диалектического материализма. Но одновременно Спартак превозносится как герой. Почему? Потому что уничтожение любой эксплуатации, совсем по-аристотелевски, считается абсолютной ценностью, стоящей над эпохами и классами. Здесь нужно выбирать — либо одно, либо другое; тот же, кто одновременно принимает оба эти положения, впадает в суеверие»<sup>1</sup>. Полная формулировка двух умозаключений, заключения которых несовместимы, может быть такой:

Всякое действие, противоречащее интересам исторически прогрессивного класса, является отрицательно ценным.

Революция Спартака противоречила интересам исторически прогрессивного класса.

Следовательно, революция Спартака была отрицательно ценной.

Всякое действие, направленное на уничтожение эксплуатации, является положительно ценным.

Революция Спартака была направлена на уничтожение эксплуатации. Значит, революция Спартака была положительно ценной.

Первые два примера показывают, что средневековые философы явно переоценивали значение доказательства как способа обоснования. Заключение дедуктивного рассуждения является обоснованным только в той мере, в какой обоснованны посылки, из которых оно выводится. Приведенные примеры показывают, что о хорошем и плохом, обязательном и запрещенном можно рассуждать логически последовательно и непротиворечиво. Рассуждения о ценностях не выходят за пределы «логического» и могут успешно анализироваться с помощью методов логики.

**Системное обоснование.** Еще одним способом аргументации в поддержку оценок и норм является их *системное обоснование*, т. е. обоснование путем включения их в хорошо обоснованную систему оценочных или нормативных утверждений. Например, в соответствии с так называемым принципом справедливости «Каждому должно воздаваться по его заслугам» каждый человек, относящийся к какой-то группе, должен трактоваться как равный любому другому представителю этой группы. Если речь идет, допустим, об молодых ученых без учета каких-либо дальнейших их различий, то каждого из них справедливо трактовать как равного любому другому. Понятно, что это чисто формальное истолкование справедливости, лишенное конкретного содержания. Оно не дает критерия, по которому люди могут или должны соединяться в группы и, значит, трактоваться одинаково. Скажем, те молодые ученые во всем равны лишь до тех пор, пока они

---

<sup>1</sup> Бохеньский Ю. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. М., 1993. С. 94.

выступают в качестве молодых ученых; но их «одинаковость» исчезает, как только принимается во внимание, что среди них есть люди разного таланта, женщины и мужчины и т. д.

Если принципу справедливости дается моральное истолкование, важным в его обосновании будет указание на то, что он является существенным составным элементом конкретной, хорошо обоснованной системы морали. Та теоретическая и эмпирическая (или квази-эмпирическая) поддержка, какой обладает мораль в целом, распространяется и на принцип справедливости. Это тем более верно, что данный принцип не «окраинный принцип» морали, а одно из наиболее важных ее требований: если из системы морали изъять принцип справедливости, предписывающий, в частности, отвечать на добро добром, сама эта система, если и не разрушится, то станет совершенно иной.

Принцип справедливости можно также попытаться обосновать, включая его в достаточно ясную, последовательную и обоснованную систему представлений о человеке и его истории. Например, Э. Фромм пишет: «Есть основания предполагать, что стремление к справедливости и истине является неотъемлемой чертой человеческой природы, хотя оно может подавляться и искажаться...»<sup>1</sup>. Фромм выводит страстную тягу к справедливости из анализа всей человеческой истории, как социальной, так и индивидуальной. История показывает, полагает Фромм, что для каждого бесправного идеи справедливости и истины — важнейшее средство в борьбе за свою свободу и развитие. Большая часть человечества на протяжении его истории была вынуждена защищать себя от более сильных групп, подавлявших и эксплуатировавших ее; кроме того, для каждого индивида детство — это период бессилия.

Психолог А. Маслоу, один из ведущих представителей гуманистической психологии, из всех многообразных ценностей, к которым стремится по своей природе человек, выделяет «бытийные ценности»: истину, красоту, добро, совершенство, простоту, всесторонность и др. В число ценностей бытия включается и справедливость. Эти ценности необходимы индивиду, чтобы самоактуализироваться, реализовать самого себя, погрузиться в живое и бескорыстное переживание и почувствовать себя целиком и полностью человеком. «В некотором вполне определенном и эмпирическом смысле человеку необходимо жить в красоте, а не в уродстве, точно так же как ему необходима пища для голодного желудка или отдых для усталого тела... на самом деле эти бытийные ценности являются смыслом жизни для большинства людей, хотя многие даже не подозревают, что они

<sup>1</sup> Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1988. С. 64.

имеют эти метапотребности»<sup>1</sup>. Здесь требованию справедливости сообщается дополнительная поддержка путем включения его в качестве важного элемента в психологическую концепцию жизненных ценностей человека.

Частным случаем системного обоснования оценочного утверждения является *внутренняя перестройка* той системы оценок, которой оно принадлежит. Перестройка может состоять во введении новых оценок, очевидным образом согласующихся с рассматриваемой оценкой и поддерживающих ее, в исключении тех элементов системы, которые не вполне согласуются между собой, в уточнении основополагающих принципов системы, изменении иерархии этих принципов и т. д. Если перестройка системы оценок обеспечивает продвижение какого-то положения от «периферии» системы к ее «ядру», то системная поддержка этого положения становится особенно заметной.

**Условие совместимости.** Важным шагом в теоретическом обосновании оценочного утверждения является демонстрация его соответствия имеющимся в рассматриваемой области оценкам и их системам. Условие совместимости, о котором уже шла речь, относится не только к описательным, но и оценочным утверждениям.

Ф. Ницше очень высоко оценивает стремление к справедливости: «Поистине никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки». Если бы человек, говорит далее Ницше, «был просто холодным демоном познания, то он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловеческого ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее; но то, что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву «ты должен», от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости... все это ставит его на одинокую высоту как достойный экземпляр человеческой природы»<sup>2</sup>.

Эти суждения о справедливости не кажутся убедительными. Принято считать, что справедливыми должны быть не отдельные люди и тем более не редчайшие индивиды, а все люди. Это верно как для морального смысла принципа справедливости, так и для других его смыслов. Если не изменить обычное представление о равенстве всех людей и о тех моральных ценностях, которыми они привыкли руко-

<sup>1</sup> Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. М., 1986. С. 111.

<sup>2</sup> Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 1909. Т. 2. С. 129, 129–130.

водствоваться, мысль о «редчайшей добродетели справедливости» будет вызывать существенные возражения: она не согласуется со многими из тех оценок, которые прочно вошли в сознание современного человека.

Новая оценка должна быть в согласии не только с уже принятыми и устоявшимися оценками и их системами, но и с определенными общими принципами, подобными принципам простоты, привычности, красоты и т. д. Простая, красивая, внутренне согласованная система оценок или норм, не порывающая резко с ценностями, оправдавшими себя временем, скорее найдет признание, чем неуклюжая, путаная система, безосновательно порывающая с традицией.

Определенное значение в обосновании оценочного утверждения может иметь *методологическая аргументация* — ссылка на то, что оценка получена с помощью метода, уже неоднократно демонстрировавшего свою надежность. Значение методологической аргументации в случае оценок не является столь существенным, как в случае описательных утверждений. Это связано в первую очередь с тем, что оценки не допускают эмпирического подтверждения и метод, с помощью которого они устанавливаются, трудно охарактеризовать сколько-нибудь однозначно.

## § 7. Контекстуальные аргументы

Судьба общих теоретических утверждений, претендующих на описание реальности, как правило, не может быть решена окончательно ни эмпирическими, ни теоретическими способами обоснования. В принятии таких утверждений существенную роль играют контекстуальные аргументы.

Еще большее значение контекстуальная аргументация имеет в случае оценок и норм. Нередко вопрос о том, приемлемо ли выдвинутое оценочное или нормативное утверждение, зависит только от контекстуальных аргументов, приводимых в его поддержку. Как и в случае описательных утверждений, контекстуальные способы аргументации в поддержку оценок и норм охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.

**Аргумент к традиции.** *Аргумент к традиции* — это ссылка на ту устойчивую и оправданную временем традицию, которая стоит за рассматриваемым оценочным или нормативным утверждением. Такого рода аргумент играет первостепенную роль в моральной аргументации, при обсуждении обычаев и правил идеала, правил разнообразных игр, правил грамматики, правил ритуала, разнообразных конвенций и т. д. Даже аргументация в поддержку законов государства,

методологических и иных рекомендаций, предостережений, просьб, обещаний во многом опирается на традицию.

Особенно наглядно проявляется роль аргумента к традиции при обсуждении требований простоты и красоты научной теории. Нередко правила научного метода, касающиеся точности измерений, полноты охвата исследуемых объектов, их разнообразия, всецело опираются на традицию и не претендуют на какое-то, хотя бы поверхностное целевое обоснование.

Следующий пример участия традиции в поддержке оценок и норм относится к области коммуникации, включая и большую часть научной коммуникации. Одним из важных принципов, регулирующих отношения между *я* и *другими* в процессе коммуникации, является так называемый принцип вежливости. Этот принцип всецело принадлежит речевому этикету и требует удовлетворения следующих максим, которые распространяются не только на речевое общение, но и на другие виды межличностных отношений. Это максимы

- такта (Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его личной сферы!);
- великодушия (Не затрудняй других!);
- одобрения (Не хули других!);
- скромности (Отстраняй от себя похвалы!);
- согласия (Избегай возражений!);
- симпатии (Высказывай благожелательность!).

Принцип вежливости опирается в первую очередь на насчитывающую многие тысячелетия практику успешной коммуникации. Попытка дедуктивного обоснования данного принципа вряд ли может привести к успеху: трудно вообразить такие общие социальные требования, из которых удалось бы логически вывести рассматриваемый принцип. Целевое обоснование также едва ли будет удачным, поскольку не особенно ясны те цели, достижению которых должно способствовать соблюдение принципа вежливости. Кроме того, если даже эти цели будут указаны, трудно ожидать, что с их помощью удастся понять ту чрезвычайную гибкость, которая всегда должна сопутствовать приложению принципа вежливости.

Как подчеркивает Дж. Лич, особенность принципа вежливости в том, что не только его нарушение, но и его неумеренно усердное соблюдение вызывает дискомфорт, т. е. вежливость по своей природе асимметрична: то, что вежливо по отношению к адресату, может быть некорректным по отношению к говорящему. Например, говорящий считает вежливым сказать собеседнику приятное, слушающий же считает долгом воспитанного человека не согласиться с комплиментом<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Leech G. N. Principles of Pragmatics. London, N.-Y., 1983. Ch. 6.

Требования принципа вежливости способны поставить адресата речи в неловкое положение, между тем как говорящий не должен, следуя этим же требованиям, затруднять его, отводя ему роль экзаменуемого. «Максимы вежливости легко вступают между собой в конфликт. Такт и вежливость побуждают к отказу от любезных предложений; максима «Не возражай!» требует, чтобы предложение было принято. Если дело касается угощения, то в первом случае адресат останется голодным, а во втором станет жертвой «демяновой ухи»<sup>1</sup>. Преувеличенная вежливость ведет, как указывает Лич, к комедии бездействия, возникающей в симметричных ситуациях: не желая казаться невежливым, каждый уступает другому дорогу, и, в конце концов, оба сразу принимают уступку противной стороны.

Вряд ли есть такие общие, имеющие долгую историю требования к человеку или к обществу, из которых вытекали бы все тонкости практического применения принципа вежливости. Маловероятно, что можно выявить общие, чрезвычайно стабильные цели, необходимостью достижения которых удалось бы объяснить гибкий, требующий постоянного учета контекста принцип. Успешная аргументация в его поддержку должна опираться, скорее всего, преимущественно на традицию.

**Аргумент к авторитету.** Еще одним способом аргументации, призванной поддерживать оценочные и нормативные утверждения, является *аргумент к авторитету*. Этот аргумент необходим, хотя и недостаточен, в случае обоснования любых норм (предписаний, команд, директив, законов государства и т. п.). Он важен также при обсуждении приемлемости советов, пожеланий, методологических и иных рекомендаций, должен учитываться при оценке предостережений, просьб, обещаний, угроз и т. п. Несомненна роль авторитета и апелляции к нему едва ли не во всех практических делах.

Как уже отмечалось, необходимо проводить различие между *эпистемическим авторитетом* — авторитетом специалиста в какой-то области и *деонтическим авторитетом* — авторитетом вышестоящего лица или органа<sup>2</sup>. Обычно аргумент к авторитету, выдвигаемый в под-

<sup>1</sup> Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. С. 27.

<sup>2</sup> «Есть два вида авторитета — авторитет знатока, специалиста, называемый по-научному эпистемическим, и авторитет вышестоящего лица, начальника, называемый деонтическим. В первом случае некто является для меня авторитетом, когда я убежден, что он знает данную область лучше меня и что он говорит правду. Например, Эйнштейн для меня — эпистемический авторитет в физике, школьный учитель для своих учеников — эпистемический авторитет в географии. Некто является для меня деонтическим авторитетом, когда я убежден, что смогу достичь цели, к которой стремлюсь, только выполняя его указания. Мастер — деонтический авторитет для работников мастерской, командир отделения — для рядовых и т. д.» (Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., 1993. С. 15–16).



держку описательного утверждения, — это обращение к эпистемическому авторитету; такой же аргумент, но поддерживающий оценочное или нормативное утверждение, представляет собой обращение к деонтическому авторитету.

Деонтический авторитет подразделяется на *авторитет санкции*, который поддерживается угрозой наказания, и *авторитет солидарности*, поддерживающийся стремлением достижения поставленной общей цели. Например, за законами государства стоит авторитет санкции; за приказами руководителя научного коллектива — авторитет солидарности.

Такое подразделение авторитетов не является, конечно, жестким. Скажем, требования научного метода преследуют определенные цели, которые могут разделяться и теми, кто пользуется таким методом; распоряжения руководителя научного коллектива, опираются не только на авторитет солидарности, но и на авторитет санкции. Аргумент к авторитету только в редких случаях считается достаточным основанием для принятия оценки. Обычно он сопровождается другими, явными или подразумеваемыми, доводами, прежде всего целевым обоснованием.

В науке общепризнанные авторитеты именуются, как и в искусстве, классикой. О распространенности в научном сообществе аргумента к эпистемическому авторитету хорошо говорят научные библиотеки, которые как раз и являются прежде всего собраниями суждений таких авторитетов. Ученые часто обращаются также к обзорам трудов своих коллег по специальности. Вместе с тем в науке отношение к любой «классике» и к любым иным авторитетам всегда является критическим. Научный аргумент к авторитету обычно представляется убедительным в начальные периоды развития научной теории, когда она еще не обрела твердых эмпирических оснований и кажется погруженной в океан аномалий. В дальнейшем, однако, крепнущая научная теория стремится избавиться от аргументов к авторитетам, как и вообще от всех контекстуальных аргументов.

В отличие от других оценок, нормы всегда требуют указания того авторитета, которому они принадлежат. Это указание не является таким же элементом нормы, как ее субъект, содержание, характер и условия приложения. Оно входит в качестве необходимой составной части в предполагаемую нормой санкцию. При обсуждении нормы возникает вопрос, стоит ли за ней какой-то авторитет и правомочен ли он обязывать, разрешать или запрещать. Если авторитет отсутствует или не обладает достаточными полномочиями, нет и возможного наказания за неисполнение нормы. А это означает, что нет и самой нормы. Вопрос об авторитете, стоящем за нормой (и соответственно о поддерживающем ее аргументе к авторитету), не един-

ственный, если речь идет об аргументации в поддержку норм. Никакое обращение к авторитету, даже к религиозному, не может избавить от дальнейшего обоснования нормы.

**Аргументы к интуиции и к вере.** Существенную роль в аргументации в поддержку оценок и норм играет *аргумент к интуиции*. Еще Платон говорил об интеллектуально-интуитивном познании идей, прежде всего идеи блага как высшей ступени познания и нравственного возвышения.

В конце XIX в. английский этик Г. Сиджвик объяснял рациональный характер природы морали существованием содержательно определенных, не являющихся тавтологическими ключевых моральных принципов. Последние звучат так, что ни у кого не возникает сомнения в необходимости исполнения диктуемых ими моральных предписаний. Сами моральные принципы удовлетворяют требованиям содержательной определенности и нетавтологичности, ясности и отчетливости, интуитивной самоочевидности, универсальности и взаимной совместимости. К числу основных принципов Сиджвик относил принципы равенства или справедливости (беспристрастности в применении общих правил морали к поведению разных людей), разумного себялюбия и рациональной благожелательности. Последние два принципа регламентируют отношение человека к личному и универсальному благу. Согласно требованию разумного себялюбия, человек не должен без основания предпочитать осуществление личного блага в настоящем (не должен, так сказать, жить одним моментом). Требование благожелательности сводится к тому, что человек не должен без основания предпочитать осуществление личного блага осуществлению большего блага другого человека (не должен жить только ради себя). Поскольку эти моральные принципы самоочевидны, их познание носит интуитивный характер<sup>1</sup>.

Интуиция играет существенную роль в морали, особенно в сложных моральных ситуациях, когда мотивы действий человека и их результаты неоднозначны. Однако попытка этики свести мораль к тому, что кажется интуитивно очевидным, вряд ли способна подвести под мораль твердый фундамент. Прежде всего, те принципы, которые предлагаются в качестве исходных и самоочевидных, в действительности далеки от очевидности и сами требуют обоснования. Кроме того, из общих требований, подобных требованиям беспристрастности, разумного себялюбия, рациональной благожелательности и т. д., явно не вытекает вся сложная, дифференцированная и очень гибкая система морали. Те, кто предлагает редуцировать мораль к немногим

---

<sup>1</sup> Sidgwick H. *Methods of Ethics*. London, 1903.

самоочевидным положениям, явно переоценивают надежность и силу моральной интуиции.

Интуиция имеет важное значение при выборе *номинальных определений* и *конвенций*. Последствия, к которым со временем может привести принимаемое соглашение, как правило, не вполне ясны, многие из них заранее невозможно предвидеть. Целевое обоснование соглашения способно опереться только на самые очевидные последствия, и потому является неполным и ненадежным. Необходимым дополнением к такому обоснованию всегда служит интуиция. Во многом на интуицию опираются советы, пожелания, рекомендации и т. п.

Вера упрощенно может быть определена как состояние организма, вызывающее такое же поведение, какое вызвало бы определенное событие, если бы оно было дано в ощущении<sup>1</sup>. *Аргумент к вере* — это ссылка на это особое состояние организма, или «души», в поддержку выдвигаемого положения. Чаще всего данный аргумент не выражается явно, а только подразумевается. Он кажется убедительным для тех, кто принадлежит к той же вере, испытывает то же состояние души, но не для тех, кто придерживается иных верований.

Например, идеалом основателя социальной концепции утилитаризма («Общее благо есть наибольшее счастье наибольшего числа людей») английского философа И. Бентама, как и идеалом Эпикура, была безопасность человека, а не его свобода. Вера Бентама, что жить надо в безопасности и спокойствии, обуславливала его восхищение благожелательными самодержцами, предшествовавшими Французской революции — Екатериной Великой и императором Францем. Бентам глубоко презирал связанное с идеей свободы учение о правах человека. Права человека, говорил он, — это явная чепуха, неотъемлемые права человека — чепуха на ходулях. Декларацию прав человека, предложенную французскими революционерами, он назвал метафизическим произведением. Ее положения, говорил он, можно разделить на три класса: невразумительные, ложные и как невразумительные, так и ложные. «О войнах и штормах лучше всего читать, жить лучше в мире и спокойствии», — с этой идеей Бентама охотно согласится тот, кто, как и он, верит в безопасность и не верит в свободу и необходимость постоянной борьбы за нее.

Вера как состояние души одного человека воздействует на ум и чувства другого человека. Вера способна заражать, и эта ее заразительность иногда оказывается более убедительным аргументом, чем любое доказательство.

**Аргумент к здравому смыслу.** Вместе с аргументом к традиции *аргумент к здравому смыслу* лежит в основе почти всех практических ре-

<sup>1</sup> Рассел Б. История западной философии. М., 1993. Т. II. С. 337.

шений. На здравый смысл опираются по преимуществу и те неясные и редко формулируемые принципы, которыми человек руководствуется в своей обычной жизни. Если аргумент к здравому смыслу не так часто упоминается в практическом рассуждении, то, пожалуй, только потому, что люди склонны представлять свою обычную жизнь в большей мере подчиненной каким-то общим идеям и теоретическим соображениям, чем это есть на самом деле.

Здравый смысл действует не только в области оценок и норм, но и в сфере описаний. Он говорит как о том, какими должны быть человек и общество, так и о том, какой является природа. В частности, он лежит в основе истолкования опыта, свидетельствует о том, что имеются события, не являющиеся ничьим опытом, что со временем и пространством все меняется, что «факты — упрямая вещь» и не могут быть подтасованы, и т. д.

Вместе с тем здравый смысл является ненадежным советчиком в сфере принятия той или иной научной гипотезы или теории. Здравый смысл опирается на предшествующий опыт, суммирует его и подсказывает, что именно должно считаться ортодоксальным. Современная же наука ищет, как правило, не устоявшегося и оправдавшего себя временем, а радикально нового и даже парадоксального. Степень парадоксальности новой гипотезы или теории, уровень разрыва ее с ортодоксией нередко оказывается критерием ее приемлемости.

**Аргумент к вкусу.** В отличие от здравого смысла, вкус относится исключительно к сфере ценностей, а аргумент к вкусу — к выбору оценок. Аргумент к вкусу обычен в таких дисциплинах, как искусствоведение и эстетика. Он используется и во всех тех случаях, когда говорится о «красоте научной теории», склоняющей к принятию этой теории. Как говорил физик П. Дирак, красивая теория не может быть ложной. Но, очевидно, чтобы схватить эстетическое совершенство теории, надо обладать отточенным вкусом.

Аргумент к вкусу, как и большинство контекстуальных аргументов, обычно не является прямым, выраженным как особый довод в процессе аргументации. «Каждый развитый язык располагает рядом слов, как бы окутанных глубокой тайной рок, напасть, случай, стечение обстоятельств, предназначение. Никакая гипотеза, никакая наука не в силах вообще прикоснуться к тому, что чувствует человек, погружаясь в смысл и значение этих слов. Это символы, а не понятия. Здесь центр тяжести той картины мира, которую я назвал миром-как-историей, в отличие от мира-как-природы. Идея судьбы требует опыта жизни, а не научного опыта, силы созерцания, а не калькуляции, глубины, а не ума. Есть *органическая логика*, инстинктивная, сновидчески достоверная логика всякой жизни, в противоположность *логике неорганического*, логике понимания, понятого. Есть логика направле-

ния, противостоящая логике протяженного... Каузальность есть нечто рассудочное, законосообразное, выговариваемое вслух, признак всего нашего понимающего бодрствования. “Судьба” — это слово для не поддающейся описанию внутренней достоверности. Сущность каузального проясняется физической или теоретико-познавательной системой, числами, понятийным анализом. Идею судьбы можно сообщить, только будучи художником, — через портрет, через трагедию, через музыку. Одно требует различения, стало быть, разрушения, другое есть насквозь *творчество*. В этом кроется связь судьбы с жизнью, каузальности со смертью»<sup>1</sup>.

Шпенглеровское противопоставление идеи судьбы и принципа каузальности не оригинально, достаточно декларативно и не опирается на какие-либо ясно выраженные аргументы. Но это противопоставление запоминается благодаря той форме, в какой оно представлено.

Частным случаем аргумента к вкусу является *аргумент к моде*. Мода охватывает все области человеческой жизни и призвана отделять элиту, способную следовать требованиям моды, от всей остальной массы людей. Аргумент к моде встречается не только в сфере практических рассуждений, но и в научной среде. В последнем случае он, однако, выступает, как правило, в неявной форме. Научные теории, которые можно назвать «модными», обычно именуются «современными», «отвечающими духу времени» и т. п. И только по прошествии определенного времени оказывается, что «современность теории» была всего лишь соответствием ее требованиям моды недалекого прошлого.

Подводя итог обсуждению контекстуальной аргументации в поддержку оценок и норм, можно отметить, что в естественнонаучных теориях контекстуальные аргументы, как и поддерживаемые ими оценки и нормы, являются не более чем строительными лесами, которые снимаются после возведения здания. Несколько иначе обстоит дело в гуманитарных и социальных науках. В них от контекстуальной аргументации, включая аргументы к традиции, признанным авторитетам, здравому смыслу, никогда не удастся избавиться до конца.

---

<sup>1</sup> Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 273.

## Глава XI

# ОБЪЯСНЕНИЕ, ПРЕДСКАЗАНИЕ, ПОНИМАНИЕ

### § 1. Операция объяснения

Как уже говорилось, между научной теорией и исследуемым ею фрагментом действительности существуют отношения двоякого типа. В изучаемых ею предметных отношениях научная теория черпает свое *эмпирическое обоснование*. Движение от предметного мира к теоретическому всегда сопровождается обратным движением: от теоретического мира к предметному, именуемому *рационализированием*.

Оно находит свое выражение в двух дополняющих друг друга операциях: в *объяснении (предсказании)* и *понимании*. Изучаемые явления объясняются (предсказываются) исходя из системы теоретических представлений о них и понимаются на основе ценностей, входящих в состав теории. Операции объяснения и понимания составляют сущность процесса теоретического осмысления исследуемых объектов, подведения их под те схемы взаимных отношений, которые диктуются теорией.

Наука ставит перед собою много задач. Кроме того, собственно научные цели нередко трудно отделить от задач людей, занимающихся наукой. Но если попытаться самым общим образом ответить на вопрос о целях науки, можно сказать, что наука призвана предоставить человеку *объяснение, предсказание и понимание* окружающего его мира.

Цель, стоящая перед наукой, пишет физик С. Хокинг, «найти систему законов, которые давали бы возможность предсказывать события в пределах точности, устанавливаемой принципом неопределенности»<sup>1</sup>. Конечно, Хокинг имеет в виду только естественные науки, притом только те из них, которые входят в число наук о бытии. Только в таких науках предсказания опираются обычно (хотя и не всегда) на научные законы. Явно пропускается другая, не менее важная цель науки, в том числе и всякой естественной науки — пони-

---

<sup>1</sup> Хокинг С. Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр. СПб., 2000. С. 229.

мание происходящих в мире явлений. Через несколько страниц Хокинг уточняет свою мысль и говорит о полной, непротиворечивой единой физической теории: «... Наша цель — полное *понимание* всего происходящего вокруг нас и нашего собственного существования»<sup>1</sup>.

Операция предсказания является частным случаем операции объяснения. Предсказание представляет собой объяснение, направленной в будущее и касающееся тех объектов или событий, которые еще не наступили.

Особую ценность имеют *номологические* объяснения и предсказания, или объяснения и предсказания на основе научных законов. Как ясно из сказанного ранее, такого рода объяснения и предсказания достижимы только в *науках о бытии*, т. е. в науках, говорящих о вечном повторении одних и тех же событий, состояний и процессов и не принимающих во внимание «стрелу времени» и «настоящее». В *науках о становлении*, утверждающих постоянное изменение исследуемых ими объектов, объяснения и предсказания опираются на общие истины, не являющиеся, однако, законами природы. Особую роль среди таких истин имеют утверждения о *тенденциях развития*, в частности о тенденциях социального развития. Большая часть объяснений и предсказаний наук о становлении основывается не на общих утверждениях, а на утверждениях о причинных связях.

Ранее подробно рассматривалась *проблема обоснования* научных положений и теорий. Далее будут проанализированы две основные операции, составляющие существо процесса рационализации мира. С помощью этих операций *объяснения (предсказания)* и *понимания* теория делает мир прозрачным и понятным и тем самым рациональным.

**Структура объяснения.** Объяснение и понимание — универсальные операции мышления, взаимно дополняющие друг друга. Долгое время они противопоставлялись одна другой. Так, неопозитивизм считал объяснение если не единственной, то главной функцией науки, а философская герменевтика ограничивала сферу объяснения естественными науками и выдвигала понимание в качестве основной задачи гуманитарных наук. Сейчас становится все более ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — и естественных и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и систематизации знания, а также рационализации мира посредством науки.

Вместе с тем объяснение и понимание не являются прерогативой научного познания. Они присутствуют в каждой сфере человеческой деятельности и коммуникации. Редкий процесс аргументации обхо-

<sup>1</sup> Хокинг С. Указ. соч. С. 232.

дится без объяснения как сведения неизвестного к знакомому. Без понимания языковых выражений аргументация вообще невозможна.

Логическая структура операций объяснения и понимания не особенно ясна. Прежде всего, это касается понимания, относительно которого даже предполагается, что оно вообще лишено отчетливой, допускающей расчленение структуры и не способно быть объектом логического анализа. Далее развивается идея, согласно которой (рациональное) понимание и объяснение имеют сходную формальную структуру.

*Объяснение* — рассуждение, посылки которого являются описательными утверждениями и содержат информацию, достаточную для вывода из нее описания объясняемого явления. Объяснение представляет собой ответ на вопрос «Почему данное явление происходит?». Почему тело за первую секунду своего падения проходит путь длиной 4,9 м? Чтобы объяснить это, мы ссылаемся на закон Галилея, который в общей форме описывает поведение разнообразных тел под действием силы тяжести. Если требуется объяснить сам этот закон, мы обращаемся к общей теории гравитации И. Ньютона. Получив из нее закон Галилея в качестве логического следствия, мы тем самым объясняем его.

Имеются два типа объяснения. Первый тип представляет собой подведение объяснимого явления под известное *общее положение, функционирующее как описание*. Объяснение второго типа опирается не на общее утверждение, а на утверждение о *каузальной связи*.

**Объяснение через научный закон.** В работах, посвященных операции объяснения, под нею почти всегда понимается объяснение через общее утверждение, причем предполагается, что последнее должно быть не случайной общей истиной, а законом науки. Объяснение через закон науки, или *номологическое объяснение*, принято также называть *объяснением посредством охватывающего закона*.

Идея объяснения как подведения объясняемого явления под научный закон начала складываться еще в XIX в. Она встречается в работах Дж. С. Милля, А. Пуанкаре, Д. Дьюэма и др. Четкую формулировку номологической модели научного объяснения в современной методологии науки обычно связывают с именами К. Поппера и К. Гемпеля.

В основе этой модели лежит следующая схема рассуждения:

Для всякого объекта верно, что если он имеет свойство *S*, то он имеет свойство *P*.

Данный объект *A* имеет свойство *S*.

Следовательно, *A* имеет свойство *P*.

Например, нить, к которой подвешен груз в 2 кг, разрывается. Нам известно общее положение, которое можно считать законом: «Для каждой нити верно, что если она нагружена выше предела своей



прочности, она разрывается». Нам известно также, что данная конкретная нить нагружена выше предела ее прочности, т. е. истинно единичное утверждение «Данная нить нагружена выше предела ее прочности». Из общего утверждения, говорящего обо всех нитях, и единичного утверждения, описывающего наличную ситуацию, мы делаем вывод: «Данная нить разрывается».

Номологическая схема объяснения допускает разнообразные модификации и обобщения. В число посылок может входить несколько общих и единичных утверждений, а объясняющее рассуждение может представлять собой цепочку умозаключений. Объясняться может не только отдельное событие, но и общее утверждение, и даже теория. Гемпель предложил также вариант индуктивно-вероятностного объяснения, в котором используемое для объяснения общее положение носит вероятностно-статистический характер, а в заключении устанавливается лишь вероятность наступления объясняемого события.

Номологическое объяснение связывает объясняемое событие с другими событиями и указывает на закономерный и необходимый характер этой связи. Если используемые в объяснении законы являются истинными и условия их действия реально существуют, то объясняемое событие *должно иметь место* и является в этом смысле необходимым. Гемпель формулирует следующее «условие адекватности» номологического объяснения: любое объяснение, т. е. любой рационально приемлемый ответ на вопрос почему произошло *X*, должно дать информацию, на основании которой можно было бы уверенно считать, что событие *X* действительно имело место.

Мнение, что объяснения должны опираться только на законы (природы или общества), выражающие необходимые связи явлений, не кажется обоснованным. В объяснении могут использоваться и случайно истинные обобщения, не являющиеся законами науки. Прежде всего, наука в современном смысле этого слова, ориентированная на установление законов, начала складываться всего около трехсот лет тому назад; что касается объяснения, то оно, очевидно, столь же старо, как и само человеческое мышление.

Далее, объяснение универсально и применяется во всех сферах мышления, в то время как номологическое объяснение ограничено по преимуществу наукой. Кроме того, между необходимыми и случайными обобщениями (законами науки и общими утверждениями, не являющимися законами) нет четкой границы. Понятие закона природы, не говоря уже о понятии закона общества, вообще не имеет сколько-нибудь ясного определения. Если потребовать, чтобы в объяснении всегда присутствовал закон, то граница между объяснениями и теми дедукциями, в которых используются случайные обобщения, исчезнет.

И, наконец, общие утверждения не рождаются сразу законами науки, а постепенно становятся ими. В самом процессе утверждение научного закона существенную роль играет как раз выявление его «объяснительных» возможностей, т. е. использование общего утверждения, претендующего на статус закона, в многообразных объяснениях конкретных явлений. Последовательность «сначала закон, а затем объяснение на основе этого закона» не учитывает динамического характера познания и оставляет в стороне вопрос, откуда берутся сами научные законы.

Общие утверждения не только становятся законами, но иногда и перестают быть ими. Объяснение — фундаментальная операция мышления, и ее судьба не может ставиться в однозначную зависимость от понятия научного закона. Объяснение может быть глубоким и поверхностным. Объяснение на основе закона столь же глубоко, как и та теория, в рамках которой используемое в объяснении общее положение оказывается законом. Объяснение, опирающееся на не относящееся к науке или вообще случайное обобщение, может оказаться поверхностным, как и само это обобщение, но, тем не менее, оно должно быть признано объяснением.

Если общее положение представляет собою закон, объяснение обосновывает необходимость объясняемого явления. Если же используемое в объяснении общее положение оказывается случайным обобщением, то и заключение о наступлении объясняемого явления является случайным утверждением.

По своей структуре объяснение как выводение единичного утверждения из некоторого общего положения совпадает с косвенным подтверждением, т. е. подтверждением следствий обосновываемого общего положения. Если выведенное следствие объяснения подтверждается, то тем самым косвенно подтверждается и общее утверждение, на которое опирается объяснение. Однако «подтверждающая сила» объясняемого явления заметно выше, чем та поддержка, которую оказывает общему утверждению произвольно взятое подтвердившееся следствие. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, объяснения строятся вовсе не для всех, а только для основных, имеющих принципиальную важность для формирующейся теории фактов. Требуют объяснения также факты, кажущихся неожиданными или парадоксальными с точки зрения ранее принятых представлений, и факты, которые претендует объяснить именно данная теория и которые необъяснимы для конкурирующих с нею теорий. Операции объяснения и косвенного эмпирического подтверждения преследуют прямо противоположные цели. Объяснение включает факт в теоретическую конструкцию, делает его теоретически осмысленным и тем самым «утверждает» его как нечто не только эмпирически, но и

теоретически несомненное. Косвенное подтверждение направлено не на «утверждение» эмпирических следствий некоторого общего положения, а на «утверждение» самого этого положения путем подтверждения его следствий. Различие целей объяснения и косвенного подтверждения (объяснение мира и укрепление теории) также сказывается на «подтверждающей силе» фактов, получивших объяснение, в сравнении с фактами, служащими только для подтверждения теории. Косвенное подтверждение является одним из способов обоснования научной теории, в то время как объяснение представляет собой шаг в рационализации мира.

**Каузальное объяснение.** Общая схема каузального объяснения:

*А* является причиной *В*.

*А* имеет место.

Следовательно, *В* также имеет место.

Например: «Если поезд ускорит ход, он придет вовремя; поезд ускорил ход; значит, он придет вовремя». Это дедуктивное рассуждение, одной и посылкой которого является утверждение о зависимости своевременного прибытия поезда от ускорения его хода, другой — утверждение о реализации причины. В заключении говорится, что следствие также будет иметь место.

Далеко не все объяснения, которые предлагает наука, являются объяснениями на основе уже известного научного закона. Наука постоянно расширяет область исследуемых объектов и их связей. На первых порах изучения новых объектов речь идет не столько об открытии тех универсальных законов природы или общества, действие которых распространяется на эти объекты, сколько об обнаружении тех причинно-следственных связей, в которых данные объекты находятся с другими объектами.

Нет никаких оснований утверждать, что каждая научная дисциплина, независимо от ее своеобразия и уровня развития, дает исключительно объяснения, опирающиеся на законы. История, лингвистика, психология, политология не устанавливают, как можно думать, никаких законов; социология, экономическая наука если и формулируют какие-то обобщения, то явно отличные от естественнонаучных законов. Вместе с тем очевидно, что все указанные науки способны давать причинные объяснения исследуемых ими явлений.

## § 2. Предсказание

*Предсказание* — выводение описания нового явления из установленного общего описательного положения и начальных условий. Схема предсказания на основе общего описательного утверждения

та же, что и схема объяснения: из общего утверждения (желательно закона природы или общества) выводится частное или единичное утверждение о предсказываемом явлении.

Предсказание и объяснение различаются лишь своей временной направленностью: объяснение направлено к прошлому, предсказание — к будущему. При объяснении объясняемое явление уже известно, для него подбирается то общее положение, на которое может опереться объяснение. При предсказании сначала устанавливается общее положение, из него выводится описание предсказываемого явления и ищется его подтверждение.

Всякое объяснение потенциально представляет собой предсказание (предсказание, направленное в прошлое, или ретросказание), а каждое предсказание дает объяснение предсказанным событиям. Предсказание, в сущности, отличается от объяснения только тем, что речь идет о неизвестном еще факте. Против «симметрии» объяснения и предсказания выдвигались многие возражения, но ни одно из них нельзя признать убедительным.

Предсказание играют особую роль в подтверждении и укреплении научной теории. Если прогресс науки является непрерывным и ее рациональность не уменьшается, говорит К. Поппер, то нам нужны не только успешные опровержения, но также и позитивные успехи. Это означает, что мы должны достаточно часто создавать теории, из которых вытекают новые предсказания, в частности, предсказания новых результатов, и новые проверяемые следствия, о которых никогда не думали раньше.

Предсказания, подтверждение которых сыграло особую роль в судьбе предложивших их теорий, можно упомянуть предсказание общей теории относительности А. Эйнштейна того, что при определенных условиях движение планет должно отклоняться от законов И. Кеплера, и ее предсказание, что свет, несмотря на свою нулевую массу, подвержен гравитационному притяжению. Хорошим примером того, как серия успешных, можно сказать, блестящих, предсказаний привела к быстрому утверждению теории, является теория атома Н. Бора (предсказание этой теорией размера атома водорода, величины константы Ридберга и др.).

### § 3. Операция понимания

Проблема понимания долгое время рассматривалась в рамках *экзегетики* (от греч. *hegesis* — толкование), занимавшейся толкованием древних, особенно религиозных (библейских), текстов. В XIX в. благодаря усилиям прежде всего В. Шлейермахера и В. Дильтея

начала складываться более общая теория истолкования и понимания — герменевтика (от греч. *hermeneutike (techne)* — истолковательное (искусство)).

До сих пор распространена точка зрения, согласно которой пониматься может только текст, наделенный определенным смыслом: понять означает раскрыть смысл, вложенный в текст его автором. Однако очевидно, что это очень узкий подход. Мы говорим не только о понимании написанного или сказанного, но и о понимании действий человека, его переживаний. Понятными или непонятными, требующими размышления и истолкования могут быть поступки как наши собственные, так и других людей. Пониматься может и неживая природа: в числе ее явлений всегда есть не совсем понятные для современной науки, а то и просто непонятные для нее. Не случайно физик П. Ланжевэн утверждал, что «понимание ценнее знания», а другой физик — В. Гейзенберг считал, что А. Эйнштейн не понимал процессов, описываемых квантовой механикой, и так и не сумел их понять<sup>1</sup>.

Идея, что пониматься может только текст, будучи приложена к пониманию природы, ведет к неясным рассуждениям о «книге бытия», которая должна «читаться» и «пониматься», подобно другим текстам. Но кто же автор этой книги? Кем вложен в нее скрытый, не сразу улавливаемый смысл, истолковать и понять который призвана естественная наука? Поскольку у «книги природы» нет ни автора, ни зашифрованного им смысла, «понимание» и «толкование» этой книги — только иносказание. А если пониматься может лишь смысл текста, естественнонаучное понимание оказывается пониманием в некотором переносном, метафорическом значении.

Понимание — универсальная операция. Как и объяснение, оно присутствует во всех науках — и естественных, и гуманитарных. Но понимание разных вещей — природных и духовных — имеет разную ценность для человека. Понимание неразрывно связано с ценностями и выражающими их оценками. Если объяснение — это подведение под истину, то понимание представляет собой подведение под ценность. Объяснение предполагает выведение объясняемого явления из имеющихся общих истин или из истинного каузального утверждения. Понимание означает подведение интересующего нас явления под некоторую оценку. Это означает, что объяснение, как и всякое описание, говорит о том, что *есть*, а понимание, подобно всякой оценке, — говорит о том, что *должно быть*.

---

<sup>1</sup> Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. М., 1980. С. 82.

О неразрывной связи понимания и ценностей писал еще В. Дильтей<sup>1</sup>. М. М. Бахтин пишет: «Понимание и оценка. Безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку: они одновременны и составляют единый целостный акт. Понимающий подходит к произведению со своим уже сложившимся мировоззрением, со своей точкой зрения, со своими позициями. Эти позиции в известной мере определяют его оценку, на сами при этом не остаются неизменными: они подвергаются воздействию произведения, которое всегда вносит нечто новое. Только при догматической инертности позиции ничего нового в произведении не раскрывается (догматик остается при том, что у него уже было, он не может обогатиться). Понимающий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих уже готовых точек зрения или позиций. В акте понимания происходит борьба, в результате которой происходит взаимное изменение и обогащение»<sup>2</sup>. «Точки зрения» и «позиции», упоминаемые здесь, — это общие оценки, используемые в процессе понимания произведения; сами эти оценки могут изменяться под воздействием произведения.

Хотя идея о связи понимания с ценностями имеет довольно долгую историю, детально эта идея пока что не была разработана. Нужно отметить, что слово «понимание» многозначно. Под ним может, в частности, иметься в виду как понятийное, так и интуитивное понимание. Понятийное, или рациональное, понимание представляет собой результат более или менее отчетливого рассуждения и является умозаключением. К интуитивным, или «нерассудочным», формам понимания относятся, в частности, *непосредственное схватывание* некоторого единства и *эмоциональное (чувственное) понимание*, с такой его разновидностью, как *эмпатия*. Все формы понимания предполагают ценности, но не всякое понимание является результатом рассуждения.

Далее предпринимается попытка выделить основные типы понимания и проанализировать их логическое строение. Речь пойдет только о понимании, представляющем собой некоторое рассуждение. Интуитивное понимание обычно при постановке сложного медицинского диагноза, при принятии решений на поле сражения, в случае переживания чувства симпатии или антипатии в отношении другого человека и т. п. Такое понимание, как и всякое интуитивное озарение, не допускает расчленения на шаги, ведущие к конечному выводу.

<sup>1</sup> Diltthey W. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924. Bd. 5. S. 317.

<sup>2</sup> Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 327.

Распространенное представление, будто понимание не имеет никакой отчетливой структуры, опирается, можно думать, на неявное убеждение, что всякое понимание — это интуитивное понимание. Здесь нет необходимости останавливаться на критике данного ошибочного представления. Дальнейшее изложение покажет, что в подавляющем большинстве случаев понимание представляет собой не непосредственное схватывание, а некоторое рассуждение. В таком рассуждении могут быть выделены посылки и заключение и установлен характер их связи между собой.

**Логическая структура понимания.** Двум разновидностям объяснения соответствуют два вида понимания: 1) понимание как подведение под общую оценку; 2) целевое понимание, опирающееся не на общую оценку, а на каузальное утверждение, истолкованное как утверждение о некоторой цели и средствах ее достижения. Понимание первого вида является дедуктивным умозаключением и его можно назвать *сильным*. Понимание второго вида представляет собой правдоподобное умозаключение и может быть названо *слабым*.

Простой пример сильного понимания:

Трагедия должна вызывать катарсис.

Пьеса Шекспира «Гамлет» является трагедией.

Следовательно, «Гамлет» должен вызывать катарсис.

Общая форма сильного понимания:

Всякое *A* должно быть *B*.

Всякое *C* есть *A*.

Значит, всякое *C* должно быть *B*. Это дедуктивное умозаключение, одной из посылок которого является общая оценка, а другой — утверждение о начальных условиях. В заключении общее предписание распространяется на частный случай и тем самым достигается понимание того, почему конкретный объект должен иметь определенные свойства.

Это рассуждение можно переформулировать с «хорошо» вместо «должно быть». Нужно отметить, однако, что в обычном языке в оценках гораздо чаще используется именно «должно быть», а не специальные оценочные термины («хорошо», «плохо», «безразлично»; «лучше», «хуже», «равноценно»).

Общая форма слабого понимания:

*A* — причина *B*.

*B* — позитивно ценно.

Значит, *A* также является, вероятно, позитивно ценным.

Разновидностью этой формы является часто используемая форма:

Не-*A* есть причина не-*B*.

*B* — позитивно ценно.

По всей вероятности, *A* также является позитивно ценным.

Проиллюстрируем данные схемы понимания несколькими элементарными примерами:

Если в доме протопить печь, в доме будет тепло.

В доме должно быть тепло.

Значит, нужно, вероятно, протопить печь.

Первая посылка говорит о средстве, необходимом для получения определенного результата. Вторая посылка является оценочным утверждением, представляющим этот результат как цель и превращающим связь «причина—следствие» в связь «цель—средство». В заключении говорится о том действии, которое должно быть осуществлено для достижения поставленной цели.

Если человек не побежит, он не успеет на поезд.

Человек хочет успеть на поезд.

Значит, он должен, по всей вероятности, бежать.

Таким образом, различие между объяснением и пониманием не в их строении, а в характере, или, как говорят в логике, в модусе, принимаемых посылок. В случае объяснения его посылки — это описательные утверждения, являющиеся, подобно всем описаниям, истинными или ложными; одна из посылок должна быть общим утверждением или утверждением о каузальной связи. При понимании, по меньшей мере, одна из посылок является утверждением, говорящим не о том, что есть, а о том, что должно быть, т.е. представляет собой оценку; заключение акта понимания всегда является высказыванием о том, что должно иметь место.

Вместе с тем параллель между объяснением и пониманием не является полной. Существует каузальное объяснение, представляющее собой дедуктивное рассуждение, но нет дедуктивного каузального (целевого) понимания.

Как уже отмечалось, при теоретическом (номологическом) объяснении заключение является необходимым. Объясняемое явление подводится под закон природы, что сообщает этому явлению статус физически (онтологически) необходимого. Придание такого статуса К. Гемпель считал общим условием адекватности объяснения: объяснение должно содержать информацию, позволяющую утверждать, что объясняемое явление действительно имеет место.

При понимании заключение не является физически необходимым, но оно *аксиологически необходимо*, поскольку приписывает позитивную ценность действию, о котором говорится в заключении. Различие между физической необходимостью и аксиологической необходимостью существенно. Если какое-то явление или действие физически необходимо, то оно имеет место; но из того, что какое-то явление или действие аксиологически необходимо (позитивно ценно), не вытекает, что это явление или действие на самом деле реализуется.



**Понимание на основе общих оценок.** Если объяснить — значит вывести из имеющихся истин, то понять — значит вывести из принятых ценностей. Такая трактовка соотношения объяснения и понимания может показаться непривычной, полезно, поэтому остановиться более детально на конкретных примерах понимания. Речь пойдет, прежде всего, о примерах понимания на основе общих оценок. Так называемое целевое понимание человеческого поведения не вызывает в общем-то вопросов. Можно лишь подчеркнуть, что и оно всегда опирается на оценку и не является, таким образом, исключением из общего принципа неразрывной связи понимания с ценностями<sup>1</sup>.

Если объяснить — значит вывести из имеющихся истин, то понять — значит вывести из принятых ценностей. Несколько элементарных примеров понимания прояснят его структуру:

Всякий ученый должен быть критичным.

Галилей — ученый.

Значит, Галилей должен быть критичным.

Первая посылка данного умозаключения представляет собой общую оценку, распространяющую требование критичности на каждого ученого. Вторая посылка — описательное высказывание, аналогичная посылке объяснения, устанавливающей «начальные условия». Заключение является оценкой, распространяющей общее правило на конкретного индивида.

Это рассуждение можно переформулировать так, чтобы общая оценка включала не «должно быть», а оборот «хорошо, что», обычный для оценок:

Хорошо, что всякий ученый критичен.

Галилей — ученый.

Следовательно, хорошо, что Галилей критичен.

Следующий пример относится к пониманию неживой природы:

На стационарной орбите электрон не должен излучать.

Электрон атома водорода находится на стационарной орбите.

Значит, электрон атома водорода не должен излучать.

Понимание представляет собой оценку на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа и т. п.

Как в обычных, так и в научных рассуждениях «чистые» описания и «чистые» оценки довольно редки. Столь же редки опирающиеся на них «чистые» объяснения и «чистые» оправдания. Одно и то же рассуждение чаще всего можно истолковать и как объяснение, и как оправдание.

---

<sup>1</sup> Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997; *Он же*. Риторика. М., 2002; *Он же*. Аксиология. М., 2004; *Он же*. Логика абсолютных и сравнительных оценок. М., 2004.

Например, рассуждение:

Всякая наука опирается на опыт.

Социальная философия — наука.

Значит, социальная философия опирается на опыт.

В зависимости от того, какой смысл придается в конкретном случае посылке «Всякая наука опирается на опыт», это рассуждение может оказаться и оправданием («Всякая наука должна опираться на опыт; социальная философия — наука; значит, социальная философия должна опираться на опыт»), и объяснением («Наука, как правило, опирается на опыт; социальная философия является наукой; следовательно, социальная философия, скорее всего, опирается на опыт»).

Дедуктивный характер объяснения и понимания не всегда нагляден и очевиден, поскольку наши обычные дедукции являются до предела сокращенными. Например, мы видим плачущего ребенка и говорим: «Он упал и ударился». Это дедуктивное объяснение, но, как обычно, крайне сокращенное. Видя идущего ночью навстречу нам по улице человека, мы отмечаем: «Обычный прохожий». И в этом качестве он понятен для нас. Но за простой как будто констатацией стоит целое рассуждение, результат которого — оценка: «Этот человек таков, каким должен быть стандартный прохожий».

Всякое слово, обозначающее объекты и явления, достаточно тесно связанные с жизнью и деятельностью человека, сопряжено с определенным стандартом, или образцом, известным каждому, кто употребляет это слово. Языковые образцы функционируют почти автоматически, так что рассуждение, подводящее рассматриваемое явление под образец, скрадывается, и понимание этого явления в свете образца кажется не результатом дедуктивного рассуждения, а неким внерефлексивным «схватыванием». Понимание, как и объяснение, обыденно и массовидно, и только свернутый характер этих операций внушает обманчивое впечатление, что они редки и являются результатом специальной деятельности, требующей особых знаний и способностей<sup>1</sup>.

## § 4. Понимание человеческой деятельности

Имеются три типичных области понимания: понимание действий человека, его поведения и характера; понимание природы; понимание языковых выражений («текста»). Можно предположить, что именно

---

<sup>1</sup> Иное истолкование операций объяснения и понимания дается А. Л. Никифоровым в работе «Философия науки: история и методология» (М., 1998. Гл. IV–VI).

*понимание человеческой деятельности* является парадигмой, или образцом, понимания вообще, поскольку именно в понимании человеческого поведения ценности, играющие центральную роль во всяком понимании, обнаруживают себя наиболее явно и недвусмысленно.

Рассмотрим более подробно сильное понимание, поскольку именно оно является параллелью стандартной модели номологического объяснения. Сильное понимание опирается на некоторый общий стандарт и распространяет его на частный или конкретный случай. Хорошие примеры сильного понимания человеческих мыслей и действий, дает художественная литература. Эти примеры отчетливо говорят, что понятное в жизни человека — это привычное, соответствующее принятому правилу или традиции.

В романе «Луна и грош» С. Моэм сравнивает две биографии художника, одна из которых написана его сыном-священником, а другая неким историком. Сын «нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд “интерпретировал” все факты из жизни отца, “не устраивающие” почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии». Историк же, «умевший безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий», подошел к той же теме совсем по-другому: “Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя”»<sup>1</sup>.

Этот пример хорошо иллюстрирует предпосылочность всякого понимания, его зависимость не только от интерпретируемого материала, но и от позиции интерпретатора. Однако важнее другой вывод, который следует из приведенного примера: поведение становится понятным, если удастся убедительно подвести его под некоторый общий принцип или образец, т. е. под общую оценку. В одной биографии образцом служит распространенное представление о «заботливом, трудолюбивом, глубоко нравственном человеке», каким якобы должен быть выдающийся художник, в другой — вера, что «человеческая натура насквозь порочна», и это особенно заметно, когда речь идет о неординарном человеке. Оба эти образца, возможно, никуда не годятся. Но если один из них принимается интерпретатором и ему удастся подвести поведение своего героя под избранную общую ценность, оно становится понятным как для интерпретатора, так и для тех, кто соглашается с предложенным образцом.

<sup>1</sup> Моэм С. Луна и грош. Театр. Рассказы. М., 1983. С. 8–10.

О том, что понятное — это отвечающее принятому правилу, а потому правильное и в определенном смысле ожидаемое, хорошо говорит Д. Данин в «Человеке вертикали». Сознание человека забито привычными представлениями, как следует и как не следует вести себя в заданных обстоятельствах. «Эти представления вырабатывались статистически. Постепенно наиболее вероятное в поведении стало казаться нормой. Обязательной. А порою и единственно возможной. Это не заповеди нравственности. Это не со скрижалей Моисея. И не из Нагорной проповеди Христа. Это не десять, не сто, а тысячи заповедей общежития (мой руки перед едой). И физиологии (от неожиданности не вздрагивай). И психологии (по пустякам не огорчайся). И народной мудрости (семь раз отмерь). И здравого смысла (не питай иллюзий)... В этой неписанной системе правильного, а главное — понятного поведения всегда есть заранее ожидаемое соответствие между внутренним состоянием человека и его физическими действиями»<sup>1</sup>.

В характеристике Данина понятного как правильного и ожидаемого интересен также такой момент. Предпосылкой понимания внутренней жизни индивида является не только существование образцов для ее оценки, но и наличие определенных стандартов проявления этой жизни вовне, в физическом, доступном восприятию действии. Таким образом, понимание поведения можно охарактеризовать как его оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила.

Целевое понимание поведения предполагает раскрытие связи между мотивами (целями, ценностями), которыми руководствуется человек, и его поступками. В этом смысле понять поведение индивида — значит указать ту цель, которую он преследовал и надеялся реализовать, совершая конкретный поступок. Например, мы видим бегущего человека и пытаемся понять, почему он бежит. Для этого надо уяснить цель, которую он преследует: он хочет, допустим, успеть на поезд, и поэтому бежит.

Логической формой элементарного акта целевого понимания поведения является так называемый практический силлогизм (вывод):

*N* намеревается (желает, стремится) получить *A*.

Для получения *A* нужно совершить действие *B*.

Следовательно, *N* должен совершить действие *B*.

Первая посылка фиксирует цель, которую ставит перед собой действующий субъект. Вторая посылка описывает его представления о средствах, необходимых для достижения цели. В заключении предписывается то конкретное действие, которое субъект должен совершить.

---

<sup>1</sup> Данин Д. Человек вертикали. Повествование о Нильсе Боре // Избранное. М., 1984. С. 107.

В терминах логики оценок эту схему рассуждения можно упрощенно представить так:

Позитивно ценно *B*.

Средством для достижения *A* является действие *B*.

Следовательно, позитивно ценно (должно быть сделано) *B*.

Например: *N* хочет, чтобы окно было открыто. Если *N* не выполняет определенное действие, окно не будет открыто. *N* должен выполнить действие «открывание окна».

## § 5. Понимание в истории

Наука история является, пожалуй, самым убедительным примером того, что цель науки не только объяснение изучаемых явлений, но и их понимание. В общем случае можно сказать, что все науки об обществе и человеке являются наглядной иллюстрацией того, что они стремятся не только объяснить какие-то события и процессы, но и понять их. Не случайно среди многообразных направлений современной социологии существует так называемая «понимающая социология»; есть ветвь психологии, именуемая «понимающей психологией», и т. д.

Важность проблемы понимания можно проиллюстрировать на примере социальной философии. Существуют два диаметрально противоположных подхода к изучению общества. При подходе, который можно назвать *внешним*, социальные явления рассматриваются так же, как исследуются звезды, химические вещества и другие объекты естественных наук, говорящих о бытии. Данные явления оказываются при этом *внешними* по отношению к индивидам, *принудительными* и *объективными*. Иной, *внутренний*, подход учитывает, что общество складывается из индивидов, обладающих сознанием и действующих на основе имеющихся у них идей. Сознательное действие оказывается изначальным объектом социального исследования, поступки людей — основой понимания генезиса и причин социальных событий.

При внешнем подходе сохраняется надежда на открытие универсальных законов социального изменения, подобных законам ньютоновской физики или дарвиновской биологии. Внутренний подход внушает веру в то, что человек, создавший общество и цивилизацию, в состоянии менять их по собственному усмотрению, чтобы они полнее соответствовали его устремлениям.

И внешний и внутренний подходы к изучению социальной реальности не учитывают своеобразия человеческой деятельности. Человек, несомненно, отличается от природных объектов тем, что обладает сознанием и планирует свою деятельность. Однако сознательные

действия людей обычно приводят к неожиданным, незапланированным последствиям. В частности, такие основополагающие социальные институты, как язык, мораль, деньги, государство, рынок, возникли ненамеренным образом, помимо человеческих проектов, придуманных и затем воплощенных в жизнь.

Реалистическая социальная философия должна, таким образом, избегать крайностей и внешнего и внутреннего подходов к обществу. Объяснение (в частности причинное) социальных явлений на базе общих описаний должно органично сочетаться с пониманием явлений на основе существующих в обществе ценностей.

Социальная философия обязана говорить не только о том, что имеет место в жизни общества, но и о том, что должно быть. Теоретическое исследование социальной действительности возможно лишь в том виде, в каком она предстает, пройдя через фильтр оценочных суждений. Человеческая деятельность невозможна без оценок и норм. Философия, изучающая общество и человека и имеющая своей конечной целью рационализацию человеческой деятельности, всегда постулирует явные или, что бывает чаще, неявные ценности. Связанные с ними оценки лежат в основе понимания социальных явлений.

Гемпель настаивал на том, что всякое подлинно научное объяснение должно опираться на научный закон и что объяснение через закон (номологическое объяснение) универсально. Сходную идею высказывали и другие неопозитивисты. В частности, Р. Карнап писал: «Никакое объяснение, т. е. ничто, заслуживающее почетного титула “объяснение”, не может быть дано без обращения по крайней мере к одному закону... Важно подчеркнуть этот пункт, потому что философы часто утверждают, что они могут объяснить некоторые факты в истории, природе или человеческой жизни каким-то другим способом»<sup>1</sup>.

Идея, что всякое объяснение является объяснением через закон, заставляет отбросить как объяснения на основе случайных общих истин, так и каузальные объяснения. Можно думать, что, по меньшей мере, некоторые гуманитарные дисциплины, в частности история и психология, не устанавливают никаких (онтологически необходимых) законов. Это означает, что такие дисциплины вообще не могут содержать никаких объяснений, опирающихся на научные законы. Цель всякой науки — объяснение. Гуманитарные дисциплины, не способные давать объяснения изучаемых явлений, следует, по всей вероятности, исключить из числа наук.

Стремясь преодолеть это затруднение, У. Дрей попытался показать, что объяснения все-таки используются в истории, но объяснения несколько необычного типа, названные им «рациональные

<sup>1</sup> Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 43.

объяснения».<sup>1</sup> В реальных исторических объяснениях, говорит Дрей, почти не прибегают к помощи законов. При объяснении поступков исторической личности историк старается вскрыть те мотивы, которыми она руководствовалась в своей деятельности и показать, что в свете этих мотивов поступок был разумным (рациональным).

Дрей так описывает схему «рационального объяснения», противопоставляемую номологическому объяснению.

В ситуации *С* следовало сделать *Х*.

Деятель *А* находился в ситуации типа *С*.

Поэтому деятель *А* должен был сделать *Х*.

На самом деле это схема не объяснения, а понимания. Первая посылка является не общим описательным утверждением, что требуется для объяснения, а общей оценкой («оценочным принципом действия», в терминологии Гемпеля), как в случае всякого понимания. Вторая посылка представляет собой фактическое утверждение, фиксирующее начальные условия. Заключение является оценкой, распространяющей общий принцип на частный случай и логически вытекающей из принятых посылок.

Возражая Дрею, Гемпель реконструировал его схему следующим образом:

Деятель *А* находился в ситуации типа *С*.

В ситуации типа *С* следовало сделать *Х*.

Поэтому деятель *А* сделал *Х*.

Здесь заключение является уже не оценкой, а описанием, и оно логически не вытекает из посылок, одна из которых представляет собой оценку. Предлагаемая Гемпелем схема — это схема логически некорректного рассуждения, не имеющая ничего общего ни с объяснением, ни с пониманием.

Гемпель предлагал также такую схему «исторического объяснения»:

Деятель *А* находился в ситуации типа *С*.

В то время он был рационально действующим субъектом.

Любой рациональный субъект в ситуациях данного типа обязательно (или же с высокой вероятностью) делает *Х*.

Следовательно, *А* сделал *Х*.

По мысли Гемпеля, это рассуждение представляет собой обычное объяснение с помощью «охватывающего закона»<sup>2</sup>. Нетрудно заметить, однако, что схема Гемпеля является откровенно двусмыс-

---

<sup>1</sup> Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. М., 1977. С. 41–43.

<sup>2</sup> Гемпель К. Мотивы и охватывающие законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. М., 1977. С. 78.

ленной. Именуемое законом утверждение «Любой рациональный субъект в ситуациях типа *С* обязательно (или же с высокой вероятностью) делает *Х*» может истолковываться и как оценка, и как описание. В случае оценочной интерпретации это утверждение выражает определенное требование к «разумным» субъектам: в ситуациях типа *С* они должны всегда или же в большинстве случаев делать *Х*. Описательная интерпретация «закона» является гораздо менее естественной, поскольку в нем речь идет о «рациональных субъектах», которые «обязательно делают» что-то.

Таким образом, гемпелевская схема может истолковываться и как понимание, и как объяснение. Но «объясняющая сила» описательных утверждений типа «Многие субъекты в ситуациях типа *С* делают *Х*», конечно, ничтожна.

Объяснение включает описательные посылки и его заключение является описанием. Посылки операции понимания всегда включают, по меньшей мере, одну оценку и ее заключение представляет собой оценку. В обычном языке граница между описательными и оценочными утверждениями не является четкой. Нередки случаи, когда одно и то же предложение способно в одних ситуациях выражать описание, а в других — оценку<sup>1</sup>. Поэтому неудивительно, что разграничение объяснения и понимания не всегда является простым делом.

Рассматривая творчество З. Фрейда в контексте его эпохи, К. Юнг пишет: «Если... соотносить учение Фрейда с прошлым и видеть в нем одного из выразителей неприятия нарождающимся новым веком своего предшественника, века девятнадцатого, с его склонностью к иллюзиям и лицемерию, с его полуправдами и фальшью высокопарного изъяснения чувств, с его пошлой моралью и надуманной постной религиозностью, с его жалкими вкусами, то, на мой взгляд, можно получить о нем гораздо более точное представление, нежели, поддаваясь известному автоматизму суждения, принимать его за провозвестника новых путей и истин. Фрейд — великий разрушитель, разбивающий оковы прошлого. Он освобождает от тлетворного влияния прогнившего мира старых привязанностей»<sup>2</sup>.

В истолковании Юнга Фрейд прежде всего бунтарь и ниспровергатель, живший в период крушения ценностей уходящей в прошлое викторианской эпохи. Основное содержание учения Фрейда не новые идеи, направленные в будущее, а разрушение морали и устоев, особенно сексуальных устоев, викторианского общества. Если бы выделяемые Юнгом особенности индивидуального характера Фрейда

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Теория аргументации. М., 2000. Гл. 6.

<sup>2</sup> *Юнг К.* Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 58.



и главные черты предшествовавшей эпохи были описанием, предлагаемый Юнгом, анализ можно было бы считать объяснением особенностей творчества Фрейда. Но утверждения Юнга могут истолковываться и как оценки характера и эпохи, достаточно распространенные, может даже показаться — общепринятые, но, тем не менее, именно оценки, а не описания. Можно быть уверенным, что, скажем, через сто лет XIX в. будет оцениваться совершенно иначе, точно так же, как по-другому будет оцениваться направленность творчества Фрейда. Если речь идет об оценках, то анализ Юнга является уже не объяснением, а оправданием творчества Фрейда, призванным дать понимание этого творчества. Вряд ли между этими двумя возможными истолкованиями суждений Юнга можно сделать твердый и обоснованный выбор.

## § 6. Понимание природы

Если в гуманитарном знании процедуры истолкования и понимания обычны, то в естественных науках они кажутся по меньшей мере редкими. По поводу идеи «истолкования природы», ставшей популярной благодаря Ф. Бэкону, В. Дильтей ясно и недвусмысленно сказал: «Понимание природы — *interpretationaturae* — это образное выражение»<sup>1</sup>.

Иного мнения о понимании природы придерживаются ученые, изучающие ее. Одна из глав книги В. Гейзенберга «Часть и целое» симптоматично называется «Понятие понимания в современной физике (1920—1922)». «Позитивисты, конечно, скажут, что понимание равносильно умению заранее рассчитать. Если можно заранее рассчитать лишь весьма специфические события, значит, мы поняли лишь некую небольшую область; если же имеется возможность заранее рассчитать многие и различные события, то это значит, что мы достигли понимания более обширных сфер. Существует непрерывная шкала переходов от понимания очень немногoго к пониманию всего, однако качественного отличия между способностью заранее рассчитать и пониманием не существует»<sup>2</sup>.

«Умение рассчитать» — это способность сделать точное количественное предсказание. Предсказание есть объяснение, направленное в будущее, на новые, еще неизвестные объекты. Таким образом, сведение понимания к «умению рассчитать» является редукцией понимания к объяснению.

<sup>1</sup> Dilthey W. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1924. S. 324.

<sup>2</sup> Гейзенберг В. Часть и целое. С. 127—128.

Гейзенберг приводит простой пример, доказывающий неправоту такой редукции. «Когда мы видим в небе самолет, то можем с известной степенью достоверности заранее рассчитать, где он будет через секунду. Сначала мы просто продлим его траекторию по прямой линии, или же, если мы успели заметить, что самолет описывает кривую, то учтем и кривизну. Таким образом, в большинстве случаев мы успешно справимся с задачей. Однако траекторию мы все же еще не поняли. Лишь когда мы сначала поговорим с пилотом и получим от него объяснение относительно намечаемого полета, мы действительно поймем траекторию»<sup>1</sup>.

О расхождении объяснения и понимания можно говорить не только относительно взаимодействия природы и человека, но и применительно к самой природе, рассматриваемой вне контекста целей и намерений человека. Но по поводу вопроса, понял ли он эйнштейновскую теорию относительности, Гейзенберг, и частности, говорит: «Я был в состоянии ответить лишь, что я этого не знаю, поскольку мне не ясно, что, собственно, означает слово “понимание” в естествознании. Математический остов теории относительности не представляет для меня трудностей, но при всем том я, по-видимому, так еще и не понял, почему движущийся наблюдатель под словом «время» имеет в виду нечто иное, чем покоящийся. Эта путаница с понятием времени остается мне чуждой и пока еще невразумительной... У меня такое ощущение, что я в известном смысле обманут логикой, с какой действует этот математический каркас»<sup>2</sup>. Гейзенберг обосновывает свое сомнение в возможности отождествлять предварительную вычислимость с пониманием несколькими примерами из истории науки.

Древнегреческий астроном Аристарх уже допускал возможность того, что Солнце находится в центре нашей планетной системы. Однако эта мысль была отвергнута Гиппархом и забыта, так что Птолемей исходил из центрального положения Земли, рассматривая траектории планет в виде нескольких находящихся друг над другом кругов, циклов и эпициклов. При таких представлениях он умел очень точно вычислять заранее солнечное и лунные затмения, поэтому его учение в течение полутора тысяч лет расценивалось как надежная основа астрономии. Но действительно ли Птолемей понимал планетную систему? Разве не Ньютон, знавший закон инерции и применивший концепцию силы как причины изменения скорости движения, впервые действительно объяснил движение планет через тяготение? Разве не он первый понял это движение?

<sup>1</sup> Гейзенберг В. Указ. соч. С. 128.

<sup>2</sup> Там же. С. 50–51.

Когда в конце XVIII в. были полнее изучены электрические явления, осуществлялись весьма точные расчеты электростатических сил между заряженными телами. В качестве носителей этих сил выступали тела, как и в ньютоновской механике. Но лишь после того, как Фарадей видоизменил вопрос и поставил проблему силового поля, т. е. разделения сил в пространстве и времени, он нашел основу для понимания электромагнитных явлений, которые затем Максвелл сформулировал математически.

Понимание природы — это оценка ее явлений с точки зрения того, что *должно* в ней происходить, т. е. с позиции устоявшихся, хорошо обоснованных, опирающихся на прошлый опыт представлений о «нормальном», или «естественном», ходе вещей. Понять какое-то природное явление — значит подвести его под стандартное представление о том, что происходит в природе.

Проблема понимания встает в естествознании только в моменты его кризиса, когда разрушаются существующие стандарты оценки изучаемых природных явлений. Допустим, что какая-то область явлений описывается одной, в достаточной мере подтвержденной и хорошо вписывающейся в существующую систему знания теорией; следовательно, данная теория определяет и то, что происходит в рассматриваемой области, и то, что должно в ней происходить в обычных условиях. Теория и описывает, и предписывает естественный ход событий. Дескриптивная и прескриптивная интерпретации основных положений теории (ее законов) не различаются, объяснение и понимание, опирающиеся на эти законы, совпадают. Как только в рассматриваемой области обнаруживаются аномальные с точки зрения теории явления, даваемые ею объяснения и понимания начинают расходиться. Когда возникает конкурирующая теория, относящаяся к той же области, расхождение объяснения и понимания становится очевидным, поскольку «расщепляется» представление о естественном и, значит, единственном ходе вещей. Возникает возможность объяснения без понимания и понимания без объяснения.

Понятие естественного хода событий является ключевым в проблеме понимания природы, и пока оно столь же неясно, как и понятие понимания природы. «Любая физическая теория говорит нам, какое индивидуальное частное поведение физических сущностей или систем она считает “естественным” при отсутствии каких-либо видов *возмущающих* влияний, которые она рассматривает. Одновременно с этим точно определяются влияния или причины, которые рассматриваются в этой теории как ответственные за какое-либо отклонение от того поведения, которое предполагается «естественным». Однако, когда такие отклонения наблюдаются, а теория не может сказать, какими возмущениями они вызваны, то в таком случае ее предположе-

ния относительно характера “естественного”, или невозмущаемого, поведения становятся сомнительными<sup>1</sup>.

Теория постоянно стремится к тому, чтобы предписываемый ею естественный ход событий совпадал в известных пределах с реальным их ходом, чтобы «должен» не отрывалось от «есть», а понимание, достигаемое на основе прескриптивно интерпретированных законов теории, соответствовало тем объяснениям, которые строятся на основе этих же законов, истолкованных дескриптивно. Если намечается существенное расхождение «естественного порядка» и реального хода событий, теория должна быть способна указать те возмущающие причины, которые искажают реальный ход событий, несут ответственность за отклонение его от «естественного порядка».

Например, для механики Аристотеля было естественным, что равномерное движение не может продолжаться бесконечно при отсутствии системы внешних сил. В механике Галилея тело, движущееся равномерно и прямолинейно, сохраняло свою скорость без внешней силы. Сторонники механики Аристотеля требовали, чтобы Галилей указал причину, которая не позволяет телу стремиться к состоянию покоя и обуславливает сохранение скорости в одном и том же направлении. Поведение движущихся тел, как оно представлялось механикой Галилея, не было естественным с точки зрения механики Аристотеля и не было понятным для ее сторонников.

Если некоторый общий принцип истолковывается как описание, выведение из него частного явления представляет собой объяснение этого явления. Если же общий принцип трактуется как оценка (предписание, стандарт), то выведение из него частного явления оказывается оправданием этого явления, обеспечивающим его понятность в свете принятого образца.

Поскольку научные законы могут истолковываться двояко — дескриптивно и прескриптивно (как описания и как оценки), определение объяснения как подведения рассматриваемого явления под научный закон является неточным. *Объяснение* — это не просто подведение под закон, а подведение под закон, интерпретированный как описание, т. е. взятый в одной из двух своих функций. Подведение какого-то явления под научный закон, истолкованный как оценка (предписание, стандарт), представляет собой *оправдание* данного явления, придание ему статуса того, что должно быть.

Например, общее положение «Если металлический стержень нагреть, он удлинится» можно истолковать как описание металлических стержней и построить на его основе, допустим, объяснение:

<sup>1</sup> Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1969. С. 501.

Для всякого металлического стержня верно, что, если он нагревается, он удлиняется.

Железный стержень нагревается.

Значит, железный стержень удлиняется.

Указанное общее положение можно истолковать, также как оценку, как суждение о том, как должны вести себя металлические стержни, и построить на основе данной оценки оправдание определенного факта:

Каждый металлический стержень при нагревании должен удлиняться.

Железный стержень нагревается.

Железный стержень должен удлиниться.

**Иллюзия ограниченности роли понимания в познании природы.** Чем объясняется впечатление, будто понимание играет весьма ограниченную роль в познании природы или даже, как иногда полагают, вообще не характерно для естествознания? Во-первых, существует определенная асимметрия между социальными и естественными науками с точки зрения вхождения в них ценностей. Социальные науки достаточно прямо и эксплицитно формулируют оценки и нормы разного рода, и то время как в естественные науки ценности входят по преимуществу имплицитно, чаще всего в составе описательно-оценочных утверждений. Это усложняет вопрос о роли понимания в естествознании и одновременно вопрос о роли объяснения в социальном знании.

Во-вторых, иногда слову «понимание» придается смысл неожиданного прозрения, внезапного схватывания и ясного видения какого-то, до тех пор бывшего довольно несвязным и туманным целого. Конечно, такого рода понимание является редкостью не только в естественных, но и в социальных науках. Но сводить к «озарениям», «инсайтам» или «прозрениям» всякое понимание — это все равно, что сводить работу художника над картиной к нескольким завершающим мазкам, придающим ей особое звучание и цельность. Отдельные акты понимания, логически связывая между собой утверждения и упорядочивая их в иерархическую структуру, придают единство и целостность теории или иной сложной системе идей. В этом плане роль понимания аналогична роли объяснения. Итогом многих элементарных пониманий и объяснений является система идей как органическое единство, отдельные элементы которого придают смысл целому, а оно — им. Называя «пониманием» только заключительный этап «схватывания» или «усмотрения» целостности, складывающейся, разумеется, постепенно, нужно помнить, что без предшествующих, более элементарных дедукций в форме объяснений и пониманий он просто не был бы возможен.

В-третьих, в естественных науках процедура истолкования и понимания маскируется периодами так называемой нормальной науки, когда основные ценности теории, входящие в ее парадигму, не подвергаются сомнению и пересмотру. Нормальная наука внушает впечатление, что описание обязательно совпадает с оценкой, «имеет место» — с «должно быть», а объяснение есть одновременно и оправдание. Однако в период кризиса естественнонаучной теории и разрушения ее парадигмы, когда на арену выходят конкурирующие системы ценностей, объяснение и понимание заметно расходятся. В такой ситуации споры о понимании становятся обычным делом. В кризисный период «есть» и «должен», объяснение и понимание перестают совпадать, и становится возможным и явным объяснение (в частности, правильное предсказание) без понимания и понимание без умения объяснить на основе точного закона.

В мире, постулируемом теорией, граница между тем, что есть, и тем, что должно быть, как правило, не является устойчивой и определенной. Как уже отмечалось, общие утверждения теории, особенно научные законы, имеют обычно двойственный, описательно-оценочный характер: они функционируют и как описания, и как стандарты оценки других утверждений и ситуаций. В силу этого трудно — а в естественнонаучных теориях вне контекста их развития просто невозможно — провести различие между объяснением и оправданием. Рассуждение, в одном случае играющее роль объяснения, в другом может оказаться оправданием, и наоборот. Возможность такой смены функции связана с тем, что объяснение и оправдание совпадают по своей общей структуре.

До сих пор речь шла о сильном понимании природы. В случае природных явлений возможно также *слабое* (целевое, телеологическое) понимание. Оно редко встречается в рассуждениях о неживой природе, но достаточно обычно в биологии и других науках о живой природе, где оно именуется телеологическим.

Пример телеологического понимания:

Чтобы выжить, зайцу следует зимой иметь другую окраску, чем летом.

Заяц стремится выжить.

Значит, зайцу нужно зимой иметь другую окраску, чем летом.

Первая посылка устанавливает связь между целью и одним из средств ее достижения. Рассматриваемая как описательное утверждение, она фиксирует простейшую каузальную зависимость: смена зайцем окраски способствует его выживанию, причем «способствует» означает «является частичной, или неполной, причиной». Вторая посылка устанавливает позитивную ценность цели. Соб-

ственно говоря, каузальное утверждение становится целевым как раз благодаря тому, что следствие причинно-следственного утверждения объявляется целью, т. е. позитивной ценностью. В заключении говорится о том, что «должен делать» заяц, «поставивший указанную цель». Многим представляется, что телеологическое понимание является всего лишь метафорическим способом выражения обычного каузального объяснения.

## § 7. Понимание языковых выражений

На первый взгляд, ничего не может быть обыденнее и проще общения людей с помощью языка и достигаемого ими понимания друг друга.

Обычность, постоянная повторяемость речевого общения создают впечатление не только естественности, но и своеобразной простоты употребления языка для целей коммуникации. Кажется, что взаимопонимание собеседников является элементарным делом, если выполняются некоторые простейшие условия: скажем, разговор ведется на языке, известном обоим; словам придаются их обычные значения; пословицы и метафоры не истолковываются буквально и т. п. Понимание представляется нормой, а случаи непонимания — отклонениями от нее, недоразумениями.

Представление о понимании как о чем-то крайне простом, не требующем особых размышлений, очень распространено и нередко даже само слово «понимать» в обычном языке редко используется в значении «схватывать» или «усваивать смысл сказанного». Широко употребляемые и ставшие уже стандартными выражения «они не поняли друг друга», «говорили на разных языках» и т. п. означают обычно совсем не то, что выяснявшие свои отношения люди не улавливали смысла употреблявшихся ими высказываний. Напротив, им было ясно, о чем шла речь. Но их позиции, изложенные, быть может, со всей доступной ясностью и убедительностью, оказались все-таки несовместимыми. «Не понять» чаще всего означает «не принять чужую точку зрения», «не принять чужих оценок».

Однако понимание как схватывание смысла сказанного далеко не так просто и прозрачно. Обычность понимания, его элементарность, повседневность и доступность не должны заслонять существования особой проблемы понимания языковых выражений. Одинаковое понимание, являющееся центральной проблемой интеллектуальной коммуникации, предполагает, что собеседники, во-первых, говорят об одном и том же предмете, во-вторых, беседуют на одном языке и, наконец, в-третьих, придают своим словам одни

и те же значения. Эти условия представляются необходимыми, и нарушение любого из них ведет к непониманию собеседниками друг друга.

Однако сами эти условия — при всей их внешней простоте и очевидности — представляют собой весьма абстрактную характеристику понимания. Первая же попытка приложить их к реальной коммуникации и выявить тем самым их полезность и глубину наглядно показывает это.

Перечисленные условия не являются независимыми друг от друга, и ни одно из них нельзя понять в изоляции от остальных. Стоящие за ними общие соображения могут быть выражены и иначе, в форме каких-то иных требований. Например, можно сказать, что одинаковое понимание требует, чтобы высказывания касались одного и того же предмета и включались собеседниками в один и тот же речевой или более широкий контекст.

Но главное в том, что попытка конкретизации условий понимания затрагивает серию сложных и ставших уже классическими проблем, касающихся самой сути общения посредством знаков. В их числе проблемы знака, значения, синонимии, многозначности, контекста и т. д. Без детального исследования всех этих и многих связанных с ними проблем общие принципы коммуникации и понимания неизбежно остаются абстракциями, оторванными от жизни.

**Значение слова и представление.** Для строгого определения понимания языковых выражений необходимо уточнить два фундаментальных понятия семантики — понятие значения, которое относится прежде всего к изолированным словам, и понятие представления, относящееся к контексту или ситуации, в которой употребляются слова. Значение и представление — те два полюса семантики, между которыми группируется все ее содержание. Понимание — это связывание воедино данных двух полюсов.

Под термином «значение» здесь имеется в виду значение слова в системе языка, в его словаре, в то время как термин «представление» характеризует смысл слова в речи. В одном ряду с последним термином «ситуационное значение», «контекстное значение», «субъективное значение», «индивидуальное значение»<sup>1</sup>.

«Семантика слов в тексте коренным образом отличается от семантики изолированных слов, и семантика слова должна быть дополнена семантикой текста. Старая семантика была преимущественно семантикой слова; она изгоняла из синтаксиса все, что переступает границу слова и стремится к предложению... Язык познается через

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Вайнрих Х.* Лингвистика лжи // *Язык и моделирование социального взаимодействия.* М., 1987. С. 48–55.



предложения и тексты. Тем самым сначала у человека имеется лишь несколько представлений, их немного; затем, с расширением языковой практики, возрастает количество представлений на основе услышанных и запомнившихся предложений. Однако человек не только имеет представления, но и образует из них — и это совершенно правильная гипотеза — значение. Этим достигается второй семантический полюс, и слово усвоено. Теперь его можно употреблять отдельно. В процессе употребления слова в разных предложениях гипотеза значения постоянно корректируется. Интересно, что мы как носители некоторого языка ежедневно играем в создание гипотезы и проверку ее правильности или ложности, в ту же самую игру, на правилах которой основана наука. Язык по своей структуре есть наивная наука»<sup>1</sup>.

Вообразим простейшую ситуацию общения: говорящий передает слушающему единственное слово «огонь». Информация, получаемая слушателем, минимальна. Из большого числа возможных слов выбрано одно, что существенно сузило тему общения. Но слушающий еще не знает, о каком именно огне идет речь: огне свечи или мимолетной вспышке метеора, о пожаре или огне очага, об огне любви или огне вина, об огне реальном или воображаемом. Слушающему известно значение слова «огонь», но это слово многозначно, его значение растянуто и нет оснований предпочесть одно значение из многих возможных. Значение является неопределенным не только по своему объему, но и по-своему содержанию. Возможно, говорящий хотел рассказать о пожаре, а слушающий подумал об огне свечи или о чем-то совершенно ином. Слушающий ожидает дальнейшей информации, которая позволила бы уточнить и конкретизировать растянутое и неопределенное значение слова «огонь». Но уже та скудная информация, которую имеет слушающий, является началом контакта и взаимопонимания его с говорящим, поскольку рассматриваемое слово имеет для них, как и для всех тех, кто говорит на этом языке, одинаковое значение. Всем, кто знает значение (растянутое, неопределенное и социальное) слова «огонь», присущи одинаковые ожидания по отношению к дальнейшей информации, конкретизирующей это значение. Значение каждого слова абстрактно: оно является результатом выделения той совокупности признаков предмета, обозначаемого словом, которые считаются релевантными для данного предмета в некоторой языковой общности. Допустим, что говорящий намеревается сообщить о пожаре, свидетелем которого он был. Конкретизация значения слова «огонь» с помощью слова «пожар» («огонь пожара») отделяет от релевантных в этом контексте признаков огня

<sup>1</sup> Вайнрих Х. Указ. соч. С. 51–53.

все иные его признаки, считаемые уже нерелевантными и не входящими в значение слова.

Таким образом, значение слова характеризует слово вне контекста его употребления и обладает четырьмя особенностями. Это значение:

- 1) *растянуто*: одно и то же слово может отсылать к разным конкретным ситуациям;
- 2) является содержательно *неопределенным*: оно включает многие признаки, из которых в каждой ситуации его употребления оказываются релевантными лишь некоторые;
- 3) *социально*: слово имеет одинаковое значение для всех, кто пользуется данным языком;
- 4) *абстрактно*: оно формируется на основе отбора некоторых признаков предмета, обозначаемого словом, и абстрагирования от всех иных его признаков.

Конкретизация значения слова, осуществляемая контекстом его употребления и прежде всего контекстом других, используемых вместе с ним слов должна связать значение слова с представлением. В частности, уточнение значения слова «огонь» с помощью слова «пожар» связывает значение «огня» с конкретным, имеющимся у слушающего представлением об огне пожара, отличным от представлении о ружейном огне, огне свечи, вина, любви и т. д.

В отличие от значения, представление не растянуто, а узко ограничено. Представление о пожаре приближается к конкретному предмету, к некоему пожару, о котором говорящий хочет сообщить. Представление не является также неопределенным, напротив, оно весьма точно и включает вполне конкретные признаки. Представление не социально, а индивидуально: у каждого, включая говорящего и слушающего, имеется свое субъективное, сугубо индивидуальное и неповторимое представление об огне пожара. И наконец, представление не абстрактно, а конкретно. В представлении говорящего никакой из многочисленных признаков пожара, о котором он хочет рассказать, не отбрасывается и не считается неуместным. Таким образом, всякое представление является ограниченным, точным, индивидуальным и конкретным.

**Понимание языкового выражения как связь его значения с представлением.** Мостиком между значением и представлением является предложение. Вместе с контекстом употребления слова оно сводит растянутое, неопределенное, социальное и абстрактное значение до ограниченного, точного, индивидуального и конкретного представления. «Если мы слышим изолированное слово, наш ум может блуждать по всему пространству значения. Если же слово услышано в тексте, этого не происходит. Контекст фиксирует. Он фиксирует именно

значение. Слова текста взаимно ограничивают друг друга и ограничиваются сами и тем действенной, чем полноценной текст»<sup>1</sup>.

Языковое выражение становится понятным слушающему, как только ему удастся связать значения слов, входящих в это выражение, со своими представлениями о тех предметах, к которым отсылают слова. Понимание языкового выражения — это подведение значений входящих в него слов под соответствующие представления.

В процессе понимания индивидуальное, конкретное представление выступает как *образец*, с которым нужно согласовать значение. Представление об объекте говорит о том, каким *должен быть* объект данного рода с точки зрения индивида, обладающего этим представлением. Представление является ценностью, которой должно соответствовать значение. В представлениях фиксируются образцы вещей, их стандарты, определяющие, какими значениями должны наделяться связываемые с этими представлениями слова.

В процессе понимания представление является исходным, или первичным, а значение должно быть приспособлено к нему. Отсюда следует, что если связь представления и значения не удастся установить и понимание не достигается, нужно менять не представление, а значение. Если, допустим, у человека очень смутное представление о пожаре и ему не вполне понятно значение слов «огонь пожара», это значение следует попытаться передать другими словами, прилагивая его к имеющемуся представлению. Если у кого-то вообще нет никакого представления о пожаре, любые перефразировки выражения «огонь пожара» не сделают его понятным данному слушателю.

Понимается всегда не отдельное слово, а текст, в котором слова взаимно ограничивают друг друга и редуцируют свои значения до представлений. Примером такой контекстуальной редукции для слова «огонь» может служить следующее предложение из сказки братьев Grimm: «Тут солдат хорошенько осмотрелся: вокруг в аду стояли котлы, и под ними горел сильный огонь, а внутри варилось что-то и клокотало». Сначала указание места (в аду) исключает все огни, которые не являются адскими огнями; затем эпитет «сильный» исключает все адские огни, которые не являются сильными; остальные слова предложения также способствуют конкретизации значения слова «огонь». Этому помогает и текст всей сказки, так что в воображении читателя слова прочно связываются с имеющимся у него представлением об адском огне<sup>2</sup>.

**Контекстуальный характер понимания слов.** «Излишне спорить о том, что первично — слово или текст (предложение). Прежде всего и

<sup>1</sup> Вайнрих Х. Указ. соч. С. 53.

<sup>2</sup> Там же. С. 53–54.

всегда есть слово в тексте. И если когда-либо существовала первичная интерпретация мира с помощью слов отдельных языков, то в тексте она давно устарела. Мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста.

Излишне также жаловаться, что языки в принципе непереводимы. Немецкое слово *Gemut* уклоняется от перевода, равно как и французское *esprit* или американское *business*. Дилетантские аргументы такого рода столь же ничтожны, сколь и досадны. Слова *Feuer*, *rue*, *car* тоже не переводятся. Но нам вовсе и незачем переводить слова. Мы должны переводить предложения и тексты. Не беда, что значения слов при переходе от одного языка к другому обычно не совпадают. В тексте это все равно зависит только от представлений, а их можно сделать подходящими, требуется подобрать лишь соответствующий контекст. Поэтому тексты принципиально переводимы. Являются ли тогда переводы ложью? Здесь можно придерживаться следующего правила: переведенные слова лгут всегда, переведенные тексты — только в тех случаях, когда они плохо переведены<sup>1</sup>.

Рассмотрим следующее требование, упомянутое выше: собеседники, стремящиеся понять друг друга, должны говорить об одном и том же предмете. Понимание невозможно, если люди рассуждают о разных вещах, искренне полагая или только делая вид, что речь идет об одном и том же. Такая ситуация является нередкой и не случайно она нашла отражение в поговорках. Если один говорит про Фому, а ему отвечают про Ерему, как будто тот и есть Фома, или говорят сначала о бузине, растущей в огороде, а затем сразу же переходят к дядьке, живущему в Киеве, то ни к какому пониманию собеседники не придут, поскольку остается в конце концов неясным, о чем же все-таки шла речь.

Требование, чтобы собеседники говорили об одном и том же предмете, означает, что значения одинаковых слов должны редуцироваться к одинаковым представлениям. В этом случае слова и построенные из них предложения будут пониматься одинаково. Если представления говорящих о затрагиваемом предмете разнятся, необходимо модифицировать значения так, чтобы они отвечали представлениям.

Хорошим примером в этом плане является разговор Воробьянинова с Безенчуком из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. «Неспециалист» Воробьянинов просто говорит, что его теща умерла. Гробовых дел мастер Безенчук различает в смерти намного больше оттенков, и для каждого из них у него есть особое обозначение. Он уточняет, что теща Воробьянинова не просто умерла, а преставилась, и поясняет: «Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу

<sup>1</sup> Вайнрих Х. Указ. соч. С. 54—55.

отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле — значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает». И затем он излагает целую систему: в зависимости от комплекции и общественного положения скончавшегося смерть определяется или как «сыграть в ящик», или «приказать долго жить», или «перекинуться», или «ноги протянуть». «Но самые могучие когда помирают, — поясняет Безенчук, — железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают». О себе он говорит: «Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая». И предполагает, что о нем после смерти скажут: «Гигнулся Безенчук»<sup>1</sup>. Смерть в общем-то для всех одна, но все-таки сколько людей, столько же представлений о смерти, каждая из смертей уникальна. И хотя язык «специалиста» стремится провести между ними более или менее тонкие различия, даже ему это явно не под силу.

Слово всегда обобщает. Оно охватывает сразу несколько сходных в чем-то предметов или явлений. Когда говорят двое, всегда есть вероятность того, что они имеют в виду, может быть, весьма близкие и похожие, но, тем не менее, разные предметы. «Контекст создает свое представление из значения слова. Он как бы вырезает из широкого значения куски, которые не связаны с соседними значениями в предложении. То, что остается после всех отсечений, и есть представление»<sup>2</sup>.

Понимание — это подведение значений слов под представления о тех вещах, к которым отсылают слова. Понимание является оценкой значений с точки зрения представлений. Последние показывают, каким должен быть мир, если он правильно отражается в языке, и в этом смысле трактуются как стандарты существующих (возможно, только в воображении) вещей.

**Объяснение языковых выражений.** Исходя из общего понимания ценностей и соотношения понимания и объяснения, можно сказать, что в языковом общении есть не только понимание языковых выражений, но и их объяснение. Объяснить языковое выражение — значит подвести представления об объектах, к которым отсылают входящие в выражение слова, под значение выражения. Например, чтобы объяснить значение слова «горящий», надо указать те возможные представления, которые подпадают под его значение: «горящий дом», «горящим огонь», «горящий закат» и т. п.

До сих пор речь шла о сильном (дедуктивном) понимании языковых выражений. Существует также, хотя и является более редким, це-

<sup>1</sup> Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1987. С. 32–33.

<sup>2</sup> Вайнрих Х. Указ. соч. С. 54.

*левое* (индуктивное) их *понимание*. При таком понимании указывается та цель, которую хотел достичь индивид, употребляя конкретное языковое выражение.

Ограничимся одним примером: Чтобы затемнить смысл сказанного, надо использовать слова в их не совсем обычном значении. *N* хочет затемнить смысл сказанного. Значит, *N* должен использовать слова в их не совсем обычном значении.

Первая посылка является целевым утверждением. В описательной интерпретации она устанавливает каузальную связь: «Употребление слов в их не совсем обычном значении является причиной не вполне прозрачного смысла сказанного». Вторая посылка фиксирует конкретную цель индивида, идущую, возможно, вразрез со стандартными целями языковой коммуникации. В заключении говорится о том, что должен сделать индивид для достижения поставленной им цели.

## § 8. Герменевтика и проблема понимания

Дуализм истины и ценности, сложившийся в Новое время, имел своим естественным результатом резкое противопоставление объяснения и понимания. Объяснение было истолковано как главная и даже единственная функция «наук о природе», понимание — как основная и, пожалуй, тоже единственная функция «наук о духе». В качестве крайней оппозиции методологии естественнонаучного познания сформировалась философская герменевтика, изучающая понимание.

Возникшая еще в античности как искусство истолкования текстов, герменевтика лишь в XIX–XX вв. постепенно получает форму особого философского метода, проблемы которого в настоящее время разрабатывают представители самых разных философских направлений. Отвергая возможность изучения человеческой и социальной проблематики с помощью естественнонаучных методов, современная герменевтика стремится интегрировать важнейшие философские тенденции и предложить гуманитарным наукам нечто вроде общего мировоззрения и одновременно — метода исследования, обладающего достаточной мерой строгости. Нередко утверждается, что герменевтика, решив проблему базиса взаимоотношения людей, предоставит тем самым твердое основание для всех наук об обществе<sup>1</sup>.

В последние десятилетия интерес к герменевтике заметно возрос. Это во многом объясняется тем, что некоторые философы ви-

---

<sup>1</sup> См., напр.: *Gadamer H.-G. von. Hermeneutics and Social Science // Cultural Hermeneutics. Dorsrecht, 1975. V. 2. P. 309.*

дят в ней новую, практическую философию, способную разработать методологические принципы подхода к социальной и политической жизни и тем самым внести вклад в изменение действительности. Герменевтика является достаточно синкретичным направлением, стремящимся интегрировать важнейшие философские тенденции современности, сочетать методологические и гносеологические принципы, почерпнутые из самых разных источников. Об этом выразительно говорят как сложности, связанные с определением предмета ее исследования, так и многообразные предложенные классификации основных ее направлений.

Д. Блайчер определяет герменевтику как «теорию или философию интерпретации значения» и выделяет в качестве «основной герменевтической проблемы» исследование «форм и способов выражения человеческой субъективности в определенных системах ценностей и формах человеческой жизнедеятельности»<sup>1</sup>. Тремя основными подходами к решению этой проблемы выступают, по Блайчеру, герменевтическая теория, герменевтическая философия и критическая герменевтика. К герменевтической теории относятся классическая герменевтика (герменевтика романтизма, историческая герменевтика, герменевтика В. Дильтея) и герменевтика Э. Бетти. Герменевтическая философия включает экзистенциально-онтологическую герменевтику М. Хайдеггера, теологическую герменевтику Р. Бульмана и философскую герменевтику Х.-Г. Гадамера. Под именем «критическая герменевтика» Блайчер объединяет герменевтику в форме антропологии знания К.-О. Апеля, программу диалектико-герменевтической социальной науки Ю. Хабермаса и попытки создать «материалистическую герменевтику», которые предпринимают с весьма существенно отличающихся друг от друга позиций Г. И. Зандкюлер и А. Лоренцен. Помимо этих трех основных течений Блайчер выделяет в качестве «новой перспективы» феноменологическую герменевтику П. Рикёра.

Эта классификация течений в герменевтике наглядно говорит о широте и вместе с тем пестроте относимой к ней проблематики. Она показывает также, что круг направлений современной философии, затрагивающих темы герменевтики, чрезвычайно расширился. Даже представители тех из них, которые еще недавно принято было относить к «антигерменевтическим», начинают обнаруживать — иногда неожиданно для самих себя, — что они также занимаются «пониманием». Так обстоит дело, в частности, с кри-

---

<sup>1</sup> *Bleicher J. Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique. London, 1980. P. 1.*

тическим рационализмом (К. Поппер) и аналитической философией (Г. фон Вригт)<sup>1</sup>.

На протяжении длительной истории своего существования герменевтика многократно меняла свой облик. Вместе с тем, хотя она и представляет собой неоднородное и не вполне сформировавшееся идейное явление, имеется довольно отчетливо очерченное ядро «герменевтических проблем» и типичных подходов к их решению. Основная идея герменевтики, достаточно отчетливо выраженная уже Дильтеем, заключается в резком противопоставлении естественных и гуманитарных наук. Задачей первых является познание объективной истины, задача вторых — раскрытие «смысла», «истолкование» всего того, что связано с деятельностью человека, с его мотивами и целями. Согласно герменевтике, человеческая и социальная проблематика не допускает изучения естественно-научными методами, поскольку ее предмет отличен от природных объектов и является объективацией субъективных установок, целей и мотивов человека.

Объекты, связанные с деятельностью человека, могут быть постигнуты только на основе интуитивного переживания и последующего истолкования, предполагающего определенного рода слияние субъекта познания о познаваемом объектом и понимание первым второго.

«Понимание» в этом смысле противостоит объяснению естествонаучного характера. Существо объяснения состоит в подведении некоторых частных явлений под общий закон, и соответственно задача естественных наук заключается в раскрытии таких законов и тем самым — единообразия природы. Понимание же является не постижением истины, а постижением ценности, которая носит субъективный характер и стандарты которой меняются от человека к человеку, от среды к среде и от общества к обществу. Если истина открывается на пути обобщения опыта и эксперимента, то ценность может быть открыта только посредством «интуитивного соприкосновения» с нею.

Поскольку ценности понимаются подавляющим большинством философов-герменевтиков заведомо субъективистски, всякое истолкование содержания философского, исторического и иного произведения, равно как и истолкование тех или иных явлений социальной жизни, оказывается во многом зависящим от сугубо индивидуального восприятия. В частности, П. Рикёр энергично подчеркивает

---

<sup>1</sup> Круг тех, кто внес заметный вклад в герменевтику, во многом зависит от самого ее истолкования и меняется от случая к случаю. Так, З. Бауман относит к главным представителям герменевтики К. Маркса, М. Вебера, К. Манхейма, Э. Гуссерля, Т. Парсона, М. Хайдеггера и А. Шюца (*Bauman Z. Hermenentics and Sciences: Approaches to Understanding. London, 1978*).



роль субъекта интерпретации и видит в этом отличие герменевтики как философской дисциплины от структурализма и лингвистики как научных областей знания. И структуралистское, и лингвистическое объяснение направлено на бессознательную систему, которая конституирована различиями и противоположностями, независимыми от субъекта. Герменевтика же есть «сознательное овладение детерминированной символической основой, совершаемое субъектом, который находится в том же самом семантическом поле, как и то, что он понимает». Понимание нельзя трактовать слишком узко, как это имело место в романтической традиции, идущей от Шлейермахера и Дильтея, отождествляя его с постижением чужой духовной жизни или эмоциональным переживанием мира. Процесс понимания, а точнее истолкования символов, с помощью которого выражается психическая жизнь человека, есть одновременно способ освоения человеком мира объектов.

«Истолкование» в смысле герменевтики во многом остается подобным акту художественного творчества, понятому к тому же в субъективистском духе. Об объективных критериях такого истолкования трудно вести речь, поскольку оно отрывает явление прошлого от конкретно-исторических условий его существования и склоняется к отождествлению реального прошлого с представлениями о нем. Не случайно, с точки зрения Рикёра, философские учения, надлежащим образом истолкованные, не являются «ни истинными, ни ложными, но разными»<sup>1</sup>.

Стремясь избежать крайнего релятивизма и субъективизма, некоторые представители герменевтики пытаются найти некую общую основу для всех многообразных специфических «пониманий». Этой основой иногда объявляется «предпонимание» как возможность всякого понимания и общения людей. Предпонимание должно иметь дорефлексивный и вненаучный характер, так как оно лежит в фундаменте всякой рефлексии и науки. Оно должно представлять собой нечто онтологическое, поскольку на него опираются все отношения между людьми.

Э. Бетти видит такую основу в существовании так называемых смылосодержащих форм, которые выступают как корреляты определенных ситуаций, социальных процессов, фактов и являются носителями смыслов. Гадамер, как известно, отождествляет предпонимание с «предрассудком», т. е. с суждением, вынесенным до всякого исследования существующих фактов. Любой процесс понимания исторического объекта отправляется от некоторого предварительного представления о его смысле.

<sup>1</sup> Ricoeur P. Le conflit des interpretations. Essays d'hermenetique. Paris, 1969. P. 58, 20, 63.

По Гадамеру, эта предварительная «подготовка» основывается на предрассудках культурной традиции, и именно они, а не рационально-логические моменты определяют сущность человеческого мышления. Анализируя роль предрассудка в процессе научного понимания, Гадамер приходит к выводу, что реализация идеала науки без предрассудков невозможна, поскольку остается неизвестной сущность научного мышления<sup>1</sup>. Под сомнение ставится тем самым возможность достижения интересубъективного понимания и сама ценность науки.

Методологический и гносеологический релятивизм Гадамера заставляет даже неопозитивиста Апеля признать, что «донаучное понимание» Гадамера, по существу, антинаучно. Впрочем, и сам Апель постулирует в качестве подлинной основы понимания определенную предструктуру, которая не дана в опыте и эксперименте, — некое «герменевтическое априори»<sup>2</sup>.

Идея «предпонимания» выражает в своеобразной форме убеждение в социальной и исторической детерминации познания вообще и исторического познания в частности. Действительно, горизонт понимания всегда исторически обусловлен и ограничен. Беспредпосылочное понимание — независимо от того, идет ли речь об изучении истории или об изучении природы, — является, в сущности, фикцией.

Однако конкретизация этой общей посылки в философской герменевтике вырождается, как правило, в отрицание возможности самой объективной истины, в растворение ее в тех различных перспективах, в которых она может рассматриваться. Апология «предрассудка», «предструктуры», «герменевтического априори», истолкование языка как «горизонта герменевтической онтологии», призывы к устранению идеологии как главного препятствия на пути к пониманию — все это оказывается в конце концов манифестацией субъективизма и априоризма, органически входящих в ткань буржуазной герменевтики. Абсолютизация предпонимания как чего-то изначального и дорефлексивного, резкое противопоставление его пониманию означают утверждение примата традиции над рефлексией, неспособность отобразить «колебания» смысла между бесконечностью невысказанного и конечностью сказанного.

Предпонимание, являющееся исходным моментом движения к пониманию, само исторично. Оно определяется меняющимися условиями социальной жизни, достигнутым уровнем познания и соответственно понимания. Познание реализуется в определенных исторических и социальных условиях. Но чем дальше оно продвигается, тем глубже понимаются сами его предпосылки. Углубле-

<sup>1</sup> Gadamer H.-G. *Wahrheit und Methode*. Tubingen, 1969.

<sup>2</sup> Apel K.-O. *Transformation der Philosophie*. Freiburg am Muenster, 1973. S. 59–60.

ние понимания — это одновременно и прояснение, экспликация предпонимания.

Абсолютизация герменевтикой дорефлексивного понимания воспроизводит тот фундаментализм, который был характерен для мышления Нового времени. Сейчас внутри самой герменевтики наблюдается тенденция к определенного рода расширению и выходу за пределы языка и текстов. Сторонники «критической герменевтики» считают, что представители «философской герменевтики» явно переоценивают роль традиции и языка в познавательном процессе, что нельзя пренебрегать теми экстралингвистическими факторами, в контексте которых конституируются мышление и деятельность человека. «Критическая герменевтика» стремится быть «глубинной герменевтикой», не ограничивающейся процессом интерпретации и стремящейся выявить ее объективные основы, те жизненные условия, которые сказываются на всех интеллектуальных процессах.

Своеобразную концепцию такой герменевтики развивает Ю. Хабермас<sup>1</sup>. Герменевтика должна служить, по мысли Хабермаса, целям освобождения человека от того, что Маркс называл «практическим унижением». Хабермас обвиняет, однако, марксизм в недостаточной «критичности» и изображает его как учение, лишь фиксирующее действие «неумолимых» законов, встающих, подобно стене, на пути свободной деятельности человека. Более последовательная «критическая теория» должна опираться не на «философию бытия», а на «философию действия». Герменевтика, по Хабермасу, не является ни искусством истолкования, ни средством сделать что-то понятным. Она представляет собой критику и как таковая должна помогать познающему субъекту осознавать самого себя, показывать, что средства естественного языка в принципе достаточны, чтобы объяснить смысл любых взаимосвязей опыта, субъективные желания и цели людей. Интерсубъективное взаимопонимание в языке одновременно и безгранично, и неполно: оно безгранично в том смысле, что всегда может быть расширено, и вместе с тем частично, поскольку никогда не может быть полностью прояснено и реконструировано. Мы способны «понимать» и «излагать» все, но никогда не сможем передать что-либо полностью и окончательно. Отсутствие взаимопонимания в обществе — результат социальной патологии языка. С этим положением связана иллюзия Хабермаса, будто эмансипация человека и его сознания от «идеологических заблуждений» возможна на основе реконструкции языка: «докритическая герменевтика» служила-де сохранению существующих общественных отношений; «критическая герменевтика», являясь «теорией практики»

<sup>1</sup> *Habermas J. Theorie und Praxis. Freiburg am Muenster, 1969.*

и ориентируясь на деятельность, вносит, якобы, посредством методического постижения социальных явлений важный вклад в изменение действительности.

Эта лишенная оснований претензия была с явным скепсисом встречена даже самими герменевтиками. Д. Кампер, например, пишет, что если теория Маркса была критикой действительности и воспринимала противоречия последней как повод к практической деятельности по ее изменению, то «критическая теория» Хабермаса под влиянием герменевтики движется к тому, чтобы превратиться в оружие компенсаторного снятия барьеров «понимания». Герменевтика «рядится» в разоблачение «идеологий», используя свое «искусство понимания» для восстановления «коммуникативной компетенции». Тем самым устанавливается теоретический горизонт практики — «интерпретация и коммуникация ученых становится трансцендентальным условием человеческого слова и дела»<sup>1</sup>.

Полемизируя с Хабермасом, Гадамер обвинил, и вполне основательно, представителей «критической теории» в открыто инструменталистском отношении к теоретизированию. Любая теория — элементы марксизма, фрейдовский психоанализ, герменевтика и др. — адаптируются критицистом для целей рефлексии. Ни одна теория не принимается всерьез и не интерпретируется ради нее самой, как того требует герменевтика. Вместе с тем Гадамер подчеркнул, что в методологическом плане между герменевтикой критической школы и его собственной герменевтической философией нет принципиальной несовместимости<sup>2</sup>.

И в самом деле, «радикализация» герменевтики путем соединения ее с «критической теорией» и включения ее тем самым в более широкую концепцию социально-исторического мира не устраняет основных пороков философской герменевтики. Сохраняется, в частности, дихотомия естественных и гуманитарных наук. Хабермас, предлагая в одном случае лингвистически-психо-аналитическую «метапсихологию», в другом — «теорию коммуникативной компетентности» в качестве рамки герменевтической интерпретации, обосновывает противопоставление этих наук методологическими соображениями и различиями в «логической форме»<sup>3</sup>. Но, как замечает Т. Дукман, такое противопоставление прямо вытекает из рассуждений Хабермаса о сущности «природы» как того, что противостоит «истории». Оно

<sup>1</sup> *Kamper D. Hermeneutik: Theorie einer Praxis? // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, Wiesbaden, 1974. Bd. 5. H. 1. S. 52.*

<sup>2</sup> Цит. по: *Bubner R. Theory and Practice in the Light of the Hermeneutics — Criticist Controversy // Cultural Hermeneutics, 1975. № 4. V. 2. P. 346, 357.*

<sup>3</sup> *Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften // Philosophische Rundschau, Tübingen, 1967. Bd. 6; Knowledge and Human Interests. Boston, 1972.*

связано также со странным по меньшей мере предположением, что естественные науки основываются на технологическом, в сущности капиталистическом «праксисе», в то время как «критическая» социальная теория ориентируется будто бы на исторический «праксис освобождения»<sup>1</sup>.

Таким образом, Хабермас, как и другие представители франкфуртской школы по существу отказывается от признания определяющего значения материальных факторов в историческом процессе и основывает понятие глубинного понимания на психоанализе языка. Идею психоанализа как некоей «глубинной» герменевтики он связывает с необходимостью разработки «критической» социальной науки, руководствующейся «интересом к освобождению».

Устранение философской герменевтикой понятия объективной истины из методологии гуманитарных наук и полная субъективизация ценностей ведут в конечном счете к тому, что на место процесса познания объективных закономерностей ставится процедура «раскрытия смысла» изолированных друг от друга социальных явлений.

Не спасает положение и введенное в герменевтику понятие «аутентичного истолкования», претендующее на замещение понятия истины в гуманитарных науках. Дискуссии как между самими герменевтиками, так и с представителями близких им по духу философских течений показывают, что герменевтика не обладает сколько-нибудь ясными и однозначными критериями такого истолкования<sup>2</sup>.

В последнее время представители герменевтики предприняли попытки преодолеть типичное для нее противопоставление естественнонаучного объяснения и гуманитарного истолкования и сделать ее тем самым целостной, фундаментальной теорией познания. Так, Г. Бём во вводной статье к книге «Герменевтика и наука» пишет, что, поскольку герменевтика выражает некоторые объективные тенденции современного развития не только гуманитарных, но и естественных наук, поляризация герменевтического истолкования и естественнонаучного объяснения, все еще имеющая место, обедняет как герменевтическую философию, так и науку. Истолкование является явно неэффективным, если оно не пользуется некоторым достаточно определенным методом, отвечающим требованиям науки. С другой стороны, научное исследование должно учитывать важнейшие особенности герменевтического описания<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Luckmann T. Philosophy, Science and Everyday Life // Phenomenology and the Social Science. Evanston, 1973. V. 1. P. 108.

<sup>2</sup> Hermeneutik und Ideologiekritik. Frankfurt am Muenster, 1981. S. 46–53, 128–129.

<sup>3</sup> Die Hermeneutik und die Wissenschaft. Senunaz. Hrsg. H.-G. von Gadamer, G. Boehm. Frankfurt am Muenster, 1978.

Попытки преодолеть традиционное разделение объяснения и понимания лежат и в основе программы так называемой трансцендентальной герменевтики, претендующей на соединение трансцендентализма Канта с основными идеями традиционной герменевтики. По мысли одного из сторонников этой программы, Р. Бубнера, герменевтика не сводится к установлению или обоснованию какого-то особого метода, применимого в гуманитарных науках. Будучи «трансцендентально осмысленной», она «преодолевает дуализм методов и выясняет значение самой возможности методического познания»<sup>1</sup>.

Однако, как признают сами сторонники трансцендентальной герменевтики, она не способна объяснить проблемы, связанные с пониманием и непониманием, без обращения к историческому опыту формирования конкретных проблем и соединения индивидуального акта понимания с общей теорией понимания. Генезис же проблем требует для своего объяснения признания общей философии истории, подчиненности хода исторических событий определенным объективным закономерностям<sup>2</sup>. Нетрудно, однако, заметить, что основные постулаты герменевтики, субъективизирующей историю и расчленяющей ее на изолированные фрагменты, подлежащие «толкованию», совершенно не совместимы с допущением объективного хода истории.

На рубеже 1950–1960-х гг. философская герменевтика активно включилась в развернувшийся в это время «спор» с позитивизмом. Хотя основные лавры в этом «споре» достались не ей, она внесла, тем не менее, заметный вклад в то, что в современной философии взяли верх антипозитивистские настроения. Представители герменевтики резко критиковали логический позитивизм за стремление распространить методы точных наук на все научное познание, включая и гуманитарные науки.

Неопозитивистский идеал естественнонаучной точности действительно страдает явной односторонностью. Более того, он неприложим не только к социальному познанию, но и к самим естественным наукам. Однако в его критике философская герменевтика сама впала в другую очевидную крайность: образец научной методологии, выработанный на основе анализа гуманитарного знания, был резко противопоставлен ею методам естественных наук и следование ему было объявлено единственной подлинной гарантией «доступа к вопросу об истине». Сам этот образец оказался бесплодным не только в качестве универсального общенаучного метода, но и в качестве специфического метода «наук о духе».

<sup>1</sup> *Bubner R. Is Transcendental Hermeneutics Possible? // Essays on Explanation and Understanding. Dordrecht-Boston, 1976. P. 60.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 76–77.*

Современные попытки объединить научное объяснение и герменевтическое истолкование и избежать тем самым односторонности как неопозитивизма, так и герменевтики являются не более чем абстрактной декларацией. Сформировавшись в качестве крайней оппозиции методологии естественнонаучного познания, герменевтика не может, оставаясь самой собой, стать методологией науки в целом<sup>1</sup>.

Герменевтикой существенно прояснила проблему понимания. В частности, она показала ограниченность натуралистических, механистических моделей объяснения и понимания; привлекла внимание к проблеме истолкования и понимания; выявила комплексный характер последней; представила понимание как процесс, состоящий из определенных этапов и предполагающий взаимодействие понимаемого целого и его частей, и т. д. Однако проанализировать природу понимания как универсальной формы интеллектуальной деятельности, установить ясную взаимосвязь понимания с объяснением — другой столь же универсальной операцией мышления — герменевтика оказалась не способна. Причина этого — в узком и искаженном горизонте, в рамках которого рассматривается ею понимание, в тех субъективно-идеалистических предпосылках, или «предрассудках», которые лежат в основе ее рассуждений об истине и ценности и соответственно об объяснении и понимании.

Герменевтическая трактовка понимания с самого начала содержала в зародыше принципиально важную для правильного его истолкования мысль, что понимание неразрывно связано с *ценностями*. Однако это ключевое положение никогда не было сформулировано философской герменевтикой с необходимой общностью и ясностью. Обсуждая понимание, герменевтики говорили о мотивах, целях, установках и иных конкретных формах существования ценностей, но не о ценностях вообще. Сверх того, даже эти частные формы ценностей истолковывались как сугубо индивидуальные и субъективные. Они оказывались не способом соединения человека с миром и другими людьми посредством человеческой деятельности, практики, а средством замыкания индивида в узком мире его собственных мотивов и устремлений.

---

<sup>1</sup> Это хорошо понимают ортодоксальные представители философской герменевтики. В частности, в той же книге «Герменевтика и наука», в которой помещена упомянутая статья Г. Бёма, опубликована также статья П. Рикёра «Текст как модель: герменевтическое понимание». В ней со всей определенностью отстаивается тезис, что только гуманитарные науки являются герменевтическими, так как предмет их исследования во многом идентичен характеристикам письменного текста. Текст можно рассматривать в качестве парадигмы для объекта социальных наук, а методологию его интерпретации — в качестве методологической парадигмы социальных наук.

Соотношение объяснения и понимания является реальной проблемой методологии науки, привлекающей сейчас все большее внимание. Неопозитивизм, высокомерно относившийся к гуманитарным наукам и пренебрегавший их своеобразием, не нашел в системе своих понятий места для казавшегося ему «сугубо гуманитарным» понятия понимания. Одним из следствий этого было то, что предложенное неопозитивистами описание объяснения оказалось узким и односторонним. Философская герменевтика противопоставляет гуманитарные науки естественным, сосредоточивает свои интересы на понимании, оставляя в стороне проблемы, связанные с объяснением. Неизбежное следствие такого подхода — расплывчатость ее рассуждений о самом понимании.



## *Глава XII*

# ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

### § 1. Типы научных проблем

Хотя понятие проблемы кажется поначалу очень простым, с ним связаны определенные сложности. Обычно под научной проблемой понимается явно сформулированный вопрос или комплекс вопросов, возникших в ходе научного познания. Сам процесс познания истолковывается при этом как последовательный переход от ответов на одни вопросы к ответам на другие вопросы, вставшие после решения первых.

Общим стало положение, что всякое научное исследование обязательно начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема → исследование → решение» считается применимой всегда и везде. Ясная и отчетливая формулировка проблемы рассматривается как обязательное условие успеха предпринимаемого исследования.

Все это верно. Но верно применительно не ко всем, а только ко вполне определенным и притом довольно узким классам научных проблем. Конкретный анализ проблемных ситуаций показывает, что далеко не каждая проблема сразу же приобретает вид явного вопроса. Не всякое исследование начинается с выдвижения проблемы и кончается ее решением. Нередко проблема формулируется одновременно с решением, а иногда она осознается только через некоторое время после решения. Часто поиск проблемы сам вырастает в отдельную проблему, решение которой требует особого таланта. «Великая проблема, — писал Ф. Ницше, — подобна драгоценному камню: тысячи проходя мимо, пока, наконец, один не поднимет его»<sup>1</sup>.

Мир научных проблем сложен и многообразен, как и порождающий проблемы процесс научного познания. Деятельность по обнаружению и раскрытию проблем связана с самой сутью творческого мышления. Представлять эту деятельность как что-то простое, упорядоченное в линию «вопрос → ответ → новый вопрос → новый ответ → ...» — значит обеднять богатую палитру познания как творчества. Научное творчество — это не только постоянный поиск решений проблем, но и поиск самих проблем.

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. Сочинения: в 12 т. СПб., 1912. Т. 1. С. 427.

Сложность процесса созревания и раскрытия проблем хорошо чувствуют ученые, постоянно сталкивающиеся в своей деятельности с самыми разнообразными проблемными ситуациями. Например, А. Эйнштейн и Л. Инфельд говорили, что сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. Иногда высказывается даже утверждение, что, как только проблема уяснена и сформулирована, творческая часть работы исчерпана, а решение поставленной проблемы — чисто техническая задача, не имеющая подлинно творческого характера. Это, разумеется, преувеличение, хотя бывает и так, что найти проблему действительно не только труднее, но и поучительней, чем ее решить.

В широком смысле проблемной является всякая ситуация, практическая или теоретическая, которая не имеет соответствующего обстоятельства решения и поэтому заставляет остановиться и задуматься. В самом общем смысле *проблема* — это некоторое затруднение, колебание, неопределенность. Для устранения неопределенности требуются действия, но далеко не всегда ясно, что именно следует предпринять. Само древнегреческое слово, от которого произошло русское «проблема», имело следующие значения: «преграда», «трудность», «задача».

Можно отметить два фактора, влияющих на способ постановки научных проблем: во-первых, общий характер мышления той эпохи, в которую формируется и формулируется проблема; во-вторых, имеющийся уровень научного знания о тех объектах, которых касается возникшая проблема. Каждой исторической эпохе свойственны свои типичные формы проблемных ситуаций. В древности проблемы ставились во многом иначе, чем, скажем, в Средние века или в современном мышлении. В хорошо проверенной и устоявшейся научной теории проблемные ситуации осознаются по-другому, чем в теории, которая только складывается и не имеет еще твердых оснований.

**Восемь типов проблем.** Проблемы можно подразделять по разным основаниям, например в зависимости от актуальности, неотложности их разделяют на существующие, возникающие и потенциальные. Как наиболее эффективно использовать имеющиеся залежи каменного угля? — Это актуальная, сегодняшняя проблема. Чем можно заменить продукты переработки нефти в двигателях внутреннего сгорания? — Эта проблема станет острой в ближайшем будущем. Как лучше всего использовать солнечную энергию, передаваемую на землю космическими устройствами? — Это потенциальная проблема, относящаяся к отдаленному будущему.

Разные цели требуют разных классификаций проблем. Особый интерес представляет деление проблемных ситуаций по следующим трем основаниям: 1) сформулирована ли проблема с самого начала

исследования; 2) имеется ли метод ее решения; 3) насколько отчетливы представления о том, что именно считать решением проблемы. По этим трем основаниям все проблемные ситуации подразделяются на восемь типов. Первые четыре типа — это *явные* проблемные ситуации, когда формулировка проблемы задана с самого начала. Различия между ними сводятся к тому, известно ли, каким методом должна решаться проблема, и определено ли, что следует считать ее решением. Последующие четыре типа — это *неявные* проблемные ситуации, когда проблему еще предстоит обнаружить и сформулировать.

## § 2. Проблемы-головоломки

Далее рассматриваются четыре типа явных проблем с особым вниманием к так называемым проблемам-головоломкам, или риторическим проблемам. Проблемы первого типа — самые банальные явные проблемы. Их можно назвать *показательными задачами*. Они представляют, пожалуй, вырожденный случай проблем. Указан вопрос, ответ на который нужно получить, известен метод решения и известно, что считать решением, или, как говорят, ответом.

Такого рода задачи с максимальной информацией по всем трем параметрам и, соответственно, с минимумом неопределенности часто применяются в обучении. Прежде чем перейти к решению задач какого-то нового, не встречавшегося раньше типа, обычно приводят развернутые решения одной-двух характерных задач. Проследив шаг за шагом процедуру их решения, обучающийся вырабатывает определенные навыки в обращении с другими задачами такого рода.

Явные проблемы второго типа более интересны: задан вопрос; ясен метод решения; не известен только результат решения. Конечно, это тоже не исследовательские проблемы: слишком многое определено уже с самого начала и для поиска решения остается довольно ограниченное пространство. Тем не менее подобные задачи, несомненно, полезны: они тренируют ум, вырабатывают сообразительность, умение рассуждать последовательно и ясно и т. д. Например, о человеке известно, что он живет на шестнадцатом этаже и всегда спускается вниз на лифте; вверх он поднимается только до десятого этажа и дальше идет пешком. Почему он так поступает?

Проблема здесь определена, есть вопрос и указана информация, необходимая для нахождения ответа. Метод решения также не нуждается в особом уточнении: надо рассмотреть обычные мотивы поведения людей в стандартных ситуациях и попытаться найти какую-то особенность, объясняющую, почему данный человек ведет себя несколько необычно. Однако имеется известная неопределенность в

том, что считать решением данной задачи, ответом на нее. Наиболее уместным кажется такой ответ: у этого человека небольшой рост, он легко нажимает кнопку первого этажа, но, желая подняться вверх, достигається только до кнопки десятого этажа. Допустимо ответить и иначе: ради тренировки этот человек последние шесть этажей предпочитает подниматься пешком, он вообще предпочел бы не пользоваться лифтом, но это ему уже не по силам. Это решение кажется менее убедительным, но в общем-то и оно вполне согласуется с условиями задачи. С ними согласуются и многие другие ответы: человек по пути заходит к своим знакомым, живущим на десятом этаже; он просто чудак и ему нравится без всяких особых причин поступать именно так, и т. д.

Обычные задачи из учебников относятся чаще всего, пожалуй, ко второму типу. Исходные условия здесь предельно ясны: есть все, что требуется для решения, и нет ничего лишнего, уводящего в сторону. Из теоретического курса известен общий метод решения. Остается только найти само решение. Но иногда эти задачи бывают настолько простыми, что не возникает сомнений относительно их решения. Такие задачи уместно отнести к числу обычных показательных задач.

**Риторические проблемы.** Явные проблемы третьего и четвертого типов представляют особый интерес. Нередко само слово «проблема» употребляется для обозначения именно этих проблем, а все остальные проблемные ситуации относят к разного рода затруднениям, не доросшим еще до подлинных проблем. Проблемы третьего типа можно назвать *риторическими*: они подобны риторическим вопросам, ответ на которые сам собою разумеется. Эти проблемы могут быть названы также *проблемами-головоломками*, поскольку у них есть черты, общие со всякого рода головоломками: сформулирован явный вопрос и известно, что будет считаться его приемлемым решением. Все сводится к отысканию метода, с помощью которого из начальных условий может быть получен ответ, уже известный в общих чертах.

Лучшие примеры таких проблем — кроссворды, ребусы, задачи на составление фигур из имеющихся элементов и т. д.

Характерные черты проблем-головоломок очевидны:

- они сформулированы кем-то, а не самим исследователем;
- они являются в принципе разрешимыми;
- круг поиска их решения ограничен;
- основные линии поиска в основе своей ясны еще до начала исследования.

Например, ребенок составляет картинку из пазлов по предлагаемому условиям игры образцу. Он может получить картинку, складывая по своему усмотрению произвольно выбранные пазлы. Эта кар-

тинка вполне может оказаться намного интереснее и быть более оригинальной, чем та, которая требуется по условиям. Но это не будет решением. Чтобы получить настоящее решение, нужно использовать все пазлы, созданная фигура должна быть плоской и т. д. Подобные ограничения накладываются и на приемлемые решения кроссвордов, загадок, шахматных задач и проч.

Конкретное решение проблем-головоломок, разумеется, неизвестно. Никто не возьмется разгадывать уже разгаданный и исписанный кроссворд и не будет думать над задачей, ответ на которую уже готов. В начале точного ответа на проблему-головоломку нет, но он достаточно жестко предопределен. Скажем, неизвестное слово, которое предстоит вписать в кроссворд, должно иметь определенное значение и согласовываться с другими, уже разгаданными словами.

Чтобы почувствовать силу предопределенности решения проблемы-головоломки, представим, что из двух наборов пазлов мы взяли по какому-то количеству пазлов и пытаемся составить требуемую игрой фигуру. Нет гарантии, что взятых пазлов будет достаточно для составления этой фигуры. А раз не существует гарантированного решения, то нет и самой головоломки.

Несмотря на видимость простоты и даже какой-то незатейливости риторических проблем, они очень широко распространены, а для многих являются даже любимым типом проблем. Уверенность в том, что решение проблемы несомненно существует и все зависит только от нашей настойчивости и сообразительности, — хороший стимул для того, чтобы увлечься головоломкой. Важно и то, что решение головоломки — неплохая модель творчества вообще. Человек при этом совершенствует свой ум, готовя его к решению реальных проблем.

Характер головоломок могут иметь не только задачи, предназначенные для забавы или тренировки ума, но и подлинно научные проблемы. В развитии научных теорий бывает период, когда развивающаяся теория уже относительно окрепла и устоялась и основные принципы ее ясны и не подвергаются сомнению. Это период так называемой нормальной науки. Как показал Т. Кун, в такого рода научной теории значительная часть решаемых проблем относится к типу проблем-головоломок<sup>1</sup>.

Твердая в своем ядре и апробированная во многих деталях теория задает основные положения и образцы анализа изучаемых явлений, определяет главные линии исследования и во многом предопределяет его результат. При этом исходные положения и образцы не подлежат никакому сомнению и никакой модификации, во всяком слу-

---

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. Гл. IV «Нормальная наука как решение головоломок».

чае, в своей основе. Естественно, что проблемы, которые ставятся в этих рамках, не столько изобретаются или открываются самим исследователем, сколько навязываются ему сложившейся и ставшей уже довольно жесткой теорией. Этим они напоминают обычные головоломки, которые придумывает один человек, а решает другой. Но еще более важно то, что все эти проблемы являются в принципе разрешимыми, причем круг поиска их решения ограничен, а основные линии поиска ясны еще до исследования. Как и в случае типичных головоломок, все сводится к изобретательности ума и настойчивости, а не к глубине мышления и его оригинальности.

Например, И. Ньютон утверждал в «Оптике», что свет — это поток материальных частиц, неких корпускул. Корпускулярная теория света господствовала в XVIII в. и определяла основные проблемы, связанные со светом. Из этой теории следовало, что существует давление световых частиц, ударяющихся о твердые тела, в принципе было также ясно, как это давление можно обнаружить. Оставался открытым вопрос о его величине, о том конкретном, очень тонком эксперименте, который позволил бы установить такую ничтожно малую величину. Эксперимент потребовал огромной изобретательности и удался далеко не сразу. Но в целом вопрос, на который он отвечал, имел все типичные свойства риторической проблемы.

Согласно современной физической теории, свет представляет собой поток фотонов, которые обнаруживают двойственную природу: они имеют некоторые свойства волн и в то же время некоторые свойства частиц. Исследование света протекает теперь в соответствии с имеющимся образцом волны-частицы, и проблемы, которые встают при исследовании света, определяются в своей основе данным образом. Это опять-таки риторические проблемы, но продиктованные уже совершенно иным образом — не оптикой Ньютона, а созданной в начале XX в. квантовой механикой.

На вопрос, в чем особая притягательность проблем стабилизировавшейся научной теории, хорошо отвечает Кун, предложивший сам термин «проблема-головоломка»: «Ученого увлекает уверенность в том, что если он будет достаточно изобретателен, то ему удастся решить головоломку, которую до него не решал никто или в решении которой никто не добился убедительного успеха. Многие из величайших умов отдавали все свое внимание заманчивым головоломкам такого рода. В большинстве случаев любая частная область специализации, кроме этих головоломок, не предлагает ничего такого, на чем можно было бы попробовать свои силы, но именно этот факт таит в себе тоже своеобразное искушение»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. С. 60—61.

Возможно, самая удивительная особенность проблем нормальной науки состоит в том, пишет Кун, что они в очень малой степени ориентированы на крупные открытия, будь то открытие новых фактов или создание новой теории<sup>1</sup>. Приняв парадигму [образцовую теорию], говорит Кун, научное сообщество получает критерий для выбора проблем, которые могут считаться в принципе разрешимыми, пока эта парадигма считается не требующей доказательства. В значительной степени это только те проблемы, которые сообщество признает научными или заслуживающими внимания членов данного сообщества. Другие проблемы, включая многие считавшиеся ранее стандартными, отбрасываются как метафизические, как относящиеся к компетенции другой дисциплины, или иногда только потому, что они слишком сомнительны, чтобы тратить на них время. Парадигма может даже изолировать ученых от тех социально важных проблем, которые нельзя свести к типу головоломок, поскольку их нельзя представить в терминах концептуального и инструментального аппарата, предполагаемого образцовой теорией. Одна из причин, в силу которых нормальная наука кажется прогрессирующей высокими темпами, заключается в том, что ученые концентрируют внимание на проблемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной изобретательности<sup>2</sup>.

Периоды, когда в научной теории возникает значительное количество проблем-головоломок, как правило, не особенно продолжительны. Они только на время определяют лицо научной теории. Для нее более характерен постоянный процесс развития и поиска.

Исследование природы и общества — сложный, внутренне противоречивый и динамичный процесс. Каждая теория, стремясь ко все более точному и адекватному описанию изучаемых явлений, постоянно подвергает критическому и конструктивному анализу не только свою периферию, но и свое ядро, свои основополагающие принципы. Поэтому область риторических проблем, решение которых в общих чертах предопределяется ядром теории, не может быть устойчивой в течение долгого времени. Эта область не остается также неизменной. С прогрессом теории и периодическим уточнением ею своих оснований круг выдвигаемых и ее рамках риторических проблем то расширяется, то сужается. Поэтому роль такого рода проблем в процессе познания мира не должна преувеличиваться. И в науке, и в других сферах человеческой деятельности всегда присутствуют проблемы всех возможных типов.

---

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. С. 57.

<sup>2</sup> Там же. С. 60.

В истории теоретического мышления была целая эпоха, когда значение риторических проблем явно переоценивалось. Эта эпоха — Средние века. Безраздельное господство религии привело к тому, что пера ставилась выше знания, религиозные догматы — выше того, что мог открыть человеческий ум. Предполагалось, что все истины о мире содержатся в Библии, а человеку остается только расшифровать их и правильно истолковать. Проблемы, навязывавшиеся философии и науке религией, были искусственными, далекими от реальной жизни. Они вытекали непосредственно из основных принципов религиозной доктрины и носили неприкрыто риторический характер, поскольку считалось, что на любой возникший вопрос в самой этой доктрине имеется недвусмысленный и окончательный ответ.

Например, средневековый схоласт задается вопросом, создан ли мир Богом. Из Библии прекрасно известен ответ на такой вопрос: да, это, несомненно, так. Причем справедливость ответа не может быть предметом какого-либо обсуждения. На долю схоласта остается лишь отыскание способа или метода, каким можно подтвердить этот ответ, поскольку задано направление движения мысли и указан пункт, в который оно должно привести. Таким образом, все дело сводится к хитрости ума и его изворотливости.

Иногда схоласту — «унылому наборщику готового смысла», по выражению О. Мандельштама, — приходилось проявлять чудеса изворотливости. Скажем, он твердо знал, что Бог создал мир из ничего. Отвечая на риторический вопрос, действительно ли это так, схоласт был вынужден проводить различие между обычным созданием одной вещи из другой и творением чего-то в условиях отсутствия всякого предварительного «материала». Конечно, такого рода «тонкие» различия можно было установить только с помощью интеллектуального мошенничества. Здесь схоластика перерастала в завуалированную софистику. Без обмана невозможно выдать за доказательство то, что на самом деле доказательством не является. Элементы интеллектуального обмана, софистики в дурном смысле этого слова, содержались, в общем-то, во всех схоластических «доказательствах».

Из опыта средневековой теоретической мысли вытекает, в частности и вывод, связанный с рассматриваемой темой. Риторические проблемы не только вполне законное, но и важное средство, используемое в процессе познания. Однако попытка свести все богатство и разнообразие проблемных ситуаций только к риторическим привела бы к существенному ограничению и обеднению человеческого мышления.

**Классические проблемы.** Намного сложнее и глубже риторических проблемы, которые можно назвать *классическими*. Это подлинно творческие проблемы, требующие не только определения общих кон-



туров решения, но и открытия того метода, с помощью которого это решение может быть достигнуто. Когда И. Ньютон задался вопросом, что представляет собой свет, не было ни знания, в чем мог бы заключаться ответ на этот вопрос, ни методов строгого изучения световых явлений. Конечно, это не значит, что не было никаких теорий света и что Ньютон начинал с нуля. Напротив, существовало даже слишком много таких теорий. Но все они были умозрительными, опирались на ограниченное количество фактов, известных из повседневного опыта: свет распространяется прямолинейно; одни тела прозрачны для него, другие нет; непрозрачные тела отбрасывают тень и т. п. Решение, которое искал Ньютон, должно было в принципе отличаться от всех этих теорий. Но в чем именно оно должно было состоять, Ньютон сначала и сам не представлял. Предстояло также выработать новые методы для изучения световых явлений, а не ограничиваться наблюдением их невооруженным глазом. Короче говоря, проблема, вставшая перед Ньютоном, была классической научной проблемой, требующей богатого творческого воображения, разрыва со сложившейся ошибочной или чересчур умозрительной традицией, настойчивости и изобретательности в реализации нового подхода к исследуемым явлениям.

Когда И. П. Павлов в конце XIX в. занялся изучением рефлексов, давно существовали и понятие рефлекса, и теории, объяснявшие с его помощью поведение животных. Согласно этим теориям, животные — это по сути машины, своего рода автоматы, однозначно, как бы по заложенной в них программе реагирующие на воздействия внешней среды. Павлову предстояло не только ответить точным, т. е. экспериментальным образом на вопрос, что представляет собой рефлекс, но и разработать сами экспериментальные методы, применимые для изучения рефлексов. Построенная Павловым и его учениками теория безусловных и условных рефлексов и была развернутым решением проблемы природы рефлексов живых существ.

Каждое крупное научное достижение, каждая новая теория и новая научная дисциплина начинаются именно с постановки проблем этого типа.

### § 3. Неявные проблемы

Проблемные ситуации последних четырех типов — это неявные проблемы, которые характеризуются тем, что имеется какое-то затруднение, недоумение, загвоздка, но нет открытого и прямо поставленного вопроса. Разумеется, между явными и неявными проблемами нет резкой границы. Особенно близки к неявным классические про-

блемы, содержащие минимум информации о своем решении и методе исследования. Многие классические проблемные ситуации можно представить так, что они окажутся почти неотличимыми от неявных проблем.

Приведем пример неявной проблемной ситуации пятого типа, когда есть метод, есть решение, но нет самого затруднения, которое удалось бы преодолеть с помощью данного метода. Один изобретатель, не задаваясь определенной целью, построил довольно сложный механизм. Это был длинный прямоугольный ящик, в который через боковые отверстия подавалась вода под большим давлением. Напор и направления струй были подобраны таким образом, что предмет, опущенный в ящик с одного его торца, выходил вместе с водой из отверстия в другом торце; в самом же ящике предмет подвергался сильным, но мягким ударам струй и, двигаясь по очень замысловатой траектории, ни разу не касался стенок ящика.

Изобретатель испытал свою конструкцию на бильярдных шарах, теннисных мячах и камешках разной формы. Механизм работал безукоризненно, но никакого практически полезного приложения для него не предвиделось, поэтому он был отставлен в сторону и забыт. Но однажды в случайном разговоре речь зашла о том, как трудно иногда приходится ресторанам с очисткой от скорлупы сваренных вкрутую яиц. Для разных салатов их нужно очищать сотни; дело это несложное, но им должны заниматься несколько человек. Услышав это, изобретатель тут же увидел проблему, для решения которой мог пригодиться заброшенный им за ненадобностью механизм. Испытав его в работе, он убедился, что дело идет прекрасно: чистые от скорлупы и от тонкой пленки яйца ровными аккуратными рядами выстраивались в помещенном у выходного отверстия решетчатом поддоне.

Неявные проблемные ситуации шестого еще одного типа характеризуются только наличием метода и ничем более. Не сформулирована проблема, к решению которой его можно было бы приложить, и нет того, что следовало бы считать решением этой, еще не сформулированной проблемы. Такие случаи обычны в абстрактной математике: ученый строит чистое, лишенное содержательной интерпретации исчисление, и только позднее обнаруживается, что оно годится для решения каких-то содержательно интересных проблем.

К этому типу проблемных ситуаций можно, по всей вероятности, отнести и те нередкие случаи, когда метод, разработанный в связи с одной проблемой, оказывается применимым к другой, совершенно не связанной с ней проблеме. Приведем пример, который еще раз подтверждает, что бывают ситуации, когда имеется только метод и задача заключается как раз в том, чтобы отыскать проблему, для решения которой он мог бы пригодиться. Н. В. Гоголь писал, что на бюро

у известного скряги Плюшкина лежало множество всякой всячины. Все эти совершенно ненужные и никчемные на посторонний взгляд вещи кропотливо собирались Плюшкиным для каких-то целей, предназначались им для решения некоторых, казавшихся ему важными, проблем. Но для каких именно целей и проблем, сам Плюшкин этого уже не знал. Не представлял он и того, как удалось бы при случае применить какую-то из этих вещей. Он копил все это «про запас», а вместе с тем все то, что могло найти применение, «сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве»<sup>1</sup>.

Неявные проблемные ситуации седьмого типа характеризуются тем, что есть только решение, но неизвестен вопрос, ответом на который оно являлось бы или могло бы быть, и неизвестен или не ясен конкретный метод, с помощью которого это решение получено. Примерами таких ситуаций могут служить исследования, ставящие перед собой один вопрос, но на самом деле оказывающиеся, в конечном счете, ответом на совсем другой, так и не заданный прямо вопрос. Метод в этих случаях вряд ли вообще может быть ясным. Великому поэту и выдающемуся ученому И. В. Гете не нравилась теория света Ньютона. Гете считал ошибкой, что при изучении такого естественного явления, как свет, используются отверстия, выделяющие узкий пучок света, призмы, разлагающие световой луч, и т. п. Свет следует наблюдать, полагал Гете, непосредственно, таким, как он существует в природе, без всяких искажающих его свойства искусственных приспособлений. Поставив задачу опровергнуть Ньютона, Гете построил собственную теорию световых явлений. Эта теория подверглась не только критике, но и осмеянию, особенно со стороны английских физиков. Сам Гете был, однако, твердо убежден в правоте своей теории и даже считал ее своим высшим научным достижением, не оставившим от авторитета Ньютона в оптике камня на камне.

Когда полемика между сторонниками теорий Ньютона и Гете отошла в прошлое, стало ясно, что последний решал — и в общем-то успешно — совсем не ту задачу, которую он ставил перед собой. Вопреки убеждению, ему не удалось ни опровергнуть, ни даже поколебать ньютоновскую оптику. Его собственная теория, как показал В. Гейзенберг, касалась на самом деле совсем другого класса физических явлений: она давала не экспериментальный, количественный анализ световых явлений, а качественное, без чисел, описание восприятия света и цвета человеческим глазом.

К неявным проблемным ситуациям данного типа близки и те довольно обычные случаи, когда исследование движется чувством, или,

<sup>1</sup> Гоголь Н. В. Мертвые души. М., 1967. С. 234.

как иногда бывает, страстью, а не желанием решить какие-то возникшие и прямо сформулированные вопросы или затруднения. «Живое предчувствие, возникающее в ходе непредубежденного размышления, ведет нас к пониманию чрезвычайно важных обстоятельств, прослеживая которые, мы можем подтвердить достоверность своих предчувствий. Предчувствие — эмоциональный путеводитель всех открытий»<sup>1</sup>.

Имплицитное решение одной проблемы под видом эксплицитного решения совершенно иной проблемы — ситуация, нередкая даже в научном исследовании. «Когда мы говорим о некоторой проблеме, мы почти всегда делаем это задним числом, исходя из того, что уже совершено. Человек, работающий над проблемой, нередко не в состоянии ясно сказать, в чем она состоит (до того, как он ее решит), и даже тогда, когда он может объяснить, в чем состоит его проблема, это объяснение может оказаться ошибочным. И это справедливо даже по отношению к ученым, хотя ученые и принадлежат к числу тех немногих, кто сознательно старается до конца понять свои проблемы. Например, Кеплер считал, что его проблема состоит в том, чтобы обнаружить гармонию мирового порядка, однако мы можем сказать, что он решал проблему математического описания движения планетарной системы, состоящей из двух тел. Аналогично Шрёдингер ошибочно полагал, что проблема, которую он решил, выведя (стационарное) уравнение Шрёдингера, связана с поведением волн плотности электрического заряда в непрерывном поле. Позже Макс Бори предложил статистическую интерпретацию шрёдингеровской волновой амплитуды, интерпретацию, шокировавшую Шрёдингера, который не примирился с ней до самой своей смерти. Он действительно решил проблему — но не ту, которую думал, что решил. И это мы теперь знаем задним числом»<sup>2</sup>.

**Антиномии и апории.** Проблемные ситуации седьмого типа, когда проблемы явно не формулируются, а указывается только их решение, к тому же без ясного определения метода, каким оно получено, чрезвычайно характерны для древнего (античного) мышления. Так, древнегреческий философ Горгий написал сочинение с интригующим названием «О несуществующем, или О природе». Это сочинение до сих пор вызывает споры и пока не нашло убедительного истолкования. Высказывается даже предположение, что Горгий написал его ради шутки, чтобы разыграть других философов, склонных спорить по каждому поводу и любивших спор ради него самого. Возможно,

---

<sup>1</sup> Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Общество, культура, философия. М., 1983. С. 36.

<sup>2</sup> Поннер К. Логика и рост научного знания // Избранные работы. М., 1988. С. 544.

Горгий хотел показать одновременно и силу и слабость строгого логического доказательства: доказать можно все что угодно, даже то, что природа не существует; но никакое доказательство не является настолько твердым, чтобы его не удалось поколебать.

Рассуждение Горгия о несуществовании природы разворачивается так. Сначала доказывается, что ничего не существует. Как только доказательство завершается, делается как бы шаг назад и предполагается, что нечто все-таки существует. Из этого допущения выводится, что существующее непостижимо для человека. Далее делается еще один шаг назад и предполагается вопреки казалось бы уже доказанному, что существующее все-таки постижимо. Из последнего допущения выводится, что постижимое невыразимо и необъяснимо для другого. Это рассуждение, складывающееся из противоречащих друг другу утверждений, — хороший пример выдвигения проблем в форме *антиномий*, т. е. в форме противоречий.

Какие именно проблемы хотел поставить Горгий? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Очевидно, что рассуждение Горгия сталкивает нас с противоречиями и побуждает искать выход, чтобы избавиться от них. Но в чем именно заключаются проблемы, на которые указывают противоречия, в каком направлении искать их решение, совершенно неясно.

С неясностью проблемы, поставленной в антиномической форме, всегда связано многообразие решений, которые предлагаются для устранения антиномии. Каждый видит в ней свой вопрос и предлагает собственное решение. В частности, Гегель видел в рассуждении Горгия полемику с наивным представлением, будто все, что человек ощущает или о чем он размышляет, на самом деле реально существует. Однако наши чувства могут обманывать нас, а размышлять можно и о том, чего вообще нет.

За странным рассуждением Горгия можно усмотреть и другие проблемы. Какие именно, в данном случае не так уж существенно. Важно, что они есть. Они многообразны, не связаны однозначно с данным рассуждением и меняются с изменением того контекста, в котором рассуждение рассматривается.

Впечатление путаницы и противоречивости производят и изречения древнекитайского философа Хуэй Ши. О нем известно, что он был очень разносторонним человеком, а его писания могли заполнить пять повозок. Он, в частности, утверждал: «То, что не обладает толщиной, не может быть накоплено, и все же его громада может простираться на тысячу ли. — Небо и земля одинаково низки; горы и болота одинаково ровны. — Солнце, только что достигшее зенита, уже находится в закате; вещь, только что родившаяся, уже умирает. — Южная сторона света не имеет предела и в то же время

имеет предел. — Только сегодня отправившись в Юэ, туда я давно уже прибыл».

Сам Хуэй Ши считал свои изречения великими и раскрывающими самый потаенный смысл мира. Критики находили его учение противоречивым и путаным и заявляли, что его пристрастные слова никогда не попадают в цель. Например, в древнем философском трактате «Чжуан-цзы» говорится: «Как жаль, что свой талант Хуэй Ши бездумно растрачивал на не нужное и не достиг истоков истины. Он гнался за внешней стороной тьмы вещей и не мог вернуться к их сокровенному началу. Это как бы пытаться убежать от эха, издавая звуки, или пытаться умчаться от собственной тени. Разве это не печально?» Сказано хорошо, но вряд ли справедливо.

Впечатление несерьезности проблем, которые выдвигает Хуэй Ши, связано прежде всего с внешней стороной дела, а именно с тем, что он ставит свои проблемы в антиномической, парадоксальной форме. Если его и можно в чем-то упрекнуть, то лишь в том, что вы-движение проблемы он почему-то считает и ее решением.

Как и в других антиномиях, трудно сказать с определенностью, какие именно конкретные вопросы стоят за афоризмами Хуэй Ши. Скажем, на какое интеллектуальное затруднение намекает его заявление о том, что человек, только что отправившийся куда-то, давно туда уже прибыл? Можно истолковать это так: прежде чем отбыть в определенное место, надо его представить себе и тем самым как бы побы-вать там. Человек, направляющийся, подобно Хуэй Ши, в Юэ, постоянно держит в уме этот пункт и в течение всего времени продвижения к нему как бы пребывает в нем. Но, с другой стороны, если человек, только отправившийся в Юэ, давно уже там, то зачем ему вообще от-правляться туда? Короче говоря, не вполне ясно, какая именно труд-ность скрывается за этим простым изречением. Но то, что какая-то проблема здесь есть, несомненно.

Одна черта, восходящая еще к мифологическому мышлению, со-храняется и в современном мышлении: осознание проблемной ситуа-ции нередко переплетается с самим процессом поиска выхода из нее. Проблема формируется и уточняется по мере исследования, происхо-дящего без четкого плана и ясно выраженной цели. Окончание иссле-дования оказывается одновременно и формулировкой самой решав-шейся в нем задачи.

В подмене проблем, в их смутности и подчас невыразимости, в постепенном прояснении проблемной ситуации по мере ее разре-шения — во всем этом нет ничего странного с точки зрения общего характера творчества, в том числе научного творчества. Подлинный творец — всегда первопроходец. Акт творчества не преследует заранее заданную, внешнюю цель, продукт его во многом непредсказуем и не

выводим из начальных условий. Часто творец не знает, что именно он хочет сказать, до того как скажет что-то. Он осознает свою цель по мере того, как открывает пути к ее достижению. Творчество – это всегда преобразование, трансформация как того, что имело вначале, так и того, что было промежуточным результатом. Преобразующая природа творчества проявляется и в том, что, формируя, уточняя и интегрируя открывающиеся возможности, творец одновременно конкретизирует и видоизменяет стоящую перед ним задачу.

Невеста одного американца, перед тем как подписать брачное свидетельство, потребовала с него письменное обещание, что он не сделается космонавтом, не будет посещать другие планеты и не станет ухаживать за женщинами других цивилизаций. Этот американец работал мойщиком окон, ему было уже за пятьдесят, и нужно было обладать большой фантазией, чтобы предположить, что со временем он может стать космическим дон жуаном.

Здесь как будто решена проблема, которой вообще нет. Нет и способа приложения этого решения в реальной жизни. Таким образом, бывают – и нередко – случаи, когда проблема заключается именно в том, чтобы отыскать проблему.

К рассматриваемому типу проблемных ситуаций, когда есть решение, но не известно, ответом на какой именно вопрос оно является, близка так называемая *апория* (в буквальном переводе с древнегреческого – «затруднение», «недоумение»). Наиболее известны апории, сформулированные древнегреческим философом Зеноном Элейским. В них рассказывается о быстроногом Ахилле, который не способен догнать медлительную черепаху; о брошенной стреле, которая не только не долетит до цели, но даже не сдвинется с места, и т. п. Эти и подобные им апории теперь признаны подлинными парадоксами, связанными с возможностью описать движение без противоречия.

Апории очень близки к антиномиям, но все-таки отличаются от них в одном важном моменте. Антиномия представляет собой два несовместимых утверждения, одно из которых отрицает другое. Апория же выдвигает и обосновывает положение, явно противоречащее нашему опыту.

Мы знаем, например, что человек способен догнать и перегнать черепаху. Но вот появляется мудрец и, как представляется, убедительно доказывает, что это невозможно. Возникает противоречие между тем, что уже известно из непосредственного опыта, и тем, что выводится путем рассуждения. Это противоречие и составляет основу апории и фиксируемой ею проблемы.

Апории встречаются и сейчас, в современном мышлении и в сегодняшней науке. Всякий раз, когда принятая и хорошо апробированная теория вдруг резко расходится с достаточно твердо установ-

ленными фактами, можно говорить о возникновении проблемы. И эта проблема будет относиться к тому роду затруднений, которые в древности называли апориями. Например, очевидно, что окружающий нас мир, несмотря на происходящие в нем постоянные изменения, в определенном смысле устойчив. Одни и те же вещества постоянно имеют одни и те же свойства, образуются одни и те же кристаллы, возникают одни и те же соединения и т. д. И после многих изменений, вызванных воздействием извне, атом, допустим, железа, в конце концов, остается тем же атомом железа с теми же самыми свойствами. Мы постоянно наблюдаем в природе тенденцию к образованию определенных форм и к воспроизведению их заново даже тогда, когда они нарушены или разрушены. Устойчивость живых организмов, образование сложнейших форм, которые к тому же способны существовать всегда лишь как целое, — явления этого же рода.

Устойчивость мира — очевидный факт. Но оказывается, с точки зрения классической механики Ньютона, подобная устойчивость в принципе недостижима. В свете данной теории эта постоянно проявляющаяся особенность природы выглядит подлинным чудом, которое невозможно объяснить. Это противоречие между теоретическим рассуждением и опытом — типичная апория. Оно обсуждалось в 1922 г. двумя, тогда еще молодыми физиками Н. Бором и В. Гейзенбергом, о чем последний вспоминает в своей книге «Часть и целое». Бор, в частности, сказал тогда, что именно размышление над данным затруднением заставило его отказаться от классической механики при объяснении внутреннего строения атома<sup>1</sup>.

**Миф, притча, сказка.** К последнему, восьмому типу проблемных ситуаций относятся наиболее неявные из всех неявных проблем: нет самой проблемы как четко сформулированного вопроса, требующего исследования, есть только какое-то затруднение, какая-то неловкость; нет намек на метод, как можно было бы справиться с данным затруднением; и нет, разумеется, того, что уместно было бы назвать решением проблемы. Может показаться, что ситуация, когда есть только очень неясное затруднение и ничего более, не относится к проблемным. Однако реальная практика научного исследования говорит, что это не так: многие крупные научные проблемы в период своего становления ощущались и осмыслились именно как невятные, неизвестно о чем говорящие затруднения.

Прекрасным примером такого рода неявных проблемных ситуаций, породивших — только через века — важные явные научные и философские проблемы, являются софизмы древних. Софизмы, как

---

<sup>1</sup> Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. М., 1980. С. 63–64.



особая форма постановки проблем, появились на довольно высоком уровне развития человеческого мышления. В мышлении первобытных людей, строившемся по образцу мифа, одним из способов выражения проблемной ситуации была предшественница софизма — парабол.

Слово «парабола» означает не только определенной формы незамкнутую кривую, но и иносказание, нравоучение. В притче «Перед параболами» Ф. Кафка пишет: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: “Иди туда»”, то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное “там”, нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить»<sup>1</sup>. Это хорошая характеристика софизма и вместе с тем указание на внутреннее родство его с параболой, иносказательным поучением, притчей.

Английский философ Ф. Бэкон посвятил истолкованию мифов интересную книгу «О мудрости древних». Здесь он перевел содержание многих мифов на современный ему язык. Эти «переводы» несколько наивны и прямолинейны, с нашей точки зрения, но хорошо показывают, что при самом, простом — буквальном — истолковании мифов в них упускается наиболее интересное и важное. Мифы складывались веками, в них запечатлелась глубокая народная мудрость. Чтобы постичь ее, надо выявить их скрытый и тайный смысл, расшифровать их иносказания.

Вот как Бэкон истолковывал известный миф о Дедале. Согласно мифу, за убийство своего соученика и соперника Дедал был вынужден жить в изгнании, но его с радостью принимали и цари и города. Дедал создал множество замечательных произведений. Особенно он прославился дерзкими и запретными творениями. Так, он придумал и выстроил лабиринт, из которого невозможно было найти выход, — сооружение, по словам Бэкона, «омерзительное и нечестивое по своему назначению и в то же время изумительное и великолепное по мастерству». Позднее, чтобы не быть известным лишь злыми делами и создавать не только орудия преступления, но и средства против них, он дал гениальный совет воспользоваться нитью, для того чтобы выбраться из хитросплетений лабиринта. В конце концов, Дедал научил своего сына Икара летать, а тот, еще неопытный, стал хвастать своим искусством и упал с неба в море.

Смысл этой параболы, по Бэкону, таков. В самом начале речь идет о том, что всегда поджидает замечательных мастеров и удивительным образом господствует над ними, — о зависти. Нет такой категории людей, которые бы сильнее, чем они, страдали от острей-

<sup>1</sup> Кафка Ф. Избранные произведения. М., 1963. С. 244.

важно убийственной зависти. «Великолепна и аллегория лабиринта, изображающая общую природу механики. Ведь все эти хитроумные и тщательно изготовленные произведения механического искусства могут считаться чем-то вроде лабиринта по тонкости работы, исключительной сложности их конструкции и видимому сходству частей, что делает их недоступными для суждения и позволяет разобраться в них лишь с помощью нити опыта. Не менее удачно и упоминание о том, что тот же самый человек, который придумал лабиринт с его извилинами, указал и нить спасения: ведь механические искусства могут приводить к противоположным результатам, могут приносить вред, но и находить средство исправить его, и в их силах развеять собственные чары»<sup>1</sup>.

Конечно, такое истолкование мифа о Дедале не является единственным возможным. Оно относится к самому началу XVII в., и реконструкция проблем, поднимаемых мифом, и выводимая в итоге мораль во многом определяются духом того времени. Но эта реконструкция выразительно показывает, что миф далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд. За бесхитростным рассказом о богатой событиями жизни Дедала скрываются глубокие вопросы. Миф ставит их в непривычной для нас форме — в форме параболы. И он же дает на них своеобразные ответы — неявные, требующие размышления и расшифровки.

Бэкон пытался ответить на вопрос, в чем причина того, что самые глубокие проблемы, касающиеся смысла жизни и назначения человека, его места в мире, принимали когда-то вид иносказания, параболы: «Когда речь идет о новых открытиях, далеких от представлений толпы и глубоко скрытых от нее, нужно искать более удобный и легкий доступ к человеческому пониманию через параболы. Поэтому в древности, когда открытия и заключения человеческого разума — даже те, которые представляются теперь банальными и общеизвестными, — были новыми и непривычными, всюду мы встречаем всевозможные мифы, загадки, параболы, притчи, к которым прибегали для того, чтобы поучать, а не для того, чтобы искусно скрывать что-то, ибо в то время ум человеческий был еще груб и бессилён и почти не способен воспринимать тонкости мысли, а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства»<sup>2</sup>.

В своей основе этот ответ правилен. Для неискушенного в теоретизировании первобытного человека, не отделяющего себя отчетливо от окружающей природы, мало знающего о себе и о ней, мыслящего образами и живущего эмоциями, повествование со скрытым в

---

<sup>1</sup> Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1972. С. 353—355.

<sup>2</sup> Там же.

его глубине смыслом было единственным способом выразить волнующие его, но ему самому не вполне ясные проблемы.

Первобытное мышление, создавшее мифы и искренне верившее всему, что говорилось в них, давно отошло в прошлое. Но иносказание, притча, парабола как особые формы выражения проблемных ситуаций сохранились до наших дней. Приведенные выше слова из маленькой притчи Ф. Кафки — хороший пример проблем-парабол уже в современном мышлении.

К иносказаниям, понятым как своеобразный способ постановки проблем, в чем-то близки *афоризмы*, *максимы* и *сентенции*. «Одинокий человек всегда в дурном обществе» (П. Валери), «Радости оплодотворяют. Скорби рожают» (У. Блейк) — подобные афоризмы не просто констатируют что-то общеизвестное, мимо чего можно равнодушно пройти, а склоняют к размышлению и требуют, подобно вопросу, ответа «да» или «нет». Проблемные ситуации порождают также *эпиграммы*, *каламбурами*, *анекдотами* и вообще всеми проявлениями комического в интеллектуальной сфере.

*Сказки*, возникшие гораздо позднее мифов и прекрасно чувствующие себя и в наше время, тоже являются иносказаниями. Они повествуют о событиях, происходящих в каком-то ином мире, только отдаленно напоминающем наш. И вместе с тем они в своеобразной форме, особенно интересной и понятной детскому уму, ставят какие-то вопросы и одновременно отвечают на них. «Сказка ложь, да в ней намек...», — заметил А. С. Пушкин.

Американский филолог Д. Пайпс написал социально-историческое эссе «Испытания и горести Красной Шапочки», ставшее в свое время бестселлером в США и Западной Европе. Пайпс прослеживает многовековую эволюцию внешне очень простой истории о том, как маленькая девочка отправилась в гости к бабушке и случайно встретила в лесу волка.

Первые сказки о Красной Шапочке появились еще в XV в. Начало их было такое же, как и в более поздних вариантах, но в конце девочке хитростью удавалось освободиться и вернуться домой целой и невредимой. В XVII в. в сказке французского фольклориста Шарля Перро этот первоначальный вариант был преобразован в соответствии с требованиями морали того времени. Перро рассказывает, как Красная Шапочка, забыв справедливые наставления родителей, завязала разговор с волком, т. е. с неизвестным ей лицом. За это непослушание она и была съедена. Таким образом, автор осуждает свою героиню и всех, кто поступает как она, за кокетство с незнакомцами и выводит мораль: послушание родителям всегда вознаграждается.

В XIX в. в сказке братьев Grimm Красная Шапочка стала уже примером невинной жертвы. Ужасный конец был отброшен, поя-

вился новый персонаж — храбрый охотник, спасающий и героиню, и ее бабушку. Сама идея послушания родителям осталась, но к ней добавилась идея надежды на сильного покровителя, представленного охотником, восстанавливающего в нужных случаях справедливость.

В разное время один и тот же сюжет истолковывался по-разному, в нем виделись свои проблемы и предлагались свои решения. Это вообще характерно для проблем, формулируемых в притчах и сказках. Они предстают не в виде вопросительного предложения, а в виде рассказа, констатирующего, как правило, необычные события. Попытка перевести неявную формулировку в открытый вопрос в разных контекстах дает разные результаты. И никогда нет полной уверенности в том, что принятый «перевод» является единственно возможным или наиболее удачным.

На примере сказки о Красной Шапочке можно выявить различие иносказания и софизма. Как способы постановки проблем они во многом сходны, но между ними есть и существенная разница. В мифе, притче, сказке содержится не только неявная, требующая расшифровки проблема, но и определенный намек на ее решение. Мораль, выводимая из иносказания, оказывается одновременно и формулировкой вопроса, и ответом на него. В частности, история о Красной Шапочке в изложении Перро содержит вопрос, следует ли девушке быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор с незнакомцем. И тут же сюжет подсказывает ответ: сдержанность, к которой призывали родители, конечно же, оправдала бы себя.

Софизм как особая форма осознания проблемной ситуации возник на более высокой ступени развития человеческого мышления, чем иносказание. В софизме разделилось то, что раньше в иносказании было слитным. Постановка проблемы и поиск ее решения стали двумя самостоятельными действиями, разделенными во времени.

Таким образом, миф и сказка, как и вообще любое иносказание, ставят вопросы и отвечают на них. Ставят непрямо и отвечают моралью, требующей, чтобы ее извлекли и осмыслили. Но если вдуматься, то станет понятно, что и все другие формы искусства, все иные способы осмысления мира в художественных образах выражают проблемы и решают их во многом подобно тому, как это делают иносказания. Возможно, еще более непрямо, чем иносказания, и без обязательной «морали», довольно прозрачной в иносказаниях, но все-таки сходным с иносказаниями способом, сплетающим воедино постановку проблемы и поиск ее решения.

Интерес к софизму, сказке, иносказанию, притче легко объясним. Сходным образом нередко ставятся проблемы в социальных и гуманитарных науках.

В заключение обсуждения проблемных ситуаций в науке полезно подчеркнуть опасность поверхностного подхода к научным проблемам. На первый взгляд, проблема может показаться банальностью, а неявная проблема — даже нелепостью. Только долгое и тщательное осмысление проблемы способно раскрыть ее действительный смысл и подлинную глубину. Попытка решить непродуманную и не раскрытую до конца проблему может оказаться безуспешной.

Здесь полезно вспомнить шуточный афоризм: «Проблемы, как и зубы, следует рвать с корнем». Не добравшись до корней, не нужно поспешно «дергать» проблему и удовлетворяться скоропалительным, первым пришедшим в голову решением. Оставшаяся нераскрытой ее часть может привести к абсцессу.

Ухватить трудность на глубине, — писал Л. Витгенштейн, — вот что сложно. Если схватить ее близко к поверхности, она останется той же, что и была. Ее нужно вырвать с корнем. Это означает, что надо начать думать об этих вещах по-новому. Подобный переход столь же радикален, как, например, переход от алхимического способа мышления к химическому. В переходе к новому способу мышления и заключается основная трудность.

Мысль Витгенштейна проста. В решении встающий в процессе научного исследования проблем необходим определенный радикализм, полумеры чаще всего ничего не дают. Нередко, для того чтобы осознать подлинную сущность проблемы, приходится совершенно по-новому подходить к вещам, казавшимся известными. Это новое и более глубокое видение и представляет главную трудность. Если проблема неправильно или неглубоко понята, могут стать бесполезными все последующие усилия, имеющие целью прояснение и решение проблемы.

Неявные проблемы легко просмотреть или отнестись к ним, как к чему-то, недостойному серьезного внимания. Незамеченная, отброшенная с порога проблема в любой момент может сыграть роль того не приметного в ночи айсберга, который способен внезапно разрушить самое современное и технически оснащенное судно. Проблемы разнородны. Неправильное определение типа рассматриваемой проблемы неизбежно ведет к тому, что аргументация, призванная поддержать предлагаемое решение проблемы, окажется чрезмерно упрощающей ситуацию, а возможно, и бьющей мимо цели.

## *Глава XIII*

# НАУКА И ОБЩЕСТВО

### **§ 1. Внутренние и внешние факторы развития научных теорий**

В философии науки прошлого века противостояли друг другу два представления о движущих силах развития науки — *интернализм* и *экстернализм*. Они по-разному объясняли возникновение и развитие научных идей и теорий. Согласно интернализму, представителями которого были А. Койре, А. Р. Холл, П. Росси и др., наука развивается только благодаря внутренним факторам: в силу объективной логики возникновения и решения научных проблем, благодаря эволюции научных традиций, вследствие внутренней потребности самой науки проводить эксперименты, создавать новые понятия и теории и т. п. Экстернализм (Б. Гессен, Д. Бернал, Дж. Холдейн, Д. Нидам и др.) объяснял развитие науки главным образом социально-экономическими, вненаучными факторами. При изучении науки основной задачей считалось описание тех социально-культурных условий, в которых возникают и развиваются конкретные научные теории.

Например, научную революцию XVI–XVII вв., приведшую к возникновению современной науки, интерналисты объясняли отказом от античного понятия упорядоченного Космоса и заменой его понятием гомогенного, изотропного и бесконечного пространства. Экстерналисты, напротив, представляли эту революцию следствием развития машинного производства и формирования капиталистических отношений. Согласно интернализму, социально-экономические, культурные, личностные факторы, оказывающие воздействие на развитие науки, способны только затормозить или ускорить имманентное развитие научного познания. По мнению экстернализма, наука развивается, реагируя на воздействие внешней, социально-культурной среды, в которой протекает процесс научного исследования.

И интернализм и экстернализм являются крайними и в основе своей ошибочными позициями. В науке, несомненно, существует преемственность идей, новые научные теории возникают в результате критики и отвержения прежних теорий. Нельзя каждое научное

достижение рассматривать как ответ на назревшую социальную потребность. Вместе с тем наука всегда существует в определенном социальном контексте и испытывает постоянное влияние со стороны культуры того общества, в рамках которого она развивается. Целые научные области и направления могут возникать благодаря новой общественной потребности. Примерами могут служить создание все новых видов вооружений, в частности ядерного оружия, вычислительной техники в ответ на ясно выраженные социальные запросы. История науки при описании развития науки должна соединять влияние культуры на науку с филиацией научных идей, последовательным продолжением того, что говорилось в конкретных областях знания на предшествующих стадиях их развития.

## § 2. Понятие стиля мышления

Воздействие общества и его культуры на развитие науки наиболее наглядно можно проследить на примере *стиля научного мышления*. Последний является преломлением в сфере научного мышления того общего стиля мышления, который господствует в определенный исторический период, а в более широком плане — стиля мышления конкретной исторической эпохи.

Если принимать во внимание только стиль мышления, можно сказать, что ученые мыслят точно так же, как все другие люди своей эпохи. «Мышление ученого не отличается от мышления ребенка» — это высказывание Нобелевского лауреата по химии М. Салама справедливо, если имеется в виду зависимость стиля научного мышления от того стиля мышления, который диктуется человеку культурой его эпохи.

Социальный мир, в котором живут и трудятся люди, активно конструируется ими самими в ходе их социальной деятельности. Это происходит по преимуществу не осознаваемо для них. С другой стороны, общество с помощью самых разнообразных средств социализирует индивида, формирует из него личность, приспособленную к жизни в определенной социальной среде.

Социализация индивида является предпосылкой нормального функционирования любой социальной системы. Социализация осуществляется путем согласования поведения индивида с поведением других людей и их групп, на основе усвоения им определенных норм и ценностей. В этом процессе существенную роль играют подражание, социальное внушение, «психическое заражение» и т. п. В социально-психологическом плане социализация означает стремление к соответствию каким-то признанным или требуемым стандартам. Иногда че-

ловек принимает стандарты, навязываемые ему группой, к которой он принадлежит, чисто внешне, не отказываясь от своих взглядов, но и не противопоставляя их групповому консенсусу. Но чаще под влиянием социальной среды индивид меняет свои первоначальные убеждения. Господствующее мнение усваивается обычно не в силу особой вескости приводимых в поддержку этого мнения аргументов, а из боязни неодобрения действий индивида группой.

Наиболее сильным мотивом для вытеснения тех мнений и представлений индивида, которые не согласуются с групповыми представлениями, является боязнь изоляции и остракизма, изгнания из группы. Для человека, насколько он человек, т. е. насколько он превосходит природу и осознает себя и свою смертность, чувство полного одиночества и обособленности близко к умопомешательству. Человек как животное боится смерти, а человек как социальное существо боится безумия. Ему нужно поддерживать отношения с другими людьми, находиться в единстве с ними, чтобы остаться в здравом уме. Эта потребность быть вместе со всеми другими является сильнейшей страстью, нередко более сильной, чем само желание жить.

В процессе социализации индивид обычно не ощущает никакого особого группового давления или принуждения. Иногда даже сам факт выбора групповых ценностей и норм поведения ускользает от внимания человека, расстающегося с какими-то своими прежними ценностями и нормами.

*Социальное действие* — это действие, учитывающее установки других людей, их цели, убеждения, оценки и т. д. Человек смотрит на мир своими глазами, но видит его через призму тех представлений, которые сложились в окружающей этого человека социальной среде. Социализация индивида не является каким-то кратким процессом обучения его основам социальной жизни. Социализация начинается с момента рождения человека и продолжается до самой его смерти. Механизмы, используемые в процессе социализации, простираются от обучения родному языку и усвоения традиций своего общества до привития индивиду определенных вкусовых предпочтений и внушения ему более или менее ясных представлений о вкусе и моде.

Особую роль в процессе социализации играет навязываемый индивиду обществом стиль мышления. Каждая историческая эпоха смотрит на мир своими глазами, пользуется своей специфической системой мыслительных координат. В истории мышления отчетливо выделяются пять основных периодов развития, соответствующих главным этапам развития общества. Стили мышления, последовательно сменявшие друг друга, таковы: *первобытный, древний (или античный), средневековый, стиль мышления Нового времени и современный стиль мышления.*



*Стиль мышления эпохи* — это совокупность глобальных, по преимуществу имплицитных предпосылок мышления конкретной эпохи, те, почти незаметные для нее очки, через которые она смотрит на мир и которые не годятся для другой эпохи. Стиль мышления представляет собой сложную, иерархически упорядоченную систему неявных доминант, образцов, принципов, форм и категорий теоретического освоения мира. Эта система изменяется во времени, она подчинена определенным циклам, постоянно воспроизводит свою структуру и обуславливает специфическую реакцию на каждый новый включаемый в нее элемент. Иными словами, стиль мышления подобен иерархически организованному живому организму, проходящему путь от рождения до старости и смерти, непрерывно возобновляющему себя и придающему своеобразие всем протекающим в нем процессам.

Стиль мышления исторической эпохи — это как бы ветер, господствующий в эту эпоху и непреодолимо гнуший мышление всех, живущих в данное время, в одну и ту же сторону. Ограничения, диктуемые стилем мышления, почти не осознаются и не подвергаются исследованию теми, кто его разделяет. Только новая эпоха, вырабатывающая собственное, более широкое теоретическое видение, начинает замечать то массовое летаргическое состояние, которое сковывало умы предшественников, ту общую, или, как говорят, систематическую ошибку, которая сдвигала и искажала все.

Стиль мышления складывается под воздействием культуры как целого и является фактором, опосредствующим ее влияние на мышление. Задавая горизонт мышления и общие схемы его подхода к действительности, стиль мышления оказывает, в конечном счете, воздействие на все аспекты мыслительной деятельности в конкретную эпоху.

В каждый конкретный период времени помимо общего стиля мышления, распространяющегося на всех, кто живет в данный период, имеются стили мышления в различных частных и узких областях приложения мышления. Можно говорить, например, о *стиле научного мышления* и ставить вопрос о том, в каких аспектах научное мышление Нового времени отличалось от современного научного мышления. Можно говорить также о стиле естественнонаучного или социального мышления какой-то эпохи или более узкого промежутка времени, о стиле художественного мышления и т. п.

Социальная природа человека как теоретического существа проявляется в том, что он принимает как нечто само собой разумеющееся доминирующий в его обществе и в его среде стиль мышления. Эта принимаемая почти без всякого анализа система мыслительных привычек определяет горизонт мышления отдельного индивида, способ постановки им проблем, круг тех решений, которые он способен предложить, и т. д.

Человеку только кажется, что его мысль совершенно свободна. В действительности она движется в том достаточно узком коридоре, который задается стилем мышления соответствующей эпохи и стилем мышления той группы, к которой принадлежит человек. Именно в этом смысле говорят, что никто не может подняться над своим временем, над своей эпохой, выйти из истории и рассматривать исследуемые объекты с какой-то абсолютной, внеисторической, и потому совершенно объективной позиции.

Интерес к понятию стиля мышления вызван прежде всего общей, начавшей складываться еще в XIX в. идеей, что познание детерминировано не только изучаемым объектом, но и социальными, меняющимися в ходе истории факторами. Стиль мышления — один из наиболее существенных элементов в механизме социально-исторической детерминации науки.

Здание современного мышления выросло в лесах предшествующих стилей мышления. И хотя эти леса давно сняты, оно во многом сохраняет на себе их черты. Изучение стилей мышления разных эпох в двойном смысле важно для истории и методологии науки. Прежде всего, воздействие стиля мышления сказывается на всех аспектах теоретизирования, начиная с формы постановки проблем, приемов исследования и обоснования и кончая манерой изложения полученных выводов и последующими спорами вокруг них. Даже мошенничество в теоретической сфере в рамках каждого из стилей имеет своеобразный характер. Без учета влияния этой общей для многих теорий среды невозможно ни отчетливое понимание отдельных теорий, ни сопоставление разных теорий на фоне одного и того же стиля мышления, ни тем более сопоставление теорий, относящихся к разным стилям мышления.

Далее, особый интерес представляет то, что имеется строгая и отчетливая параллель между развитием теоретического мышления как последовательной сменой стилей мышления, с одной стороны, и развитием отдельных теорий и концепций, с другой. Развитие теории во многом повторяет историю теоретизирования. В частности, существует несомненное сходство между средневековым (схоластическим) теоретизированием и теоретизированием в рамках так называемой нормальной науки<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> О стилях мышления исторических эпох и близости стиля мышления «нормальной» науки к схоластическому теоретизированию см.: *Ивин А. А.* Стили теоретического мышления и методология науки. М., 1982; *Он же.* Стиль теоретического мышления и внешние ценности научной теории // Язык и логика. М., 1990; *Ivin A. A.* The Evolution of Theoretical Thinking // The Open Courtain. San Fransisco, 1991.

В русле общей проблематики изучения стилей мышления находятся работы Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, посвященные критике «классического» мышления, анализу той особой «области опыта», которая образует основу и предпосылку всех установок человеческого сознания и потому остается непроясненной средствами обычного теоретического мышления. В частности, Хайдеггер очерчивает три разных «эпохи мысли», сменявшие друг друга: античная «первая философия» с ее вопросами о сути сущего; христианское учение с его ответами о сотворенности сущего; философские концепции Нового времени с их методами внедогматического обоснования сущего, исходя из достовернейшего бытия субъекта, человеческого сущего. Хайдеггер называет XIX в. «непроглядным», «самым темным» в европейской истории, «отгородившим Ницше от великих мыслителей и затуманившим для него осмысленную связь времен»<sup>1</sup>. Очевидно, что «темнота» XIX в. связана прежде всего с явно обозначившимся «разрывом времен», зарождением в этот период новой культуры и соответствующего ей современного стиля мышления. У истоков его стоял в частности и Ницше<sup>2</sup>.

Идея сменяющих друг друга «стилей теоретизирования» обсуждалась О. Шпенглером, М. Шелером, Т. Парсонсом, Р. Бартом, Ж.-П. Сартром и др.<sup>3</sup> Л. Витгенштейн, испытывавший влияние Шпенглера, полагал, что существует «семейное сходство» между различными элементами одной и той же культуры: ее математикой, архитектурой, религией, политическими организациями и т. д. Одно из выражений этого сходства — свойственный культуре единый способ теоретического видения мира. Закат культуры есть разрушение сходства ее элементов, их рассогласование и, как следствие, разрушение характерного для нее видения мира<sup>4</sup>.

Стили научного мышления анализировались в рамках так называемой исторической школы в методологии науки Т. Куном, И. Лакатосом, П. Фейерабендом и др. Нередко идея, что мышление зависит от исторически детерминированных общих предпосылок, выражается без использования самого понятия стиля мышления. Так, К. Манхейм говорит о «духе времени», Л. Лаудан — об «исследовательских традициях», М. Фуко — об «эпистемах» и т. д.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Хайдеггер М. Время картины мира // Современные концепции культурного кризиса на Западе. М., 1976; *Heidegger M. Dereuropaic she Nihilismus*. Pfulingen, 1967.

<sup>2</sup> См., напр.: Ницше Ф. Воля к власти. М., 1910.

<sup>3</sup> См., напр.: Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1992. С. 89.

<sup>4</sup> Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 355; *Wright G. H. von. Wittgenstein's Relation to His Time* // Wittgenstein. Oxford, 1982. P. 227.

<sup>5</sup> Манхейм К. Консервативная мысль // Он же. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 357; *Laudan L. Scienceand Values*. Berkeley, 1984. P. 153; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.

Теоретический горизонт каждой эпохи ограничен свойственным ей стилем мышления. Никто не может подняться над историей и выйти из своего времени, чтобы рассматривать прошлое беспристрастно, без всякого искажения. Объективность исторична, и она прямо связана с той позицией в истории, с которой исследователь пытается восстановить прошлое.

Сложная проблема соизмеримости стилей мышления разных эпох, относительной прозрачности предшествующих стилей для последующих близка активно обсуждаемой в последние десятилетия проблеме соизмеримости научных теорий. Можно отметить, что историческая объективность в рассмотрении эволюции теоретического мышления возможна лишь при условии признания существования преемственности в его развитии, точно так же, как утверждение преемственности сменяющих друг друга теорий требует принятия допущения о прогрессе научного знания. Отошедший в прошлое способ теоретизирования может быть понят, только если он рассматривается с позиции более позднего и, как можно думать, более высокого стиля мышления.

### § 3. «Классические» предрассудки

Особенности стиля научного мышления Нового времени заслуживают более подробного анализа, поскольку современный стиль научного мышления сформировался, с одной стороны, как продолжение стиля, господствовавшего в научном мышлении Нового времени, а с другой — как преодоление последнего. Стиль мышления, безраздельно господствовавший в европейском мышлении в XVI–XIX вв., радикально отличался от средневекового, или схоластического, стиля мышления и складывался во многом как его прямая оппозиция. Только позднее стало понятно, что эти два стиля, противоположные во многих своих существенных чертах, имеют достаточно много общего.

Стиль мышления определенной эпохи воспринимается этой эпохой как непосредственная данность и почти не анализируются ею. Можно отметить, что и последующая эпоха, увлеченная разрушением предшествующих стилей мышления и утверждением на его руинах собственного, нового стиля мышления, также во многом субъективна в своих суждениях о мышлении предшествовавшей эпохи.

В истории нет надвременной или вневременной позиции, с которой предшествующие эпохи могли бы оцениваться совершенно беспристрастно. Тем не менее можно сказать, что чем дальше в прошлое уходит какая-то эпоха, тем больше вероятность исторически объективного суждения о ней.

Особый интерес к изучению «классического» мышления Нового времени связан с тем, что ряд его особенностей присущ и современному мышлению. Последнее представляет собой исторически недавнее образование. Оно еще не вполне ушло от прошлого и не совсем освободилось от того, что можно было бы назвать родимыми пятнами в целом уже преодоленного стиля мышления Нового времени.

Не существует беспредпосылочного мышления, мышления, ничего не предполагающего и никаким горизонтом не ограниченного. Мышление всегда исходит из определенных предпосылок, эксплицитных и имплицитных, анализируемых и принимаемых без всякого исследования. Однако с течением времени эти предпосылки, т. е. то, что автоматически ставится перед посылками всякого рассуждения, неизбежно меняются. Новый социально-исторический контекст навязывает новые предпосылки, и они, как правило, оказываются несовместимыми со старыми. И если последние продолжают все-таки удерживаться, они превращаются в оковы мышления, в предрассудки: выше разума ставится то, что он способен уже не только осмыслить, но и подвергнуть критике.

«Классическими» предрассудками можно назвать те общие схемы мышления, которые сложились в рамках «классического» стиля мышления. Вместе с тем, это одновременно и те схемы, которые и сейчас нередко воспринимаются как «классика» всякого мышления, совершенно независимая от времени. Это то, что ставится перед рассуждением (перед рассудком) и определяет его общее направление, но также и то, что из необходимой и естественной в свое время предпосылки мышления успело превратиться в сковывающий его предрассудок. Таким образом, анализ «классического» мышления является в определенном смысле также критикой современного стиля мышления, а именно критикой тех его черт, которые инородны для него, но которые оно по инерции продолжает разделять с «классическим» мышлением.

Несмотря на особый интерес к «классическому» мышлению, пока нет его целостной и связной картины. Обычно речь идет об отдельных, слабо связанных между собой его чертах, важное не отделяется от второстепенного, а то и просто недолговременного и случайного.

Ф. Ницше, резко критиковавший «классическое» мышление Нового времени, в конечном счете свел всю его специфику к объективизму, отождествлению истины и метода, приоритету истины над ценностью и к фундаментализму в форме поиска окончательных, абсолютно твердых оснований для знания и действия<sup>1</sup>. Э. Гуссерль, счи-

---

<sup>1</sup> См., напр.: *Ницше Ф.* Полное собрание сочинений. М., 1910. Т. 9; *Nietzsche F.* Werke. Leipzig, 1894. Bd. 8. S. 82–83.

тавший господство «классического» мышления причиной кризиса «европейского человечества», выделял в качестве характерных особенностей этого стиля только дуализм и редукционизм, проявившиеся в отрыве науки от «жизненного мира» и обыденного мышления, в попытках сведения духа к природе, гуманитарных наук — к естественным<sup>1</sup>.

М. Хайдеггер, относивший начало «классического» способа теоретизирования персонально к Р. Декарту (хотя этот способ начал складываться еще в период Возрождения), сводил «классику» к объективизму с его резким и прямолинейным противопоставлением объекта и субъекта, к пренебрежению ценностями и ценностными аспектами человеческого бытия и познания<sup>2</sup>.

Однако стиль мышления эпохи представляет собой не набор некоторых «специфических», взятых в изоляции друг от друга черт, а систему связанных во многих плоскостях элементов, взаимно обуславливающих и взаимно отражающих смыслы друг друга. Только представление способа теоретизирования как единой, динамичной системы, как «исторического организма» способно показать его укорененность в культуре эпохи, выявить его противоречивость, объяснить неожиданную на первый взгляд смену одного способа видения мира другим и установить преемственность между внешне противоположными стилями.

Далее будут намечены некоторые особенности стиля мышления Нового времени. В сущности, это только начало изучения этой сложной темы.

**Антиавторитарность, фундаментализм и кумулятивизм.** Мир Нового времени — это сконструированный по научному образцу, ясный, математически выверенный мир, «застывшее отражение познающего духа» (О. Шпенглер). «Классическое» мышление подчеркнуто *антиавторитарно*. Оно не предполагает никакого канонического круга идей в качестве образца анализа. Самостоятельность аргументации ставится выше ученического следования чужим мнениям; авторитет разума, ориентирующегося на исследование природы, — выше авторитета письменного источника. В этом плане Новое время резко противопоставляет себя предшествующей эпохе.

Антиавторитарная направленность несовместима с комментаторством, подчеркнутым ученичеством, программным отказом от новаторства, стремлением к анонимности, столь характерными для схоластического мышления. В Новое время с особой остротой встает во-

<sup>1</sup> Husserl E. *Gesammelte Werke*. Haag, 1954. Bd 6. S. 314—348.

<sup>2</sup> Хайдеггер М. *Время картины мира* // Современные концепции культурного кризиса на Западе. М., 1976; Heidegger M. *Dereuropäische Nihilismus*. S. 109, 119—126, 151.

прос о приоритете в открытиях и изобретениях. Споры о приоритете иногда затягиваются на десятилетия.

Несмотря на постоянно декларируемую оппозицию средневековой схоластики, «классическое» мышление разделяет ряд важных ее черт. Прежде всего, это *фундаментализм*, уверенность в том, что всякое («подлинное») знание может и должно со временем найти абсолютно твердые и неизменные основания. Фундаментализм средневекового мышления основывается на вере в истинность и полноту божественного откровения; в «классическом» мышлении возможность твердых оснований опирается на убеждение в особой надежности данных чувственного познания или определенных истин самого разума<sup>1</sup>.

Еще одной чертой, объединяющей «классическую» и схолистическую аргументацию, является *кумулятивизм*: познание уподобляется процессу бесконечного надстраивания здания, растущего вверх, но никогда не переделываемого. Кумулятивизм очевидным образом предполагает фундаментализм, ибо знание не может неограниченно надстраиваться, если оно не опирается на безусловно надежный фундамент. С кумулятивизмом тесно связана идея постепенности всякого движения и развития, в частности идея последовательного, шаг за шагом приближения к истине: накопление знаний все более приоткрывает завесу над истиной, которая мыслится как предел такого «бесконечного приближения».

Устойчивости убеждения в существовании абсолютного оправдания и абсолютных оснований теорий во многом способствовала математика, создававшая, как отмечает И. Лакатос, иллюзию раз и навсегда обоснованного знания. Математика ошибочно истолковывалась также как образец строгого кумулятивизма<sup>2</sup>.

**Аналитичность и дуализм.** Для «классического» мышления характерна и *аналитичность* — представление о дробности, существенной независимости друг от друга как «элементов мира», так и «элементов знания». Мир и знание мыслятся хорошо структурированными, слагающимися из четко очерченных и ясно отграниченных друг от друга элементов. Но «атомистичность» в восприятии мира была свойственна и средневековому мышлению. При этом в центре внимания средневекового мышления стоял сам объект, особенности и связи которого определялись его сущностью, тогда как в «классическом» мышлении главный акцент делается на законах взаимодействия ав-

---

<sup>1</sup> О двух версиях эпистемологического фундаментализма см.: *Bonjour L. The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge (Mass), 1985. Ch. 1.*

<sup>2</sup> *Lakatos I. A. Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy in Mathematics // British Journal for the Philosophy of Science. 1976. № 3. Vol. 27. P. 204–210.*

тономных объектов, определяемых опять-таки их сущностями. Влиятельная в античности идея неделимого и бесструктурного целого, идея зависимости частей от целого и даже растворенности частей в целом стала возрождаться только с закатом «классического» мышления. Системный подход с его постулатом взаимозависимости частей и целого не совместим ни со схоластическим, ни с «классическим» мышлением.

Пренебрежение системностью знания ведет к представлению о нем как о совокупности отдельных высказываний, имеющих не только самостоятельное значение, но и обосновываемых независимо друг от друга. Проблема истины формулируется как проблема соответствия изолированного утверждения описываемому им фрагменту действительности.

С аналитичностью «классического» мышления, с отсутствием внимания к системности мира и знания непосредственно связаны характерные для этого мышления резкие *дихотомии* между теоретическим и эмпирическим знанием, аналитическим и синтетическим знанием и т. п. В частности, предполагается, что мир распадается на отдельные, устойчивые факты и задача науки – их тщательное описание и убедительное объяснение. Факты теоретически нейтральны и могут быть выражены в некотором языке, не зависящем от любых теоретических представлений. В связи с этим факты остаются неизменными при появлении новых их истолкований. Очевидна связь такого разграничения эмпирического и теоретического с фундаментализмом и кумулятивизмом.

Для «классического» мышления, особенно в заключительный период его развития, характерен не только дуализм, или двойственность, эмпирического и теоретического, аналитического и синтетического, но также дуализм субъекта и объекта, теоретического и практического, телесного и духовного, созерцания и деятельности, науки и не-науки, истины и ценности, естественного и гуманитарного знания, первичных и вторичных качеств и т. п. «Классическое» мышление, как правило, не схватывает сложные, особенно социальные объекты в единстве составляющих их сторон. Она постоянно обнаруживает у таких объектов два противостоящих, исключающих друг друга аспекта, соединяемые в единое целое чисто внешним образом.

С дробным, «атомистическим» представлением о мире и знании связана свойственная «классическому» мышлению убежденность во всеобщей *определенности*, в том, что всякий объект может быть достаточно строго очерчен и ясно ограничен от других объектов. Этим объясняются бесконечные поиски определений и вера в их особую, если не исключительную, роль в науке.



Но еще Б. Паскаль отмечал, что невозможно определить все, точно так же, как невозможно доказать все. Определение сводит неизвестное к известному, не более того. Оно всегда предполагает, что есть вещи, известные без всякого определения и разъяснения; будучи ясными сами по себе, они меньше всего нуждаются в определении. Само собой понятное и очевидное не следует определять: определение лишь затемнит его.

Определения действуют в весьма узком интервале. С одной стороны, он ограничен тем, что признается очевидным и не нуждающимся в особом разъяснении, сведении к чему-то еще более известному и очевидному. С другой стороны, область успешного применения определений ограничена тем, что остается пока еще недостаточно изученным и понятным, чтобы дать ему точную характеристику. В частности, ключевые понятия научных дисциплин (доказательство в логике, множество в математике, вид в биологии и т. п.) вообще не допускают однозначного определения.

**Универсальная математизация и редукция обоснованности к истинности.** Еще один «классический» предрассудок — стремление ко *всеобщей математизации*. Оно опирается на убеждение, что в каждой науке столько знания, сколько в ней математики, и что все науки, включая гуманитарные, требуют внедрения математических идей и методов.

Нет достоверности там, говорил еще Леонардо да Винчи, где нельзя применить одну из математических наук, или у того, что не может быть связано с математикой: «Никакое человеческое исследование не может быть названо истинной наукой, если оно не проходит через математические доказательства»<sup>1</sup>. Г. Галилей был твердо убежден, что «книга природы написана на языке математики» и что этот язык представляет собой универсальный язык науки. До сих пор повторяется как нечто само собой разумеющееся, что наука «только тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой» (К. Маркс).

Однако уже в начале XX в. В. И. Вернадский ясно и недвусмысленно ограничил роль математики даже в естествознании. Весьма часто приходится слышать убеждение, не соответствующее ходу научного развития, говорил Вернадский: точное знание достигается лишь при получении математической формулы, лишь тогда, когда к объяснению явления и к его точному описанию могут быть приложены символы и построения математики. Это стремление сослужило и слу-

---

<sup>1</sup> Леонардо да Винчи. Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского. М., 1934. С. 60. Известно, что Леонардо считал наукой живопись, поскольку она пользуется геометрической системой перспективы, но не относил к наукам поэзию, не имеющую связи с математикой.

жит огромную службу в развитии научного мировоззрения, но привнесено оно ему извне, не вытекает из хода научной мысли. Оно привело к созданию новых отделов знания, которые едва ли бы иначе возникли, например, математической логики или социальной физики. Но нет никаких оснований думать, что при дальнейшем развитии науки все имения, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы или под так или иначе выраженные числовые правильные соотношения; нельзя думать, что в этом заключается конечная цель научной работы<sup>1</sup>.

Типичный «классический» предрассудок — сведение *обоснованности* к *истинности*. Предполагается, что только истина, зависящая лишь от устройства мира и потому не имеющая градаций и степеней, являющаяся вечной и неизменной, может быть надежным основанием для знания и действия. Там, где нет истины, нет и обоснованности, и все является субъективным, неустойчивым, ненадежным. Все формы отображения действительности характеризуются в терминах истины: речь идет не только об «истинах морали», но даже об «истинах поэзии». Добро и красота оказываются в итоге частными случаями истины, ее «практическими» разновидностями.

Редукция объективности и обоснованности к истинности имела одним из своих следствий сведение всех употреблении языка к описанию: только оно может быть истинным и, значит, надежным. Все другие употребления языка — оценка, норма, обещание, декларация, экспрессив, оректив, упрек, предостережение и т. д. — являются только замаскированными описаниями или просто случайны для функционирования языка, ибо они субъективны и ненадежны.

Если считать, что обоснованными или необоснованными могут быть только описательные утверждения, способные быть истинными или ложными, встает вопрос об исключении из языка науки всего, что не относится к описаниям. В конце XIX в. позитивисты объединили разнообразные не описательные утверждения под общим именем «оценок» и потребовали решительного исключения всех «оценок» из языка науки. Одновременно представители философии жизни, стоявшей в оппозиции позитивизму, подчеркнули важность оценок для процесса человеческой жизнедеятельности и неустрашимость их из языка социальной философии и всех социальных наук.

Этот спор об оценках продолжается по инерции и сейчас. Однако очевидно, что если социальные и гуманитарные науки не будут содержать никаких рекомендаций, касающихся человеческой деятельности, целесообразность существования таких наук станет сомнитель-

<sup>1</sup> Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 46.

ной. Экономическая наука, социология, политология, история, лингвистика, психология, перестроенные по образцу физики, в которой нет субъективных и потому ненадежных оценок, бесполезны.

Не только описания, но и оценки и нормы могут быть обоснованными или необоснованными. Действительная проблема, касающаяся социальных и гуманитарных наук, всегда содержащих оценочные утверждения, состоит в том, чтобы разработать надежные критерии обоснованности такого рода утверждений и изучить возможности исключения необоснованных оценок. Уже это краткое перечисление особенностей стиля мышления Нового времени показывает, насколько существенно он отличается и от средневекового, и от современного стиля мышления.

## § 4. Глобальные проблемы

Одним из аспектов взаимодействия науки и культуры являются *глобальные проблемы* — совокупность жизненно важных проблем, затрагивающих человечество в целом и неразрешимых в рамках отдельных государств и даже географических регионов. Эти проблемы вышли на первый план в XX в. из-за существенного роста численности населения и резкой интенсификации процесса производства в постиндустриальном обществе. Существенную роль в постепенном нарастании глобальных проблем сыграла наука, обеспечившая невидный ранее рост промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение средней продолжительности человеческой жизни и т. д.

Научное исследование глобальных проблем должно носить комплексный характер, поскольку они затрагивают не только многие социальные дисциплины, начиная с экономической науки и кончая социальной философией, но и естественные науки, включая биологию, физику, химию и т. д. Наука является, однако, не единственным и даже не главным средством поиска решения даже наиболее острых глобальных проблем. Эти проблемы являются социальными по своей сути, они требуют согласованных действий большинства существующих государств.

К числу глобальных проблем относятся:

- сокращение стремительного роста населения (демографического взрыва);
- предотвращение термоядерной войны;
- устранение катастрофического загрязнения окружающей среды, в первую очередь атмосферы и Мирового океана;
- формирование единого человечества;
- сохранение природы человека;

- обеспечение дальнейшего экономического развития необходимыми природными ресурсами, особенно не возобновляемыми (нефть, газ, уголь и т. п.);
- преодоление разрыва в уровне жизни между развитыми и развивающимися странами;
- устранение голода, нищеты, неграмотности;
- борьба с международным терроризмом и др.

Круг глобальных проблем очерчен не резко. Особенность этих проблем в том, что они не могут решаться изолированно одна от другой и от их решения во многом зависит само существование человечества. Среди многочисленных глобальных проблем, порожденных техногенной цивилизацией, в качестве наиболее важных иногда выделяются следующие три: 1) проблема выживания в условиях непрерывного совершенствования оружия массового уничтожения; 2) нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах; 3) проблема сохранения человеческой личности, человека как биосоциальной структуры. То, что сама природа человека поставлена в современную эпоху под угрозу, несомненно. И опасность утраты человеком своей сущности настолько велика, что вполне может быть причислена к глобальным проблемам.

Глобальные проблемы порождены колоссально возросшим воздействием человека на окружающий мир, его преобразующей природу хозяйственной деятельностью, сделавшей сопоставимой по своим масштабам с геологическими и иными планетарными естественными процессами. По пессимистическим прогнозам глобальные проблемы вообще не могут быть разрешены и в недалеком будущем приведут человечество к экологической катастрофе (Р. Хейлбронер). Оптимистический прогноз предполагает, что решение глобальных проблем окажется естественным следствием научно-технического прогресса (Г. Кан) или результатом ликвидации социальных антагонизмов и построения совершенного общества (марксизм-ленинизм). Промежуточная позиция состоит в требовании замедления или даже нулевого роста экономики и населения земного шара (Д. Медоуз и др.).

## **§ 5. Проблема формирования единого человечества**

Рассмотрим более подробно две из перечисленных глобальных проблем – проблему формирования единого человечества и проблему сохранения природы человека. Выражение «мировая история», часто используемое историками, имеет два очень разных смысла: 1) человеческая история является частью предельно общей космической истории, включающей как историю природы (в частности, живой при-

роды), так и историю человечества, причем последняя является с самого начала единой и целостной и представляет собой органичную, быть может, даже необходимую часть космической истории; 2) мировая история — это история становящегося человечества, с течением времени живущего и действующего все более как единое целое, история всех входящих в него и все теснее взаимодействующих друг с другом народов и обществ.

К первому истолкованию мировой истории определенно тяготеет так называемое закрытое (или коллективистическое) общество. Сама идея единого человечества и единой его истории, органично включенной в мировой ход событий, — это средневековая по своему происхождению идея. Представление о единой целостной истории, в которой все имеет свое место, развивалось Гегелем, а затем Марксом. Каждый человек, каждая эпоха, каждый народ рассматривались ими как звенья единой цепи. Они существовали не для себя, их предназначением было прокладывать путь. Вместе с тем и Гегель и Маркс, конструируя единую историю, отбрасывали целые народы, эпохи и культуры как не имеющие значения для истории, являющиеся не более чем случайностью или попутными ей явлениями. Как и христианская история, единые истории Гегеля и Маркса должны были в определенный момент, достигнув своего пика, завершиться, перейдя в другое временное измерение и перестав быть историями в собственном смысле слова.

Представление о мировой истории как о постепенном, шаг за шагом прокладывающем себе дорогу единении человечества начало складываться только в Новое время и было вызвано в первую очередь развитием капитализма. Становлению этого представления способствовали резкое увеличение численности людей, резкий рост взаимосвязей между ними, растущие торговля и экономическая зависимость регионов друг от друга. Идея включенности человеческой истории в качестве органичной части в мировой космический порядок является для этого представления чужеродной.

В настоящее время в мире существуют более двухсот государств, находящихся на очень разных уровнях социально-экономического развития. Активно идут интеграционные процессы, достаточно обширные группы государств объединяются в экономические и политические союзы. Можно предположить, что в отдаленном будущем интеграция государств и все большее совпадение их интересов приведут к тому, что они объединятся в некое сверхобщество, охватывающее все человечество и руководимое из единого центра. Исчезнут границы между государствами, станут ненужными внешняя политика, армии, войны и т. д. Можно будет сказать, что возникло единое человечество в прямом смысле этого слова.

Все это весьма отдаленная перспектива, к тому же нужно учитывать, что не существует исторических законов, которые заставляли бы отдельные общества объединяться в группы и со временем вынудили бы их создать сверхобщество. Все зависит от самих людей, от понимания ими своих интересов и выгод интеграции, от давления одних стран на другие, от продолжающегося роста численности населения, от экономических, культурных и иных связей между разными обществами и т. д.

Но если допустить, что одной из основных и долговременных тенденций современного исторического развития является формирование единого человечества, то уже сейчас можно попытаться представить, какие формы мог бы принять данный процесс. Возможны, как кажется, две основные модели создания единого человечества: закрытая (коллективистическая) и открытая (индивидуалистическая)<sup>1</sup>. Первая предполагает постановку перед всем человечеством или перед достаточно могущественной его частью некой глобальной цели, использование силы для упорядочения всех многообразных обществ и приведения их к единому знаменателю на основе такой цели, внедрение единой идеологии, создание всемирной, руководящей всем человечеством структуры, возглавляемой вождем, и т. п. Вторая модель предусматривает добровольное, взаимовыгодное объединение разнородных обществ в некое подобие федерации, опирающейся на принципы демократии и предоставляющей своим членам широкую автономию.

Первую модель пытались реализовать в XX в. коммунизм и национал-социализм, но им удалось сделать относительно немного на пути насильственного объединения человечества. Коммунизм предполагал, что этот процесс начнется с пролетарских революций в наиболее развитых странах Запада. Затем пролетарии разных стран, объединившись, свергнут капитализм и в других странах и установят во всем мире социализм, являющийся преддверием коммунизма. Уровень экономического развития разных стран постепенно выровняется, и все они примерно в одно и то же время вступят в коммунизм. Детали того, каким будет мировое коммунистическое общество, что будет, в частности, представлять собой мировое коммунистическое правительство, не обсуждались, точно так же как не дискутировались источники тех богатств, которые якобы пользуются на единое человечество непрерывным потоком. Национал-социалистический план объединения человечества предполагал, что сначала национал-социалистическая Германия подчинит себе Ев-

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А. Социальная философия*. М., 2003. С. 52–61.

ропу, а затем объединенными силами Европы завоюет весь мир и таким образом европеизирует его. Отрицательно ценные народы, способные только разлагать и разрушать культуру, будут уничтожены; народы, имеющие нулевую расовую ценность, будут превращены в рабов; расово полноценные народы составят элиту, управляющую человечеством.

Вопрос об открытой модели единого человечества является более сложным. Одним из первых о ней достаточно подробно высказался Ясперс: «...Политическое единство планеты является только вопросом времени. Путь развития идет, по-видимому, от национальных государств через крупные континентальные сферы влияния к мировой империи или к мировому порядку. Этот путь прокладывает, с одной стороны, всегда действующая в истории воля к власти и господству, более или менее осознанной целью которых является создать наибольшую, насколько это возможно в данных условиях, мировую империю; с другой — стремление к миру, к такому мироустройству, где жизнь людей свободна от страха»<sup>1</sup>.

Создание «мировой империи» — это, в сущности, коллективистический путь объединения человечества; «мировой порядок» — индивидуалистический путь к данной цели. Мировая империя объединяет человечество посредством власти, подчиняющей себе всех из одного центра. Власть держится на насилии, формирующем нивелированные массы. Тотальное планирование поддерживается жестоким террором. Посредством пропаганды внедряется единое мировоззрение. Цензура и руководство духовной деятельностью подчиняют последнюю единому, но постоянно модифицируемому плану.

Мировой порядок представляет собой единство без единой власти, за исключением тех случаев, когда она утверждается по договоренности и на основе общего решения. Установленные нормы взаимоотношений между обществами и индивидами могут быть изменены только законодательным путем на основе новых постановлений. Стороны сообща подчиняются этой процедуре и постановлениям большинства, гарантируют всем общие права, защищающие, в частности, и существующее в каждый момент меньшинство. Порабощению всех из единого центра противостоит принятое всеми устройство, за которым стоит отказ каждого члена мирового сообщества от абсолютного суверенитета. Путь к мировому порядку ведет через самоограничение тех, кто обладает могуществом, и это самоограничение является условием свободы всех. Установление мирового порядка означало бы устранение прежнего понятия государства во имя счастья людей. Ре-

<sup>1</sup> Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М., 1991. С. 84.

результатом этого было бы не мировое государство (которое неизбежно сделалось бы мировой империей), а постоянно восстанавливающая себя посредством обсуждения и принятия решений организация государств, в ограниченных сферах пользующихся самоуправлением, другими словами, результатом был бы глобальный федерализм.

Подводя итог этого краткого обсуждения тенденций формирования единого человечества, нужно еще раз подчеркнуть, что речь идет об отдаленном будущем. Поэтому конкретные формы реализации данной тенденции остаются пока очень туманными.

## § 6. Угроза разрушения природы человека

В современном мире все с большей остротой встает новая глобальная проблема — угроза разрушения природы человека. Сложность этой проблемы связана в первую очередь с тем, что до сих пор нет ясного представления о том, что представляет собой человек. На вопрос, какова природа человека или его сущность, пытались ответить еще античные философы, что вовлекло их в нескончаемые споры. В конце концов Платон, желая положить конец этим спорам, определил человека как двуногое бесперое существо. Из всех живых существ двуногие — только птицы и люди; но птицы покрыты перьями; двуногими бесперыми являются, таким образом, только люди. Направленность такого определения очевидна: не нужно бесконечно копаться в сущности человека, для его определения достаточно указать какой-то простой его признак, отличающий и отграничивающий человека от всех иных живых существ.

**Социологическое понимание человека.** Среди разнообразных современных подходов к анализу природы человека можно выделить два полярных подхода, или два стиля рассуждений о человеке, воплощающиеся в многообразных конкретных концепциях человека: *социологическое* истолкование человека и *антропологическое* его истолкование. Между этими двумя противоположными пониманиями помещаются разнообразные промежуточные истолкования природы человека.

Суть социологического подхода хорошо передает формула Маркса: человек есть только отражение общественных отношений, взятый сам по себе, он не имеет никакой сущности. «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»<sup>1</sup>. При таком понимании человек предстает как носитель

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1957. Т. 3. С. 3.



определенных общественных функций и ролей и основной проблемой оказывается его приспособление к господствующим институтам, его социализация и адаптация к общественной среде, интеграция в ту или иную систему ценностей. Общество выступает как «инвариант», а человек как пластичная переменная, призванная меняться и приспосабливаться. Этим обосновываются амбиции тотальной общественной педагогики: общество должно воспитывать и перевоспитывать человека», а новое общество — формировать совершенно нового человека в угодном себе духе. Отсюда знаменитый ленинский афоризм: «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».

Социологическое истолкование человека как сколка общества на определенном этапе его развития растворяет индивида в обществе и подчиняет его обязательной коллективной судьбе. Это истолкование обычно противопоставляет старому понятию природы человека социологическое понятие его сущности. Предполагается, что природа человека, понимаемая исключительно в естественнонаучном смысле, сформировалась еще в период становления современного человека и с тех пор перестала быть действующим фактором человеческой истории.

Антропологическое истолкование, напротив, говорит о природе человека, зависящей от истории и изменяющейся в ее ходе, но не растворимой полностью в ней. Формирование этой природы никогда не может быть завершено, человек не только живет в обществе и зависит от системы социальных связей, но и во многом выбирает свое место в этой системе. Его индивидуальная жизнь, в существенной мере определяемая его собственными выбором и решениями, открыта будущему и не предопределена коллективной судьбой. Антропологическое понимание отстаивается, в частности персонализмом, экзистенциализмом, феноменологией, философской антропологией, представляющими свои конкретизации этого понимания.

Общим для всех теорий природы человека, развиваемых в рамках антропологического его истолкования, является то, что все они подчеркивают свободу личности, ее неопределенность и многообразие людей, важность для каждого из них существования полноправного и полноценного другого. Социальное разнообразие, неоднородность, несовпадение интересов людей рассматриваются не как изъян современного общества, а как его несомненное преимущество. Человек формируется обстоятельствами, но вместе с тем всегда остается свободным, поскольку он сам определяет многие обстоятельства своей жизни. Только будучи свободным, человек является вменяемым и ответственным.

Три момента важны в связи с противопоставлением социологического и антропологического истолкований человека. Во-первых, со-

циологически понимаемый человек, не имеющий никакого твердого ядра и являющийся лишь зеркальным отражением социальных отношений, не способен иметь естественных, или природных, неотчуждаемых прав, вроде права на личную неприкосновенность, на свободу мысли и совести, на достаточный жизненный уровень и т. д. Никаких прав, принадлежащих человеку от рождения, уже в силу того, что он человек, у него не может быть: только общество наделяет человека правами и в той мере, в какой находит это нужным.

Во-вторых, социологически истолкованный человек не способен в соответствующих социальных условиях четко отделять свои истинные, или естественные, потребности от ложных, или искусственных, и навсегда расстаться со вторыми. В-третьих, закрытое (коллективистическое) общество и его теоретики отдают явный приоритет социологическому человеку над антропологическим; в то время как открытое (индивидуалистическое) общество, несомненно, тяготеет к антропологическому истолкованию человека. Это проявляется, в частности в том, что коллективизм неохотно останавливается на теме прав человека и настаивает на том, что в новом, совершенном обществе должен жить не нынешний человек, отягощенный многими ненужными и даже вредными потребностями, удовлетворение которых способно разрушить это общество, а совершенно новый человек, своего рода сверхчеловек.

Выбор между социологическим и антропологическим истолкованием человека — это, в конечном счете, выбор между коллективистическим и индивидуалистическим устройством общества. Коллективистическое общество всегда проводит различие между естественными (подлинными, истинными) и искусственными (навязанными, ложными) потребностями людей. Предполагается, что первые должны удовлетворяться, в то время как наличие вторых говорит об отступлении человека от своего высокого предназначения, от стоящих перед ним грандиозных задач по преобразованию мира и т. п.

В частности, Маркс, разграничивавший истинные и ложные потребности, исходил из социологического понятия «человеческая сущность». Важнейшей целью коммунизма, по Марксу, является осознание истинных человеческих потребностей и их удовлетворение; а это станет возможно только тогда, когда производство будет служить человеку, а капитал перестанет спекулировать на иллюзорных его потребностях. Лозунг коммунизма «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям» имеет в виду не любые, а исключительно истинные или оправданные потребности человека. Деньги, богатство, роскошь — это ложные потребности, навязанные человеку эксплуататорским обществом и извращающие все подлинные человеческие ценности. В частности, деньги, по Марксу, превращают вер-

ность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость. Деньги осуществляют «братание невозможностей». В отчужденном капиталистическом обществе, считает Маркс, потребности человека извращаются до состояния подлинных слабостей

Средневековый человек тоже делил все потребности на естественные и искусственные, или, точнее говоря, на высшие и низшие. К вещам, которые могут превратить жизнь в наслаждение и которые в то же время относятся к высшим потребностям, он относил только чтение. Но даже удовольствие от чтения должно быть освящено стремлением к мудрости и добродетели. В музыке и изобразительном искусстве благом считается лишь служение вере, а удовольствие, доставляемое ими, само по себе греховно. Путешествия, природа, спорт, мода, социальные тщеславие и чувственные удовольствия без колебаний относились к низшим потребностям человека.

В реальном коммунистическом обществе граница между высшими и низшими (естественными и искусственными) потребностями была примерно такой же. Всячески одобрялось чтение, но оно не должно было уводить от коммунистических идеалов и ценностей. В музыке, особенно в легкой, существовали жесткие ограничения. Тщательно отбирались сюжеты опер, проводилась ревизия даже классического наследия.

Разделение потребностей человека коммунистического общества на естественные и искусственные служило хорошим идейным обоснованием аскетизма. Эту же направленность имело и различие низшей ступени коммунизма (социализма) и высшей его ступени (полного коммунизма). На низшей ступени действует принцип «От каждого — по способностям, каждому — по труду», на высшей — «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям».

Опираясь на противопоставление естественных и искусственных потребностей, имеющее довольно произвольный и неясный характер, А. А. Зиновьев, например, утверждает, что уже при «социализме», несмотря на низкий жизненный уровень основной массы населения и колоссальные различия в жизненном уровне различных слоев населения, принцип «полного коммунизма» реализуется в полной мере. Речь нужно вести только о социально оправданных потребностях граждан, и тогда этот принцип окажется даже легче реализовать, чем принцип «социализма».

Таким образом, два разграничения — естественных и искусственных потребностей человека, социализма и полного коммунизма — хорошо поддерживали друг друга и одновременно позволяли представить аскетическое отношение к жизни не как что-то

навязанное извне, а как естественную необходимость самой новой жизни.

Оба знаменитых принципа — социализма и полного коммунизма — одинаково неясны и допускают возможность самых разных их толкований. Соответственно, это дает право достаточно произвольно устанавливать как этапы социализма (победа социализма, полная победа социализма, развитой социализм и т. д.), так и рубеж между социализмом и коммунизмом. Можно даже вообще сказать, что различия между социализмом и коммунизмом нет.

**Антропологическое понимание человека.** Об антропологически истолкованном человеке нельзя сказать, что его потребности могут быть разграничены на естественные и искусственные. Они делятся на минимальные и превышающие жизненный минимум, на полезные с точки зрения здоровья, нейтральные и вредные, на те, которые есть у большинства, и характерные для немногих и т. д. Но эти потребности не подразделяются на естественные и искусственные, поскольку антропологический человек не имеет данного раз и навсегда круга потребностей. С изменением индивида и общества меняется и характер самих потребностей.

В коммунистической России безраздельно господствовало социологическое истолкование человека. С крушением коммунизма на первый план постепенно выходит антропологическое его понимание. Это понимание имеет долгую историю, но особенно отчетливо оно было выражено в философской антропологии, сложившейся в 1930-е гг., благодаря, в первую очередь, работам М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена и др.

С точки зрения философской антропологии опасно понимать идею человека слишком узко, сводить ее к какому-то отдельному свойству или одному историческому образцу. И *homo sapiens*, и *animal rationale* (разумное животное), и *homo faber* (человек производящий) — все эти и подобные им характеристики слишком узки, чтобы охватить человека во всем его своеобразии.

По меньшей мере, человеку свойственны следующие особенности, делающие его уникальным явлением в мире живых существ. В отличие от других животных, человек является *непредопределенным* существом. Непредопределенность, или открытость человека будущему, настолько велика, что можно сказать: человеком не рождаются, человеком становятся. Человек не детерминирован жестко ни законами своего биологического вида, ни законами культурной эволюции. История культуры не только преемственность традиций, но и их постоянная ломка. Человек не рождается с определенной профессией или с ясно выраженным вкусом, не привязан к какому-то опре-

деленному месту обитания. Он — бесконечная, открытая потенциальность с огромной, в сравнении со всеми остальными существами, степенью свободы. Человек рождается совершенно неприспособленным к самостоятельному существованию, его жизнь и его поведение не predetermined наследственностью, за исключением немногих основных инстинктов. Он формируется «здесь», в том мире, в который его забросила слепая судьба, и число вариантов его жизни практически бесконечно, как бесконечно количество условий, его формирующих. Животное не может не делать того, что предусмотрено его генетической программой, человек же способен не делать очень многое. Он может вообще ничего не делать для поддержания своего существования, может отказаться от жизни и выбрать смерть. В этом также проявляется специфика его бытия.

В определенный момент эволюции предка человека природная адаптация потеряла принудительный характер, его деятельность перестала быть закрепленной наследственно передаваемыми механизмами и определяемой преимущественно инстинктом. Можно сказать, что когда животное возвысилось над природой и, преодолевая чисто пассивную роль «твари», стало (с точки зрения биологии) самым беспомощным животным — произошло рождение человека. Высвобождение человека из природы длилось, возможно, сотни тысяч лет. В результате человек стал существом, рождающимся совершенно беспомощным и в течение многих лет постепенно приспособляющимся к своему окружению. В сущности, вся жизнь человека есть не что иное, как процесс рождения самого себя. Э. Фромм, определявший человека как самое беспомощное животное, даже говорит, что человек должен был бы полностью родиться лишь к моменту своей смерти, но судьба большинства людей трагична: они умирают, так и не успев родиться<sup>1</sup>.

Человек лишен биологической специализации, органической приспособленности к существованию в определенной природной среде. Он является в этом смысле недостаточным, неполноценным существом. Как говорит Гелен, человек отличается от животного только своими недостатками: «В противоположность всем высшим млекопитающим человек определяется морфологически прежде всего недостатками, которые в точном биологическом смысле должны быть обозначены как неприспособленность, неспециализированность, как примитивизмы, т. е. как неразвитость — следовательно, в сущности, негативно»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М., 1995. С. 292.

<sup>2</sup> Gelen A. Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Berlin, 1944. S. 31.

Непредопределенностью человека вызвана такая характерная его черта, как *свобода*. Человек постоянно зависит от тысяч факторов, обуславливающих его поведение и его отношение к окружающим. Он зависит от наследственности, от культуры, от государственного строя и т. д. Пересечение всех этих зависимостей создает водоворот случайностей, предугадать которые невозможно. Человек может рассчитывать на сотни лет вперед движение планет, но не способен предсказать, что случится с ним завтра. Чаще всего он бессилен предотвратить негативные события своей жизни. Он зависит от того, как сложится ситуация, однако сам эту ситуацию контролировать не в состоянии. Осознавая свою человеческую специфичность, он понимает, что ни один из тысячи обуславливающих его жизнь факторов, ни все они вместе не определяют строго и однозначно ни его жизнь, ни его поведение. Человек зависит от многих вещей внешне, но вместе с тем он может почти ни от чего не зависеть внутренне. Он исходит не только из внешних факторов, но и из внутренней необходимости, своего намерения жить именно так, а не иначе. Эта необходимость проистекает из его собственных убеждений, а не из внешних обстоятельств. Человек способен реализовать себя, даже в обстоятельствах, препятствующих этому.

Свобода человека означает, что он постоянно стремится быть человеком, каждый раз сам для себя решая, что такое добро и зло, отыскивая смысл своего существования, стремясь к неосуществимым, сверхчеловеческим целям, чтобы в результате такого стремления реализовались реалистические, человеческие цели. «В человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к “твари в человеке”, к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно страдать*»<sup>1</sup>.

Человек является *социальным существом*, причем социальная, общественная жизнь — это не чисто внешняя форма человеческой жизни, а необходимое выражение единства всех людей, составляющее необходимую основу человеческой жизни во всех ее областях. Человек живет в обществе, говорит С. Л. Франк, не потому, что так жить удобнее, а потому, что лишь в качестве члена общества он может состояться как человек, подобно тому, как лист может быть только ли-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдии к философии будущего // Он же. Сочинения: в 2 т. М., 1990. С. 346.

стом целого дерева; и человек создает общество, и общество создает человека.

Социальность человека не означает его стадности. Превращение общества в однородное стадо, к чему стремился тоталитаризм, способно уничтожить не только человека, но и само общество. Одним из первых на опасность появления «массовых» людей и превращения общества в стадо обратил внимание Ницше. Сущность стада составляют три инстинктивные силы: инстинкт стада против сильных и независимых; инстинкт страждущих и неудачников против счастливых; инстинкт посредственности против исключений. Стадо видит высшее в середине и в среднем. Все должны быть равны, все обязаны быть одинаковы, поэтому всякое исключение, стоящее над стадом, воспринимается его членами как нечто враждебное и вредное. В стаде невозможны одиночество, оригинальность, самостоятельность; в стаде каждый должен быть прозрачен и понятен для остальных. «Ты должен быть доступен познанию, твое внутреннее Я должно обнаруживаться в отчетливых и неизменных знаках, иначе ты опасен; и если ты зол, то твоя способность притворяться крайне вредна для стада. Мы презираем таинственных, не поддающихся познанию. Следовательно, ты должен сам себя считать познаваемым, ты не должен быть скрытым от самого себя, ты не должен верить в свою изменчивость»<sup>1</sup>.

О тех опасностях, которые подстерегают общество, превращающееся в стадо или, как его еще называют, в высокоинтегрированную массу, позднее писали Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс и др. Эти опасности оказались реальными: тоталитарные режимы XX в. во многом превратили общество в высокоинтегрированную массу и поставили под угрозу саму природу человека.

Человек является *конечным* существом: он рождается в конкретное время и во вполне определенном обществе, причем и время, и свою социальную среду он не выбирает; прожив незначительный по историческим меркам период, он уходит в небытие. Англосаксонский монах и летописец Беда Достопочтенный сравнивает жизнь человека с пребыванием в помещении воробья в зимнее время. В очаге горит огонь, согревая зал, а снаружи бушует буря. Прилетает воробей и быстро пролетает через зал, влетев в одну дверь и вылетев из другой. Как только он пролетел через небольшое пространство, где ему было приятно, он исчезает и из зимы возвращается в зиму. Такова и жизнь человека, подобная мгновению. Что ей предшествовало и что за ней следует, нам неизвестно. Человек всегда чувствует, что он зависит от чего-то чуждого, что он случаен здесь, в мире, но здесь, в этой жизни,

<sup>1</sup> Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994. С. 116.

ему хорошо и он в безопасности; беспокоит его только скоротечность жизни и то, что последует за ней.

Человек является не только биологическим и психологическим, но и *метафизическим* существом: он становится человеком, когда открывает в себе метафизическое, т. е. надприродное, не объяснимое естественными причинами измерение.

Человеческие существа сильны в той мере, полагает М. К. Мамардашвили, в какой они сильны тем, что никогда не завершится и не реализуется во время их пребывания в мире. Назначение человека выходит за рамки его жизни, не исчерпывается и не ограничивается ее условиями. «Метафизикой мы и будем называть нечто, чему нельзя придать смысл в рамках нашей жизни и ее условий. Например, есть такой термин или понятие, или качество — “доброта”. Вы не можете слову или представлению “доброта” придать смысл в рамках условий и пределов нашей жизни. Потому что если вы должны доброте определить только в рамках условий своей жизни, то она не имеет смысла... если все, что имеет смысл, имеет смысл только в условиях и рамках моей жизни, то быть добрым, воспитанным, вежливым и так далее не имеет никакого смысла»<sup>1</sup>.

Метафизическая сущность человека проявляется, согласно К. Ясперсу, в пяти его особенностях:

- неудовлетворенности, поскольку человек постоянно чувствует свое несоответствие тому, чем он является сегодня: он не удовлетворен своим знанием, своим духовным миром, своим положением, всем, чего ему удалось достичь; грызущее чувство неудовлетворенности — показатель его человечности;
- стремлении к безусловному, поскольку жизнь человека постоянно обусловлена внешними и внутренними причинами, а ему нужно найти безусловную опору для своего бытия, которую нельзя найти ни в обществе, ни в природе, поскольку все это для него вещи относительные, не безусловные, отсюда его стремление к богу или к некой трансцендентной силе, которая, как он верит, не даст ему пропасть, затеряться, подобно песчинке, в бесконечности пространства и времени;
- беспрепятственном стремлении к единому, поскольку ни один из видов единства мира, материального и духовного, не удовлетворяет человека, единственное, что может его удовлетворить — это вечность и, соответственно, непосредственная связь с бытием;

---

<sup>1</sup> Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. Психологическая теория пути. М., 1995. С. 57.



- сознании непостижимого воспоминания, как будто он знает о творении мира или может вспомнить о том, что было до этого творения, как его душа до его рождения «пела в хоре богов» (Платон), поскольку все самое главное, что он знает о мире, может быть получено не из внешнего мира, а из себя, ибо человека ничему нельзя научить, если понимать учение как овладение готовыми знаниями, он должен сам все «вспомнить»;
- сознании бессмертия не как продолжения жизни в другом образе, а как своей укрытости в вечности, т. е. того, что каждый человек должен в своей жизни сделать что-то такое, чтобы остаться и пребывать всегда, ибо все великие люди, когда бы они ни жили, являются нашими современниками, их идеи, чувства, образы неподвластны времени<sup>1</sup>.

Человек — существо *трансцендирующее*, т. е. постоянно пытающееся переступить собственные границы своих возможностей, своего знания, своей жизни, своего мира. В трансцендировании человек не достигает ничего определенного: он не постигает бога, смысла своего существования и т. д. Но сама попытка трансцендирования меняет его сознание: он не может больше жить легко и бездумно и проникается заботой о собственном существовании, о тех силах, которые поддерживают истинное человеческое бытие. М. Хайдеггер замечает, что в трансцендировании, удивленном и потрясенном стоянии перед «целым» мира заложена возможность внутреннего преображения, ощущения себя живым человеком, возможность творчества<sup>2</sup>.

Каждый человек *уникален и неповторим*. Это особенно заметно на примере великих людей. Если бы Александр Македонский погиб в самом начале своей жизни, никто другой не создал бы огромную империю, простиравшуюся от Греции до Индии. Но неповторимость очевидна и на примере любого, произвольно взятого человека.

Каждый человек *незаменим*: у каждого из людей есть такое дело, которое не способен сделать никто другой. А если и он не сделает, то в мире останется пустое место, не заполненное ничьим трудом. Это дело может быть любым: от написания симфоний до вбивания гвоздя. Как писал Г. Торо, вбивать гвоздь надо так прочно, чтобы, проснувшись среди ночи, можно было с удовольствием думать о своей работе. Главная проблема человека в том, чтобы найти свое дело, такое место в обществе, встав на которое, он займет уникальную, неповторимую позицию.

<sup>1</sup> Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 426—427.

<sup>2</sup> Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 26.

И наконец, человек — существо *историчное*, его природа меняется в ходе истории. Эта сложная тема требует особого обсуждения.

**Природа человека и история.** Социологическое понимание человека не предполагает каких-либо изменений его природы. Эта природа остается с доисторических времен постоянной, а с изменением общества меняется сущность человека, представляющая собой простое отражение системы общественных отношений.

С точки зрения антропологического понимания человека его природа исторична. Она не остается постоянной, а меняется с течением истории. Человек — незавершенное существо, он находится в процессе хотя и медленного, но постоянного становления, и сейчас невозможно предсказать, каким он окажется в достаточно отдаленном будущем.

Формирование человека во многом зависит от него самого. Оно не предопределено какими-то историческими законами. Нельзя сказать, в частности, что оно ведет к неизбежному появлению «нового человека в новой природе», о котором говорил когда-то романтизм, или к появлению ницшеанского сверхчеловека, стоящего по ту сторону добра и зла. Бессмысленно также возлагать надежды и на постепенное становление коммунистического сверхчеловека, способного ограничивать свои потребности естественным минимумом, свободного от зависти, тщеславия, гордыни и других «родимых пятен» человека капиталистического общества.

Становление человека протекает неравномерно. В этом процессе можно выделить два периода особенно радикальных изменений: период между VIII и II в. до н. э. (так называемое осевое время, сформировавшее ту «ось», вокруг которой до сих пор вращается история) и начавшийся в XVII в. период особо бурного развития науки и техники.

Вся история человечества может быть самым общим образом разделена на три последовательно сменявшие друг друга фазы: доистория, история и мировая история. Длительный период доистории охватывает время становления человека — от возникновения языка и рас до начала исторических культур. «Здесь мы соприкасаемся, — пишет Ясперс, — с тайной человеческой сущности, осознаем неповторимость существования человека на Земле, перед нами встает вопрос о нашей свободе, которая неизбежно должна быть связана с происхождением всех вещей и которую мы больше нигде в мире не встречаем»<sup>1</sup>.

История охватывает события примерно пятидесяти тысяч лет давности в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе. Универсальная,

<sup>1</sup> Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 120.

или мировая, история начинается с возникающего в наши дни глобального единства мира и человечества, подготовленного эпохой великих географических открытий.

В фазе истории разворачивание немногих великих культур шло, несмотря на ряд случайных соприкосновений, параллельно. Это были отдельные истории. В фазе мировой истории обнаруживается единство целого, за пределы которого выйти уже невозможно. «Эта — еще не историческая реальность, но предвосхищение грядущих возможностей, поэтому она не может быть предметом эмпирического исследования, а служит лишь материалом для наброска, в основу которого положено осознание настоящего и современной нам ситуации»<sup>1</sup>.

Особую роль в фазе истории играет «осевое время». В этот период произошел самый резкий поворот в истории, появился человек такого типа, какой существует по нынешний день.

Христианская история видела отправной пункт исторического развития в явлении Христа. Даже Гегель, пытавшийся нарисовать картину истории так, чтобы христианство выступало лишь как один ее момент, говорил, что весь исторический процесс движется к Христу и идет от него, явление Сына Божьего есть ось мировой истории. Однако явление Христа имеет значение только для христиан, а исходный пункт истории должен иметь значение для всего человечества.

В «осевое время» произошло много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, сложились все основные направления китайской философии. В Индии возникли Упанишады, жил Будда, в философии были рассмотрены все возможности философского осмысления действительности, вплоть до скептицизма, материализма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом. В Палестине выступали пророки, в Греции это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все это возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга. «Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, — резюмирует Ясперс, — что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира»<sup>2</sup>. В эту эпоху были разработаны те основные категории, кото-

<sup>1</sup> Ясперс К. Указ. соч. С. 124.

<sup>2</sup> Там же. С. 30.

рыми человек пользуется и теперь, заложены основы мировых религий, существующих и сегодня. В «осевое время» почти одновременно и независимо друг от друга образовались несколько духовных центров, внутренне родственных друг другу.

Важнейшей характеристикой этого времени является прорыв мифологического мирозерцания, переход от мифа к логосу. «Тем, что свершилось тогда, было создано и продумано в то время, человечество живет вплоть до сего дня. В каждом своем порыве люди, вспоминая, обращаются к осевому времени, воспламеняются идеями той эпохи. С тех пор принято считать, что воспоминание об осевом времени и возрождение его возможностей — Ренессанс — всегда ведет к духовному подъему»<sup>1</sup>.

В «осевое время» впервые разделяются как противоположности земля и небо, сущее и должное, повседневность и идеал. Стремясь к идеалу и осознавая свою беспомощность, человек обращается к внешней силе — к всемогущему богу, живущему вне мира и способному спасти человека лишь по своей доброй воле. Если для периода архаической культуры характерны локальность, ограниченность сознания, то «осевому времени», его религиям и политической культуре свойствен универсализм — стремление к распространению истинной веры и расширению границ основанного на ней государства.

«Осевое время» знаменует исчезновение великих культур древности, существовавших тысячелетия. Все, что существовало до этого периода, если даже оно было величественным, подобно вавилонской, египетской, индийской или китайской культуре, рассматривается позднее как нечто дремлющее, не пробудившееся. Народы, не воспринявшие идей «осевого времени», остаются на уровне природного существования, их жизнь остается неисторичной.

Можно ли ответить на вопрос о причине «осевого времени», ознаменовавшего радикальный поворот в развитии человека? Этот вопрос остается и, судя по всему, навсегда останется неразрешимой проблемой. «Никто не может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории! Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение, для того чтобы на данной стадии хотя бы иметь его перед глазами в качестве все углубляющейся тайны»<sup>2</sup>.

Второе дыхание, обнаруживающееся в истории и способное привести к новому радикальному изменению природы человека, начинается в период зарождения современной науки и техники, т. е. в XVI—XVII вв., и продолжается сейчас. Нынешний период, являющийся

<sup>1</sup> Ясперс К. Указ. соч. С. 37.

<sup>2</sup> Там же. С. 53.

возможно преддверием еще одного «осевого времени», таит в себе многие опасности. Главные из них:

- постепенное преобразование народа в массу и превращение масс в решающий фактор истории;
- возможность утраты самого человека, постепенного разрушения его природы;
- введение тотального планирования.

Предыдущая история была сравнительно стабильной. Основную часть населения составляло крестьянство, жизненные устои которого не менялись даже при политических катастрофах. Сознание людей, даже если их ждала голодная смерть, оставалось сравнительно защищенным внутри неменяющихся структур. В наше время ситуация изменилась. Социальные условия неудержимо меняются, население вырывается из исконных традиционных устоев и форм правления. Массы становятся более однородными, они стремятся высказать свою волю и заставить считаться с собой. Однако эта воля не может возникнуть внутри анонимной массы. Ее пробуждает и направляет пропаганда, внушающая массам их представления и лозунги.

Массы возникают там, где люди лишены своего подлинного мира, корней и почвы, где они стали управляемыми и взаимозаменяемыми. Превращение народа в массу в условиях индустриального общества является неизбежным. Однако масса как форма существования человека не является чем-то окончательным. Каждый отдельный человек остается в ней человеком. Остается полагаться на импульсы, которые, в конечном счете, окажутся способными привести к возрождению бытия человека из недр массового бытия. Путь истории неминуемо идет теперь через массы. Но имеется, тем не менее, надежда на то, что наука и образование смогут привести массы на путь, ведущий к своего рода аристократии духа — к аристократии без наследственных прав и привилегий. К тому же с исчезновением социального гнета и политического террора может исчезнуть также преисполненное возмущения и негативности мышление, свойственное массам.

Вся предшествующая история со всеми ее событиями лишь в незначительной степени затрагивала человеческую природу. Теперь эта природа пришла в движение, и опасность грозит ей самой в ее сокровенных глубинах. Возникла новая, совершенно неведомая ранее забота о будущем человеке — забота о сохранении самой его природы. Человек может потерять себя, человечество незаметно для самого себя или в результате страшных катастроф может вступить в стадию нивелирования и механизации, в жизнь, лишенную свободы и свершений, в царство черной злобы, стыдящееся любого намека на гуманность.

Будущее человечества зависит от людей, оно не придет само, как явление природы. Помочь современному человеку может только предельно ясное сознание. Вспоминая коммунизм и национал-социализм, внесшие особо заметный вклад в постепенное разрушение природы человека, Ясперс замечает, что нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению; то, что произошло, может повториться, может распространиться, охватить весь мир. Нужно постоянно сохранять страх перед недавним прошлым, в надежде на то, что этот страх постепенно перейдет в активную борьбу с опасностью.

Планирование всегда было присуще человеческому существованию. Что опасно, так это тотальное планирование, когда государство подчиняет своему ведению не только экономику страны в целом, но и весь строй человеческой жизни. Тотальное планирование означает уничтожение свободного рынка, замену его статистическим исчислением и определением характера труда, производства и распределения по разумению выделенных для этого лиц, в зависимости от их целей и вкуса. Выходя за пределы экономики, тотальное планирование начинает оказывать косвенное воздействие на всю человеческую жизнь вплоть до духовного творчества, особенно нуждающегося в свободной инициативе отдельных людей. Исчезает свобода индивидов в выборе того, что они предпочитают для удовлетворения своих потребностей; исчезают многообразие предложения и возможность проверить, нравится что-то или нет. Тотальное планирование в области экономики не может быть ограничено только хозяйственной сферой. Оно становится универсальным фактором жизни людей. Регулирование хозяйства ведет к регулированию всей жизни как следствие сложившихся в этих обстоятельствах социальных условий. Тотальное планирование неизбежно завершается централизованным управлением всей жизнью.

В современном мире есть две основополагающие тенденции, способные быть истоками нашего выбора: либо мы сохраняем право свободного выбора, верим в возможности, которые появляются в свободном столкновении различных сил, какие бы ситуации при этом ни возникали; либо мы живем в созданном людьми тотально планируемом мире, в котором гибнут духовная жизнь и человек. Можно сказать, что первый вариант — это современное индивидуалистическое (посткапиталистическое) общество с рыночной экономикой, второй — современное коллективистическое (коммунистическое или национал-социалистическое) общество с тотальным планированием не только экономики, но и всех сфер жизни человека.

Планирование может быть осуществлено лишь властью, тотальное планирование — лишь абсолютной властью. Принципиально

важно, что тотальное планирование не может быть проведено рационально: наше знание никогда не охватывает целого как такового, но мы всегда находимся в нем; всякая деятельность приводит к непреднамеренным и непредсказуемым следствиям; планирование уместно в сфере механического и рационального, но не в области живого и духовно разумного. Склонность распространять тотальное планирование и на те сферы, где оно невозможно, проистекает из двух источников: из желания следовать примеру техники и из иллюзии тотального знания истории.

Тотальное планирование в мире людей всегда опирается на такое представление о человеке, будто он полностью познан. При этом либо предполагается, что человек всегда один и тот же, либо считается, что он меняется в зависимости от условий, в которых живет, под воздействием самих этих условий. Во втором случае новое общество строится таким образом, чтобы изменение человека шло в сторону приближения к подлинной человеческой сущности, как ее понимают субъекты планирования. Целью тотального планирования является идеальный человек. Преображенный человек делает возможными новые общественные условия, а сами эти условия создают среду для появления нового человека. Люди, стремящиеся охватить планирование все стороны социальной жизни, исходят из представления, что им хорошо понятна эволюция человека. Они стремятся создать нового, идеального человека, подобно тому, как художник создает произведение искусства из данного ему материала.

До сих пор речь шла о социальных факторах, несущих с собою угрозу разрушения природы человека. Помимо того, имеются факторы, непосредственно связанные с развитием науки и прежде всего биологии. Современная генетика приближается к моменту, когда она окажется способной изменять генетический код человека, клонировать его и т. п. Уже сейчас человек потребляет генетически модифицированные продукты, отдаленные последствия воздействия которых на организм человека пока что непредсказуемы.

Побуждения ученых, намеревающихся изменить биологическую природу человека, могут быть самыми благими. Однако наука существует в определенной социальной среде, к тому же она не отделена от государства. Можно вообразить себе социальный строй, которые поставит перед учеными задачу создания не просто здорового и обеспеченного всем необходимым человека, а некоего «совершенного человека», приспособленного к жизни в проектируемом «совершенном обществе». Именно такую цель ставили не так давно национал-социализм и коммунизм. Нацисты уничтожили шесть миллионов евреев, отнесенных ими к «отрицательно ценной» расе, а также уничтожили всех, кто страдал психическими заболеваниями. Используя

результаты современной науки, они могли поставить задачу трансформации самой генетической природы человека, устранения «неполноценных рас» и т. п.

Человек является одновременно и биологическим и социальным существом. Угроза, касающаяся его природы, всегда исходит от общества. И это может быть как угроза изменения социальной природы человека, так и угроза изменения биологической его природы.



## *Глава XIV*

# ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ

### § 1. Два полюса истории

В развитие представлений о стиле мышления, господствующем в некоторый период времени или в определенной области познания, рассмотрим основные стили, или типы, современных теорий, касающихся природы общества. Интерес к этой теме связан с несколькими обстоятельствами. Прежде всего, конкретизация и уточнение понятия стиля мышления применительно к социальным наукам позволяет дать более ясную характеристику научному методу и еще раз подчеркнуть то, что этот метод не может быть представлен как исчерпывающая система простых и однозначно определенных правил. Границы научного метода размыты, понятие научного метода относится к понятиям, являющимся одновременно и неясным, и неточными.

Стили социального теоретизирования позволяют также отчетливее понять различие между науками о природе, с одной стороны, и науками об обществе, с другой. В частности, анализ этих стилей хорошо показывает, что науки об обществе всегда опираются на определенные ценности, причем в один и тот же период времени имеется несколько конкурирующих между собой систем ценностей, явно или неявно лежащих в основе социальных теорий данного периода.

Исследование стилей социального теоретизирования является важным и в прагматическом плане. Наука существует в определенной социальной среде и во многом зависит от этой среды. Представитель научного сообщества должен хотя бы в общих чертах представлять то общество и ту цивилизацию, в рамках которой протекает и оценивается его работа. В противном случае его нетрудно окажется убедить, что есть «арийская физика» и «неарийская физика», что существует «единственно научная философия», что противоречия являются движущей силой всякого развития не только в обществе, но и в природе, что наука озабочена только средствами для достижения целей, а поскольку постановка последних выходит за ее пределы, ученые не отвечают за социальные последствия развиваемых ими теорий и т. п.

Без отчетливого представления о современном обществе невозможно решение даже частных проблем как в социальных, так и в гу-

манитарных науках. Далее будут эскизно очерчены основные типы современных социальных теорий, конкурирующих между собой теорий. Это позволит яснее представить *современные стили социального теоретизирования*, понять в общих чертах нынешнее общество и перспективы его обозримого будущего и, наконец, почувствовать ту социальную среду, в которой существует и развивается современная наука.

Науки об обществе обладают определенным своеобразием в сравнении с науками о природе, или естественными науками. Социальные факты не так устойчивы и однозначны, как естественно-научные: первые подобны каплям воды на раскаленном железе. Социальные теории всегда страдают известной умозрительностью, что делает их объяснения и предсказания довольно неопределенными. Кроме того, теории, касающиеся человеческой истории, не устанавливают, как уже говорилось, каких-либо законов. Это придает историческим объяснениям и предсказаниям настолько большую неопределенность, что иногда говорят: история учит только тому, что она ничему не учит.

Вместе с тем в своей глубинной основе науки об обществе и науки о природе едины: они отправляются от фактов и пытаются сконструировать теории, позволяющие понимать, объяснять и предсказывать изучаемые явления. Науки об обществе, если они стремятся к объективному знанию, руководствуются тем же научным методом, которого придерживаются науки о природе.

В конце XIX — начале XX в. распространенной была идея, что наука при всем ее могуществе связана очень жестким ограничением: она способна давать только знание тех средств, которые необходимы для достижения поставленных целей, но не знание самих целей. Вопрос о том, откуда появляются те цели, которые ставят перед собою человек и общество и почему именно эти цели не могут быть подвергнуты научному исследованию, оставался неясным. Обычно на него отвечали в духе позитивизма и неопозитивизма: цели — это ценности, а наука ценностями не занимается, поскольку конечная задача научного исследования — истина. Иными словами, идея, что наука изучает только средства для достижения некоторых целей, но не способна ничего сказать о самих целях, напрямую связывалась с типичным для позитивизма и неопозитивизма требованием исключать ценности из языка науки.

В дальнейшем рассмотрение конкретных научных теорий, касающихся развития человеческого общества и самого человека, покажет, что социальная теория, пытающаяся говорить лишь о средствах для достижения целей, появляющихся неизвестно откуда, попросту невозможна. Суть социального исследования в том, чтобы уловить те

тенденции развития общества, которые представляются позитивно ценными, и указать средства, необходимые для успешной реализации таких тенденций. Что касается негативных тенденций развития общества, социальная теория должна выявить их и предложить конкретные способы их преодоления.

Цели развития общества действительно являются ценностями, они представляют собой, как говорил Ф. Ницше, пунктиры человеческой воли. Основополагающие социальные цели не изобретаются социальными науками. Самые важные из таких целей вызревают в толще самой социальной жизни. Задача социальных наук состоит в том, чтобы выявить и прояснить их, а уже после этого попытаться найти способы их достижения.

Социальная наука, если она претендует на какую-то значимость в социальной жизни, должна говорить, таким образом, не только о средствах для достижения неизвестно кем поставленных целей, но и о самих целях. В рамках каждой эпохи (за исключением первобытной, или архаической, эпохи) имеются разные типы обществ, или цивилизаций. Их можно подразделить на три группы: *коллективистические цивилизации, индивидуалистические цивилизации и промежуточные цивилизации*.

Иными словами, всякое конкретное общество или находится на одном из двух полюсов (в непосредственной близости от него), или, что бывает гораздо чаще, с той или иной силой тяготеет к одному из полюсов. Формы коллективизма и индивидуализма меняются от эпохи к эпохе, отдельные общества дрейфуют от коллективизма к индивидуализму и наоборот, но две крайние точки, между которыми разворачивается история, остаются почти неизменными по своей сути<sup>1</sup>.

Сосредоточим главное внимание на анализе коллективистических и индивидуалистических обществ. Промежуточные между отчетливым коллективизмом и отчетливым индивидуализмом общества требуют самостоятельного анализа, тем более важного, что такие общества составляют подавляющее большинство. Однако своеобразие любого из промежуточных обществ не может быть успешно проанализировано без учета того, к какому из двух возможных полюсов оно тяготеет.

Коллективистическое или индивидуалистическое устройство общества определяет все сколько-нибудь существенные характеристики социальной жизни, начиная с государства, прав личности и ее автоно-

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Ивин А. А.* Введение в философию истории. М., 1997. С. 8–50; *Ивин А. А.* Философия истории. М., 2000. Гл. 2; *Ивин А. А.* Социальная философия. М., 2002. Гл. 2.

мии и кончая культивируемыми в обществе разновидностями любви. Каждая новая эпоха воспроизводит коллективизм и индивидуализм, причем воспроизводит их в новой форме. Это означает, что ход человеческой истории не является прямолинейным, в частности, он не является, вопреки Марксу и его сторонникам, последовательным восхождением от предыстории человеческого общества к его истории, наиболее полно отвечающей «сущности человека». Это не удивительно, так как даже история техники — это никоим образом не прямолинейная история, в ней существует не единое действие, но многие действия, многие отступления и многие «сложности».

Термин «коллективизм» обычно обозначает признание абсолютного главенства некоторого коллектива или группы, например общества, государства, нации или класса, над человеческой личностью. Суть коллективизма можно передать принципом: «Все в коллективе, все благодаря коллективу, ничего против коллектива». Коллективизму, ставящему коллектив над индивидом, противопоставит индивидуализм, подчеркивающий автономию личности, ее независимость и самостоятельную ценность.

Термином «коллективизм» обозначают и конкретные общества, решительно и последовательно реализующие принцип коллективизма. Характерным примером такого общества является тоталитаризм, подчиняющий все без исключения стороны социальной и индивидуальной жизни контролю государства. Иногда под «коллективизмом» имеют в виду один из вариантов тоталитаризма — коммунистическое общество, отличающееся особо последовательным коллективизмом и максимальным ограничением автономии личности.

Условимся понимать под *коллективизмом* социальную систему, стремящуюся с помощью любых средств, включая и насилие, радикально преобразовать общество во имя достижения некой единой, всеподавляющей цели и отрицающую во имя этой цели автономию индивида. Коллективизм может быть теоретическим, существующим в форме более или менее разработанного проекта коллективистического переустройства общества, или практическим, существующим в виде конкретного коллективистического общества.

Коллективизму противопоставит *индивидуализм*, не намеревающийся решительно перестраивать общество ради какой-то универсальной, обязательной для всех цели и допускающий в широких пределах независимость индивидов. Индивидуализм может существовать как в форме теории, так и в виде реального индивидуалистического общества, возможно, не руководствующегося в своей жизни никакой теорией.

Примером античного индивидуалистического общества может служить Древняя Греция, прежде всего афинская демократия.

Практический древний коллективизм хорошо иллюстрирует древнеегипетское общество. Двумя вариантами современного практического коллективизма являются нацистское германское государство и коммунистическое советское государство. До своего утверждения в качестве социальных систем нацизм и коммунизм существовали соответственно в форме теории создания чисто арийского государства и марксистско-ленинской теории построения коммунистического общества.

Термины «коллективизм» («коллективистическое общество») и «индивидуализм» («индивидуалистическое общество») широко употребляются с конца XIX — начала XX в., т. е. с того времени, когда социализм как ведущая форма современного коллективизма стал превращаться из вопроса теории в дело реальной социальной практики.

Коллективизм и индивидуализм как две крайние, полярные формы социального устройства противопоставляются К. Поппером, Ф. А. Хайеком, З. Бжезинским, Р. Ароном и др.<sup>1</sup> Общество представляет собой определенную общность, некоторый обширный коллектив, члены которого действуют совместно и связаны между собой тысячами и тысячами нитей. Древний предок человека был стадным животным и, отбившись от стада, погибал. Человек как *homo sapiens* также не способен существовать вне определенного человеческого сообщества. Более того, вне такого сообщества он не способен даже стать человеком. Если ребенок растет, как это иногда случалось, среди дикой природы, позднее, оказавшись среди людей, он остается диким существом, не способным сделаться полноценным человеком.

Общество — это определенная взаимосвязь коллективности и индивидуализма, действий человека в составе определенных сообществ и его автономных, индивидуальных действий. Противопоставление друг другу коллективистического общества и индивидуалистического общества не имеет в виду умаления важности коллективистических начал в жизни общества: без них общественная, т. е. совместная, жизнь людей невозможна. Умаление коллективистических начал в любом обществе, будь оно коллективистическим, индивидуалистическим или промежуточным, чревато разрушением этого общества. Общество представляет собой определенное равновесие коллективного и индивидуального.

Своеобразие коллективистического общества в том, что оно доводит коллективные принципы социальной жизни до крайности. Под флагом глобальной цели коренного переустройства общества

---

<sup>1</sup> См., напр.: Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 391; Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 121; Hayek F. A. Fatal Conceit. Chicago, 1989. Ch. 1.

оно стремится растворить индивида в его коллективе и в обществе в целом, лишить личность всякой автономии, предельно ограничить ее свободу и сделать ее тем самым простым «винтиком» огромного социального механизма. Индивидуалистическое общество, напротив, предоставляет своим индивидам существенную независимость в определенных сферах их деятельности, но постоянно рискует при этом нарушением хрупкого баланса коллективного и индивидуального в своей жизни.

Понятия «коллективизм» и «индивидуализм» имеют скрытый оценочный характер, но это не может быть достаточно веским доводом против их использования в новых значениях. Во-первых, в своих новых значениях в языке социальных наук данные слова уже используются около ста лет, и ни к каким недоразумениям это не привело. Физика когда-то тоже взяла «оценочные» слова «сила», «энергия» и другие из обычного языка и сделала их точными научными понятиями. Во-вторых, нет оснований говорить, что если в том или ином обычном языке «коллективизм» несет позитивную оценку, а «индивидуализм» — негативную, то в научном употреблении оценки, выраженные этими словами, меняются на противоположные. «Коллективизм» и «индивидуализм», превращаясь в термины языка науки, становятся оценочно нейтральными и перестают быть оценочными словами.

В частности, отнесение какого-то общества к коллективистическому не предполагает никакой отрицательной оценки этого общества, точно так же как эпитет «индивидуалистическое» не означает какой-либо похвалы тому обществу, к которому он прилагается. Коллективистическое устройство общества и индивидуалистическое его устройство — два вечных полюса человеческой истории. Наивно было бы отождествлять одну из данных крайних форм общественного устройства со злом, а вторую — с добром и заявлять, что история каждого конкретного общества — это попеременное движение то к полюсу зла, то к полюсу добра и что подавляющее большинство реально существующих обществ тяготеет все-таки к полюсу зла. Язык науки не может содержать подобных субъективных оценок.

Коллективизм и индивидуализм представляют собой два крайних, противоположных способа общественного устройства. В чистой форме они проявляются только в немногих обществах. Остальные общества не являются явно коллективистическими или открыто индивидуалистическими, а только тяготеют — притом с разной степенью интенсивности — к одному из этих полюсов.

Скажем, в современном мире к собственно коллективистическим странам относятся коммунистические Северная Корея, Куба и, возможно, ряд арабских стран, строящих «национальный социализм»; к открыто индивидуалистическим принадлежат либерально-

демократические общества Западной Европы и Северной Америки. Остальные страны лишь тяготеют к одному из этих полюсов, находясь от них на самом разном удалении. Ряд стран, и в их числе Россия, долгое время составлявших ядро коллективизма, сейчас достаточно устойчиво движутся в сторону индивидуалистического общественного устройства.

Выделение коллективизма и индивидуализма как двух чистых форм (или полюсов) устройства общества не означает, конечно, что мировая история представляется как арена никогда не затихающей борьбы между данными формами. Коллективизм и индивидуализм противостоят друг другу как способы общественного устройства, но из этого вовсе не следует, что они непременно ведут открытую или тайную войну друг с другом. Коллективистические и индивидуалистические общества вполне могут мирно сосуществовать. Об этом говорит современная история и почти вся предшествующая история. Противостояние коллективизма и индивидуализма обострилось и дошло до войны только в XX в., когда мир стал особенно тесным, а коллективизм — особенно агрессивным. История не движется борьбой коллективизма с индивидуализмом точно так же, как она не движется ни борьбой классов, как полагал марксизм, ни борьбой наций (рас), как считал национал-социализм.

Двухполюсность человеческой истории очевидным образом не совместима с идеей однородности, или гомогенности, исторического времени. Гетерогенность истории, неравномерность развития отдельных обществ и регионов, тяготение их то к одному, то к другому из полюсов истории вызваны изменчивостью факторов духовной и материальной жизни конкретных обществ, с плюрализмом культур, с многообразием социально-исторического опыта и т. п.

Коллективистические общества одной эпохи, даже находящиеся в разных частях света и совершенно не связанные между собой, обнаруживают удивительное и далеко идущее сходство, начиная со способов мышления и строя чувств и кончая формами коллективных действий, собственности, идеологии, искусства и т. д. Точно так же обстоит дело с индивидуалистическими обществами, относящимися к одной и той же эпохе. Так, нет сомнения, что древнеегипетское и древнекитайское общества сходны друг с другом во многих даже конкретных деталях социальной жизни. Точно так же вплоть до частных похожи друг на друга коммунистическое и нацистское общества. Родство древнегреческого и древнеримского обществ очевидно.

Еще более примечательно то, что коллективистические общества, принадлежащие к разным историческим эпохам, обнаруживают глубинное, но, тем не менее, несомненное сходство между собой. Раз-

деленные иногда тысячелетиями, они демонстрируют очень похожие друг на друга стили теоретического мышления, настрои чувств и способы коллективной деятельности. Но если в случае коллективистических обществ одной и той же эпохи можно говорить о содержательном сходстве их мышления, верований, действий, то применительно к коллективистическим обществам разных эпох речь должна идти о формальном, или структурном, сходстве. Сходным образом подобны друг другу и индивидуалистические общества, относящиеся к разным эпохам.

Есть несомненное сходство, например, между средневековым феодальным коллективистическим обществом и современными формами социалистического устройства общества, подобными коммунизму или нацизму. Не случайно общественный строй коммунистической России иногда называли феодальным социализмом. Столь же очевидно сходство, существующее, скажем, между индивидуалистическим обществом Древней Греции и современным западным индивидуалистическим обществом.

Подобие друг другу коллективистических обществ, относящихся к разным эпохам истории, позволяет ввести общее представление о коллективизме (коллективистическом обществе) и говорить о коллективизме как об одной из определяющих тенденций истории. Аналогично сходство индивидуалистических обществ разных эпох позволяет сформулировать общее представление об индивидуализме (индивидуалистическом обществе) и рассматривать индивидуализм как вторую решающую тенденцию исторического развития.

Сходство форм коллективизма, принадлежащих разным эпохам, не должно быть поводом для такого упрощения реальной истории, когда все они истолковываются как предварительные наброски современной, индустриальной формы коллективизма (социализма), с которыми современный коллективизм имеет внутреннее родство и из которых он едва ли не вырос. В таком случае пришлось бы говорить о «хилиастическом социализме», «государственном социализме империи инков или Древнего Египта» и т. п. Это было бы модернизацией истории, явным опрокидыванием ее в прошлое.

Упрощающей модернизацией является и представление современного индивидуализма как наследника и продолжателя древнегреческого индивидуализма. Максимум, о чем здесь можно говорить, — это осознание, причем довольно позднее, современным индивидуализмом определенной идейной близости с древнегреческим индивидуализмом.

Одна из тенденций новой и новейшей истории — модернизация, переход от традиционного общества к модернизированному об-



ществу. Эта тенденция сделалась заметной в Западной Европе уже в XVII в., позднее она распространилась почти на все регионы.

Для традиционных обществ характерны прежде всего опора на веру, а не на разум, на традицию, а не на знание, пренебрежительное отношение к экономическому росту, к внедрению новых технологий и управлению экономикой. Модернизирующиеся общества опираются в первую очередь на разум, знание и науку, проводят последовательную индустриализацию, резко увеличивающую производительность труда, усиливают роль управления, в частности управления экономикой, и придают развитию производительных сил определенные динамизм и устойчивость. Модернизация ведет к росту сложности общественной системы, интенсификации коммуникаций, постепенному формированию мирового сообщества. Процесс модернизации характерен не только для капиталистических, но и для социалистических стран. Последние также апеллируют к разуму и науке и стремятся обеспечить устойчивый экономический рост. Более того, они претендуют на гораздо более эффективную модернизацию, чем та, которая доступна капиталистическим странам.

Модернизация не является, конечно, историческим законом, охватывающим все общества и все эпохи. Она характеризует переход от аграрно-промышленного общества к индустриальному и представляет собой тенденцию лишь нескольких последних веков. Эта тенденция заметно усилилась в XX в., но при неблагоприятном стечении обстоятельств она способна угаснуть в будущем (исчерпание природных ресурсов, чрезмерный рост народонаселения, обострение глобальных экологических проблем и т. п.).

Две фундаментальные оппозиции: «коллективистическое общество — индивидуалистическое общество» и «традиционное общество — модернизированное общество» позволяют дать простую схему современной общественно-экономической ситуации. Эта схема соединяет современную тенденцию модернизации с представлением о двух возможных полярных типах социального устройства. Схема показывает не единственность так называемого западного пути, как не единственность социалистического (коммунистического) выбора. Нет общей дороги, которую должно было бы пройти, пусть в разное время и с разной скоростью, каждое общество. История не идет в направлении, когда-то предсказанном Марксом, — к коммунизму. Но она не является и повторением всеми обществами того пути, который прошли в свое время западноевропейские страны.

К. Поппер проводит различие между *закрытым* и *открытым* обществом<sup>1</sup>. Первое — это племенное или коллективистическое обще-

<sup>1</sup> Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 218.

ство, второе — общество, в котором индивиды вынуждены принимать личные решения. Закрытое общество можно охарактеризовать как магическое, а открытое — как рациональное и критическое, но с учетом того, что магическая установка никогда не уходит из человеческой жизни и в какой-то мере присутствует даже в самых «открытых» из всех построенных до сих пор обществ.

Поппер подчеркивает, что «переход от закрытого к открытому обществу можно охарактеризовать как одну из глубочайших революций, через которые прошло человечество»<sup>1</sup>. Он называет закрытое общество «коллективистическим», а открытое — «индивидуалистическим». Однако смысл, придаваемый Поппером противопоставлению коллективистического (или коллективистского) общества индивидуалистическому, не вполне ясен. Если коллективистическое общество — это архаическое, племенное общество, то его разумно противопоставлять только древнегреческому обществу, впервые выстроившему социальные отношения на основе индивидуализма и значительной автономии личности. Противопоставлять же архаический коллективизм современному индивидуализму имеет мало смысла, поскольку эти общества разделены тысячелетиями.

Поппер высказывает, хотя и вскользь, мысль о том, что закрытых обществ с самой разной судьбой может быть много, в то время как открытое общество может быть только одно, и оно «может только продвигаться вперед, если оно не хочет быть задержано и возвращено в неволю, в звериную клетку»<sup>2</sup>. С этой идеей единственности открытого общества перекликается мысль Поппера о современном западном обществе как прямом продолжении древнегреческого общества.

Все это не особенно ясно. Современное индивидуалистическое общество начало формироваться только в Новое время, и считать его продолжением индивидуалистической революции, начатой в Древней Греции, можно только в плане развития идей, но никак не реальных событий. Из человеческой истории куда-то исчезает Средневековье, историю которого Поппер проходит в семимильных сапогах. Трудно понять, относится ли тоталитаризм, о котором Поппер говорит много интересного, к закрытому обществу. Если тоталитаризм продолжает античные коллективистические традиции, то его можно назвать закрытым обществом.

Дополняя рассуждения Поппера недостающими звеньями, можно сказать, что в человеческой истории существуют и соперничают две традиции: традиция закрытого общества, ведущая от племенного коллективизма через средние века к современному тоталитаризму, и тра-

---

<sup>1</sup> *Поппер К.* Открытое общество и его враги. С. 220.

<sup>2</sup> Там же. С. 289.

диция открытого общества, ведущая от древнегреческой демократии к современному западному обществу. Понятия «коллективистическое общество» и «индивидуалистическое общество» оказываются, таким образом, достаточно близкими попперовским понятиям «закрытое общество» и «открытое общество» соответственно.

Термин «открытое общество» подчеркивает то обстоятельство, что это общество в процессе свободного обсуждения и взвешивания альтернатив само выбирает перспективу своего развития. Закрытое общество направлено на достижение однозначно определенной глобальной цели и жестко связано заранее выработанным планом. Оно не избирает свой путь, а реализует свое предназначение, определенное волей бога или законами общественного развития.

Термин «открытое общество», широко употребляемый в современной литературе, будет далее использоваться далее для обозначения современного индивидуалистического или близкого к нему общества. Соответственно термин «закрытое общество» будет означать современное коллективистическое или близкое к нему общество.

## § 2. Современное общество

К. Маркс как-то заметил, что анатомия человека есть ключ к пониманию анатомии обезьяны. Более высокая стадия развития какого-то явления позволяет яснее понять предшествующие стадии его развития. В этом смысле история прошлого века является ключом к пониманию всей человеческой истории.

Целесообразно сконцентрировать обсуждение прежде всего на современном капитализме, обычно именуемом посткапитализмом, и современном крайнем, или тоталитарном, социализме в его коммунистическом и национал-социалистическом вариантах. Необходим анализ как материальной, так и духовной сторон жизни посткапиталистических и социалистических обществ, поскольку динамика развития отдельных обществ определяется в первую очередь взаимодействием этих двух сторон. Общества, лежащие между посткапитализмом и социализмом и тяготеющие к одному из этих полюсов, требуют специального рассмотрения.

Современное общество, т. е. общество XX–XXI вв. — это общество, расколотое на две противостоящие друг другу системы — *посткапитализм* и *социализм*, между которыми располагается множество стран, с той или иной силой тяготеющих к одному из этих двух полюсов. Понятие «социализм» употребляется в двух значениях. Во-первых, под социализмом имеется в виду концепция, ставящая глобальную цель свержения капитализма, построения в обозримом

будущем совершенного общества, завершающего историю человечества, и требующая мобилизации для достижения этой цели всех имеющихся в распоряжении общества ресурсов. Во-вторых, социализм — это реальное общество, пытающееся воплотить в жизнь социалистические идеалы. Социализм в первом значении можно назвать *теоретическим*, во втором — *практическим*, или *реальным*, социализмом.

Расхождение между социалистической теорией и социалистической практикой является, как это продемонстрировала история прошлого века, радикальным. Если теоретический социализм рисует едва ли не райскую жизнь, которая должна вот-вот наступить на земле благодаря самоотверженным усилиям общества, то социалистическая практика представляет собой настоящий ад, в огне которого погибают десятки миллионов невинных жертв.

Социализм существовал в XX в. в двух основных формах: левый социализм, или *коммунизм*, и правый социализм, или *национал-социализм*. К середине века национал-социализм, развязавший войну за свое мировое господство, был разгромлен. К концу века коммунизм, также стремившийся к утверждению своего могущества в мировом масштабе, распался под грузом порожденных им самим неразрешимых проблем.

Посткапиталистическое и социалистическое общества принципиально различны. Вместе с тем между этими двумя крайними типами общественного устройства имеется и определенное сходство. Это как раз то сходство, по поводу которого говорят: крайности сходятся. Суть сходства посткапитализма и социализма:

- каждое из этих обществ склонно представлять себя единственной успешно развивающейся цивилизацией, а в индустриальную эпоху, когда человечество начинает обретать все большее единство,— авангардом всего человечества;
- высшим своим смыслом каждое из них считает научно-техническое господство над миром, все возрастающую эксплуатацию окружающей среды;
- эти общества отрицают идею равноправия разных культур и их неприводимого к общему знаменателю разнообразия;
- своей задачей в отношении других культур данные общества считают подстегивание их поступательного движения в направлении кажущихся им очевидными целей;
- исключительную роль играет культ аналитической мысли и утилитарного разума;
- пренебрежительное отношение к нетехническим критериям определения уровня развития того или иного общества или народа;

- упрощенная концепция развития заставляет эти общества скептически относиться к культуре прошлого, к своеобразию существования других народов, ко всем, кроме собственных, обычаям и традициям;
- данные общества склонны пренебрегать национальными различиями, акцентируя свое внимание на деятельности, которая является, в сущности, интернациональной;
- эти общества во многом утрачивают способность сомневаться в самих себе, они остаются глухими и к критике извне;
- культура в этническом значении, включающая обязательную приверженность незабываемой традиции, приносится ими в жертву культуре, понимаемой прежде всего как художественное и литературное творчество;
- данные общества отрицают то, что разные формы организации человеческой жизни и разные системы символического осмысления бытия достойны равного уважения.

Подводя итог общей характеристике двух полюсов современного общества, можно сказать, что первый выход индустриального коллективизма на мировую арену оказался неудачным. Национал-социализм потерпел сокрушительное военное поражение, его вожди или покончили с собой, или были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. В большинстве развитых стран национал-социалистическая идеология отныне запрещена.

Социализм коммунистического типа добился большего: он охватил почти треть человечества и занял едва ли не половину земной поверхности. Но и его успех оказался временным. Уже в 70-е гг. прошлого века стало ясно, что и эта форма социализма обречена на гибель. Уход с исторической арены двух ведущих форм социализма внушил многим убеждение, что социализм — исторически случайное явление, какое-то досадное отклонение от основного пути истории и что теперь о социалистическом коллективизме, навсегда ушедшем в прошлое, можно благополучно забыть.

Подобное убеждение — только иллюзия и притом опасная иллюзия. Постиндустриальный коллективизм вряд ли вернется в крупных масштабах в виде старого социализма (национал-социализма или коммунизма). Но нельзя исключить, что постиндустриальный коллективизм возвратится в некоторой новой, неведомой пока форме.

Коллективизм порождается не мифическими универсальными историческими законами, а переменчивыми обстоятельствами реальной человеческой истории. Источником коллективизма являются не теории, придуманные выдающимися мыслителями и приводящие затем в движение широкие массы. Теории вторичны, а главным источником коллективизма является, если говорить самым общим образом,

нужда, крайняя степень обострения социальных проблем и отсутствие иных средств для их решения, кроме консолидации всего общества для радикального преодоления сложившейся ситуации и построения совершенно нового общества, не опирающегося уже на начала индивидуализма. Это заставляет вводить централизованное планирование сначала экономикой, а затем и иными сферами жизни, пренебрегать правами и свободами личности, применять насилие для реализации глобальной цели и т. д. Характерным примером такого рода нужды служит война, заставляющая даже демократические государства налагать ограничения на свободу, демократию, конкуренцию, частично национализировать собственность и т. п.

«Коммунистическая и другие разновидности тоталитарной экономики, управления и образа жизни — это дети *критических ситуаций* родителей. Это сильные, но опасные “лекарства”, применяемые для противодействия безнадежной «кризисной болезни». В условиях этой “болезни” они иногда (хотя и не всегда) полезны в преодолении “болезни” и восстановлении нормального “здоровья” больного социального организма. Как только его здоровье улучшается, такое лекарство не только перестает быть необходимым, но даже становится вредным для общества. По этой причине оно постепенно отменяется и заменяется «нормальным» режимом социальной, культурной и индивидуальной жизни, свободной от чрезвычайной правительственной регламентации и других тоталитарных черт»<sup>1</sup>. Таким образом, резкое ослабление постиндустриального коллективизма не означает, что в случае наступления новых глубоких социальных кризисов он не вернется на историческую сцену в какой-то обновленной форме.

**Посткапитализм.** *Посткапитализм*, называемый также *современным капитализмом* или *неокапитализмом*, представляет собой индивидуалистическое общество постиндустриальной эпохи. Посткапитализм пришел в прошлом веке на смену раннему, или «дикому», капитализму, достигшему своего расцвета в середине XIX в.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997. С. 126.

<sup>2</sup> Можно отметить, что термин «капитализм» появился только в начале XX в. Этот термин, говорит историк Ф. Бродель, еще более неудачный, чем термин «феодализм», «заставляет вздрагивать при своем произнесении» (*Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. М., 1986. Т.2. С. 7*). По этой же причине может казаться не особенно удачным и термин «посткапитализм», производный от «капитализма» и остающийся, как и последний, в существенной мере негативно оценочным. Ф. А. Хайек предлагал вместо «неверного», как он его характеризует, термина «капитализм» ввести новый, хотя и достаточно громоздкий термин «расширенный порядок человеческой кооперации». Выдвигались и другие варианты замены «капитализма», но ни один из них не получил закрепленного традицией права на существование. Сохранение термина «капитализм» диктует и название современной стадии его развития: оно должно быть производным от данного термина.

Различия между ранним капитализмом и посткапитализмом настолько велики, что иногда посткапитализм вообще не считается новой стадией капитализма, а объявляется новым типом общества. Такая точка зрения не может быть признана обоснованной. Посткапитализм — итог радикальных внутренних трансформаций капитализма, начавшихся более столетия назад.

Капитализм, как и всякий общественный строй, претерпевал процесс постоянных преобразований. На его ранних стадиях, после промышленной революции второй половины XVIII в., капитализм оказал огромное влияние на повышение производительности труда и увеличил промышленное производство до невиданных ранее размеров. Но в конце XIX — начале XX в. капитализм стал испытывать определенные трудности, вызванные массовым отчуждением рабочих и других социальных групп. В результате хозяева капиталисты, получили огромную власть, а трудящиеся — минимальную. Кроме того, капитализм обрек менее обеспеченные слои общества на колоссальные лишения. Однако в дальнейшем получили развитие процессы, стабилизирувавшие и укрепившие капитализм.

Одним из таких процессов, приведших к постепенной трансформации капитализма в посткапитализм, был рост профсоюзов, много сделавших для перераспределения власти между нанимателями и трудящимися. Другим процессом стало постепенное развитие идеи государства всеобщего благосостояния, начавшей складываться еще в последней трети XIX в. Это была попытка ослабить наиболее жестокие стороны капиталистической системы и сосредоточить внимание на недостатках в таких сферах, как государственное жилищное строительство, медицинское обслуживание и образование.

Третье крупное событие, произошедшее в 1930-е гг. и связанное во многом с именем экономиста Д. М. Кейнса, заключалось в том, что государство взяло на себя ответственность за уровень производства. Основной замысел заключался в компенсации из государственного бюджета любой нехватки платежеспособного спроса населения. Если намечался недостаток совокупного спроса сравнительно с тем, что могло быть произведено, вмешивалось государство. Оно снижало налоги или увеличивало расходы, или сочетало обе эти меры, и тем самым повышало спрос и расширяло производство, возвращая экономику к полной занятости.

Четвертым, очень важным событием, оказавшим влияние на капитализм, было исчезновение старомодного капиталиста, на смену которому пришел менеджер, корпоративный бюрократ. Пятым, не менее значимым процессом, способствовавшим переходу от раннего капитализма к посткапитализму, явилось формирование смешанной

экономики, в которой подлинная «свободно предпринимательская система» экономики стала лишь одним из секторов экономики. Постепенно бок о бок с «полнокровной» капиталистической системой, опиравшейся на «полнокровную» частную собственность, возникли и окрепли экономика корпораций и экономика, регулируемая правительством. «Полнокровный», или классический, капитализм опирался на «полнокровную» частную собственность, которая означает право владеть, использовать, управлять и распоряжаться предметом собственности. В регулируемой правительством экономике чиновники не являются владельцами национальной собственности, которую они контролируют. Владелец является нация, а правительство выступает лишь распорядителем собственности. Сходным образом в корпоративной экономике совет директоров, управляющий корпорацией не являются владельцами ее собственности. И в экономике, регулируемой правительством, и в корпоративной экономике происходит важное разделение «полнокровной» собственности: те, кто владеет, не управляет; те, кто управляет, не владеет.

Шестым процессом, сопровождавшим и стимулировавшим переход капитализма на новую, более высокую посткапиталистическую стадию своего развития, являлось кардинальное изменение характера труда в промышленности и в сельском хозяйстве. При первоначальном капитализме и даже в XIX в. рабочий выполнял роль выючной скотины и был живым приговором своему обществу. Рабочий день, наполненный изнурительным физическим трудом, мог продолжаться двенадцать и более часов; рабочая неделя нередко охватывала шесть, а то и все семь дней. Сейчас в развитых странах рабочая неделя не может превышать пяти дней, а рабочий день — восьми или даже семи часов. Научно-техническая революция сделала труд физически менее напряженным, а в некоторых случаях даже доставляющим удовольствие. Рабочий перестал быть воплощенным отрицанием безжалостного общества, живущего его эксплуатацией.

Постепенная трансформация капитализма привела к тому, что на смену классическому капитализму, опиравшемуся на не знавшую ограничений частную собственность и избегавшему вмешательства государства в экономическую жизнь, пришел посткапитализм. Однако в 1970–1980-е гг. посткапиталистическая система начала испытывать определенную заторможенность. Это было вызвано ростом цен на нефть, структурными сдвигами в экономике, образованием в корпоративной экономике независимой спирали «растущая заработная плата — растущие цены». Вызванную этим инфляцию удавалось в конце концов сдерживать только жесткими антиинфляционными мерами и массовой безработицей. В этот период кейнсианские рецепты, используемые государством для регулирования экономики, уступили



место неоконсервативным концепциям ослабления роли государства в экономической жизни и монетаризму, согласно которому общий уровень цен определяется количеством денег, находящихся в обращении.

Современное посткапиталистическое общество является чрезвычайно сложной и динамичной социальной системой. Самым общим образом его можно охарактеризовать следующим образом:

- оно возникло спонтанно и не воплощает никакого предварительного замысла, не имеет глобальной, обязательной для всех членов общества цели;
- оно не контролирует из единого центра все стороны своей жизни;
- координация в нем достигается не за счет подчинения некоей общей цели и единому центру, а за счет соблюдения универсальных правил поведения;
- экономической основой этого общества являются частная собственность и частное предпринимательство, децентрализованная рыночная система и конкуренция;
- его индивиды автономны и располагают защищаемой законом сферой частной жизни, в пределах которой они вправе самостоятельно принимать любые решения на свой собственный страх и риск;
- индивиды обладают безусловными и не отчуждаемыми фундаментальными правами и свободами, в числе которых свобода мысли и свобода слова, свобода создания ассоциаций и организаций, свобода совести, свобода передвижения, свобода выбора страны проживания и др.;
- это многопартийное общество, в котором политические партии не имеют никаких непосредственных публично-властных полномочий;
- представительные органы государственной власти и местного самоуправления избираются населением;
- законодательная, исполнительная и судебная власть отделены друг от друга.

Центральными в общем описании посткапиталистического общества являются понятия: гражданское общество, правовое государство, многопартийность, демократия, разделение ветвей власти, частная собственность, рынок, автономия и суверенитет личности и др. Эти понятия образуют систему, в которой изменение смысла одного из них сопровождается изменением смыслов всех остальных.

Даже беглый анализ капитализма показывает, насколько радикально он изменился в последние сто с небольшим лет. Он стал принципиально иным в сравнении не только со временем «Филосо-

фии истории» Гегеля (начало XIX в.), но и со временем «Капитала» Маркса (конец XIX в.). У Гегеля еще имелись известные основания не считаться с формирующимся благодаря капитализму мировым сообществом и уверять, что мораль — это что-то для повседневного обихода, но не для высоких государственных политиков, и что из борющихся между собой государств то является правым, которое обладает большей силой и способно подчинить себе другие государства. Критика Марксом ужасов капиталистической эксплуатации была по преимуществу справедливой. Во многом оправданным являлось и противопоставление им бесправного и нищего пролетария богатому и всемогущему капиталисту. Маркс ошибался, однако, в главном. Период становления капитализма, когда тот был еще нестабилен и жесток в борьбе за свое существование, Маркс оценивал как время несомненного заката этого способа общественного устройства и, соответственно, как канун пролетарской революции. Сейчас капитализм, которому еще сто лет назад был поставлен смертельный диагноз, демонстрирует свои глубинные потенции, оставшиеся незамеченными ни Марксом, ни его последователями конца XIX — начала XX в.

Об экономической и социальной устойчивости современного посткапитализма говорят не только его сторонники, но и противники. В частности, неомарксист Г. Маркузе с горечью констатирует, что в развитом индустриальном обществе всякая попытка его критики наталкивается на ситуацию, которая, казалось бы, лишает ее всяких оснований. Технический прогресс создает такие формы жизни и власти, которые по видимости примиряют с системой противостоящие капитализму силы, а на деле сметают или опровергают всякий протест, исходящий из исторической перспективы освобождения от тягостного труда и господства. Очевидно, замечает Маркузе, что современное общество обладает способностью сдерживать качественные социальные перемены, вследствие которых могли бы утвердиться новые институты, новое направление продуктивного процесса и новые формы человеческого существования. В этой способности, вероятно, в наибольшей степени заключается исключительное достижение развитого индустриального общества. Предпосылками этого достижения, а равно и его результатами Маркузе считает общее одобрение национальной цели, двухпартийную политику, упадок плюрализма и сговор между бизнесом и трудом в рамках крепкого государства<sup>1</sup>.

Постоянно меняя тактику решения конкретных экономических и социальных проблем и одновременно сохраняя преемственность в своих стратегических целях (конкуренция рыночная экономика, де-

<sup>1</sup> Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. С. XIV.

мократия, правовое государство, автономия личности и др.), посткапитализм остается стабильной общественной системой. С распадом мировой коммунистической системы устойчивость посткапитализма, освободившегося от тягот противоборства с ней, только возросла.

Поскольку современный посткапитализм разительно отличается от капитализма XIX в., высказывается мнение, что современное западное общество уже не следует называть капиталистическим. В частности, А. Кожев предлагает именовать его «универсальное гомогенное государство», или «общечеловеческое государство». Вряд ли, однако, перемены, произошедшие с капитализмом в XX в., оказались настолько глубокими, что изменили самую его суть.

Несмотря на всякие случайные обстоятельства, компромиссы, уступки и политические авантюры, несмотря на всевозможные изменения технического, экономического и даже социального порядка, имевшие место в истории Франции, пишет французский эстетик и философ Р. Барт, наше общество по-прежнему является буржуазным<sup>1</sup>. Начиная с Великой французской революции во Франции к власти последовательно приходили различные слои буржуазии, однако глубинные основы общества остаются неизменными, сохраняется определенный тип отношений собственности, общественного строя, идеологии.

Это справедливо и в отношении других развитых посткапиталистических стран: их глубинная сущность осталась по преимуществу неизменной. Вместе с тем очевидно также, что формы, в которых предстает современный посткапитализм, важным образом изменились. Они утратили прежнюю резкость и действительно способны создавать иллюзию «общечеловеческого государства».

Эту сторону дела хорошо показывает Барт, подвергающий систематическому осмыслению некоторые мифы, порождаемые повседневной жизнью развитой посткапиталистической страны (Франции). Такие слова, как «буржуа», «мелкий буржуа», «капитализм», «пролетариат» постоянно страдают кровотечением, смысл постепенно вытекает из них, так что эти названия становятся совершенно бессмысленными. Барт называет это явление «вычеркиванием имени». Когда речь идет об экономике, буржуазия именуется как таковая без особого труда: в этом случае капитализм не способен скрыть свою сущность. Когда же речь заходит о политике, существование буржуазии обнаруживается уже с трудом: в частности, нет особой «буржуазной партии». В сфере идеологии буржуазия исчезает вовсе, она вычеркивает свое имя при переходе от реальности к ее репрезентации, от эконо-

<sup>1</sup> Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 105–106.

мического человека к человеку размышляющему. Буржуазия довольствуется миром вещей, но не хочет иметь дело с миром ценностей; ее статус подвергается подлинной операции вычеркивания имени; буржуазию можно определить поэтому как общественный класс, который не желает быть названным. Вытекание смысла из слова «буржуа» происходит через идею нации: современная буржуазия растворяет себя в нации и при этом исключает из последней тех ее членов, которых она объявляет чужеродными. Буржуазия никогда не употребляет слово «пролетариат», которое считается принадлежностью левой мифологии; исключением является случай, когда необходимо представить пролетариев как тех рабочих, которые сбились с истинного пути под влиянием коммунистической партии.

Эти интересные наблюдения Барта показывают, что буржуазная идеология создает особого рода язык, маскирующий истинную природу если не экономических, то политических и в особенности идеологических отношений, существующих в капиталистическом обществе. Но то, что данное общество создает миф (или особый язык), затемняющий природу посткапитализма, не изменяет и тем более не отменяет самой этой природы.

Возвращаясь к теме устойчивости посткапиталистического общества, следует отметить, что она обеспечивается переплетением большого числа достаточно разнородных факторов. Среди них особую значимость имеют следующие черты посткапитализма и его окружения:

- материальная и социальная культура посткапиталистического общества находятся и, судя по всему, будут в обозримом будущем находиться в динамическом равновесии; устойчивому развитию материального производства соответствуют достаточно гибкие социальные отношения, основу которых составляют автономная личность и устоявшееся гражданское общество;
- посткапиталистическое государство во многом научилось взаимодействовать с гражданским обществом и ограничивать свое вмешательство в экономику минимально необходимым уровнем;
- образовалось мировое сообщество развитых капиталистических стран, приходящих на помощь друг другу в случае локальных и региональных кризисов;
- во многом сгладилась резкость противостояния буржуазии и пролетариата, столь существенно влиявшая на устойчивость посткапитализма еще в 1920–1930-е гг.;
- сформировался достаточно широкий и стабильный средний класс, не склонный искать решительных перемен и рисковать

своим обеспеченным настоящим ради заманчивого, но неопределенного будущего;

- сформировалась и устоялась идеология потребления как особого способа жизни, в принципе доступного почти всем слоям общества; посткапиталистическому материальному производству удается предоставлять те товары и услуги, которые необходимы для поддержания этой идеологии;
- буржуазная идеология проникла в другие слои общества, изменяя и вытесняя их собственные ценности; это создало, в конце концов, иллюзию растворения современной буржуазии в нации в целом;
- вмешательство государства в экономику позволяет предотвращать резкий и опасный разрыв между наиболее обеспеченными «верхами» и наименее обеспеченными «низами»;
- нет ясной исторической перспективы, ради которой стоило бы рискнуть отказаться от той «капиталистической несвободы», которую Маркузе называет «комфортабельной, покойной, умеренной, демократической»; сверх того, попытки современного коллективистического (национал-социалистического и коммунистического) переустройства общества наглядно показали, что намерение в ближайшем же будущем создать «рай на земле» неминуемо ведет к тоталитарному аду.

Длительная устойчивость посткапитализма в развитых странах, отсутствие острых, неотложных проблем, в которых он все более запутывался бы, сопровождались растущим ослаблением коммунизма. Эти процессы привели в конечном счете к тому, что в посткапиталистических странах исчезли как «революционные партии», так и «революционные классы», стремящиеся освободить себя, чтобы освободить и общество в целом.

Разумеется, против буржуазной идеологии время от времени вспыхивают бунты, пишет Р. Барт. Их обычно называют авангардом. Однако такие бунты ограничены в социальном отношении и легко подавляются. Это происходит потому, что сопротивление исходит от небольшой части той же буржуазии, от ограниченной группы художников и интеллектуалов. Публикой, к которой они обращаются и которой бросают вызов, является только сама буржуазия, в деньгах которой они нуждаются, чтобы иметь возможность выразить себя. Далее, в основе этих бунтов лежит четкое разграничение буржуазной этики и буржуазной политики. Авангард протестует только в области искусства и морали, ополчаясь на лавочников и обывателей, но никак не в области политики. Авангард испытывает отвращение к языку буржуазии, но не к ее статусу. Нельзя сказать, что он прямо одобряет этот статус, скорее он заключает его в скобки: какова бы ни была сила

вызова, бросаемого авангардом, в конце концов, предмет его забот — затерянный, а не отчужденный человек.

Сходную мысль о крайней узости и специфичности тех сил, которые в современном посткапиталистическом обществе способны бросить вызов господству буржуазии, высказывает и Маркузе. Тоталитарные тенденции этого общества делают традиционные пути и средства протеста неэффективными и, возможно, даже опасными, поскольку сохраняется иллюзия верховенства народа. «Народ», являвшийся ранее катализатором общественных сдвигов, теперь играет уже роль катализатора общественного сплывания. В первую очередь в этом, а не в перераспределении богатств и уравнивании классов Маркузе видит новую стратификацию развитого индустриального общества. Однако «под консервативно настроенной основной массой народа скрыта прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветов кожи, безработных и нетрудоспособных. Они остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь являет собой самую непосредственную и реальную необходимость отмены невыносимых условий и институтов. Таким образом, их противостояние само по себе революционно, пусть даже оно ими не осознается. Это противостояние наносит системе удар снаружи, так что она не в силах уклониться; именно эта стихийная сила нарушает правила игры и тем самым разоблачает ее как бесчестную игру... И тот факт, что они уже отказываются играть в эту игру, возможно, свидетельствует о том, что настоящему периоду развития цивилизации приходит конец»<sup>1</sup>.

Противопоставлять буржуазии какую-то часть ее интеллектуалов, художников, аутсайдеров и нетрудоспособных — значит признавать, быть может, в форме парадокса, что в посткапиталистическом обществе нет пока сил, прежде всего практических, которые могли бы бросить вызов основам этого общества.

**Коммунизм.** Теоретический социализм начал складываться еще в период начала формирования капитализма. Массовым социальным движением социализм стал во второй половине XIX в. Вскоре в нем наметились два крыла: радикальный, ставивший целью обозримого будущего свержение капитализма и построение совершенного коммунистического общества, и умеренный (социал-демократия), отодвигавший создание социалистического общества на неопределенное будущее и ориентированный не на подготовку социалистической революции, а на постепенное совершенствование существующего капиталистического общества для достижения больших свобод, справедливости и солидарности. В 1920-е гг. пути ради-

<sup>1</sup> Маркузе Г. Указ. соч. С. 336–337.

кального социализма и социал-демократии решительно разошлись, хотя нужно отметить, что некоторые социал-демократические партии до сих пор употребляют в своих программных документах слово «социализм».

В этот же период на историческую арену вышла новая, некоммунистическая версия социализма — национал-социализм. Этот социализм, круто замешанный на национализме (расизме), тоже намеревался построить «рай на земле», но лишь для избранной части человечества и притом за счет подавляющего его большинства. Национал-социализм с самого начала означал жестокую войну, и его история оказалась недолгой.

Социализм интернационального типа, или коммунизм, намеревался обеспечить прекрасное будущее для всего человечества; опираться предполагалось на пролетарскую солидарность, научнотехнический прогресс и более эффективную, чем капиталистическая, централизованную организацию экономики. Данный тип социализма просуществовал дольше, но и он в конце концов разрушился из-за малоэффективной экономики, основанной на централизованном планировании, и безудержного экспансионизма.

В теоретическом плане коммунизм — это утопическая концепция, отстаивающая возможность или даже необходимость создания совершенного общества, охватывающего все человечество и исключаящего частную собственность, тяжелый, монотонный труд и неравенство людей. Коммунистическое побуждение возникает из общей идеи прогресса, но выделяется верой в то, что активная человеческая деятельность приведет, в конечном счете, к окончательному изменению действительности и «именно благодаря человеку на Земле будет осуществлено все то, что в раю было лишь потенциальностью».

Первые коммунистические теории стали возникать в XVI—XVII вв. Резкое ослабление религиозной веры, и в частности веры в существование «рая на небесах», вместе с невиданным ранее развитием науки и техники послужили почвой для возникновения иллюзии всемогущества человека. Представлялось, что он способен своими силами, не уповая на милость бога, построить общество изобилия и особо человеческих отношений между людьми. Возникли десятки концепций коммунизма, особую известность из числа которых получили теории Т. Мора, Т. Кампанеллы, А. де Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна и др. Э. Кабе сформулировал основной принцип коммунистического общества: «Каждый по способностям, каждому по потребностям». Было выдвинуто предположение, что построению собственно коммунистического общества должен предшествовать переходный период социализма, руководствующийся принципом «От каждого по способностям, каждому по труду». Фурье и Оуэн попытались предпринять практиче-

ские шаги по постепенному формированию коммунистических ячеек в рамках капиталистического общества в надежде, что со временем такие ячейки вытеснят капитализм. Сен-Симон и Фурье сформулировали те основные проблемы, которые в первую очередь должно разрешить коммунистическое общество: устранение эксплуатации человека человеком, уничтожение различия между умственным и физическим трудом, различия между городом и деревней и т. д.

Систематичная и, как тогда казалось, более реалистическая концепция коммунизма была развита Марксом в середине XIX в. Впоследствии она получила в марксизме название «научный коммунизм». Эпитет «научный» призван был, вероятно, подчеркнуть следующие обстоятельства. Во-первых, учение Маркса о коммунизме являлось составной частью его более широкой исторической концепции, охватывающей всю человеческую историю и трактующей переход к коммунизму как завершение предыстории человеческого общества и переход к его собственно истории. Во-вторых, помимо телеологического (диалектического) обоснования неизбежности коммунизма, Маркс постулировал определенные необходимые и универсальные законы истории, неумолимо ведущие, как ему представлялось, к гибели капитализма и становлению коммунистического общества. В-третьих, Маркс одним из первых попытался связать концепцию коммунизма с реальным и достаточно мощным уже в его время социальным движением рабочего класса (пролетариата) за улучшение своего положения в капиталистическом обществе. Маркс считал, что основные пороки капитализма, прежде всего абсолютное и относительное обнищание рабочего класса, будут углубляться до тех пор, пока в наиболее развитых капиталистических странах одновременно не произойдет пролетарская революция и не установится на период перехода к коммунизму диктатура пролетариата. Пролетарии всех стран, объединившись, совместными усилиями заложат основы коммунистического общества, охватывающего все человечество.

Коммунистическая концепция Маркса столь же утопична, как и более ранние учения о коммунизме. Как и его предшественники, Маркс не предполагал, что коммунизм — чрезвычайно опасная утопия, попытка воплотить которую в жизнь неизбежно приведет к жестокому деспотизму и массовому террору. Маркс не предвидел также, что наиболее активно коммунистическую утопию попытаются реализовать не наиболее развитые капиталистические страны, а, напротив, весьма отсталые в экономическом отношении страны, в которых капитализм только начинал утверждаться.

Коммунизм, как в его марксистской, так и в других версиях, ориентирован на глобальную, единую для всего общества цель, которая должна быть реализована не смотря ни на что и которая требует от



каждого индивида самого деятельного участия в ее реализации. Общество, ориентированное на глобальную цель и вынужденное ради этого мобилизовать все свои ресурсы, отрицает частную собственность, способную уклоняться от осуществления общего плана. Такое общество ограничивает семью, отвлекающую человека от служения глобальной цели. Оно вводит единую идеологию, обосновывающую принятую цель и оправдывающую те жертвы, которые приносятся ради нее. Оно настаивает на единообразии взглядов своих индивидов и делает невозможной критику в адрес цели и поддерживающей ее идеологии. Оно прибегает к насилию в отношении инакомыслящих и несогласных, отождествляет гражданское общество с государством и придает последнему неограниченную власть и т. д.

Коммунистический идеал и реальное коммунистическое общество различаются между собой как небо и земля. Чтобы сгладить столь резкий разрыв, коммунистическая теория вводит промежуточную стадию между капитализмом и полным коммунизмом — социализм. Последний призван создавать иллюзию постепенного и неуклонного приближения к идеальному коммунистическому обществу. В 1930-е гг. говорили о социализме, победившем «полностью, но не окончательно», затем о социализме, «начинающем перерастать в коммунизм», пока, наконец, в 1970-е гг. не было введено понятие «развитой социализм». Он должен был охватывать всю «обозримую историю», так что полный коммунизм снова оказался далеко за историческим горизонтом.

«Для коммунистической идеологии различение высшей и низшей ступеней коммунизма очень удобно, — отмечает А. А. Зиновьев, пожалуй, давший лучшее описание жизни коммунистического общества. — Коммунизм при этом вроде бы уже есть и вроде бы его еще нет. Есть частичка, а целиком будет когда-нибудь потом. Все дефекты реальной жизни в коммунистических странах можно отнести на счет того, что еще не достигли полного коммунизма. Погодите, мол, построим полный, тогда никаких таких дефектов не будет. А пока, мол, терпите. На деле такое различие имеет чисто умозрительный характер»<sup>1</sup>. Обоснованно вслед за Зиновьевым заключить, что господствовавший в Советском Союзе и ряде других стран тип общества и был реальным воплощением «чаяний классиков марксизма и вообще всех самых прогрессивных (в марксистском смысле) мыслителей прошлого».

Учение о коммунизме — это утопия, и история показывает, что попытка воплотить в жизнь мечту о царстве свободы и изобилия неизбежно ведет к мрачному, опирающемуся на насилие и во всем себя

<sup>1</sup> Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. М., 1994. С. 13–14.

ограничивающему обществу. Для реального коммунистического общества характерны следующие черты:

- обобществление средств производства и централизованное, государственное управление экономикой;
- четкая иерархия целей и ценностей, высшей из которых считается создание совершенного общества, руководствующегося принципом «От каждого по способностям, каждому по потребностям»;
- концентрация власти в руках одной партии, направляемой вождем;
- объявляемая единственно верной идеология;
- монополия на средства коммуникации;
- полный контроль за всеми сферами общественной и частной жизни;
- искренняя убежденность общества в том, что оно призвано построить совершенный социальный мир и что все трудности на этом пути являются временными и преходящими;
- жестокий, систематический духовный и физический террор, в орбиту которого вовлекаются не только инакомыслящие и несогласные с проводимыми коммунистическими преобразованиями, но и лояльные граждане.

Для прояснения идеологии массовых коллективистических движений, подобных христианству и коммунизму, важным является противопоставление *коммунитарных* (общинных) и *структурных социальных отношений*. Первые представляют собой отношения равных людей, выступающих в своих связях как целостные личности, вторые — отношения по ролям, статусам и должностям, прямо предполагающие неравенство людей. По преимуществу коммунитарными являются, например отношения между подлинными друзьями, между членами религиозных общин, политических партий, между избирателями, участниками митингов и демонстраций и т. п. Структурный характер носят отношения между начальниками и подчиненными, между родителями и детьми, учителями и учениками и т. п. Коммунитарные отношения в известном смысле фундаментальнее структурных, поскольку выражают сущностную и родовую связь между людьми, без которой немыслимо никакое общество. Магическая сила христианской проповеди любви была основана в первую очередь на том, что это был призыв к замещению структурных социальных отношений коммунитарными, ярким, можно сказать парадигмальным, выражением которых является любовь.

Коммунизм как высшая цель социального развития определяется по-разному: как царство свободы (общество, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех), как

общество всеобщего изобилия («каждому по потребностям, но ограниченными естественными, или разумными, потребностями»), как общество без классов, без эксплуатации и т. п. Все эти определения принимают во внимание только отдельные, частичные черты коммунистического идеала. Его глубинную суть выражает максима: последовательное и полное вытеснение существующих в индустриальном обществе структурных отношений коммунитарными. Полный коммунизм — это общество чисто коммунитарных отношений, в котором люди равны друг другу как братья или как участники одного, длящегося вечно карнавала.

Можно, разумеется, мечтать об обществе равных во всех смыслах людей, обществе, в котором есть дисциплина, но нет подчинения, есть братья, но нет докучливых родителей, есть только яркий, увлекающий всех карнавал, и никогда не наступают серые, прозаические будни и т. д. Но нужно осознавать, что такие мечты не только приятны, но и очень опасны. Попытка вытеснить структурные социальные отношения и заместить их во всех сферах жизни коммунитарными в конечном счете ведет к тому, что после непродолжительного периода эйфории в обществе неожиданно, вопреки благим намерениям его членов устанавливаются еще более жесткие структурные отношения — отношения тоталитарного общества, причем устанавливаются главным образом с помощью террора и устранения всех несогласных с новой структурой. Опыт России и других стран, пытавшихся построить полный коммунизм, но получивших тоталитаризм и теперь с большим трудом расстающихся со своей мечтой о бесструктурном, чисто коммунитарном обществе, хорошо показывает это.

Теория коммунизма противопоставляет структурным социальным отношениям людей (отношениям по ролям, статусам и должностям) коммунитарные их отношения (отношения целостных, равных во всех смыслах людей). Коммунизм — это общество, в котором между людьми установлены исключительно или преимущественно коммунитарные отношения. Структурные отношения при коммунизме должны носить временный и неустойчивый характер. Поскольку собственность и структура неотрывны друг от друга, попытка полностью вытеснить структурные отношения из социальной жизни автоматически означает устранение собственности и основанных на ней различий людей. Общая идея, что при полном коммунизме, представляющем собой торжество коммунитарных отношений над структурными, нет места собственности, ясна. В коммунистическом обществе, как и в небесном раю, частной собственности не может быть. Гораздо сложнее, однако, вопрос о том, как постепенно, начиная уже с нынешнего несовершенного общества, избавляться от собственности и

шаг за шагом обеспечивать пространство, необходимое для разворачивания несовместимых с ней коммунитарных отношений. Постоянные споры, шедшие в социалистическом (предкоммунистическом) обществе по поводу различия между частной собственностью и личной собственностью его граждан, хорошо показывают, что удовлетворительного ответа на этот вопрос не было дано.

Негативное отношение коммунистического общества к собственности означает, что в этом обществе нет почвы для стремления к богатству, столь распространенного и устойчивого в индивидуалистическом обществе. И дело здесь не столько в административных и иных запретах, касающихся больших состояний, сколько в неприятии богатства самой общественной психологией коммунистического общества, которая относится к желанию человека стать богатым крайне настороженно. Всякий, кто хотя бы немного поднимается над обычным для этого общества уровнем жизни, вызывает у окружающих подозрение и неприязнь. Равенство, являющееся ведущим принципом данного общества, — это прежде всего равенство в собственности, причем уровень, на который следует равняться всем, должен быть едва ли не минимальным.

Не только Маркс, но и другие крупные мыслители XIX и XX вв. выдвигали гипотезу более или менее скорого исчезновения семьи. Одни об этом сожалели, другие радостно торопили данный процесс. Семья, наряду с собственностью, является краеугольным камнем структурных социальных отношений. Институт семьи не остается неизменным. В индустриальном обществе постепенно ослабевают экономические и социальные связи, побуждающие к вступлению в брак. Атмосфера все большей дозволенности вытесняет осуждение свободного союза. В этом обществе семья, являвшаяся когда-то одной из важных форм передачи власти и собственности, все более превращается в так называемую ядерную семью, замыкающуюся в царстве частной жизни и постепенно передающую компетенцию и власть государству или обществу в целом. Изменения, происходящие с семьей в индивидуалистическом обществе, не обнаруживают, однако, тенденции к ее исчезновению. Можно говорить об определенном кризисе супружества, но не о кризисе семьи. Пока существует индивидуалистическое общество, будет, очевидно, существовать и семья, хотя формы ее не останутся неизменными.

Иначе обстоит дело в коллективистическом обществе. Чем больше оно акцентирует внимание на преимуществах коммунитарных отношений и ущербности структурных отношений, тем яснее обнаруживается его изначальная враждебность семье. Реальное коммунистическое (социалистическое) общество никогда не рисковало полностью отменить семью как пережиток прошлого и ввести что-то подобное

общности жен. Упразднение семьи оно оставляло будущему, ограничиваясь в настоящем ее ослаблением.

До сих пор распространенным является мнение, что идеалы марксистского учения о коммунизме гуманны. Иногда даже утверждается, что коммунизм Маркса — это некий высший гуманизм, и именно поэтому до сих пор попытки практической реализации коммунистической доктрины не увенчались успехом. Такие суждения вырастают из непонимания сути этой доктрины и нежелания считаться с теми трагическими последствиями, которыми сопровождался каждый случай воплощения ее в жизнь. В молодости Маркс действительно был гуманистом. Но уже в «Манифесте Коммунистической партии» (1848) от его юношеских прекраснодушных мечтаний не осталось и следа. В дальнейшем позиция Маркса становилась все жестче, хотя он и продолжал говорить о гуманизме и называть коммунизм реальным, практическим гуманизмом.

Гуманизм в широком смысле — это признание ценности человека как личности, его права на свободу и счастье, на развитие им своих способностей. Гуманизм считает критерием оценки социальных институтов благо индивида и предполагает равенство и справедливость в отношениях между людьми. Когда целью коммунистического преобразования общества объявляется абстрактное свободное всестороннее развитие каждого члена общества и всего общества в целом, кажется, что коммунизм действительно близок гуманизму. Но как только уточняются средства, предполагаемые коммунизмом для достижения своей цели, и учитывается реальная история коммунизма в XX в., испаряются всякие намеки на гуманизм.

Одно из основных таких средств — диктатура пролетариата, т. е. не ограничиваемая никакими законами власть меньшинства общества над его большинством. Уже Маркс предполагал, что буржуазию, а отчасти и крестьянство, придется уничтожить, хотя и не уточнял, как это сделать. Ленин свел диктатуру пролетариата к диктатуре коммунистической партии и призывал (точнее было бы сказать, приказывал) «расстреливать массовидно», особенно священников. На практике коммунизм, выдающий себя за светлое, человеколюбивое мечтание, постоянно оказывался очень опасной доктриной. Уже при Ленине были уничтожены, как показывают современные исследования, четыре миллиона человек (не считая тех, кто погиб в ходе гражданской войны). О человеке-«винтике» говорил Ленин, хотя и применительно к члену коммунистической партии; Сталин лишь распространил эту идею на всех индивидов социалистического общества.

Треть человечества не так давно активно строила социализм и коммунизм. В какой из социалистических стран или из так называемых стран социалистической ориентации не было жестокого террора?

Таких стран нет, и дело, значит, не в ограниченности отдельных коммунистических руководителей и не в искажении ими коммунистической доктрины, а в опасности всякой попытки практической ее реализации. Последовательный коммунизм ведет не к идеалам гуманизма, а к тоталитарному обществу, прямо опирающемуся не только на энтузиазм, но и на террор и страх.

И Маркс и Ленин настаивали на том, что коммунизм неминуемо придет на смену капитализму прежде всего в силу того, что первый способен обеспечить более высокую производительность труда, чем второй. Это одна из основных ошибок классического марксистского учения о коммунизме. Экономика с глубоким разделением труда, а именно такой является экономика постиндустриального общества, может функционировать только плюралистическим и децентрализованным образом. Коммунизм по самой своей природе не способен выдержать экономическое состязание с капитализмом.

Мечта о коммунизме во многом подобна другим глобальным мечтам человечества: алхимической мечте о философском камне, способном превращать обычные металлы в золото, мечте об эликсире вечной молодости и в особенности мечте о возможности жизни в небесном раю, где нет ни собственности, ни неравенства, ни даже самого труда. Такие мечты возникают в определенный период истории, охватывают тысячи или миллионы людей, зовут их к самопожертвованию и, в конце концов, истощив их силы, постепенно уходят в прошлое.

**Национал-социализм.** Национал-социализм, или нацизм, представляет собой форму общественного устройства, соединяющую социализм с ярко выраженным национализмом (расизмом). Национал-социализмом называется также идеология, обосновывающая такого рода социальный порядок. Типичным примером национал-социалистического государства является Германия 1933–1945 гг. В конце 1930-х гг. немецкий национал-социализм и советский коммунизм заключили союз и вторглись в Польшу. В дальнейшем, однако, между двумя крайними формами социализма — старым социализмом, тяготеющим к марксизму, и национал-социализмом — развернулась ожесточенная борьба, в которой коммунизм объединился с западными либеральными демократиями. В результате тяжелой войны немецкий национал-социализм был разгромлен.

Столкновение коммунизма и национал-социализма явилось противоборством двух разных форм социализма. «У них не было расхождения в том, что именно государство должно определять положение человека в обществе. Но между ними были (и всегда будут) глубокие расхождения в определении места конкретных классов и групп»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 147.

И коммунизм и нацизм стремились к планомерной и тотальной организации сил общества для выполнения определенной общественной задачи. Однако они по-разному определяли ту цель, на достижение которой должны направляться все усилия общества. Коммунизм предлагал построить «рай на земле» для всего человечества (интернационализм), национал-социализм намеревался создать такой «рай» для избранной нации (расы) за счет всех других народов (национализм, расизм). Коммунизм и национал-социализм принципиально расходились с индивидуализмом и либерализмом в том, что, подчиняя все ресурсы общества достижению конечной цели, отказывались признать какие бы то ни было сферы автономии, в которых индивид и его воля являлись бы определяющими.

Национал-социализм предполагает:

- централизованное, государственное управление экономикой, сочетающееся с частично сохраняющейся частной собственностью на средства производства;
- четкую иерархию целей и ценностей, высшей из которых является построение расово чистого общества, имеющего все необходимые трудовые и природные ресурсы для своего продолжительного существования;
- концентрацию власти в руках одной партии, направляемой вождем (фюрером), обладающим неограниченной властью;
- идеологию, которая не может оспариваться даже в деталях;
- безраздельную монополию на средства массовой коммуникации;
- полный контроль за всеми областями общественной и частной жизни;
- жестокое насилие в отношении всех несогласных с правящим режимом;
- обеспечение с применением насилия расовой чистоты общества;
- искреннюю убежденность широких масс в том, что они строят новый социальный мир и создают нового человека.

В начале 1930-х гг. национал-социалисты во главе с Гитлером мирным путем пришли к власти в Германии. Почти сразу же начались гонения на евреев и затем их массовое уничтожение (холокост), а также подготовка к завоеванию народов, призванных обеспечить трудовые и природные ресурсы для «тысячелетнего рейха». «Внешняя политика, — писал Гитлер, — это искусство быстро обеспечивать народ необходимым по количеству и качеству жизненным пространством. Внутренняя политика — это искусство гарантировать применение необходимой для этой цели силы, выражающейся в расовой чистоте и соответствующей численности населения»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Булок А. Гитлер и Сталин. Смоленск, 1994. Т. 1. С. 176.

Мировоззрение национал-социализма опиралось на вульгарный социодарвинизм, дополненный расистскими воззрениями, истолковывающими историю как демонстрацию превосходства одних рас над другими, превосходства, обусловленного сохранением творческими расами «чистоты крови» (Ж. А. де Гобино, Х. Чемберлен и др.). «Главный источник силы народа, — утверждал Гитлер, — это не владение оружием или организация армии, а внутренняя его ценность, т. е. расовая чистота»<sup>1</sup>. Для сохранения последней государство должно защищать свой народ от отравления тремя ядами, каждый из которых исходит от евреев: это, во-первых, интернационализм — пристрастие к чужому, проистекающее из преуменьшения собственных культурных ценностей и ведущее к смешению крови; во-вторых, эгалитаризм, демократия и закон большинства, несовместимые с индивидуальным своеволием и доверием к вождю; и, в-третьих, пацифизм, разрушающий в человеке здоровое, инстинктивное стремление к самосохранению. Еще в 1927 г. Гитлер говорил: «Народ теряет свою внутреннюю ценность как только становится подвержен этим трем порокам, ибо он тем самым разрушает свою расовую чистоту, проповедует интернационализм, предает свою самостоятельность и на ее место ставит подчинение меньшинства большинству, иначе говоря, некомпетентность, и начинает скатываться в братство всех людей»<sup>2</sup>. Идеология, основанная на данных идеях, считалась необходимым условием «нового, революционного преобразования мира». Оружием проведения ее в жизнь являлась национал-социалистическая партия, называвшаяся, подобно коммунистической партии, «революционной». Идеология Гитлера, какой бы неубедительной она ни казалась тем, кто не разделял ее, давала ему такой же подход к историческим процессам, а следовательно, такую же уверенность в себе, какую марксизм давал коммунистическим вождям.

Политический, а затем и экономический успех национал-социализма в начале 1930-х гг. являлся прямым следствием неудач социалистов, тяготевших к марксизму. К моменту прихода Гитлера к власти последними было национализировано более половины немецкой промышленности, приведенной неумелым государственным управлением в полный упадок. После непродолжительных споров национал-социализм категорически выступил против продолжения обобществления собственности. В частности, по поводу заводов Круппа Гитлер недвусмысленно заявил: «Разумеется, я их не буду трогать. Не думаете же вы, что я настолько безумен, что стану разрушать немецкую экономику? Только если Крупп не сумеет справиться

<sup>1</sup> Булок А. Указ. соч. Т. 1. С. 177.

<sup>2</sup> Там же.



и действовать в интересах нации, государство должно вмешаться, тогда и только тогда... Но для этого не нужна экспроприация... достаточно иметь сильное государство»<sup>1</sup>. Обобществлению собственности национал-социализм предпочел постановку собственников под полный контроль государства.

Национал-социалистическая общественная система, подчинившая немецкий народ неограниченной власти небольшой кучки людей, не являлась неким отступлением от магистрального пути истории. Национал-социализм был одной из версий коллективизма XX в., считавшего, что волей истории он идет на смену прогнившему индивидуализму.

По мнению Э. Фромма, одна общепринятая иллюзия, быть может, самая опасная из всех, состояла в убеждении, что люди вроде Гитлера якобы захватили власть над государственным аппаратом лишь при помощи вероломства и мошенничества, что они и их подручные правят, опираясь на одно лишь грубое насилие, а весь народ является беспомощной жертвой предательства и террора. Фромм заключает, что годы, прошедшие после поражения национал-социализма, со всей очевидностью показали ошибочность этой точки зрения: «Нам пришлось признать, что в Германии миллионы людей отказались от своей свободы с таким же пылом, с каким их отцы боролись за нее; что они не стремились к свободе, а искали способ от нее избавиться; что другие миллионы были при этом безразличны и не считали, что за свободу стоит бороться и умирать. Вместе с тем мы поняли, что кризис демократии не является сугубо итальянской или германской проблемой, что он угрожает каждому современному государству»<sup>2</sup>.

Военное поражение национал-социализма явилось одновременно и поражением национал-социалистической идеи. Национал-социализм, как и коммунизм, является коллективистической альтернативой индивидуалистическому, или открытому, обществу. Между этими двумя основными формами социализма, при всем их внешнем различии, существует глубинная общность. Она охватывает те черты, которые в совокупности составляют определение понятия социализм:

- социализм возникает не спонтанно, а по заранее выработанному плану и ставит своей целью достижение четко очерченной (или, скорее, кажущейся таковой) цели;
- социализм не признает независимости и автономии личности, существования таких сфер жизни, в которых индивид мог бы руководствоваться исключительно собственной волей и собственными ценностями;

---

<sup>1</sup> Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993. С. 113.

<sup>2</sup> Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 14.

- устремленность социализма к некой единой цели диктует введение централизованного планирования, замещающего конкуренцию в сфере экономики;
- основным принципом социалистического общества является монополия, относящаяся не только к плану экономического развития, но и к безраздельно господствующей идеологии, средствам коммуникации, единственной правящей партии и т. д.;
- социализм отождествляет общество и государство, что ведет к уничтожению гражданского общества и превращению врагов государства во врагов народа;
- жестокость и террор социалистических режимов прямо вытекают из возвышенного стремления перестроить жизнь общества в соответствии с единой, наперед заданной и не подлежащей обсуждению целью;
- поскольку фундаментом всех прав и свобод личности является экономическая свобода, вслед за ее уничтожением социализм ликвидирует и все другие права и свободы;
- разные формы социализма могут ожесточенно бороться друг с другом, но основным противником для них, как разновидностей коллективизма, является открытое, индивидуалистическое общество;
- социализм создает особый коллективистический стиль жизни, когда основная масса населения с энтузиазмом жертвует настоящим ради «прекрасного будущего», а страх пропитывает все поры общества;
- социализм ведет, в конечном счете, к торможению экономического развития и не выдерживает конкуренции с открытым обществом в сфере экономики;
- социализм создает «железный занавес», предназначенный в первую очередь для ограждения своих граждан от влияния извне, со стороны открытого общества.

Различия между коммунизмом и национал-социализмом заключаются в первую очередь в том, что коммунизм опирается на идею интернационализма и предполагает построение совершенного общества, способного охватить, в конечном счете, все человечество, в то время как национал-социализм намеревается обеспечить «рай на земле» только для избранной нации (расы) за счет всех остальных народов. Коммунизм выдвигает идею «новой демократии», предполагающую проведение чисто формальных выборов органов представительной власти; национал-социализм презрительно относится ко всякой демократии, считая ее «буржуазным предрассудком». Мобилизуя все ресурсы для достижения глобальной цели, коммунизм и национал-социализм в первую очередь стремятся развить централизован-

ное планирование и ограничить частную собственность, способную уклоняться от осуществления общего плана. Коммунизм, следуя мнению всех его теоретиков, начиная с Мора и кончая Марксом, обобществляет частную собственность. Национал-социализм ограничивается тем, что ставит ее под жесткий контроль государства. В частности, Гитлер не раз подчеркивал, что социализм в более современном его понимании — это не непременно обобществление собственности, а в первую очередь обобществление душ: собственность можно в какой-то мере оставить в частных руках, если сделать собственника управляющим ею от лица социалистического государства. Коммунизм стремится опереться прежде всего на рабочий класс (пролетариат) и постоянно противопоставляет его другим классам посткапиталистического общества. Национал-социализм ищет массовую поддержку частично в рабочем классе, особенно в той его части, которая разочаровалась в коммунизме, а частично в среднем классе. Коммунизм является непримиримым противником правящих кругов буржуазного общества, намереваясь их попросту уничтожить, в то время как национал-социализм, отказываясь от национализации частной собственности и создавая иллюзию единства общества ради высоких национальных целей, привлекает в свои союзники и буржуазию. Союз с буржуазией является, однако, для национал-социализма временным и условным, поскольку основная его задача — свержение капиталистического общества и построение национал-социалистической формы социализма.

Гитлер хорошо понимал, в чем сходны и в чем различаются коммунистический (марксистский) социализм и национал-социализм. Гитлер учился у марксистского социализма эффективным методам борьбы за власть и одновременно стремился избежать ошибок «старого», как он говорил, социализма. Полемизируя со своими сторонниками, склонными поддержать пролетарскую революцию, Гитлер заявлял: «Я социалист, но совсем другого толка... Я начинал как простой рабочий. То, что вы понимаете под социализмом, не что иное, как марксизм. Смотрите: огромное большинство рабочих жаждет только одного: хлеба и зрелищ. Им не нужно никаких идеалов, и нечего надеяться привлечь рабочих по-настоящему, если мы будем апеллировать к идеалам... Нет и не бывает никаких революций, кроме расовых: нет политических, экономических или социалистических революций, всегда и всюду есть только борьба низшей прослойки низшей расы против господствующей высшей расы, и если эта высшая раса пренебрегает законом своего существования, она проигрывает»<sup>1</sup>. По поводу национализации промышленности Гитлер отвечал с раз-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Булок А. Указ. соч. Т. 1. С. 209.

дражением: «Из-за демократии мир лежит в руинах и, тем не менее, вы хотите распространить ее и на экономическую сферу. То будет конец немецкой экономики... Капиталисты проложили себе путь наверх благодаря своим способностям. И на основе происшедшего отбора — что еще раз доказывает, что они высшая раса — они имеют право стоять наверху»<sup>1</sup>.

Коммунистический социализм и национал-социалистический социализм существенно различаются. Тем не менее очевидно, что это две разные формы социализма, два варианта коллективизма постиндустриального общества.

### § 3. Обнаженность и отчуждение

Индивиды коллективистического и индивидуалистического обществ во многом различаются между собой складом мышления, строем чувств и образом совместной деятельности. Представители двух полярно противоположных систем по-разному понимают свободу, счастье, справедливость, равенство и т. д. Все эти различия между индивидами коллективистического и индивидуалистического обществ можно суммировать с помощью понятий *обнаженность* и *отчуждение*.

*Обнаженность* — общая характеристика индивидов коллективистического общества, выражающая существенное сходство их мыслей, чувств и поступков. Обнаженность непосредственно определяется одинаковостью этих индивидов, их почти полной неразличимостью. Они являются всего лишь разными винтиками одной и той же слаженно работающей социальной машины. Обнаженность возможна только в обществе, ставящем перед собою глобальную, обязательную для каждого его члена цель и подчиняющего все свои ресурсы реализации этой цели. В таком обществе нет частной собственности или собственники управляют ею от лица государства и по разработанному им плану.

*Отчуждение* — интегральная характеристика представителей индивидуалистического общества, говорящая об их оторванности друг от друга и от общества в целом, о глубоких, болезненно переживаемых ими расхождениях в мыслях, чувствах и поступках. Отчуждение является выражением неодинаковости индивидов, преследования каждым из них своих собственных целей. Его основу составляют отсутствие в индивидуалистическом обществе долговременной, доминирующей над всеми другими его устремлениями цели и существова-

---

<sup>1</sup> Булок А. Указ. соч. Т. 1. С. 209–210.

ние в нем частной собственности, несовместимой с какой-либо глобальной целью.

Обнаженность и отчуждение являются понятиями, характеризующими индивидов двух противоположных типов общественного устройства. Оппозиция «обнаженность — отчуждение» приложима только к представителям ясно выраженных коллективистических и индивидуалистических обществ. Большинство реально существующих обществ лежит между полюсами коллективизма и индивидуализма, с той или иной силой тяготея к одному из них. Об обнаженности или отчужденности индивидов промежуточных обществ можно говорить лишь условно, учитывая уровень близости таких обществ к полюсу коллективизма или к полюсу индивидуализма.

Та или иная степень обнаженности свойственна представителям всех реально существовавших коллективистических обществ: первобытного примитивного коллективизма, древнего коллективизма, средневекового умеренного коллективизма и коллективизма индустриального общества, в особенности его крайней формы — тотализма. Радикальной обнаженности требует, как правило, и утопический социализм, рисующий людей будущего совершенного общества не только сходными в своей лишенности собственности и семьи, но и подобными друг другу даже своими лицами и одеждой (Платон, Т. Кампанелла, Т. Мор, А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, В. И. Ленин, А. Гитлер и др.). Обнаженность как существенное сходство мыслей, чувств и поступков характерна также для таких коллективистических сообществ, как армия, церковь, тоталитарная партия, тоталитарная религиозная секта и др.

Проблема отчуждения особенно остро встала в период первоначального, или «дикого», капитализма. В XVIII—XIX вв. неравенство индивидов и их неодинаковость достигли такой степени, что грозили вообще разрушить взаимопонимание разных классов и слоев общества и превратить в ничто социальную коммуникацию. С формированием посткапитализма острота отчуждения и разобщенности представителей разных социальных групп и классов постепенно сгладились. Тем не менее отчуждение остается достаточно заметным и болезненным и в условиях посткапитализма.

Наиболее наглядно обнаженность проявляется в лишенности одежды или, если этого не позволяют климатические условия, в одинаковости одежды, отсутствии феномена моды. Характерно, что первобытные племена, жившие в жарком климате и носившие когда-то минимум одежды, вступая в контакт с западной культурой, начинали одеваться и даже пытались (в меру своих возможностей) следовать чужой моде. В коллективистических сообществах, подобных армии и церкви, внешняя одинаковость индивидов проявляется в особой фор-

менной одежде, которую обязан носить каждый представитель сообщества. В тоталитарных обществах мода расценивалась как «буржуазное понятие» и считалась несовместимой с основными ценностями, прокламируемыми этими обществами. Даже тоталитарная номенклатура, чувствовавшая необходимость отграничения от всех остальных граждан, никогда не прибегала к дорогой и тем более модной одежде. Представители номенклатуры одевались иначе, чем все другие, но опять-таки чрезвычайно однообразно: добротнo, но без всякой претензии на роскошь. Обычно они конструировали себе нечто полувоеенное: френчи, кители, военного образца фуражки, пальто, похожие на шинели, и т. п. В частности, на парадных портретах Сталин и Гитлер всегда одеты почти одинаково.

В социалистических движениях грубо уравнительного типа предполагалось, что люди будущего общества не должны будут отличаться друг от друга не только одеждой, но и своим физическим обликом: в таком обществе не будет ни слишком красивых, ни слишком уродливых лиц и фигур. Например, Л. М. Дешан, описывая будущее социалистическое общество, высказывал пожелание, чтобы «почти все лица имели почти один и тот же вид». В подготовительных материалах Ф. М. Достоевского к роману «Бесы» сходную мысль выражал один из его героев-социалистов, говоря о будущем обществе: «По-моему, даже красивые очень лицом мужчины или женщины не должны быть допускаемы».

Национал-социализм намеревался достичь внешней одинаковости людей путем очищения арийской крови от всех чужеродных примесей. Коммунизм делал упор на физкультуру, способную в известной мере унифицировать внешний облик людей. Внешняя неотличимость индивидов реального коммунистического (социалистического) общества — только поверхностное проявление обнаженности. В идеале индивиды такого общества не должны отличаться друг от друга самой своей сутью: мыслями, чувствами и поступками, они призваны быть безличными деталями бесперебойно работающего общественного механизма.

Ключевыми предпосылками достижения обнаженности являются лишенность индивидов собственности, семьи и всего того, что обуславливает возникновение структурных отношений, разделяющих людей по ролям, статусам, должностям, одежде, внешности и т. д. Структурные отношения, означающие неравенство и неодинаковость людей, должны быть замещены коммунитарными, или общинными, отношениями, отношениями равных во всех смыслах людей. Обнаженность оказывается, таким образом, простым следствием более общего требования безраздельного господства коммунитарных социальных отношений над структурными.

Отчуждение, предполагающее неравенство людей, опирается на структурные отношения и достигает своего апогея в период максимального обострения неравенства и явного доминирования структурных отношений над коммунитарными. Человек коммунистического общества, утвердившегося в XX в. в России и в ряде других стран, был лишен собственности, нередко друзей, которым можно вполне доверять, неповторимых индивидуальных реакций на мир. Этот человек имел минимальные средства для существования и полностью зависел от общества, дававшего ему работу и, значит, саму возможность жить, был открыт душой и мыслями своему коллективу, не имел иных значимых целей, кроме участия в общем деле построения совершенного общества. Первобытный человек, прикрывавший одеждой только единственную часть тела, был обнажен перед природой и во всем зависим от ее капризов. Коммунистический человек, все передавший обществу и не укрывающий от него ни своих помыслов, ни чувств, был почти полностью обнажен перед ним и, значит, всецело зависим от него.

Понятие отчуждения встречается в ясной форме в теории общественного договора, предполагавшего, что возникновение государства является результатом некоторого соглашения граждан (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и др.). Отчуждение означает процесс обезличивания, деиндивидуализации социальных отношений, вытекающий из передачи государству личностью своих прав.

Гегель сделал отчуждение центральной категорией своей философии. С одной стороны, отчуждение — это обнаружение абсолютной идеи (бога) в природе и истории, с другой — опредмечивание, институционализацию сущностных сил человека. Второе из этих значений было использовано Л. Фейербахом для объяснения происхождения религии. Человек отчуждает свою собственную сущность и противопоставляет ее себе в качестве совершенного во всех отношениях бога.

Согласно Марксу, отчуждение является состоянием войны человека со своей собственной сущностью, с продуктами собственного труда и с другими индивидами. Человек по своей природе есть «человек производящий». Сущность его реализуется в труде, в совместной творческой деятельности, посредством которой люди преобразуют окружающий мир. В процессе производства создаются материальные предметы, воплощающие свойственное человеку творческое начало и опредмечивающие его сущность. Отчуждение имеет место тогда, когда в ходе собственного опредмечивания человек перестает узнавать себя в своем продукте. Последний превращается в чужой, «не свой», становится чем-то противостоящим своему создателю в качестве независимой силы. Опредмечивание, или объективирование,

человеком своих замыслов сопровождается отчуждением во всяком обществе с антагонистическими классами. Однако капитализм с особой силой искажает и извращает процесс объективирования и превращает нормальное опредмечивание человеком самого себя в своих творениях в особо деструктивное отчуждение.

В основе всех форм отчуждения лежит, по Марксу, отчуждение труда. В своей ранней работе «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» Маркс пишет: «В чем же заключается отчуждение труда? Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он работает, он уже не у себя. В силу этого труд его не добровольный, а вынужденный; это — принудительный труд. Это не удовлетворение потребности в труде, а только средство для удовлетворения других потребностей, нежели потребность в труде. Отчужденность труда ясно сказывается в том, что, как только прекращается физическое или иное принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний труд, труд, в процессе которого человек сам себя отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний характер труда проявляется для рабочего и в том, что этот труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе, а другому»<sup>1</sup>.

Начинаясь в сфере труда, отчуждение охватывает все стороны жизни рабочего. Маркс выделяет четыре формы проявления отчуждения. Рабочий отчуждается:

- 1) от продукта своего труда, поскольку то, что он произвел, присваивается другим и больше ему не подвластно;
- 2) от процесса производства; работа становится чуждой ему деятельностью, навязываемой извне и не приносящей внутреннего удовлетворения; вынужденный труд, труд по чьему-то приказанию фактически становится продаваемым товаром;
- 3) от своей человеческой природы, поскольку первые две формы отчуждения стирают те специфические качества, которые определяют природу человека и отличают его созидательную деятельность от деятельности животных;
- 4) от других людей, так как капитализм трансформирует социальные отношения в чисто рыночные и заставляет оценивать

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1960. Т. 42. С. 98.



людей не по их человеческим качествам, а в соответствии с их рыночной позицией.

Маркс намеревался устранить из термина «отчуждение» его философский и религиозный смыслы и использовать данный термин в качестве социологического понятия. Отчуждение коренится, по Марксу, в природе определенных социальных структур, деформирующих человеческую сущность. Маркс полагал, что для устранения отчуждения необходимо свергнуть капиталистическую систему частной собственности и заменить производство ради прибыли системой производства, удовлетворяющего естественные потребности человека. За этим последует замена распределения на основе рыночной регуляции разумной и гуманной системой распределения по потребностям. Эти перемены будут сопровождаться изменениями в разделении труда, так что все люди перейдут к новым, более творческим видам деятельности. «В коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься садоводством, после ужина предаваться критике...»<sup>1</sup>.

Этот проект утопического коммунистического общества превращает его, в сущности, в царство дилетантов. Каждый из них способен заниматься любым делом, ежедневно меняя свои занятия. Современная цивилизация требует, однако, высокого профессионализма. Высококвалифицированный труд явно не совместим с постоянным чередованием занятий.

Со временем понятие отчуждения потеряло значительную часть того социологического смысла, который пытался вложить в него Маркс. В современной социологии термин «отчуждение» используется редко из-за его расплывчатости. В социальной философии он употребляется довольно часто, но преимущественно в субъективном и психологическом смысле. Такой аспект отчуждения, как «бессилие», относят к ощущению невозможности воздействия человека на свою социальную среду; «утрата смысла» означает чувство того, что для достижения значимых целей нужны незаконные средства; «изолированность» имеет место тогда, когда люди чувствуют себя отстраненными от господствующих в обществе ценностей; «самоустраненность» говорит о неспособности заняться той деятельностью, которая приносила бы психологическое удовлетворение. Неодинаковость индивидов капиталистического общества, отсутствие у них глобальной, объединяющей и воодушевляющей всех цели, их неравенство, и прежде всего

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1957. Т. 3. С. 32.

неравенство в отношении собственности ведут в конечном счете многих из этих индивидов к чувству неудовлетворенности существующим порядком вещей и к ослаблению социальной коммуникации.

Понятие отчуждения, ставшее в середине XX в. довольно популярным, иногда используется в широком и довольно неопределенном смысле. Оно может означать наличие у индивидов современного постиндустриального общества чувства оторванности от социальной среды и недовольства этим; ощущение морального упадка в обществе; чувство бессилия перед лицом всемогущих социальных институтов; безличность, дегуманизованность крупных, забюрократизированных социальных организаций и т. д.

Неодинаковость людей, их разнообразие и несовпадение друг с другом в строе мыслей, чувств и поведении — необходимая предпосылка эффективного развития как капиталистического, так и посткапиталистического общества. Вместе с тем эта неодинаковость имеет и свои отрицательные следствия. Неодинаковость способна порождать болезненно переживаемое отчуждение. Для отчужденного человека характерны чувство бессилия, ощущение того, что его собственная судьба вышла из-под его контроля и определяется внешними силами; ощущение бессмысленности существования и невозможности достичь желаемого результата даже в итоге сколь угодно активной деятельности; восприятие общества как мира, в котором утрачены взаимные обязательства людей по соблюдению социальных предписаний, разрушена институционализированная культура, распадается господствующая система ценностей; чувство утраты индивидом своего «подлинного Я», разрушения личности, или самоотчуждения.

Ключевым в теме обнаженности и отчуждения является вопрос о соотношении их со свободой, в частности вопрос о соотношении частной собственности и свободы. Согласно точке зрения, разделяемой сторонниками коллективистического устройства общества, условием свободы является полное отсутствие частной собственности и в более общем плане — полная обнаженность индивидов совершенного общества или сообщества (Платон, Франциск Ассизский, Маркс и др.). С точки зрения сторонников индивидуалистического общества, частная собственность есть одно из основных условий свободы, а разнообразие индивидов, их неодинаковость и, как следствие, их отчужденность друг от друга — предпосылки стабильности общества и его устойчивого, динамичного развития (Дж. Локк, Дж. С. Милль, К. Поппер, Ф. А. Хайек и др.).

Существуют, однако, два типа свободы. Коллективистическая, или утилитарная, свобода представляет собой свободу действовать в направлении избранной обществом глобальной цели (создание на

земле прототипа небесного сообщества, построение коммунизма, создание чисто арийского общества и т. п.). Эта свобода как осознанная историческая необходимость не совместима с частной собственностью и требует предельной обнаженности индивида. Ничто внешнее (собственность, семья, знания, мода и т. д.) не должно отвлекать человека от служения стоящей перед обществом глобальной цели. Индивидуалистическая свобода предполагает, что индивид, связанный минимумом коллективных ценностей и норм, имеет возможность сам определять свои жизненные задачи и несет личную ответственность за результаты своей деятельности. Такого рода свобода, предполагающая высокую степень независимости индивидов от общества, невозможна без частной собственности. Свобода индивида действовать в соответствии со своими собственными целями, желаниями и прихотями требует разнообразия индивидов, их неодинаковости и необнаженности. Следствием этого является отчуждение. Временами оно обостряется в такой степени, что грозит обрывом коммуникации между индивидами и слоями общества.

#### § 4. Основные стили социального теоретизирования

Стили мышления исторических эпох в определенном порядке следуют друг за другом. Можно говорить также о параллельных стилях мышления, занимающих один и тот же период времени и конкурирующих друг с другом. Таковы, например, *стили социального мышления* индустриального общества, сложившиеся примерно в одно и то же время и на протяжении трех с лишним столетий ведущие борьбу друг с другом. К этим стилям относятся, как будет показано ниже, социализм, анархизм, либерализм и консерватизм. Всякая социальная теория, выдвигавшаяся в данный период, несла на себе черты какого-то из этих стилей мышления. Особенность XX в. состоит лишь в том, что «чистые» типы социального теоретизирования были во многом замещены смешанными их разновидностями: появились либеральный, или демократический, социализм, либеральный консерватизм (неоконсерватизм), консервативный либерализм (неолиберализм) и т. п.

Существует необозримое множество теорий социального развития. На первый взгляд кажется, что в этом безбрежном море социального теоретизирования нет никаких ориентиров. На самом деле это не так. Можно наметить контуры общей классификации современных социальных теорий и составить своего рода карту или схему современного социального теоретизирования. Такая схема покажет, в частности, место рассматриваемых далее либерализма, консерватизма

и социализма в социальном теоретизировании и позволит уточнить их отношения с другими типами социальных теорий, выдвигавшихся начиная примерно с XVIII в.

Пусть *радикализм* означает требование решительного, коренного преобразования общества, не особенно считаясь со старыми социальными институтами и индивидуальными свободами. В основе радикализма лежит обычно полная неудовлетворенность предшествующей историей, существующим обществом, ныне живущим человеком. Радикализм предполагает стремление разрушить до основания старое общество и создать новое, гораздо более совершенное общество, совершенного человека и, возможно, более совершенную природную среду, достойную нового общества и нового человека. *Реформизм*, являющийся противоположностью радикализма, будет означать, соответственно, постепенное, поэтапное преобразование общества, не ставящее перед собой глобальных целей и учитывающее ценность уже существующих социальных институтов и традиций, воплощающих прошлый опыт. Реформизм обычно скептически относится к идеям создания некоего идеального общества и совершенного человека, призывая ценить то, что уже есть, несмотря на все его несовершенство. В политике радикально настроенные люди или движения обычно называются левыми и противопоставляются правым, или консервативно настроенным реформистам.

Под *коллективными ценностями* будем понимать то, что считается позитивно ценным какими-то социальными коллективами или обществом в целом. К *индивидуальным ценностям* в этом случае будет относиться все, что предпочитается отдельными людьми, является объектом любого их желания или интереса.

Социальные теории можно разделить на два класса в зависимости от того, предполагаются ими радикальные или, напротив, постепенные способы социальных преобразований. С другой стороны, такие теории можно разделить на те, которые отдают приоритет коллективным ценностям над индивидуальными, и те, которые индивидуальные ценности ставят выше коллективных. Объединяя эти два деления, получаем четыре основных типа современных социальных теорий: социализм, анархизм, консерватизм и либерализм.

*Социализм* требует радикального преобразования общества для утверждения коллективных ценностей. *Анархизм* предполагает столь же решительную трансформацию общества, но уже с намерением утвердить индивидуальные ценности. *Консерватизм* основывается на постепенном реформировании общества и отдает предпочтение прежде всего коллективным ценностям. И, наконец, *либерализм* предполагает постепенное преобразование общества с целью максимально широкого внедрения индивидуальных ценностей.

Нужно отметить, что, когда говорится о типах социального теоретизирования, имеются в виду не теории в более или менее строгом смысле этого слова, а разные *стили размышления* о социальных проблемах, разные способы подхода к решению таких проблем. В рамках каждого из типов социальной мысли существует множество конкретных, с той или иной степенью отчетливости сформулированных теорий, отчасти конкурирующих, отчасти солидаризирующихся друг с другом.

В частности, нет какой-то единой концепции социализма, приемлемой для всех социалистов. Напротив, разные версии социализма иногда настолько далеки друг от друга, что выявление их глубинной общности превращается в самостоятельную проблему (например, социализм, предполагающий интернационализм и обобществление собственности, и социализм, основанный на идее превосходства одних наций над другими, сохраняющий собственность, но делающий их уполномоченными государства по управлению собственностью). Даже в марксистском социализме имеются многочисленные течения, ведущие полемику друг с другом.

Социализм, анархизм, консерватизм и либерализм — это, так сказать, чистые типы, или стили, социальной мысли. На их основе возникают разнообразные промежуточные разновидности теорий, получившие особое распространение в XX в. Так, либеральный, или демократический, социализм, называемый иногда социализмом с человеческим лицом, дополняет концепцию социализма определенными идеями либерализма; неолиберализм — результат усвоения классическим либерализмом определенных элементов консерватизма, и т. д.

Приведенная схема охватывает социальные концепции, выдвинутые примерно в последние три столетия. У каждой из указанных концепций можно найти отдаленных идейных предшественников. Но наличие такого, иногда очень отдаленного родства недавних и существовавших в далеком прошлом социальных концепций не может быть основанием для утверждений, будто социализм столь же стар, как и сама человеческая история, а основные элементы теории социализма были еще у Платона, или что отдельные фрагменты анархизма содержатся в философии Зенона и стоиков. Подобные утверждения явно неисторичны.

Далее будут рассмотрены основные идеи либерализма, консерватизма и социализма. Анархизм провозглашает своей целью немедленное и радикальное освобождение личности от всех разновидностей политической, экономической и духовной власти. По характеристике В. И. Ленина, «анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм. Индивидуализм как основа всего мировоззрения анар-

хизма». Анархизм как особое течение социальной мысли мощно проявил себя в конце XIX — начале XX в. Хорошо известны имена русских теоретиков анархизма М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина. Однако к середине XX в. теоретический анархизм почти обессилел, и далее он рассматриваться не будет. Можно отметить лишь, что современный так называемый антиглобализм является тяготеющей к анархизму концепцией и может быть назван неонархизмом.

**Либерализм.** Основная ценность и цель либерализма — это реализация *свободы личности*. Другие ценности: демократия, законность, нравственность представляют собой только средства для достижений этой свободы. Основной метод либерализма — это не столько творчество и создание нового, сколько устранение всего, что грозит индивидуальной свободе или мешает ее развитию.

Основной постулат либерализма о непреходящей ценности и равных правах каждой личности вместе с его методом, диктующим особую осторожность при решении социальных проблем, во многом объясняют ту трудность, с которой либерализм завоевывает себе сторонников.

Либерализм не предлагает никакой связной доктрины развития общества, реализация которой могла бы, скажем, привести к завершению «предыстории», недостойной человека, и началу «истории», отвечающей его высокому предназначению. Современный либерализм, иногда ошибочно оцениваемый как неотъемлемая составляющая идеологии современного капиталистического общества или даже как ее теоретическое ядро, на самом деле является лишь одним из способов интерпретации его развития, об общепринятости которого не может быть и речи. Этот либерализм весьма аморфен, его толкование меняется от десятилетия к десятилетию, у него нет непререкаемых авторитетов. Не случайно либерализм приобрел репутацию «негативного учения», не способного предложить человеку постиндустриального общества никакой конкретной, рассчитанной на долгую перспективу программы.

Либерализм — индивидуалистическая система, так как на первый план выдвигается отдельный человек, а ценность общественных групп или учреждений измеряется исключительно тем, в какой мере ими защищаются права и интересы индивида и способствуют ли они осуществлению целей отдельных субъектов. Либерализм считает своей целью благополучие и даже счастье человека, но достигаемые усилиями самого человека, ставящего перед собой собственные цели и пользующегося максимально возможной свободой.

Предполагается, что весь круг обязанностей по поддержанию социального порядка покоится в конечном счете на индивиде. Иногда речь идет не просто об индивиде, а конкретно о его совести. Со-

весть — краеугольный камень старых форм либерализма: в первую очередь на нее опирается выбор людей между порядком и анархией, она приказывает человеку следовать велениям разума в большей степени, чем велениям переменчивых чувств. Совесть и сопряженное с нею чувство долга позволяют поставить свободу личности в рамки объективного порядка. Нужно отметить, однако, что постепенно эволюция либерализма заметно ослабила обращение к совести как тому началу, которое должно согласовать и примирить идею автономии воли и разума личности, с одной стороны, и идею социального порядка и поддерживающего его универсального закона — с другой. Процесс ослабления моральных аспектов в обосновании либерализма, все более последовательный отказ от прямых ссылок на такие понятия, как совесть, долг, справедливость и т. д., во многом был вызван ослаблением религиозной морали. Однако и теперь имеются исследователи, полагающие, что ясная и последовательная система либерализма должна иметь моральное обоснование.

Обоснование либерализма может быть, таким образом, очень разным. Один из упреков, предъявляемых обычно либерализму, заключается в том, что он представляет каждого человека как законченное совершенство. Но реальный человек, о максимальной свободе которого печется либерализм, тянется не только к добру, но и к злу, нередко жаждет свободы, но иногда решительно бежит от нее. Как с горечью говорил еще Сократ, «люди знают, что справедливо, но часто поступают несправедливо». Можно ли обычному, далекому от совершенства человеку предоставлять чересчур большую свободу? Вполне вероятно, что он использует ее не для достижения счастья и благополучия, а во вред самому себе и другим.

Этот упрек в переоценке реального человека во многом несправедлив. Либерализм вовсе не так благодушен в истолковании личности, как это представляют некоторые его противники. Он понимает, что от человека можно ожидать не только хорошего, но и плохого. Предполагая, что человек рассудителен, способен принимать взвешенные и справедливые решения, либерализм вместе с тем учитывает и возможность зла и несправедливости в действиях людей и предусматривает определенные механизмы, препятствующие использованию индивидуальной свободы во зло.

Переоценкой человека, его устремленности к позитивным идеалам страдает скорее не либерализм, а радикальный индивидуализм, или анархизм. Последний считает человека в полной мере совершенным и полагает, что предоставление ему неограниченной свободы сразу же решит все проблемы социального устройства, так что не нужно будет ни государства, ни какого-либо репрессивного аппарата. Свободный индивид станет единственной и вполне достаточной ос-

новой социального порядка. В трактовке человека либерализм, в особенности современный либерализм, избегает индивидуалистических крайностей анархизма, способных в короткий период разрушить общество.

Главным оппонентом либерализма является, однако, не радикальный индивидуализм, а современный радикальный коллективизм, или социализм. Социалисты убеждены, что человек, достигающийся новому социалистическому обществу от «старого мира», является настолько несовершенным, что его придется, в конце концов, заменить «новым человеком». Но до тех пор, пока совершенного человека нет, человека, доставшегося от старого общества, надо лишить его индивидуалистической и капризной свободы, поставить под неусыпный надзор коллектива и систематически, ничего не упуская из его мыслей, чувств и действий, перевоспитывать. Свобода в либеральном ее понимании и социалистическая свобода противоположны по своей сути. Первая с точки зрения второй является безудержным, разрушительным индивидуализмом; вторая с позиции первой действительно представляет собою дорогу в коллективистическое, тоталитарное рабство.

Либерализм различает политическую и гражданскую свободу. Политическая свобода — это право гражданина участвовать в управлении государством; гражданская свобода — это те основные права, на признании которых строится гражданское общество. Политическая свобода рассматривается либерализмом как дополнение свободы гражданской: первая требуется только в качестве гарантии второй. Однако политическая свобода представляет собой необходимое дополнение к гражданской свободе и притом, можно сказать, единственное ее дополнение. Гражданская свобода гораздо существеннее для индивидов, чем их политическая свобода. Но без политической свободы гражданская свобода хрупка и ненадежна.

Две основные гарантии индивидуальной свободы — как гражданской, так и политической — либерализм видит в частной собственности и правовом государстве. Известно, что коммунистическая теория утверждала как раз обратное: только полное устранение частной собственности позволит человеку избавиться от внешних ограничений (в частности, от ограничений по сохранению и приумножению этой собственности) и посвятить себя целиком совершенствованию своих способностей и талантов. Считалось, что человек, озабоченный материальной стороной своей жизни, является «односторонним»; только избавившись от этой озабоченности, он превратится во «все-стороннего человека», широко и свободно подходящего как к жизни в целом, так и к самому себе. Обе эти позиции, излишне прямолинейно отождествляющие совершенствование человека с обладанием



им частной собственностью или, напротив, с радикальным его отказом от нее, являются крайними.

Тем более рискованно выдвигать обладание собственностью в качестве необходимого условия индивидуального счастья. Трудно сказать, где было больше счастливых людей: в Древних Афинах, где свободные граждане вели достаточно скудную по современным меркам жизнь (известно, например, что Сократ был вынужден отправиться в военный поход необутым), или в современных Соединенных Штатах, где один человек из тысячи является миллионером. Если отвлечься от репрессий в СССР в 1930-е гг., то опять-таки сложно решить, где больше было счастливых людей в этот период: в Советском Союзе, успешно, с энтузиазмом и с опережением всех сроков строившем коммунизм, или же в пораженных тяжелейшей экономической депрессией Соединенных Штатах.

Либерализм убежден, что устранение помех личной свободе не должно принимать форму насильственного переворота или разрушения. Это убеждение опирается на консервативную теорию прогресса, глубоко укорененную в самом либерализме. Согласно этой теории, прогрессивной силой являются в первую очередь укрепление и утверждение, а не разрушение. Устранять необходимо, прежде всего, неограниченное расширение полномочий государственной власти, благодаря которым она со временем может встать над правом и произвольно менять законы; далее, нужно препятствовать обязательному планированию и разрастанию административных учреждений. Но и в этих случаях действовать следует с особой осторожностью, а ни в коем случае не неожиданно и безжалостно.

Постепенно классический либерализм, сложившийся в XIX в., подвергся существенной перестройке, прежде всего в вопросе о социально-экономической роли государства. Возникли концепции «нового либерализма», или неолиберализма. По мере стабилизации капитализма либерализм постепенно утрачивал легкость и юношеский оптимизм и все более ориентировался не только на индивидуальную предприимчивость и «невидимую руку» рынка, но и на устоявшиеся традиции и элементы государственного регулирования экономики с целью поддержания благоприятных условий для конкуренции. Существенное влияние на эволюцию либерализма оказала консервативная его критика, сложились даже определенные либерально-консервативные концепции, в которых своеобразно переплетаются идеи либерализма и консерватизма.

Критика либерализма велась главным образом с двух позиций. Во-первых, это была консервативная критика, остающаяся в целом в рамках принятия капитализма и одобрения основных либеральных ценностей; во-вторых, это была коллективистическая критика и пре-

жде всего критика со стороны социализма как наиболее радикальной формы современного коллективизма.

Вкратце критику либерализма можно свести к следующим положениям.

Либерализм трактует общество как организм, состоящий из своего рода атомов — свободных, самоуправляющихся индивидов, желания и интересы которых мало зависят от среды, в которой они живут и действуют. Отсюда переоценка моральной и ценностной автономии личности, ее способности и желания действовать исключительно по собственному плану и пользоваться своей системой ценностей. Кроме того, либерализм предполагает, что люди руководствуются в своей жизни и в своих отношениях с другими людьми прежде всего разумом, а не чувствами, верой, традицией и т. д., и выдвигает рационализм как едва ли не единственный метод решения всех социальных проблем. Вера либерализма в абсолютную моральную ценность личности, в духовное равенство людей и в присущую человеку мудрость чересчур оптимистична и плохо учитывает историческую конкретность и изменчивость человеческого существования. Якобы естественная потребность людей творить добро была поставлена под серьезное сомнение событиями, произошедшими в прошлом веке, и в первую очередь тоталитаризмом.

Либерализм грешит не только атомизмом и механицизмом, конструированием составных целостностей (государство, право и т. д.) из изолированных индивидов или факторов. Для либерализма характерно также упрощенное и, можно сказать, идеализированное понимание человека как атома социальной жизни. Что касается либерализма как своеобразного способа размышлений об обществе, то ему можно поставить в упрек преувеличение роли выведения конкретных случаев из одного общего принципа или из немногих таких принципов. Кроме того, либеральное мышление нередко игнорирует историю и является в своей основе статическим, поскольку считает, что правильное понимание социальной жизни есть самодостаточная, автономная сфера, мало или вообще не зависящая от влияния истории. В частности, неисторично истолковываются неотъемлемые права человека (жизнь, свобода, собственность, право сопротивляться тирании и т. д.). Либерализм как бы не замечает, что помимо капитализма существовали и существуют другие, иногда принципиально иные способы общественного устройства, которые столь же естественны, как сам капитализм, а не являются какой-то «болезнью общества» или «вывихом истории». Либерализм плохо видит также преходящий характер самого капиталистического устройства, которое тоже исторично и в одно прекрасное время сойдет, как можно предполагать, с исторической арены.

Эти общие особенности либерального мышления определяют решение либерализмом многих конкретных проблем. В частности, либерализм чересчур абстрактно противопоставляет путь постепенных, шаг за шагом идущих реформ радикальному пути социальной революции. Более того, либерализм даже утверждает, что революции вообще не нужны и даже неразумны, во всяком случае, в современном индустриальном обществе. Это как раз полная противоположность подходу, объявляющему революции основными двигателями человеческой истории. Не обсуждая эту сложную тему, можно лишь отметить, что либеральный реформизм и революционный радикализм нет смысла противопоставлять вне конкретной, исторической обусловленной ситуации. Если с какими-то социальными проблемами можно справиться с помощью последовательных, поэтапных реформ, то действительно лучше обойтись без революции, всегда сопряженной с насилием и перерывом постепенности в развитии общества. Но вопрос, на который либерализм не дает ответа, состоит в другом: всегда ли можно обойтись без революции, заменив ее подходящими к случаю реформами? Ответ на этот вопрос должен быть, скорее всего, отрицательным. Во всяком случае, каждый переход от коллективистического устройства общества к индивидуалистическому его устройству, и наоборот, представляет собой глубокую социальную революцию.

Если история рассматривается как колебания обществ между полюсами коллективизма и индивидуализма, революции становятся неотъемлемыми ее элементами. Путь постепенного реформирования можно уподобить терапевтическому лечению больного человека, революция — это болезненное хирургическое вмешательство. Большинство больных предпочли бы обойтись без хирургии. Точно так же большинство граждан более склонны реформировать существующее общество, а не разрушать какие-то важные его части (в первую очередь государство) революционным путем с намерением создать что-то принципиально новое. Но известно, что без хирургии в некоторых случаях не обойтись, особенно в случаях хронических, запущенных болезней. Аналогичным образом некоторым обществам невозможно обойтись без революции, какой бы болезненной она ни была. Марксизм переоценивал роль социальных революций в истории, либерализм, напротив, переоценивает возможности частичных, идущих шаг за шагом реформ.

Возвращаясь к центральному понятию либерализма — понятию свободы, следует еще раз подчеркнуть ускользающую от внимания его сторонников многозначность этого понятия. Наряду с индивидуалистическим истолкованием свободы существует коллективистическое ее понимание. Как раз последнее дает социализму возможность выступать под флагом «новой свободы», вводя в заблуждение тех сто-

ронников либерализма, которые под свободой имеют в виду только индивидуалистическую свободу.

**Консерватизм.** Подобно либерализму, консерватизм является не единой, связной теорией, а стилем, или способом, мышления при анализе отдельных социальных явлениях и общества в целом. К. Манхейм сравнивает либерализм и консерватизм как особые стили мышления со стилями в искусстве (барокко, романтизм, классицизм и др.). В истории искусства понятие стиля играет особую роль, позволяя классифицировать сходства и различия, встречающиеся в разных формах искусства. Искусство развивается благодаря стилям, и эти стили появляются в определенное время и в определенном месте, выявляя свои формальные тенденции по мере развития.

Человеческая мысль, говорит Манхейм, также развивается «стилями», и разные школы мышления можно различать благодаря разным способам использования отдельных образов и категорий мышления. Стиль мышления касается более чем одной области человеческого самовыражения: он охватывает не одну политику, но и искусство, литературу, философию, историю и т. д. Различные стили мышления развивались в соответствии с партийными направлениями, так что можно говорить о мысли «либеральной» или «консервативной», а позднее также о «социалистической»<sup>1</sup>.

Консерватизм, зародившийся в конце XVIII в. и сформировавшийся почти одновременно с либерализмом, можно охарактеризовать как теоретическое осмысление традиционализма — более или менее универсальной тенденции к сохранению старых образов, устоявшихся и оправдавших себя способов жизни. Консерватизм предполагает уважение к мудрости предков, сохранение старых моральных традиций, подозрительное отношение к радикальному преобразованию социальных институтов и ценностей. Консерватор понимает общество как особую реальность, имеющую свою внутреннюю жизнь и очень хрупкую структуру. Он убежден, что общество — это живой и сложный организм, и его нельзя перестраивать как машину. Философскими предшественниками консерватизма были такие английские «моральные философы», как Д. Юм и А. Смит, считавшие, что социальные институты представляют собой не реализацию каких-то планов или проектов, а скорее продукты стихийной, идущей без предварительного плана деятельности людей и результаты постепенного отбора наиболее эффективных форм.

Консерватизм отвергает «инженерный» взгляд на общество, согласно которому оно способно сознательно, по заранее составленному рациональному плану контролировать и направлять свою буду-

<sup>1</sup> Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 600.

щую эволюцию. Консерваторы подчеркивают, что основные социальные институты, моральные традиции и практика капиталистического общества — суверенитет и автономия индивида, частная собственность и частное предпринимательство, политическая и интеллектуальная свобода, демократия и правление права — спонтанно выработаны в ходе культурной эволюции, без какого-либо предварительного плана. Социальный процесс представляет собой путь проб и ошибок. Опыт, накапливаемый и передаваемый из поколения в поколение, воплощается в социальных институтах и ценностях, которые не конструируются человеком сознательно и не управляются им по рационально обоснованному плану. Как писал стоявший у истоков консерватизма Э. Бёрк, разум у отдельного человека ограничен и индивиду лучше воспользоваться накопленными в течение веков общим банком и капиталом народов.

Консерватизм не поддерживает концепцию полного *laissez faire* и не принимает идеи «естественных прав и свобод», «естественной доброты человека», «естественной гармонии интересов». Бёрк, в частности, отмечал, что своими правами и свободами англичане обязаны не каким-то рационально сформулированным абстрактным и универсальным принципам, а процессу развития английского общества от Великой Хартии вольностей до Билля о правах; в течение многих столетий эти права расширялись и передавались из поколения в поколение.

Консерватизм как способ мышления тяготеет к конкретному мышлению. Особенно наглядно это проявляется при сопоставлении консерватизма с концепциями, предлагающими решительную переделку общества по единому, обеспечивающему эффективный прогресс плану. Прогрессист считает появление современного общества следствием принесения в жертву целых классов ради дезинтеграции существовавшей общественной структуры. Его мышление неизбежно должно быть абстрактным, поскольку оно опирается на формируемые им самим потенциальные возможности. Консервативное мышление, стремящееся сохранить существующее положение вещей и ослабить прогресс, является конкретным, ибо оно не вырывается за рамки наличной общественной структуры.

Другим ключевым признаком, отличающим консервативное мышление от иных стилей мышления, является трактовка им свободы. Еще одним моментом, разделяющим сторонников ускоренного прогресса и консерваторов, является то, что прогрессистская мысль характеризует действительность не только в категориях возможности, но также в категориях нормы. Консервативная мысль, напротив, пытается понять действительность как результат влияния реальных факторов и осмыслить норму в категориях действительности. Как отме-

чает Манхейм, это два разных способа переживания мира, из которых вырастают два разных стиля мышления. Один смотрит на людей и на социальные институты с требованием «Так должно быть», вместо того чтобы подходить к миру как к комплексу законченных продуктов длительного процесса действия. Другой подход склоняет к некритическому принятию действительности со всеми ее недостатками. Консерватор со своей сильной привязанностью к принципу «Не менять сложившееся положение» трактует действительность как нечто, что попросту существует, и это порой приводит к возникновению нотки фатализма.

Консерватизм не отрицает возможности и даже необходимости планомерного преобразования общества, он лишь подчеркивает, что такое преобразование должно опираться на прошлый опыт и сложившиеся традиции и быть чрезвычайно осторожным. Методологическая консервативная критика мышления, основанного на идее естественного права, включает несколько основных моментов. Консерваторы заменяют понятие разума такими понятиями, как история, жизнь, нация.

Дедуктивным наклонностям, выведению деталей общественного устройства из некоторых общих и кажущихся очевидными принципов, консерваторы противопоставляют идею иррационального характера действительности. В ответ на либеральный постулат сущностного сходства индивидов консерваторы выдвигают проблему их радикального различия. Либерально-буржуазному убеждению, что все политические и социальные инновации имеют универсальное применение, консерваторы противопоставляют понятие общественного организма.

Конструированию коллективного целого из изолированных индивидов и факторов противопоставляется тип мышления, исходящий из понятия целого, не являющегося простой суммой его частей. Государство и нация понимаются не как сумма их индивидуальных членов, а, напротив, индивид понимается только как часть более широкого целого. Если либерал мыслит категорией «Я», то консерватор использует категорию «Мы».

Интересное противопоставление консерватизма и либерализма принадлежит Ф. А. Хайеку, явно симпатизирующему последнему и утверждающему, что истинный либерал не может быть консерватором. Поведение консерватора, полагает Хайек, в основном характеризуется боязнью перемен, всего нового как такового. Либералу же свойственны доверие ко всему новому, готовность принять иное направление событий, даже если неизвестно, куда они могут завести. Либерал доверяет силам рыночной конкуренции, хотя и не знает, каким способом новые условия установят равновесие. Консерватор,

напротив, не доверяет стихийным силам, подобным рынку, и уверен, что переменами должна руководить высшая власть и что дисциплина — превыше всего. Поэтому для консерватора характерно страстное желание власти и в то же время хроническое непонимание природы экономических сил. Он не признает спонтанного развития, понимает порядок как результат властного надзора и соблюдения дисциплины. Консерватора не заботят границы органов власти, он опасается только одного — угрозы ослабления власти. Консерваторы подобны социалистам в том, что всегда озабочены проблемой контроля. Как и социалисты, они уверены в своем праве диктовать другим собственные ценности. Либералы считают возможным мирное сосуществование различных ценностных систем и остаются терпимыми ко многому из того, что им не нравится. Консерваторы тяготеют к тому, чтобы навязывать предпочитаемую ими систему ценностей силой принуждения. Не только новое и незнакомое чуждо консерваторам. Они искренне привязаны к национальным традициям, но иногда эта привязанность становится слепой и доходит до крайних форм национализма. Неприязнь к новому и чуждому тянет обучать «должному поведению» других, причем обучать, прежде всего, с помощью силовых приемов, имеющихся в распоряжении государства<sup>1</sup>.

Современный консерватизм пытается соединить две тенденции: характерное для классического либерализма уважение к свободе отдельного индивида и традиционную для консерватизма защиту таких ценностей, как мораль, семья, религия, закон и порядок и т. д. Противостояние социализму, выдвигающему план радикального коллективистического (и в частности коммунистического) переустройства общества, привело в конечном счете к сближению и даже слиянию либерализма и консерватизма на базе защиты основных ценностей современного индивидуалистического (посткапиталистического) общества.

**Социализм.** Теоретический социализм пока остается единственной полномасштабной альтернативой теорий посткапиталистического устройства общества. Не удивительно поэтому, что социальная философия в XX в. разворачивалась в основном как резкая, а иногда и ожесточенная полемика между сторонниками разных конкретных вариантов социализма, с одной стороны, и сторонниками разных версий посткапитализма — с другой.

В качестве характерной конкретизации общего типа социалистического теоретизирования целесообразно рассмотреть марксизм и его более современную версию — марксизм-ленинизм, являвшуюся в недавнем прошлом как в Советском Союзе, так и в ряде других стран

<sup>1</sup> Хайек Ф. А. Познание, конкуренция, свобода. М., 1999. С. 62–67.

так называемого социалистического лагеря ядром официальной коммунистической идеологии.

Марксизм — философская, социальная и экономическая теория, развитая К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в. и оказавшая существенное влияние на социальную мысль и социально-политические движения конца XIX — первых двух третей XX в. Философия марксизма утверждает первичность материи и вторичность сознания, истолковываемого как «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Материя развивается по законам диалектики, которым подчиняется и человеческое мышление. В аксиологии отстаиваются в целом гуманистические ценности, хотя средства, предлагаемые для их достижения, включают насильственное устранение целых социальных классов. В социальной теории марксизм концентрирует свое внимание (хотя и не без известных оговорок) на экономическом детерминизме и классовой структуре общества. Вся история, исключая первобытное общество и высшую ее ступень — коммунизм, объявляется историей борьбы классов. В экономике утверждается трудовая теория стоимости, включающая понятие прибавочной стоимости в условиях капиталистического способа производства. Опираясь на анализ капитализма, марксизм делает, вопреки известному принципу Юма, запрещающему логический переход от «есть» к «должен», этическое заключение, что капитализм несправедлив и должен быть замещен новой общественно-экономической формацией — коммунизмом. Это произойдет уже в обозримом будущем в результате неотвратимой и победоносной пролетарской революции, которая установит диктатуру пролетариата и социализм во всех развитых капиталистических странах. После непродолжительного переходного периода сначала в развитых, а затем и во всех остальных странах установится коммунизм, означающий конец предыстории человечества и начало его подлинной истории.

Суть социальной доктрины марксизма можно свести к следующим четырем моментам: во-первых, деятельность капиталистических предприятий направлена исключительно на получение прибыли, возникающей в результате эксплуатации рабочих, которые получают в виде заработной платы меньше, чем они производят; во-вторых, капитализм все более запутывается в неразрешимых противоречиях; в-третьих, по мере развития капитализма рабочие все более ясно осознают свое положение и все больше приобретают решимости свергнуть капитализм силой; в-четвертых, общество, которое придет на смену капитализму, будет социалистическим и демократическим по своей экономической и политической организации и явится переходной ступенью к бесклассовому, процветающему обществу.



Хотя Маркс и Энгельс считали свою теорию научной, их последователи часто рассматривали ее как форму светской религии. С возникновением марксизма-ленинизма марксизм, вопреки своим первоначальным интенциям, сделался составной частью идеологии тоталитарного коммунистического общества и действительно приобрел черты догматического религиозного учения.

Марксизм-ленинизм, сложившийся уже в XX в., не только существенно упростил и огрубил марксизм, но и ввел в него ряд принципиально новых идей. Важные шаги в постоянно нараставшем процессе «очищения» концепции Маркса от элементов «спекулятивной философии» сделал уже Ленин, никогда, впрочем, не признававшийся в том, что в чем-то существенном отстывает от ведущих идей марксизма. Радикальному упрощению марксизм-ленинизм был подвергнут Сталиным, сведшим его к немногим, понятным для коммунистической элиты тезисам. Упрощение и идейное обеднение марксизма было вызвано объективными причинами: марксизм все более превращался из философской концепции в основу идеологии массового, энтузиастического коммунистического движения.

Догматизированный Лениным, Сталиным и их последователями марксистский дискурс обрел ясность, простоту и твердость. Он начинается с изложения законов диалектики (противоречие как источник всякого развития, скачкообразный переход количественных изменений в качественные, отрицание отрицания и восходящее развитие по спирали) и диалектики природы; затем следует исторический материализм (примат производительных сил и производственных отношений над всеми иными социальными отношениями). Далее идет анализ капиталистического строя, призванный проиллюстрировать истинность исторического материализма; из этого анализа выводится необходимость организации партии революционного действия и делается вывод не столько о неизбежном крахе капитализма, сколько о неотвратимой победе коммунизма и тем самым завершении предыстории человечества.

По Марксу, диктатура пролетариата является необходимым средством для перехода от капитализма к коммунизму. Учением о «партии нового типа» марксизм-ленинизм, в сущности, свел диктатуру пролетариата к диктатуре революционной партии, полновластно контролирующей все стороны жизни коммунистического общества, начиная с политики и экономики и кончая частной жизнью его членов. «...Диктатура пролетариата есть власть, осуществляющаяся партией, опирающейся на насилие и не связанной никакими законами» (Ленин). Находясь у власти, монополющая правящая партия сочетает идеологию, призванную вызывать энтузиазм, с террором, постоянно внушающим страх. Партия предлагает новое решение всех экзистенциальных про-

блем, касающихся смысла истории и человеческой жизни, человеческого счастья, справедливости и т. д. Она обосновывает также новый кодекс моральных предписаний, в котором высшим долгом объявляется служение не обществу в целом, а какой-то узкой его части, в первую очередь самой партии.

Другим важным моментом, в котором марксизм-ленинизм отошел от марксизма, была трактовка предпосылок победы социалистической революции. Согласно Марксу, успех последней возможен только при условии, что она происходит одновременно в наиболее развитых капиталистических странах. Марксизм-ленинизм выдвинул положение о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране, даже если последняя является отсталой, по преимуществу крестьянской страной.

Маркс настаивал на том, что его концепция является открытой и должна постоянно трансформироваться под воздействием новых социальных фактов, а не застыть в догмах и стереотипах. Под влиянием политической ситуации марксизм-ленинизм изменил духу изначального «открытого марксизма» и в конце концов превратил его в схоластику, равнодушную к изучению социальной проблематики постиндустриального общества.

Процесс разложения марксизма-ленинизма как ядра коммунистической идеологии начался в 1960-е гг., когда заметно разрядилась атмосфера страха, составлявшая главную особенность сталинизма. История стран, пытавшихся построить совершенное коммунистическое общество, хорошо показала внутреннюю парадоксальность марксизма-ленинизма. Созданный в качестве теоретического обоснования такого общества, он в конечном счете оказался идеологическим обоснованием тоталитарных коммунистических режимов.

Марксизм-ленинизм иррационален в том смысле, что он ставит перед собой одну цель, а достигает прямо противоположного, не совместимого с нею результата.

Сопоставление марксизма и марксизма-ленинизма хорошо показывает, что в рамках одного и того же типа социального теоретизирования возможны очень существенные вариации. Одни из них стоят как будто на грани научности, в то время как другие, формально являющиеся их продолжателями, хотя и в новых исторических условиях, явно выходят за границы науки и представляют собой скорее «социальный миф», чем научную теорию развития общества.

**«Социальные мифы».** О доктринах, являющихся инструментом воздействия на жизнь целого общества, Платон говорит как о «благородной лжи», Ж. Сорель как о «мифах», но это не объяснение. Доктрины социалистических обществ действительно напоминают архаические мифы — повествования о деяниях богов и героев, опираю-

щиеся на фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах. Миф противоречит непосредственным данным эмпирической действительности; носит идеализированный характер; опирается не на критический анализ, а скорее на внутреннюю потребность, убеждение и веру; представляет собой пластический и во многом художественный образ; живет в неподвижном, так называемом мифологическом времени.

Эта характеристика мифа во многом приложима и к современным коллективистическим «социальным мифам», хотя последние и пытаются оставаться в известном согласии с эмпирическими данными и претендуют на то, чтобы казаться не художественным вымыслом, а результатом критического, даже научного анализа. В «социальных мифах» присутствуют многие конкретные структуры и темы, составляющие поэтику архаического мифа: мотивы битвы, саморазрушения, трудной задачи и преодоления недостатка, отравленной удачи, скрытого блаженства и т. д. Неоправданно было бы, однако, усматривать тесное родство между архаическим мифом и современным «социальным мифом», разделенными тысячелетиями, или усматривать архаические элементы в современном мышлении.

Коллективистическое сознание — и древнее и современное — тяготеет к постановке перед обществом утопической, недостижимой цели. В результате описание перипетий движения к этой цели оказывается для стороннего слушателя напоминающим сказку. Ошибаются те, кто говорит о довольно случайном характере создания «мифа» в обществе с централизованной плановой экономикой и единой системой ценностей. Случайность возникновения «мифа» и известная необязательность его содержания и обоснования не должны переоцениваться. «Миф» вызревает в толще самой народной жизни, и дело случая, кто именно придаст ему форму «общего принципа». Главное, чтобы «миф» явился такой формой теоретической интерпретации фактов, которая оправдывала бы априорные мнения или предрассудки, воплощала и обосновывала бы стихийно сложившееся и уже вызревшее представление о новой справедливости, требующей своего воплощения в жизнь. В средневековом обществе «миф» мог говорить только о совершенном небесном, но никак не о земном мире. В Новое время в индустриальном обществе сложилась идея о перенесении будущего рая с небес на землю. В XX в. «миф» мог основываться только на идее социализма как в «учении о коммунизме», или на идее национализма, или на соединении этих двух идей как в доктрине национал-социализма. В некотором глубинном смысле «миф» вовсе не случаен, и его содержание во многом предопределено.

Можно отметить, что время реальной истории и время в «совершенном мире» во многом различаются. Жизнь в небесном раю про-

текает вообще вне времени, мера ей — вечность. В тоталитарных «мифах» поступь истории, приносящей серьезные перемены, измеряется десятилетиями, в крайнем случае — столетиями. Коммунистическое же общество будущего занимает «всю историю», которая не имеет никаких внутренних градаций и с точки зрения которой предшествующая история человечества является всего лишь предысторией. Нацистский рейх после его установления также должен перейти на новое измерение исторического времени — по меньшей мере, речь идет о «тысячелетнем рейхе».

И второй момент, проистекающий из цели, которую ставит перед собой социалистическое общество. Хотя движение к ней предполагает значительные усилия со стороны индивидов, входящих в такое общество, и значит непереносимое осознание ими стоящей перед ними задачи, тем не менее силы, действующие в направлении цели и даже толкающие общество к ней, ощущаются ими как сверхчеловеческие и даже мистические. В средневековом коллективизме ход истории и движение к ее конечной цели определяется волей бога и никак не зависит от действий людей. В коммунизме история направляется особыми законами, столь же непреложными, как и законы природы. С идеей неотвратимости хода истории, неуклонно влекущей общество от одной общественно-экономической формации к другой и в конечном счете к коммунизму как вершине всего исторического движения, таинственным, можно сказать, мистическим образом соединяется идея активности индивидов и их массовых движений. В национал-социализме ход истории диктуется провидением, избирающим вождя и обеспечивающим его победы. Во всех трех случаях коллективистическое общество ощущает действующие в нем социальные силы как сверхчеловеческие. Коллективистическое общество — это всегда общество, реализующее предназначение.

Древнее коллективистическое общество считает целью своего развития собственную стабильность и утверждает неравенство между своими слоями, или кастами, в качестве вечного и неизменного принципа общественного устройства. Об этом говорит, в частности, в своей утопии Платон, склонный даже отождествлять стабильность со справедливостью. Однако и в этом случае можно сказать, что цель общества располагается в будущем и нужны огромный труд и концентрация всех сил, чтобы воплотить ее в жизнь. Общество станет стабильным, только если удастся реализовать определенный и по древним временам грандиозный план по стабилизации. В Древнем Китае составной частью этого плана было сооружение Великой стены, отгораживающей империю от набегов кочевых племен. В Древнем Египте план включал сооружение огромных гробниц для захоронения фараонов-богов. Ацтеками и майя воздвигались большие соору-

жения, не имевшие никакого непосредственного утилитарного значения и ориентированные, прежде всего, на стабилизацию общества. Во всех случаях была цель, консолидирующая общество и требующая сосредоточения всех его усилий на ее осуществлении. Без такой цели, протяженной во времени, заведомо превышающей возможности индивидов или каких-то ограниченных их групп и требующей реализации любой ценой, древнее коллективистическое общество не могло бы существовать.

## **§ 5. Ценности как контекст развития социальных теорий**

Подводя итог обсуждению современных стилей социального теоретизирования, следует подчеркнуть, что эти стили являются всего лишь теми общими рамками, в которых разворачивается конкретная исследовательская деятельность по изучению общества и человека. Многие представители социальных и гуманитарных наук убеждены в свободе своего творчества, в независимости развиваемых ими концепций общества и человека от «настоящего» и от той социальной среды, в которой протекает исследование. Не замечать ограничений, диктуемых культурой своего времени не означает, однако, быть совершенно свободным от этих ограничений.

Нужно также отметить, что ценности, выступающие опорой социального и гуманитарного исследования, задаются главным образом как раз стилями социального теоретизирования. Если общий стиль теоретизирования воспринимаются социальным исследователем как нечто само собою разумеющееся, навязываемые этим стилем ценности могут совершенно не ощущаться исследователем.

Социальная теория невозможна без определенных представлений о сущности человека, о равенстве, справедливости, свободе, целях общественного развития и т. п. Общий характер этих представлений определяется не столько наукой, сколько культурой своего времени и той социальной средой, в которой они складываются.

Стиль социального теоретизирования — это в первую очередь связанная система таких представлений. Именно она определяет то общее освещение конкретных социальных исследований, которое меняет все попавшие в сферу его действия цвета. В данном выше описании современного общества (посткапитализм, коммунизм, национал-социализм) нет никаких явных оценок. Исключением является, быть может, только фрагмент, в котором идет речь о глубинном внутреннем сходстве посткапитализма и радикального социализма. Это показывает, что конкретная социальная теория может вообще не

включать те ключевые категории социального познания, которые, подобно справедливости, свободе и равенству, неразрывно связаны с ценностями.

Но всякая, даже частная социальная теория существует в рамках определенного стиля социального теоретизирования. Именно он задает значения основополагающих категорий социального мышления. Находясь в поле его действия, конкретная теория может не задаваться вопросом об этих значениях и даже не употреблять сами эти категории. Они окажутся только той системой координат, в рамках которой располагается теория и от которых она имеет полное право отвлечься.

**Отнесение к ценностям.** Г. Риккертом, М. Вебером и другими исследователями разрабатывалась программа радикальной перестройки социальных и гуманитарных наук (наук о культуре), призванная исключить из этих наук явные оценки и в максимальной степени заместить понимание как подведение под ценность каузальным пониманием. Эта программа получила название *отнесения к ценностям*.

Само понятие «отнесение к ценностям» было введено Риккертом, считавшим его ключевым в процессе формирования понятий и суждений в индивидуализирующих науках о культуре. Если мы понимаем какой-нибудь объект индивидуализирующим способом, говорит Риккерт, то особенность его должна быть связана каким-нибудь образом с ценностями, которые ни с каким другим объектом не могут находиться в такой же связи.

В дальнейшем Вебер попытался разработать целостную программу исключения прямых оценочных утверждений из наук о культуре, прежде всего из истории и социологии: «Пророку и демагогу не место на кафедре в учебной аудитории»<sup>1</sup>. Центральным в этой программе также являлось понятие отнесения к ценностям. Такое отнесение предполагает, по Веберу:

- учет перспектив развития исследуемых социальных явлений (их «шансов» в будущем) и введение на этой основе кажущихся чисто описательными *идеальных типов*;
- вынесение всех оценок за пределы теоретической системы;
- возможно более полное исключение из такой системы понимания как подведения под общую оценку путем замещения его операцией каузального понимания.

Согласно Веберу, «идеальный тип» — это понятие, отсылающее к культурно-историческим объектам, интерпретированным в свете определенных ценностей. «Ведь наш интерес к тем феноменам, которые выступают в качестве явлений культуры, всегда связан с их „куль-

<sup>1</sup> Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 772.

*турным значением*”, возникающим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям»<sup>1</sup>.

Определения таких понятий находятся между реальными определениями (определениями-описаниями) и номинальными определениями (определениями-предписаниями). По Веберу, ключевые понятия социальных и гуманитарных наук (наук о культуре) представляют собой идеальные типы. Например, основные понятия теории капитализма Маркса («частная собственность», «прибавочная стоимость», «эксплуатация» и др.) являются идеальными типами, т. е. существуют в контексте, или в координатах, определенных ценностей. Вебер упрекает Маркса не за использование подобного рода понятий (без них невозможно вычленение самого исторического «объекта», являющегося предметом исследования), а за то, что их определения представляются Марксу чистыми описаниями, никак не связанными с ценностями и являющимися истинными или ложными, как и все реальные определения. Понятие идеального типа вводилось Вебером в рамках общей концепции отнесения к ценностям.

Как ценности, так и ориентированные на них «точки зрения», с которых рассматриваются объекты культуры, схватываемые идеальными типами, подвержены изменению. Поэтому идеальным типам свойственна, как подчеркивает Вебер, такая зависимость от «субъективных ценностей», которая совершенно чужда тем естественным наукам, которые по своему типу близки, например, механике. Идеальные типы являются индивидуальными «ценностными понятиями», поскольку они образованы путем соотнесения с «ценностными идеями».

Представление об идеальных типах было одним из важных элементов разрабатывавшейся Вебером общей программы исключения прямых оценочных утверждений из наук о культуре. Невозможно раз и навсегда исключить ценности (а значит, и оценки) из атмосферы, в которой развиваются науки о культуре, ибо «человеческое поведение» становится «действием» лишь в том случае и постольку, поскольку действующий индивид или действующие индивиды связывают с ним субъективный смысл. Но ценности не должны входить непосредственно в ткань социальной или гуманитарной теории. Они должны составлять тот контекст, в котором она существует, быть общими координатами теоретизирования, но не его составной частью.

Отнесение к ценностям как вынесение ценностей за скобки теории не является оценкой, поскольку оно представляет собой лишь общее освещение той сцены, на которой разворачивается теоретическая

<sup>1</sup> Вебер М. Указ. соч. С. 391.

деятельность. По Веберу, отнесение той или иной группы исследуемых явлений к определенным общечеловеческим ценностям, актуализируемым в данную эпоху и выражающим ее преобладающий интерес, — «чисто логический метод», который вовсе не открывает двери в эмпирическое исследование «практическим оценкам». Поскольку понятия теории несут на себе отблеск ценностей, в контексте которых она существует, эти понятия являются только способами идеальной типизации, некоторыми образами-схемами, позволяющими наиболее удобным способом упорядочивать эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями.

Таково, например, понятие «капитализм» у Маркса и В. Зомбарта. В свете ценностей, принимавшихся Марксом, капитализм есть клонящийся к гибели общественный строй, непосредственно предшествующий коммунизму; согласно Зомбарту, руководствовавшемуся совсем иными жизненными впечатлениями и ценностями, не заявлявшему, впрочем, о них открыто, капитализм представляет собой достаточно совершенный, установившийся на неограниченно долгое время строй.

Проблема отнесения к ценностям вызвала и продолжает вызывать большие споры. В 60-е гг. прошлого века в дискуссиях по поводу «логики социальных наук» активно участвовали социологи и философы Т. Парсонс, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.<sup>1</sup> Концепция отнесения к ценностям была первой серьезной попыткой разрешить важную методологическую проблему, связанную с социальными и гуманитарными науками, — дилемму объективного и субъективного.

Человеческая деятельность невозможна без оценок (и их частного случая — норм). Науки, изучающие человека и общество, имеют своей целью рационализацию человеческой деятельности (указание лучшего из возможных способов действия), и потому формулируют неявные или даже явные оценки. С другой стороны, оценка всегда субъективна, она выражает какие-то индивидуальные или групповые предпочтения; по поводу одних и тех же социальных перспектив (например, будущего капитализма) могут высказываться самые разные оценочные суждения.

Концепция отнесения к ценностям не отличалась ясностью и не решила вопрос о месте ценностей в социальном и гуманитарном познании. Но она впервые прямо поставила данный вопрос. Требуя устранения ценностей из социальных наук, М. Вебер говорил одновременно о всегда существующем в социальном исследовании «отношении к ценностям». Частные социальные теории могут не содержать

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Давыдов Ю. Н.* Макс Вебер и современная теоретическая социология. М., 1999. Гл. 5.



каких-либо ценностей. Но эти теории развиваются в свете определенных общих ценностей и не могут существовать без них.

Понятие стиля социального теоретизирования позволяет прояснить кажущуюся парадоксальной идею исключения ценностей из социальных теорий путем «отнесения к ценностям». Если ценности задаются стилем социального теоретизирования, то достаточно принять тот или иной конкретный стиль, быть может, не заявляя об этом явно, чтобы в дальнейшем избегать каких-либо явных или даже неявных оценок.

Исследователь, рассуждающий в духе либерализма, может не использовать центральную для либерального мышления категорию индивидуальной свободы, несомненно, являющуюся ценностью. Придерживаясь консервативного стиля мышления, можно не затрагивать тему «органических целостностей», подобных обществу и государству, поскольку их приоритет над всеми иными социальными ценностями неотделим от самой сути консерватизма. Социалистический стиль мышления предполагает, что реализация той глобальной цели, которая стоит перед обществом, значимее индивидуальной свободы, сохранения «органических целостностей» и т.п.; принятие этого стиля позволяет вообще не ссылаться на какие-либо ценности и не пытаться установить некоторую их иерархию.

Простой пример поможет прояснить эту ситуацию. В русской философии, от основателя славянофильства А. С. Хомякова до С. Л. Франка, много говорилось о *соборности*, под которой понималось объединение людей в духе, в живой вере и т. п. Высшим видом соборности считалось объединение людей в любви. Понятие соборности является одним из самых темных в русской философии XIX в.

Например, Франк говорит, что другие люди даны нам прежде всего через откровение; бытие «мы» — еще более первичный вид откровения. «В откровении “мы” нам дан радостный и укрепляющий нас опыт внутренней сопринадлежности и однородности “внутреннего” и “внешнего” бытия, опыт интимного сродства моего внутреннего самобытия с окружающим меня бытием внешним, опыт внутреннего приюта души в родном доме. Отсюда — святость, умирительность, неизбывная глубина чувства родины, семьи, дружбы, вероисповедного единства. В лице “мы” реальность открывается как царство духов, и притом через внутреннее самооткровение самой себе<sup>1</sup>. «Мы» — это прежде всего духовное объединение, соединение людей, жертвующих своей индивидуальностью и неповторимостью ради реализации общими усилиями какой-то великой идеи.

---

<sup>1</sup> Франк С. Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии // Он же. Сочинения. М., 1990. С. 380.

В чем именно должна состоять «великая идея», ради которой индивид должен жертвовать своей неповторимостью, те, кто развивал представление о соборности, не считали нужным и интересным разъяснять. Причина этого в том, что понятие соборности являлось «идеальным типом» в смысле Вебера и существовало в свете, или в контексте, определенных, кажущихся очевидными и неоспоримыми ценностей.

В идею соборности чаще всего вкладывался религиозный смысл: создание на земле подобия царства Божия, в котором люди объединены главным образом религиозной верой, любовью к богу и т. п. Иногда за идеей соборности стояла мысль об особом величии и особом историческом пути России, призвание которой — указывать дорогу в будущее другим народам. Как и религиозные ценности, эта мысль представлялась некоторым сторонникам идеи соборности очевидной и неоспоримой.

В контексте иных ценностей можно рассуждать, однако, совершенно иначе. В частности, контекст либерально-демократических ценностей позволяет сделать заключение, что социальной предпосылкой формирования и распространения идеи соборности был в первую очередь коллективистический характер российского общества, экономическая отсталость страны, медленное вызревание в ней капитализма.

«Объединение людей в любви» остается абстрактной фразой, пока не указывается, на что именно направлена объединяющая людей любовь. В средневековом обществе они объединялись прежде всего в любви к богу. В России XIX в. ни бог, ни тем более царь не могли уже быть предметом особой любви и основой объединения людей. Именно поэтому само понятие соборности оставалось смутным. Оно подчеркивало желательность и даже неизбежность коллективных действий, соединяющих людей в единое целое, но не указывало той цели, или ценности, на которую могли бы быть направлены эти действия.

Основной смысл идеи соборности близок понятию обнаженности, или прозрачности, индивида. Соборность — это полная растворенность индивида в коллективной целостности, реализующей некую глобальную цель. В свете коллективистических ценностей добровольный и энтузиастический отказ индивида от всего личностного и неповторимого, его слияние с «мы» и активное участие в «соборной» деятельности — непременное условие раскрытия богатства и внутреннего достоинства человека.

Из того, что социальные науки предполагают или прямо включают определенные ценности, иногда выводится требование, чтобы

эти науки давали прямую оценку конкретным социальным системам и даже рекомендовали некоторый совершенный тип общества. Но очевидно, что поиски наилучшего социального устройства неминуемо приводят к финалистскому истолкованию человеческой истории. Если история движется к заранее предначертанному концу, то можно выделить общества, которые успешнее движутся к этому финишу, чем другие. Но если у истории нет никакой predetermined цели, то вопрос, какое из них является наилучшим, повисает в воздухе.

XX век с неумолимой очевидностью показал, что идеального общества нет и никогда не будет. После краха идеи коммунизма, приведшей не к раю на земле, а к тоталитарному аду, трудно стало даже вообразить, каким могло бы быть совершенное общество. Человеческое воображение слабело при попытке представить себе райскую жизнь на небесах и оказывалось гораздо более эффективным при изображении картин страданий в аду. Тем более трудно вообразить совершенное во всех смыслах земное общественное устройство, хотя можно представить себе ад на земле, возникший в результате какой-то природной или социальной катастрофы, подобной атомной войне. Всякое общество несовершенно, оно представляет собой постоянную борьбу с проблемами, продолжающуюся до тех пор, пока они не будут решены или пока эти проблемы не начнут нарастать в геометрической прогрессии и не разрушат данное общество.

С точки зрения общей концепции истории как движения между двумя полюсами — коллективизмом и индивидуализмом (закрытым и открытым обществом) — вопрос о совершенном устройстве общества во многом утрачивает свой смысл. Индивидуализм, в частности посткапитализм, совершенен, если он требуется обстоятельствами места и времени. В другое время и в других обстоятельствах более совершенным оказывается уже коллективизм или какая-то форма общественного устройства, промежуточная между ясно выраженными индивидуализмом и коллективизмом. Спрашивать в общей форме, что предпочтительнее: индивидуализм или коллективизм, все равно, что ставить вопрос, что лучше: пила или молоток, не определяя, для какого дела требуется выбираемый инструмент.

Коллективизм постиндустриального общества (тоталитаризм) не может с этой точки зрения рассматриваться как временный отход некоторых обществ от некоей магистральной линии человеческой истории или как исторический тупик, в который некоторые общества попадают по недоразумению или по злему умыслу своих вождей и политических партий. Коллективистическая форма ряда постиндустриальных обществ являлась для них естественным продолжением

их предшествующего развития. Она была всего лишь воспроизведением в современных условиях — и, значит, в современном виде отличающемся особой жестокостью, — того коллективизма, который является постоянным фактором человеческой истории.

Побуждения сторонников современного коллективизма были, можно думать, искренними. Однако мечта о прекрасном мире, построенном на началах разума и справедливости, привела к совершенно неожиданным результатам. Как сказал немецкий поэт Ф. Гёльдерлин, «что всегда превращало государство в ад на земле, так это попытки человека сделать его земным раем».

